

**В данной книге,
использованы журнальные иллюстрации**

Художника:

**Георгия КОВЕНЧУКА
«ГРАД ОБРЕЧЕННЫЙ»
«ХРОМАЯ СУДЬБА»**

ПУБЛИКАЦИИ:

**«ГРАД ОБРЕЧЕННЫЙ»
НЕВА 1988 №9,10 1989 №2,3**

**«ХРОМАЯ СУДЬБА»
НЕВА 1986 №8,9**

СОВЕТСКАЯ ФАНТАСТИКА

**БРАТЯ СТРУГАЦКИЕ
В ЖУРНАЛЬНЫХ
ИЛЛЮСТРАЦИЯХ**

Выпуск 4

Сборник

СТРЕЛА ВРЕМЕНИ

2020

ГРАД ОБРЕЧЕННЫЙ

– Как живете, караси?

– Ничего себе, мерси.

В. Катаев. «Радиожираф»

...Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы...

Откровение Иоанна Богослова
(Апокалипсис)

Часть первая МУСОРЩИК

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Баки были ржавые, помятые, с отставшими крышками. Из-под крышек торчали обрывки газет, свешивалась картофельная шелуха. Это было похоже на пасть неопрятного, неразборчивого в еде пеликана. На вид они казались неподъемно тяжелыми, но на самом деле вдвоем с Ваном ничего не стоило рывком вздернуть такой бак к протянутым рукам Дональда и утвердить на краю откинутого борта. Нужно было только беречь пальцы. После этого можно было поправить рукавицы и немного подышать носом, пока Дональд ворочает бак, устанавливая его в глубине кузова.

Из распахнутых ворот тянуло сырым ночным холодом, под сводом подворотни покачивалась на обросшем грязью шнуре голая желтая лампочка. В ее свете лицо Вана было как у человека, замученного желтухой, а лица Дональда не было видно в тени его широкополой техасской шляпы. Серые облупленные стены, исполосованные горизонтальными бороздами; темные клочья пыльной паутины под сводами; непристойные женские изображения в натуральную величину; а около дверей в дворницкую – беспорядочная толпа пустых бутылок и банок из-под компота, которые Ван собирал, аккуратно рассортировывал и сдавал в утиль...

Когда остался последний бак, Ван взял совок и метлу и принялся собирать мусор, оставшийся на асфальте.

– Да бросьте вы копать, Ван, – раздраженно произнес Дональд.
– Каждый раз вы копаетесь. Все равно ведь чище не будет.

– Дворник должен быть метущий, – наставительно заметил Андрей, крутя кистью правой руки и прислушиваясь к своим ощущениям: ему показалось, что он немного растянул сухожилие.

– Ведь все равно же опять навалят, – сказал Дональд с ненавистью. – Мы и обернуться не успеем, а уже навалят больше прежнего.

Ван ссыпал мусор в последний бак, утрамбовал совком и захлопнул крышку.

– Можно, – сказал он, оглядывая подворотню. В подворотне теперь было чисто. Ван посмотрел на Андрея и улыбнулся. Потом он поднял лицо к Дональду и проговорил: – Я только хотел бы напомнить вам...

– Давайте, давайте! – нетерпеливо прикрикнул Дональд.

Раз-два. Андрей и Ван рывком подняли бак. Три-четыре. Дональд подхватил бак, крикнул, ахнул и не удержал. Бак накренился и боком грохнулся на асфальт. Содержимое вылетело из него метров на десять, как из пушки. Активно опорожняясь на ходу, он с громом покатился во двор. Гулкое эхо спиралью ушло к черному небу между стенами.

– Мать вашу в бога, в душу и святого духа, – сказал Андрей, едва успевший отскочить. – Руки ваши дырявые!..

– Я только хотел напомнить, – кротко проговорил Ван, – что у этого бака отломана ручка.

Он взял метлу и совок и принялся за дело, а Дональд присел на корточки на краю кузова и опустил руки между колен.

– Проклятье... – пробормотал он глухо. – Проклятая подлость.

С ним было явно что-то не в порядке в последние дни, а в эту ночь – в особенности. Поэтому Андрей не стал ему говорить, что он думает о профессорах и об их способности заниматься настоящим делом. Он сходил за баком, а потом, вернувшись к грузовику, снял рукавицы и вытащил сигареты. Из пустого бака смердело нестерпимо, и он торопливо закурил и только после этого предложил сигарету Дональду. Дональд молча покачал головой. Надо было поднимать настроение. Андрей кинул горелую спичку в бак и сказал:

– Жили-были в одном городишке два ассенизатора – отец и сын. Канализации у них там не было, а просто ямы с жижицей. И они это дерьмо вычерпывали ведром и заливали в свою бочку, причем отец, как более опытный специалист, спускался в яму, а сын сверху подавал ему ведро. И вот однажды сын это ведро не удержал и обрушил обратно на батю. Ну, батя утерся, посмотрел на него снизу вверх и сказал ему с горечью: «Чучело ты, – говорит, – огородное, тундра! Никакого толку в тебе не видно. Так всю жизнь наверху и проторчишь».

Он ожидал, что Дональд хотя бы улыбнется. Дональд вообще-то был человек веселый, общительный, никогда не унывал. Было в нем что-то от студента-фронтовика. Однако сейчас Дональд только покашлял и глухо сказал: «Всех ям не выгребешь». А Ван, возившийся возле бака, реагировал и вовсе странно. Он вдруг с интересом спросил:

– А почему оно у вас?

– Что – почему? – не понял Андрей.

– Дерьмо. Дорого?

Андрей неуверенно хохотнул.

– Да как тебе сказать... Смотря чье...

– Разве оно у вас разное? – удивился Ван. – У нас – одинаковое. А чье у вас самое дорогое?

– Профессорское, – немедленно сказал Андрей. Просто невозможно было удержаться.

– А! – Ван высыпал в бак очередной совок и покивал. – Понятно. Но у нас в сельской местности не было профессоров, поэтому цена была одна – пять юаней за ведро. Это – в Сычуани. А в Цзянси, например, цены доходили до семи и даже до восьми юаней.

Андрей наконец понял. Ему вдруг захотелось спросить, правда ли, что китаец, пришедший в гости на обед, обязан потом опорожниться на огороде хозяина, однако спрашивать это было, конечно, неловко.

– А как у нас сейчас, я не знаю, – продолжал Ван. – Последнее время я не жил в деревне... А почему профессорское ценится у вас дороже?

– Это я пошутил, – сказал Андрей виновато. – У нас этим делом вообще не торгуют.

– Торгуют, – сказал Дональд. – Вы даже этого не знаете, Андрей.

– А вы даже это знаете, – огрызнулся Андрей.

Еще месяц назад он ввязался бы с Дональдом в яростный спор. Его ужасно раздражало, что американец то и дело рассказывает о России такие вещи, о которых он, Андрей, и понятия не имеет. Андрей был тогда искренне уверен, что Дональд просто берет его на пушку или повторяет злопыхательскую болтовню Херста. «Да шли бы вы с вашей херстовиной!» – отмахивался он. Но потом появился этот недоносек Изя Кацман, и Андрей спорить перестал, огрызнулся только. Черт их знает, откуда они всего этого набрались. И бессилие свое он объяснял тем обстоятельством, что он-то пришел сюда из пятидесят первого года, а эти двое – из шестидесят седьмого.

– Счастливым вы человек, – сказал вдруг Дональд, поднялся и пошел к бакам у кабины.

Андрей пожал плечами и, стараясь избавиться от неприятного осадка, вызванного этим разговором, надел рукавицы и принялся сгребать вонючий мусор, помогая Вану. Ну, и не знаю, думал он. Подумаешь, дерьма-то. А что ты знаешь об интегралах? Или, скажем, о постоянной Хаббла? Мало ли кто чего не знает...

Ван запихивал в бак последние остатки мусора, когда в воротах с улицы появилась ладная фигура полицейского Кэнси Убукаты.

– Сюда, пожалуйста, – сказал он кому-то через плечо и двумя пальцами откозырял Андрею. – Привет, мусорщики!

Из уличной тьмы в круг желтоватого света вступила девушка и остановилась рядом с Кэнси. Была она совсем молоденькая, лет двадцати, не больше, и совсем маленькая, едва по плечо маленькому полицейскому. На ней был грубый свитер с широченным воротом и узкая короткая юбка, на бледном мальчишеском личике ярко выделялись густо намазанные губы, длинные светлые волосы падали на плечи.

– Не пугайтесь, – вежливо улыбаясь, сказал ей Кэнси. – Это всего лишь наши мусорщики. В трезвом состоянии совершенно безопасны... Ван, – позвал он. – Это Сельма Нагель, новенькая. Приказано поселить у тебя в восемнадцатом номере. Восемнадцатый свободен?

Ван, снимая на ходу рукавицы, подошел к ним.

– Свободен, – сказал он. – Давно уже свободен. Здравствуйте, Сельма Нагель. Я – дворник, меня зовут Ван. Если что-нибудь понадобится, вот – дверь в дворницкую, приходите сюда.

– Давай ключ, – сказал Кэнси. – Пойдемте, я вас провожу, – сказал он девушке.

– Не надо, – проговорила она устало. – Сама найду.

– Как угодно, – сказал Кэнси и снова откозырял. – Вот ваш чемодан.

Девушка взяла у Кэнси чемодан, а у Вана – ключ, мотнула головой, отбрасывая упавшие на глаза волосы, и спросила:

– Который подъезд?

– Прямо, – сказал Ван. – Вон тот, под освещенным окном. Пятый этаж. Может быть, вы хотите есть? Чаю?

– Нет, не хочу, – сказала девушка, снова тряхнула головой и, цокая каблуками по асфальту, пошла прямо на Андрея.

Он отступил, пропуская ее. Когда она проходила, он ощутил крепкий запах духов и еще какой-то парфюмерии. И он все смотрел ей вслед, пока она шла по желтому освещенному кругу, юбка у нее была совсем короткая, чуть длиннее свитера, а ноги были голые, белые, и

Андрею показалось, что они светятся, когда она вышла из-под арки в темноту двора, и в этой темноте был виден только ее белый свитер и белые мелькающие ноги.

Потом заныла, завизжала и грохнула дверь, и тогда Андрей снова машинально достал сигареты и закурил, представляя, как эти нежные белые ноги ступают по лестнице, ступенька за ступенькой... гладкие икры, ямочки под коленями, обалдеть можно... Как она поднимается выше и выше, этаж за этажом, и останавливается перед дверью восемнадцатой квартиры – как раз напротив шестнадцатой квартиры... черт, надо хоть белье постельное переменить, три недели уже не менял, наволочка серая сделалась, как портянка... А какое у нее лицо? Надо же – совсем не помню, какое у нее лицо. Только ноги и запомнил.

Он вдруг осознал, что молчат все, даже женатый Ван, и в ту же секунду заговорил Кэнси:

– У меня есть двоюродный дядя, полковник Маки. Бывший полковник бывшей императорской армии. Сначала он был адъютантом господина Осимы и два года просидел в Берлине. Потом его назначили исполняющим обязанности нашего военного атташе в Чехословакии, и он присутствовал при вступлении немцев в Прагу...

Ван кивнул Андрею, они рывком подняли бак и благополучно переправили его в кузов.

– ...Потом, – продолжал Кэнси неторопливо, закуривая сигаретку, – он немного повоевал в Китае, по-моему, где-то на юге, на Кантонском направлении. Потом он командовал дивизией, высадившейся на Филиппинах, и был одним из организаторов знаменитого «марша смерти» пяти тысяч американских военнопленных – извините меня, Дональд... Потом его направили в Маньчжурию и назначили начальником Сахалинского укрепрайона, где он, между прочим, в целях сохранения секретности загнал в шахту и взорвал восемь тысяч китайских рабочих... извини меня, Ван... Потом он попал к русским в плен, и они, вместо того чтобы повесить его или, что то же самое, передать его Китаю, всего-навсего упрятали его на десяток лет в концлагерь...

Пока Кэнси все это рассказывал, Андрей успел слазить в кузов, помог там Дональду расставить баки, поднял и закрепил борт грузовика, снова спрыгнул на землю, угостил Дональда сигаретой, и теперь они втроем стояли перед Кэнси и слушали его. Дональд Купер, длинный, сутулый, в выцветшем комбинезоне, длинное лицо со складками возле рта, острый подбородок, поросший редкой седой щетиной; и Ван, широкий, приземистый, почти без шеи, в стареньком, аккуратно заштопанном ватнике, широкое бурое лицо, курносый носик,

благожелательная улыбка, темные глаза в щелках припухших век; и Андрея вдруг пронизала острая радость при мысли, что все эти люди из разных стран и даже из разных времен собрались здесь вместе и делают одно, очень нужное дело, каждый на своем посту.

– ...Теперь он уже старый человек, – закончил Кэнси. – И он утверждает, что самые лучшие женщины, каких он когда-либо знал, – это русские женщины. Эмигрантки в Харбине.

Он замолчал, уронил окурок и старательно растер его подошвой блестящего штиблета.

Андрей сказал:

– Какая же она русская? Сельма, да еще Нагель.

– Да, она шведка, – сказал Кэнси. – Но все равно. Это был рассказ по ассоциации.

– Ладно, поехали, – сказал Дональд и полез в кабину.

– Слушай, Кэнси, – сказал Андрей, берясь за дверцу. – А кем ты был раньше?

– Контролером на литейном заводе, а до того – министром коммунального...

– Да нет, не здесь, а там...

– А-а, там? Там я был литсотрудником в издательстве «Хаякава».

Дональд завел двигатель, и старенький грузовик затрясся и залязгал, испуская густые клубы синего дыма.

– У вас правый подфарник не горит! – крикнул Кэнси.

– Он у нас сроду не горел, – отозвался Андрей.

– Так почините! Еще раз увижу – оштрафую!

– Понасажали вас на нашу голову...

– Что? Не слышу!

– Бандитов, говорю, лови, а не шоферов! – проорал Андрей, стараясь перекричать лязг и дребезг. – Дался тебе наш подфарник! И когда только вас всех разгонят, дармоедов!

– Скоро! – крикнул Кэнси. – Теперь уже скоро – не пройдет и ста лет!

Андрей погрозил ему кулаком, махнул Вану и ввалился на сиденье рядом с Дональдом. Грузовик рванулся вперед, чиркнул бортом по стене в арке ворот, выкатился на Главную улицу и круто повернул направо.

Устраиваясь поудобнее, так, чтобы пружина, вылезшая из сиденья, не колола в зад, Андрей искоса поглядел на Дональда. Дональд сидел прямо, положив левую руку на баранку, а правую – на рычаг переключения скоростей, надвинув шляпу на глаза и выставив острый подбородок, и гнал во всю мочь. Он всегда ездил так, «с

максимально разрешенной скоростью», не думая даже тормозить перед частыми выбоинами на асфальте, и на каждой такой выбоине в кузове тяжело ухали баки с мусором, дребезжал проржавевший капот, а сам Андрей, как ни старался упираться ногами, подлетал и падал в точности на острие проклятой пружины. Только раньше все это сопровождалось веселой перебранкой, а сейчас Дональд молчал, тонкие губы его были крепко сжаты, на Андрея он не смотрел вовсе, и потому чудился в этой обычной тряске какой-то злой умысел.

– Что это с вами, Дон? – спросил Андрей наконец. – Зубы болят?

Дональд коротко дернул плечом и ничего не ответил.

– Правда, вы какой-то сам не свой последние дни. Я же вижу. Может быть, я вас обидел как-нибудь нечаянно?

– Бросьте, Андрей, – проговорил Дональд сквозь зубы. – При чем здесь вы?

И опять Андрею почудилось в этих словах какое-то недоброжелательство и даже что-то обидное, оскорбительное: где уж тебе, сопляку, меня, профессора, обидеть?.. Но тут Дональд заговорил снова:

– Я ведь не зря сказал вам, что вы счастливый. Вам и в самом деле можно только позавидовать. Все это идет как-то мимо вас. Или сквозь вас. А по мне это идет, как паровой каток. Ни одной целой кости не осталось.

– О чем вы? Ничего не понимаю.

Дональд молчал, искривив губы. Андрей посмотрел на него, невидящими глазами поглядел вперед на дорогу, снова покосился на Дональда, почесал себе макушку и расстроено сказал:

– Честное слово, ничего не понимаю. Так вроде все хорошо идет...

– Потому я вам и завидую, – жестко сказал Дональд. – И хватит об этом. Не обращайтесь внимания.

– То есть как не обращать внимания? – сказал Андрей, совсем расстроившись. – Как это я могу не обращать внимания? Мы здесь все вместе... вы, я, ребята... Конечно, дружба – это большое слово, слишком большое... ну, просто товарищи... Я бы, например, рассказал, если что... Ведь никто же не откажется помочь! Ну, сами скажите: если бы со мной что-нибудь случилось, и я бы попросил у вас помощи, вы бы мне отказали? Ведь не отказали бы, верно?

Правая рука Дональда оторвалась от рычага и легонько потрепала Андрея по плечу. Андрей замолчал. Его переполняли чувства. Снова все было хорошо, все было в порядке. Дональд был в порядке. Просто обычная хандра. Может же быть у человека хандра? Просто у него самолюбие разыграло. Все-таки как-никак профессор социологии, а тут баки с мусором, а до этого он был грузчиком на складе. Конечно, ему

это неприятно и обидно, тем более что никому об этих обидах не расскажешь – никто его сюда не гнал, и жаловаться неудобно... Это только сказать просто: выполняй хорошо любое дело, на которое тебя поставили... Ну и ладно. И хватит об этом. Сам справится.

А грузовичок уже катился по диабазу, скользкому от осевшего тумана, и здания по сторонам стали ниже, дряхлее, и цепочки фонарей, протянувшиеся вдоль улицы, стали тусклее и реже. Цепочки эти впереди сходились в туманное расплывчатое пятно, на мостовой и на тротуарах не было ни души, даже дворники почему-то не попадались, только на углу Семнадцатого переулка, перед приземистой неуклюжей гостиницей, известной более под названием «Клопный вольтер», стояла телега с понурой лошадыо, и в телеге кто-то спал, закутавшись с головой в брезент. Было четыре часа ночи – время самого крепкого сна, и ни одно окно не светило в черных этажах.

Впереди слева из подворотни высунулся грузовик. Дональд помигал ему фарами, промчался мимо, а грузовик, такой же мусорщик, вывернув на дорогу, попытался их перегнать, но не на таковских напал, где ему было тягаться с Дональдом, – так, посветил фарами через заднее окно и отстал безнадежно. Еще одного мусорщика они обогнали в Горелых кварталах, и вовремя, потому что сразу за Горелыми кварталами начался булыжник, и Дональду пришлось-таки снизить скорость, чтобы старикашка невзначай не развалился.

Здесь стали попадаться встречные машины, уже пустые, – они шли со свалки и больше никуда не торопились. Потом от фонаря впереди отделилась неясная фигура, вышла на мостовую, и Андрей, сунув руку под сиденье, вытащил было тяжелую монтировку, но оказалось, что это полицейский, который попросил подбросить его до Капустного переулка. Ни Андрей, ни Дональд не знали, где это, и тогда полицейский, здоровенный мордастый дядька со светлыми лохмами, беспорядочно торчащими из-под форменной фуражки, сказал, что покажет.

Он встал на подножку рядом с Андреем и, держась за раму, всю дорогу недовольно крутил носом, словно бог весть что унюхал, хотя от самого от него так и шибало застаревшим потом, и Андрей вспомнил, что эта часть Города уже отключена от водопровода.

Некоторое время ехали молча, полицейский насвистывал из оперетки, а потом ни с того ни с сего сообщил, что на углу Капустного и Второй Лево́й нынче в полночь кокнули какого-то беднягу, все золотые зубы повыдергивали.

– Плохо работаете, – зло сказал ему Андрей.

Такие случаи выводили его из себя, а тон у полицейского был такой, что так и надавал бы ему по шее: сразу было видно, что ему совершенно безразличны и убийство, и убитый, и убийцы.

Полицейский озадаченно повернул широкую ряшку и спросил:

– Ты, что ли, меня учить будешь, как работать?

– Может быть, и я, – сказал Андрей.

Полицейский нехорошо прищурился, посвистел и сказал:

– Учителей-то, учителей!.. Куда ни харкни – везде учитель. Стоит и учит. Мусор уже возит, а все учит.

– Я тебя не учу... – начал было Андрей, повысив голос, но полицейский говорить ему не дал.

– Вот вернусь сейчас в участок, – спокойно сообщил он, – и позвоню к тебе в гараж, что у тебя подфарник правый не горит. Подфарник у него, понимаешь, не горит, а туда же – учит полицию, как работать. Молокосос.

Дональд вдруг рассмеялся сухим скрипучим смехом. Полицейский тоже ржанул и сказал совсем уже миролюбиво:

– Я один на сорок домов, понял? И оружие запретили носить. Чего же ты от нас хочешь? Тебя скоро дома резать начнут, не то, что в переулках.

– Так, а чего же вы? – ошеломленно сказал Андрей. – Протестовали бы, требовали бы...

– «Протестовали», – повторил полицейский язвительно. – «Требовали» ... Новичок, что ли? Эй, шеф, – позвал он Дональда. – При тормози-ка. Мне здесь.

Он спрыгнул с подножки и вразвалку, не оглядываясь, направился в темную щель между покосившимися деревянными домами, где в отдалении горел одинокий фонарь, а под фонарем стояла кучка людей.

– Да что они, ей-богу, сдурели, что ли? – возмущенно сказал Андрей, когда машина снова тронулась. – Как это так – в городе полно шпаны, а полиция без оружия! Не может этого быть. У Кэнси же кобура на боку, что он в ней – сигареты носит?

– Бутерброды, – сказал Дональд.

– Ничего не понимаю, – сказал Андрей.

– Было разъяснение, – сказал Дональд. – «В связи с участвовавшими случаями нападения гангстеров на полицейских с целью захвата оружия» ... и так далее.

Некоторое время Андрей размышлял, изо всех сил упираясь ногами, чтобы не подбрасывало над сиденьем. Бульжник практически уже кончился.

– По-моему, это ужасно глупо, – сказал он наконец. – А по-вашему?

– И, по-моему, тоже, – отозвался Дональд, неловко закуривая одной рукой.

– И вы об этом так спокойно говорите?

– Я уже свое отбеспокоился, – сказал Дональд. – Это очень старое разъяснение, вас еще здесь не было.

Андрей почесал макушку, наморщился. Черт его знает, может, и был какой-то смысл в этом разъяснении? В конце концов, полицейский-одиночка действительно соблазнительная приманка для этих гадов. Если уж изымать оружие, то изымать надо, конечно, у всех. И конечно, дело не в этом дурацком разъяснении, а в том, что полиции мало и облав мало, а надо было бы устроить одну хорошенькую облаву и вымести всю эту нечисть одним махом. Население привлечь. Я бы, например, пожалуйста, пошел... Дональд бы, конечно, пошел... Надо будет написать мэру. Потом мысли его приняли вдруг новое направление.

– Слушайте, Дон, – сказал он. – Вот вы социолог. Я, конечно, считаю, что социология – это никакая не наука... я вам уже говорил... и вообще не метод. Но вы, конечно, много знаете, гораздо больше меня. Вот вы мне объясните: откуда в нашем Городе вся эта дрянь? Как они сюда попали – убийцы, насильники, ворье... Неужели Наставники не понимали, кого сюда приглашают?

– Понимали, наверное, – равнодушно ответил Дональд, с ходу проскакивая страховидную яму, наполненную черной водой.

– Так зачем же тогда?..

– Вором не рождаются. Вором становятся. А потом, как известно: «Откуда нам знать, что нужно Эксперименту? Эксперимент есть Эксперимент...» – Дональд помолчал. – Футбол есть футбол, мяч круглый, поле квадратное, пусть победит достойнейший...

Фонари кончились, жилая часть города осталась позади. Теперь по сторонам разбитой дороги тянулись заброшенные развалины – остатки нелепых колоннад, просевшие в скверные фундаменты, подпертые балками стены с зияющими дырами вместо окон, бурьян, штабеля гниющих бревен, заросли крапивы и колючек, чахлые, полузадушенные лианами деревца среди нагромождений почерневшего кирпича. А потом впереди опять возникло туманное сияние, Дональд свернул вправо, осторожно разминулся со встречным пустым грузовиком, пробуксовал в глубоких колеях, забитых грязью, и наконец затормозил вплотную к красным огонькам последнего в очереди

мусорщика. Он заглушил двигатель и посмотрел на часы. Андрей тоже посмотрел на часы. Было около половины пятого.

– Часок простои́м, – бодро сказал Андрей. – Пошли посмотрим, кто там впереди.

Сзади подошла и остановилась еще одна машина.

– Идите один, – сказал Дональд, откинулся на спинку сиденья и сдвинул поля шляпы на лицо.

Тогда Андрей тоже откинулся на спинку, поправил под собой пружину и закурил. Впереди полным ходом шла разгрузка – лязгали крышки баков, высокий голос учетчика кричал: «...восемь... десять...», на столбе покачивалась тысячесвечовая лампа под плоской жестяной тарелкой. Потом вдруг заорали сразу в несколько глоток: «Куда, куда, мать твою?.. Сдай назад! Сам ты жопа слепая!.. По зубам захотел?..» Справа и слева громоздились горы мусора, слежавшегося в плотную массу, ночной ветерок наносил ужасную тухлятину.

Знакомый голос вдруг сказал над ухом:

– Здорово, говновозы! Как идет великий Эксперимент?

Это был Изя Кацман, в натуральную величину, – встрепанный, толстый, неопрятный и, как всегда, неприятно жизнерадостный.

– Слыхали? Есть проект окончательного решения проблемы преступности. Полиция упраздняется! Вместо нее будут по ночам выпускать на улицы сумасшедших. Бандитам и хулиганам конец – теперь только сумасшедший решится ночью выйти из дома!

– Неостроумно, – сказал Андрей сухо.

– Неостроумно? – Изя встал на подножку и просунул голову в кабину. – Наоборот! Чрезвычайно остроумно! Никаких же дополнительных расходов. Водворение сумасшедших на место постоянного жительства по утрам возлагается на дворников...

– За что дворникам выдается дополнительный паек в размере литра водки, – подхватил Андрей, чем и привел Изию в необъяснимый восторг: Изя принялся хихикать, издавая странные горловые звуки, брызгать и мыть ладони воздухом.

Дональд вдруг глухо выругался, распахнул свою дверцу, спрыгнул и исчез в темноте. Изя тут же перестал хихикать и обеспокоенно спросил:

– Что это с ним?

– Не знаю, – мрачно сказал Андрей. – Наверное, его от тебя затошнило... А вообще-то он уже несколько дней такой.

– Правда? – Изя поверх кабины глядел в ту сторону, куда ушел Дональд. – Жалко. Он хороший человек. Только очень уж неприспособленный.

– А кто приспособленный?

– Я приспособленный. Ты приспособленный. Ван приспособленный... Дональд давеча все возмущался: почему, чтобы свалить мусор, надо стоять в очереди? На кой хрен здесь учетчик? Что он учитывает?

– Ну и правильно возмущался, – сказал Андрей. – Действительно же, крестинизм какой-то.

– Но ведь ты же не нервничаешь по этому поводу, – возразил Изя. – Ты прекрасно понимаешь, что учетчик – человек подневольный. Поставили его учитывать, вот он и учитывает. А поскольку он учитывать не успеваешь, образуется, сами понимаете, очередь. А очередь – она и есть очередь... – Изя снова забулькал и забрызгал. – Конечно, на месте начальства Дональд проложил бы здесь хорошую дорогу со съездами для сброса мусора, а учетчика, здоровенного бугая, отправил бы в полицию ловить бандитов. Или на передовую, к фермерам...

– Ну, – сказал Андрей нетерпеливо.

– Что – ну? Дональд ведь не начальство!

– Ну, а начальство почему так не сделает?

– А зачем ему? – радостно вскричал Изя. – Сам подумай! Мусор вывозится? Вывозится! Вывоз учитывается? Учитывается! Систематически? Систематически. Месяц окончится, будет представлен отчет: вывезено на столько-то баков говна больше, чем в прошлом месяце. Министр доволен, мэр доволен, все довольны, а что Дональд недоволен, так его сюда никто не гнал – добровольец!..

Грузовик впереди выбросил клуб синего дыма и проехал вперед метров на пятнадцать. Андрей торопливо пересел за руль, выглянул. Дональда нигде не было видно. Тогда он с опаской включил двигатель и кое-как продвинулся на те же пятнадцать метров, трижды заглохнув по дороге. Изя при этом шел рядом, испуганно шарахаясь каждый раз, когда машина принималась дергаться. Потом он принялся рассказывать что-то про Библию, но Андрей слушал плохо – он был весь мокрый от пережитого напряжения.

Под яркой лампой по-прежнему лязгали баки и стоял мат. В крышу кабины что-то ударило и отскочило, но Андрей не обратил на это внимания. Сзади подошел со своим напарником, гаитянским негром, здоровенный Оскар Хайдеман, попросил закурить. Негр, по имени Сильва, почти невидимый в темноте, скалил белые зубы.

Изя пустился с ними в разговоры, причем Сильву он называл почему-то тонтон-макутом, а Оскара расспрашивал о каком-то Туре Хейердале. Сильва строил страшные рожи, изображал пальцами очки, делал вид, что строчит из автомата, Изя хватался за живот и делал вид, что сражен на месте, – Андрей ничего не понимал, и Оскар,

по-видимому, тоже: очень скоро выяснилось, что он путает Гаити с Таити.

По крыше снова что-то прокатилось, и вдруг здоровенный ком слипшегося мусора ударился в капот и разлетелся в клочья.

– Эй! – крикнул Оскар в темноту. – Прекратите!

Впереди вновь заорали в двадцать глоток, плотность брани достигла вдруг немислимого предела. Что-то происходило. Изя жалобно ойкнул и, схватившись за живот, согнулся пополам – теперь уже не в шутку. Андрей открыл дверцу, высунулся было наружу, и сейчас же в голову ему ударила пустая консервная банка – не больно, но очень оскорбительно. Сильва пригнулся и скользнул в темноту. Андрей, прикрывая голову и лицо, озирался.

Ничего не было видно. Из-за куч мусора слева градом сыпались ржавые банки, куски гнилого дерева, старые кости, даже обломки кирпичей. Послышался звон разбиваемого стекла. Дикий возмущенный рев взлетел над колонной. «Какая сволочь там развлекается?!» – ревели чуть ли не хором. Зарычали включенные двигатели, вспыхнули фары. Некоторые грузовики принялись судорожно елозить взад-вперед: видимо, водители пытались развернуть их так, чтобы осветить мусорные хребты, откуда летели уже целые кирпичи и пустые бутылки. Еще несколько человек, пригнувшись как Сильва, ринулись в темноту.

Мельком Андрей заметил, что Изя с искривленным плачущим лицом скорчился возле заднего ската и ощупывает живот. Тогда Андрей нырнул в кабину, выхватил из-под сиденья монтировку и снова выскочил наружу. По башкам сволочей, по башкам! Видно было, как с десяток мусорщиков на четвереньках, цепляясь руками, остервенело карабкаются по склону. Кому-то из водителей удалось-таки поставить машину поперек, и свет фар озарил неровный гребень, ошетиленный обломками старой мебели, взлохмаченный тряпьем и обрывками бумаги, сверкающий битым стеклом, и над гребнем – высоко задранный ковш экскаватора на фоне черного неба. И что-то там шевелилось на ковше, что-то большое, серое с серебристым отливом. Андрей замер, вглядываясь, и в ту же минуту отчаянный вопль перекрыл всю разноголосицу:

– Это дьяволы! Дьяволы! Спасайтесь!..

И сейчас же со склона кубарем, на карачках, через голову, поднимая столбы пыли, в вихре рваного тряпья и бумажных лохмотьев, посыпались люди, – обезумевшие глаза, разинутые рты, размахивающие руки. Кто-то, обхватив руками голову, спрятав голову между сжатыми локтями, продолжая панически визжать, пронесся мимо

Андрея, поскользнулся в колею, упал, снова вскочил и изо всех сил побежал дальше, по направлению к городу. Кто-то, хрипло дыша, втиснулся между радиатором Андреева грузовика и кузовом передней машины, застрял там, зацепился, принялся рваться и тоже заорал не своим голосом. Стало вдруг тише, только ворчали двигатели, и тут хлестко, словно удары бича, звонко защелкали выстрелы. И Андрей увидел – на гребне, в голубоватом свете фар – высокого тощего человека, который стоял спиной к машинам, держа пистолет в обеих руках, и раз за разом палил куда-то в темноту за гребень.

Он выстрелил пять или шесть раз в полной тишине, а потом из темноты возник тысячеголосый нечеловеческий вой, злобный, мяукающий и тоскливый, как будто двадцать тысяч мартовских котов заорали одновременно в мегафоны, и тощий человек попятился, оступился, нелепо взмахнул руками и съехал на спине по склону. Андрей тоже попятился в предчувствии чего-то невыносимо страшного, и он увидел, как гребень вдруг зашевелился.

Серебристо-серые, невероятные, чудовищно уродливые призраки закишели вдруг там, засверкали тысячами кроваво светящихся глаз, заблестели миллионами яростно оскаленных влажных клыков, замаячили лесом невообразимо длинных мохнатых лап. Пыль густой стеной взлетела над ними в свете фар, и сплошной ливень обломков, камней, бутылок, комков дряни обрушился на колонну.

Андрей не выдержал. Он нырнул в кабину, вжался в самый дальний угол и выставил перед собой монтировку, обмирая, как в кошмаре. Он абсолютно ничего не соображал, и когда какое-то темное тело заслонило открытую дверь, он заорал, не слыша собственного голоса, и принялся тыкать железом в мягкое, страшное, сопротивляющееся, лезущее на него, и тыкал до тех пор, пока жалобный вопль Изи: «Идиот, это же я!» не привел его в чувство. И тогда Изя влез в кабину, захлопнул за собой дверь и неожиданно спокойным голосом объявил:

– Ты знаешь, что это такое? Это обезьяны. Вот суки!

Сначала Андрей не понял его, потом понял, но не поверил.

– Ну да? – сказал он, вылез на подножку и выглянул из-за кабины.

Точно: это были обезьяны. Очень крупные, очень волосатые, очень свирепые на вид, но не дьяволы и не привидения, а всего лишь обезьяны. Андрея обдало жаром от стыда и облегчения, и в ту же секунду что-то тяжелое и твердое ахнуло его прямо по уху, да так, что другим ухом он ахнулся о крышу кабины.

– Все по машинам! – взревел где-то впереди властный голос. – Прекратить панику! Это павианы! Ничего страшного! По машинам и задний ход!..

В колонне стоял ад крошечный. Стреляли глушители, вспыхивали и гасли фары, двигатели ревели вразнос, сизый дым клубами поднимался к беззвездному небу. Из тьмы вдруг вынырнуло какое-то залитое черным и блестящим лицо, чьи-то руки схватили Андрея за плечи, встряхнули, как щенка, сунули боком в кабину, и тут же передний грузовик сдал назад и с хрустом врезался в радиатор, а грузовик сзади дернулся вперед и ударил в кузов, как в бубен, так, что там загрели потревоженные баки, а Изя дергал за плечо и приставал: «Ты машину водить умеешь или нет? Андрей! Умеешь?», а из сизого дыма кто-то вопил истошно: «Убили! Спасите!», а властный голос все ревел: «Прекратить панику! Задняя машина, задний ход! Живо!», а сверху, справа, слева градом сыпалось твердое, лязгало по капоту, гремело по бакам, со звоном било в стекла, и непрерывно ныли и гудели сигналы, и все нарастал и нарастал гнусный мяукающий вой.

Изя вдруг сказал: «Ну, я пошел...» и, заранее прикрывая руками голову, вылез наружу. Он чуть не попал под машину, промчавшуюся по направлению к городу, – среди подпрыгивающих баков промелькнуло перекошенное лицо учетчика. Потом Изя исчез, и появился Дональд – без шляпы, ободранный, весь в грязи, – швырнул на сиденье пистолет, сел за руль, включил двигатель и, высунувшись из кабины, дал задний ход.

Видимо, какой-то порядок все-таки установился: панические вопли утихли, моторы ревели слаженно, и вся колонна понемногу пятилась назад. Даже каменно-бутылочный град, казалось, несколько поутих. Павианы прыгали и расхаживали по мусорному гребню, но вниз не спускались – только орали там, разевавая собачьи пасти, и издевательски поворачивали к колонне лоснящиеся в свете фар ягодицы.

Грузовик катился все быстрее, снова пробуксовал в грязевой яме, выскочил на шоссе, развернулся. Дональд со скрежетанием переключил скорость, дал газ и, захлопнув дверцу, откинулся на сиденье. Впереди прыгали во мраке красные огоньки удирающих во весь дух машин.

Оторвались, с облегчением подумал Андрей и осторожно ощупал ухо. Ухо распухло и пульсировало. Надо же – павианы! Павианы-то откуда? Да такие здоровенные... да в таких количествах!.. Сроду у нас тут не было никаких павианов... если не считать, конечно, Изю Кацмана. И почему именно павианы? Почему не тигры?.. Он поерзал на

сиденье, и в это время грузовик трянуло. Андрей подлетел и с размаху опустил на что-то твердое, незнакомое. Он сунул руку под зад и вытащил пистолет. Секунду он смотрел на него, не понимая. Пистолет был черный, небольшой, с коротким стволом и рифленой рукоятью. Потом Дональд вдруг сказал:

– Осторожнее. Дайте сюда.

Андрей отдал пистолет и некоторое время смотрел, как Дональд, изогнувшись, засовывает оружие в задний карман комбинезона. Его вдруг прошиб пот.

– Так это вы там... палили? – спросил он шипло.

Дональд не ответил. Он мигал единственной уцелевшей фарой, обгоняя очередной грузовик. Через перекресток, перед самым радиатором, пронеслись, изогнув хвосты, несколько павианов, но Андрею было уже не до них.

– Откуда у вас оружие, Дон?

Дональд опять не ответил, только сделал странный жест рукой – попытался надвинуть на глаза несуществующую шляпу.

– Вот что, Дон, – сказал тогда Андрей решительно. – Мы сейчас же едем в мэрию, вы сдадите пистолет и объясните, как он к вам попал.

– Бросьте чепуху молоть, – отозвался Дональд, сморщившись. – Дайте лучше сигарету.

Андрей машинально достал пачку.

– Это не чепуха, – сказал он. – Я не хочу ничего знать. Вы молчали – ладно, это ваше личное дело. И вообще я вам доверяю... Но в городе только у бандитов есть оружие. Я ничего такого не хочу сказать, но в общем я вас не понимаю... в общем, оружие надо сдать и все объяснить. И нечего делать вид, будто все это чепуха. Я же вижу, какой вы последнее время. Лучше пойти и сразу все рассказать.

Дональд на секунду повернул голову и посмотрел Андрею в лицо. Непонятно, что у него было в глазах – то ли насмешка, то ли страдание, – но он показался Андрею очень старым в этот момент, совсем дряхлым и каким-то загнанным. Андрей ощутил смущение и растерянность, но тут же взял себя в руки и твердо повторил:

– Сдать и все рассказать. Все!

– Вы понимаете, что обезьяны идут на город? – спросил Дональд.

– Ну и что? – растерялся Андрей.

– Действительно – ну и что? – сказал Дональд и неприятно рассмеялся.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Обезьяны уже были в городе. Они носились по карнизам, гроздьями висели на фонарных столбах, жуткими косматыми толпами плясали на перекрестках, липли к окнам, швырялись булыжниками, вывороченными из мостовой, гонялись за обезумевшими людьми, которые в одном белье выскочили на улицу.

Несколько раз Дональд останавливал машину, чтобы взять в кузов беженцев. Баки давно выкинули вон. Одно время перед грузовиком мчалась галопом осатаневшая лошадь, запряженная в телегу, а в телеге этой уже никто не спал, укутавшись в брезент, – там приседал и раскачивался, размахивал длинными волосатыми ручищами и пронзительно вопил здоровенный серебристый павиан. Андрей видел, как телега с треском врезалась в фонарный столб, лошадь с оборванными постромками понеслась дальше, а павиан лихо перелетел на ближайшую водосточную трубу и исчез на крыше.

На площади перед мэрией кипела паника. Подъезжали и отъезжали автомобили, бегали полицейские, бродили потерянные люди в исподнем, у подъезда какого-то чиновника прижали к стене, требовательно кричали на него, а он отпихивался тростью и отмахивался портфелем.

– Бардак, – сказал Дональд и выпрыгнул из машины.

Они вбежали в здание и сразу же потеряли друг друга в непроворотной толпе людей в штатском, людей в полицейской форме и людей в нижнем белье. Стоял многоголосый гомон, от табачного дыма ело глаза.

– Поймите! Не могу же я вот так – в одних подштанниках!

– ...Немедленно открыть арсенал и раздать оружие... Черт вас побери, ну хотя бы полицейским раздать оружие!..

– Где шеф полиции? Только что здесь крутился...

– У меня жена там осталась, вы можете это понять? И теща-старуха!

– Слушайте, да ничего страшного. Обезьяны – они и есть обезьяны...

– Представляешь, просыпаюсь я, а на подоконнике кто-то сидит...

– А шеф полиции где? Дрыхнет, толстая задница?

– Был у нас в переулке один фонарь. Повалили.

– Ковалевский! В двенадцатую комнату, быстро!

– Однако согласитесь, что в одних подштанниках...

– Кто умеет водить машину? Шофера! Все на площадь, к рекламной тумбе!



- Да где, черт побери, шеф полиции? Сбежал, что ли, сучара?
- Значит, так. Бери ребят – и в литейные мастерские. Там возьмешь эти... ну, штыри такие, для парковой ограды... Все бери, все! И сразу сюда...
- Как я гвоздану по этой волосатой морде, – даже руку отшиб, ей-богу... А он орет: «Господи! Что ты делаешь? Это же я – Фредди!...» Тьфу ты, пропасть...
- А духовые ружья годятся?
- В семьдесят второй квартал – три машины! В семьдесят третий квартал – пять машин...

– Извольте распорядиться, чтобы им выдали обмундирование второго срока. Только под расписку, чтобы потом вернули!

– Слушайте, у них хвосты есть? Или мне показалось?..

Андрея толкали, тискали, прижимали к стенам коридора, оттоптали все ноги, и он сам толкался, протискивался, отпихивал. Сначала он искал Дональда, чтобы в качестве свидетеля защиты присутствовать при покаянии и сдаче оружия, потом до него дошло, что нашествие павианов – дело, видимо, очень серьезное, раз поднялась такая кутерьма, и он немедленно пожалел, что грузовики водить не умеет, где находятся литейные мастерские с таинственными штырями – не знает, обеспечить кого-нибудь обмундированием второго срока – не может, и получается, что он тут как бы никому и не нужен. Он попытался, по крайней мере, сообщить о том, что видел своими глазами – может быть, эти сведения окажутся полезными, – но одни его не слушали вовсе, а другие, стоило ему начать, перебивали и принимались рассказывать сами.

С горечью он убедился, что знакомых лиц в этом круговороте мундиров и подштанников не было, мелькнул только черный Сильва с головой, обмотанной кровавой тряпкой, да тут же и исчез, – а между тем что-то явно предпринималось, кто-то кого-то организовывал и куда-то посылал, голоса становились все громче, тон их становился все увереннее, подштанники стали понемногу исчезать, а мундиров стало, наоборот, заметно больше, на какое-то мгновение Андрею даже почудился мерный грохот сапог и строевая песня, но оказалось, что это просто уронили переносимый сейф, и он скатился, грохоча, по ступенькам и застрял в дверях продовольственного отдела...

Тут Андрей увидел знакомое лицо – чиновника, бывшего сослуживца по бухгалтерии Палаты Мер и Весов. Андрей, распихивая встречных, догнал его, прижал к стене и единым духом выложил, что вот он, Андрей Воронин, – помните, мы вместе работали? – ныне грузчик-ассенизатор, никого найти не могу, направьте меня куда-нибудь в дело, ведь наверняка же нужны люди... Чиновник некоторое время слушал, очумело моргая и делая слабые конвульсивные попытки вырваться, а потом вдруг оттолкнул Андрея, заорал: «Куда я вас направляю? Вы что, не видите – я бумаги несу на подпись!» и почти убежал по коридору.

Андрей сделал еще несколько попыток принять участие в организованных действиях, но все от него отказывались и отмахивались, все страшно спешили, не было буквально ни одного человека, который просто спокойно стоял бы на месте и, скажем, составлял бы списки добровольцев. Тогда Андрей ожесточился и принялся распахивать все

двери подряд, надеясь найти хоть какое-нибудь ответственное лицо, которое не бежит, не кричит и не размахивает руками, – из самых общих соображений было ясно, что должен же где-то здесь быть некий штаб, откуда и направляется вся эта кипучая деятельность.

Первая комната оказалась пуста. Во второй – один человек в подштанниках громко кричал в телефонную трубку, а второй, чертыхаясь, натягивал на себя узкий канцелярский халат. Из-под халата выглядывали полицейские бриджи и чиненые-перечиненые полицейские же штилеты без шнурков. Заглянув в третий кабинет, Андрей получил по глазам чем-то розовым с пуговицами и тотчас же отпрянул, успев заметить только весьма дородные и явно женские телеса. Зато в четвертой комнате оказался Наставник.

Он сидел на подоконнике с ногами, обхватив руками колени, и смотрел в черноту за стеклом, озаряемую летящим светом фар. Когда Андрей вошел, он повернул к нему доброе румяное лицо, как всегда немного вздернул брови и улыбнулся. И увидев эту улыбку, Андрей сразу успокоился. Злость его и ожесточение прошли, и стало ясно, что в конце концов все обязательно образуется, станет на свои места и вообще окончится благополучно.

– Вот, – сказал он, разводя руки и улыбаясь в ответ. – Оказался никому не нужен. Машину водить не умею, где находится гимназиум – не знаю... Суматоха, ничего не понять...

– Да, – сочувственно согласился Наставник. – Ужасная суматоха. – Он спустил ноги с подоконника, засунул под себя ладони и поболтал ногами, как ребенок. – Даже неприлично. Стыдно даже. Серьезные взрослые люди, в большинстве своем опытные... Значит, не хватает организованности! Правильно, Андрей? Значит, какие-то важные вопросы пущены на самотек. Неподготовленность... недостаток дисциплины... Ну и бюрократизм, конечно.

– Да! – сказал Андрей. – Конечно! Я, знаете, что решил? Не буду я больше никого искать, и не буду я ничего выяснять, а возьму какую-нибудь палку и пойду. Присоединюсь к какому-нибудь отряду. А если не примут – сам. Там ведь женщины остались... и дети...

На каждое его слово Наставник коротко кивал, он больше не улыбался, лицо у него теперь было серьезное и сочувственное.

– Вот только одно... – сказал Андрей, сморщившись. – Как с Дональдом?

– С Дональдом? – переспросил Наставник, приподнимая брови. – Ах, с Дональдом Купером? – Он засмеялся. – Вы, конечно, решили, что Дональд Купер уже арестован и покаялся в своих преступлениях... Ничего подобного. Дональд Купер как раз сейчас организует отряд

добровольцев для отражения этого бесстыдного нашествия, и, конечно, никакой он не гангстер и никаких преступлений не совершал, а пистолет выменял на черном рынке за старинные часы с репетиром. Что делать? Он всю жизнь проходил с оружием в кармане – привык!

– Ну, конечно! – сказал Андрей, чувствуя огромное облегчение. – Ясно же! Я ведь и сам не верил, просто я считал, что... Ладно! – Он повернулся, чтобы идти, но остановился. – Скажите... если не секрет, конечно... Скажите, зачем все это? Обезьяны! Откуда они? Что они должны доказать?

Наставник вздохнул и слез с подоконника.

– Вы опять задаете мне вопросы, Андрей, на которые...

– Нет! «Я все понимаю!» – проникновенно сказал Андрей, прижимая руку к груди. – Я только...

– Подождите. Вы опять задаете мне вопросы, на которые я просто не умею ответить. Поймите вы это, наконец: НЕ УМЕЮ!.. Эрозия построек, помните? Превращение воды в желчь... Впрочем, это было еще до вас... Теперь вот – павианы... Помните, вы все у меня допытывались, как это так: люди разных национальностей, а говорят все на одном языке и даже не подозревают этого. Помните, как это вас поражало, как вы недоумевали, пугались даже, как доказывали Кэнси, что он говорит по-русски, а Кэнси доказывал вам, что это вы сами говорите по-японски, помните? А теперь вот вы привыкли, теперь эти вопросы вам и в голову не приходят. Одно из условий Эксперимента. Эксперимент есть Эксперимент, что здесь еще можно сказать? – Он улыбнулся. – Ну, идите, идите, Андрей. Ваше место – там. Действие прежде всего. Каждый на своем месте, и каждый – все, что может!

И Андрей вышел, и даже не вышел, а выскочил в коридор, теперь уже совсем опустевший, и скатился по парадной лестнице на площадку, и сразу же увидел деловитую, несуетливую толпу вокруг грузовика под фонарем и не колеблясь вмешался в эту толпу, протолкался вперед, ему сунули в руки тяжелое металлическое копьё, и он почувствовал себя вооруженным, сильным и готовым к решительному бою.

Неподалеку кто-то – очень знакомый голос! – зычно командовал строиться в колонну по три, и Андрей, держа копьё на плече, побежал туда и нашел себе место между грузным латиноамериканцем в подтяжках поверх ночной сорочки и тощим белобрысым интеллигентом в помятом костюме, который страшно нервничал – то и дело снимал свои очки, дышал на стекла, протирал носовым платочком и снова водружал на нос, поправляя двумя пальцами.

Отряд был невелик, всего человек тридцать. А командовал, оказывается, Фриц Гейгер, что было, с одной стороны, достаточно обидно,

но, с другой стороны, нельзя было не признать, что в данной ситуации Фриц Гейгер, хотя и является бывшим фашистским недобитком, но оказался как-никак на своем, так сказать, месте.

Как и полагается бывшему унтер-офицеру вермахта, в выражениях он не стеснялся, и слушать его было довольно противно. «Па-а-др-равняйся! – орал он на всю площадь, словно командовал полком на строевых учениях. – Эй, вы, там, в шлепанцах! Да, вы! Подберите брюхо!.. А вы что там раскорячились, как корова после случки? Вас не касается? Пики – к ноге!.. Не на плечо, а к ноге, я сказал, – вы, баба в подтяжках! Смир-р-рна! За мной, шагом... Ат-ставить! Шагом... арш!» Кое-как двинулись. Андрею сразу же наступили сзади на ногу, он споткнулся, толкнул плечом интеллигента, и тот, конечно, выронил в очередной раз протираемые очки. «Кар-р-рова!» – сказал ему Андрей, не сдержавшись. «Осторожнее! – завопил интеллигент высоким голосом. – Ради бога!..» Андрей помог ему найти очки, а когда Фриц налетел на них, захлебываясь от ярости, Андрей послал его к чертовой матери.

Вдвоем с интеллигентом, не перестававшим благодарить и спотыкаться, они догнали колонну, прошли еще метров двадцать и получили приказ «по машинам». Машина, впрочем, была всего одна – мощный спецгрузовик для перевозки цементного раствора. Когда погрузились, выяснилось, что под ногами чавкает и хлюпает. Человек в шлепанцах грузно перелез обратно через борт и объявил высоким голосом, что на ЭТОЙ машине лично он никуда не поедет. Фриц приказал ему вернуться в кузов. Человек еще более высоким голосом возразил, что он в шлепанцах и у него промокли ноги. Фриц помянул супоросую свинью. Человек в промокших шлепанцах, нисколько не испугавшись, возразил, что ОН-то как раз не свинья, что свинья, возможно, и согласилась бы ехать в этой грязи, – он приносит глубокие извинения всем, согласившимся ехать в этом свинарнике, но... Тут из кузова вылез вдруг латиноамериканец, презрительно сплюнул Фрицу под ноги и, сунув большие пальцы под подтяжки, неторопливо зашагал прочь.

Наблюдая все это, Андрей испытывал определенное злорадство. Не то чтобы он одобрял поведение человека в шлепанцах и тем более поступок мексиканца – несомненно, оба они поступили не по-товарищески и вообще вели себя как обыватели, – но было крайне любопытно посмотреть, что теперь будет делать наш битый унтер и как он выберется из создавшейся ситуации.

Андрей был вынужден признать, что битый унтер выбрался из ситуации с честью. Не говоря ни слова, Фриц повернулся на каблуке,

вскочил на подножку рядом с шофером и скомандовал: «Поехали!» Грузовик тронулся, и в ту же минуту включили солнце.

С трудом удерживаясь на ногах, поминутно хватаясь за соседей, Андрей, вывернув шею, наблюдал, как на своем обычном месте медленно разгорается малиновый диск. Сначала диск дрожал, словно пульсируя, становясь все ярче и ярче, наливался оранжевым, желтым, белым, потом он на мгновение погас и сейчас же вспыхнул во всю силу так, что смотреть на него стало невозможно.

Начался новый день. Непроглядно черное беззвездное небо сделалось мутно-голубым, знойным, пахнуло жарким, как из пустыни, ветром, и Город возник вокруг как бы из ничего – яркий, пестрый, исполосованный синеватыми тенями, огромный, широкий... Этажи громоздились над этажами, здания громоздились над зданиями, и ни одно здание не было похоже на другое, и стала видна раскаленная Желтая Стена, уходящая в небо справа, а слева, в просветах над крышами, возникла голубая пустота, как будто там было море, и сразу же захотелось пить. Многие по привычке сейчас же посмотрели на часы. Было ровно восемь.

Ехали недолго. Видимо, обезьянны полчища еще не добрались сюда – улицы были тихи и пустынно, как всегда, в этот ранний час. Кое-где в домах распахивались окна, заспанные люди сонно потягивались, равнодушно поглядывая на грузовик. Женщины в чепчиках вывешивали на подоконники матрасы, на одном из балконов усердно занимался зарядкой жилистый старик с развевающейся бородой и в полосатых трусах. Сюда паника еще не докатилась, но ближе к Шестнадцатому кварталу стали попадаться первые беженцы, встрепанные, не столько испуганные, сколько злые, некоторые с узлами за спиной. Эти люди, увидев грузовик, останавливались, махали руками, кричали что-то. Грузовик с ревом повернул на Четвертую Левую, чуть не сбив престарелую пару, катившую перед собой двухколесную тележку с чемоданами, и остановился. Все сразу увидели павианов.

Павианы держались на Четвертой Лево́й как у себя дома – в джунглях или где они там живут. Загнув крючками хвосты, они ленивыми толпами бродили с тротуара на тротуар, весело прыгали по карнизам, раскачивались на фонарях, сосредоточенно искали, забравшись на рекламные тумбы, зычно перекликались, гримасничали, дрались и непринужденно занимались любовью. Шайка серебристых громил разносила продуктовый ларек, двое хвостатых хулиганов приставали к побелевшей от ужаса женщине, обмершей в подъезде, а какая-то мохнатая красотка, расположившись в будке регулировщика, кокетливо показывала Андрею язык. Теплый ветер нес вдоль улицы клубы

пыли, перья из перин, листки бумаги, клочья шерсти и уже устоявшиеся запахи зверинца.

Андрей растерянно посмотрел на Фрица. Гейгер, сощурившись, с видом завязатого полководца озирал поле предстоящих действий. Шофер выключил двигатель, и наступившая тишина наполнилась дикими, совершенно не городскими звуками – ревом и мявом, низким бархатным курлыканьем, рыганьем, чавканьем, хрюканьем... Тут осажденная женщина вдруг завизжала изо всех сил, и Фриц приступил к делу.

– Выходи! – скомандовал он. – Живо, живо! Развернуться в цепь... В цепь, я сказал, а не в кучу! Вперед! Бейте их, гоните! Чтоб ни одной твари здесь не осталось! Бить по головам и по хребту! Не колоть, а бить! Вперед, живо! Не останавливаться, эй, вы, там!..

Андрей выскочил одним из первых. В цепь он разворачиваться не стал, а, перехватив свой железный дрын поудобнее, устремился прямо на помощь женщине. Хвостатые хулиганы, увидев его, залились дьявольским хохотом и вприпрыжку умчались вверх по улице, издевательски виляя лоснящимися ягодицами. Женщина продолжала визжать, изо всех сил зажмурившись и сжав кулаки, но теперь ей ничего больше не грозило, и Андрей, оставив ее, направился к бандитам, которые грабили ларек.

Это были могучие, видавшие виды экземпляры, особенно один, с угольно-черным хвостом, – он сидел на бочке, запускал в нее по плечо длиннущую мохнатую лапу, извлекал соленые огурцы и смачно хрупал ими, время от времени поплеывая на своих дружков, азартно отдиравших фанерную стену ларька. Заметив приближающегося Андрея, чернохвостый перестал жевать и плотоядно ухмыльнулся. Андрею эта ухмылка крайне не понравилась, но отступить было невозможно. Он взмахнул железным шестом, заорал: «Пшел!» и бросился вперед.

Чернохвостый оскалился еще пуще – клыки у него были, как у кашалота, – лениво соскочил с бочки, отошел на несколько шагов в сторону и принялся выкусывать под мышкой. «Пшел, зараза!» – заорал Андрей еще громче и с размаху ударил железом по бочке. Тогда чернохвостый метнулся в сторону и одним прыжком оказался на карнизе второго этажа. Ободренный трусостью противника, Андрей подскочил к ларьку и грохнул своим ломом по стенке. Стенка дала трещину, приятели чернохвостого прыснули в разные стороны. Поле боя очистилось, Андрей огляделся.

Боевые порядки Фрица распались. Бойцы растерянно бродили по опустевшей улице, заглядывали в подворотни, останавливались и,

задрав головы, смотрели на павианов, усеявших карнизы домов. Вдалеке, вращая над головой палкой, пылил по мостовой давешний интеллигент, преследуя какую-то хромую обезьяну, неторопливо трусившую в двух шагах перед ним. Воевать было не с кем, даже Фриц растерялся. Он стоял возле грузовика, хмурился и кусал палец.

Притихшие было павианы, ощутив себя в безопасности, снова принялись обмениваться репликами, чесаться и заниматься любовью. Наиболее наглые спускались пониже, с явной руганью гримасничали и оскорбительно показывали зады. Андрей снова увидел чернохвостого: тот был уже на другой стороне улицы, сидел на фонаре и заливался смехом. К фонарю с угрожающим видом направился маленький чернявый человек, похожий на грека. Он размахнулся и изо всей силы запустил железным штырем в чернохвостого. Раздался звон и дребезг, посыпалось стекло, чернохвостый от неожиданности подскочил на метр, чуть не сорвался, но ловко ухватился хвостом, принял прежнюю позу и вдруг, выгнув спину, обдал грека струей жидкого кала. У Андрея подступило к горлу, и он отвернулся. Поражение было полным, придумать что бы то ни было не представлялось возможным. Тогда Андрей подошел к Фрицу и спросил негромко:

– Ну, что будем делать?

– Хрен его знает, – злобно сказал Фриц. – Огнемёт бы сюда...

– Может, кирпичей привезти? – спросил, подойдя, прыщавый парень в комбинезоне. – Я с кирпичного. Машина есть, в полчаса обернемся...

– Нет, – авторитетно произнес Фриц. – Кирпичи не годятся. Все стекла перебьём, а потом они же нас этими же кирпичами... Нет. Тут надо бы какую-нибудь пиротехнику... Ракеты, петарды... Эх, фосгену бы десяток баллонов!

– Откуда в городе петарды? – произнес презрительный бас. – А что касается фосгена, то, по-моему, уж лучше павианы...

Вокруг начальства начала собираться толпа. Один чернявый грек остался в стороне – изрыгая нечеловеческие проклятия, он отмылся у водоразборной колонки.

Краем глаза Андрей наблюдал, как чернохвостый и его приятели бочком-бочком снова подбираются к ларьку. Тут и там в окнах домов стали появляться бледные от пережитых страхов и красные от раздражения лица аборигенов, в основном женские. «Ну, чего вы там стали? – сердито кричали из окон. – Прогоните же их, вы, мужчины!.. Смотрите, ларек грабят!.. Мужчины, чего же вы стоите? Эй, ты, белобрысый! Командуй, что ли?.. Что вы стоите, как столбы?.. Господи, у меня дети плачут! Сделайте же так, чтобы мы могли выйти!.. Мужчины

называется! Обезьян испугались!..» Мужчины угрюмо и пристыженно огрызались. Настроение было подавленное.

– Пожарников! Пожарников надо вызывать! – твердил презрительный бас, предпочитавший павианов фосгену. – С лестницами, с брандспойтами...

– Да бросьте вы, откуда у нас столько пожарников...

– Пожарники – на Главной.

– Может, факелы какие-нибудь запалить? Может, они огня испугаются!

– Черт! Какого дьявола у полицейских отобрали оружие? Пусть раздадут!

– А не двинуть ли нам, ребята, по домам? Я как подумаю, что у меня жена там сейчас одна...

– Это вы бросьте. У всех жены. Эти женщины – тоже чьи-то жены.

– Так-то оно так...

– Может, на крыши взобраться? С крыш их чем-нибудь... того...

– Чем ты их достанешь, балда? Палкой своей, что ли?

– У, гады! – заревел вдруг с ненавистью презрительный бас, разбежался и с натугой метнул свой лом в многострадальный ларек. Фанерную стенку пробило насквозь, шайка чернохвостого глянула с удивлением, помедлила и снова принялась за огурцы и картошку. Женщины в окнах издевательски захохотали.

– Ну что ж, – сказал кто-то рассудительно. – Во всяком случае, мы своим присутствием задерживаем их здесь, стесняем их, так сказать, действия. И то хорошо. Пока мы здесь, они побоятся продвинуться дальше в глубину...

Все принялись озираться и загомонили. Рассудительного быстро заставили замолчать. Во-первых, выяснилось, что павианы продвигаются-таки в глубину, невзирая на присутствие здесь рассудительного. А во-вторых, если бы даже они и не продвигались, то что же он, рассудительный, – собрался ночевать здесь? Жить здесь? Спать здесь? Какать и писать здесь?..

Тут послышалось неторопливое цоканье копыт, тележный скрип, все посмотрели вверх по улице и замолчали. По мостовой неторопливо приближалась пароконная телега. На телеге боком, свесив ноги в грубых кирзовых сапогах, дремал крупный мужчина в выгоревшей гимнастерке русского военного образца и в выгоревших же бриджах хэ-бэ. Склоненная голова мужчины была сплошь покрыта спутанным русым волосом. В огромных коричневых руках он вяло держал вожжи. Лошади – одна гнедая, другая серая в яблоках – переступали лениво и тоже, кажется, дремали на ходу.

– На рынок едет, – сказал кто-то почтительно. – Фермер.

– Да, ребята, фермерам горюшка мало – когда еще до них эта сволочь доберется...

– Между прочим, как представлю я себе павианов на посевах!..

Андрей с любопытством приглядывался. Фермера он видел впервые за все время своего пребывания в Городе, хотя слышал об этих людях немало – были они, якобы, угрюмы и диковаты, жили далеко в диких местах, вели там суровую борьбу с болотами и джунглями, в город наезжали только для сбыта продуктов своего хозяйства и, в отличие от горожан, никогда не меняли профессии.

Телега медленно приближалась, возница, вздрагивая опущенной головой, время от времени, не просыпаясь, чмокал губами, несильно дергая вожжи, и вдруг обезьяны, настроенные до того довольно миролюбиво, пришли в необычайное злобное возбуждение. То ли их раздражили лошади, то ли им надоело, наконец, присутствие посторонних толп на их улице, но они вдруг загомонили, заметались, зашверкали клыками, а несколько самых решительных вскарабкались по водостокам на крышу и принялись ломать там черепицу.

Один из первых обломков угодил вознице прямо между лопаток. Фермер вздрогнул, выпрямился и широко раскрытыми налитыми глазами обвел окрестности. Первым, кого он заметил, был все тот же очкастый интеллигент, который устало возвращался из своей безрезультатной погони и одиноко маячил позади телеги. Не говоря ни слова, фермер бросил вожжи (лошади сразу остановились), соскочил с телеги и, разворачиваясь на ходу, ринулся было к обидчику, но тут другой кусок черепицы угодил интеллигенту по темечку. Интеллигент охнул, выронил шест и присел на корточки, обхватив руками голову. Фермер озадаченно остановился. Вокруг него на мостовую с треском падали куски черепицы, разлетаясь в оранжевую крошку.

– Отряд, в укрытие! – bravo скомандовал Фриц и устремился в ближайшую подворотню. Все кинулись кто куда, врассыпную, Андрей прижался к стене в мертвой зоне и с интересом следил за фермером, который в полном обалдении озирался по сторонам и, по-видимому, ничегошеньки не соображал. Затуманенный взор его скользил по карнизам и водосточным трубам, облепленным беснующимися павианами, он зажмурился и затряс головой, а потом снова широко раскрыл глаза и громко произнес:

– Ядрит твою налево!

– В укрытие! – кричали ему со всех сторон. – Эй, борода! Сюда давай! По кумполу же получишь, обалдуй болотный!..

– Что же это такое? – громко спросил фермер, обращаясь к интеллигенту, ползающему на карачках в поисках очков. – Это кто же такие здесь, вы не скажете?

– Обезьяны, разумеется, – сердито ответил интеллигент. – Неужели вы сами не видите, сударь?

– Ну и порядочки тут у вас, – ошеломленно произнес фермер, только теперь окончательно проснувшись. – И вечно вы тут что-нибудь выдумаете...

Этот сын болот был настроен теперь философски и добродушно. Он убедился, что нанесенная ему обида не может, собственно, считаться таковой, и теперь был просто несколько ошарашен зрелищем мохнатых орд, прыгающих по карнизам и фонарям. Он только укоризненно покачивал головой и скреб в бороде. Но тут интеллигент нашел, наконец, свои очки, подобрал шест и опрометью кинулся в укрытие, так что фермер остался посреди мостовой один-одинешенек – единственная и достаточно соблазнительная мишень для волосатых снайперов. Крайняя невыгодность такой позиции не замедлила себя обнаружить. Дюжина крупных осколков с треском лопнула у его ног, а обломки помельче забарабанили по патлатой голове и по плечам.

– Да что ж это такое! – взревел фермер. Новый осколок стукнул его в лоб. Фермер замолчал и стремглав бросился к своей телеге.

Это было как раз напротив Андрея, и Андрей подумал сначала, что фермер упадет сейчас боком на телегу, махнет по всем по двум и умчится к себе на болота, подальше от этого опасного места. Но бородач и не думал махать по всем по двум. Бормоча: «З-за-ра-зы, пр-ро-ститутки...», он с лихорадочной поспешностью и очень ловко расшпиливал свой воз. Андрею за его широкой спиной не было видно, что он там делает, но женщины в доме напротив все видели – они вдруг разом завизжали, захлопнули окна и скрылись. Андрей глазом моргнуть не успел. Бородач ловко присел на корточки, и над его головой поднялся к крышам толстый, масляно отсвечивающий ствол в дырчатом металлическом кожухе.

– А-атставить! – заорал Фриц, и Андрей увидел, как он громадными прыжками несется откуда-то справа напрямиком к телеге.

– Ну, гады, ну, заразы... – бормотал бородач, совершая какие-то замысловатые и очень сноровистые движения руками, сопровождавшиеся скользкими металлическими щелчками и позвякиваниями. Андрей весь напрягся в предчувствии грохота и огня, и обезьяны на крыше, видимо, тоже что-то почуяли. Они перестали швыряться, присели на хвосты и, беспокойно вертя собачьими головами, принялись трескуче обмениваться какими-то своими соображениями.

Но Фриц был уже рядом с телегой. Он схватил бородача за плечо и повелительно повторил:

– Отставить!

– Подожди! – досадливо бормотал бородач, дергая плечом. – Да подожди, дай я их срежу, сволочь хвостатую...

– Я приказал – отставить! – гаркнул Фриц.

Тогда бородач поднял на него лицо и медленно поднялся.

– Чего такое? – спросил он, с невероятным презрением растягивая слова. Ростом он был с Фрица, но заметно шире его и в плечах, и пониже спины.

– Откуда у вас оружие? – резко спросил Фриц. – Предъявите документы!

– Ах ты сопляк! – с грозным удивлением сказал бородач. – Документы ему! А вот этого не хочешь, вошь белобрысая?

Фриц не обратил внимания на неприличный жест. Продолжая глядеть бородачу прямо в глаза, он гаркнул на всю улицу:

– Румер! Воронин! Фрижа! Ко мне!

Услыхав свою фамилию, Андрей удивился, но тут же оттолкнулся от стены и неторопливо подошел к телеге. С другой стороны мелкой трусцой приближался приземистый вислоплечий Румер, в прошлом – профессиональный боксер, и бежал со всех ног дружок Фрица, маленький, тощий Отто Фрижа, золотушный юноша с сильно оттопыренными ушами.

– Давайте, давайте... – недобро усмехаясь, приговаривал фермер, наблюдая все эти военные приготовления.

– Я еще раз настоятельно прошу вас предъявить документы, – с ледяной вежливостью повторил Фриц.

– А шел бы ты в жопу, – лениво отвечивал бородач. Смотрел он теперь главным образом на Румера, а руку как бы невзначай положил на кнутовище весьма внушительного кнута, искусно сплетенного из сыромятной кожи.

– Ребята, ребята! – предостерегающе сказал Андрей. – Слушай, солдат, брось, не спорь, мы из мэрии...

– Барал я вашу мэрию, – отвечивал солдат, недобрым взглядом измеряя Румера с головы до пят.

– Ну, в чем тут дело? – осведомился тот негромко и очень хрипло.

– Вы отлично знаете, – сказал Фриц бородачу, – что оружие в черте города запрещено. Тем более – пулемет. Если у вас есть разрешение, прошу предъявить.

– А кто вы такие – разрешение у меня спрашивать? Что вы мне – полиция? Гестапо какое-нибудь?

– Мы – добровольный отряд самообороны.

Бородач ухмыльнулся.

– Ну и обороняйтесь, если вы из обороны, кто вам мешает?

Назревало нормальное, основательное, вдумчивое толковище. Отряд постепенно собирался вокруг телеги. Даже аборигены мужского пола вылезли из подъездов – кто с каминными щипцами, кто с кочергой, а кто и с ножкой от стула. С любопытством разглядывали бородача, зловещий пулемет, стоявший на брезенте торчком, что-то округлое и стеклянное, поблескивающее из-под брезента. Принюхивались – фермер был окружен своеобразной атмосферой запахов: пот, чесночная колбаса, спиртное...

Андрей же с каким-то умилением, удивлявшим его самого, разглядывал выцветшую, пропотевшую под мышками гимнастерку с одинокой (и то незастегнутой) бронзовой пуговичкой на вороте, знакомо сдвинутую на правую бровь пилотку со следом пятиконечной звезды, могучие кирзовые сапоги-говнодавы – только бородачи, пожалуй, казалась здесь неуместной, не вписывалась в образ... И тут ему пришло в голову, что у Фрица все это должно было вызывать совсем иные ассоциации и ощущения. Он посмотрел на Фрица. Тот стоял прямой, сжав губы в тонкую линию, собравши нос в презрительные морщины, и старался заледенить бородача взглядом серо-стальных, истинно арийских глаз.

– Нам разрешения не полагаются, – лениво говорил между тем бородач, поигрывая кнутом. – Нам вообще ни хрена не полагается, только кормить вас, дармоедов, нам полагается...

– Ну хорошо, – гундел в задних рядах бас. – А пулемет-то откуда?

– А что – пулемет? Смычка, значит, города и деревни. Я тебе – четверть первача, ты мне – пулемет, все честно-благородно...

– Ну нет, – гундел бас. – Пулемет все-таки – это вам не игрушка, не молотилка какая-нибудь там...

– А мне вот, кажется, – вмешался рассудительный, – что фермерам как раз оружие разрешено!

– Оружие никому не разрешено! – пискнул Фрижа и сильно покраснел.

– Ну и глупо! – откликнулся рассудительный.

– Ясное дело, что глупо, – сказал бородач. – Посидел бы ты у нас на болотах, да ночью, да еще когда гон идет...

– У кого гон? – с живейшим интересом осведомился интеллигент, протискавшийся со своими очками в первый ряд.

– У кого надо, у того и гон, – ответил ему фермер пренебрежительно.

– Нет, нет, позвольте... – заторопился интеллигент. – Ведь я биолог, и мне до сих пор не удается...

– Помолчите, – сказал ему Фриц. – А вам, – продолжал он, обращаясь к бородачу, – я предлагаю следовать за мной. Во избежание напрасного кровопролития предлагаю!

Взгляды их скрестились. И ведь надо же, почуял как-то прекрасный бородач, по каким-то одному ему заметным черточкам понял, с кем приходится иметь дело. Борода его раскололась ехидной ухмылкой, и он произнес противным, оскорбительно-тоненьким голосом:

– Млеко-яйки? Гитлер капут!

Ни черта не боялся он кровопролития – ни напрасного, никакого.

Фрица словно ударили в подбородок. Он откинул голову, бледное лицо сделалось пунцовым, на скулах выступили желваки. На мгновение Андрею показалось, что он сейчас бросится на бородача, и Андрей даже подался вперед, чтобы встать между ними, но Фриц сдержался. Кровь снова отлила от его лица, и он сухо объявил:

– Это к делу не относится. Извольте следовать за мной.

– Да отстаньте вы от него, Гейгер! – сказал бас. – Ясно же, что это фермер. Виданное ли это дело – к фермерам приставать!

И все вокруг закивали, и забормотали, что да, явный фермер, уедет и пулемет с собою заберет, не гангстер же он какой-нибудь, в самом-то деле.

– Нам павианов отражать надо, а мы тут в полицию играем, – добавил рассудительный.

Напряжение сразу вдруг разрядилось. Все вспомнили о павианах. Оказывается, павианы вновь разгуливали, где хотели, и держались как у себя в джунглях. Выяснилось также, что местному населению, по-видимому, надоело ждать решительных действий отряда самообороны. Население, по-видимому, решило, что толку от этого отряда не будет и надо как-то устраиваться самим. И уже женщины с кошелками, деловито поджав губы, спешили по своим утренним делам, причем многие держали в руках веники и палки от швабр, чтобы отмахиваться от самых настырных обезьян. С витрины магазина снимали ставни, а ларечник ходил вокруг своего разгромленного ларька, кряхтел, почесывал спину и явно что-то такое прикидывал. На автобусной остановке выросла очередь, а вот и первый автобус появился вдали. Нарушая постановление городского управления, он громко сигналил, разгоняя павианов, не знакомых с правилами уличного движения.

– Да, господа мои, – сказал кто-то. – Видимо, придется нам и к этому приспособиться. По домам, что ли, командир?

Фриц угрюмо исподлобья оглядывал улицу.

– Ну что ж... – произнес он обыкновенным человеческим голосом.
– По домам так по домам.

Он повернулся и, сунув руки в карманы, первым направился к грузовику. Отряд потянулся за ним. Чиркали спички и зажигалки, кто-то обеспокоенно спрашивал, как же быть с опозданием на службу, хорошо бы справку какую-нибудь получить... Рассудительный и тут нашелся: сегодня все на службу опоздают, какие там еще справки. Толковище вокруг телеги рассосалось. Остались только Андрей да очкастый биолог, который твердо положил себе выяснить, у кого же все-таки на болотах бывает гон.

Бородач, разбирая и вновь упаковывая пулемет, снисходительно пояснял, что гон на болотах бывает, брат, у краснух, а краснухи, брат, это вроде крокодилов. Видал крокодилов? Ну вот, только шерстью обросшие. Красной такой шерстью, жесткой. И когда у них гон идет, тут уж, браток, держись подальше. Во-первых, они здоровые, что твои быки, а во-вторых, ничего во время этого дела не замечают – дом не дом, сарай не сарай, все разносят в щепки...

Глаза у интеллигента горели, он жадно слушал, поминутно поправляя очки растопыренными пальцами. Фриц позвал из грузовика: «Эй, вы едете или нет? Андрей!» Интеллигент оглянулся на грузовик, посмотрел на часы, жалобно застонал и принялся бормотать извинения и благодарности. Потом он схватил бородача за руку, изо всех сил потряс и убежал. А Андрей остался.

Он и сам не знал, почему остается. У него случилось что-то вроде приступа ностальгии. И не то, чтобы он соскучился по русской речи – ведь все кругом говорили по-русски; и не то, чтобы этот бородач казался ему воплощением родины, вовсе нет. Но было в нем что-то такое, по чему Андрей основательно истосковался, что-то такое, чего он не мог получить ни от строгого язвительного Дональда, ни от веселого, горячего, но все-таки какого-то чужого Кэнси, ни от Вана, всегда доброго, всегда благожелательного, но очень уж забитого. Ни тем более от Фрица, мужика по-своему замечательного, но как-никак вчерашнего смертельного врага... Андрей и не подозревал, что так истосковался по этому загадочному «чему-то».

Бородач искоса взглянул на него и спросил:

– Земляк, что ли?

– Ленинградец, – сказал Андрей, ощущая неловкость, и, чтобы как-то затушевать эту неловкость, достал сигареты и предложил бородачу.

– Вон как... – сказал тот, вытаскивая сигарету из пачки. – Земляки, выходит. А я, браток, вологодский. Череповец – слышал? Охцымохцы Череповцы...

– А как же! – страшно обрадовался Андрей. – Там же сейчас металлургический комбинат отгрохали, крупнейший заводище!

– Ой ты? – сказал бородач довольно равнодушно. – И его, значит, тоже в оборот взяли... Ну ладно. А ты что здесь делаешь? Как зовут-то?

Андрей назвался.

– А я, видишь ты, крестьянствую, – продолжал бородач. – Фермер, по-здешнему. Юрий Константинович, фамилия – Давыдов. Выпить хочешь?

Андрей замялся.

– Рановато как будто... – сказал он.

– Ну, может, и рановато, – согласился Юрий Константинович. – Мне ведь еще на рынок надо. Я, понимаешь, вчера вечером приехал и – прямо в мастерские, мне там давно пулемет обещали. Ну, то, се, опробовали машинку, сгрузил я им, значит, окорока, четверть самогону, гляжу – солнце выключили... – Рассказывая все это, Давыдов кончил упаковывать свой воз, разобрал вожжи, сел боком в телегу и тронул лошадей. Андрей пошел рядом.

– Да-а, – продолжал Юрий Константинович. – Выключили тут, значит, солнце. А он мне и говорит: «Пойдем, говорит, я тут одно место знаю». Поехали мы туда, выпили, закусили. С водкой сам знаешь в городе как, а у меня самогон. Они, видишь ты, музычку ставят, а я выпивку. Ну, бабы, конечно... – Давыдов пошевелил бородой от воспоминаний, затем продолжал, понизив голос: – У нас, браток, на болотах с бабами очень туго. Есть, понимаешь, одна вдова, ну, ходим к ней... у ней муж в запрошлом году утонул... Ну и знаешь же, как получается, – сходить-то сходишь, деваться некуда, а потом – то ты ей молотилку почини, то с урожаем подсоби, то культиватор... А, з-зараза! – Он вытянул кнутом павиана, увязавшегося за телегой. – В общем, житуха у нас там, браток, приближенная к боевым условиям. Без оружия никак нельзя. А кто этот тут у вас, белобрысый? Немец?

– Немец, – сказал Андрей. – Бывший унтер-офицер, под Кенигсбергом попал в плен, а из плена – сюда...

– То-то я смотрю – морда противная, – сказал Давыдов. – Они, глистоперы, меня до самой Москвы гнали, в госпиталь загнали, ползадницы начисто снесли. Ну, а потом я им тоже дал. Танкист я, понял? В последний раз уже под Прагой горел... – Он опять покрутил бородой. – Ну ты скажи, какая судьба! Надо же, где встретились!

– Да нет, он мужик ничего, деловой, – сказал Андрей. – И смелый. Выпендриваться, правда, любит, но работник хороший, энергичный. Для Эксперимента он, по-моему, очень полезный человек. Организатор.

Давыдов некоторое время молчал, почмокивая на лошадей.

– Приезжает это к нам на болота один на прошлой неделе, – заговорил он наконец. – Ну, собрались мы у Ковальского – это тоже фермер, поляк, километрах в десяти от меня, дом у него хороший, большой. Да-а... Собрались, значит. Ну, и этот начинает нам баки вертеть: есть ли у нас правильное понимание задач Эксперимента. А сам он из мэрии, из сельхозотдела. Ну, и мы видим, конечно, что ведет он к тому, что ежели, скажем, есть у нас правильное понимание, то хорошо бы, значит, налог повысить... А ты женатый? – спросил он вдруг.

– Нет, – сказал Андрей.

– Я это к тому, что переночевать бы мне сегодня где-нибудь. У меня еще завтра утром здесь одно дело назначено.

– Ну конечно! – сказал Андрей. – Какой может быть разговор? Приезжайте, ночуйте, места у меня сколько угодно, буду только рад...

– Ну и я буду рад, – сказал Давыдов, улыбаясь. – Как-никак, а земляки все-таки.

– Адрес запишите, – сказал Андрей. – Есть у вас на чем записать?

– Говори так, – сказал Давыдов. – Я запомню.

– Адрес простой: улица Главная, дом сто пять, квартира шестнадцать. Со двора. Если меня вдруг не будет, загляните к дворнику, там китаец есть такой, Ван, я у него ключ оставлю.

Очень Давыдов нравился Андрею, хотя, по-видимому, взгляды их не во всем совпадали.

– Ты какого года? – спросил Давыдов.

– Двадцать восьмого.

– А из России когда?

– В пятьдесят первом. Всего четыре месяца назад.

– Ага. А я из России в сорок седьмом сюда подался... Скажи-ка ты мне, Андрюха, как там на деревне – лучше стало?

– Ну конечно! – сказал Андрей. – Все восстановили, цены каждый год снижают... Сам я в деревне, правда, после войны не был, но, если судить по кино, по книгам, живут теперь в деревне богато.

– Гм... Кино, – с сомнением произнес Давыдов. – Кино, понимаешь, это такое дело...

– Нет, ну почему же... В городе, в магазинах-то все есть. Карточки отменили давно. Откуда берется? Из деревни ведь...

– Это точно, – сказал Давыдов. – Из деревни... А я, понимаешь, пришел с фронта – жены нет, померла. Сын без вести пропал. На деревне – пустота. Ладно, думаю, это мы поправим. Войну кто выиграл? Мы! Значит, теперь наша сила. Предлагают мне председателем. Согласился. На деревне одни бабы, так что и жениться не надо было. Сорок шестой кое-как протянули, ну, думаю, теперь полегче станет... – Он вдруг замолчал и молчал долго, словно бы забыв про Андрея. – Счастье для всего человечества! – проговорил он неожиданно. – Ты как – в это веришь?

– Конечно.

– Вот и я поверил. Нет, думаю, деревня – это дело мертвое. Это ошибка какая-то, думаю. До войны – за грудь, после войны – за горло. Нет, думаю, так они нас задавят. И жизнь ведь, понимаешь, беспросветная, как генеральские погоны. Я уж было пить начал, а тут – Эксперимент. – Он тяжело вздохнул. – Значит, ты полагаешь, получится у них Эксперимент?

– Почему это – у них? У нас!

– Ну, пускай у нас. Получится или нет?

– Должен получиться, – сказал Андрей твердо. – Все зависит только от нас.

– Что от нас зависит – мы делаем. Там делали, здесь делаем... Вообще-то, конечно, грех жаловаться. Жизнь хотя и тяжелая, но не в пример. Главное – сам ты, сам, понял? А если приедет какой-нибудь – уронишь его, бывает, в нужник, и вся-кот!.. «Партийный?» – спросил он вдруг.

– Комсомолец. Вы, Юрий Константинович, что-то уж больно мрачно настроены. Эксперимент есть Эксперимент. Трудно, ошибок много, но иначе, наверное, и невозможно. Каждый – на своем посту, каждый – все, что может.

– А ты на каком же посту?

– Мусорщик, – гордо сказал Андрей.

– Большой пост, – сказал Давыдов. – А специальность у тебя есть?

– Специальность у меня очень специальная, – сказал Андрей. – Звездный астроном.

Он произнес это стеснительно и искоса поглядел на Давыдова, ожидая насмешки, но Давыдов, наоборот, страшно заинтересовался.

– В сам-деле, астроном? Слушай, браток, так ты ж должен знать, куда это нас занесло. Планета это какая-нибудь или, скажем, звезда? У нас, на болотах то есть, каждый вечер по этому вопросу сцепляются – до драк доходит, ей-богу! Насосутся самогонки и давай, кто во что горазд... Есть такие, знаешь, что считают: мы здесь вроде как в

аквариуме сидим – тут же, на Земле. Здоровенный такой аквариум, только в нем вместо рыб – люди. Ей-богу! А ты как считаешь – с научной точки зрения?

Андрей почесал в затылке и засмеялся. У него в квартире по этому же поводу дело тоже доходило чуть ли не до драк – и без всякой самогонки. А насчет аквариума буквально теми же словами, хихикая и брызгая, не раз распространялся Изя Кацман.

– Как тебе, понимаешь... – начал он. – Сложно все это. Непонятно. А с научной точки зрения я тебе только одно скажу: вряд ли это другая планета, и тем более – звезда. По-моему, все здесь искусственное, и к астрономии никакого отношения не имеет.

Давыдов покивал.

– Аквариум, – сказал он убежденно. – И солнце здесь вроде лампочки, и стена эта желтая до небес... Слушай-ка, вот этим проулком я на рынок попаду или нет?

– Попадешь, – сказал Андрей. – Адрес мой не забыл?

– Не забыл, вечером жди...

Давыдов хлестнул по лошадям, присвистнул, и телега, грохоча, скрылась в проулке. Андрей направился домой. Вот славный мужик, думал он растроганно. Солдат! В Эксперимент он, конечно, не пошел, а от трудностей убежал, но тут я ему не судья. Он – раненый, хозяйство было разрушено, мог он дрогнуть?.. Да и здесь, видно, житье у него тоже не сахар. Да и не один он здесь такой, дрогнувший, много здесь таких...

По Главной уже всюду разгуливали павианы. То ли Андрей к ним пригляделся, то ли они сами как-то переменились, но они уже вовсе не казались такими наглыми или, тем более, страшными, как несколько часов назад. Они мирно устраивались кучками на солнце-пеке, тараторили, искались, а когда мимо них проходили люди, протягивали мохнатые лапы с черными ладошками и просительно помаргивали слезящимися глазами. Было похоже, как будто в городе объявилось вдруг огромное количество нищих.

У ворот своего дома Андрей увидел Вана. Ван сидел на тумбе, печально сгорбившись, опустив меж колен натруженные руки.

– Баки потеряли? – спросил он, не поднимая головы. – Посмотри, что делается...

Андрей заглянул в подворотню и ужаснулся. Навалено было, казалось, до самой лампочки. Только к двери дворницкой вела узенькая тропиночка.

– Господи! – сказал Андрей и засуетился. – Я сейчас... подожди... сейчас сбегая... – Он судорожно пытался припомнить, по каким

улицам они с Дональдом гнали вчера ночью и в каком месте беженцы вышвырнули баки из кузова.

– Не надо, – безнадежным голосом сказал Ван. – Уже приезжала комиссия. Переписали номера баков, обещали к вечеру привезти. К вечеру они, конечно, не привезут, но, может быть, хотя бы к утру, а?

– Ты понимаешь, Ван, – сказал Андрей, – это был такой ад крошечный, стыдно вспоминать...

– Я знаю. Мне Дональд рассказал, как это было.

– Дональд уже дома? – оживился Андрей.

– Да. Он сказал, чтобы я к нему никого не пускал. Он сказал, что у него болят зубы. Я дал ему бутылку водки, и он ушел.

– Вот как... – проговорил Андрей, снова оглядывая кучи мусора.

И вдруг ему до такой степени, невыносимо, почти до истерики, до крика, захотелось помыться, сбросить вонючий комбинезон, забыть о том, что завтра придется лопатой разворачивать все это добро... Все вокруг стало липким и зловонным, и Андрей, не говоря больше ни слова, бросился через двор, на свою лестницу, наверх, через три ступеньки, дрожа от нетерпения, добрался до квартиры, вытащил из-под резинового коврика ключ, распахнул дверь, и душистая одеколонная прохлада приняла его в свои ласковые объятия.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Прежде всего он разделся. Догола. Скомкал комбинезон и белье, швырнул все в ящик с грязным барахлом. Грязь в грязь. Затем, стоя голышом посередине кухни, он огляделся и содрогнулся от нового отращения. Кухня была завалена грязной посудой. В углах громоздились тарелки, затянутые голубоватой паутиной плесени, милосердно скрывавшей какие-то черные комья. Стол был заставлен мутными захватанными бокалами, стаканами и банками из-под консервированных фруктов. Мойка была забита чашками и блюдами. А на табуретках тихо смердели потемневшие кастрюли, засаленные сковородки, дуршлаг и котелки. Он приблизился к мойке и пустил воду. О счастье! Вода была горячая! И он принялся за дело.

Перебив всю посуду, он схватился за швабру. Он действовал истово и с энтузиазмом, как будто смывал грязь со своего собственного тела. Однако на все пять комнат его не хватило. Он ограничился кухней, столовой и спальней. В остальные комнаты он только заглянул с некоторым недоумением – никак он не мог привыкнуть и понять, зачем одному человеку столько комнат, да еще таких безобразно

огромных и затхлых. Он поплотнее прикрыл двери туда и заставил их стульями.

Теперь надо было бы смотаться в лавку, купить что-нибудь на вечер. Давыдов придет, да и из обычной кофлы кто-нибудь завалится наверняка... Но сначала он решил помыться. Вода шла уже почти холодная, и все-таки это было прекрасно. Потом он застелил на постели свежие простыни. А когда он увидел на своей постели чистое белье, хрустящие накрахмаленные наволочки, когда он ощутил запах свежести, исходивший от них, ему вдруг страшно захотелось полежать чистым телом в этой давно забытой чистоте, и он рухнул так, что взвыли дурные пружины и затрещало старое полированное дерево.

Да, это было прекрасно! Это было прохладно, душисто, скрипуче, и справа, в пределах досягаемости, обнаружилась пачка сигарет и спички, а слева, в тех же пределах, – полочка с избранными детективами. Немного огорчало, что в пределах досягаемости не оказалось пепельницы, а полочку он, оказывается, забыл протереть от пыли, но это уже были совершенные пустяки. Он выбрал «Десять негрят» Агаты Кристи, закурил и принялся читать.

Когда он проснулся, было еще светло. Он прислушался. В квартире и в доме стояла тишина, только вода, обильно капавшая из неисправных кранов, создавала странный звуковой узор. Кроме того, вокруг было чисто, и это тоже было странно и в то же время неизъяснимо приятно. Потом в дверь постучали. Ему представился Давыдов, могучий, загорелый, пахнувший сеном и свежим перегаром, как он стоит на лестничной площадке, держа лошадей под уздцы, с бутылкой самогона наготове. Снова постучали, и он проснулся окончательно.

– Иду! – заорал он, вскочил и забегал по спальне, ища трусы. Ему попались под руку полосатые пижамные штаны, забытые прежними хозяевами, и он торопливо натянул их. Резинка была слабая, и штаны пришлось придерживать сбоку.

Противу ожидания за парадной дверью не слышалось добродушного мата, не ржали кони и не булькала жидкость. Заранее улыбаясь, Андрей отодвинул засов, распахнул дверь, крякнул и отступил на шаг, вцепившись в проклятую резинку и второй рукой тоже. Перед ним стояла давешняя Сельма Нагель, новенькая из восемнадцатого номера.

– Сигареты у вас не найдется? – спросила она без всякой приветливости.

– Да... пожалуйста... заходите... – пробормотал Андрей, пятясь.

Она вошла и прошла мимо него, обдав его запахом какой-то неслыханной парфюмерии. Она прошла в столовую, а он захлопнул дверь и с отчаянным криком «Одну минуточку, подождите, я сейчас!» бросился в спальню. Ай-яй-яй, говорил он себе. Ай-яй-яй, как же это я так... Впрочем, на самом деле он нисколько не стыдился, а был даже рад, что вот его застали такого чистого, умытого, широкоплечего, с гладкой кожей и прекрасно развитыми бицепсами и трицепсами – даже одеваться жалко. Однако одеться было все-таки необходимо, он полез в чемодан, покопался там и натянул гимнастические брюки и синюю застиранную спортивную куртку с переплетенными буквами «ЛУ» на спине и на груди. В таком виде он и явился перед хорошенькой Сельмой Нагель: грудь колесом, плечи разведены, походка с отяжечкой, в протянутой руке – пачка сигарет.

Хорошенькая Сельма Нагель равнодушно взяла сигарету, чиркнула зажигалкой и закурила. На Андрея она даже и не смотрела, и вид у нее был такой, словно на все на свете ей наплевать. Вообще-то при дневном свете она и не казалась такой уж хорошенькой. Лицо у нее было скорее неправильное и грубоватое даже, нос коротковат и вздернут, скулы слишком широкие, а большой рот намазан слишком густо. Однако ножки ее, основательно обнаженные, были превыше всех и всяческих похвал. Остальное, к сожалению, разглядеть было невозможно – черт знает, кто научил ее носить такую мешковатую одежду. Свитер. Да еще с таким ошейником. Как у водолаза.

Она сидела в глубоком кресле, положив одну прекрасную ногу на другую прекрасную ногу, и равнодушно осматривалась, держа сигарету по-солдатски, огоньком в ладонь. Андрей развязно, но изящно присел на край стола и тоже прикурил.

– Меня зовут Андрей, – сказал он.

Она обратила свой равнодушный взгляд на него. И глаза у нее были не такие, какими казались давеча ночью. Глаза были большие, но вовсе не черные, а бледно-голубые, почти прозрачные.

– Андрей, – повторила она. – Поляк?

– Нет, русский. А вас зовут Сельма Нагель, вы из Швеции.

Она покивала.

– Из Швеции... Так это вас вчера в участке лупили?

Андрей опешил.

– В каком участке? Никто меня не лупил.

– Слушай, Андрей, – сказала она. – Почему у меня здесь машинка не работает? – Она вдруг поставила на колено маленькую лакированную коробочку, чуть больше спичечного коробка. – На всех диапазонах один треск и вой, никакого кайфа.

Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением убедился, что это радиоприемник.

– Вот это да! – пробормотал он. – Неужели детекторный?

– Откуда я знаю? – Она отобрала у него приемник, раздалось хрипение, треск разрядов и заунывное подвывание. – Не работает, и все. А ты что, никогда таких не видел?

Андрей помотал головой. Потом сказал:

– Вообще-то он и не должен у тебя работать. Здесь всего одна радиостанция, так она транслирует прямо в сеть.

– Господи, – сказала Сельма. – А что ж тогда здесь делать? И ящика нет...

– Какого ящика?

– Ну, телика... Ти-ви!..

– А... Да, это у нас планируется не скоро.

– Ну и тоска!..

– Можно патефон завести, – предложил Андрей стеснительно. Ему было неловко. Действительно, что это такое – ни радио, ни телевидения, ни кино...

– Патефон? Это еще что такое?

– Не знаешь, что такое патефон? – удивился Андрей. – Ну, граммофон. Ставишь пластинку...

– А, проигрыватель... – сказала Сельма без всякого воодушевления. – А магнитофона нет?

– Вот еще, – сказал Андрей. – Что я тебе – радиоузел, что ли?

– Дикий ты какой-то, – объявила Сельма Нагель. – Одно слово – русский. Ну ладно, граммофон ты свой слушаешь, водку, наверное, пьешь, а еще что ты делаешь? Мотоцикл гоняешь? Или у тебя даже мотоцикла нет?

Андрей рассердился.

– Я сюда не мотоциклы гонять приехал. Я здесь для того, чтобы работать. А вот ты, интересно, что здесь собираешься делать?

– Работать он приехал... – сказала Сельма. – Ты скажи, за что тебя в участке лупили? За наркоту?

– Да не лупили меня в участке! Откуда ты это взяла? И вообще у нас в полиции никого не бьют, это тебе не Швеция.

Сельма присвистнула.

– Ну-ну, – сказала она насмешливо. – Значит, мне померещилось.

Она сунула окурочек в пепельницу, закурила новую сигарету, поднялась и, как-то забавно пританцовывая, прошла по комнате.

– А кто тут до тебя жил? – спросила она, останавливаясь перед огромным овальным портретом какой-то сиреневой дамы с болонкой

на коленях. – У меня, например, – явный сексуальный маньяк. По углам порнография, на стенах – использованные презервативы, а в шкафу – целая коллекция женских подвязок. Даже не поймешь, то ли он фетишист, то ли он лизунчик...

– Врешь, – сказал Андрей, обмирая. – Врешь ты все, Сельма Нагель.

– Зачем это мне врать? – удивилась Сельма. – А кто жил? Не знаешь?

– Мэр! Мэр нынешний там жил, понятно?

– А, – сказала Сельма равнодушно. – Понятно.

– Что – понятно? – сказал Андрей. – Что это тебе понятно?! – вскричал он, накаляясь. – Что ты вообще можешь здесь понимать?! – Он замолчал. Об этом нельзя было говорить. Это надо было пережить внутри себя.

– Лет ему, наверное, под пятьдесят, – с видом знатока объявила Сельма. – Старость на носу, бесится человек. Климакс! – Она усмехнулась и снова уставилась на портрет с болонкой.

Наступило молчание. Андрей, стиснув зубы, переживал за мэра. Мэр был обширный, представительный, с необычайно располагающим лицом, сплошь благородно седой. Он прекрасно говорил на собраниях городского актива – о воздержании, о гордом аскетизме, о силе духа, о внутреннем заряде стойкости и морали. А когда они встречались на лестничной площадке, он обязательно протягивал для пожатия большую теплую сухую руку и с неизменной вежливостью и предупредительностью осведомлялся, не мешает ли Андрею по ночам стук его, мэра, пишущей машинки...

– Не верит! – сказала вдруг Сельма. Она, оказывается, больше не смотрела на портрет, она с каким-то сердитым любопытством разглядывала Андрея. – Не веришь – не надо. Мне вот только все это отмыть противно. Нельзя тут кого-нибудь нанять, что ли?

– Нанять... – тупо повторил Андрей. – Фиг тебе! – сказал он злобно. – Сама отмоешь. Тут белоручкам делать нечего.

Некоторое время они молча разглядывали друг друга со взаимной неприязнью. Потом Сельма пробормотала, отведя глаза:

– Черт меня сюда принес! Что мне тут делать?

– Ничего особенного, – сказал Андрей. Он пересилил свою неприязнь. Человеку надо было помочь. Он уже навидался тут новичков. Всяких. – Что все, то и ты. Пойдешь на биржу, заполнишь книжку, бросишь в приемник... Там у нас установлена распределяющая машина. Ты кем была на том свете?

– Фокстейлером, – сказала Сельма.

– Кем?

– Ну, как тебе объяснить... Раз-два, ножки врозь...

Андрей опять обмер. Врет, пронеслось у него в голове. Все ведь брешет, девка. Идиота из меня делает.

– И хорошо зарабатывала? – саркастически спросил он.

– Дурак, – сказала она почти ласково. – Это же не для денег. Просто интересно. Скука же...

– Как же так? – сказал Андрей горестно. – Куда же твои родители смотрели? Ты же молодая, тебе бы учиться и учиться...

– Зачем? – спросила Сельма.

– Как – зачем? В люди вышла бы... Инженером бы стала, учителем... Могла бы вступить в компартию, боролась бы за социализм...

– Боже мой, боже мой... – хрипло прошептала Сельма, как подрубленная упала в кресло и уронила лицо в ладони. Андрей испугался, но в то же время ощутил и гордость, и чудовищную свою ответственность.

– Ну что ты, что ты... – сказал он, неловко придвигаясь к ней. – Что было, то было. Все. Не расстраивайся. Может быть, и хорошо, что так у тебя получилось: здесь ты все наверху. У меня полно друзей, все – настоящие люди... – Он вспомнил Изю и сморщился. – Поможем. Вместе будем драться. Здесь ведь дела до черта! Беспорядка много, неразберихи, просто дряни – каждый честный человек на счету. Ты представить себе не можешь, сколько сюда всякого барахла набежало! Не спрашиваешь его, конечно, но иногда так и тянет спросить: ну чего тебя сюда принесло, на кой ляд ты здесь кому нужен?..

Он совсем было уже решился по-дружески, даже по-братски, потрепать Сельму по плечу, но тут она спросила, не отрывая ладоней от лица:

– Значит, не все здесь такие?

– Какие?

– Как ты. Идиоты.

– Ну знаешь!

Андрей соскочил со стола и пошел кругами по комнате. Вот ведь буржуйка. Шлюха, а туда же. Интересно ей, видите ли... Впрочем, прямота Сельмы ему даже импонировала. Прямота всегда хороша. Лицом к лицу, через баррикаду. Это не то, что Изя, скажем: ни нашим, ни вашим – скользкий, как червяк, и везде просочится...

Сельма хихикнула у него за спиной.

– Ну чего забегал? – сказала она. – Я же не виновата, что ты такой идиотик. Ну, извини.

Не давая себе оттаять, Андрей решительно рубанул ладонью воздух.

– Вот что, – сказал он. – Ты, Сельма, очень запущенный человек, и отмывать тебя придется долго. И ты не воображай, пожалуйста, что я обиделся лично на тебя. Это с теми, кто тебя до такого довел, у меня да – личные счеты. А с тобой – никаких. Ты здесь – значит ты наш товарищ. Будешь работать хорошо – будем хорошими друзьями. А работать хорошо – придется. Здесь у нас, знаешь, как в армии: не умеешь, – научим, не хочешь – заставим! – Ему очень нравилось, как он говорит, – так и вспоминались выступления Леши Балдаева, комсомольского вожака факультета, перед субботниками. Тут он обнаружил, что Сельма наконец отняла ладони от лица и смотрит на него с испуганным любопытством. Он одобряюще подмигнул ей. – Да-да, заставим, а ты как думала? У нас, бывало, на стройку уж такие сачки приезжали – поначалу только и норовят в ларек да в лесок. И ничего! Как миленькие! Труд, знаешь, даже обезьяну очеловечивает...

– А здесь у вас всегда обезьяны по улицам бродят? – спросила Сельма.

– Нет, – сказал Андрей, помрачнев. – Только с сегодняшнего дня. В честь твоего прибытия.

– Очеловечивать их будете? – вкрадчиво осведомилась Сельма.

Андрей через силу ухмыльнулся.

– Это уж как придется, – сказал он. – Может быть, действительно придется очеловечивать. Эксперимент есть Эксперимент.

При всей издевательской сумасбродности мысль эта показалась ему не лишенной какого-то рационального зерна. Надо будет вечером этот вопрос поднять, мелькнуло у него в голове. Но тут же у него возникла и другая мысль.

– Ты что вечером собираешься делать? – спросил он.

– Не знаю. Как придется. А что здесь у вас делают?

Раздался стук в дверь. Андрей посмотрел на часы. Было уже семь, сборище начиналось.

– Сегодня ты – у меня, – сказал он Сельме решительно. С этим разболтанным существом действовать можно было только решительно. – Веселья особенного не обещаю, но с интересными людьми познакомишься. Идет?

Сельма пожала плечиком и стала оправлять волосы. Андрей пошел открывать. В дверь стучали уже каблуком. Это был Изя Кацман.

– У тебя что – женщина? – спросил он прямо с порога. – Когда ты, наконец, звонок поставишь, хотел бы я знать?

Как всегда, в первые минуты появления на сборище Изя был аккуратно причесан, при крахмальном воротничке и при сверкающих манжетах. Узкий отглаженный галстук с высокой точностью располагался на линии нос – пупок. Но все равно, Андрей предпочел бы сейчас увидеть Дональда или Кэнси.

– Заходи, заходи, трепло, – сказал он. – Что это с тобой сегодня – раньше всех заявился?

– А я знал, что у тебя женщина, – ответил Изя, потирая руки и хихикая, – и поспешил взглянуть.

Они вошли в столовую, и Изя широкими шагами устремился к Сельме.

– Изя Кацман, – представился он бархатным голосом. – Мусорщик.

– Сельма Нагель, – лениво отозвалась Сельма, протягивая руку. – Шлюха.

Изя даже закричал от наслаждения и бережно поцеловал протянутую руку.

– Между прочим! – сказал он, поворачиваясь к Андрею и снова к Сельме. – Вы слышали? Совет районных уполномоченных рассматривает проект решения, – он поднял палец и повысил голос, – «Об упорядочении положения, создавшегося в связи с наличием в городской черте больших скоплений собакоголовых обезьян» ... Уф! Предлагается всех обезьян зарегистрировать, снабдить металлическими ошейниками и бляхами с собственными именами, а затем приписать к учреждениям и частным лицам, которые впредь и будут за них ответственны! – Он захихикал, захрюкал и с протяжными тоненькими стонами принялся бить кулаком правой руки в раскрытую ладонь левой. – Грандиозно! Все дела заброшены, на всех заводах срочно изготавливают ошейники и бляхи. Господин мэр лично берет под свою опеку трех половозрелых павианов и призывает население последовать его примеру. Ты возьмешь себе павианиху, Андрей? Сельма будет против, но таково требование Эксперимента! Как известно, Эксперимент есть Эксперимент. Надеюсь, вы не сомневаетесь, Сельма, что Эксперимент есть именно эксперимент – не экскремент, не экспонент, не перманент, а именно Эксперимент?..

Андрей сказал, с трудом прорвавшись сквозь бульканье и стоны:

– Ну, пошел, пошел трепаться!..

Этого он больше всего опасался. На свежего человека такой вот нигилизм и наплевиизм должен был производить самое разрушительное действие. Конечно, куда как заманчиво бродить вот так из дома в

дом, хихикать и оплевывать все направо и налево, вместо того чтобы, стиснув зубы...

Изя перестал хихикать и возбужденно прошелся по комнате.

– Может быть, это и трепотня, – сказал он. – Возможно. Но ты, Андрей, как всегда, ни черта не понимаешь в психологии руководства. В чем, по-твоему, назначение руководства?

– Руководить! – сказал Андрей, принимая вызов. – Руководить, а не трепаться, между прочим, и не болтать. Координировать действия граждан и организаций...

– Стоп! Координировать действия – с какой целью? Что является конечной целью этого координирования?

Андрей пожал плечами.

– Это же элементарно. Всеобщее благо, порядок, создание оптимальных условий для движения вперед...

– О! – Изя опять вскинул палец. Рот его приоткрылся, глаза выкатились. – О! – повторил он и снова замолчал. Сельма смотрела на него с восхищением. – Порядок! – провозгласил Изя. – Порядок! – Глаза его выкатились еще больше. – А теперь представь, что во вверенном тебе городе появляются бесчисленные стада павианов. Изгнать их ты не можешь – кишка тонка. Кормить их централизованно ты тоже не можешь – не хватает жратвы, резервов. Павианы попрошайничают на улицах – вопиющий беспорядок: у нас нет и не может быть попрошак! Павианы гадят, за собой не убирают, и никто за ними убирать не намерен. Какой отсюда напрашивается вывод?

– Ну, уж во всяком случае, не ошейники надевать, – сказал Андрей.

– Правильно! – сказал Изя с одобрением. – Конечно, не ошейники надевать. Первый же напрашивающийся деловой вывод: скрыть существование павианов. Сделать вид, что их вовсе нету. Но это, к сожалению, тоже невозможно. Их слишком много, а правление у нас пока еще до отвращения демократическое. И вот тут появляется блестящая в своей простоте идея: упорядочить присутствие павианов! Хаос, безобразие узаконить и сделать таким образом элементом стройного порядка, присущего правлению нашего доброго мэра! Вместо нищенствующих и хулиганящих стад и шаек – милые домашние животные. Мы же все любим животных! Королева Виктория любила животных. Дарвин любил животных. Даже Берия, говорят, любил некоторых животных, не говоря уже о Гитлере...

– Наш король Густав тоже любит животных, – вставила Сельма. – У него – кошки.

– Прекрасно! – воскликнул Изя, ударяя кулаком в ладонь. – У короля Густава – кошки, а у Андрея Воронина – персональный павиан. А если он очень любит животных, то даже два павиана...

Андрей плюнул и отправился на кухню проверить запасы. Пока он копался в шкафчиках, разворачивая и осторожно нюхая какие-то запыленные пакеты с черствыми потемневшими остатками, голос Изи в столовой непрерывно гудел и слышался звонкий смех Сельмы, а также неизбежное хрюканье и бульканье самого Изи.

Жрать было нечего: куль картошки, начавшей уже прорасти, сомнительная банка с кильками и совершенно каменной консистенции буханка хлеба. Тогда Андрей залез в ящик кухонного стола и пересчитал наличность. Наличности было – как раз до полочки и при условии, что он будет соблюдать экономию и не приглашать гостей, а, наоборот, похаживать в гости. В гроб они меня загонят, подумал Андрей мрачно. К черту, хватит. Всех выпотрошу. Что я им – кухмистерская, что ли? Павианы!

Тут в дверь снова постучали, и Андрей, зловеще ухмыляясь, отправился открывать. Мимоходом он отметил, что Сельма сидит на столе, подсунув под себя ладони, покрашенный рот – до ушей, сучка и сучка, а Изя разглагольствует перед нею, размахивая павианьими лапами, и уже никакого лоска в нем нет: узел галстука под правым ухом, волосы дыбом, а манжеты – серые.

Оказалось, что прибыли экс-унтер-офицер вермахта Фриц Гейгер с личным дружкой – рядовым того же вермахта Отто Фрижей.

– Явились? – приветствовал их Андрей со зловещей улыбкой.

Фриц немедленно воспринял это приветствие как выпад против достоинства немецкого унтер-офицера и окаменел лицом, а Отто, человек мягкий и неопределенных душевных очертаний, только щелкнул каблуками и искательно улыбнулся.

– Что за тон? – холодно осведомился Фриц. – Может быть, нам уйти?

– Ты жрать принес что-нибудь? – спросил Андрей.

Фриц сделал глубокомысленное движение нижней челюстью.

– Жрать? – переспросил он. – М-м, как тебе сказать... – И он вопросительно посмотрел на Отто. Отто сейчас же, стеснительно улыбаясь, вытащил из кармана галифе плоскую бутылку и протянул ее Андрею. Как пропуск – этикеткой наружу.

– Ну, это ладно... – смягчаясь, сказал Андрей и взял бутылку. – Но учтите, ребята, жрать абсолютно нечего. Может быть, у вас деньги есть хотя бы?

– Может быть, ты нас все-такипустишь в дом? – осведомился Фриц. Голова его была слегка повернута ухом вперед: он прислушивался к взрывам женского смеха в столовой.

Андрей впустил их в прихожую и сказал:

– Деньги. Деньги на бочку!

– Даже здесь нам не удастся избежать репараций, Отто, – сказал Фриц, раскрывая портмоне. – На! – Он сунул Андрею несколько бумажек. – Дай Отто какую-нибудь кошелку и скажи, что купить, – он сбегает.

– Погоди, не так быстро, – сказал Андрей и повел их в столовую. Пока щелкали каблукы, склонялись прилизанные прически и гремели солдатские комплименты, Андрей оттащил Изю в сторону и, не давая ему опомниться, обшарил все его карманы, чего Изя, впрочем, кажется, и не заметил, – он только вяло отбивался и все рвался закончить начатый анекдот. Забравши все, что удалось обнаружить, Андрей отошел и пересчитал репарации. Получалось не так чтобы уж очень много, но и не мало. Он огляделся. Сельма по-прежнему сидела на столе и болтала ногами. Меланхолия ее исчезла, она была весела. Фриц закуривал ей сигаретку, Изя, давясь и повизгивая, готовил новый анекдот, а Отто, красный от напряженности и неуверенности в своих манерах, заметно шевелил большими ушами, торча среди комнаты по стойке смирно.

Андрей поймал его за рукав и потащил на кухню, приговаривая: «Без тебя, без тебя обойдутся...» Отто не возражал, он был даже, кажется, доволен. Очутившись на кухне, он сразу принялся действовать. Отобрал у Андрея корзину для овощей, вытряхнул из нее мусор в ведро (чего Андрей никогда не догадался бы сделать), быстро и аккуратно выстелил днище старыми газетами, мгновенно нашел кошелку, которую Андрей потерял еще в прошлом месяце, со словами: «Может, томатный соус попадется...» уложил в кошелку банку из-под компота, предварительно сполоснув ее, сунул туда же несколько сложенных газет про запас («Вдруг у них тары не будет...»), так что вся деятельность Андрея свелась к перекладыванию денег из кармана в карман, нетерпеливому переступанию с ноги на ногу и заунывному: «Да ладно тебе... Да будет... Ну пошли, что ли...»

– А ты тоже пойдешь? – благоговейно удивился Отто, закончив сборы.

– Да, а что?

– Да я и сам могу, – сказал Отто.

– Ну, сам, сам... Вдвоем быстрее. Ты встанешь к прилавку, я – в кассу...

– Это верно, – сказал Отто. – Да. Конечно.

Они вышли через черный ход и спустились по черной лестнице. По дороге спугнули павиана – бедняга бомбой вылетел в окно, так что они даже испугались за его жизнь, но оказалось – ничего, висит на пожарной лестнице и скалит клыки.

– Обьедков бы ему дать, – сказал Андрей задумчиво. – У меня там обьедков для целого стада...

– Сходить? – с готовностью предложил Отто.

Андрей только посмотрел на него и, сказавши: «Вольно!», пошел дальше. На лестнице уже пованивало. Вообще-то здесь и раньше всегда пованивало, но теперь появился некий новый душок, и, спустившись пролетом ниже, они обнаружили источник, и не один.

– Да, прибавится Вану работенки, – сказал Андрей. – Не дай бог теперь в дворники попасть. Ты кем сейчас работаешь?

– Товарищем министра, – уныло ответил Отто. – Третий день уже.

– Какого министра? – поинтересовался Андрей.

– Этого... профессионального обучения.

– Тяжело?

– Ничего не понимаю, – тоскливо сказал Отто. – Бумаг очень много, приказы, докладные записки... сметы, бюджет... И никто у нас там ничего не понимает. Все бегают, друг у друга спрашивают... Подожди, ты куда?

– В магазин.

– Нет. Пойдем к Гофштаттеру. У него и дешевле, и немец все-таки...

Пошли к Гофштаттеру. Гофштаттер держал на углу Главной и Староперсидского некую помесь зеленой с бакалейной. Андрей бывал здесь пару раз и каждый раз уходил несолоно хлебавши: продуктов у Гофштаттера было мало, и он сам выбирал себе покупателей.

Магазин был пуст, на полках стройными рядами тянулись одинаковые баночки с розовым хреном. Андрей вошел первым, и Гофштаттер, поднявши от кассы одутловатое бледное лицо, сейчас же сказал: «Закрываю». Но тут подоспел Отто, зацепившийся корзиной за дверную ручку, и одутловатое бледное лицо расплылось в улыбке. Закрытие лавки было, конечно, отложено. Отто и Гофштаттер удалились в недра заведения, где сейчас же зашуршали и заскрипели передвигаемые ящики, затарахтела ссыпаемая картошка, звякнуло наполненное стекло, зазвучали приглушенные голоса...

Андрей от нечего делать озирался. Да, частная торговлишка господина Гофштаттера представляла собой жалкое зрелище. И весы,

конечно, не прошли соответствующего контроля, и с санитарией было неважно. Впрочем, это меня не касается, подумал Андрей. Когда все будет устроено как надо, эти гофштаттеры попросту вылетят в трубу. Да они, можно сказать, и сейчас уже вылетели. Во всяком случае, любого-каждого он уже не в силах обслуживать. Ишь замаскировался, хрену везде понаставил. Надо бы на него Кэнси напустить – развел тут черный рынок, националист паршивый. «Только для немцев» ...

Отто выглянул из недр и шепотом сказал: «Деньги, быстренько!» Андрей торопливо передал ему ком смятых бумажек. Отто не менее торопливо отслюнил несколько штук, остальное вернул Андрею и снова исчез в недрах. Через минуту он появился за прилавком с руками, оттянутыми полной кошелкой и полной корзинкой. Позади него замаячила лунообразная физиономия Гофштаттера. Отто обливался потом и не переставал улыбаться, а Гофштаттер добродушно приговаривал: «Заходите, заходите, молодые люди, всегда вам рад, всегда рад истинным немцам... А господину Гейгеру особенный привет... На следующей неделе мне обещали подвезти немного свинины. Скажите господину Гейгеру, я ему оставляю килограмма три...» – «Так точно, господин Гофштаттер, – откликнулся Отто, – все будет передано в точности, не беспокойтесь, господин Гофштаттер... И не забудьте, пожалуйста, передать большой привет фройлен Эльзе – от нас и в особенности от господина Гейгера...» Они гудели все это дуэтом до самого порога лавки, где Андрей отобрал у Отто тяжеленную кошелку, битком набитую ядерной чистой морковью, крепкой свеклой и сахарным луком, из-под которых торчало залитое сургучом горлышко бутылки и поверх которых бурно выпирал наружу всякий там порей, сельдерей, укроп и прочая петрушка.

Когда они свернули за угол, Отто поставил корзину на тротуар, вытащил большой клетчатый платок и, задыхаясь, принялся обтирать лицо, приговаривая:

– Подожди... Передохнуть надо... Ф-фу...

Андрей закурил сигарету и протянул пачку Отто.

– Где такую морковочку брали? – осведомилась, проходя мимо, женщина в кожаном мужском пальто.

– Все, все, – поспешно сказал ей Отто. – Последнюю взяли. Там уже закрыто... Черт, умаял меня лысый дьявол... – сообщил он Андрею. – Чего я ему там плел! Оторвет мне Фриц башку, когда узнает... Да я и не помню уже, что я там плел...

Андрей ничего не понимал, и Отто вкратце объяснил ему ситуацию.

Господин Гофштаттер, зеленщик из Эрфурта, всю жизнь был преисполнен надежд, и всю жизнь ему не везло. Когда в тридцать втором году какой-то еврей пустил его по миру, открыв напротив большой современный зеленой магазин, Гофштаттер осознал себя истинным немцем и вступил в штурмовой отряд. В штурмовом отряде он было сделал карьеру и в тридцать четвертом году уже собственноручно бил упомянутого еврея по морде и совсем было подобрался к его предприятию, но тут грянуло разоблачение Рема, и Гофштаттера вычистили. А он к тому времени был уже женат, и уже подрастала у него очаровательная белокурая Эльза. Несколько лет он кое-как перебивался, потом его взяли в армию, и он начал было завоевание Европы, но под Дюнкерком попал под бомбы собственной авиации и получил в легкие здоровенный осколок, так что вместо Парижа оказался в военном госпитале в Дрездене, где провалялся до сорок четвертого, и совсем было уже выписался, когда совершился знаменитый налет союзных армий, уничтоживший Дрезден в одну ночь. От пережитого ужаса у него выпали все волосы, и он немножко тронулся, по его же собственным рассказам. Так что, попав снова в родной Эрфурт, он просидел в подвале своего домика самое что ни на есть горячее время, когда еще можно было удрать на Запад. Когда же он решился, наконец, выйти на свет божий, все было уже кончено. Зеленую лавку ему, правда, разрешили, но ни о каком расширении дела не могло быть и речи. В сорок шестом у него умерла жена, он в помрачении рассудка поддался на уговоры Наставника и, плохо понимая, что он, собственно, выбирает, переселился с дочерью сюда. Здесь он немного отошел, хотя до сих пор, кажется, подозревает, что попал в большой специализированный концлагерь где-то в Средней Азии, куда сослали всех немцев из Восточной Германии. С черепушкой у него так и не восстановилось окончательно. Он обожает истинных немцев, уверен, что у него на них особенный нюх, смертельно боится китайцев, арабов и негров, присутствия которых здесь не понимает и объяснить не может, но более всего он почитает и уважает господина Гейгера. Дело в том, что во время одного из первых своих визитов к Гофштаттеру блестящий Фриц, пока Отто наполнял кошелки, кратко, по-военному, приволокнулся за белокурой Эльзой, осатаневшей без перспектив на приличное замужество. И с тех пор в душе сумасшедшего лысого Гофштаттера зародилась слепящая надежда, что этот великолепный ариец, опора фюрера и гроза евреев, выведет в конце концов несчастное семейство Гофштаттеров из бурно кипящих вод в тихую заводь.

– ...Фрицу что! – жаловался Отто, ежеминутно меняя руки, отмо-
таннные корзиной. – Он у Гофштаттеров бывает раз, ну два в месяц,

когда у нас жрать нечего, – пощупает эту дуру, и делов-то... А я сюда каждую неделю хожу, и по два раза, и по три раза в неделю... Ведь Гофштаттер-то дурак, дурак, а человек деловой, знаешь, какие он связи завязал с фермерами, – продукты у него первый сорт и недорого... Изоврался я вконец! Вечную привязанность Фрица к Эльзе я ему обеспечить. Неумолимый конец международного еврейства я ему обеспечить. Неуклонное движение войск великого райха к этой зеленой лавке я ему обеспечить... Я уже сам запутался и его, по-моему, до полного уж сумасшествия довел. Совестно же все-таки: сумасшедшего старика до полного сумасшествия довожу. Вот сейчас он спрашивает меня: что, мол, эти павианы должны означать? А я, не подумавши, ляпнул: десант, говорю, арийская, говорю, хитрость. Так ты не пове-ришь – он меня обнял и присосался что к твоей бутылке...

– А Эльза что? – с любопытством спросил Андрей. – Она-то ведь не сумасшедшая?

Отто залился пунцовым румянцем и зашевелил ушами.

– Эльза... – Он откашлялся. – Тоже работаю, как лошадь. Ей-то ведь все равно: Фриц, Отто, Иван, Абрам... Тридцать лет девке, а Гофштаттер к ней подпускает только Фрица да меня.

– Ну и сволочи же вы с Фрицем, – сказал Андрей искренне.

– Дальше некуда! – согласился Отто печально. – И ведь что самое ужасное: совершенно я не представляю, как мы из этой истории выпутаемся. Слабый я, бесхарактерный.

Они замолчали, и до самого дома Отто только пыхтел, меняя руки над корзиной. Подниматься наверх он не стал.

– Ты это отнеси и поставь воду в большой кастрюле, – сказал он. – А мне давай деньги, я сметаюсь в магазин, может, консервов каких-нибудь достану. – Он помялся, отводя глаза. – И ты, это... Фрицу... не надо. А то он из меня душу вытрясет. Фриц, он знаешь какой, – любит, чтобы все было шито-крыто. Да и кто не любит?

Они расстались, и Андрей попер корзинку и кошелку по черной лестнице. Корзина была такая тяжеленная, словно нагрузил ее Гофштаттер чугунными ядрами. Да, брат, думал Андрей с ожесточением. Какой уж тут Эксперимент, если такие дела делаются. Много ты с этим Отто да с этим Фрицем наэкспериментируешь. Надо же, суки какие – ни чести, ни совести. А откуда? – подумал он с горечью. Вермахт. Гитлерюгенд. Шваль. Нет, я с Фрицем поговорю! Этого так оставлять нельзя – морально же гниет человек на глазах. А человек из него получится может! Должен! В конце концов, он мне тогда, можно сказать, жизнь спас. Ткнули бы мне перышко под лопатку – и

баста. Все обгадились, все лапки кверху, один Фриц... Нет, это человек! За него драться надо...

Он поскользнулся на следах павианьей деятельности, выматерился и стал смотреть под ноги.

Едва очутившись на кухне, он понял, что в квартире все изменилось. В столовой гундел и сипел патефон. Слышался звон посуды. Шаркали ноги танцующих. И покрывая все эти звуки, раскатывался знакомый басовитый голосок Юрия свет-Константиновича: «Ты, браток, насчет экономии всякой и социологии – не нужно. Обойдемся. А вот свобода, браток, это другой разговор. За свободу и хребет поломать можно...»

На газовой плите уже била ключом вода в большой кастрюле, на кухонном столе лежал готовый, заново отточенный нож, и упоительно пахло жареным мясом из духовки. В углу кухни стояли, оперевшись друг на друга, два тучных рогожных мешка, а сверху на них – промасленный, прожженный ватник, знакомый кнут и какая-то сбруя. Знакомый пулемет стоял тут же – собранный, готовый к употреблению, с плоской вороненой обоймой, торчащей из казенника. Под столом масляно поблескивала четвертная бутылка с приставшей кукурузной шелухой и соломинками.

Андрей бросил корзину и кошелку.

– Эй, бездельники! – заорал он. – Вода кипит!

Бас Давыдова смолк, а в дверях появилась раскрасневшаяся, с блестящими глазами Сельма. За ее плечом верстой торчал Фриц. Видимо, они только что танцевали, и ариец пока не думал снимать здоровенные свои красные лапищи с талии Сельмы.

– Привет тебе от Гофштаттера! – сказал Андрей. – Эльза беспокоится, что ты не заходишь... Ведь ребеночку уже скоро месяц!

– Дурацкие шутки! – объявил Фриц с отвращением, однако лапы убрал. – Где Отто?

– И правда, вода кипит! – сообщила Сельма с удивлением. – Что теперь с ней делать?

– Бери нож, – сказал Андрей, – и начинай чистить картошку. А ты, Фриц, по-моему, очень любишь картофельный салат. Так вот займись, а я пойду выполнять роль хозяина.

Он двинулся было в столовую, но в дверях его перехватил Изя Кацман. Физиономия его сияла от восторга.

– Слушай! – прошептал он, хихикая и брызгаясь. – Откуда ты взял такого замечательного типа? У них там на фермах, оказывается, настоящий Дикий Запад! Американская вольница!

– Русская вольница ничем не хуже американской, – сказал Андрей с неприязнью.

– Ну да! Ну да! – закричал Изя. – «Когда еврейское казачество восстало, в Биробиджане был переворот-переворот, а кто захочет захватить наш Бердичев, тому фурункул вскочит на живот!..»

– Это ты брось, – сказал Андрей сурово. – Это я не люблю... Фриц, отдаю тебе Сельму и Кацмана под командование, работайте, да побыстрее, жрать охота – сил нет... Да не орите здесь – Отто будет стучаться, он за консервами побежал.

Поставив все таким образом на свои места, Андрей поспешил в столовую и там прежде всего обменялся крепким рукопожатием с Юрием Константиновичем. Юрий Константинович, все такой же краснолицый и крепко пахнувший, стоял посередине комнаты, расставив ноги в кирзовых сапогах, засунув ладони под солдатский ремень. Глаза у него были веселые и слегка бешеные – такие глаза Андрей часто наблюдал у людей бесшабашных, любящих хорошо поработать, крепко выпить и ничего на свете не страшась.

– Вот! – сказал Давыдов. – Пришел-таки я, как обещал. Бутыль видел? Тебе. Картошка еще тебе – два мешка. Давали мне за них, понимаешь, одну вещь. Нет, думаю, на хрен мне все это. Отвезу лучше хорошему человеку. Они тут в своих хоромах каменных живут, как гниют, белого света не видят... Слушай, Андрей, вот я тут Кэнси говорю, японцу, плюньте, говорю, ребята! Ну чего вы здесь еще не видели? Собирайте своих детишек, баб, девок, айда все к нам...

Кэнси, все еще в форме после дежурства, но в мундире нараспашку, неловко орудуя одной рукой, расставлял на столе разнокалиберную посуду. Левая рука у него была обмотана бинтом. Он улыбнулся и покивал Давыдову.

– Этим и кончится, Юра, – сказал он. – Вот будет еще нашествие кальмаров, и тогда мы все как один подадимся к вам на болота.

– Да чего вам ждать этих... как их... Плюньте вы на этих камаров. Вот завтра поеду поутру порожняком, телега пустая, три семьи свободно можно погрузить. Ты ведь не семейный? – обратился он к Андрею.

– Бог спас, – сказал Андрей.

– А девушка эта, кто тебе? Или она не твоя?

– Она новенькая. Сегодня ночью прибыла.

– Так чего лучше? Барышня приятная, обходительная. Забирай и поехали, а? У нас там воздух. У нас там молоко. Ты ведь молока, наверное, уже год не пил свежего. Я вот все спрашиваю, почему в магазинах у вас молока нет? У меня у одного три коровы, я это молоко и

государству сдаю, и сам ем, и свиной кормлю, и на землю лью... Вот у нас поселишься, понимаешь, проснешься поутру в поле идти, а она тебе, твоя-то, крынку парного, прямо из-под коровы, а? – Он крепко замигал обоими глазами по очереди, захохотал, ахнул Андрея по плечу и, твердо скрипя половицами, прошелся по комнате – остановил патефон и вернулся. – А воздух какой? У вас здесь и воздуха не осталось, зверинец у вас здесь, вот и весь ваш воздух... Кэнси, да что ты все стараешься? Девку позови, пусть поставит посуду.

– Она там картошку чистит, – сказал Андрей, улыбаясь. Потом спохватился и стал помогать Кэнси. Очень свой человек был Давыдов. Очень близкий. Будто знакомы уже целый год. А что, если и верно – махнуть на болота? Молоко не молоко, а жизнь там, наверное, действительно здоровее. Ишь он какой стоит, как памятник!

– Стучит там кто-то, – сообщил Давыдов. – Открыть или сам откроешь?

– Сейчас, – сказал Андрей и пошел к парадному. За дверью оказался Ван – уже без ватника, в синей саржевой рубаше до колен, с вафельным полотенцем вокруг головы.

– Баки привезли! – сказал он, радостно улыбаясь.

– Ну и хрен с ними, – отвечивал Андрей не менее радостно. – Баки подождут. Ты почему один? А Мэйлинь где?

– Она дома, – сказал Ван. – Устала очень. Спит. Сын немного захворал.

– Ну заходи, чего стоишь... Пойдем, я тебя с хорошим человеком познакомлю.

– А мы уже знакомы, – сказал Ван, входя в столовую.

– А, Ваня! – обрадованно закричал Давыдов. – И ты тоже тут! «Нет», – сказал он, обращаясь к Кэнси. – Знал я, что Андрей – хороший парень. Видишь, все у него хорошие люди собираются. Тебя вот взять, или еврейчика этого... как его... Ну, теперь у нас пойдет пир горой! Пойду посмотрю, чего они там копаются. Там и делать-то нечего, а они, понимаешь, развели работу...

Ван быстро оттеснил Кэнси от стола и принялся аккуратно и ловко переставлять приборы. Кэнси свободной рукой и зубами поправлял повязку. Андрей сунулся ему помогать.

– Что-то Дональд не идет, – сказал он озабоченно.

– Заперся у себя, – отозвался Ван. – Не велел беспокоить.

– Чего-то он хандрит, ребята, последнее время. Ну и бог с ним. Слушай, Кэнси, что это у тебя с рукой?

Кэнси ответил, слегка скривив лицо:

– Павиан цапнул. Такая сволочь – до кости прокусил.

– Ну да? – поразился Андрей. – А мне показалось, они вроде мирные...

– Ну, знаешь, мирные... Когда тебя поймают и начнут тебе ошейник клепать...

– Какой ошейник?

– Приказ пятьсот семь. Всех павианов перерегистрировать и снабдить ошейником с номером. Завтра будем раздавать их населению. Ну, мы штук двадцать окольцевали, а остальных перегнали на соседний участок, пусть там разбираются. Ну, чего ты стоишь с открытым ртом?.. Рюмки давай, рюмок не хватает...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Когда выключили солнце, вся компания была порядочно уже на взводе. В мгновенно наступившей темноте Андрей вылез из-за стола и, сшибая ногами какие-то кастрюли, стоящие на полу, добрался до выключателя.

– Н-не пугайтесь, милая фройлейн, – бубнил у него за спиной Фриц. – Это здесь всегда...

– Да будет свет! – провозгласил Андрей, старательно выговаривая слова.

Под потолком вспыхнула пыльная лампочка. Свет был жалкий, как в подворотне. Андрей обернулся и оглядел собрание.

Все было очень хорошо. Во главе стола на высокой кухонной табуретке восседал, слегка покачиваясь, Юрий Константинович Давыдов, полчаса, назад ставший для Андрея раз и навсегда дядей Юрой. В крепко сжатых зубах дяди Юры дымилась атлетическая козья нога, в правой руке он сжимал граненый стакан, полный благородного первача, а заскорузлым указательным пальцем левой водил перед носом сидящего рядом Изи Кацмана, который был уже вовсе без галстука и без пиджака, а на подбородке и на груди его сорочки явственно обнаруживались следы мясного соуса.

По правую руку от дяди Юры скромно сидел Ван – перед ним стояла самая маленькая тарелочка с маленьким кусочком и лежала самая щербатая вилка, а бокал для первача он взял себе с отбитым краем. Голова его совсем ушла в плечи, лицо с закрытыми глазами было поднято и блаженно улыбалось: Ван наслаждался покоем.

Быстроглазый раздумявшийся Кэнси с аппетитом закусывал кислой капустой и что-то живо рассказывал Отто, героически сражавшемуся с осоловлением и в минуты одержанных побед громко восклицавшему: «Да! Конечно! Да! О да!»

Сельма Нагель, шведская шлюха, была прямо-таки красавица. Она сидела в кресле, перекинув ноги через мягкий подлокотник, и сверкающие эти ноги находились как раз на уровне груди бравого унтера Фрица, так что глаза у Фрица горели, и весь он шел красными пятнами от возбуждения. Он лез к Сельме с полным стаканом и все норовил выпить с нею на брудершафт, а Сельма отпихивала его своим бокалом, хохотала, болтала ногами и время от времени стряхивала волосатую ласковую лапу Фрица со своих коленок.

Только стул Андрея по другую сторону от Сельмы был пуст, и был печально пуст стул, поставленный для Дональда. Жалко как – Дональда нет, подумал Андрей. Но! Выдержим, перенесем и это! И не с таким нам приходилось справляться... Мысли его несколько путались, но общий настрой был мужественный, с легким налетом трагизма. Он вернулся на свое место, взял стакан и заорал:

– Тост!

Никто не обратил на него внимания, только Отто дернул головой, словно кусаемая слепнями лошадь, и отозвался: «Да! О да!»

– Я сюда приехал, потому что поверил! – громко басил дядя Юра, не давая хихикающему Изе убрать его сучковатый палец у себя из-под носа. – А поверил потому, что больше верить было не во что. А русский человек должен во что-то верить, понял, браток? Если ни во что не верить, ничего, кроме водки, не останется. Даже чтобы бабу любить, нужно верить. В себя нужно верить, без веры, браток, и палку хорошую не бросишь...

– Ну да, ну да! – откликнулся Изя. – Если у еврея отнять веру в бога, а у русского – веру в доброго царя, они становятся способны черт знает на что...

– Нет... Подожди! Евреи – это дело особое...

– Главное, Отто, не напрягайтесь, – говорил в то же время Кэнси, с удовольствием хрустя капустой. – Все равно никакого обучения нет и просто быть не может. Сами подумайте, зачем нужно профессиональное обучение в Городе, где каждый то и дело меняет профессию?

– О да! – ответил Отто, на секунду проясняясь. – То же самое я говорил господину министру.

– И что же министр? – Кэнси взял стакан первача и сделал несколько маленьких глотков – словно чай пил.

– Господин министр сказал, что это чрезвычайно интересная мысль, и предложил мне составить разработку. – Отто шмыгнул носом, глаза его налились слезами. – А я вместо этого пошел к Эльзе...

– ...И когда танк оказался на расстоянии двух метров от меня, – гундел Фриц, проливая первач на белые ноги Сельмы, – я вспомнил

все!.. Вы не поверите, фройлейн, все прожитые годы прошли передо мною... Но я – солдат! С именем фюрера...

– Да нет давно вашего фюрера! – втолковывала ему Сельма, плача от смеха. – Сожгли его, вашего фюрера!..

– Фройлейн! – произнес Фриц, угрожающе выпячивая челюсть. – В сердце каждого истинного немца фюрер жив! Фюрер будет жить века! Вы – арийка, фройлейн, вы меня поймете: когда р-русский танк... в трех метрах... я, с именем фюрера!..

– Да надоел ты со своим фюрером! – заорал на него Андрей. – Ребята! Ну, сволочи же, слушайте же тост!

– Тост? – спохватился дядя Юра. – Давай! Вали, Андрюха!

– За псютздесьдам! – вдруг выпалил Отто, отстраняя от себя Кэнси.

– Да заткнись ты! – гаркнул Андрей. – Изя, перестань ты скалиться! Я серьезно говорю! Кэнси, черт тебя подери!.. Я считаю, ребята, что мы должны выпить... мы уже пили, но как-то мимоходом, а надо основательно, по-серьезному выпить за наш Эксперимент, за наше благородное дело и в особенности...

– За вдохновителя всех наших побед, товарища Сталина! – заорал Изя.

Андрей сбился.

– Нет... слушай... – пробормотал он. – Чего ты меня перебиваешь? Ну, и за Сталина, конечно... Черт, сбил меня совсем... Я хотел, чтобы мы за дружбу выпили, дурак!

– Ничего, ничего, Андрюха! – сказал дядя Юра. – Тост хороший, за Эксперимент надо выпить, за дружбу тоже надо выпить. Хлопцы, берите стаканы, за дружбу выпьем, и чтобы все было хорошо.

– А я за Сталина выпью! – упрямылась Сельма. – И за Мао Цзе-дуна. Эй, Мао Цзе-дун, слышишь? За тебя пью! – крикнула она Вану.

Ван вздрогнул, жалобно улыбаясь, взял стакан и пригубил.

– Цзе-дун? – спросил Фриц угрожающе. – К-то такой?

Андрей залпом осушил свой стакан и, слегка оглушенный, торопливо тыкал вилкой в закуску. Все разговоры доносились сейчас до него словно из другой комнаты. Сталин... Да, конечно. Какая-то связь должна быть... Как это мне раньше в голову не приходило! Явления одного масштаба – космического. Должна быть какая-то связь и взаимосвязь... Скажем, такой вопрос: выбрать между успехом Эксперимента и здоровьем товарища Сталина... Что лично мне как гражданину, как бойцу... Правда, Кацман говорит, что Сталина не стало, но это не существенно. Предположим, что он жив. И предположим, что передо мной такой выбор: Эксперимент или дело Сталина... Нет, чепуха, не так. Продолжать дело Сталина под сталинским руководством



или продолжать дело Сталина в совершенно других условиях, в необычных, в не предусмотренных никакой теорией – вот как ставится вопрос...

– А откуда ты взял, что Наставники продолжают дело Сталина? – донесся вдруг до него голос Изи, и Андрей понял, что уже некоторое время говорит вслух.

– А какое еще дело они могут делать? – удивился он. – Есть только одно дело на Земле, которым стоит заниматься, – построение коммунизма! Это и есть дело Сталина.

– Двойка тебе по «Основам», – отозвался Изя. – Дело Сталина – это построение коммунизма в одной отдельно взятой стране, последовательная борьба с империализмом и расширение социалистического лагеря до пределов всего мира. Что-то я не вижу, как ты можешь эти задачи осуществить здесь.

– Ску-учно! – заныла Сельма. – Музыка давайте! Танцевать хочу!

Но Андрей уже ничего не видел и не слышал.

– Ты догматик! – гаркнул он. – Талмудист и начетчик! И вообще метафизик. Ничего, кроме формы, ты не видишь. Мало ли какую форму принимает Эксперимент! А содержание у него может быть только одно, и конечный результат только один: установление диктатуры пролетариата в союзе с трудящимися фермерами...

– И с трудовой интеллигенцией! – вставил Изя.

– С какой там еще интеллигенцией... Тоже мне говна-пирога – интеллигенция!..

– Да, правда, – сказал Изя. – Это из другой эпохи.

– Интеллигенция вообще импотентна! – заявил Андрей с ожесточением. – Лакейская прослойка. Служит тем, у кого власть.

– Банда хлюпиков! – рявкнул Фриц. – Хлюпики и болтуны, вечный источник расхлябанности и дезорганизации!

– Именно! – Андрей предпочел бы, чтобы его поддержал, скажем, дядя Юра, но и в поддержке Фрица была полезная сторона. – Вот, пожалуйста: Гейгер. Вообще-то – классовый враг, а позиция полностью совпадает с нашей. Вот и получается, что с точки зрения любого класса интеллигенция – это дерьмо. – Он скрипнул зубами. – Ненавижу... Терпеть не могу этих бессильных очкариков, болтунов, дармоедов. Ни внутренней силы у них нет, ни веры, ни морали...

– Когда я слышу слово «культура», я хватаюсь за пистолет! – металлическим голосом провозгласил Фриц.

– Э, нет! – сказал Андрей. – Тут мы с тобой расходимся. Это ты брось! Культура есть великое достояние освободившегося народа. Тут надо диалектически...

Где-то рядом гремел патефон, пьяный Отто, спотыкаясь, танцевал с пьяной Сельмой, но Андрея это не интересовало. Начиналось самое лучшее, то самое, за что он больше всего на свете любил эти сборища. Спор.

– Долой культуру! – вопил Изя, прыгая с одного свободного стула на другой, чтобы подобраться поближе к Андрею. – К нашему Эксперименту она отношения не имеет. В чем задача Эксперимента? Вот вопрос! Вот ты мне что скажи.

– Я уже сказал: создать модель коммунистического общества!

– Да на кой ляд Наставникам модель коммунистического общества, посуди ты сам, голова садовая!

– А почему нет? Почему?

– Я все-таки полагаю так, – сказал дядя Юра, – что Наставники – это не настоящие люди. Что они, как это сказать, другой породы, что ли... Посадили они нас в аквариум... или как бы в зоосад... и смотрят, что из этого получается.

– Это вы сами придумали, Юрий Константинович? – с огромным интересом повернулся к нему Изя.

Дядя Юра пощупал правую скулу и неопределенно ответил:

– В спорах родилось.

Изя даже стукнул кулаком по столу.

– Поразительная штука! – сказал он с азартом. – Почему? Откуда? У самых различных людей, причем мыслящих в общем-то вполне конформистски, почему рождается такое представление – о нечеловеческом происхождении Наставников? Представление, что Эксперимент проводится какими-то высшими силами.

– Я, например, спросил прямо, – вмешался Кэнси. – «Вы пришельцы?» Он от прямого ответа уклонился, но фактически и не отрицал.

– А мне было сказано, что они люди другого измерения, – сказал Андрей. О Наставнике говорить было неловко, как о семейном деле с посторонними людьми. – Но я не уверен, что я правильно понял... Может быть, это было иносказание...

– А я не желаю! – заявил вдруг Фриц. – Я – не насекомое. Я – сам по себе. А-а! – Он махнул рукой. – Да разве я попал бы сюда, если бы не плен?

– Но почему? – говорил Изя. – Почему? Я тоже ощущаю все время какой-то внутренний протест и сам не понимаю, в чем здесь дело. Может быть, их задачи в конечном счете близки к нашим...

– А я тебе, о чем толкую! – обрадовался Андрей.

– Не в этом смысле, – нетерпеливо отмахнулся Изя. – Не так это все прямолинейно, как у тебя. Они пытаются разобраться в человечестве, понимаешь? Разобраться! А для нас проблема номер один – то же самое: разобраться в человечестве, в нас самих. Так, может быть, разбираясь сами, они помогут разобраться и нам?

– Ах нет, друзья! – сказал Кэнси, мотая головой. – Ах, не обольщайтесь. Готовят они колонизацию Земли и изучают на нас с вами психологию будущих рабов...

– Ну почему, Кэнси? – разочарованно произнес Андрей. – Почему такие страшные предположения? По-моему, просто нечестно так о них думать...

– Да я, наверное, так и не думаю, – отозвался Кэнси. – Просто у меня какое-то странное чувство... Все эти павианы, превращения воды, всеобщий кабак изо дня в день... В одно прекрасное утро еще смешение языков нам устроят... Они словно систематически готовят нас к какому-то жуткому миру, в котором мы должны будем жить отныне, и присно, и во веки веков. Это как на Окинаве... Я был тогда мальчишкой, шла война, и у нас в школе окинавским ребятам запрещалось разговаривать на своем диалекте. Только по-японски. А когда какого-нибудь мальчика уличали, ему вешали на шею плакат: «Не умею правильно говорить». Так и ходил с этим плакатом.

– Да, да, понимаю... – проговорил Изя, с остановившейся улыбкой дергая и пощипывая бородавку на шее.

– А я – не понимаю! – объявил Андрей. – Все это – извращенное толкование, неверное... Эксперимент есть Эксперимент. Конечно, мы ничего не понимаем. Но ведь мы и не должны понимать! Это же основное условие! Если мы будем понимать, зачем павианы, зачем сменность профессий... такое понимание сразу обусловит наше поведение, Эксперимент потеряет чистоту и провалится. Это же ясно! Ты как считаешь, Фриц?

Фриц покачал белобрысой головой.

– Не знаю. Меня это не интересует. Меня не интересует, чего там ОНИ хотят. Меня интересует, чего Я хочу. А я хочу навести порядок в этом бардаке. Вообще, кто-то из вас говорил, я уже не помню, что, может быть, и вся задача Эксперимента состоит в том, чтобы отобрать самых энергичных, самых деловых, самых твердых... Чтобы не языками трепали, и не расползались как тесто, и не философии бы разводили, а гнули бы свою линию. Вот таких они отберут – таких, как я, или, скажем, ты, Андрей, – и бросят обратно на Землю. Потому что раз мы здесь не дрогнули, то и там не дрогнем...

– Очень может быть! – глубокомысленно сказал Андрей. – Я это тоже вполне допускаю.

– А вот Дональд считает, – тихонько сказал Ван, – что Эксперимент уже давным-давно провалился.

Все посмотрели на него. Ван сидел в прежней позе покоя – втянув голову в плечи и подняв лицо к потолку; глаза его были закрыты.

– Он сказал, что Наставники давно запутались в собственной затее, перепробовали все, что можно, и теперь уже сами не знают, что делать. Он сказал: полностью обанкротились. И все теперь просто катится по инерции.

Андрей в полной растерянности полез в затылок – чесаться. Вот так Дональд! То-то он сам не свой ходит... Другие тоже молчали. Дядя Юра медленно сворачивал очередную козью ножку, Изя с окаменевшей улыбкой щипал и терзал бородавку, Кэнси опять принялся за капусту, а Фриц, не отрываясь, глядел на Вана, выдвигая и снова ставя на место челюсть. Вот так и начинается разложение, мелькнуло у Андрея в голове. Вот с таких вот разговоров. Непонимание рождает неверие. Неверие – смерть. Очень, очень опасно. Наставник говорил прямо: главное – поверить в идею до конца, без оглядки. Осознать, что непонимание – это непеременимое условие Эксперимента. Естественно, это самое трудное. У большинства здесь нет настоящей идейной закалки, настоящей убежденности в неизбежности светлого будущего. Что сегодня может быть как угодно тяжело и плохо, и завтра – тоже, но послезавтра мы обязательно увидим небо в звездах, и на нашей улице наступит праздник...

– Я – человек неученый, – сказал вдруг дядя Юра, любовно заклеивая языком новую козью ногу. – У меня четыре класса образования, если хотите знать, и я тут уже Изе говорил, что сюда я, прямо скажем, попросту удрал... Как вот ты... – Он указал козьею ногой на Фрица. – Только тебе из плена дорога открылась, а мне, значит, из колхоза. Я, если войны не считать, всю жизнь в деревне прожил и всю жизнь света не видел. А здесь вот – увидел! Что они там со своим Экспериментом мудрят – прямо скажу, братки, не моего это ума дело, да и не так уж интересно. Но я здесь – свободный человек, и пока мою эту свободу не тронули, я тоже никого не трону. А вот если тут которые найдутся, чтобы наше нынешнее положение фермерское переменить, то тут я вам в точности обещаю: мы от вашего города камня на камне не оставим. Мы вам, мать вашу так, не павианы. Мы вам, мать вашу так, ошейники себе на горло положить не дадим!.. Вот такие вот пироги, браток, – сказал он, обращаясь непосредственно к Фрицу.

Изя рассеянно хихикнул, и снова воцарилось неловкое молчание. Андрея речь дяди Юры несколько удивила, и он решил, что у Юрия Константиновича жизнь, видимо, сложилась особенно тяжело, и если он говорит, что света он не видел, значит, есть у него на то особые основания, о которых расспрашивать его и тем более сейчас было бы бестактно. Поэтому он только сказал:

– Рано мы, наверное, поднимаем все эти вопросы. Эксперимент длится не так уж долго, работы – невпроворот, надо работать и верить в правоту...

– Это откуда ты взял, что Эксперимент длится недолго? – перебил его Изя с усмешкой. – Эксперимент длится лет сто, не меньше. То есть он длится наверняка гораздо больше, но просто за сто лет я ручаюсь.

– А ты откуда знаешь?

– Ты на север далеко заходил? – спросил Изя.

Андрей смешался. Он понятия не имел, что здесь вообще есть север.

– Ну, север! – нетерпеливо сказал Изя. – Условно считаем, что направление на солнце, та сторона, где болота, поля, фермеры, – это юг, а противоположная сторона, в глубину Города, – север. Ты ведь дальше мусорных свалок нигде и не был... А там еще город и город, там огромные кварталы, целехонькие дворцы... – Он хихикнул. – Дворцы и хижины. Сейчас там, конечно, никого нет, потому что воды нет, но когда-то жили, и было это «когда-то», я тебе скажу, довольно давно. Я там такие документы в пустых домах обнаружил, что ой-ей-ей! Слышал про такого монарха, Велиария Второго? То-то! А он, между прочим, там царствовал. Только в те времена, когда он там царствовал, здесь, – он постучал ногтем по столу, – здесь были болота и вкалывали на этих болотах крепостные... или рабы. И было это не меньше, чем сто лет назад...

Дядя Юра качал головой и цокал языком. Фриц спросил:

– А еще дальше на север?

– Дальше я не ходил, – сказал Изя. – Но я знаю людей, которые заходили очень далеко – километров на сто – сто пятьдесят, а многие уходили и не возвращались.

– Ну и что там?

– Город. – Изя помолчал. – Правда, и врут про те места тоже безбожно. Поэтому я и говорю только о том, что сам разузнал. Верные сто лет. Понял, друг мой Андрюша? Сто лет. За сто лет на любой эксперимент плюнуть можно.

– Ну ладно, ну подожди... – пробормотал Андрей, потерявшись. – Но ведь не плюнули же! – оживился он. – Раз набирают новых и

новых людей, значит, не бросили, не отчаялись! Просто очень трудная задача поставлена. – Новая мысль пришла ему в голову, и он оживился еще больше. – И вообще: откуда ты знаешь, какой у них масштаб времени? Может быть, наш год для них – секунда?..

– Да ничего я этого не знаю, – сказал Изя, пожимая плечами. – Я пытаюсь тебе объяснить, в каком мире ты живешь, – вот и все.

– Ладно! – прервал его дядя Юра решительно. – Хватит нам из пустого в порожнее переливать!.. Эй, малый! Как тебя... Отто! Брось девку, и тащи ты нам... Нет, окосел он. Разобьет он мне бутылку, схожу сам...

Он слез с табурета, взял со стола опустевший кувшин и отправился на кухню. Сельма бухнулась на свое место, снова задрала ноги выше головы и капризно толкнула Андрея в плечо.

– Вы долго еще будете эту бодягу тянуть? Развели скучищу... Эксперимент, эксперимент... Дай закурить!

Андрей дал ей закурить. Неожиданно оборвавшийся разговор взбаламутил в нем какой-то неприятный осадок – что-то было недоговорено, что-то было не так понято, не дали ему объяснить, не получилось единства... И Кэнси вот сидит какой-то грустный, а с ним это бывает редко... Слишком много мы о себе думаем, вот что! Эксперимент Экспериментом, а каждый норовит гнуть какую-то свою линию, цепляется за свою позицию, а надо-то вместе, вместе надо!..

Тут дядя Юра бухнул на стол новую порцию, и Андрей махнул на все рукой. Выпили по стакану, закусили, Изя выдал анекдот – грохнули. Дядя Юра тоже выдал анекдот, чудовищно неприличный, но очень смешной. Даже Ван смеялся, а Сельма просто скисла от хохота. «В крынку... – захлебывалась она, утирая глаза ладонями. – В крынку не лезет!..» Андрей ахнул кулаком по столу и затащил любимую мамину:

**А хто пье, тому наливайтэ,
А хто не пье, тому нэ давайтэ,
А мы будэм питы, тай Бога хвалиты,
И за нас, и за вас, и за нэньку старэньку,
Шо вывчила нас горилочку пить помалэньку...**

Ему подтягивали, кто как может, а потом Фриц, бешено вылупив глаза, проорал на пару с Отто какую-то незнакомую, но отличную песню про дрожащие кости старого дряхлого мира – великолепную боевую песню. Глядя, как Андрей с воодушевлением пытается подтягивать, Изя Кацман хихикал и булькал, потирая руки, и тут дядя Юра

вдруг, уставясь своими ерническими светлыми глазами на голые ляжки Сельмы, заревел медвежьим голосом:

**А по деревне пойдетё,
Играетё и поетё,
А мое сердце беспокоетё
И спать не даетё!..**

**Успех был полный, и дядя Юра продолжил:
А девки, сами знаетё,
Да чем заманиваетё:
Сулитё, не даетё,
Всё обманываетё...**

Тут Сельма сняла ноги с подлокотника, отпихнула Фрица и сказала с обидой:

– Ничего я вам не сулю, нужны вы мне все...

– Да я ж вообще... – сказал дядя Юра, сильно смутившись. – Это песня такая. Сама ты мне больно нужна...

Чтобы замять инцидент, выпили еще по стакану. Голова у Андрея пошла кругом. Он смутно сознавал, что возится с патефоном и что сейчас уронит его, и патефон действительно упал на пол, но насколько не пострадал, а напротив, начал играть даже как будто бы громче. Потом он танцевал с Сельмой, и бока у Сельмы оказались теплые и мягкие, а груди – неожиданно крепкие и большие, что было чертовски приятным сюрпризом: обнаружить нечто прекрасно оформленное под этими бесформенными складками колючей шерсти. Они танцевали, и он держал ее за бока, а она взяла его ладонями за щеки и сказала, что он – очень славный мальчик и очень ей нравится, и в благодарность он сказал ей, что любит ее, и всегда любил, и теперь ее от себя никуда не отпустит... Дядя Юра грохал кулаком по столу, провозглашал: «Что-то стало холодать, не пора ли нам поддать...», обнимал совершенно уже сникшего Вана и крепко лобызал его троекратно по русскому обычаю. Потом Андрей оказался посередине комнаты, а Сельма снова сидела за столом, кидала в раскисшего Вана хлебными шариками и называла его Мао Цзе-дуном. Это навело Андрея на идею спеть «Москва – Пекин», и он тут же исполнил эту прекрасную песню с необычайным азартом и задором, и потом вдруг оказалось, что они с Изей Кацманом стоят друг против друга и, страшно округлив глаза, все более и более понижая голоса в зловещем шепоте, повторяют, выставив указательные пальцы: «С-слушают нас!.. С-слуш-шают нас-с!..» Далее они с Изей оказались каким-то

образом втиснутыми в одно кресло, а перед ними на столе, болтая ногами, сидел Кэнси, и Андрей горячо втолковывал ему, что здесь он готов на любую работу, здесь – любая работа дает особое удовлетворение, что он замечательно чувствует себя, работая мусорщиком...

– Вот я – мусор...щик! – выговаривал он с трудом. – Мусорг... мусоргщик!

А Изя, плюясь ему в ухо, долдонил что-то неприятное, обидное что-то: якобы он, Андрей, на самом деле просто испытывает сладострастное унижение от того, что он мусорщик («...да, я мусорг...щик!»), что вот он такой умный, начитанный, способный, годный на гораздо большее, тем не менее терпеливо и с достоинством, не в пример другим-прочим, несет свой тяжкий крест... Потом появилась Сельма и сразу его утешила. Она была мягкая и ласковая, и делала все, что он хотел, и не перечила ему, и тут в его ощущениях образовался сладостный опустошающий провал, а когда он вынырнул из этого провала, губы у него были распухшие и сухие, Сельма уже спала на его кровати, и он отеческим движением поправил на ней юбку, накинул на нее одеяло, привел в порядок свой собственный туалет и, стараясь ступать бодро, снова вышел в столовую, споткнувшись по дороге о вытянутые ноги несчастного Отто, который спал на стуле в чудовищно неудобной позе человека, убитого выстрелом в затылок.

На столе возвышалась уже сама четвертная бутылка, а все участники веселья сидели, подперев взлохмаченные головы, и дружно тянули вполголоса: «Там в степи-и глухой за-амерзал ямщик...», и из бледных арийских глаз Фрица катились крупные слезы. Андрей присоединился было к хору, но тут раздался стук в дверь. Он открыл – какая-то закутанная в платок женщина в нижней юбке и ботинках на босу ногу спросила, здесь ли дворник. Андрей растолкал Вану и объяснил ему, где он, Ван, находится и что от него требуется. «Спасибо, Андрей», – сказал Ван, внимательно его выслушав, и, вяло шаркая подошвами, удалился. Оставшиеся допели «ямщика», и дядя Юра предложил выпить, «щоб дома нэ журылись», но тут выяснилось, что Фриц спит и чокаться поэтому не может. «Ну всё, – сказал дядя Юра. – Это, значит, будет последняя...». Но прежде чем они выпили по последней, Изя Кацман, ставший вдруг странно серьезным, исполнил соло еще одну песню, которую Андрей не совсем понял, а дядя Юра, кажется, понял вполне. В этой песне был рефрен «Аве, Мария!» и совершенно жуткая, словно с другой планеты, строфа:

**Упекли пророка в республику Коми,
А он и перекинъся башкою в лебеду.**

А следователь-хмурик получил в месткоме Льготную путевку на месяц в Теберду...

Когда Изя кончил петь, некоторое время было молчание, а затем дядя Юра вдруг со страшным треском обрушил пудовый кулак на столешницу, длинно и необычайно витиевато выматерился, после чего схватил стакан и припал к нему без всяких тостов. А Кэнси, по какой-то одному ему понятной ассоциации, чрезвычайно неприятным визгливым и яростным голосом спел другую, явно маршевую, песню, в которой говорилось о том, что если все японские солдаты примутся разом мочиться у Великой Китайской стены, то над пустыней Гоби встанет радуга; что сегодня императорская армия в Лондоне, завтра – в Москве, а утром в Чикаго будет пить чай; что сыны Ямато расселись по берегам Ганга и удочками ловят крокодилов... Потом он замолчал, попытался закурить, сломал несколько спичек и вдруг рассказал об одной девочке, с которой он дружил на Окинаве, – ей было четырнадцать лет, и она жила в доме напротив. Однажды пьяные солдаты изнасиловали ее, а когда отец пришел жаловаться в полицию, явились жандармы, взяли его и девочку, и больше Кэнси их никогда не видел...

Все молчали, когда в столовую заглянул Ван, окликнул Кэнси и поманил его к себе.

– Вот такие-то дела... – сказал дядя Юра уныло. – И ведь смотри: что на Западе, что у нас в России, что у желтых – везде ведь одно. Власть несправедная. Нет уж, братки, я там ничего не потерял. Я уж лучше тут...

Вернулся бледный озабоченный Кэнси и принялся искать свой ремень. Мундир у него уже был застегнут на все пуговицы.

– Что-нибудь случилось? – спросил Андрей.

– Да. «Случилось», – отрывисто сказал Кэнси, оправляя кобуру. – Дональд Купер застрелился. Около часа назад.

Часть вторая СЛЕДОВАТЕЛЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

У Андрея вдруг ужасно заболела голова. Он с отвращением раздавил в переполненной пепельнице окурок, выдвинул средний ящик стола и заглянул, нет ли там каких-нибудь пилюль. Пилюль не было. Поверх старых перепутанных бумаг лежал огромный армейский

пистолет, по углам пряталась всякая канцелярская мелочь в обтрепанных картонных коробочках, валялись огрызки карандашей, табачный мусор, несколько сломанных сигарет. От всего этого головная боль только усилилась. Андрей с треском задвинул ящик, подпер голову руками так, чтобы ладони закрывали глаза, и сквозь щелки между пальцами стал смотреть на Питера Блока.

Питер Блок, по прозвищу Копчик, сидел в отдалении на табурете, смиренно сложив на костлявых коленях красные лапки, и равнодушно мигал, время от времени облизываясь. Голова у него явно не болела, но зато ему, видимо, хотелось пить. И вероятно, курить тоже. Андрей с усилием оторвал ладони от лица, налил себе из графина тепловатой воды и, преодолев легкий спазм, выпил полстакана. Питер Блок облизнулся. Серые глаза его были по-прежнему невыразительны и пусты. Только на тощей грязноватой шее, торчащей из расстегнутого воротничка сорочки, длинно съехал книзу и снова подскокил к подбородку могучий хрящеватый кадык.

– Ну? – сказал Андрей.

– Не знаю, – хрипло ответил Копчик. – Не помню ничего такого. Сволочь, подумал Андрей. Животное.

– Как же это у вас получается? – сказал он. – Бакалею в Шерстяном переулке обслуживали; когда обслуживали – помните, с кем обслуживали – помните. Хорошо. Кафе Дрейдуса обслуживали, когда и с кем – тоже помните. А вот лавку Гофштаттера почему-то забыли. А ведь это ваше последнее дело, Блок.

– Не могу знать, господин следователь, – возразил Копчик с отвратительнейшей почтительностью. – Это кто-то на меня, извиняюсь, клепает. У меня, как мы после Дрейдуса завязали, как мы, значит, избрали путь окончательного исправления и полезного трудоустройства, так, значит, у меня никаких дел такого рода больше и не было.

– Гофштаттер-то вас опознал.

– Я очень извиняюсь, господин следователь, – теперь в голосе Копчика явственно слышалась ирония. – Но ведь господин Гофштаттер того-с, это кому угодно известно. Все у него, значит, перепуталось. В лавке у него я бывал, это точно – картошечки там купить, лучку... Я и раньше замечал, что у него, извиняюсь, в черепушке не все хорошо, знал бы, как дело обернется, перестал бы к нему ходить, а то вот, надо же...

– Дочь Гофштаттера вас тоже опознала. Это вы ей угрожали ножом, вы персонально.

– Не было этого. Было кое-что, но совсем не то. Вот она ко мне с ножом к горлу приставала – это было! Зажала меня однажды в

кладовке у них – еле ноги унес. У нее же сдвиг на половой почве, от нее все мужики в околотке по углам прячутся... – Копчик снова облизнулся. – Главное, говорит мне: заходи, говорит, в кладовую, сам, говорит, капусту выбирай...

– Это я уже слышал. Повторите лучше еще раз, что вы делали и где вы были в ночь с двадцать четвертого на двадцать пятое. Подробно, начиная с момента выключения солнца.

Копчик возвел глаза к потолку.

– Значит, так, – начал он. – Когда солнце выключилось, я сидел в пивной на углу Трикотажного и Второй, играл в карты. Потом Джек Ливер позвал меня в другую пивную, мы пошли, завернули по дороге к Джеку, хотели прихватить его шмару, да задержались, стали там пить. Джек насосался, и шмара его уложила в постель, а меня выгнала. Я пошел домой спать, но был сильно нагрузившись и по дороге сцепился с какими-то, трое их было, тоже пьяные, никого из них не знаю, впервые в жизни увидел. Они мне так навешали, что я уж больше ничего и не помню, утром только очухался у самого обрыва, еле домой добрался. Лег я спать, а тут за мной пришли...

Андрей полистал дело и нашел листок медицинской экспертизы. Листок был уже слегка засален.

– Подтверждается только то, что вы были пьяны, – сказал он. – Медэкспертиза не подтверждает, что вы были избиты. Следов избивания у вас на теле не обнаружено.

– Аккуратно, значит, работали ребята, – сказал Копчик с одобрением. – Были у них, значит, чулки с песком... У меня до сих пор все ребра болят... а меня в госпиталь отказываются... Вот сдохну у вас тут – будете все за меня отвечать...

– Трое суток у вас ничего не болело, а как только предъявили вам акт экспертизы – сразу заболело...

– Как же – не болело? Сил никаких не было, как болело, терпежу не стало, вот и жаловаться начал.

– Перестаньте врать, Блок, – устало сказал Андрей. – Срамно слушать...

Его уже тошнило от этого гнусного типа. Бандит, гангстер, попался буквально с поличным – и никак его не возьмешь... Опыта у меня не хватает, вот что. Другие таких вот раскалывают в два счета... А Копчик между тем горестно завздыхал, жалобно искривил лицо, закатил зрачки под лоб и, слабо постанывая, заерзал на сиденье, вознамерившись, по-видимому, половчее грянуться в обморок, чтобы ему дали стакан воды и отправили спать в камеру. Андрей сквозь щели между пальцами с ненавистью следил за этими

омерзительными манипуляциями. Ну, давай, давай, думал он. Попробуй мне только пол заблевать – я тебя, сукиного сына, одной промокашкой заставлю все подобрать...

Дверь распахнулась, и в кабинет уверенной походкой вошел старший следователь Фриц Гейгер. Скользя равнодушным взглядом по скорченному Копчику, он приблизился к столу и присел боком на бумагу. Не спрашивая, вытряхнул из Андреевой пачки несколько сигарет, одну сунул в зубы, остальные аккуратно уложил в тонкий серебряный портсигар. Андрей чиркнул спичкой, Фриц затаился, кивнул в знак благодарности и выпустил в потолок струю дыма.

– Шеф велел взять у тебя дело Черных Сороконожек, – сказал он негромко. – Если не возражаешь, конечно. – Он еще более понизил голос и значительно сморщил губы. – По-видимому, шефу здорово всыпал Главный прокурор. Он сейчас всех к себе вызывает и дает накачку. Жди – скоро и до тебя доберется...

Он еще раз затаился и посмотрел на Копчика. Копчик, вытянувший было шею подслушать, о чем шепчется начальство, тотчас опять съежился и издал жалобный стон. Фриц спросил:

– С этим ты, кажется, покончил?

Андрей помотал головой. Ему было стыдно. За последнюю декаду Фриц уже второй раз приходил забрать у него дело.

– Да ну? – удивился Фриц. Несколько секунд он оценивающе разглядывал Копчика, потом сказал вполголоса: – Ты позволишь? – и, не дожидаясь ответа, соскочил со стола.

Он подошел к подследственному вплотную и участливо наклонился над ним, держа сигарету на отлете.

– Все болит? – сочувственно осведомился он.

Копчик застонал утвердительно.

– Пить хочется?

Копчик снова застонал и протянул дрожащую лапку.

– И курить, наверное, тоже хочется?

Копчик недоверчиво приоткрыл один глаз.

– У него все болит, у бедняги! – громко сказал Фриц, не оборачиваясь, впрочем, к Андрею. – Жалко же смотреть, как мучается человек. Здесь у него болит... и здесь у него болит... и вот здесь у него болит...

Повторяя эти слова на разные лады, Фриц делал короткие непонятные движения рукой, свободной от сигареты, и жалобное мычание Копчика вдруг прервалось, сменилось какими-то крякающими и словно бы удивленными ахами, а лицо его побелело.

– Встать, сволочь! – неожиданно заорал Фриц во все горло и отступил на шаг.

Копчик немедленно вскочил, и тогда Фриц нанес ему страшный режущий удар в живот. Копчика согнуло пополам, а Фриц раскрытой ладонью с глухим стуком ударил его снизу в подбородок. Копчик качнулся назад, опрокинул табуретку и упал на спину.

– Встать! – снова заревел Фриц.

Копчик, всхлипывая и задыхаясь, торопливо возился на полу. Фриц подскочил к нему, схватил за ворот и рывком вздернул на ноги. Лицо Копчика было теперь совсем белое, с прозеленью, глаза выкатились, обезумели, он обильно потел.

Андрей, гадливо морщась, опустил глаза и принялся шарить дрожащими пальцами в пачке, силясь ухватить сигарету. Надо было что-то делать, но непонятно – что. С одной стороны, действия Фрица были омерзительны и бесчеловечны, но с другой стороны, не менее омерзителен и бесчеловечен был этот явный бандит, грабитель, нагло издавающийся над правосудием, фурункул на теле общества...

– По-моему, ты недоволен обращением? – звучал между тем вкрадчивый голос Фрица. – Мне кажется, ты даже собираешься жаловаться. Так вот, зовут меня Фридрих Гейгер. Старший следователь Фридрих Гейгер...

Андрей заставил себя поднять глаза. Копчик стоял, вытянувшись, всем корпусом откинувшись назад, а Фриц, вплотную к нему, слегка нагнувшись, грозно нависал, оперев руки в бока.

– Можешь жаловаться – мое нынешнее начальство ты знаешь... А вот кто был моим начальником раньше, тебе известно? Некто рейхсфюрер эс-эс Генрих Гиммлер! Слышал такую фамилию? А знаешь ли ты, где я работал раньше? В учреждении, именуемом гестапо! А знаешь, чем я прославился в этом учреждении?..

Зазвонил телефон. Андрей снял трубку.

– Следователь Воронин слушает, – сказал он сквозь зубы.

– Мартинелли, – отозвался глуховатый, с одышкой, голос. – Зайдите ко мне, Воронин. Немедленно.

Андрей положил трубку. Он понимал, что у шефа его ожидает колоссальный втык, но он был рад сейчас уйти из этого кабинета – подалее от обезумевших глаз Копчика, от свирепо выдвинутой челюсти Фрица, от этой сгущающейся атмосферы застенка. Зачем это он... гестапо, Гиммлер...

– Меня шеф к себе вызывает, – сказал он не своим, скрипучим каким-то голосом, машинально выдвинул ящик стола и вложил пистолет в кобуру, чтобы быть по форме.

– Желаю удачи, – отозвался Фриц, не оборачиваясь. – Я здесь побуду, не беспокойся.

Андрей, все убыстряя шаг, пошел к двери и бомбой выскочил в коридор. Под сумрачными сводами стояла прохладная пахучая тишина, на длинной садовой скамейке под строгим взглядом дежурного охранника сидели неподвижно несколько обшарпанных типов мужского пола. Андрей прошел мимо ряда прикрытых дверей в следственные камеры, миновал лестничную площадку, где несколько молоденьких, последнего набора, следователей, непрерывно дымя папиросами, азартно объясняли друг другу свои дела, поднялся на третий этаж и постучал в кабинет шефа.

Шеф был мрачен. Толстые щеки его обвисли, редкие зубы были угрожающе оскалены, он тяжело, с присвистом, дышал через рот и смотрел на Андрея исподлобья.

– Сядьте, – проворчал он.

Андрей сел, положил руки на колени и уставился в окно. Окно было забрано решеткой, за стеклом была непроглядная тьма. Часов одиннадцать уже, подумал он. Сколько же времени я потратил на этого мерзавца...

– Сколько у вас дел? – спросил шеф.

– Восемь.

– Сколько намерены закончить к концу квартала?

– Одно.

– Плохо.

Андрей промолчал.

– Плохо работаете, Воронин. «Плохо!» – сипло сказал шеф. Его мучила одышка.

– Я знаю, – сказал Андрей покорно. – Никак не могу войти в колею.

– А пора бы! – Шеф повысил голос до свистящего шипения. – Столько времени у нас работаете, а всего три жалких дела закрыли. Не выполняете свой долг перед Экспериментом, Воронин. А ведь вам есть у кого поучиться, есть с кем посоветоваться... Посмотрите, например, как работает ваш приятель, я имею в виду... э... я имею в виду Фридриха... э-э... У него, конечно, свои недостатки, но вам незачем перенимать у него именно недостатки. Можно перенимать и достоинства, Воронин. Вы пришли к нам вместе, а он уже закрыл одиннадцать дел.

– Я так не умею, – угрюмо сказал Андрей.

– Учиться. Надо учиться. Все мы учимся. Ваш... э-э... Фридрих тоже не с юридических курсов сюда пришел, а работает, и неплохо

работает... Вот он уже старший следователь. Есть мнение, что пора его сделать заместителем начальника уголовного сектора... Да. А вот вами, Воронин, недовольны. Например, как у вас продвигается дело о Здании?

– Никак не продвигается, – сказал Андрей. – Это же не дело. Это – так, чушь, мистика какая-то...

– Почему же мистика, раз есть свидетельские показания? Раз есть потерпевшие? Люди-то пропадают, Воронин!

– Я не понимаю, как можно вести дело, построенное на легендах и слухах, – угрюмо сказал Андрей.

Шеф с натугой, с посвистом покашлял.

– Шевелить мозгами надо, Воронин, – просипел он. – Слухи, легенды – да. Мистическая оболочка – да. А зачем? Кому понадобилось? Откуда взялись слухи? Кто породил? Кто распространяет? Зачем? И главное – куда пропадают люди? Вы меня понимаете, Воронин?

Андрей собрался с духом и сказал:

– Понимаю вас, шеф. Но это дело не по мне. Я предпочитаю заниматься просто уголовщиной. Город кишит мерзавцами...

– А я предпочитаю разводить помидоры! – сказал шеф. – Обожаю помидоры, а здесь их почему-то не достать ни за какие деньги... Вы на службе, Воронин, и никого не интересует, что вы там предпочитаете, вам поручено дело о Здании – извольте его вести. То, что вы неумеца, я и сам вижу. При других обстоятельствах я бы дела о Здании вам бы не поручил. А при нынешних обстоятельствах поручаю. Почему? Потому что вы – наш человек, Воронин. Потому что вы здесь не номер отбываете, а сражаетесь! Потому что прибыли сюда не для себя, а для Эксперимента. Таких людей мало, Воронин. И поэтому я расскажу вам сейчас то, что служащим вашего ранга знать не полагается.

Шеф откинулся в кресло и некоторое время молчал, еще сильнее свистя грудью и совсем уже оскалившись.

– Мы боремся с гангстерами, с рэкетирами, с хулиганами, это все знают, это хорошо, это нужно. Но опасность номер один – это не они, Воронин. Во-первых, существует здесь такое явление природы, именуется Антигород. Слыхали? Нет, не слыхали. И правильно. Не должны были слышать. И чтобы никто от вас этого не слышал! Служебная тайна с двумя нулями. Антигород. Есть сведения, что к северу существуют какие-то поселения, одно, два, несколько – неизвестно. А им о нас все известно! Возможно нашествие, Воронин. Очень опасно. Конец нашему Городу. Конец Эксперименту. Имеет место шпионаж, имеют место попытки саботажа, диверсии, распространение панических и порочащих слухов. Ситуация понятна, Воронин? Вижу –

понятна. Далее. Здесь, в самом Городе, рядом с нами, среди нас живут люди, прибывшие сюда не ради Эксперимента – по другим, более или менее корыстным мотивам. Нигилисты, внутренние затворники, изверившиеся элементы, анархисты. Активных среди них мало, но даже пассивные представляют опасность. Подрыв морали, разрушение идеалов, попытки настраивать одни слои населения против других, разрушающий скептицизм. Пример: ваш хороший знакомый, некий Кацман...

Андрей вздрогнул. Шеф тяжело взглянул на него сквозь припухшие веки, помолчал и повторил:

– Иосиф Кацман. Любопытный человек. Есть сведения, что часто удаляется в сторону севера, пребывает там некоторое время и возвращается обратно. При этом манкирует своими прямыми обязанностями, но это уже нас не касается. Далее. Разговоры. Это вам должно быть известно.

Андрей невольно кивнул и тут же, спохватившись, сделал каменное лицо.

– Дальше. Самое важное для вас. Замечен вблизи Здания. Дважды. Один раз видели, как он оттуда выходил. Полагаю, я привел хороший пример и удачно связал его с делом о Здании. Этим делом необходимо заняться, Воронин. Это дело, Воронин, я сейчас никому не могу поручить. Есть люди, в такой же степени верные, как и вы, и гораздо более толковые, но они заняты. Все. Все до одного. И – выше головы. Так что форсируйте дело о Здании, Воронин. От остальных дел я вас постараюсь избавить. Завтра в шестнадцать ноль-ноль явитесь ко мне и доложите ваш план. Идите.

Андрей поднялся.

– Да! Совет. Советую вам обратить внимание на дело о Падающих Звездах. Настоятельно. Может быть связь. Это дело ведет сейчас Ча-чуа, зайдите к нему, ознакомьтесь. Посоветуйтесь.

Андрей неловко поклонился и направился к выходу.

– Еще одно! – сказал шеф, и Андрей остановился у самой двери. – Имейте в виду: делом о Здании специально интересуется Главный прокурор. Специально! Так что, кроме вас, этим занимается и будет заниматься еще кто-то из прокуратуры. Постарайтесь обойтись без упущений, связанных с вашими личными склонностями или наоборот. Идите, Воронин.

Андрей прикрыл за собою дверь и прислонился к стене. Внутри себя он ощущал какую-то неясную пустоту, неопределенность какую-то. Он ожидал втыка, шершавого начальственного фитиля, может быть, даже увольнения или перевода в полицию. Вместо этого его

вроде бы даже похвалили, выделили из прочих, доверили дело, которое считается первостепенно важным. Всего год назад, когда он был еще мусорщиком, служебный втык бросил бы его в пучину горестей, а ответственное поручение вознесло бы на вершину ликования и горячего энтузиазма. А сейчас внутри стояли какие-то неопределенные сумерки, и он осторожно пытался разобраться в себе, а заодно – нащупать те неизбежные осложнения и неудобства, которые, конечно же, должны были возникнуть в этой новой ситуации.

Изя Кацман... Болтун. Трепло. Язык нехороший, ядовитый. Циник. И в то же время – никуда не денешься – бессребреник, добряк, совершенно, до глупости, бескорыстный и даже житейски беспомощный... И дело о Здании. И Антигород. Ч-черт... Ладно, разберемся...

Он вернулся в свой кабинет и с некоторым недоумением обнаружил там Фрица. Фриц сидел за его столом, курил его сигареты и внимательно перелистывал его дела, извлеченные из его сейфа.

– Ну что, получил на полную катушку? – осведомился он, поднимая глаза на Андрея.

Андрей, не отвечая, взял сигарету, закурил и несколько раз сильно затянулся. Потом он огляделся, где бы сесть, и увидел пустой табурет.

– Слушай, а этот где?

– В яме, – ответил Фриц пренебрежительно. – Отправил его на ночь в яму, велел не давать жрать, пить и курить. Раскололся он, как миленький, полное признание, и еще двоих назвал, о ком мы не знали. Но напоследок надобно проучить слизняка. Протокол я тебе... – Он перебрал с места на место несколько папок. – Протокол я подшил, сам найдешь. Завтра можешь передавать в прокуратуру. Там он сообщил кое-что любопытное, когда-нибудь пригодится...

Андрей курил и смотрел на это длинное холеное лицо, на быстрые водянистые глаза, невольно любовался уверенными движениями больших, истинно мужских рук. Фриц вырос за последнее время. В нем уже ничего почти не осталось от надутого молодого унтера. Туповатая наглость сменилась направленной уверенностью, он уже больше не обижался на шутки, не каменел лицом и вообще не вел себя как осел. Одно время он зачастил было к Сельме, потом у них получился какой-то там скандалчик, да и Андрей сказал ему несколько слов. И Фриц спокойно отошел.

– Ты чего на меня уставился? – с доброжелательным интересом осведомился Фриц. – Все не можешь опомниться от клистира? Ничего, дружище, клистир начальника – именины сердца для подчиненного!

– Слушай-ка, – сказал Андрей. – Зачем это ты развел тут оперетту? Гиммлер, гестапо... Что это за новости в следственной практике?

– Оперетту? – Фриц вздернул правую бровь. – Это, дружище, действует, как выстрел! – Он захлопнул раскрытое дело и вылез из-за стола. – Я удивляюсь, почему ты до этого не допер. Уверяю тебя, если бы ты сказал ему, что работал в че-ка или в гэ-пэ-у, да еще пощелкал бы у него перед носом туалетными ножницами, он бы тут тебе сапоги целовал... Знаешь, я отобрал у тебя несколько дел, а то тут такой завал, что ты и за год не раскопаешь... Так я их у тебя заберу, а потом сочтемся как-нибудь.

Андрей с благодарностью посмотрел на него, и Фриц дружески подмигнул ему в ответ. Дельный парень – Фриц. И хороший товарищ. Что ж, может быть, так и нужно работать? Какого черта церемониться с этой швалью! И в самом же деле, их там на Западе запугали полуподвалами че-ка до полусмерти, а с такой грязной падалью, как этот Копчик, все средства хороши...

– Ну, вопросы есть? – спросил Фриц. – Нет? Тогда я пошел.

Он забрал папки под мышку и выбрался из-за стола.

– Да! – спохватился Андрей. – Слушай, а ты дело о Здании случайно не забрал? Ты его оставь!..

– Дело о Здании? Голубчик, мой альтруизм так далеко не распространяется. Дело о Здании ты уж сам как-нибудь...

– Угу, – сказал Андрей с угрюмой решительностью. – Сам... Между прочим, – вспомнил он. – Что это за дело – о Падающих Звездах? Название знакомое, а в чем там суть, что это за звезды такие – не помню...

Фриц наморщил лоб, потом с любопытством взглянул на Андрея.

– Есть такое дело, – произнес он. – Неужели тебе его поручили? Тогда ты пропал. Оно же у Чачуа. Совершенная безнадюга.

– Нет, – со вздохом сказал Андрей. – Никто мне его не поручал. Просто шеф рекомендовал ознакомиться. Это серия каких-то ритуальных убийств? Или нет?

– Да нет, не совсем так. Хотя, может быть, и так. Это дело, дружище, тянется уже несколько лет. Под Стеной находят время от времени людей, разбившихся вдребезги, явно упавших со Стены, с большой высоты...

– То есть как это – со Стены? – удивился Андрей. – Разве на нее можно взобраться? Она же гладкая... И зачем? У нее и верха-то не видно...

– В том-то и дело! Сначала была идея, что там, наверху, тоже есть город, вроде нашего, и сбрасывают этих людей к нам с ихнего обрыва,

ну, как у нас можно сбросить в пропасть. Но потом раза два удалось опознать трупы: оказалось – наши, местные жители... Как они туда забрались, совершенно непонятно. Пока остается только предполагать, что это какие-то отчаянные скалолазы – пытались выбраться из Города наверх... Но с другой стороны... В общем, дело это какое-то темное. Мертвое дело, если хочешь знать мое мнение. Ну ладно, мне пора.

– Спасибо. «Счастливо», – сказал Андрей, и Фриц ушел.

Андрей переместился в свое кресло, убрал все папки, кроме дела о Здании, в сейф и посидел немного, подперев голову руками. Потом снял телефонную трубку, набрал номер и стал ждать. К телефону, как всегда, долго никто не подходил, потом трубку сняли, и басистый, явно нетрезвый мужской голос осведомился: «Х-алло?» Андрей молчал, прижимая трубку к уху. «Халло! Халлоу?» – рычал пьяный голос, потом замолчал, и было слышно только тяжелое дыхание и отдаленный голос Сельмы, выведивший жалобную песенку, завезенную сюда дядей Юрой:

**Ставай, ставай, Катя,
Корабли стоя-ать!
Два корабля синих,
Один голубой...**

Андрей повесил трубку, покряхтел, растирая щеки, пробормотал с горечью: «Шлюха паршивая, неисправимая...» и раскрыл папку.

Дело о Здании было начато еще в те времена, когда Андрей был мусорщиком и знать ничего не знал о мрачных кулисах Города. В 16-м, 18-м и 32-м участках начали вдруг систематически пропадать люди. Пропадали они совершенно бесследно, и не было в этих исчезновениях никакой системы, никакого смысла, никакой закономерности. Оле Свенссон, 43-х лет, рабочий бумажной фабрики, вышел вечером за хлебом и не вернулся, в хлебной лавке не появлялся. Стефан Цибульский, 25-ти лет, полицейский, ночью исчез с поста, на углу Главной и Алмазного найдена его портупея – и все, больше никаких следов. Моника Лерье, 55-ти лет, швея, вывела на прогулку перед сном своего шпица, шпиц вернулся здоровый и веселый, а швея исчезла. И так далее, и так далее – всего более сорока исчезновений.

Довольно быстро обнаружили свидетели, которые утверждали, что накануне исчезновения пропавшие люди заходили в некий дом, по описаниям – вроде один и тот же, но странность заключалась в том, что относительно местоположения этого дома разные свидетели

давали разные показания. Иосиф Гумбольдт, 63-х лет, парикмахер, на глазах у лично знавшего его Лео Палтуса вошел в трехэтажное, красного кирпича здание на углу Второй Правой и Серокаменного переулка, и с тех пор Иосифа Гумбольдта не видел никто. Некий Теодор Бух показал, что исчезнувший впоследствии Семен Заходько, 32-х лет, фермер, вошел в точно такое же по описанию здание, но уже на Третьейлевой улице, неподалеку от костела. Давид Мкртчян рассказал, как встретил в Глинобитном переулке своего давнего приятеля по работе Рэя Додда, 41-го года, ассенизатора, – они постояли, болтая об урожае, семейных делах и прочих нейтральных вещах, а затем Рэй Додд сказал: «Погоди минутку, мне нужно зайти в одно место, я постараюсь быстро, а если через пять минут не выйду, ты иди, значит, я задержался...» Он вошел в какое-то здание красного кирпича с окнами, замазанными мелом. Мкртчян ждал его четверть часа, не дождался и пошел своей дорогой, что же касается Рэя Додда, то он исчез бесследно и навсегда...

Красный кирпичный дом фигурировал в показаниях всех свидетелей. Одни утверждали, что он трехэтажный, другие – что четырех. Одни обратили внимание на окна, замазанные мелом, другие – на окна, забранные решетками. И не было двух свидетелей, которые указали бы одно и то же место его расположения.

По городу поползли слухи. В очередях за молоком, в парикмахерских, в локалях зловещим шепотом передавалась из уст в уста новенькая, с иголки, легенда о страшном Красном Здании, которое само собой бродит по городу, пристраивается где-нибудь между обычными домами и, жутко приоткрыв пасти дверей, притаившись, ждет неосторожных. Появились друзья родственников знакомых, которым удалось спастись, вырваться из ненасытной кирпичной утробы. Они рассказывали ужасные вещи и в доказательство предъявляли шрамы и переломы, полученные в прыжках со второго, третьего и даже четвертого этажей. Согласно всем этим слухам и легендам, дом внутри был пуст – там не подстерегали вас ни грабители, ни маньяки-садисты, ни кровососущие мохнатые твари. Но каменные кишки коридоров вдруг сжимались и норовили расплющить жертву; под ногами распахивались черные провалы люков, дышащие ледяным кладбищенским зловонием; неведомые силы гнали человека по мрачным сужающимся ходам и тоннелям до тех пор, пока он не застревал, забивал себя в последнюю каменную щель, – а в пустых комнатах с ободранными обоями, среди осыпавшихся с потолка пластов штукатурки жутко догнивали раскрошенные кости, торчащие из-под заскорузлого от крови тряпья...

Поначалу это дело даже заинтересовало Андрея. Он отметил на карте города крестиками те места, где видели Здание, пытался найти какую-нибудь закономерность в расположении этих крестиков, добрый десяток раз выезжал обследовать эти места и каждый раз обнаруживал на месте Здания либо заброшенный палисадник, либо пустоту между домами, либо даже обыкновенный жилой дом, ничего общего не имеющий ни с тайнами, ни с загадками.

Смущало то обстоятельство, что Красное Здание ни разу не видели при солнечном свете; смущало, что не менее половины свидетелей видели Здание, находясь в состоянии более или менее сильного алкогольного опьянения; смущали мелкие, но почти обязательные несообразности чуть ли не в каждом показании; особенно же смущала полная бессмысленность и дикость происходящего.

Изя Кацман как-то изрек по этому поводу, что миллионный город, лишенный систематической идеологии, должен неизбежно обзавестись собственными мифами. Это звучало убедительно, но люди-то ведь пропадали на самом деле! Конечно, пропасть в городе было немудрено. Достаточно было сбросить человека с обрыва, и концы, таким образом, оказывались в воде совершенно. Однако кому и зачем нужно было сбрасывать в пропасть каких-то парикмахеров, пожилых швей, мелких лавочников? Людей без денег, без репутации, практически без врагов? Кэнси однажды высказал совершенно здоровое предположение, что Красное Здание, если оно действительно существует, является, по всей видимости, составным элементом Эксперимента, а поэтому искать ему объяснения не имеет смысла – Эксперимент есть Эксперимент. В конце концов Андрей тоже остановился на этой точке зрения. Работы было невпроворот, дело о Здании насчитывало уже более тысячи листов, и Андрей засунул его на самое дно сейфа, изредка только извлекая, чтобы подшить очередное свидетельское показание.

Сегодняшний разговор с шефом открывал, однако, совершенно новые перспективы. Если в городе действительно есть люди, которые поставили перед собою (или получили от кого-то) задачу создать среди населения атмосферу паники и террора, то очень многое в деле о Здании становилось понятным. Несообразности в показаниях так называемых свидетелей легко объясняются в этом случае искажением слухов при передаче. Исчезновения людей превращаются в обыкновенные убийства с целью уплотнения атмосферы террора. В хаосе болтовни, опасливых шепотов и вранья надлежало теперь искать постоянно действующие источники, центры распространения зловещего тумана...

Андрей взял лист чистой бумаги и принялся медленно, слово за словом, пункт за пунктом набрасывать черновик плана. Через некоторое время у него получилось следующее.

Главная задача: выявление источников слухов, арест этих источников и выявление руководящего центра. Основные средства: повторный допрос всех свидетелей, дававших ранее показания в трезвом виде; выявление по цепочке и допрос лиц, утверждавших, будто они были в Здании; выявление возможных связей между этими лицами и свидетелями... Учитывать: а) агентурные данные; б) несообразности в показаниях...

Андрей покусал карандаш, пощурился на лампу и вспомнил еще одно: связаться с Петровым. Этот Петров в свое время плешь переел Андрею. У него пропала жена, и он почему-то решил, что ее поглотило Красное Здание. С тех пор он забросил все свои дела и занялся поисками этого Здания – писал бесчисленные записки в прокуратуру, которые аккуратно переправлялись в следственный отдел и попадали к Андрею, рыскал ночами по городу, несколько раз забираем был в полицию по подозрению в нечестных намерениях, буянил там, за что его сажали на десять суток, выходил и снова принимался за поиски.

Андрей выписал повестки ему, а также еще двум свидетелям, отдал эти повестки дежурному с наказом доставить немедленно, а сам отправился к Чачуа.

Чачуа, громадный разжиревший кавказец, почти без лба, но зато с гигантским носом, возлежал у себя в кабинете на диване в окружении разбухших папок с делами и спал. Андрей растолкал его.

– Э! – хрипло сказал Чачуа, пробуждаясь. – Что случилось?

– Ничего не случилось, – сердито сказал Андрей. Терпеть он не мог такой вот расхлябанности в людях. – Дай дело о Падающих Звездах.

Чачуа сел, лицо его засветилось радостью.

– Забираешь? – спросил он, хищно двигая феноменальным своим носом.

– Не радуйся, не радуйся, – сказал Андрей. – Только посмотреть.

– Слушай, зачем тебе смотреть? – горячо заговорил Чачуа. – Забирай у меня это дело совсем! Ты – красивый, молодой, энергичный, тебя шеф всем в пример ставит. Ты это дело быстро распутаешь – слазешь на Желтую Стену и моментально распутаешь! Что тебе стоит?..

Андрей засмотрелся на его нос. Огромный, горбатый, на переносице покрытый сетью багровых жилок, с торчащими из ноздрей пучками черных жестких волос, нос этот жил своей, отдельной от Чачуа, жизнью. Видно было, что он знает ничего не хотел о заботах

следователя Чачуа. Он хотел, чтобы все вокруг пили большими бокалами ледяное кахетинское, заедали сочащимися шашлыками и влажной хрустящей зеленью, чтобы плясали, захватив края рукавов в пальцы, выкрикивая азартно «асса!». Он хотел зарываться в душистые белокурые волосы и нависать над обнаженными пышными грудями... О, он многого хотел, этот великолепный жизнелюбивый носегедонист, и все его многочисленные желания откровенно отражались в его независимых движениях, в перемене окраски и в разнообразных звуках, издаваемых им!..

– ...А закончишь это дело, – говорил Чачуа, закатывая маслины глаз под низкий лоб, – бож-же мой! Какая тебе будет слава! Какой почет! Ты думаешь, Чачуа стал бы предлагать тебе это дело, если бы сам мог лазать по Желтой Стене? Ни за что Чачуа не стал бы предлагать тебе этого дела! Это же золотая жила! И я предлагаю его только тебе. Многие приходили и просили его у меня. Нет, думал я. Никому из вас с ним не справиться. Один только Воронин справится, думал я...

– Ну ладно, ладно, – сказал Андрей с досадой. – Завел свою говорильню. Давай папку. Нет у меня времени тут с тобой песни петь.

Чачуа, не переставая болтать, жаловаться и хвастаться, лениво поднялся, шаркая по замусоренному полу, подошел к сейфу и принялся в нем рыться, а Андрей смотрел на его широченные жирные плечи и думал, что Чачуа, наверное, один из лучших следователей в отделе, он просто блестящий следователь, у него самый высокий процент раскрытых дел, а вот дело о Падающих Звездах ему продвинуть так и не удалось, это дело никому продвинуть не удалось – ни Чачуа, ни его предшественнику, ни предшественнику предшественника...

Чачуа достал кучу пухлых засаленных папок, и они вместе пролистали последние страницы, и Андрей тщательно переписал себе на отдельный листок имена и адреса тех двоих, которых удалось опознать, а также те немногие особые приметы, которые удалось установить у некоторых из неопознанных жертв.

– Какое дело! – восклицал Чачуа, прищелкивая языком. – Одиннадцать трупов! А ты отказываешься. Нет, Воронин, не знаешь ты, где твое счастье. Вы, русские, всегда были идиётами – и на том свете идиётами были, и на этом остались!.. «А зачем тебе это?» – спросил он вдруг с интересом.

Андрей, как мог связно, объяснил ему свои намерения. Чачуа быстро схватил самую суть, но никакого особого восторга не выказал.

– Попробуй, попробуй... – сказал он вяло. – Сомневаюсь. Что такое твое Здание, и что такое моя Стена? Здание – это выдумка, а Стена

– вот она, километр отсюда... Нет, Воронин, не разобраться нам с этим делом...

Впрочем, когда Андрей был уже около двери, Чачуа сказал ему вслед:

– Ну, а если там что-нибудь – ты сразу мне...

– Ладно, – сказал Андрей. – Конечно.

– Послушай, – сказал Чачуа, сосредоточенно морща жирный лоб и двигая носом. Андрей, приостановившись, выжидательно смотрел на него. – Давно хотел тебя спросить... – Лицо его стало серьезным. – Слушай, там у вас в семнадцатом году в Петрограде заварушка была. Чем кончилась, а?

Андрей плюнул и вышел, хлопнув дверью, под раскатистый хохот страшно довольного кавказца. Опять Чачуа поймал его на этот дурацкий анекдот. Хоть совсем с ним не разговаривай.

В коридоре перед кабинетом его ждал сюрприз. На скамье сидел какой-то насмерть перепуганный, взъерошенный, с заспанными глазами человек, зябко кутающийся в пальто. Дежурный за столиком с телефоном вскочил и браво гаркнул:

– Свидетель Эйно Саари по вашему вызову доставлен, господин следователь!

Андрей обалдело воззрился на него.

– По какому моему вызову?

Дежурный тоже несколько обалдел.

– Вы же сами... – сказал он обиженно. – Полчаса назад... Вручили мне повестки, велели доставить немедленно...

– Господи, – сказал Андрей. – Повестки! Повестки я велел вам доставить немедленно, черт вас подери! На завтра, на десять утра! – Он взглянул на бледно улыбающегося Эйно Саари и на белые тесемки кальсон, свисающие у него из-под брючин, затем снова посмотрел на дежурного. – И остальных сейчас привезут? – спросил он.

– Так точно, – угрюмо сказал дежурный. – Как мне было сказано, так я и сделал.

– Я на вас рапорт подам, – сказал Андрей, еле сдерживаясь. – Переведут вас на улицу – сумасшедших по утрам загонять, – наплачетесь вы у меня тогда... Ну что ж, – произнес он, обращаясь к Саари. – Раз уж так получилось, заходите...

Он указал Эйно Саари на табурет, сел за стол и взглянул на часы. Было начало первого ночи. Надежда хорошенько выспаться перед завтрашним тяжелым днем печально испарилась.

– Ну ладно, – проговорил он со вздохом, раскрыл дело о Здании, перелистал огромную кипу протоколов, донесений, отношений и

экспертиз, отыскал лист с прежними показаниями Саари (43-х лет, саксофонист 2-го городского театра, разведен) и еще раз пробежал глазами. – Ладно, – повторил он. – Мне, собственно, требуется кое-что уточнить относительно ваших показаний, которые вы давали в полиции месяц назад.

– Пожалуйста, пожалуйста, – сказал Саари, с готовностью наклоняясь вперед и каким-то женским движением придерживая на груди распахивающееся пальто.

– Вы показали, что ваша знакомая, Элла Стремберг, на ваших глазах вошла в двадцать три часа сорок минут восьмого сентября нынешнего года в так называемое Красное Здание, имевшее тогда находиться на улице Попугаев в промежутке между гастрономическим магазином номер сто пятнадцать и аптекой Штрема. Вы подтверждаете это показание?

– Да, да, подтверждаю. Все было совершенно так. Только вот насчет даты... Точной даты я уже не помню, все-таки месяц с лишним прошел...

– Это неважно, – сказал Андрей. – Тогда вы помнили, да и с другими показаниями это совпадает... Теперь у меня к вам просьба: опишите снова и поподробнее это самое так называемое Красное Здание...

Саари склонил голову набок и задумался.

– Значит, таким образом, – сказал он. – Три этажа. Старый кирпич, темно-красный, как казарма, вы понимаете меня? Окна, знаете ли, такие узкие, высокие. На нижнем этаже все они покрашены мелом и, как сейчас помню, не освещены... – Он опять немного подумал. – Вы знаете, насколько я помню, там вообще не было ни одного освещенного окна. Ну, и... вход. Каменные ступени, две или три... Тяжелая такая дверь... медная такая старинная ручка, резная. Элла ухватилась за эту ручку и с таким, знаете ли, усилием потянула дверь на себя... Номера дома я не заметил, не помню, был ли номер... Словом, общий облик старинного казенного здания, что-нибудь конца прошлого века.

– Так, – сказал Андрей. – А скажите, вам часто приходилось бывать на этой улице Попугаев?

– В первый раз. И, собственно, в последний. Живу я довольно далеко оттуда, в тех краях не бываю, а в этот раз как-то так получилось, что я решил Эллу проводить. У нас была вечеринка, я за ней... м-м-м... ну, немножко ухаживал и пошел ее провожать. Мы очень мило беседовали по дороге, потом она вдруг сказала: «Ну, пора расставаться», поцеловала меня в щеку, и не успел я опомниться, как она

уже нырнула в этот дом. Я, признаться, подумал тогда, что она там живет...

– Понятно, – сказал Андрей. – На вечеринке вы, вероятно, пили? Саари сокрушенно хлопнул себя ладонями по коленям.

– Нет, господин следователь, – сказал он. – Ни капли. Пить мне нельзя – врачи не рекомендуют.

Андрей сочувственно покивал.

– А вы не помните случайно, были у этого здания печные трубы?

– Да, конечно, помню. Должен вам сказать, вид этого здания как-то поражает воображение, так что оно и сейчас как бы стоит у меня перед глазами. Там была такая черепичная крыша и три довольно высокие трубы. Из одной, помнится, шел дым, и я подумал еще тогда, как у нас все-таки много еще сохранилось домов с печным отоплением...

Момент настал. Андрей осторожно положил карандаш поперек протоколов, чуть подался вперед и пристально, значительно сощуренными глазами уставился на Эйно Саари, саксофониста:

– В ваших показаниях имеют место несообразности. Во-первых, как обнаружила экспертиза, вы, находясь на улице Попугаев, никак не могли видеть ни крыши, ни печных труб трехэтажного здания.

У Эйно Саари, завравшегося саксофониста, отвисла челюсть, глаза растерянно забегали.

– Далее. Как установлено следствием, улица Попугаев в ночное время не освещается вообще, и поэтому совершенно непонятно, каким образом в кромешной ночной темноте, за триста метров до ближайшего фонаря, вы различили такую массу деталей: цвет здания, старинный кирпич, медную ручку на двери, форму окон и, наконец, дым из трубы. Я хотел бы узнать, как вы объясняете эти несообразности.

Некоторое время Эйно Саари беззвучно открывал и закрывал рот. Потом он судорожно глотнул всухую и проговорил:

– Ничего не понимаю... Вы меня совсем растеряли... Мне это просто и в голову не приходило...

Андрей выжидательно молчал.

– Действительно, как я об этом раньше не подумал... Ведь на этой улице Попугаев было совершенно темно! Не то что домов – тротуара под ногами не видно было... И крыша... Я же стоял у самого дома, у крыльца... но я совершенно отчетливо помню и крышу, и кирпичи, и дым из трубы – такой белый ночной дымок, как будто освещенный луной...

– Да, странно, – произнес Андрей деревянным голосом.

– И ручка на дверях... Такая медная, отполированная многими прикосновениями... этакое хитрое сплетение цветов, листиков... Я бы мог ее сейчас нарисовать, если бы умел рисовать... И в то же время темнота была абсолютная – я лица Эллы не различал, только по голосу чувствовал, что она улыбается, когда...

В расширенных глазах Эйно Саари появилась какая-то новая мысль. Он прижал руки к груди.

– Господин следователь! – сказал он отчаянным голосом. – У меня в голове сейчас сумятица, но я отчетливо понимаю, что свидетельствую против себя, навожу вас на подозрения. Но я – человек честный, родители мои были честнейшие, глубоко религиозные люди... Все, что я вам сейчас говорю, есть полная и чистейшая правда! Все именно так и было. Просто раньше мне это не приходило в голову. Была крошечная тьма, я стоял у самого дома, и в то же время я помню каждый кирпичик, а черепичную крышу вижу так, будто она вот тут, рядом со мной... и три трубы... И дымок.

– Гм... – сказал Андрей и постучал пальцами по столу. – А может быть, вы не сами все это видели? Может быть, кто-нибудь вам об этом рассказывал?.. До случая с госпожой Стремберг вам приходилось слышать о Красном Здании?

Глаза Эйно Саари вновь смятенно забегали.

– Н-н-н... не припоминаю... – проговорил он. – Потом – да. Уже когда Элла пропала, когда я ходил в полицию... когда был уже объявлен розыск... потом было много разговоров. Но до этого... Господин следователь! – сказал он торжественно. – Я не могу поклясться, что я ничего не слышал о Красном Здании раньше, до исчезновения Эллы, но я могу поклясться, что ничего не помню об этом.

Андрей взял ручку и принялся писать протокол. Одновременно он говорил нарочито монотонным, казенным голосом, который по идее должен был навеять на подследственного суконную тоску и ощущение неизбежного рока, движимого безупречной машиной правосудия.

– Вы сами должны понимать, господин Саари, что следствие не может удовлетвориться вашими показаниями. Элла Стремберг исчезла бесследно, и последний человек, который ее видел, – вы, господин Саари. Красное Здание, которое вы здесь так подробно описали, на улице Попугаев не существует. Описание Красного Здания, которое вы даете, неправдоподобно, ибо противоречит элементарным физическим законам. Наконец, как известно следствию, Элла Стремберг жила в совершенно другом районе, далеко от улицы Попугаев. Это само по себе, конечно, не есть улика против вас, но вызывает

дополнительные подозрения. Я вынужден задержать вас впредь до выяснения ряда обстоятельств... Прошу прочесть и подписать протокол.

Эйно Саари, не говоря ни слова, приблизился к столу и, не читая, поставил свою подпись на каждой листке протокола. Карандаш дрожал у него в пальцах, узкий подбородок отвис и тоже трясся. Потом он, шаркая ногами, вернулся к табурету, сел обессиленно и, стиснув руки, сказал:

– Хочу еще раз подчеркнуть, господин следователь, что, давая показания... – Голос у него сорвался, он снова глотнул. – Давая показания, я сознавал, что поступаю себе во вред. Я мог бы что-нибудь выдумать, наврать... Я мог бы вообще не участвовать в розыске – никто ведь не знал, что я ушел провожать Эллу...

– Это ваше заявление, – сказал Андрей равнодушным голосом, – уже фактически содержится в протоколе. Если вы не виновны, вам ничего не грозит. Сейчас вас препроводят в камеру предварительного заключения. Вот вам бумага и карандаш. Вы можете оказать помощь следствию, да и себе самому, если самым подробным образом напишете, кто, когда и при каких обстоятельствах говорил с вами о Красном Здании. Безразлично – до исчезновения Эллы Стремберг или после. Самым подробным образом: кто – имя, адрес; когда – точная дата, время суток; при каких обстоятельствах – где, по какому поводу, с какой целью, в каком тоне. Вы меня поняли?

Эйно Саари кивнул и беззвучно сказал «да». Андрей, пристально глядя ему в глаза, продолжал:

– Я уверен, что все подробности о Красном Здании вы узнали где-то на стороне. Сами вы его, может быть, даже и не видели. И я настоятельно рекомендую вам вспомнить: кто снабдил вас этими подробностями – кто, когда, при каких обстоятельствах. И с какой целью.

Он звонком вызвал дежурного, и саксофониста увели. Андрей потер руки, наколот протокол и подшил его в дело, спросил горячего чая и вызвал следующего свидетеля. Он был доволен собой. Все-таки воображение и знание элементарной геометрии – полезные вещи. Забравшийся Эйно Саари был ушучен по всем правилам науки.

Следующий свидетель, вернее, свидетельница, Матильда Гусаква (62-х лет, вязание на дому, вдова) представляла собой, по крайней мере по идее, гораздо более простой случай. Это была могучая старуха с маленькой, сплошь седой головкой, румяными щечками и хитрыми глазами. Она нисколько не выглядела заспанной или испуганной, а наоборот, кажется, была очень довольна приключением. В прокуратуру она явилась со своей корзинкой, мотками разноцветной

шерсти, набором спиц, а в кабинете немедленно взгромоздилась на табурет, надела очки и заработала спицами.

– Следствию стало известно, госпожа Гусакова, – начал Андрей, – что некоторое время назад вы в кругу своих друзей рассказывали о происшествии с неким Франтишеком, который якобы попал в так называемое Красное Здание, претерпел там разнообразные приключения и с трудом вырвался на свободу. Было такое?

Престарелая Матильда усмехнулась, ловко выхватила одну спицу, пристроила другую и сказала, не поднимая глаз от вязанья:

– Было, было такое. Рассказывала я, и не раз, только вот откуда это стало известно следствию, хотела бы я знать... У меня вроде бы знакомых среди судейских нет...

– Должен вам сообщить, – доверительно сказал Андрей, – что в настоящее время ведется следствие по поводу так называемого Красного Здания, и мы чрезвычайно заинтересованы войти в контакт хотя бы с одним человеком, который в этом здании побывал...

Матильда Гусакова его не слушала. Она положила вязанье на колени и задумчиво смотрела в стену.

– Кто же это мог сообщить? – проговорила она. – У Лизы все свои, разве что Кармен где-нибудь натрепалась после... болтливая старуха... У Фриды? – Она покачала головой. – Нет, не может быть, чтобы у Фриды. Вот к Любе ходит один... противный такой старикашка, глазки у него так и бегают, и вечно он пьет за Любин счет... Вот уж не ожидала!.. И здесь, оказывается, надо соображать, кто да с кем... При немцах сидели – рот на замке. После сорок восьмого – опять помалкивай да посматривай. Только немножко рот открыли золотой весной – на тебе, русские на танках прибыли, опять заткнись, опять помалкивай... Сюда подалась – и тут, значит, та же картина...

– Позвольте, пани Гусакова, – прервал ее Андрей. – Вы, по-моему, превратно рассматриваете ситуацию. Вы ведь, насколько я понимаю, не совершили никакого преступления. Мы рассматриваем вас только как свидетеля, как помощника, который...

– Э, голубчик! Какие уж тут помощники? Полиция есть полиция.

– Да нет же! – Андрей для убедительности прижал руку к сердцу. – Мы ищем банду преступников! Они похищают людей и, судя по всему, убивают их. Человек, который побывал в их лапах, может оказать следствию неоценимую услугу!

– Да вы что, голубчик, – сказала старуха, – вы что, верите в это самое Красное Здание?

– А вы разве не верите? – спросил Андрей, несколько опешив.

Старуха не успела ответить. Дверь кабинета приоткрылась, из коридора прорвался гомон возбужденных голосов, и в щель просунулась коренастая черноголовая фигура, которая кричала в коридор: «Да, срочно! Срочно надо!» Андрей нахмурился, но тут фигуру вновь втянули в коридор, и дверь захлопнулась.

– Простите, нас отвлекли, – сказал Андрей. – Вы, кажется, хотели сказать, что сами не верите в это Красное Здание?

Не переставая работать спицами, престарелая Матильда пожала одним плечом.

– Ну какой же взрослый человек может в это поверить? Дом, видите ли, у них бегаёт с места на место, внутри у него все двери с зубами, поднимаешься по лестнице вверх – оказываешься в подвале... Конечно, в здешних местах все может случиться, Эксперимент есть Эксперимент, но это уж все-таки слишком... Нет, не верю. За кого это вы меня принимаете, чтобы я в такие басни верила? Конечно, в каждом городе есть дома, которые глотают людей, наверное, и в нашем без таких домов не обходится, но вряд ли дома эти бегают с места на место... да и лестницы там, как я понимаю, самые обыкновенные.

– Позвольте, пани Гусакова, – сказал Андрей. – А зачем же тогда вы эти басни всем рассказываете?

– А почему же не рассказывать, если люди слушают? Скучно же людям, особенно старикам, вроде нас...

– Так вы это что – сами выдумали?

Престарелая Матильда открыла рот, чтобы ответить, но тут у Андрея над самым ухом отчаянно заверещал телефон. Андрей чертыхнулся и схватил трубку.

– Андрю-шоно-чек... – произнес в трубке совершенно пьяный голос Сельмы. – Я их всех выпел-ра... выпер-ла. Ты чего не идешь?

– Извини, – сказал Андрей, покусывая губу и косясь на старуху. – Я сейчас очень занят, я тебе...

– А я не же-ла-ю! – заявила Сельма. – Я тебя люблю, я тебя жду. Я у тебя пьянень-ка-я, голень-ка-я, мне холод-но...

– Сельма, – понизив голос, сказал Андрей в самую трубку. – Не валяй дурака. Я очень занят.

– Все равно ты такой девочки не... не найдешь в этом нуж... нужнике. Я вот тут свернулась калачиком... совсем-совсем голень... голенькая...

– Я приеду через полчаса, – проговорил Андрей торопливо.

– Ду-ра-чок! Через пол... полчаса я спать уже буду... Кто ж через полчаса приезжает?

– Ну ладно, Сельма, ну пока, – сказал Андрей, проклиная тот день и час, когда он дал этой распутной девке телефон своего кабинета.

– Ну и пошел к черту! – заорала вдруг Сельма и дала отбой. Так небось грохнула трубку, что весь телефон разнесла. Андрей, сжав зубы от бешенства, осторожно положил свою трубку и несколько секунд сидел, не смея поднять глаза. Мысли у него разбегались. Потом он откашлялся.

– Ну так, – сказал он. – Угу... Значит, рассказывали вы просто так, от скуки... – Он вспомнил наконец свой последний вопрос. – Значит, прикажете вас так понимать, что вы сами выдумали всю эту историю с Франтишеком?

Старуха снова открыла было рот, чтобы ответить, и снова ничего не получилось. Дверь распахнулась, на пороге возник дежурный и браво отрапортовал:

– Прошу прощения, господин следователь! Доставленный свидетель Петров требует, чтобы вы допросили его немедленно, поскольку он имеет сообщить...

Глаза у Андрея застлала мутная пелена. Он изо всех сил хватил обоими кулаками по столу и заорал так, что у самого в ушах зазвенело:

– Черт вас подери, дежурный! Вы что, устава не знаете? Куда вы претесь со своим Петровым? Вы что, у себя в сортире? Кр-ругом – марш!

Дежурный исчез, как не был. Андрей, чувствуя, что губы у него трясутся от ярости, налил себе онемевшими руками воды из графина и выпил. В горле у него саднило от дикого рева. Он исподлобья поглядел на старуху. Престарелая Матильда знай себе вязала, как ни в чем не бывало.

– Прошу прощения, – пробурчал он.

– Ничего, молодой человек, – успокоила его Матильда. – Я на вас не в обиде. Так вот вы спросили, может, я сама все это выдумала. Нет, голубчик, не сама. Где мне такое выдумать! Надо же: лестницы – идешь вверх, а попадаешь вниз... Мне бы такое и во сне не приснилось. Как мне рассказали, так и я рассказала...

– А кто именно вам рассказал?

Старуха, не переставая вязать, покачала головой.

– Вот этого уж я не упомню. В очереди рассказывала одна женщина. Франтишек этот якобы зять одной ее знакомой. Тоже врала, конечно. В очереди такого иной раз наслышишься, что ни в каких газетах не прочтешь...

– А когда это примерно было? – спросил Андрей, понемногу приходя в себя и уже досадуя, что погорячился и взял слишком круто в лоб.

– Месяца два назад, наверное... а может, и три.

Да, испортил я допрос, думал Андрей с горечью. Испортил я, к чертям собачьим, допрос из-за этой стервы и из-за этого болвана-дежурного. Нет, я этого так не оставлю, я его, дубину стоеросовую, припеку. Он у меня попляшет. Он у меня побегает за психами по утреннему холодку... Ну ладно, а со старухой-то что теперь делать? Заперлась ведь старуха, не хочет имен называть...

– А вы уверены, пани Гусакова, – приступил он снова, – что так уж совсем не помните имени той женщины?

– Не помню, голубчик, совсем не помню, – весело откликнулась престарелая Матильда, не переставая бойко сверкать спицами.

– А может быть, подруги ваши помнят?..

Движение спиц несколько замедлилось.

– Вы ведь называли им это имя, верно? – продолжал Андрей. – Вполне ведь возможно, что у них память окажется лучше?

Матильда опять пожала одним плечом и ничего не ответила. Андрей откинулся на спинку стула.

– Вот ведь какое у нас с вами получается положение, пани Гусакова. Имя той женщины вы то ли забыли, то ли просто не хотите нам сказать. А подружки ваши его помнят. Значит, придется нам вас немного здесь задержать, чтобы не могли вы предупредить ваших подружек, и держать мы вас будем вынуждены до тех пор, пока либо вы сами, либо кто-нибудь из ваших подружек не вспомнит, от кого вы слышали эту историю.

– Воля ваша, – сказала пани Гусакова смиренно.

– Так-то оно так, – произнес Андрей. – Но вот пока вы будете вспоминать, а мы будем возиться с вашими подружками, люди-то будут продолжать исчезать, бандиты будут радоваться и потирать руки, и все это будет происходить от вашего странного предубеждения против органов следствия.

Престарелая Матильда ничего не ответила. Она только упрямо поджала сморщенные губы.

– Вы поймите, до чего все это нелепо получается, – продолжал втолковывать Андрей. – Мало того, что нам приходится и днем, и ночью возиться с отребьем, с гадами, с мерзавцами, – приходит честный человек и ни в какую не желает нам помочь. Ну что это такое? Дико ведь! Да и бессмысленна эта ваша, простите, детская затея. Вы не вспомните – ваши подружки вспомнят, а все равно мы имя этой

женщины узнаем, до Франтишека доберемся, и он нам поможет взять все это гнездо. Если только его раньше не укокошат бандиты как опасного свидетеля... А ведь если его убьют, виноваты будете и вы, пани Гусакова! Не по суду, конечно, не по закону, а по совести, по человечеству виноваты!

Вложивши в эту маленькую речь весь заряд своей убежденности, Андрей утомленно закурил сигарету и стал ждать, незаметно поглядывая на циферблат часов. Он положил себе ждать ровно три минуты, а потом, если вздорная старуха так и не расколется, отправить ее, старую корягу, в камеру, хоть и будет это совсем противозаконно. Но, в конце концов, надо же все-таки форсировать это проклятое дело... Сколько можно с каждой старухой возиться? Ночь в камере иногда производит на людей прямо-таки волшебное воздействие... Ну, а если возникнут какие-нибудь неприятности по поводу превышения полномочий... не возникнут, не станет она жаловаться, не похоже... ну, а если все-таки возникнут, так, в конце концов, Главный прокурор лично в этом деле заинтересован и, надо полагать, не выдаст. Ну, влепят выговор. Что я им – ради благодарностей работаю? Пусть лепят. Только бы дело это проклятое хоть немножко продвинуть... хоть чуть-чуть...

Он курил, вежливо разгоняя клубы дыма, секундная стрелка бодро бежала по циферблату, а пани Гусакова все молчала и только тихонько позвякивала своими спицами.

– Так, – сказал Андрей, когда истекла четвертая минута. Он решительным жестом вдавил окурок в переполненную пепельницу. – Вынужден вас задержать. За сопротивление следствию. Воля ваша, пани Гусакова, но, по-моему, это ребячество какое-то... Подпишите вот протокол, и вас препроводят в камеру.

Когда престарелую Матильду увели (на прощание она пожелала ему спокойной ночи), Андрей вспомнил, что ему так и не принесли горячего чая. Он высунулся в коридор, длинно и резко напомнил дежурному о его обязанностях и приказал ввести свидетеля Петрова.

Свидетель Петров, коренастый, почти квадратный, черный, как ворона, а на вид – совершеннейший бандит, мафиози девяносто шестой пробы, – прочно уселся на табуретку и, не говоря ни слова, стал злобно исподлобья глядеть, как Андрей прихлебывает чай.

– Ну что же вы, Петров? – сказал ему Андрей благодушно. – Рвались сюда, скандалили, работать мне мешали, а теперь вот молчите...

– А чего с вами, дармоедами, разговаривать? – сказал Петров злобно. – Раньше надо было жопой пошевелить, теперь уже поздно.

– А что же это такое экстренное произошло? – осведомился Андрей, пропуская «дармоедов» и все прочее мимо ушей.

– А то произошло, что пока вы здесь болтовней занимались, устав свой говённый соблюдали, я Здание видел!

Андрей осторожно положил ложечку в стакан.

– Какое здание? – спросил он.

– Да вы что, в самом деле? – моментально взбесился Петров. – Вы что, шутки со мной шутите? Какое здание... Красное! То самое! Стоит, сволочь, прямо на Главной, и люди туда заходят, а вы тут чаек попиваете... Каких-то старух дурацких терзаете...

– Минуточку, минуточку!.. – сказал Андрей, вынимая из папки план города. – Где вы видели? Когда?

– Да вот сейчас, когда везли меня сюда... Я этому идиоту говорю: «Останови!», а он гонит... Здесь дежурному говорю: давай скорее туда наряд полиции – он тоже не мычит не телится...

– Где вы его видели? В каком месте?

– Синагогу знаете?

– Да, – сказал Андрей, находя на карте синагогу.

– Так вот между синагогой и кинотеатриком – есть там такой занюханый.

На карте между синагогой и кинотеатром «Новый Иллюзион» значился сквер с фонтаном и детской площадкой. Андрей покусал кончик карандаша.

– Когда же это вы его видели? – спросил он.

– Двенадцать двадцать было, – сказал Петров угрюмо. – А сейчас уже – пожалуйста, почти час. Станет оно вас дожидаться... Я, бывало, через пятнадцать, через двадцать минут прибежал, его уже не было, а тут... – Он безнадежно махнул рукой.

Андрей снял трубку и приказал:

– Мотоцикл с коляской и одного полицейского. Немедленно.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Мотоцикл с треском мчался по Главной улице, подпрыгивая на разбитом асфальте. Андрей, скорчившись, прятал лицо за ветровым щитком коляски, но его все равно пробирало насквозь. Надо было захватить шинель.

Время от времени с тротуаров навстречу мотоциклу выскакивали, кривляясь и приплясывая, синие от холода психи, орали что-то неслышное за шумом двигателя – полицейский мотоциклист притормаживал тогда, ругаясь сквозь зубы, увертывался от цепких

протянутых рук, прорывался сквозь цепи полосатых балахонов и тут же снова разгонял машину так, что Андрея отбрасывало назад.

Кроме сумасшедших, никого на улице больше не было. Только однажды им повстречалась медленно катящаяся патрульная машина с оранжевой мигалкой на крыше, да на площади перед мэрией они увидели неуклюже бегущего огромного лохматого павиана. Павиан бежал опрометью, а за ним с гиканьем и пронзительными воплями гнались небритые люди в полосатых пижамах. Андрей, повернув голову, увидел, как они настигли-таки павиана, повалили, растянули в разные стороны за задние и передние лапы и принялись мерно раскачивать под жуткую загробную песню.

Мчались навстречу редкие фонари, черные кварталы, словно вымершие, без единого огонька, потом впереди показалась смутная желтоватая громада синагоги, и Андрей увидел Здание.

Оно стояло прочно и уверенно, будто всегда, многие десятилетия, занимало это пространство между стеной синагоги, изрисованной свастиками, и задрипанным кинотеатриком, оштрафованным на прошлой неделе за показ порнографических фильмов в ночное время, – стояло на том самом месте, где еще вчерашним днем росли чахлые деревца, бил худосочный фонтанчик в неподобающе громадной неряшливой цементной чаше, а на веревочных качелях висли и визжали разномастные ребятишки.

Оно было действительно красное, кирпичное, четырехэтажное, и окна нижнего этажа были забраны ставнями, и несколько окон на втором и третьем этажах светились желтым и розовым, а крыша была покрыта оцинкованной жстью, и рядом с единственной трубой укреплена была странная, с несколькими поперечинами антенна. К двери действительно вело крыльцо из четырех каменных ступенек, блестела медная ручка, и чем дальше Андрей смотрел на это здание, тем явственнее раздавалась у него в ушах какая-то торжественная и мрачная мелодия, и мельком он вспомнил, что многие из свидетелей показывали, будто в Здании играет музыка...

Андрей поправил козырек фуражки, чтобы не заслонял глаза, и взглянул на полицейского мотоциклиста. Угрюмый толстяк сидел нахохлившись, втянув голову в поднятый воротник, и сонно курил, держа сигарету в зубах.

– Видишь его? – спросил Андрей вполголоса.

Толстяк неловко повернул голову и отогнул воротник.

– А?

– Дом, говорю, видишь? – спросил Андрей, раздражаясь.

– Не слепой, – отозвался полицейский угрюмо.

– А раньше его видел здесь?

– Нет, – сказал полицейский. – Здесь не видел. В других местах – видел. А что? Здесь ночью и не такое увидишь...

Музыка у Андрея в ушах ревела с трагической силой, так что он даже плохо слышал полицейского. Происходили какие-то огромные похороны, тысячи и тысячи людей плакали, провожая своих близких и любимых, и ревущая музыка не давала им успокоиться, забыться, отключить себя...

– Жди меня здесь, – сказал Андрей полицейскому, но полицейский не ответил, что, впрочем, было и не удивительно, ибо он со своим мотоциклом остался на той стороне улицы, а Андрей стоял на каменном крыльце перед высокой дубовой дверью с медной ручкой.

Тогда Андрей посмотрел направо вдоль Главной улицы в туманную мглу, налево вдоль Главной улицы в туманную мглу, простился со всем этим на всякий случай и положил руку в перчатке на вычурно-резную блестящую медь.

За дверью оказалась небольшая спокойная прихожая, неярко освещенная желтоватым светом, гроздь шинелей, пальто и плащей свисали с разлапистой, как пальма, вешалки. Под ногами был потерянный ковер с бледными неопределенными узорами, а прямо впереди – широкая мраморная лестница с красной мягкой дорожкой, прижатой к ступеням металлическими, хорошо начищенными прутьями. Были еще какие-то картины на стенах, и было еще что-то за дубовым барьером справа, и был кто-то рядом, кто почтительно отобрал у Андрея папку и шепнул: «Наверх, пожалуйста...» Ничего этого Андрей разобрат не мог, ему ужасно мешал козырек фуражки, который все время съезжал на самые глаза, так что Андрей мог видеть только то, что было у него под ногами. На середине лестницы он подумал, что надо было бы сдать проклятую фуражку в гардероб этому раззолоченному типу в галунах и с бакенбардами до пояса, но теперь было уже поздно, а здесь все было устроено так, что все надо было делать вовремя или не делать совсем, и каждый ход свой, каждое свое действие возвращать назад было уже нельзя. И он со вздохом облегчения шагнул через последнюю ступеньку и снял фуражку.

Как только он появился в дверях, все встали, но он ни на кого не глядел. Он видел только своего партнера, невысокого пожилого мужчину в костюме полувоенного образца, в блестящих хромовых сапожках, мучительно на кого-то похожего и в то же время совершенно незнакомого.

Все неподвижно стояли вдоль стен, белых мраморных стен, украшенных золотом и пурпуром, задрапированных яркими

разноцветными знаменами... нет, не разноцветными, все было красное с золотом, только красное и только с золотом, и с бесконечно далекого потолка свисали огромные пурпурно-золотые полотнища, словно материализовавшиеся ленты какого-то невероятного северного сияния, все стояли вдоль стен с высокими полукруглыми нишами, а в нишах прятались в сумраке горделиво-скромные бюсты, мраморные, гипсовые, бронзовые, золотые, малахитовые, нержавеющей стали... холодом могил веяло из этих ниш, все мерзли, все украдкой потирали руки и ежились, но все стояли навтыжку, глядя прямо перед собой, и только пожилой человек в полувоенной форме, партнер, противник, медленно, неслышными шагами расхаживал в пустом пространстве посередине зала, слегка наклонив массивную сидящую голову, заложив руки за спину, сжимая левой рукой кисть правой. И когда Андрей вошел, и когда все встали и уже стояли некоторое время, и когда под сводами зала уже затих, запутавшись в пурпуре и золоте, едва слышный вздох как бы облегчения, человек этот еще продолжал прохаживаться, а потом вдруг, на полушаге, остановился и очень внимательно, без улыбки поглядел на Андрея, и Андрей увидел, что волосы у него на большом черепе редкие и седые, лоб низкий, пышные усы – тоже редкие и аккуратно подстриженные, а равнодушное лицо – желтоватое, с неровной, как бы изрытой кожей.

В представлениях не было нужды, и не было нужды в приветственных речах. Они сели за инкрустированный столик, у Андрея оказались черные, а у пожилого партнера – белые, не белые, собственно, а желтоватые, и человек с изрытым лицом протянул маленькую безволосую руку, взял двумя пальцами пешку и сделал первый ход. Андрей сейчас же двинул навстречу свою пешку, тихого надежного Вана, который всегда хотел только одного – чтобы его оставили в покое, – и здесь ему будет обеспечен некоторый, впрочем, весьма сомнительный и относительный, покой, здесь, в самом центре событий, которые развернутся, конечно, которые неизбежны, и Вану придется туго, но именно здесь его можно будет подпирать, прикрывать, защищать – долго, а при желании – бесконечно долго.

Две пешки стояли друг напротив друга, лоб в лоб, они могли коснуться друг друга, могли обменяться ничего не значащими словами, могли просто тихо гордиться собой, гордиться тем, что вот они, простые пешки, обозначили собою ту главную ось, вокруг которой будет теперь разворачиваться вся игра. Но они ничего не могли сделать друг другу, они были нейтральны друг к другу, они были в разных боевых измерениях – маленький желтый бесформенный Ван с головой, привычно втянутой в плечи, и плотный, по-кавалерийски

кривоногий мужичок в бурке и в папахе, с чудовищными пушистыми усами, со скуластым лицом и жесткими, слегка раскосыми глазами.

Снова на доске было равновесие, и это равновесие должно было продлиться довольно долго, потому что Андрей знал, что партнер его – человек гениальной осторожности, всегда полагавшийся, что самое ценное – это люди, а значит, Вану в ближайшее время ничто не может угрожать, и Андрей отыскал в рядах Вана и чуть-чуть улыбнулся ему, но сейчас же отвел глаза, потому что встретился с внимательным и печальным взглядом Дональда.

Партнер думал, неторопливо постукивая мундштуком длинной папирасы по инкрустированной перламутром поверхности столика, и Андрей снова покосился на замершие ряды вдоль стен, но теперь он уже смотрел не на своих, а на тех, кем распоряжался его соперник. Там почти не было знакомых лиц: какие-то неожиданно интеллигентного вида люди в штатском, с бородами, в пенсне, в старомодных галстуках и жилетках, какие-то военные в непривычной форме, с многочисленными ромбами в петлицах, при орденах, привинченных на муаровые подкладки... Откуда он набрал таких, с некоторым удивлением подумал Андрей и снова посмотрел на выдвинутую вперед белую пешку. Эта пешка была ему, по крайней мере, хорошо знакома – человек легендарной некогда славы, который, как шептались взрослые, не оправдал возлагавшихся на него надежд и теперь, можно сказать, сошел со сцены. Он, видно, и сам знал это, но не особенно горевал – стоял, крепко вцепившись в паркет кривыми ногами, крутил гигантские свои усы, исподлобья поглядывал по сторонам, и от него остро несло водкой и конским потом.

Партнер поднял над доскою руку и переставил вторую пешку. Андрей закрыл глаза. Этого он никак не ожидал. Как же это так – прямо сразу? Кто это? Красивое бледное лицо, вдохновенное и в то же время отталкивающее каким-то высокомерием, голубоватое пенсне, изящная вьющаяся бородка, черная копна волос над светлым лбом – Андрей никогда раньше не видел этого человека и не мог сказать, кто он, но был он, по-видимому, важной персоной, потому что властно и кратко разговаривал с кривоногим мужичком в бурке, а тот только шевелил усами, шевелил желваками на скулах и все отводил в сторону слегка раскосые глаза, словно огромная дикая кошка перед уверенным укротителем.

Но Андрею не было дела до их отношений – решалась судьба Вана, судьба маленького, всю свою жизнь мучившегося Вана, совсем уже втянувшего голову в плечи, уже готового к самому худшему и безнадежно покорного в своей готовности, и тут могло быть только одно из

трех: либо Вана, либо Ван, либо все оставить так, как есть, подвесить жизни этих двоих в неопределенности – на высоком языке стратегии это называлось бы «непринятый ферзевый гамбит» – и такое продолжение было известно Андрею, и он знал, что оно рекомендуется в учебниках, знал, что это азбука, но он не мог вынести и мысли о том, что Ван еще в течение долгих часов игры будет висеть на волоске, покрываясь холодным потоком предсмертного ужаса, а давление на него будет все наращиваться и наращиваться, пока, наконец, чудовищное напряжение в этом пункте не сделается совершенно невыносимым, гигантский кровавый нарыв прорвется, и от Вана не останется и следа.

Я этого не выдержу, подумал Андрей. И в конце концов, я совсем не знаю этого человека в пенсне, какое мне до него дело, почему это я должен жалеть его, если даже мой гениальный партнер думал всего несколько минут, прежде чем решил предложить эту жертву... И Андрей снял с доски белую пешку и поставил на ее место свою, черную, и в то же мгновение увидел, как дикая кошка в бурке вдруг впервые в жизни взглянула укротителю прямо в глаза и оскалила в плотоядной ухмылке желтые прокуренные клыки. И сейчас же какой-то смуглый, оливково-смуглый, не по-русски, не по-европейски даже выглядящий человек скользнул между рядами к голубому пенсне, взмахнул огромной ржавой лопатой, и пенсне голубой молнией брызнуло в сторону, а человек с бледным лицом великого трибуна и несостоявшегося тирана слабо ахнул, ноги его подломились, и небольшое ладное тело покатило по выщербленным древним ступеням, раскаленным от тропического солнца, пачкаясь в белой пыли и ярко-красной липкой крови... Андрей перевел дыхание, проглотил мешающий комок в горле и снова посмотрел на доску.

А там уже две белые пешки стояли рядом, и центр был прочно захвачен стратегическим гением, и, кроме того, из глубины прямо в грудь Вану нацелился зияющий зрачок неминуемой гибели – тут нельзя было долго размышлять, тут дело было уже не только в Ване: одно-единственное промедление, и белый слон вырвется на оперативный простор – он давно уже мечтает вырваться на оперативный простор, этот высокий статный красавец, украшенный созвездиями орденов, значков, ромбов, нашивок, гордый красавец с ледяными глазами и пухлыми, как у юноши, губами, гордость молодой армии, гордость молодой страны, преуспевающий соперник таких же высокомерных, усыпанных орденами, значками, нашивками гордецов западной военной науки. Что ему Ван? Десятки таких Ванов он зарубил собственной рукой, тысячи таких Ванов, грязных, вшивых, голодных,

слепо уверовавших в него, по одному его слову, яростно матерясь, в рост шли на танки и пулеметы, и те из них, которые чудом остались в живых, теперь уже холеные и отъевшиеся, готовы были идти и сейчас, готовы были повторить все сначала...

Нет, этому человеку нельзя было отдавать ни Вана, ни центра. И Андрей быстро двинул вперед пешку, стоявшую на подхвате, не глядя, кто это, и думая только об одном: прикрыть, подпереть Вана, защитить его хотя бы со спины, показать великому танкисту, что Ван, конечно, в его власти, но дальше Вана ему не пройти. И великий танкист понял это, и заблестевшие было глаза его снова сонно прикрылись красивыми тяжелыми веками, но он забыл, видимо, как точно так же забыл и вдруг каким-то страшным внутренним озарением понял Андрей, что здесь все решают не они – не пешки и слоны, и даже не ладьи и не ферзи. И чуть только маленькая безволосая рука медленно поднялась над доской, как Андрей, уже понявший, что сейчас произойдет, сипло каркнул: «Поправляю...» в соответствии с благородным кодексом игры и так поспешно, что даже пальцы свело судорогой, поменял местами Вана и того, кто его подпирал. Удача бледно улыбнулась ему: подпирал Вана, а теперь заменил Вана Валька Сойфертис, с которым Андрей шесть лет просидел за одной партой и который все равно уже умер в сорок девятом году во время операции по поводу язвы желудка.

Брови гениального партнера медленно приподнялись, коричневатые с крапинками глаза удивленно-насмешливо прищурились. Конечно, ему был смешон и непонятен такой бессмысленный как с тактической, так, тем более, и со стратегической точки зрения поступок. Продолжая движение маленькой слабой руки, он остановил ее над слоном, помедлил еще несколько секунд, размышляя, затем пальцы его уверенно сомкнулись на лакированной головке фигуры, слон устремился вперед, тихонько стукнул о черную пешку, сдвинул ее и утвердился на ее месте. Гениальный стратег еще медленно выносил битую пешку за пределы поля, а кучка людей в белых халатах, деловитых и сосредоточенных, уже окружила хирургическую каталку, на которой лежал Валька Сойфертис, – в последний раз мелькнул перед глазами Андрея темный, изглоданный болезнью профиль, и каталка исчезла в дверях операционной...

Андрей взглянул на великого танкиста и увидел в его серых прозрачных глазах тот же ужас и тягостное недоумение, которое ощущал и сам. Танкист, часто мигая, смотрел на гениального стратега и ничего не понимал. Он привык мыслить в категориях передвижений в пространстве огромных машинных и человеческих масс, он, в своей

наивности и простодушии, привык считать, что все и навсегда решат его бронированные армады, уверенно прущие через чужие земли, и многомоторные, набитые бомбами и парашютистами летающие крепости, плывущие в облаках над чужими землями, он сделал все возможное для того, чтобы эта ясная мечта могла быть реализована в любой необходимый момент... Конечно, он позволял себе иногда известные сомнения в том, что гениальный стратег так уж гениален и сумеет однозначно определить этот необходимый момент и необходимые направления бронированных ударов, и все же он ни в какую не понимал (и так и не успел понять), как можно было приносить в жертву именно его, такого талантливому, такого неутомимому и неповторимому, как можно было принести в жертву все то, что было создано такими трудами и усилиями...

Андрей быстро снял его с доски, с глаз долой, и поставил на его место Вана. Люди в голубых фуражках протиснулись между рядами, грубо схватили великого танкиста за плечи и за руки, отобрали оружие, с хрустом ударили по красивому породистому лицу и поволокли в каменный мешок, а гениальный стратег откинулся на спинку стула, сыто зажмурился и, сложив руки на животе, покрутил большими пальцами. Он был доволен. Он отдал слона за пешку и был очень доволен. И тогда Андрей вдруг понял, что в его, стратега, глазах все это выглядит совсем иначе: он ловко и неожиданно убрал мешающего ему слона, да еще получил пешку в придачу – вот как это выглядело на самом деле...

Великий стратег был более чем стратегом. Стратег всегда крутится в рамках своей стратегии. Великий стратег отказался от всяких рамок. Стратегия была лишь ничтожным элементом его игры, она была для него так же случайна, как для Андрея – какой-нибудь случайный, по прихоти сделанный ход. Великий стратег стал великим именно потому, что понял (а может быть, знал от рождения): выигрывает вовсе не тот, кто умеет играть по всем правилам; выигрывает тот, кто умеет отказаться в нужный момент от всех правил, навязать игре свои правила, неизвестные противнику, а когда понадобится – отказаться и от них. Кто сказал, что свои фигуры менее опасны, чем фигуры противника? Вздор, свои фигуры гораздо более опасны, чем фигуры противника. Кто сказал, что короля надо беречь и уводить из-под шаха? Вздор, нет таких королей, которых нельзя было бы при необходимости заменить каким-нибудь конем или даже пешкой. Кто сказал, что пешка, прорвавшаяся на последнюю горизонталь, обязательно становится фигурой? Ерунда, иногда бывает гораздо полезнее оставить ее

пешкой – пусть постоит на краю пропасти в назидание другим пешкам...

Проклятая фуражка все съезжала и съезжала Андрею на глаза, и ему все труднее становилось следить за тем, что происходит вокруг. Он слышал, однако, что чинная тишина в зале перестала существовать, слышался звон посуды, гомон многих голосов, звуки настраиваемого оркестра. Потянуло кухонным чадом. Кто-то пискляво объявлял на весь дом: «Жогж! Я чегтовски пгоголодался! Вели скогее подать мне гюмку кюгасо и а-ня-няс!..»

– Прошу прощения, – произнес кто-то над самым ухом с казенной вежливостью, протискиваясь между Андреем и доской, – мелькнули черные фалды, начищенные лаковые штиблеты, высоко вздетая белая рука с нагруженным подносом проплыла над головой. И еще какая-то белая незнакомая рука поставила у локтя Андрея бокал шампанского.

Гениальный стратег обстучал, наконец, и обмял свою папиросу до такой степени, что ее стало можно курить. И он закурил – синеватый дымок поплыл у него из волосатых ноздрей, путаясь в пышных редковатых усах.

А игра тем временем шла. Андрей судорожно защищался, отступал, маневрировал, и ему пока удавалось сделать так, что гибли только и без того уже мертвые. Вот унесли Дональда с простреленным сердцем и положили на столик рядом с бокалом его пистолет и предсмертную записку: «Приходя – не радуйся, уходя – не грусти. Пистолет отдайте Воронину. Когда-нибудь пригодится» ... Вот уже брат с отцом снесли по обледенелой лестнице и сложили в штабель трупов во дворе тело бабушки, Евгении Романовны, зашитое в старые простыни... Вот и отца похоронили в братской могиле где-то на Пискаревке, и угрюмый водитель, пряча небритое лицо от режущего ветра, прошелся асфальтовым катком взад и вперед по окоченевшим трупам, утрамбовывая их, чтобы в одну могилу поместилось побольше... А великий стратег щедро, весело и злорадно справлялся со своими и чужими, и все его холеные люди в бородках и орденах стреляли себе в виски, выбрасывались из окон, умирали от чудовищных пыток, проходили, перешагивая друг через друга, в ферзи и оставались пешками...

И Андрей все мучительно пытался понять, что же это за игра, в которую он играет, какая цель ее, каковы правила, и зачем все это происходит, и до самых глубин души продираал его вопрос: как же это он попал в противники великого стратега, он, верный солдат его армии, готовый в любую минуту умереть за него, готовый убивать за

него, не знающий никаких иных целей, кроме его целей, не верящий ни в какие средства, кроме указанных им средств, не отличающий замыслов великого стратега от замыслов Вселенной. Он жадно, не ощутивши никакого вкуса, вылакал шампанское, и тогда вдруг ослепительное озарение обрушилось на него. Ну конечно же, он никакой не противник великого стратега! Ну конечно же, вот в чем дело! Он его союзник, верный его помощник, вот оно – главное правило этой игры! Играют не соперники, играют именно партнеры, союзники, игра идет в одни-единственные ворота, никто не проигрывает, все только выигрывают... кроме тех, конечно, кто не доживет до победы...

Кто-то коснулся его ноги и проговорил под столом: «Будьте любезны, передвиньте ножку...» Андрей посмотрел под ноги. Там темнела блестящая лужа, и около нее возился на карачках лысенький карлик с большой высохшей тряпкой, покрытой темными пятнами. Андрея замутило, и он снова стал смотреть на доску. Он уже пожертвовал всеми мертвыми, теперь у него оставались только живые. Великий стратег по ту сторону столика с любопытством следил за ним и даже, кажется, кивал одобрительно, обнажая в вежливой улыбке маленькие редкие зубы, и тут Андрей почувствовал, что он больше не может. Великая игра, благороднейшая из игр, игра во имя величайших целей, которые когда-либо ставило перед собой человечество, но играть в нее дальше Андрей не мог.

– Выйти... – сказал он хрипло. – На минутку.

Это получилось у него так тихо, что он сам едва расслышал себя, но все сразу посмотрели на него. Снова в зале наступила тишина, и козырек фуражки почему-то больше не мешал ему, и он мог теперь ясно, глаза в глаза, увидеть всех своих, всех, кто пока еще оставался в живых.

Мрачно глядел на него, потрескивая сигаркой, огромный дядя Юра в своей распахнутой настее, выцветшей гимнастерочке; пьяно улыбалась Сельма, развалившаяся в кресле с ногами, задранными так, что видна была попка в кружевных розовых трусиках; серьезно и понимающе смотрел Кэнси, а рядом с ним – взлохмаченный, как всегда зверски небритый, с отсутствующим взглядом Володька Дмитриев; а на высоком старинном стуле, с которого только что поднялся и ушел в очередную свою и последнюю таинственную командировку Сева Барабанов, восседал теперь брезгливо сморщенный, со своим аристократическим горбатым носом Борька Чистяков, словно готовый спросить: «Ну что ты орешь, как больной слон?» – все были здесь, все самые близкие, самые дорогие, и все смотрели на него, и все по-разному, и в то же время было в их взглядах и что-то общее, какое-то

общее их к нему отношение: сочувствие? доверие? жалость? Нет, не это, и он так и не понял, что именно, потому что вдруг увидел среди хорошо знакомых и привычных лиц какого-то совсем незнакомого человека, какого-то азиата с желтоватым лицом и раскосыми глазами, нет, не Вана, какого-то изысканного, даже элегантного азиата, и еще ему показалось, что за спиной этого незнакомца прячется кто-то совсем маленький, грязный, оборванный, наверное, беспризорный ребенок...

И он встал, резко, со скрипом отодвинув от себя стул, и отвернулся от них всех, и, сделав какой-то неопределенный жест в сторону и в адрес великого стратега, поспешно пошел вон из зала, протискиваясь между чьими-то плечами и животами, отстраняя кого-то с дороги, и, словно чтобы успокоить его, кто-то пробубнил неподалеку: «Ну что ж, это правилами допускается, пусть подумает, поразмыслит... Нужно только остановить часы...»

Совершенно обессиленный, мокрый от пота, он выбрался на лестничную площадку и сел прямо на ковер, недалеко от жарко полыхающего камина. Фуражка снова сползла ему на глаза, так что он даже и не пытался разглядеть, что это там за камин и что за люди сидят около камина, он только чувствовал своим мокрым и словно бы избитым телом мягкий сухой жар, и видел подсохшие, но все еще липкие пятна на своих ботинках, и слышал сквозь уютное потрескивание пылающих поленьев, как кто-то неторопливо, со вкусом, прислушиваясь к собственному бархатному голосу, рассказывает:

– ...Представляете себе – красавец, в плечах кося сажень, кавалер трех орденов Славы, а полный бант этих орденов, надо вам сказать, давали не всякому, таких было меньше даже, чем Героев Советского Союза. Ну, прекрасный товарищ, учился отлично и все такое. И была у него, надо вам сказать, одна странность. Бывало, придет он на вечеринку на хате у сынка какого-нибудь генерала или маршала, но чуть все разбредутся шерочка с машерочкой, он потихоньку в прихожую, фуражечку набекрень и – привет. Думали сначала, что есть у него какая-то постоянная любовь. Так нет – то и дело встречали его ребята в публичных местах – ну, в парке Горького, в клубах там разных – с какими-то отъявленными лахудрами, да все с разными! Я вот тоже однажды повстречал. Смотрю – ну и выбрал! – ни кожи, ни рожи, чулки вокруг тощих конечностей винтом, размалевана – сказать страшно... а тогда, между прочим, нынешней косметики ведь не было – чуть ли не ваксой сапожной девки брови подводили... В общем, как говорится, явный мезальянс. А он – ничего. Ведет ее нежно под ручку и что-то ей там вкручивает, как полагается. А уж она-то – прямо тает, и

гордится, и стыдится – полные штаны удовольствия... И вот однажды в холостой компании мы и пристали к нему: давай выкладывай, что у тебя за извращенные вкусы, как тебе с этими б...ми ходить не тошно, когда по тебе сохнут лучшие красавицы... А надо вам сказать, что был у нас в академии педагогический факультет, привилегированная такая штучка, туда только из самых высоких семей девиц набирали... Ну, он сначала отшучивался, а потом сдался и рассказал нам такую удивительную вещь. Я, говорит, товарищи, знаю, что во мне, так сказать, все угодья: и красив, и ордена, и хвост колом. И сам, говорит, о себе это знаю, и записочек много на этот счет получал. Но был тут у меня, говорит, один случай. Увидел я вдруг несчастье женщин. Всю войну они никакого просвета не видели, жили впроголодь, вкалывали на самой мужской работе – бедные, некрасивые, понятия даже не имеющие, что это такое – быть красивой и желанной. И я, говорит, положил себе дать хоть немногим из них такое яркое впечатление, чтобы на всю жизнь им было о чем вспоминать. Я, говорит, знакомлюсь с такой вот вагоновожатой, или с работницей с «Серпа и молота», или с несчастенькой учительницей, которой и без войны-то на особое счастье рассчитывать не приходилось, а теперь, когда столько мужиков перебили, и вообще ничего в волнах не видно. Провожу я с ними два-три вечера, говорит, а потом исчезаю, прощаюсь, конечно, вру, что еду в длительную командировку или еще что-нибудь такое правдоподобное, и остаются они с этим светлым воспоминанием... Хоть какая-то, говорит, светлая искорка в их жизни. Не знаю, говорит, как это получается с точки зрения высокой морали, но есть у меня ощущение, что я таким образом хоть как-то частичку нашего общего мужского долга выполняю... Рассказал он нам все это, мы обалдели. Потом, конечно, спорить принялись, но впечатление это все на нас произвело необыкновенное. Вскоре он, впрочем, куда-то исчез. Тогда многие у нас так вот исчезали: приказ командования, а в армии не спрашивают, куда и зачем... Больше я его не видел...

И я, подумал Андрей. И я его больше не видел. Было два письма – одно маме, одно мне. И было извещение маме: «Ваш сын, Сергей Михайлович Воронин, погиб с честью при выполнении боевого задания командования». В Корею это было. Под розовым акварельным небом Кореи, где впервые великий стратег попробовал свои силы в схватке с американским империализмом. Он вел там свою великую игру, а Сережа там остался со своим полным набором орденов Славы...

Не хочу, подумал Андрей. Не хочу я этой игры. Может быть, так все и должно быть, может, без этой игры и нельзя. Может быть. Даже наверняка. Но я не могу... Не умею. И учиться даже не хочу... Ну что

же, подумал он с горечью. Значит, я просто плохой солдат. Вернее сказать, я просто солдат. Всего-навсего солдат. Тот самый, который размышлять не умеет и потому должен повиноваться слепо. И я никакой не партнер, не союзник великого стратега, а крошечный винтик в его колоссальной машине, и место мое не за столом в его непостижимой игре, а рядом с Ваном, с дядей Юрой, с Сельмой... Я маленький звездный астроном средних способностей, и, если бы мне удалось доказать, что существует какая-то связь между широкими парами и потоками Схилта, это было бы для меня уже очень и очень много. А что касается великих решений и великих свершений...

И тут он вспомнил, что он уже не звездный астроном, что он – следователь прокуратуры, что ему удалось добиться немало успеха: с помощью специально подготовленной агентуры особой сыскной методикой засечь это таинственное Красное Здание и проникнуть в него, раскрыть его зловещие тайны, создать все предпосылки для успешного уничтожения этого злокачественного явления нашей жизни...

Приподнявшись на руках, он сполз ступенькой ниже. Если я сейчас вернусь к столу, из Здания мне уже не вырваться. Оно меня поглотит. Это же ясно: оно уже многих поглотило, на то есть свидетельские показания. Но дело не только в этом. Дело в том, что я должен вернуться в свой кабинет и распутать этот клубок. Вот мой долг. Вот что я сейчас обязан сделать. Все остальное – мираж...

Он сполз еще на две ступеньки. Надо освободиться от миража и вернуться к делу. Здесь все не случайно. Здесь все отлично продумано. Это чудовищный иллюзион, сооруженный провокаторами, которые стремятся разрушить веру в конечную победу, растлить понятия морали и долга. И не случайно, что по одну сторону Здания этот грязный кинотеатрик под названием «Новый Иллюзион». Новый! В порнографии ничего нового нет, а он – новый! Все понятно! А по другую сторону что? Синагога...

Он быстро-быстро пополз по ступенькам вниз и добрался до двери, на которой было написано «Выход». Уже взявшись за дверную ручку, уже навалившись, уже преодолевая сопротивление скрипящей пружины, он вдруг понял, что общего было в выражении глаз, устремленных на него там, наверху. Упрек. Они знали, что он не вернется. Он сам еще об этом и не догадывался, а они уже знали точно...

Он вывалился на улицу, жадно хватил огромный глоток сырого туманного воздуха и с замирающим от счастья сердцем увидел, что здесь все по-прежнему: туманная мгла направо вдоль Главной улицы, туманная мгла налево вдоль Главной улицы, а напротив, на той

стороне, рукой подать – мотоцикл с коляской и совсем заснувший полицейский водитель, погрузившийся в воротник с головой. «Дрыхнет жиряга, – с умилением подумал Андрей. – Умаялся». И тут голос внутри него вдруг громко произнес: «Время!», и Андрей застонал, заплакал от отчаяния, только сейчас вспомнив главное, самое страшное правило игры. Правило, придуманное специально против таких вот интеллигентных хлюпиков и чистоплюев: тот, кто прервал партию, тот сдался; тот, кто сдался, теряет все свои фигуры.

С воплем «Не надо!» Андрей повернулся и протянул руку к медной ручке. Но было уже поздно. Дом уходил. Он медленно пятился задом в непроглядную тьму мрачных задворков синагоги и «Нового Иллюзиона». Он уползал с явственным шорохом, скрежетом, скрипом, дребезжа стеклами, побряхтывая балками перекрытий. С крыши сорвалась черепица и разбилась о каменную ступеньку.

Андрей изо всех сил давил на медную ручку, но она словно сослась с деревом двери, а дом двигался все быстрее и быстрее, и Андрей уже бежал, почти волочился за ним, как за отходящим поездом, он рвал и дергал ручку и вдруг споткнулся обо что-то, упал, скрюченные пальцы его сорвались с гладких медных завитков, он ударился обо что-то головой, очень больно, искры посыпались из глаз, и хрустнуло что-то в черепе, но он еще видел, как дом, пятясь, на ходу гася свои окна, свернул за желтую стену синагоги, исчез, снова появился, словно выглянул двумя своими последними горящими окнами, а потом и эти окна погасли, и наступила тьма.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Он сидел на скамейке перед дурацкой цементной чашей фонтана и прижимал влажный, уже степлившийся платок к здоровенной, страшной на ощупь гуле над правым глазом. Света белого он не видел, голову ломило так, что он опасался, не лопнул ли череп, саднили разбитые колени, ушибленный локоть онемел, но, по некоторым признакам, обещал в ближайшем будущем еще заявить о себе. Впрочем, все это, может быть, было даже и к лучшему. Все это придавало происходящему отчетливо выраженную грубую реальность. Не было никакого Здания, не было Стратега и темной липкой лужи под столом, не было шахмат, не было никакого предательства, а просто брел человек в темноте, зазевался да и загремел через низенький цементный барьер прямо в идиотскую чашу, треснувшись дурацкой своей башкой и всем прочим о сырое цементное дно...



То есть, Андрей, конечно, прекрасно понимал, что на самом деле все было совсем не так просто, но приятно было думать, что, может быть, все-таки именно брел, именно зацепился и треснул – тогда

все получалось даже забавно и во всяком случае удобно. Что же мне теперь делать, думал он туманно. Ну, нашел я это Здание, ну, побывал, увидел своими глазами... А дальше? Не забивайте мне голову, большую мою голову теперь не забивайте всеми этими разглагольствованиями о слухах, мифах и прочей пропаганде. Это раз. Не забивайте... Впрочем, виноват – кажется, это я сам всем забивал голову. Надо немедленно выпустить этого... как его... с флейтой. Интересно, эта его Элла – тоже там играла в шахматы?.. Сволочь, как голова болит...

Платок совсем степлился, Андрей, кряхтя, поднялся, подковылял к фонтану и, перегнувшись через край, подержал влажную тряпку в ледяной струйке. В гулю кто-то горячо и яростно толкался изнутри. Вот тебе и миф. Он же мираж... Он отжал платок, снова приложил его к больному месту и посмотрел через улицу. Толстяк по-прежнему спал. Зараза жирная, подумал Андрей с озлоблением. Службу он несет. Я тебя зачем с собой брал? Дрыхнуть я тебя сюда брал? Меня тут сто раз могли кокнуть... Конечно, а эта скотина, выспавшись, заявила бы завтра утром в прокуратуру и доложила бы как ни в чем не бывало: господин, мол, следователь как зашли ночью в Красное Здание, так больше наружу и не вышли... Некоторое время Андрей представлял себе, как славно было бы набрать сейчас ведро ледяной воды, подобраться к толстому гаду и вылить ему все ведро за шиворот. То-то бы взвился. Это как на сборах ребята развлекались: задрыхнет кто-нибудь, а ему за шнурок привяжут к причинному месту ботинок, а потом этот огромный грязный говнодав поставят на морду. Тот спросонья озверевает и этот ботинок запускает в пространство с бешеной силой. Очень было смешно.

Андрей вернулся к скамейке и обнаружил, что у него появился сосед. Какой-то маленький тощенький человечек, весь в черном, даже рубашка черная, сидел, положивши ногу на ногу, держа на колене старомодную шляпу-котелок. Наверное, сторож при синагоге. Андрей тяжело опустился рядом с ним, осторожно прощупывая сквозь влажный платок границы гули.

– Ну хорошо, – сказал человечек ясным старческим голосом. – А что будет дальше?

– Ничего особенного, – сказал Андрей. – Всех выловим. Я этого дела так не оставлю.

– А дальше? – настаивал старик.

– Не знаю, – сказал Андрей, подумав. – Может быть, еще какая-нибудь гадость появится. Эксперимент есть Эксперимент. Это – надолго.

– Это – навечно, – заметил старик. – В согласии с любой религией это – навечно.

– Религия здесь ни при чем, – возразил Андрей.

– Вы и сейчас так думаете? – удивился старик.

– Конечно. И всегда так думал.

– Хорошо, не будем пока об этом. Эксперимент есть Эксперимент, веревка – вервие простое... здесь многие так себя утешают. Почти все. Этого, между прочим, ни одна религия не предусмотрела. Но я-то о другом. Зачем даже здесь нам оставлена свобода воли? Казалось бы, в царстве абсолютного зла, в царстве, на вратах которого начертано: «Оставь надежду...»

Андрей подождал продолжения, не дождался и сказал:

– Вы все это себе как-то странно представляете. Это не есть царство абсолютного зла. Это скорее хаос, который мы призваны упорядочить. А как мы сможем его упорядочить, если не будем обладать свободой воли?

– Интересная мысль, – произнес старик задумчиво. – Мне это никогда не приходило в голову. Значит, вы полагаете, что нам дан еще один шанс? Что-то вроде штрафного батальона – смыть кровью свои прегрешения на переднем крае извечной борьбы добра со злом...

– Да при чем здесь – «со злом»? – сказал Андрей, понемногу раздражаясь. – Зло – это нечто целенаправленное...

– Вы – манихеец! – прервал его старик.

– Я – комсомолец! – возразил Андрей, раздражаясь еще больше и чувствуя необыкновенный прилив веры и убежденности. – Зло – это всегда явление классовое. Не бывает зла вообще. А здесь все перепутано, потому что – Эксперимент. Нам дан хаос. И либо мы не справимся, вернемся к тому, что было там – к классовому расслоению и прочей дряни, – либо мы оседлаем хаос и претворим его в новые, прекрасные формы человеческих отношений, именуемые коммунизмом...

Некоторое время старик ошарашенно молчал.

– Надо же, – произнес он наконец с огромным удивлением. – Кто бы мог подумать, кто бы мог предположить... Коммунистическая пропаганда – здесь! Это даже не схизма, это... – Он помолчал. – Впрочем, ведь идеи коммунизма сродни идеям раннего христианства...

– Это ложь! – возразил Андрей сердито. – Поповская выдумка. Раннее христианство – это идеология смирения, идеология рабов. А мы – бунтари! Мы камня на камне здесь не оставим, а потом вернемся туда, обратно, к себе, и все перестроим так, как перестроили здесь!

– Вы – Люцифер, – проговорил старик с благоговейным ужасом.
– Гордый дух! Неужели вы не смирились?

Андрей аккуратно перевернул платок холодной стороной и подозрительно посмотрел на старичка.

– Люцифер?.. Так. А кто вы, собственно, такой?

– Я – тля, – кратко ответил старик.

– Гм... – Спорить было трудно.

– Я – никто, – уточнил старик. – Я был никто там, и здесь я тоже никто. – Он помолчал. – Вы вселили в меня надежду, – объявил он вдруг. – Да, да, да! Вы не представляете себе, как странно, как странно... как радостно было слушать вас! Действительно, раз свобода воли нам оставлена, то почему должно быть обязательно смирение, терпеливые муки?.. Нет, эту встречу я считаю самым значительным эпизодом за все время моего пребывания здесь...

Андрей с неприязненной внимательностью оглядывал его. Издевается, старый хрен... Нет, не похоже... Сторож синагоги?.. Синагога!

– Прошу прощения, – вкрадчиво осведомился он. – Вы давно здесь сидите? Я имею в виду – на этой скамеечке?

– Нет, не очень. Сначала я сидел на табуретке вон в той подворотне, там есть табуретка... А когда Дом удалился, я перешел на скамеечку.

– Ага, – сказал Андрей. – Значит, вы видели Дом?

– Конечно! – с достоинством ответил старик. – Его трудно не видеть. Я сидел, слушал музыку и плакал.

– Плакал... – повторил Андрей, мучительно пытаясь сообразить, что к чему. – Скажите, вы еврей?

Старик вздрогнул.

– Господи, нет! Что за вопрос? Я католик, верный и – увы! – недостойный сын римско-католической церкви... Разумеется, я ничего не имею против иудаизма, но... А почему вы об этом спросили?

– Так, – сказал Андрей уклончиво. – К синагоге, значит, вы не имеете никакого отношения?

– Пожалуй, нет, – сказал старик. – Если не считать того, что я часто сижу в этом скверике и иногда сюда приходит сторож... – Он стесненно захихикал. – Мы с ним ведем религиозные диспуты...

– А как же Красное Здание? – спросил Андрей, закрывая глаза от боли в черепе.

– Дом? Ну, когда приходит Дом, мы, естественно, здесь сидеть не можем. Тогда нам приходится подождать, пока он уйдет.

– Значит, вы видите его не в первый раз?

– Разумеется, нет. Редкую ночь он не приходит... Правда, сегодня он был здесь дольше, чем обычно...

– Погодите, – сказал Андрей. – А вы знаете, что это за дом?

– Его трудно не узнать, – тихо сказал старик. – Раньше, в той жизни, я не раз видел его изображения и описания. Он подробно описан в откровениях святого Антония. Правда, этот текст не канонизирован, но сейчас... Нам, католикам... Словом, я читал это. «И еще являлся мне дом, живой и движущийся, и совершал непристойные движения, а внутри через окна я видел в нем людей, которые ходили по комнатам его, спали и принимали пищу...» Я не ручаюсь за точность цитирования, но это очень близко к тексту... И, разумеется, Иероним Босх... Я бы назвал его святым Иеронимом Босхом, я многим обязан ему, он подготовил меня к этому... – Он широко повел рукой вокруг себя. – Его замечательные картины... Господь, несомненно, допустил его сюда. Как и Данте... Между прочим, существует рукопись, которую приписывают Данте, в ней тоже упоминается этот дом. Как это там... – Старик закрыл глаза и поднял растопыренную пятерню ко лбу. – Э-э-э... «И спутник мой, простерши руку, сухую и костлявую...» М-м-м... Нет... «Кровавых тел нагих сплетенье в покоях сумрачных...» М-м-м...

– Погодите, – сказал Андрей, облизывая сухие губы. – Что вы мне несете? При чем здесь святой Антоний и Данте? Вы к чему, собственно, клоните?

Старик удивился.

– Я ни к чему не клоню, – сказал он. – Вы ведь спросили меня про Дом, и я... Я, конечно, должен благодарить Бога за то, что Он в предвечной мудрости и бесконечной доброте своей еще в прежнем существовании моем просветил меня и дал мне подготовиться. Я очень и очень многое узнаю здесь, и у меня сжимается сердце, когда я думаю о других, кто прибыл сюда и не понимает, не в силах понять, где они оказались. Мучительное непонимание сущего и вдобавок мучительные воспоминания о грехах своих. Возможно, это тоже великая мудрость Творца: вечное сознание грехов своих без осознания возмездия за них... Вот, например, вы, молодой человек, – за что Он низвергнул вас в эту пучину?

– Не понимаю, о чем вы говорите, – пробормотал Андрей утрюмо. «Религиозных фанатиков нам здесь еще только и не хватало», – подумал он.

– Да вы не стесняйтесь, – сказал старик ободряюще. – Здесь скрывать это не имеет смысла, ибо Суд уже состоялся... Я, например, грешен перед народом своим – я был предателем, доносчиком, я видел, как мучили и убивали людей, которых я выдавал слугам сатаны. Меня

повесили в тысяча девятьсот сорок четвертом. – Старик помолчал. – А вы когда умерли?

– Я не умирал... – произнес Андрей, холодея.

Старик покивал с улыбкой.

– Да, многие так думают, – сказал он. – Но это заблуждение. История знает случаи, когда людей брали живыми на небо, но никто никогда не слышал, чтобы их – в наказание! – живыми ссылали в преисподнюю.

Андрей слушал, обалдело воззрившись на него.

– Вы просто забыли, – продолжал старик. – Была война, бомбы падали на улицах, вы бежали в бомбоубежище, и вдруг – удар, боль, и все исчезло. А потом – видение ангела, говорящего ласково и интонационно, и вы – здесь... – Он снова понимающе покивал, выпятив губу. – Да-да, несомненно, именно так вот и возникает ощущение свободы воли. Теперь я понимаю: это инерция. Просто инерция, молодой человек. Вы говорили так убежденно, что несколько даже поколебали меня... Организация хаоса, новый мир... Нет-нет, это просто инерция. Это должно со временем пройти. Не забудьте, преисподняя вечна, возврата нет, а вы ведь еще только в первом круге...

– Вы... серьезно? – Голос Андрея дал маленького петуха.

– Вы же все это знаете сами, – ласково сказал старик. – Вы отлично все это знаете! Просто вы – атеист, молодой человек, и не хотите себе признаться, что ошибались всю свою – пусть даже недолгую – жизнь. Вас учили ваши бестолковые и невежественные учителя, что впереди – ничто, пустота, гниение; что ни благодарности, ни возмездия за содеянное ждать не приходится. И вы принимали эти жалкие идеи, потому что они казались вам такими простыми, такими очевидными, а главным образом потому, что вы были совсем молоды, обладали прекрасным здоровьем тела и смерть была для вас далекой абстракцией. Сотворивши зло, вы всегда надеялись уйти от наказания, потому что наказать вас могли только такие же люди, как вы. А если вам случалось сотворить добро, вы требовали от таких же, как вы, немедленной награды. Вы были смешны. Сейчас вы, конечно, понимаете это – я вижу это по вашему лицу... – Он вдруг засмеялся. – У нас в подполье был один инженер, материалист, мы часто спорили с ним о загробной жизни. Господи, как он издевался надо мною! «Папаша, – говорил он, – в рай мы с вами закончим этот бессмысленный спор...» И вы знаете, я все ищу его здесь, ищу и никак не могу найти. Может быть, в его шутке была правда, может быть, он и в самом деле пошел в рай – как мученик. Смерть его воистину была мучительна... А я – здесь.

– Ночные диспуты о жизни и смерти? – проквокал вдруг над ухом знакомый голос, и скамейка затряслась. Изя Кацман, по обыкновению растерзанный и взлохмаченный, с размаху плюхнулся по другую сторону от Андрея и, придерживая левой рукой огромную светлую папку, сейчас же принялся правой терзать свою бородавку. Как и всегда, он был в состоянии какого-то восторженного возбуждения.

Андрей сказал, стараясь, чтобы получилось по возможности небрежно:

– Вот этот пожилой господин полагает, что все мы находимся в аду.

– Пожилой господин абсолютно прав, – немедленно возразил Изя и захихикал. – Во всяком случае, если это и не ад, то нечто совершенно неотличимое по своим проявлениям. Однако согласитесь, пан Ступальский, вы ведь так и не нашли в моей прижизненной карьере ни одного проступка, за который стоило меня сюда отправить! Я даже не прелюбодействовал – до такой степени я был глуп.

– Пан Кацман, – заявил старик, – я вполне допускаю, что вы и сами не знаете ничего об этом своем роковом проступке!

– Возможно, возможно, – легко согласился Изя. – Судя по твоему виду, – обратился он к Андрею, – ты побывал в Красном Здании. Ну, и как тебе там?

И вот тут Андрей окончательно пришел в себя. Словно лопнула и растаяла эта липкая полупрозрачная пленка кошмара, утихла боль в голове, теперь он резко и ясно различал все вокруг себя, и Главная улица перестала быть мгlistой и туманной, и полицейский с мотоциклом вовсе, оказывается, не спал, а прохаживался по тротуару, светя красным огоньком сигареты и поглядывая в сторону скамейки. «Господи, – подумал Андрей почти с ужасом. – Что я здесь делаю? Я ведь следователь, время ведь уходит, а я занимаюсь здесь болтовней с этим психом, а ведь здесь Кацман... Кацман? Он-то как здесь оказался?»

– Откуда ты знаешь, где я был? – спросил он отрывисто.

– Нетрудно догадаться, – сказал Изя, хихикая. – Ты бы посмотрел на себя в зеркало...

– Я тебя серьезно спрашиваю! – сказал Андрей, повышая голос.

Старик вдруг поднялся.

– Спокойной ночи, панове, – произнес он, плавно подвигав котелком над головой. – Добрых сновидений.

Андрей не обратил на него внимания. Он смотрел на Изю. А Изя, щипля бородавку и слегка подпрыгивая на месте, смотрел вслед

удаляющемуся старичку, осклабясь до ушей и уже заранее давясь и кряхтя.

– Ну? – сказал Андрей.

– Какая фигура! – с восхищением прошипел Изя. – Ах, какая фигура! Ты дурак, Воронин, ты, как всегда, ничего не знаешь! Ты знаешь, кто это такой? Это же знаменитый пан Ступальский, Иуда-Ступальский! Он выдал гестапо в Лодзи двести сорок восемь человек, дважды его уличали, дважды он как-то выкручивался и подставлял вместо себя кого-нибудь другого. Уже после освобождения его окончательно прищучили, судили судом скорым и правым, но он и тут вывернулся! Господа Наставники сочли полезным вынуть его из петли и переправить сюда. Для букета. Здесь он живет в сумасшедшем доме, изображает психа, а сам продолжает активно работать по своей любимой специальности... Ты думаешь, он случайно оказался здесь, на скамеечке, как раз рядом с тобой? Знаешь, на кого он теперь работает?

– Заткнись! – сказал Андрей, усилием воли раздавив в себе привычное любопытство и интерес, которые одолевали его во время Изиных рассказов. – Меня все это не интересует. Как ты здесь оказался? Откуда, черт возьми, ты знаешь, что я был в Здании?

– А я и сам там был, – спокойно сказал Изя.

– Так, – сказал Андрей. – И что же там происходило?

– Ну, это тебе видней, что там происходило. Откуда мне знать, что там происходило с твоей точки зрения?

– А что там происходило с твоей точки?

– А вот это уж тебя совершенно не касается, – сказал Изя, поправляя на коленях свою объемистую папку.

– Папку ты взял там? – спросил Андрей, протягивая руку.

– Нет, – сказал Изя. – Не там.

– Что в ней?

– Послушай, – сказал Изя. – Какое тебе дело? Что ты ко мне привязался?

Он еще не понимал, что происходит. Впрочем, Андрей и сам еще не вполне понимал, что происходит, и лихорадочно раздумывал, как действовать дальше.

– А знаешь, что в этой папке? – сказал Изя. – Я раскопал старую мэрию, это километрах в пятнадцати отсюда. Копался там весь день, солнце погасло, темнотища, как у негра в заднице, никакого освещения там, сам понимаешь, уже лет двадцать нету... Плутал я там, плутал, еле выбрался на Главную – кругом развалины, дикие голоса какие-то орут...

– Так, – сказал Андрей. – Ты что, не знаешь, что в старых развалинах рыться запрещено?

Азартное выражение исчезло из глаз Изи. Он внимательно посмотрел на Андрея. Кажется, он начал понимать.

– Ты что, – продолжал Андрей, – инфекцию в Город затащить хочешь?

– Что-то мне твой тон не нравится, – сказал Изя, криво улыбаясь. – Как-то ты не так со мной разговариваешь.

– А ты мне весь не нравишься! – сказал Андрей. – Ты зачем мне голову забивал, будто Красное Здание – это миф? Ты же знал, что это не миф. Ты же мне врал. Зачем?

– Это что – допрос? – спросил Изя.

– А ты как думаешь? – сказал Андрей.

– Я думаю, что ты себе голову сильно зашиб. Я думаю, тебе надо умыться холодненькой водичкой и вообще прийти в себя.

– Дай сюда папку, – сказал Андрей.

– А пошел ты на хер! – сказал Изя, вставая. Он сильно побледнел. Андрей тоже встал.

– Поедешь со мной, – сказал он.

– И не подумаю, – сказал Изя отрывисто. – Предъяви ордер на арест.

Тогда Андрей, леденя от ненависти, не спуская с Изи глаз, медленно расстегнул кобуру и вытащил пистолет.

– Идите вперед, – приказал он.

– Идиот... – пробормотал Изя. – Совершенно свихнулся...

– Молчать! – гаркнул Андрей. – Вперед!

Он ткнул Изю стволом в бок, и Изя послушно заковылял через улицу. Видимо, у него были стертые ноги, он сильно хромял.

– От стыда же подохнешь, – сказал он через плечо. – Проспишься – от стыда сгоришь...

– Не разговаривать!

Они подошли к мотоциклу, полицейский ловко откинул полог в коляске, и Андрей показал туда стволом пистолета.

– Садитесь.

Изя, молча и очень неуклюже уселся. Полицейский быстро вскочил в седло, Андрей сел позади него, сунув пистолет в кобуру. Двигатель взревел, застрелял, мотоцикл развернулся и, подсакивая на выбоинах, помчался обратно к прокуратуре, распугивая психов, утомленно и бессмысленно бродивших по сырой от выпавшей росы улице.

Андрей старался не смотреть на Изю, скорчившегося в коляске. Первый запал прошел, и он испытывал теперь что-то вроде

неловкости – как-то все произошло слишком уж быстро, слишком торопливо, впопыхах, как в том анекдоте про медведя, который катал зайца в люльке без дна. Ладно, разберемся...

В предбаннике прокуратуры Андрей, не глядя на Изю, приказал полицейскому зарегистрировать задержанного и доставить его наверх к дежурному, а сам, шагая через три ступеньки, поднялся к себе в кабинет.

Было около четырех часов – самое горячее время. В коридорах стояли у стен или сидели на длинных, отполированных задами скамьях подследственные и свидетели, вид у всех был одинаково безнадежный и сонный, все почти судорожно зевали и таращились осоловело. Дежурные время от времени вопили от своих столиков на весь дом: «Не разговаривать! Не переговариваться!» Из-за обитых дерматином дверей следственных камер доносился стук пишущих машинок, бубнящие голоса, слезливые вопли. Было душно, нечисто, сумрачно. Андрея замутило – захотелось вдруг заскочить в буфет и выпить чего-нибудь бодрящего: чашку крепкого кофе или хотя бы просто рюмку водки. И тут он увидел Вану.

Ван сидел на корточках, прислонившись к стене спиной, в позе бесконечно терпеливого ожидания. На нем была своеобычная ватная стеганка, голова втянута в плечи, так что ворот стеганки оттопыривал уши, круглое безволосое лицо спокойно. Он дремал.

– Ты что тут делаешь? – спросил Андрей удивленно.

Ван открыл глаза, легко поднялся и сказал, улыбнувшись:

– Арестован. Жду вызова.

– Как арестован? За что?

– Саботаж, – сказал Ван тихонько.

Здоровенный детина в испачканном плаще, дремавший рядом, тоже открыл глаза, вернее – один глаз, потому что другой заплыл у него фиолетовым фингалом.

– Какой саботаж?! – поразился Андрей.

– Уклонение от права на труд...

– Статья сто двенадцать, параграф шесть, – деловито пояснил детина с фингалом. – Шесть месяцев болотной терапии – и все дела.

– Помолчите, – сказал ему Андрей.

Детина посветил на него своим фингалом, ухмыльнулся (Андрей тотчас вспомнил и ясно ощутил собственную гулю на лбу) и прохрипел миролюбиво:

– Можно и помолчать. Почему не помолчать, когда все ясно без слов?

– Не разговаривать! – грозно заорал издали дежурный. – Кто там к стене прислоняется? А ну отклонись!

– Подожди, – сказал Андрей Вану. – Тебя куда вызвали? Сюда? – Он указал на дверь двадцать второй камеры, пытаясь припомнить, чей это кабинет.

– Точно, – прохрипел детина с готовностью. – В двадцать вторую нас. Полтора часа уже стенку подпираем.

– Подожди, – снова сказал Андрей Вану и толкнул дверь.

За столом восседал Генрих Румер, младший следователь и личный телохранитель Фридриха Гейгера, бывший боксер среднего веса и мюнхенский букмекер. Андрей спросил: «Можно к тебе?», но Румер не отозвался. Он был очень занят. Он что-то рисовал на большом листе ватмана, склоняя то к одному плечу, то к другому свою звероподобную физиономию с расплюснутым носом, он пытался и даже постанывал от напряжения. Андрей прикрыл за собою дверь и подошел к столу вплотную. Румер перерисовывал порнографическую открытку. Ватман и открытка были расчерчены на клеточки. Работа была в самом начале, на ватман пока наносились лишь общие контуры. Труд предстоял титанический.

– Чем это ты занимаешься на службе, скотина? – укоризненно спросил Андрей.

Румер заметно вздрогнул и поднял глаза.

– А, это ты... – проговорил он с видимым облегчением. – Чего тебе?

– Это ты так работаешь? – горестно сказал Андрей. – Тебя там люди ждут, а ты...

– Кто ждет? – встрепенулся Румер. – Где?

– Подследственные твои ждут! – сказал Андрей.

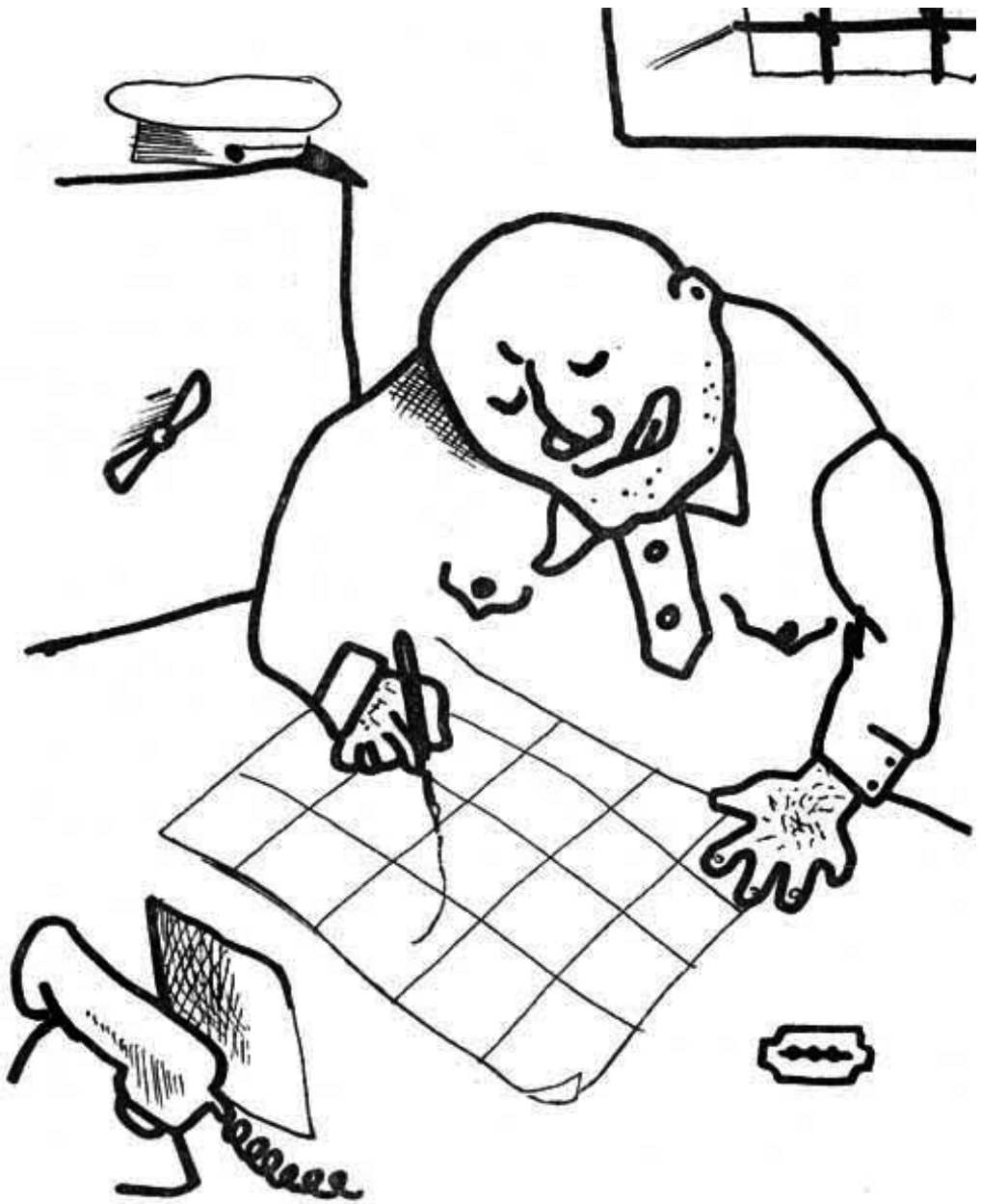
– А-а... Ну и что?

– Ничего, – сказал Андрей со злостью. Наверное, надо было как-то пристыдить этого типа, напомнить зверюге, что ведь Фриц за него ручался, честным своим именем ручался за кретина ленивого, за обормота, но Андрей почувствовал, что сейчас это выше его сил.

– Кто это тебе в лоб засветил? – с профессиональным интересом спросил Румер, разглядывая Андрееву гулю. – Красиво кто-то засветил...

– Неважно, – сказал Андрей нетерпеливо. – Я к тебе вот за чем: дело Ван Лихуна у тебя?

– Ван Лихуна? – Румер перестал разглядывать гулю и задумчиво запустил палец в правую ноздрю. – А что такое? – осторожно спросил он.



- У тебя или нет?
- А ты почему спрашиваешь?
- Потому что он сидит там перед твоей дверью и ждет, пока ты здесь свинством занимаешься!
- Почему это – свинством? – обиделся Румер. – Ты посмотри, титьки какие! М-м-мух! А?

Андрей брезгливо отстранил фотографию.

– Давай сюда дело, – потребовал он.

– Какое дело?

– Дело Ван Лихуна давай сюда!

– Да нет у меня такого дела! – сердито сказал Румер. Он выдвинул средний ящик стола и заглянул в него. Андрей тоже заглянул в ящик. В ящике действительно было пусто.

– Где вообще все твои дела? – спросил Андрей, сдерживаясь.

– Тебе-то что? – сказал Румер агрессивно. – Ты мне не начальник.

Андрей решительно сорвал телефонную трубку. В поросячьих глазках Румера мелькнула тревога.

– Постой, – сказал он, торопливо прикрывая телефонный аппарат огромной лапичей. – Ты это куда? Зачем?..

– Вот я сейчас позвоню Гейгеру, – сказал Андрей зло. – Даст он тебе по мозгам, идиоту...

– Подожди, – бормотал Румер, пытаясь отобрать у него телефонную трубку. – Что ты, в самом деле... Зачем звонить Гейгеру? Что мы – вдвоем с тобой это дело не уладим? Ты, главное, объясни толком, чего тебе надо?

– Я хочу взять себе дело Ван Лихуна.

– Это китайца, что ли? Дворника?

– Да!

– Ну, так бы и сказал с самого начала! Нет на него никакого дела. Только что доставили. Я с него первичный допрос снимать буду.

– За что его задержали?

– Профессию не хочет менять, – сказал Румер, деликатно таща к себе телефонную трубку вместе с Андреем. – Саботаж. Третий срок дворником сидит. Статью сто двенадцать знаешь?..

– Знаю, – сказал Андрей. – Но это случай особый. Вечно они что-нибудь напутают. Где сопроводилка?

Шумно сопя, Румер отобрал наконец у него трубку, положил ее на место, снова полез в стол – в правый ящик, – покопался там, заслонив содержимое гигантскими плечами, вытянул бумажку и, обильно потея, протянул ее Андрею. Андрей пробежал бумагу глазами.

– Тут не сказано, что он направляется именно к тебе, – объявил он.

– Ну и что?

– А то, что я его забираю к себе, – сказал Андрей и сунул бумажку в карман.

Румер забеспокоился.

– Так он же на меня записан! У дежурного.

– Так вот позвони дежурному и скажи, что Ван Лихуна взял себе Воронин. Пусть перепишет.

– Это уж ты сам ему позвони, – сказал Румер важно. – Чего это я ему буду звонить? Ты забираешь, ты и звони. А мне расписку давай, что забрал.

Через пять минут все формальности были закончены. Румер спрятал расписку в ящик, посмотрел на Андрея, посмотрел на фотографию.

– Титьки какие! – сказал он. – Вымя!

– Плохо ты кончишь, Румер, – пообещал ему Андрей, выходя.

В коридоре он молча взял Вана под локоть и повлек за собой. Ван покорился, ни о чем не спрашивая, и Андрею пришло в голову, что вот так же безмолвно и безропотно он шел бы и на расстрел, и на пытку, и на любое унижение. Андрей не понимал этого. Было в этом смирении что-то животное, недочеловеческое, но в то же время возвышенное, вызывающее необъяснимое почтение, потому что за смирением этим угадывалось сверхъестественное понимание какой-то очень глубокой, скрытой и вечной сущности происходящего, понимание извечной бесполезности, а значит, и недостойности противодействия. Запад есть Запад, Восток есть Восток. Строчка лживая, несправедливая, унижительная, но в данном случае она почему-то казалась уместной.

У себя в кабинете Андрей усадил Вана на стул – не на табурет для подследственных, а на стул секретаря сбоку от стола, – уселся сам и сказал:

– Ну, что там у тебя с ними произошло? Рассказывай.

И Ван сейчас же принялся рассказывать своим размеренным повествовательным голосом:

– Неделю назад ко мне в дворницкую явился районный уполномоченный по трудоустройству и напомнил мне, что я грубо нарушаю закон о праве на разнообразный труд. Он был прав, я действительно грубо нарушал этот закон. Три раза мне приходили повестки с биржи, и три раза я выбрасывал их в мусор. Уполномоченный объявил мне, что дальнейшее манкирование грозит большими для меня неприятностями. Тогда я подумал: ведь бывают же случаи, когда машина оставляет человека на прежней работе. В тот же день я отправился на биржу и вложил свою трудовую книжку в распределительную машину. Мне не повезло. Я получил назначение директором обувного комбината. Но я заранее решил, что на новую службу не пойду, и остался дворником. Сегодня вечером за мной пришли двое полицейских и привели сюда. Вот как все было.

– Поня-атно, – протянул Андрей. Ничего ему было не понятно. – Слушай, хочешь чаю? Здесь можно попросить чаю с бутербродами. Бесплатно.

– Это будет большое беспокойство, – возразил Ван. – Не стоит.

– Какое там беспокойство!.. – сердито сказал Андрей и заказал по телефону два стакана чая и бутерброды. Потом он положил трубку, посмотрел на Вана и осторожно спросил: – Я все-таки не совсем понимаю, Ван, почему ты не захотел стать директором комбината? Это уважаемая должность, ты бы получил новую профессию, принес бы много пользы, ты ведь очень исполнительный и трудолюбивый человек... А я знаю этот комбинат – вечно там воровство, целыми ящиками обувь выносят... При тебе этого бы не было. И потом, там гораздо выше зарплата, а у тебя все-таки жена, ребенок... В чем дело?

– Да, я думаю, тебе это трудно понять, – сказал Ван задумчиво.

– А чего тут понимать? – сказал Андрей нетерпеливо. – Ясно же, что лучше быть директором комбината, чем всю жизнь разгребать мусор... Или, тем более, вкалывать шесть месяцев на болотах...

Ван покачал круглой головой.

– Нет, не лучше, – сказал он. – Лучше всего быть там, откуда некуда падать. Ты этого не поймешь, Андрей.

– Почему же обязательно падать? – спросил Андрей, растерявшись.

– Не знаю – почему. Но это обязательно. Или приходится прилагать такие усилия удержаться, что лучше уж сразу упасть. Я знаю, я все это прошел.

Полицейский с заспанным лицом принес чаю, откозырял, качнувшись, и боком выдвинулся в коридор. Андрей поставил перед Ваном стакан в потемневшем подстаканнике, придвинул тарелку с бутербродами. Ван поблагодарил, отхлебнул из стакана и взял самый маленький бутерброд.

– Ты просто боишься ответственности, – сказал Андрей расстроенно. – Извини, конечно, но это не совсем честно по отношению к другим.

– Я всегда стараюсь делать людям только добро, – спокойно возразил Ван. – А что касается ответственности, то на мне лежит величайшая ответственность. Моя жена и ребенок.

– Это верно, – сказал Андрей, снова несколько растерявшись. – Это, конечно, так. Но, согласись, Эксперимент требует от каждого из нас...

Ван внимательно слушал и кивал. Когда Андрей кончил, он сказал:

– Я тебя понимаю. Ты по-своему прав. Но ведь ты пришел сюда строить, а я сюда бежал. Ты ищешь борьбы и победы, а я ищу покоя. Мы очень разные, Андрей.

– Что значит – покоя? Ты же на себя клеветал! Если бы ты искал покоя, то нашел бы тепленькое местечко и жил бы себе припеваючи. Здесь ведь полным-полно тепленьких местечек. А ты выбрал себе самую грязную, самую непопулярную работу, и работаешь ты честно, не жалеешь ни сил, ни времени... Какой уж тут покой!

– Душевный, Андрей, душевный! – сказал Ван. – В мире с собой и со Вселенной.

Андрей побарабанил пальцами по столу.

– И что же, ты так всю жизнь и намерен пробыть дворником?

– Не обязательно дворником, – сказал Ван. – Когда я сюда попал, я был сначала грузчиком на складе. Потом машина назначила меня секретарем мэра. Я отказался, и меня отправили на болота. Я отработал шесть месяцев, вернулся и по закону, как наказанный, получил самую низкую должность. Но потом машина опять стала выталкивать меня наверх. Я пошел к директору биржи и объяснил ему все, как тебе. Директор биржи был еврей, он попал сюда из лагеря уничтожения, и он меня очень хорошо понял. Пока он оставался директором, меня не беспокоили. – Ван помолчал. – Месяца два назад он исчез. Говорят, его нашли убитым, ты, вероятно, это знаешь. И все началось сначала... Ничего, я отработаю на болотах и снова вернусь в дворники. Сейчас мне будет гораздо легче – мальчик уже большой, а на болотах мне поможет дядя Юра...

Тут Андрей поймал себя на том, что смотрит на Вана во все глаза, совершенно неприлично, как будто это не Ван сидел перед ним, а какое-то диковинное существо. Впрочем, Ван ведь и в самом деле был диковинкой. Господи, подумал Андрей. Какую же надо прожить жизнь, чтобы докатиться до такой философии? Нет, я ему должен помочь. Просто обязан. Как?..

– Ну хорошо, – сказал он наконец. – Как хочешь. Только на болота тебе ехать совершенно незачем. Ты не знаешь случайно, кто теперь директором биржи?

– Отто Фрижа, – сказал Ван.

– Что? Отто? Так в чем же дело?..

– Да. Я бы к нему пошел, конечно, но он ведь совсем маленький, он ничего не понимает и всего боится.

Андрей схватил телефонную книгу, нашел номер, снял трубку. Ждать пришлось долго: видимо, Отто спал, как сурок. Наконец он отозвался прерывающимся, испуганно-сердитым голосом:

– Директор Отто Фрижа слушает.

– Здравствуй, Отто, – сказал Андрей. – Это Воронин говорит, из прокуратуры.

Наступило молчание. Слышно было, как Отто несколько раз откашлялся. Потом он проговорил осторожно:

– Из прокуратуры? Слушаю вас.

– Ты что – не проснулся? – сердито сказал Андрей. – Это Эльза тебя так укатала? Андрей говорит! Воронин!

– Ах, Андрей?! – совсем другим голосом сказал Отто. – Что ты, в самом деле, среди ночи? Фу ты, сердце как колотится... Что тебе?

Андрей объяснил ситуацию. Как он и ожидал, все свершилось без сучка без задоринки. Отто был со всем и полностью согласен. Да, он всегда считал, что Ван находится на своем месте. Да, он безусловно полагал, что директор комбината из Вана все равно не получится. Он очевидно и недвусмысленно восхищен стремлением Вана остаться на столь незавидной должности («Побольше бы нам таких людей, а то все лезут вверх, что твои горные егеря!..»), он с негодованием отвергает самую идею отправки Вана на болота, а что касается закона, то он полон священного негодования относительно идиотов и бюрократических кретинов, подменяющих здоровый дух закона его мертвенной буквой. В конце концов, закон существует, чтобы ограничить попользования разных ловкачей пролезть вверх, а людей, желающих остаться внизу, он никак касаться не должен и не касается. Директор биржи совершенно ясно понимал все это. «Да! – повторял он. – О да, конечно!»

Правда, у Андрея осталось смутное, смешное и досадное впечатление, что Отто согласился бы на любое его, Андрея Воронина, предложение – например, назначить Вана мэром или, наоборот, посадить его в карцер. Отто всегда питал к Андрею болезненно-благодарные чувства, потому, наверное, что Андрей был единственным человеком в их компании (а может быть, и во всем городе), который относился к Отто по-человечески... Впрочем, в конце концов, важнее всего было дело.

– Я распоряжусь, – в десятый раз повторял Отто. – Ты можешь быть совершенно спокоен, Андрей. Я дам указание, и Вана больше никто никогда не тронет.

На том и порешили. Андрей положил трубку и принялся писать Вану пропуск на выход.

– Ты прямо сейчас пойдешь? – спросил он, не переставая писать.

– Или подождешь до солнца? Смотри, сейчас опасно на улицах...

– Благодарю вас, – пробормотал Ван. – Благодарю вас...

Андрей удивленно поднял голову. Ван стоял перед ним и мелко-мелко кланялся, сложив ладони перед грудью.

– Да брось ты эти китайские церемонии, – проворчал Андрей с досадой и неловкостью. – Что я тебе – благодеение, что ли, оказал? – Он протянул Вану пропуск. – Я спрашиваю, ты прямо сейчас пойдешь?

Ван принял пропуск с очередным поклоном.

– Я думаю, мне лучше пойти сразу, – сказал он, как бы извиняясь. – Прямо сейчас. Мусорщики, наверное, уже приехали...

– Мусорщики... – повторил Андрей. Он посмотрел на тарелку с бутербродами. Бутерброды были большие, свежие, с отличной ветчиной. – Погоди-ка, – сказал он, вытащил из ящика старую газету и принялся заворачивать бутерброды. – Возьмешь домой, для Мэйлинь...

Ван слабо сопротивлялся, бормотал что-то о чрезмерном беспокойстве, но Андрей сунул пакет ему за пазуху, обнял за плечи и повел к двери. Он чувствовал себя страшно неловко. Все было не так. И Отто, и Ван как-то странно реагировали на его действия. Он ведь только хотел сделать все, по справедливости, чтобы все было правильно и разумно, а получилось черт знает что – благотворительность какая-то, кумовство, блат... Он торопливо искал какие-то слова, сухие, деловые, подчеркивающие официальность и законность ситуации... И вдруг ему показалось, что нашел. Он остановился, поднял подбородок и, глядя на Вана сверху вниз, холодно сказал:

– Господин Ван, от имени прокуратуры приношу вам глубочайшие извинения за незаконный привод. Ручаюсь, что это больше никогда не повторится.

И тут ему стало совсем неудобно. Чушь какая-то. Во-первых, привод не был, строго говоря, незаконным. Был он, прямо скажем, вполне законным. А во-вторых, следователь Воронин ни за что ругаться не мог, не имел такого права... И тут он вдруг увидел глаза Вана – странный и очень знакомый своей странностью взгляд, и он вдруг все вспомнил, и его обдало жаром при этом воспоминании.

– Ван, – проговорил он, внезапно охрипнув. – Я хочу тебя спросить, Ван.

Он замолчал. Глупо было спрашивать, бессмысленно. И уже нельзя было не спросить. Ван выжидательно смотрел на него снизу вверх.

– Ван, – сказал он, откашлявшись. – Где ты был сегодня в два часа ночи?

Ван не удивился.

– Как раз в два часа за мной пришли, – сказал он. – Я мыл лестницы.

– А до этого?

– А до этого я собирал мусор, мне помогала Мэйлинь, потом она пошла спать, а я пошел мыть лестницы.

– Да, – сказал Андрей. – Так я и думал. Ладно, до свиданья, Ван. Прости, что так получилось... Или нет, подожди, я тебя провожу...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Прежде чем вызвать Изю, Андрей все продумал заново.

Во-первых, он запретил себе относиться к Изе с предубеждением. То, что Изя циник, всезнайка и болтун, то, что он готов высмеять – и высмеивает – все на свете, что он неопрятен, брызгает, когда разговаривает, мерзко хихикает, живет с вдовой как альфонс и неизвестно каким образом зарабатывает себе на жизнь, – все это в данном случае не должно было играть никакой роли.

Надлежало также выкорчевать без остатка примитивную мысль, что Кацман есть простой распространитель панических слухов о Красном Здании и о прочих мистических явлениях. Красное Здание – реальность. Загадочная, фантастическая, непонятно зачем и кому понадобившаяся, но – реальность. (Тут Андрей полез в аптечку и, глядясь в маленькое зеркальце, помазал сочащуюся гулю зеленкой.) В этом плане Кацман – прежде всего свидетель. Что он делал в Красном Здании? Как часто там бывает? Что может о нем рассказать? Какую папку он оттуда вынес? Или папка действительно не оттуда? Действительно из старой мэрии?..

Стоп, стоп! Кацман неоднократно проговаривался... нет, не проговаривался, конечно, а просто рассказывал о своих экскурсиях на север. Что он там делал? Антигород тоже где-то на севере! Нет, Кацмана я задержал правильно, хоть и впопыхах. Так ведь оно всегда и бывает: все начинается с простого любопытства, сунет человек свой любопытный нос куда не следует, а потом и пикнуть не успел, как его уже завербовали... Почему он никак не хотел отдать мне эту папку?.. Папка явно оттуда. И Красное Здание оттуда! Тут шеф явно что-то недодумал. Ну, это-то понятно – у него не было фактов. И ему не пришлось там побывать. Да, распространение слухов – это страшная штука, но Красное Здание пострашнее любого слуха. И страшно даже не то, что люди исчезают в нем навсегда, – страшно, что иногда они оттуда выходят! Выходят, возвращаются, живут среди нас. Как Кацман...

Андрей чувствовал, что ухватился сейчас за главное, но ему не доставало смелости проанализировать все до конца. Он знал только, что Андрей Воронин, который вошел в дверь с медной ручкой, был совсем

не тот Андрей Воронин, который вышел из этой двери. Что-то сломалось в нем там, что-то утрачено безвозвратно... Он стиснул зубы: «Ну нет, здесь вы просчитались, господа хорошие. Не надо было вам меня выпускать. Нас так просто не сломаешь... не купишь... не разжалобишь...»

Он криво ухмыльнулся, взял чистый лист бумаги и написал на нем крупными буквами: «КРАСНОЕ ЗДАНИЕ – КАЦМАН. КРАСНОЕ ЗДАНИЕ – АНТИГОРОД. АНТИГОРОД – КАЦМАН». Вот как все это получается. Нет, шеф. Нам не распространителей слухов искать надо. Нам надо искать тех, кто вернулся из Красного Здания живым и невредимым – искать их, вылавливать, изолировать... или устанавливать тщательнейшее наблюдение... Он написал: «Побывавшие в Здании – Антигород». Так что пани Гусаковой придется-таки рассказать все, что она знает про своего Франтишека. А флейтиста, наверное, можно выпустить. Впрочем, ладно, не о них речь... Может быть, шефу позвонить? Спросить благословения на переориентировку? Рановато, пожалуй. Вот если мне удастся расколоть Кацмана... Он снял трубку.

– Дежурный? Задержанного Кацмана ко мне в тридцать шестую.

...А расколоть его не только должно, но и можно. Папка. Тут уж он не открутится... У Андрея мелькнула на мгновение мысль, что не совсем этично ему заниматься делом Кацмана, с которым неоднократно выпивалось и вообще... Но он одернул себя.

Дверь отворилась, и задержанный Кацман, осклабясь и засунув руки в лоснящиеся карманы, разболтанной походочкой вступил в камеру.

– Садитесь, – сухо сказал Андрей, показав подбородком на табурет.

– Благодарю вас, – отозвался задержанный, осклабясь еще шире. – Я вижу, вы еще не очухались...

Все ему, мерзавцу, было как с гуся вода. Он уселся, дернул бородавку на шее и с любопытством оглядел кабинет.

И тут Андрей похолодел. Папки при задержанном не было.

– Где папка? – сказал он, стараясь говорить спокойно.

– Какая папка? – нагло осведомился Кацман.

Андрей сорвал трубку.

– Дежурный! Где папка задержанного Кацмана?

– Какая папка? – тупо спросил дежурный. – Сейчас посмотрю... Кацман... Ага... У задержанного Кацмана изъяты: носовых платков – два, кошелек пустой, подержанный...

– Папка там есть в описи? – гаркнул Андрей.

– Папки нет, – отозвался дежурный замирающим голосом.

– Принесите мне опись, – хрипло сказал Андрей и повесил трубку. Потом он исподлобья поглядел на Кацмана. От ненависти у него шумело в ушах. – Еврейские штучки... – сказал он, сдерживаясь. – Где ты девал папку, сволочь?

Кацман откликнулся немедленно:

– «Она схватила ему за руку и неоднократно спросила: где ты девал папку?»

– Ничего... – сказал Андрей, тяжело дыша носом. – Это тебе не поможет, шпионская морда...

На лице Изи мелькнуло изумление. Впрочем, через секунду он уже вновь ухмылялся своей отвратительно-издевательской ухмылкой.

– Ну как же, как же! – сказал он. – Председатель организации «Джойнт» Иосиф Кацман, к вашим услугам. Не бейте меня, я и так все скажу. Пулеметы спрятаны в Бердичеве, место посадки обозначим кострами...

Вошел испуганный дежурный, неся перед собой в далеко вытянутой руке листок описи.

– Нету тут папки, – пробормотал он, кладя листок перед Андреем на край стола и отступая. – Я в регистратуру звонил, там тоже...

– Хорошо, идите, – сказал Андрей сквозь зубы.

Он взял чистый бланк допроса и, не поднимая глаз, спросил:

– Имя? Фамилия? Отчество?

– Кацман Иосиф Михайлович.

– Год рождения?

– Тридцать шестой.

– Национальность?

– Да, – сказал Кацман и хихикнул.

Андрей поднял голову.

– Что – да?

– Слушай, Андрей, – сказал Изя. – Я не понимаю, что это с тобой сегодня происходит, но имей в виду, ты на мне всю свою карьеру испортишь. Предупреждаю по старой дружбе...

– Отвечайте на вопросы! – произнес Андрей сдавленным голосом.

– Национальность?

– Ты лучше вспомни, как у врача Тимашук орден отобрали, – сказал Изя.

Но Андрей не знал, кто такая врач Тимашук.

– Национальность!

– Еврей, – сказал Изя с отвращением.

– Гражданство?

- Эс-эс-эс-эр.
- Вероисповедание?
- Без.
- Партийная принадлежность?
- Без.
- Образование?
- Высшее. Педагогический институт имени Герцена. Ленинград.
- Судимости имели?
- Нет.
- Земной год отбытия?
- Тысяча девятьсот шестьдесят восьмой.
- Место отбытия?
- Ленинград.
- Причина отбытия?
- Любопытство.
- Стаж пребывания в Городе?
- Четыре года.
- Нынешняя профессия?
- Статистик управления коммунального хозяйства.
- Перечислите прежние профессии.
- Разнорабочий, старший архивариус Города, конторщик городской бойни, мусорщик, кузнец. Кажется, все.
- Семейное положение?
- Прелюбодей, – ответил Илья, ухмыляясь.

Андрей положил ручку, закурил и некоторое время рассматривал задержанного сквозь голубой дымок. Илья был ослаблен, Илья был взлохмачен, Илья был нагл, но Андрей хорошо знал этого человека, и он видел, что Илья нервничает. По-видимому, ему было из-за чего нервничать, хотя от папки он сумел избавиться, прямо скажем, ловко. По-видимому, он понимал теперь уже, что берутся за него по-настоящему, и поэтому глаза его нервно щурились, а уголки ослабленного рта подрагивали.

– Вот что, подследственный, – сказал Андрей с хорошо отработанной сухостью. – Я настоятельно рекомендую вам вести себя прилично перед лицом следствия, если вы не хотите ухудшить своего положения.

Илья перестал улыбаться.

– Хорошо, – сказал он. – Тогда я требую, чтобы мне было предъявлено обвинение и объявлена статья, по которой произведено задержание. Кроме того, я требую адвоката. С этой минуты без адвоката я не скажу ни слова.

Андрей внутренне ухмыльнулся.

– Вы задержаны по статье двенадцатой у-пэ-ка о профилактическом задержании лиц, дальнейшее пребывание которых на свободе может представлять социальную опасность. Вы обвиняетесь в незаконной связи с враждебными элементами, в сокрытии или уничтожении вещественных доказательств в момент задержания... а также в нарушении постановления муниципалитета, запрещающего выход за городскую черту из санитарных соображений. Это постановление вы нарушали систематически... А что касается адвоката, то прокуратура может предоставить вам адвоката лишь по истечении трех суток с момента задержания. В соответствии с той же статьей у-пэ-ка, двенадцатой... Кроме того, поясню: вы можете заявлять протесты, вносить жалобы и подавать апелляции только после того, как удовлетворительно ответите на вопросы предварительного следствия. Все та же статья двенадцатая. Вам все понятно?

Он внимательно следил за Изиным лицом и видел, что Изе все понятно. Было совершенно ясно, что Изя будет отвечать на вопросы и ждать истечения трех суток. При упоминании об этих трех сутках Изя довольно откровенно перевел дух. Прелестно...

– Теперь, когда вы получили разъяснение, – сказал Андрей и снова взял ручку, – продолжим. Ваше семейное положение?

– Холост, – сказал Изя.

– Домашний адрес?

– Что? – спросил Изя. Он явно думал о другом.

– Ваш домашний адрес? Где проживаете?

– Вторая Левая, девятнадцать, квартира семь.

– Что вы можете сказать, по существу, предъявленного обвинения?

– Пожалуйста, – сказал Изя. – Насчет враждебных элементов: сумасшедший бред. Первый раз слышу, что бывают какие-то враждебные элементы, считаю это провокационной выдумкой следствия. Вещественные доказательства... Никаких вещественных доказательств при мне не было и быть не могло, потому что никаких преступлений я не совершал. Поэтому я ничего не мог ни скрыть, ни уничтожить. А что касается постановления муниципалитета, то я – старый работник городского архива, продолжаю там работать на общественных началах, имею допуск ко всем архивным материалам, а значит, и к тем, которые находятся за чертой города. Все.

– Что вы делали в Красном Здании?

– Это мое личное дело. Вы не имеете права вторгаться в мои личные дела. Докажите сначала, что они имеют отношение к составу преступления. Статья четырнадцатая у-пэ-ка.

– Вы бывали в Красном Здании неоднократно?

– Да.

– Можете назвать людей, которых там встречали?

Изя ужасно осклабился.

– Могу. Только следствию это не поможет.

– Назовите этих людей.

– Пожалуйста. Из нового времени: Петэн, Квислинг, Ван Цзинвэй, Биляк...

Андрей поднял руку.

– Попрошу в первую очередь называть людей, которые являются гражданами нашего города.

– А зачем это понадобилось следствию? – агрессивно осведомился Изя.

– Я не обязан давать вам отчет. Отвечайте на вопросы.

– Я не желаю отвечать на дурацкие вопросы. Вы ни черта не понимаете. Вы воображаете, что раз я встретил там кого-то, значит, он там и на самом деле был. А это не так.

– Не понимаю. Объясните, пожалуйста.

– А я и сам не понимаю, – сказал Изя. – Это что-то вроде сна. Бред взбудораженной совести.

– Так. Вроде сна. Вы были сегодня в Красном Здании?

– Ну, был.

– Где находилось Красное Здание, когда вы в него вошли?

– Сегодня? Сегодня там, у синагоги.

– Меня вы там видели?

Изя опять осклабился.

– Вас я вижу каждый раз, когда захожу туда.

– В том числе сегодня?

– В том числе.

– Чем я занимался?

– Непотребством, – сказал Изя с удовольствием.

– Конкретно?

– Вы совокуплялись, господин Воронин. Совокуплялись сразу со многими девочками и одновременно проповедовали кастратам высокие принципы. Втолковывали им, что занимаетесь этим делом не для собственного удовольствия, а для блага всего человечества.

Андрей стиснул зубы.

– А вы чем занимались? – спросил он, помолчав.

– А вот этого я вам не скажу. Имею право.

– Вы лжете, – сказал Андрей. – Вы там не видели меня. Вот ваши собственные слова: «Судя по твоему виду, ты побывал в Красном Здании...» Следовательно, там вы меня не видели. Зачем вы лжете?

– И не думаю, – легко сказал Изя. – Просто мне было стыдно за вас, и я решил дать вам понять, что вас там не видел. А теперь, конечно, другое дело. Теперь я обязан говорить правду.

Андрей откинулся и забросил руку за спинку стула.

– Вы же говорите, что это вроде сна. Тогда какая разница, видели вы меня во сне или не видели? Зачем что-то там давать понять?..

– Да нет, – сказал Изя. – Я просто постеснялся вам сказать, что именно думаю о вас иногда. И зря постеснялся.

Андрей с сомнением покачал головой.

– Ну ладно. А папку вы тоже вынесли из Красного Здания? Так сказать, из собственного сна?

Лицо Изя застыло.

– Какая папка? – сказал он нервно. – О какой папке вы все время спрашиваете? Не было у меня никакой папки.

– Бросьте, Кацман, – проговорил Андрей, томно прикрывая глаза. – Папку видел я, папку видел полицейский, папку видел этот старик... пан Ступальский. На суде вам все равно придется давать объяснения... Не отягощайте!

Изя с застывшим лицом шарил глазами по стенам. Он молчал.

– Предположим, что папка не из Красного Здания, – продолжал Андрей. – Тогда, значит, вы получили ее за городской чертой? От кого? Кто вам ее дал, Кацман?

Изя молчал.

– Что было в этой папке? – Андрей встал и прошелся по кабинету, заложив руки за спину. – У человека в руках папка. Человека задерживают. На пути в прокуратуру человек избавляется от папки. Тайно. Почему? По-видимому, в папке содержатся документы, которые этого человека компрометируют... Вы следите за ходом моих рассуждений, Кацман? Папка получена за городской чертой. Какие документы, полученные за городской чертой, могут скомпрометировать жителя нашего города? Какие, скажите, Кацман?

Изя, нещадно терзая бородавку, смотрел в потолок.

– Только не пытайтесь выкручиваться, Кацман, – предупредил Андрей. – Не пытайтесь продать мне какую-нибудь очередную басню. Я вас вижу насквозь. Что было в папке? Списки? Адреса? Инструкции?

Изя вдруг ударил себя ладонью по колену.

– Слушай, идиот! – заорал он. – Что за чушь ты мелешь? Кто тебе все это внушил, простая твоя душа? Какие списки, какие адреса? Майор ты Пронин задрипанный! Ты же знаешь меня три года, знаешь, что я копаюсь в руинах, изучаю историю Города. Какого черта ты все время клеишь мне какой-то идиотский шпионаж? Кто здесь может шпионить, сам подумай? Зачем? Для кого?

– Что было в папке?! – гаркнул Андрей изо всех сил. – Перестаньте вилять и отвечайте прямо: что было в папке?

И тут Изя сорвался. Глаза его выкатились и налились кровью.

– Иди ты к ... матери со своими папками! – завизжал он фальцетом. – Не буду я тебе ничего говорить! Дурак ты, идиот, жандармская морда!..

Он визжал, брызгался, ругался матом, показывал дули, и тогда Андрей достал лист чистой бумаги, написал сверху: «Показания подследственного И. Кацмана относительно виденной у него и впоследствии бесследно пропавшей папки», дождался, пока Изя утихомирится, и сказал по-доброму:

– Вот что, Изя. Я тебе неофициально говорю. Дело твое дрянь. Я знаю, что ты вляпался в эту историю по легкомыслию и из-за дурацкого своего любопытства. Тебя уже полгода держат под прицелом, если хочешь знать. И я тебе советую: садись сюда вот и пиши все, как есть. Много я тебе обещать не могу, но все, что в моих силах, для тебя сделаю. Садись и пиши. Я вернусь через полчаса.

Стараясь не глядеть на притихшего от изнеможения Изю, противный сам себе из-за своего лицемерия, подбадривая себя, что в данном случае цель, несомненно, оправдывает средства, он запер ящики стола, поднялся и вышел.

В коридоре он поманил к себе помощника дежурного, поставил его у дверей, а сам направился в буфет. На душе у него было гадко, во рту – вязко и мерзко, будто дерьма наелся. Допрос получился какой-то кривобокий, неубедительный. Версию Красного Здания он прогадил целиком и полностью, не надо было сейчас с этим связываться. Папку – единственную реальную зацепку! – позорнейше упустил, за такие ляпы в шею надо гнать из прокуратуры... Фриц небось бы не упустил, Фриц бы сразу понял, где собака зарыта. Сентиментальность проклятая. Как же – вместе пили, вместе трепались, свой, советский... А какой был случай – сразу всех сгрести! Шеф тоже хорош: слухи, сплетни... Тут целая сеть под носом работает, а я должен источники слухов искать...

Андрей подошел к стойке, взял рюмку водки, выпил с гадливостью. Куда же он все-таки дел эту папку? Неужели просто выбросил

на мостовую? Наверное... Не съел же он ее. Послать кого-нибудь поискать? Поздно. Психи, павианы, дворники... Нет, неправильно, неправильно у нас поставлена работа! Почему такая важная информация, как наличие Антигорода, является секретом даже от работников следствия? Да об этом в газете нужно писать каждый день, плакаты по улицам развешивать, показательные процессы нужны! Я бы этого Кацмана давным-давно бы уже раскусил... Конечно, с другой стороны, и свою голову надо на плечах иметь. Раз есть такое грандиозное мероприятие, как Эксперимент, раз в него втянуты люди самых разных классов и политических убеждений, значит, неизбежно должно возникнуть расслоение... противоречия... движущие противоречия, если угодно... антагонистическая борьба... Должны рано или поздно выявиться противники Эксперимента, люди классово несогласные с ним, а значит, и те, кого они перетягивают на свою сторону, – деклассированный элемент, морально неустойчивые, нравственно разложившиеся, вроде Кацмана... космополиты всякие... естественный процесс. Мог бы и сам сообразить, как все это должно развиваться...

Маленькая крепкая ладонь легла ему на плечо, и он обернулся. Это был репортер уголовной хроники «Городской газеты» Кэнси Убуката.

– О чем задумался, следовательно? – спросил он. – Распутываешь запутанное дело? Поделись с общественностью. Общественность любит запутанные дела. А?

– Привет, Кэнси, – сказал Андрей устало. – Водки выпьешь?

– Да, если будет информация.

– Ничего тебе не будет, кроме водки.

– Хорошо, давай водку без информации.

Они выпили по рюмке и закусили вялым соленым огурцом.

– Я только что от вашего шефа, – сказал Кэнси, выплюнув хвостик.

– Он у вас очень гибкий человек. Одна кривая идет вверх, другая кривая падает вниз, оборудование одиночных камер унитазами заканчивается – и ни одного слова по интересующему меня вопросу.

– А что тебя интересует? – спросил Андрей рассеянно.

– Сейчас меня интересуют исчезновения. За последние пятнадцать дней в городе исчезли без следа одиннадцать человек. Может быть, ты что-нибудь знаешь об этом?

Андрей пожал плечами.

– Знаю, что исчезли. Знаю, что не найдены.

– А кто ведет дело?

– Вряд ли это одно дело, – сказал Андрей. – А лучше спроси у шефа.

Кэнси покачал головой.

– Что-то слишком часто последнее время господа следователи отсылают меня то к шефу, то к Гейгеру... Что-то слишком много тайн развелось в нашей маленькой демократической общине. Вы, случаем, не превратились тут между делом в тайную полицию? – Он заглянул в пустую рюмку и пожаловался. – Что толку иметь друзей среди следователей, если никогда ничего не можешь узнать?

– Дружба дружбой, а служба службой.

Они помолчали.

– Между прочим, знаешь, Вана арестовали, – сказал Кэнси. – Предупреждал же я его, не послушался, упрямец.

– Ничего, я уже все уладил, – сказал Андрей.

– Как так?

Андрей с удовольствием рассказал, как ловко и быстро он все уладил. Навел порядок. Восстановил справедливость. Приятно было рассказывать об этом единственном удачном деле за целый дурацкий невезучий день.

– Гм, – сказал Кэнси, дослушав до конца. – Любопытно... «Когда я приезжаю в чужую страну, – процитировал он, – я никогда не спрашиваю, хорошие там законы или плохие. Я спрашиваю только, исполняются ли они...»

– Что ты этим хочешь сказать? – осведомился Андрей, нахмурившись.

– Я хочу сказать, что закон о праве на разнообразный труд, насколько мне известно, не содержит никаких исключений.

– То есть ты считаешь, что Вана надо было закатать на болота?

– Если этого требует закон – да.

– Но это же глупо! – сказал Андрей, раздражаясь. – На кой черт Эксперименту плохой директор комбината вместо хорошего дворника?

– Закон о праве на разнообразный труд...

– Этот закон, – прервал его Андрей, – придуман на благо Эксперименту, а не во вред ему. Закон не может все предусмотреть. У нас, у исполнителей закона, должны быть свои головы на плечах.

– Я представляю себе исполнение закона несколько иначе, – сухо сказал Кэнси. – И уж во всяком случае эти вопросы решаешь не ты, а суд.

– Суд укатал бы его на болота, – сказал Андрей. – А у него жена и ребенок.

– *Dura lex, sed lex*, – сказал Кэнси.

– Эту поговорку придумали бюрократы.

– Эту поговорку, – сказал Кэнси веско, – придумали люди, которые стремились сохранить единые правила общежития для пестрой человеческой вольницы.

– Вот-вот, для пестрой! – подхватил Андрей. – Единого закона для всех нет и быть не может. Нет единого закона для эксплуататора и эксплуатируемого. Вот если бы Ван отказывался перейти из директоров в дворники...

– Это не твое дело – трактовать закон, – холодно сказал Кэнси. – Для этого существует суд.

– Да ведь суд не знает и знать не может Вана, как знаю я!

Кэнси, криво улыбаясь, помотал головой.

– Господи, ну и знатоки сидят у нас в прокуратуре!

– Ладно-ладно, – проворчал Андрей. – Ты еще статью напиши. Растяпа следователь освобождает преступного дворника.

– И написал бы. Вана жалко. Тебя, дурака, мне нисколько не жалко.

– Так ведь и мне Вана жалко! – сказал Андрей.

– Но ты же следователь, – возразил Кэнси. – А я – нет. Я законами не связан.

– Знаешь, что, – сказал Андрей. – Отстань ты от меня Христа ради. У меня и без тебя голова кругом идет.

Кэнси поднял глаза и усмехнулся.

– Да, я вижу. Это у тебя на лбу написано. Облава была?

– Нет, – сказал Андрей. – Просто споткнулся. – Он поглядел на часы. – Еще по рюмке?

– Спасибо, хватит, – сказал Кэнси, поднимаясь. – Я не могу выпивать так много с каждым следователем. Я пью только с теми, кто дает информацию.

– Ну и черт с тобой, – сказал Андрей. – Вон Чачуа появился. Пойди спроси его насчет «Падающих Звезд». У него там бо-ольшие успехи, он сегодня хвастался... Только учти: он очень скромный, будет отнекиваться, но ты не отставай, накачай его как следует, матерьялец получишь – во!

Кэнси, раздвигая стулья, двинулся к Чачуа, уныло склонившемуся над тощей котлеткой, а Андрей, мстительно ухмыльнувшись, неторопливо пошел к выходу. Хорошо бы подождать, посмотреть, как Чачуа будет орать, подумал он. Жалко, времени нет... Н-ну-с, господин Кацман, как там у вас дела? И не дай вам бог, господин Кацман, снова вола вертеть. Я этого не потерплю, господин Кацман...

В камере тридцать шесть весь мыслимый свет был включен. Господин Кацман стоял, прислонившись плечом к раскрытому сейфу, и

жадно листал какое-то дело, привычно терзая бородавку и неизвестно чему осклабляясь.

– Какого черта! – проговорил Андрей, потерявшись. – Кто тебе разрешил? Что за манера, черт поberi!..

Изя поднял на него бессмысленные глаза, осклабился еще больше и сказал:

– Никогда я не думал, что вы столько понаворотили вокруг Красного Здания.

Андрей вырвал у него папку, с лязгом захлопнул железную дверцу и, взяв за плечо, толкнул Изю к табурету.

– Сядьте, Кацман, – сказал он, сдерживаясь из последних сил. В глазах у него все плыло от ярости. – Вы написали?

– Слушай, – сказал Изя. – Вы здесь все просто идиоты!.. Вас тут сидит сто пятьдесят кретинов, и вы никак не можете понять...

Но Андрей уже не смотрел на него. Он смотрел на листок с надписью «Показания подследственного И.Кацмана...». Никаких показаний там не было, там красовался рисунок пером – мужской орган в натуральную величину.

– Сволочь, – сказал Андрей и задохнулся. – Скотина.

Он сорвал телефонную трубку и трясущимся пальцем набрал номер.

– Фриц? Воронин говорит... – Свободной рукой он рванул на себе ворот. – Ты мне очень нужен. Зайди ко мне сейчас же, пожалуйста.

– В чем дело? – недовольно спросил Гейгер. – Я домой собираюсь.

– Я тебя очень прошу! – Андрей повысил голос. – Зайди ко мне!

Он повесил трубку и посмотрел на Изю. Он сейчас же обнаружил, что не может на него смотреть, и стал смотреть сквозь него. Изя булькал и хихикал на своей табуретке, потирал ладони и непрерывно говорил, разглагольствовал о чем-то с отвратительной самодовольной развязностью, что-то о Красном Здании, о совести, о дураках-свидетелях, – Андрей не слушал и не слышал. Решение, которое он принял, переполняло его страхом и каким-то дьявольским весельем. Все в нем плясало от возбуждения, он ждал и все никак не мог дожидаться, что вот сейчас откроется дверь, мрачный злой Фриц шагнет в комнату, и как изменится тогда это отвратительное самодовольное лицо, исказится ужасом, позорным страхом... Особенно если Фриц явится с Румером. Одного вида Румера будет достаточно, его зверской волосатой хари с раздавленным носом... Андрей вдруг почувствовал холодок на спине. Он весь был в испарине. В конце концов, еще можно переиграть. Еще можно сказать: «Все в порядке, Фриц, все уладилось, извини за беспокойство...»

Дверь распахнулась, и вошел хмурый и недовольный Фриц Гейгер.

– Ну, в чем дело? – осведомился он и тут же увидел Изю. – А, привет! – сказал он, заулыбавшись. – Что это вы затеяли посреди ночи? Спать пора, утро скоро...

– Слушай, Фриц! – завопил Изя радостно. – Ну объясни хоть ты этому болвану! Ты же здесь большое начальство...

– Молчать, подследственный! – заорал Андрей, грохнув кулаком по столу.

Изя замолк, а Фриц мгновенно подобрался и посмотрел на Изю уже как-то по-другому.

– Эта сволочь издевается над следствием, – сказал Андрей сквозь зубы, стараясь унять дрожь во всем теле. – Эта сволочь запирается. Возьми его, Фриц, и пусть он скажет, что у него спрашивают.

Прозрачные нордические глаза Фрица широко раскрылись.

– А что у него спрашивают? – с деловитым весельем осведомился он.

– Это неважно, – сказал Андрей. – Дашь ему бумагу, он сам напишет. И пусть он скажет, что было в папке.

– Ясно, – сказал Фриц и повернулся к Изе.

Изя все еще не понимал. Или не верил. Он медленно потирал ладони и неуверенно ослаблялся.

– Ну что ж, мой еврей, пойдём? – ласково сказал Фриц. Угрюмости и хмурости его как не бывало. – Пошевеливайся, мой славный!

Изя все медлил, и тогда Фриц взял его за воротник, повернул и подтолкнул к двери. Изя потерял равновесие и схватился за косяк. Лицо его побелело. Он понял.

– Ребята, – сказал он севшим голосом. – Ребята, подождите...

– Если что, мы будем в подвале, – бархатно промурлыкал Фриц, улыбнулся Андрею и выпихнул Изю в коридор.

Все. Ощущая противный тошный холодок внутри, Андрей прошелся по кабинету, гася лишний свет. Все. Он сел за стол и некоторое время сидел, уронив голову в ладони. Он был весь в испарине, как перед обмороком. В ушах шумело, и сквозь этот шум он все время слышал беззвучный и оглушительный, тоскливый, отчаянный, севший голос Изю: «Ребята, подождите... Ребята, подождите...» И еще была торжественно ревущая музыка, топот и шарканье по паркету, звон посуды и невнятное шамканье: «...гюмку кюгасо и а-ня-няс!..» Он оторвал руки от лица и бессмысленно уставился в изображение мужского органа. Потом взял листок и принялся рвать его на длинные узкие полоски, бросил бумажную лапшу в мусорную корзину и снова спрятал

лицо в руки. Все. Надо было ждать. Набраться терпения и ждать. Тогда все оправдается. Пропадет дурнота, и можно будет вздохнуть с облегчением.

– Да, Андрей, иногда приходится идти и на это, – услышал он знакомый спокойный голос.

С табуретки, где несколько минут назад сидел Изя, теперь, положив ногу на ногу и сцепив тонкие белые пальцы на колене, смотрел на Андрея Наставник, грустный, с усталым лицом. Он тихонько кивал головой, уголки рта его были скорбно опущены.

– Во имя Эксперимента? – хрипло спросил Андрей.

– И во имя Эксперимента тоже, – сказал Наставник. – Но прежде всего – во имя себя самого. Дороги в обход нет. Надо было пройти и через это. Нам ведь нужны не всякие люди. Нам нужны люди особого типа.

– Какого?

– Вот этого-то мы и не знаем, – сказал Наставник с тихим сожалением. – Мы знаем только, какие люди нам не нужны.

– Такие, как Кацман?

Наставник одними глазами показал: да.

– А такие, как Румер?

Наставник усмехнулся.

– Такие, как Румер, это – не люди. Это живые орудия, Андрей. Используя таких, как Румер, во имя и на благо таких, как Ван, дядя Юра... понимаешь?

– Да. Я тоже так считаю. И ведь другого пути нет, верно?

– Верно. Пути в обход нет.

– А Красное Здание? – спросил Андрей.

– Без него тоже нельзя. Без него каждый мог бы незаметно для себя сделаться таким, как Румер. Разве ты еще не почувствовал, что Красное Здание необходимо? Разве сейчас ты такой же, какой был утром?

– Кацман сказал, что Красное Здание – это бред взбудораженной совести.

– Что ж, Кацман умен. Я надеюсь, с этим ты не будешь спорить?

– Конечно, – сказал Андрей. – Именно поэтому он и опасен.

И Наставник опять показал глазами: да.

– Господи, – проговорил Андрей с тоской. – Если бы все-таки точно знать, в чем цель Эксперимента! Так легко запутаться, так все смешалось... Я, Гейгер, Кэнси... Иногда мне кажется, я понимаю, что, между нами, общего, а иногда – какой-то тупик, несуразица... Ведь Гейгер – бывший фашист, он и сейчас... Он и сейчас бывает мне

крайне неприятен – не как человек, а именно как тип, как... Или Кэнси. Он же что-то вроде социал-демократа, пацифист какой-то, толстовец... Нет, не понимаю.

– Эксперимент есть Эксперимент, – сказал Наставник. – Не понимание от тебя требуется, а нечто совсем иное.

– Что?!

– Если бы знать...

– Но ведь все это во имя большинства? – спросил Андрей почти с отчаянием.

– Конечно, – сказал Наставник. – Во имя темного, забитого, ни в чем не виноватого, невежественного большинства...

– Которое надо поднять, – подхватил Андрей, – просветить, сделать хозяином земли! Да-да, это я понимаю. Ради этого можно на многое пойти... – Он помолчал, собирая мучительно разбегающиеся мысли. – А тут еще этот Антигород, – сказал он нерешительно. – Ведь это же опасно, верно?

– Очень, – сказал Наставник.

– А тогда, если я даже не совсем уверен насчет Кацмана, все равно я поступил правильно. Мы не имеем права рисковать.

– Безусловно! – сказал Наставник. Он улыбался. Он был доволен Андреем, Андрей это чувствовал. – Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Не ошибки опасны – опасна пассивность, ложная чистоплотность опасна, приверженность к ветхим заповедям! Куда могут вести ветхие заповеди? Только в ветхий мир.

– Да! – взволнованно сказал Андрей. – Это я очень понимаю. Это как раз то, на чем мы все должны стоять. Что такое личность? Ответственная единица! Ноль без палочки. Не о единицах речь, а об общественном благе. Во имя общественного блага мы должны принять на свою ветхозаветную совесть любые тяжести, нарушить любые писанные и неписанные законы. У нас один закон: общественное благо.

Наставник поднялся.

– Ты взрослеешь, Андрей, – сказал он почти торжественно. – Медленно, но взрослеешь!

Он приветственно поднял руку, неслышно прошел по комнате и исчез за дверью.

Некоторое время Андрей бездумно сидел, откинувшись на спинку стула, курил и смотрел, как голубой дым медленно крутится вокруг голой желтой лампы под потолком. Он поймал себя на том, что улыбается. Он больше не чувствовал усталости, исчезла сонливость, мучившая его с вечера, хотелось действовать, хотелось работать, и

досада брала при мысли, что вот придется все-таки сейчас пойти и несколько часов проспать, чтобы не ходить потом вареным.

Он нетерпеливым движением придвинул телефон, снял трубку и сейчас же вспомнил, что телефона в подвале нет. Тогда он поднялся, запер сейф, проверил, заперты ли ящики стола, и вышел в коридор.

Коридор был пуст, дежурный полицейский кивал носом за своим столиком.

– Спице на посту! – укоризненно бросил ему Андрей, проходя мимо.

В здании царила гулкая тишина, как всегда в это время, за несколько минут до включения солнца. Сонная уборщица лениво возила по цементному полу сырую тряпку. Окна в коридорах были распахнуты, вонючие испарения сотен человеческих тел рассеивались и выползали в темноту, вытесняемые холодным утренним воздухом.

Грохоча каблуками по скользкой железной лестнице, Андрей спустился в подвал, небрежным взмахом руки усадил на место подскокшего было охранника и распахнул низкую железную дверь.

Фриц Гейгер, без куртки, в сорочке с закатанными рукавами, насвистывая полужнакомый маршик, стоял возле ржавого рукомошника и обтирал волосатые мосластые руки одеколоном. Больше в комнате никого не было.

– А, это ты, – сказал Фриц. – Это хорошо. Я как раз собирался подняться к тебе... Дай сигаретку, у меня все кончились.

Андрей протянул ему пачку. Фриц извлек сигарету, размял ее, сунул в рот и с усмешкой посмотрел на Андрея.

– Ну? – не выдержал Андрей.

– Что – ну? – Фриц закурил, с наслаждением затянулся. – Пальцем в небо ты попал – ну. Никакой он не шпион – даже не пахнет.

– То есть как? – проговорил Андрей, обмирая. – А папка?

Фриц хохотнул, зажав сигарету в углу большого рта, и вылил на широкую ладонь новую порцию одеколona.

– Еврейчик наш – бабник сверхъестественный, – сказал он наставительно. – В папке у него были любовные письма. От бабы он шел – разругался и любовные письма отобрал. А он свою вдову боится до мокрых штанов и, сам понимаешь, не будь дурак, от папочки этой постарался избавиться в первый же удобный момент. Говорит, бросил ее по дороге в канализационный люк... И очень жалко! – продолжал Фриц еще более наставительно. – Папочку эту, господин следователь Воронин, надо было сразу же отобрать – компромат получился бы первостатейный, мы бы нашего еврея вот где держали бы!.. – Фриц показал, где они держали бы нашего еврея. На костяшках пальцев

виднелись свежие ссадины. – Впрочем, протокольчик он нам подписал, так что шерсти клоки мы все-таки получили...

Андрей нащупал стул и сел. Ноги не держали его. Он снова огляделся.

– Ты вот что... – сказал Фриц, опуская завернутые рукава и взясь с запонками. – Я вижу, у тебя шишка на лбу. Так вот, пойдешь к врачу и эту шишку запротоколируешь. Румеру я уже нос разбил и отправил в медкабинет. Это на всякий случай. Подследственный Кацман во время допроса напал на следователя Воронина и младшего следователя Румера и нанес им телесные повреждения. Так что, вынужденные к обороне... и так далее. Понял?

– Понял, – пробормотал Андрей, машинально ощупывая гулю. Он еще раз огляделся. – А где... он? – спросил он с трудом.

– Да Румер, горилла такая, опять перестарался, – с досадой сказал Фриц, застегивая куртку. – Сломал ему руку, вот здесь... Пришлось отправить в больницу.

Часть третья **РЕДАКТОР**

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В городе издавна выходили четыре ежедневные газеты, но Андрей прежде всего взялся за пятую, которая начала выходить совсем недавно, недели за две до наступления «тьмы египетской». Газетка эта была маленькая, всего на двух полосах, – не газета, собственно, а листок, – и выпускала этот листок партия Радикального возрождения, выделившаяся из левого крыла партии радикалов. Листок «Под знаменем Радикального возрождения» был ядовитый, агрессивный, злобный, но люди, издававшие его, были всегда великолепно информированы и, как правило, очень хорошо знали, что происходит в Городе вообще и в правительстве в частности.

Андрей просмотрел заголовки: «Фридрих Гейгер предупреждает: вы погрузили Город во тьму, но мы не дремлем!»; «Радикальное возрождение – единственная действенная мера против коррупции»; «А все-таки, мэр, куда делось зерно с городских складов?»; «Плечом к плечу – вперед! Встреча Фридриха Гейгера с вождями крестьянской партии»; «Мнение рабочих сталелитейного: скупщиков зерна – на фонарь!»; «Так держать, Фриц! Мы с тобой! Митинг домашних хозяйек-эрвисток»; «Снова павианы?». Карикатура: задастый мэр,

восседая на куче зерна, – надо понимать, того самого, которое исчезло с городских складов, – раздает оружие мрачным личностям уголовного вида. Подпись: «А ну-ка, объясните им, ребятки, куда девалось зерно!»

Андрей бросил листок на стол и почесал подбородок. Откуда у Фрица столько денег на штрафы? Господи, до чего все надоело! Он встал, подошел к окну, выглянул. В жирной сырой тьме, еле подсвеченной уличными фонарями, грохотали телеги, слышался сиплый мат, надсадный прокуренный кашель, время от времени звонко ржали лошади. Второй день в окутанный мраком город съезжались фермеры.

В дверь постучались, вошла секретарша с пачкой гранок. Андрей досадливо отмахнулся:

– Убукате, Убукате отдайте...

– Господин Убуката у цензора, – робко возразила секретарша.

– Не будет же он там ночевать, – раздраженно сказал Андрей. – Вернется, тогда и отдадите...

– Но метранпаж...

– Все! – грубо сказал Андрей. – Ступайте.

Секретарша ретировалась. Андрей зевнул, сморщился от боли в затылке, вернулся к столу, закурил. Голова трещала, во рту было мерзко. И вообще все было мерзко, темно, слякотно. Тьма египетская... Откуда-то издали донеслись выстрелы – слабое потрескивание, словно ломали сухие сучья. Андрей снова поморщился и взял «Эксперимент» – правительственную газету на шестнадцать полосах.

МЭР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЭРВИСТОВ: ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ СПИТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО ВИДИТ ВСЕ!

ЭКСПЕРИМЕНТ ЕСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТ. Мнение нашего научного обозревателя по поводу солнечных явлений.

ТЕМНЫЕ УЛИЦЫ И ТЕМНЫЕ ЛИЧНОСТИ. Комментарий политического консультанта муниципалитета к последней речи Фридриха Гейгера.

СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИГОВОР. Алоиз Тендер приговорен к расстрелу за ношение оружия.

«У НИХ ТАМ ЧТО-ТО ИСПОРТИЛОСЬ. НИЧЕГО, ПОЧИНЯТ», – говорит мастер-электрик Теодор У. Питерс.

БЕРЕГИТЕ ПАВИАНОВ, ОНИ – ВАШИ ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ! Резолюция последнего собрания общества покровительства животным.

ФЕРМЕРЫ – НАДЕЖНЫЙ КОСТЯК НАШЕГО ОБЩЕСТВА. Встреча мэра с вождями крестьянской партии.

ВОЛШЕБНИК ИЗ ЛАБОРАТОРИИ НАД ОБРЫВОМ. Сообщения о последних работах по бессветовому выращиванию растений. **СНОВА «ПАДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ»?**

У НАС ЕСТЬ БРОНЕВИКИ. Интервью с полицией-президентом. **ХЛОРЕЛЛА НЕ ПАЛЛИАТИВ, А ПАНАЦЕЯ.**

АРОН ВЕБСТЕР СМЕЕТСЯ, АРОН ВЕБСТЕР ПОЕТ! Пятнадцатый благотворительный концерт знаменитого комика...

Андрей сгрел всю эту кучу бумаги, скатал в ком и зашвырнул в угол. Все это казалось нереальным. Реальной была тьма, двенадцатый день стоявшая над Городом, реальностью были очереди перед хлебными магазинами, реальностью был этот зловещий стук расхлябанных колес под окнами, вспыхивающие в темноте красные огоньки сигарок, глухое металлическое позвякивание под брезентом в деревянских колымагах. Реальностью была стрельба, хотя до сих пор никто толком не знал, кто стреляет и в кого... И самой скверной реальностью было тупое похмельное гудение в бедной голове и огромный шершавый язык, который не помещался во рту и который хотелось выплюнуть. Портвейн с сырцом – с ума сошли, и больше ничего! Ей-то что, валяется себе под одеялом, отсыпается, а ты тут пропадай... Скорее бы все это разваливалось уже к чертовой матери, что ли... Надоело небо коптить, и шли бы они в глубокую задницу со своими экспериментами, наставниками, эрвистами, мэрами, фермерами, зерном этим вонючим... Тоже мне, экспериментаторы великие – солнечного света обеспечить не могут. А сегодня еще в тюрьму идти, тащить Изе передачу... Сколько ему еще сидеть осталось? Четыре месяца... Нет, шесть. Сука Фриц, его бы энергию да на мирные цели! Вот ведь не унывает человек. Все ему в жилу. Из прокуратуры выперли – партию создал, планы какие-то строит, борьба с коррупцией, да здравствует возрождение, с мэром вот сцепился... А хорошо бы сейчас пойти в мэрию, взять господина мэра за седой благородный загривок, ахнуть мордой об стол: «Где хлеб, зараза? Почему солнце не горит?» и под жопу – ногой, ногой, ногой...

Дверь распахнулась, ахнув о стену, и вошел Кэнси, маленький, стремительный, и сразу видно, что в ярости – глаза щелками, мелкие зубы оскалены, смоляная шевелюра дыбом. Андрей мысленно застоял. Опять сейчас потащит с кем-нибудь воевать, подумал он с тоской.

Кэнси подошел и шваркнул об стол перед Андреем пачку гранок, исполосованных красным карандашом.

– Я этого печатать не буду! – объявил он. – Это саботаж!

– Ну, что у тебя опять? – спросил Андрей уныло. – С цензором попался, что ли? – Он взял гранки и уставился в них, ничего не понимая, да и не видя ничего, кроме красных линий и загогулин.

– Подборка писем – из одного письма! – яростно сказал Кэнси. – Передовицу нельзя – слишком острая. Комментарий к выступлению мэра нельзя – слишком вызывающ. Интервью с фермерами нельзя – большой вопрос, несвоевременно... Я так работать не могу, Андрей, воля твоя. Ты должен что-то сделать. Они убивают газету, эти сволочи!

– Ну подожди... – морщась, сказал Андрей. – Подожди, дай разобраться...

Большой ржавый болт ввинтился ему вдруг в затылок, в ямку у основания черепа. Он закрыл глаза и тихонько застонал.

– Стонами тут не поможешь! – сказал Кэнси, падая в кресло для посетителей и нервно закуривая. – Ты стонешь, я стенаю, а стонать должна эта сволочь, а не мы с тобой...

Дверь снова распахнулась. Цензор – жирный, потный, весь в красных пятнах, – загнанно дыша, ввалился в комнату и уже с порога пронзительно закричал:

– Я отказываюсь работать в таких условиях! Я, господин главный редактор, не мальчишка! Я – государственный служащий! Я здесь не для собственного удовольствия сижу! Я похабную ругань от ваших подчиненных выслушивать не намерен! И чтобы обзывались!..

– Да вас душить надо, а не обзывать! – прошипел из своего кресла Кэнси, сверкая глазами, как змея. – Вы саботажник, а не государственный служащий!

Цензор окаменел, переводя налитые глазки с него на Андрея и обратно. Потом он вдруг сказал очень спокойно и даже торжественно:

– Господин главный редактор! Я объявляю формальный протест!

Тут Андрей сделал наконец над собой чудовищное усилие, хлопнул ладонью по столу и сказал:

– Я попрошу всех замолчать. Всех! Сядьте, пожалуйста, господин Паприкаки.

Господин Паприкаки сел напротив Кэнси и, теперь уже ни на кого не глядя, вытащил из кармана большой клетчатый носовой платок и принялся вытирать потную шею, щеки, затылок, кадык.

– Значит, так... – сказал Андрей, перебирая гранки. – Мы подготовили подборку из десяти писем...

– Это тенденциозная подборка! – немедленно объявил господин Паприкаки.

Кэнси сейчас же взвился:

– У нас за вчерашний день девятьсот писем насчет хлеба! – заорал он. – И все – вот такого содержания, если не хлеще!..

– Минуточку! – сказал Андрей, повысив голос, и снова хлопнул ладонью по столу. – Дайте говорить мне! А если вам неудобно, выйдите оба в коридор и препирайтесь там... Так вот, господин Паприкаки, наша подборка основана на тщательном анализе поступивших в редакцию писем. Господин Убуката совершенно прав: мы располагаем корреспонденцией, гораздо более резкой и невыдержанной. Но в подборку мы включили как раз самые спокойные и сдержанные письма. Письма людей не просто голодных или напуганных, а понимающих сложность положения. Более того, мы даже включили в подборку одно письмо, прямо поддерживающее правительство, хотя это – единственное такое из семи тысяч, которые мы...

– Против этого письма я ничего не имею, – прервал его цензор.

– Еще бы, – сказал Кэнси. – Вы же сами его и написали.

– Это ложь! – взвизгнул цензор так, что ржавый винт снова вонзился Андрею в затылок.

– Ну, не вы, так кто-нибудь другой из вашей шайки, – сказал Кэнси.

– Сами вы шантажист! – выкрикнул цензор, снова покрываясь пятнами. Это был странный возглас, и на некоторое время воцарилось молчание.

Андрей перебрал гранки.

– До сих пор мы неплохо с вами срабатывались, господин Паприкаки, – сказал он примирительно. – Я уверен, что и сейчас нам следует найти некоторый компромисс...

Цензор замотал щеками.

– Господин Воронин! – сказал он проникновенно. – При чем здесь я? Господин Убуката – человек невыдержанный, ему только бы сорвать злость, а на ком – ему безразлично. Но выто понимаете, что я действую строго в соответствии с полученными инструкциями. В городе назревает бунт. Фермеры в любую минуту готовы начать резню. Полиция ненадежна. Вы что же, хотите крови? Пожаров? У меня дети, я ничего этого не хочу. Да и вы этого не хотите! В такие дни пресса должна способствовать смягчению ситуации, а не обострению ее. Такова установка, и, должен сказать, я с нею совершенно согласен. А если бы даже и был не согласен, все равно обязан, это моя обязанность... Вот вчера арестовали цензора «Экспресса» за попустительское, за пособничество подрывным элементам...

– Я вас прекрасно понимаю, господин Паприкаки, – сказал Андрей с наивозможнейшей сердечностью. – Но вы же видите, в конце

концов, что подборка вполне умеренная. Поймите, именно потому, что времена тяжелые, мы не можем поддакивать правительству. Именно потому, что грозит выступление деклассированных элементов и фермеров, мы должны сделать все, чтобы правительство взялось за ум. Мы исполняем свой долг, господин Паприкаки!

– Подборку я не подпишу, – тихо сказал Паприкаки.

Кэнси шепотом выматерился.

– Мы будем вынуждены выпустить газету без вашей санкции, – сказал Андрей.

– Очень хорошо, – сказал Паприкаки с тоской. – Очень мило. Просто очаровательно. На газету наложат штраф, а меня арестуют. И тираж арестуют. И вас тоже арестуют.

Андрей взял листок «Под знаменем Радикального возрождения» и помахал им перед носом цензора.

– А почему не арестовывают Фрица Гейгера? – спросил он. – Сколько цензоров этой газетки арестовано?

– Не знаю, – сказал Паприкаки с тихим отчаянием. – Какое мне до этого дело? И Гейгера когда-нибудь арестуют, допрыгается...

– Кэнси, – сказал Андрей. – Сколько у нас в кассе? На штраф хватит?

– Соберем между сотрудниками, – деловито сказал Кэнси и поднялся. – Я даю метранпажу команду начать тираж. Выкрутимся как-нибудь...

Он пошел к двери, цензор тоскливо смотрел ему вслед, вздыхал и сморкался.

– Сердца у вас нет... – бормотал он. – И ума нет. Молокососы...

На пороге Кэнси остановился.

– Андрей, – сказал он. – На твоём месте я бы все-таки сходил в мэрию и нажал там на все рычаги, какие только можно.

– Какие там рычаги... – мрачно проговорил Андрей.

Кэнси сейчас же вернулся к столу.

– Пойди к заместителю политконсультанта. В конце концов, он тоже русский. Ты же с ним водку пил.

– Я ему и морду бил, – сказал Андрей угрюмо.

– Ничего, он не обидчивый, – сказал Кэнси. – И потом, я точно знаю, что он берет.

– Кто в мэрии не берет? – сказал Андрей. – Разве в этом дело? – Он вздохнул. – Ладно, схожу. Может, узнаю что-нибудь... А с Паприкаки что будем делать? Он же сейчас звонить побежит... Побежите ведь, а?

– Побегу, – согласился Паприкаки без всякого энтузиазма.

– А я его сейчас свяжу и завалю за шкаф! – сказал Кэнси, сверкнув всеми зубами от удовольствия.

– Ну, зачем... – сказал Андрей. – Зачем это сразу: свяжу, завалю... Запри его в архиве, там телефона нет.

– Это будет насилие, – заметил Паприкаки с достоинством.

– А если вас арестуют, это не будет насилие?

– Так я же не возражаю! – сказал Паприкаки. – Я просто так... отметил...

– Иди, иди, Андрей, – сказал Кэнси нетерпеливо. – Я тут без тебя все сделаю, не беспокойся.

Андрей с крихтением поднялся, волоча ноги, побрел к вешалке, взял плащ. Берет куда-то запропастился, он поискал внизу, среди каких-то галош, забытых посетителями в старые добрые времена, не нашел, матюкнулся и вышел в приемную. Худосочная секретарша вскинула на него испуганные серенькие глазки. Шлюшка задрипанная. Как ее звать-то?..

– Я в мэрию, – мрачно сказал он.

В редакции все шло вроде бы как обычно. Орал кто-то по телефону, писал кто-то, примостившись с краю стола, кто-то рассматривал мокрые фотографии, кто-то пил кофе, метались мальчишки-курьеры с папками и бумагами, было накурено, намусорено, заведующий литературным отделом, феноменальный осел в золотом пенсне, бывший чертежник из какого-то квазигосударства наподобие Андорры, высокопарно вещал тоскующему автору: «Вы здесь где-то переусердствовали, где-то не хватило у вас чувства меры, материал оказался крепче вас и лабильнее...» «Ногой, ногой, ногой», – думал Андрей, проходя. Ему вдруг вспомнилось, как все это было мило его сердцу, как ново, увлекательно, – совсем недавно! – казалось таким перспективным, нужным, важным... «Шеф, одну минутку», – крикнул ему Денни Ли, заведомо писем, и устремился было следом, но Андрей, не оборачиваясь, только отмахнулся назад. «Ногой, ногой, ногой...»

Выйдя из подъезда, он остановился и поднял воротник плаща. По улице по-прежнему грохотали телеги – и все в одну сторону, к центру города, к мэрии. Андрей засунул руки поглубже в карманы и, ссутулившись, двинулся в том же направлении. Минуты через две он заметил, что идет рядом с чудовищной колымагой с колесами в человеческий рост. Колымагу влекли два гигантских битюга, притомившихся, видно, с дальней дороги. Поклажи в колымаге видно не было за высокими дощатыми бортами, зато хорошо был виден возница на передке – даже не столько сам возница, сколько его колоссальный

брезентовый плащ с треугольным капюшоном. От самого возницы усматривалась только борода, торчащая вперед, и сквозь скрип колес и перестук копыт слышались издаваемые им непонятные звуки: то ли он лошадей своих ободрял, то ли лишние газы выпускал по деревенскому простодушию.

И этот в город, думал Андрей. Зачем? Что им тут всем нужно? Хлеба они здесь не достанут, да и не нужен им хлеб, есть у них хлеб. И вообще все у них есть, не то, что у нас, у горожан. Даже оружие есть. Неужели действительно хотят устроить резню, махновщину? Может быть. Только какая им от этого польза? По квартирам шарпать?.. Ничего не понятно.

Он вспомнил интервью с фермерами, и как Кэнси был этим интервью разочарован, хотя сам же его и брал – опросил чуть ли не полсотни мужиков на площади перед мэрией. «А как народ, так и мы»; «Надоело, понимаешь, на болотах сидеть, дай, думаю, съезжу...»; «И не говорите, господин хороший, чего народ прет, куда прет, зачем? Сами удивляемся...»; «Ну, вижу я – все в город. И я – в город. Что я – рыжий, что ли?»; «...Автомат-то? А как же нам без автомата? У нас без автомата шагу ступить нельзя...»; «...Вышел это я утром коров доить, гляжу – едут. Семка Костылин едет, Жак-Француз едет, этот, как его... ах, ядрит твою, все время я его забываю, за Вшивым Бугром живет... тоже едет! Я спрашиваю, ребята, мол, куда? Да вот, говорят, солнца седьмой день нету, надо бы в город съездить...»; «А вы у начальства спросите. Начальство – оно все знает...»; «Так говорили же, что трактора автоматические давать будут! Чтобы самому дома сидеть, поясницу чесать, а он бы за тебя чтобы работал... Третий год обещают...».

Уклончиво, смутно, неясно. Зловеще. То ли они просто хитрят, то ли сбивает их в кучу какой-то инстинкт, а может быть, и организация какая-нибудь тайная, хорошо замаскированная... Тогда что же – Жакерия? Антоновщина?.. В чем-то их понять можно: солнца нет двенадцатый день, урожай гибнет, что будет – неясно. Вот их и сорвало с насиженных мест...

Андрей миновал небольшую тихую очередь в мясной магазин, потом другую – в хлебный. Стояли в основном женщины, у многих на рукавах были почему-то белые повязки. Андрей, конечно, сразу вспомнил про Варфоломеевскую ночь и тут же подумал, что на самом деле сейчас не ночь, а день, час дня, а лавки до сих пор закрыты. На углу, под неоновой вывеской ночного кафе «Квисисана», кучкой стояли трое полицейских. Вид у них был какой-то странный – неуверенный, что ли? Андрей замедлил шаг, прислушиваясь.

– Что ж нам теперь, в драку лезть прикажете? Так их больше раза в два...

– А пойдем и так и доложим: не пройти туда, и все тут.

– А он скажет: «Как это не пройти? Вы – полиция».

– Ну полиция, ну и что? Мы полиция, а они – милиция...

Милиция еще какая-то, подумал Андрей, проходя. Не знаю я никакой милиции... Он миновал еще одну очередь, свернул на Главную. Впереди уже виднелись яркие ртутные фонари Центральной площади, обширное пространство которой все было занято чем-то серым, шевелящимся, окутанным не то паром, не то дымом, но тут его остановили.

Рослый молодой человек, собственно, юнец даже, переросток, в плоской кепке с козырьком, надвинутым на самые глаза, заступил дорогу и спросил негромко:

– Вы куда, сударь?

Руки он держал под бока, на обоих рукавах у него были белые повязки, а у стены позади него стояло еще несколько человек самого разнообразного вида, и все тоже с белыми повязками на рукавах.

Краем глаза Андрей заметил, что дядёк в брезентовом плаще проследовал дальше со своей колымагой беспрепятственно.

– Я в мэрию, – сказал Андрей, вынужденный остановиться. – А в чем дело?

– В мэрию? – громко повторил юнец и оглянулся через плечо на своих. Еще двое отделились от стены и подошли к Андрею.

– А позвольте спросить, зачем вам в мэрию? – осведомился коренастый, небритый, в промасленном комбинезоне и в каскетке с буквами «джи» и «эм». У него было энергичное мускулистое лицо и недобрые шарящие глаза.

– Кто вы такие? – спросил Андрей, нащупывая в кармане медный пестик, который вот уже четвертый день таскал с собой по причине беспокойного времени.

– Мы – добровольная милиция, – ответил коренастый. – Что вам понадобилось в мэрии? Кто вы такой?

– Я – главный редактор «Городской газеты», – сердито сказал Андрей, стискивая пестик. Ему очень не нравилось, что за разговором юнец зашел к нему слева, а третий добровольный милиционер, тоже парень, по всему видно, крепкий, сопел над ухом справа. – Иду в мэрию с протестом против действий цензуры.

– А, – сказал коренастый с неопределенным выражением. – Понятно. Только зачем вам в мэрию? Арестовали бы цензора и выпустили бы свою газету на здоровье.

Андрей решил пока держаться нагло.

– А вы меня не учите, – сказал он. – Цензора мы и без ваших советов арестовали. И вообще, позвольте мне пройти.

– Представитель прессы... – проворчал тот, что сопел над правым ухом.

– А чего? Пусть идет, – снисходительно разрешил юнец слева.

– Пусть, – сказал коренастый. – Пусть идет. Только пусть потом на нас не пеняет... Оружие у вас есть?

– Нет, – сказал Андрей.

– Зря, – сказал коренастый, отступая в сторону. – Проходите...

Андрей прошел. За спиной его коренастый сказал петушиным голосом: «Жасмин – хорошенький цветочек! Он пахнет очень хорошо...», и милиционеры засмеялись. Андрей знал этот стишок, и ему захотелось сердито обернуться, но он только ускорил шаг.

На Главной оказалось довольно много народу. Держались они в основном вдоль стен, кучками стояли в подворотнях, все были с белыми повязками. Некоторые торчали прямо посередине мостовой – подходили к проезжающим фермерам, что-то говорили им, и фермеры ехали дальше. Магазины все были закрыты, но очередей возле них здесь уже не было. Около булочной пожилой милиционер с узловатой тростью втолковывал какой-то одинокой старушенции: «Я вам совершенно наверняка говорю, мадам. Магазины сегодня не откроются. Я сам владелец бакалеи, мадам, я знаю, что говорю...» Старушенция визгливо отвечала в том смысле, что умрет здесь, на этих ступеньках, но очереди своей не бросит...

Старательно подавляя в себе нарастающее чувство тревоги и какой-то ирреальности окружающего – все было как в кино, – Андрей добрался до площади. Горловина Главной, выходящая на площадь, была плотно забита телегами, повозками, арбами, колымагами, возами. Здесь воняло конским потом, свежим навозом, мотали головами разномастные лошади, зычно перекликались сыны болот, вспыхивали сигарки. Несло дымом – где-то недалеко палили костер. Изпод арки вышел, застегиваясь на ходу, толстый усач в тexasской шляпе – едва не налетел на Андрея, чертыхнулся благодушно и пошел пробираться между телегами, рывкающим голосом выкликая какого-то Сидора: «Сюда давай, Сидор! Во двор давай, там можно! Под ноги только смотри, не вляпайся!..»

Андрей покусал губу и пошел дальше. У самого входа на площадь телеги стояли уже на тротуаре. Многие были распряжены, стреноженные кони вприскокку бродили кругом, уныло обнюхивая асфальт. В телегах спали, курили, ели, слышалось аппетитное бульканье и

причмокивание. Андрей взобрался на какое-то крыльцо и посмотрел по верх становища. До мэрии было шагов пятьсот, но это был лабиринт. Трещали и дымились костры, сизые от ртутных фонарей дымы тянулись по верх фургонов и колымаг и, как в гигантский дымоход, втягивались в Главную улицу. Какая-то сволочь с жужжанием уселась Андрею на щеку и впилась, словно булавку вонзила. Андрей с омерзением прилепнул что-то крупное, колючее, сочно хрустнувшее под ладонью. Понатащили с болот, сердито подумал он. Из приоткрытой парадной отчетливо тянуло аммиаком. Андрей соскочил на тротуар и решительно двинулся в лошадино-тележный лабиринт, на первых же шагах угодив в мягкое и рассыпчатое.

Тяжелое округлое здание мэрии возвышалось над площадью, как пятиэтажный бастион. Почти все окна были темны, только в некоторых горел свет, и еще тускло и желтовато светились выведенные наружу колодцы лифтов. Лагерь фермеров окружал здание кольцом, между телегами и мэрией пролегалo пустое пространство, освещенное яркими фонарями на фигурных чугунных столбах. Под фонарями толклись фермеры, почти все с оружием, а напротив них, у входа в мэрию, стояла шеренга полицейских – судя по знакам различия, преимущественно сержантов и офицеров.

Андрей уже проталкивался через вооруженную толпу, когда его окликнули. Он остановился и завертел головой.

– Да здесь я, вот он я! – гаркнул знакомый голос, и Андрей увидел наконец дядю Юру.

Дядя Юра вперевалочку приближался к нему, заранее отводя ладонь для рукопожатия – все в той же гимнастерочке, в пилотке набекрень, и известный Андрею пулемет висел у него на широком ремне через плечо.

– Здорово, Андрюха, городская твоя душа! – провозгласил он, с треском ударяя своей жесткой ладонью в ладонь Андрея. – А я тут все тебя ищу, буча идет, нет, думаю, не может быть, чтобы нашего Андрюхи тут не было! Он – парень заводной, думаю, обязательно где-нибудь тут же крутится...

Дядя Юра был основательно на взводе. Он стащил пулемет с плеча, оперся на ствол подмышкой, как на костыль, и продолжал с той же горячностью:

– Я туда, я сюда – нет Андрюхи. Ах ты, ядрит твою, думаю, что же это такое? Фриц твой белобрысый – этот здесь. Толкается среди мужиков, речи произносит... А тебя нет как нет!

– Подожди, дядя Юра, – сказал Андрей. – Ты-то чего сюда приперся?

– Права качать! – ухмыльнулся дядя Юра. Борода его раздвинулась венником. – Исключительно для этой цели сюда прибыл, но ничего у нас тут, видно, не получится. – Он сплюнул и растер огромным сапожищем. – Народ – вша. Сами не знают, чего пришли. То ли просить пришли, то ли требовать пришли, а может, не то и не другое, а просто по городской жизни соскучились – постоим здесь, засрем ваш город, да и назад, по домам. Говно народ. Вот... – Он обернулся и помахал кому-то рукой. – Вот, к примеру, возьми Стася Ковальского, дружка моего... Стась! Стась, т-твою... Иди сюда!

Стась подошел – худой сутулый мужик с унылыми вислыми усами и редкой шевелюрой. От него так и шибало самогоном. На ногах он держался исключительно инстинктивно, однако то и дело воинственно вскидывал голову, хватался за странный автомат-коротышку, висящий у него на шее, и, с огромным трудом приподнимая веки, угрожающе оглядывался по сторонам.

– Вот – Стась... – продолжал дядя Юра. – Ведь воевал же, Стась, воевал, ну скажи! Нет, ты скажи: воевал? – требовал дядя Юра, горячо обхватив Стася за плечи и качаясь вместе с ним.

– Хэ! Хо!.. – откликнулся Стась, всем своим видом стараясь показать, что воевал, что еще как воевал, слов нет выразить, как воевал.

– Он пьяный сейчас, – объяснил дядя Юра. – Он не может, когда солнца нет... О чем это я? Да! Ты спроси его, дурака, чего он здесь топчется? Оружие есть. Ребята боевые есть. Ну, чего еще, спрашивается?

– Подожди, – сказал Андрей. – Чего вы хотите?

– Так я же тебе и говорю! – проникновенно сказал дядя Юра, выпуская Стася, которого сразу же по длинной дуге унесло в сторону. – Я тебе втолковываю! Один раз давануть на гадов – и все! У них же пулеметов нет! Сапогами затопчем, шапками закидаем... – Он вдруг замолчал, снова вскинул на спину пулемет. – Пошли.

– Куда?

– Выпьем. Надо допивать все к чертовой матери и ехать отсюда по домам. Чего, в самом деле, время тратить? У меня там картошка гниет... Пошли.

– Нет, дядя Юра, – сказал Андрей извиняющимся голосом. – Не могу сейчас. Мне в мэрию надо.

– В мэрию? Пошли! Стась! Стась, т-твою...

– Да подожди, дядя Юра! Ты же... того... не пустят тебя.

– М-меня? – взревел дядя Юра, сверкнув глазами. – А ну, пошли! Посмотрим, кто там меня не пустит. Стась!..

Он обхватил Андрея за плечи и поволок через пустое, ярко освещенное пространство прямо на шеренгу полицейских.

– Ты пойми, – горячо бормотал он прямо в ухо упирающемуся Андрею. – Страшно, понял? Никому не говорил, тебе скажу. Жутко! А если оно теперь вовсе не загорится больше, а? Затащили нас сюда и бросили... Нет, пусть объяснят, пусть правду скажут, суки, а так жить нельзя. Я спать перестал, понял? Такого со мной и на фронте не бывало... Ты думаешь, я пьяный? Ни хрена я не пьяный – это страх, страх во мне ходит!..

У Андрея озноб пошел по спине от этого горячечного бормотания. Он остановился шагах в пяти от шеренги (ему казалось, что на площади все стихло и все смотрят на него – и полицейские, и фермеры) и, стараясь говорить внушительно, произнес:

– Ты вот что, дядя Юра. Я сейчас схожу, улажу один вопрос насчет моей газеты, а ты меня здесь подожди. Потом пойдем ко мне и обо всем как следует поговорим.

Дядя Юра изо всех сил замотал бородой.

– Нет, я с тобой. Мне тоже надо один вопрос уладить...

– Да не пустят тебя! И меня из-за тебя не пустят!

– Пойдем, пойдем... – приговаривал дядя Юра. – Как так – не пустят? Почему? Мы – тихо, благородно...

Они были уже совсем рядом с шеренгой, дородный капитан полиции в щегольской форме, с расстегнутой кобурой слева на поясе шагнул им навстречу и холодно осведомился:

– Вам куда, господа?

– Я главный редактор «Городской газеты», – сказал Андрей, тихонько отпихивая дядю Юру, чтобы не обнимался. – Я должен встретиться с господином политическим консультантом.

– Попрошу документы, – обтянутая лайкой ладонь протянулась к Андрею.

Андрей достал удостоверение, отдал капитану и покосился на дядю Юру. К его удивлению, дядя Юра стоял теперь спокойно, пошмыгивал носом и то и дело поправлял ремень своего пулемета, хотя никакой надобности в этом не было. Глаза его, вроде бы и не пьяные совсем, неторопливо шарили по шеренге.

– Можете пройти, – вежливо сказал капитан, возвращая удостоверение. – Хотя должен вам сказать... – Он не окончил и обратился к дяде Юре: – А вы?

– Это со мной, – поспешно сказал Андрей. – В некотором роде представитель... э-э... части фермеров.

– Документы!

– Какие у мужика могут быть документы? – сказал дядя Юра с горечью.

– Без документов не могу.

– Почему же это нельзя без документов? – совсем огорчился дядя Юра. – Без какой-то бумажки паршивой я, значит, уже и не человек?

Кто-то жарко задышал Андрею в затылок. Это Стась Ковальский, все еще воинственно взбрыкивая и пошатываясь, подпирал теперь тыл. По освещенному пространству вяло, словно бы нехотя, подтягивались еще какие-то люди.

– Господа, господа, не скапливаться! – нервно сказал капитан. – Да проходите же, сударь! – зло прикрикнул он на Андрея. – Господа, назад! Скапливаться запрещено!..

– То есть если у меня бумажки какой-то исчириканной нет, – сокрушался дядя Юра, – то уже мне, значит, ни проходу, ни проезду...

– Дай ему в рыло! – неожиданно ясным голосом предложил сзади Стась.

Капитан схватил Андрея за рукав плаща и резко рванул на себя, так что Андрей сразу же очутился за спинами шеренги. Шеренга быстро сомкнулась, заслоняя от него фермеров, столпившихся перед капитаном, и он, не дожидаясь дальнейшего развития событий, быстро зашагал к сумрачному, слабо освещенному portalу. За спиной гудели:

– Хлеб им давай, мясо им давай, а как пройти куда-нибудь...

– Па-апрашу не скапливаться! Имею приказ арестовывать...

– Почему представителя не пропускаешь, а?

– Солнце! Солнце, сволочи, когда обратно зажжете?

– Господа, господа! Ну при чем тут я?

По беломраморной лестнице навстречу Андрею, звеня подковками, сыпались новые полицейские. Эти были вооружены винтовками с примкнутыми штыками. Сдавленный голос скомандовал: «Баллоны приготовить!» Андрей дошел до верха лестницы и оглянулся. Освещенное пространство было теперь усеяно людьми. Фермеры, кто медленно, а кто и бегом, двигались от своего стойбища к большой черной куче образовавшегося толковища.

Андрей с усилием оттянул на себя дверь – тяжелую, высокую, обитую медью – и вошел в вестибюль. Здесь тоже было полутемно, и стоял резкий явственный запах казармы. В роскошных креслах, на диванах и прямо на полу спали вповалку полицейские, укрывшись шинелями. На слабо освещенной галерее, тянувшейся под потолком вдоль трех стен вестибюля, маячили какие-то фигуры. Андрей не разобрал, было ли у них оружие.

По мягкой ковровой дорожке он взбежал на второй этаж, где располагался отдел прессы, и двинулся по широкому коридору. Его вдруг

охватило сомнение. Что-то слишком тихо было сегодня в этом огромном здании. Обычно здесь толкалась масса народу, стрекотали пишущие машинки, гремели телефонные звонки, гул стоял от разговоров и начальственных окриков, а сейчас ничего этого не было. Некоторые кабинеты были распахнуты настежь, там стояла тьма, да и в самом коридоре горела только каждая четвертая лампа.

Предчувствие его не обмануло: кабинет политконсультанта оказался заперт, а в кабинете заместителя сидели два каких-то незнакомых человека в одинаковых серых пальто, застегнутых до подбородка, в одинаковых котелках, надвинутых на глаза.

– Прошу прощения, – сердито сказал Андрей. – Где я могу найти господина политконсультанта или его заместителя?

Головы в котелках неторопливо повернулись к нему.

– А зачем вам? – спросил тот, что был поменьше ростом.

Лицо этого человека показалось вдруг Андрею не таким уж незнакомым, да и голос тоже. И почему-то стало неприятно и странно от того, что этот человек находится здесь. Нечего ему здесь было делать... Андрей насупился и, стараясь говорить отрывисто и решительно, объяснил, кто он и что ему нужно.

– Да вы заходите, – произнес полужнакомый человек. – Что это вы стоите там в дверях?

Андрей вошел и огляделся, но он ничего не видел: перед глазами все время маячило только это гладко выбритое скопческое лицо. Где же я его видел? Неприятная какая-то личность... и опасная... Зря я сюда зашел, только время теряю.

Маленький человек в котелке тоже пристально его рассматривал. Было тихо. Высокие окна затянуты были тяжелыми портьерами, и шум снаружи едва доносился сюда. Маленький человек в котелке вдруг легко вскочил и подошел к Андрею вплотную. Серые глазки его, почти без ресниц, мигали, а от верхней пуговицы пальто подскочил к самому подбородку и снова ушел вниз могучий хрящеватый кадык.

– Главный редактор?.. – проговорил маленький человек, и тут Андрей наконец узнал его и в обессиливающем томлении, теряя ощущение ног под собою, понял, что узнал сам.

Скопческое лицо ощерилось, показывая редкие дурные зубы, маленький человек присел, и Андрей ощутил жестокую боль в животе, словно у него лопнули внутренности, и сквозь тошную муть в глазах увидел вдруг навощенный пол... Бежать, бежать... Целый фейерверк вспыхнул у него в мозгу, и над ним закачался, медленно поворачиваясь, далекий темный потолок, испещренный трещинами... из наваливающейся душной тьмы выскакивали раскаленные добела пики и

втыкались в ребра... убьет... убьет же!.. Голова вдруг распухла и, обдирая уши, полезла в какую-то узкую вонючую щель, а громовой голос неторопливо говорил: «Спокойнее, Копчик, спокойнее, не все сразу...» Андрей закричал изо всех сил, теплая густая каша наполнила его рот, он захлебнулся, и его вырвало.

В комнате никого не было. Огромная портьера была отдернута, окно распахнуто, тянуло сырым холодным воздухом, и слышался какой-то отдаленный рев. Андрей с трудом поднялся на четвереньки и пополз вдоль стены. К двери. Прочь отсюда...

В коридоре его снова вырвало. Он полежал немного в блаженном изнеможении, затем попробовал подняться на ноги. Плохо мне, подумал он. Ох, как мне плохо. Он сел и ощупал лицо. Лицо было влажное и липкое, и тут он обнаружил, что смотрит только одним глазом. Болели ребра, трудно было дышать. Болели челюсти, и ужасной, невыносимой болью сводило низ живота. Сволочь, Копчик. Изуродовал меня... Андрей заплакал. Он сидел на полу в пустом коридоре, приклонившись спиной к золоченым завитушкам, и плакал. Ничего не мог с собой сделать. Плача, он с трудом задрал полу плаща и полез рукой под брючный ремень. Болело ужасно, но не там, а выше. Весь живот болел. Трусы были мокрые.

Кто-то, тяжело бухая сапогами, прибежал из глубины коридора и остановился над ним. Какой-то полицейский – красный, распаренный, без фуражки, с растерянными глазами. Постоял несколько секунд словно бы в нерешительности и вдруг опрометью бросился бежать дальше, а из глубины коридора уже бежал второй, на ходу сдирая с себя китель.

Тут до Андрея дошло, что там, откуда они бежали, стоит ревуций многоголосый гомон. Тогда он с усилием поднялся и, придерживаясь за стену, поплелся на этот гомон, все еще всхлипывая, со страхом ощупывая лицо и то и дело останавливаясь, чтобы постоять, согнувшись и держась за живот.

Он добрался до лестницы и ухватился за скользкие мраморные перила. Внизу в огромном вестибюле ворочалась густая человеческая каша. Совершенно непонятно было, что там делается. Прожекторные лампы, установленные вдоль галереи, озаряли холодным слепящим светом это месиво, в котором мелькали разномастные бороды, форменные фуражки, золотые шнуры витых полицейских аксельбантов, примкнутые штыки, растопыренные пятерни, бледные лысины, и от всего этого поднимался к потолку теплый влажный смрад.

Андрей закрыл глаза, чтобы не видеть всего этого, и ощупью, перебирая руками по перилам, кое-как, задом, боком, стал спускаться,

сам не понимая, зачем он это делает. Несколько раз он останавливался, чтобы отдышаться и постонать, открывал глаза, глядел вниз, ему снова становилось невмоготу от этого зрелища, он опять зажмурился и опять принимался перебирать руками по перилам. Уже внизу руки его ослабели окончательно, он сорвался и прокатился по последним ступенькам до мраморной лестничной площадки, украшенной гигантскими бронзовыми плевательницами. Сквозь муть и гомон он услышал вдруг надсадный хриплый рев: «Гляди, да это же Андрюха!.. Ребята, там наших насмерть убивают!..» Открыв глаза, он увидел совсем рядом дядю Юру, всклокоченного, в растерзанной гимнастерке, глаза дикие, выкаченные, борода растопырена, и он увидел, как дядя Юра поднял на вытянутых руках свой пулемет и, не переставая реветь быком, ударил длинной очередью по галерее, по прожекторам, по стеклам двусветного зала...

Потом были какие-то отрывочные впечатления, потому что сознание приливало и отливало вместе с приливами и отливами боли и дурноты. Сначала он обнаружил себя в центре вестибюля. Он, оказывается, упрямо полз на карачках к далекой распахнутой двери, перебираясь через неподвижные тела, оскользаясь руками в мокром и холодном. Кто-то однообразно стонал совсем рядом, приговаривая: «О господи, о господи, господи...» На ковре было полно осколков стекла, стреляных гильз, обломков штукатурки. В распахнутую дверь ворвались с ревом и бежали прямо на него какие-то страшные люди с горящими факелами в руках...

Потом он очутился снаружи, в портале. Он сидел, расставив ноги, упираясь ладонями в холодный камень, и на коленях у него лежала винтовка без затвора. Пахло свежим дымом, где-то на краю сознания грохотал пулемет, дико визжали лошади, а он монотонно твердил вслух, втолковывая самому себе: «Тут меня растопчут, тут меня обязательно растопчут...»

Но его не растоптали. Он очнулся уже на мостовой, в стороне от лестницы. Он прижимался щекой к шершавому граниту, над ним светила ртутная лампа, винтовки не было, и тела, кажется, тоже не было, он словно бы висел в пустоте со щекой, прижатой к граниту, а на площади перед ним, как на сцене, разыгрывалась некая диковинная трагедия.

Он увидел, как вдоль цепи фонарей, окаймлявших площадь, вдоль кольца сцепившихся телег и повозок со звоном и лязгом мчится броневомобиль, его пулеметная башня ходит из стороны в сторону, обильно плюясь огнем, светящиеся трассы мечутся по всей площади, а перед броневиком, задрвав голову, галопом скачет лошадь, волоча

оборванные построжки... И вдруг из гущи телег, наперерез броневнику, выкатился фургон, крытый брезентом, лошадь бешено рванулась в сторону и разбилась о фонарный столб, а броневик резко затормозил, его занесло, и тут на открытое пространство выбежал длинный человек в черном, взмахнул рукой и плашмя упал на асфальт. Под броневиком вспыхнуло пламя, раскатился гулкий удар, и железная машина грузно осела назад. Человек в черном уже снова бежал. Он обогнул броневик, сунул что-то в смотровую амбразуру водителя и отскочил в сторону, и тогда Андрей увидел, что это Фриц Гейгер, а амбразура озагорела изнутри, в броневике грохнуло, и из амбразур вылетел длинный коптящий язык пламени. Фриц, пригнувшись, на полусогнутых ногах и растопырив длинные, до земли, руки, боком, как краб, двигался вокруг машины, и тут бронированная дверца распахнулась, на асфальт вывалился охваченный пламенем лохматый тюк и с пронзительным воем стал кататься, рассыпая искры...

Потом снова был обморок, словно занавес опустился, и какие-то свирепые голоса, и нечеловеческие визги, и топот множества ног. От горящего броневика несло вонью раскаленного железа и бензина. Фриц Гейгер в окружении толпы людей с белыми повязками на руках, возвышаясь над ними на целую голову, выкрикивал команды, резко взмахивал, показывая в разные стороны, длинными руками, лицо и белобрысые растрепанные волосы были у него покрыты копотью. Другие люди с белыми повязками облепили фонари перед входом в мэрию, лезли зачем-то наверх и спускали оттуда, сверху, длинные, мотающиеся под ветром веревки. Кого-то волокли по лестнице, отбивающегося, дрыгающего ногами, кто-то все визжал высоким бабьим голосом так, что закладывало уши, и вдруг лестница вся покрылась народом, замелькали черные бородатые лица, залязгало оружие. Визг прекратился, темное тело поползло вверх вдоль фонарного столба, судорожно дергаясь и извиваясь. Из толпы ударили выстрелы, дергающиеся ноги обмякли, вытянулись, и темное тело начало медленно крутиться в воздухе.

А потом Андрей очнулся уже от ужасной тряски. Голова его моталась на жестких пахучих узлах, он куда-то ехал, везли его куда-то, и знакомый остервенелый голос выкрикивал: «Н-но! Н-но, лярва, твою!.. Пошла!» А прямо перед ним на фоне черного неба горела мэрия. Жаркие языки вырывались из окон, сыпали искры в черноту, и видно было, как слегка покачиваются, свешиваясь с фонарных столбов, длинные вытянутые тела.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Вымытый и переодетый, с повязкой через правый глаз, Андрей полулежал в кресле и угрюмо смотрел, как дядя Юра и Стась Ковальский, у которого голова была тоже обмотана бинтом, жадно хлебуют прямо из кастрюли какое-то дымящееся варево. Заплаканная Сельма сидела рядом с ним, судорожно вздыхала и все пыталась взять его за руку. Волосы ее были растрепаны, краска с ресниц измазала щеки, лицо было опухшее и все горело красными пятнами. И дико выглядел на ней легкомысленный прозрачный халатик, спереди весь мокрый от мыльной воды.

– ...Это он забить тебя хотел, – объяснял Стась, не переставая хлебать. – Нарочно тебя так, понимаешь, аккуратно обрабатывал, чтобы надолше хватило. Я эту штуку знаю, меня голубые гусары тоже вот так же обрабатывали. Только я весь курс, понимаешь, прошел – уже меня ногами топтать стали, да тут, слава божьей матери, оказалось, что я не тот, другого им надо было...

– Нос сломали – это ерунда, – подтверждал дядя Юра. – Нос не это самое... и сломанный сойдет... А ребро... – Он махнул рукой с ложкой. – Я их сколько себе ломал, ребер этих. Главное – кишки целы, печенки-селезенки...

Сельма судорожно вздохнула и снова попыталась взять Андрея за руку. Он посмотрел на нее и сказал:

– Хватит реветь. Поди переоденься, и вообще...

Она послушно встала и вышла в другую комнату. Андрей пошарил во рту языком, нащупал еще что-то твердое и вытолкнул на палец.

– Пломбу выбил, – проговорил он.

– Ну да? – удивился дядя Юра.

Андрей показал. Дядя Юра присмотрелся и покачал головой. Стась тоже покачал головой и сказал:

– Редкий случай. А только я, когда отлеживался, – три месяца, знаешь ли, отлеживался, – так я все больше зубы сплевывал. Баба мне ребра парила каждый день. Умерла потом, а я вот видишь – жив. И хоть бы хрен.

– Три месяца! – сказал дядя Юра с презрением. – Мне, когда задницу оторвало под Ельней, я полгода по госпиталям мотался. Это же жуткая вещь, браток, когда ягодицу оторвет. Там, понимаешь, в ягодице, все главные сосуды сплетаются. А мне по касательной как шваркнет болванкой!.. Ребята, спрашиваю, что же это такое, где же задница-то? А мне, веришь, штаны содрало начисто по самые голенища, как не было штанов... в голенищах еще что-то осталось, а сверху

– ну ничего!.. – Он облизал ложку. – Федьке Чепареву тогда голову оторвало, – сообщил он. – Той же болванкой и оторвало...

Стась тоже облизал ложку, и некоторое время они сидели молча и глядели в кастрюлю. Потом Стась деликатно кашлянул и снова запустил ложку в пар. Дядя Юра последовал его примеру.

Вернулась Сельма. Андрей взглянул на нее и отвел глаза. Вырядилась, дура. Серьги свои гигантские нацепила, декольте, намазалась опять, как шлюха... Шлюха и есть... Не мог он на нее смотреть, ну ее к черту совсем. Сначала этот срам в прихожей, а потом срам в ванной, когда она, рыдая в голос, стягивала с него обмоченные трусы, а он глядел на сине-черные пятна у себя на животе и боках и опять плакал – от жалости к себе и от бессилия... И конечно же пьяна, опять пьяна, каждый божий день она пьяна, и сейчас, пока переодевалась, обязательно хлебнула из горлышка...

– Врач этот... – сказал дядя Юра задумчиво. – Ну, лысый этот, который сейчас приходил, – где это я его видел?

– Очень может быть, у нас и видели, – сказала Сельма, улыбаясь обольстительно. – Он в соседнем подъезде живет. Кем он сейчас работает, Андрей?

– Кровельщиком, – мрачно сказал Андрей.

Она напропалую спала с этим лысым доктором, весь дом знал. Он и не скрывался особенно. Да и никто не скрывался, впрочем.

– Как так – кровельщиком? – поразился Стась, не донеся ложку до усов.

– А вот так, – сказал Андрей. – Крыши кроет, баб кроет... – Он с кряхтением поднялся, полез в комод и вытащил сигареты. Опять двух пачек не хватало.

– Баб-то ладно... – ошарашенно бормотал Стась, потряхивая ложкой над кастрюлей. – Крыши-то как? А ежели он сорвется? Врач ведь...

– А они вечно что-нибудь в Городе придумают, – ядовито сказал дядя Юра. Он сунул было ложку за голенище, но спохватился и положил ее на стол. – Это как у нас в Тимофеевке, сразу после войны, прислали в один колхоз председателем грузина, политрука бывшего...

Зазвенел телефон. Сельма взяла трубку.

– Да, – сказала она. – Д-да... Нет, он болен, не может подойти...

– Дай сюда трубку, – сказал Андрей.

– Это из газеты, – сказала Сельма шепотом, прикрывши микрофон ладонью.

Андрей протянул руку.

– Дай трубку! – повторил он, повысив голос. – И не имей привычки за других расписываться!

Сельма отдала ему трубку и схватила пачку сигарет. Руки у нее тряслись, губы – тоже.

– Воронин слушает, – сказал Андрей.

– Андрей? – Это был Кэнси. – Куда ты провалился? Я тебя всюду ищу. Что делать? В городе фашистский переворот.

– Почему – фашистский? – ошеломленно спросил Андрей.

– Ты придешь в редакцию? Или ты правда болен?

– Приду, конечно, приду, – сказал Андрей. – Ты объясни...

– У нас списки, – торопливо проговорил Кэнси. – Спецкоры и все такое прочее... Архивы...

– Понял, – сказал Андрей. – Только почему ты думаешь, что фашистский?

– Я не думаю, я знаю, – нетерпеливо сказал Кэнси.

Андрей стиснул зубы, закричал.

– Подожди, – сказал он с раздражением. – Не пори горячку... – Он лихорадочно соображал. – Ладно, ты все подготовь, а я сейчас выхожу.

– Давай, – сказал Кэнси. – Только осторожнее на улицах.

Андрей бросил трубку и повернулся к фермерам.

– Ребята, – сказал он, – ехать надо. Подвезете до редакции?

– Отчего же, подвезем... – отозвался дядя Юра. Он уже поднимался из-за стола, на ходу заклеивая козью ножку. – Давай-ка, Стась, вставай, нечего тут рассиживаться. Мы тут с тобой рассиживаемся, а они там, понимаешь, власть берут.

– Да, – сокрушенно согласился Стась, тоже поднимаясь. – Ерунда какая-то получается. Всю головку вроде бы сняли, всех попереवेशали, а солнца все равно ни хрена нет... Еж твою двадцать, куда это я машинку свою сунул?..

Он шарил по всем углам, отыскивая свой уродец-автомат, дядя Юра, попыхивая козьею ножкой, неторопливо натягивал поверх гимнастерки рваный ватник, и Андрей тоже было поднялся одеваться, но натолкнулся на Сельму. Сельма стояла, загораживая ему дорогу, очень бледная и очень решительная.

– Я с тобой! – заявила она тем самым особенным наглым высоким голосом, которым обычно затевала свару.

– Пусти, – сказал Андрей, пытаясь отстранить ее здоровой рукой.

– Я тебя никуда не пущу, – сказала Сельма. – Или ты берешь меня с собой, или ты остаешься дома!

– Уйди с дороги! – заорал Андрей, срываясь. – Тебя только там не хватало, дура!

– Не пу-щу! – сказала Сельма с ненавистью.

Тогда Андрей, не разворачиваясь, но очень сильно ударил ее ладонью по щеке. Наступила тишина. Сельма не шевельнулась, только белое лицо ее с вытянутыми в ниточку губами снова пошло красными пятнами. Андрей опомнился.

– Извини, – сказал он сквозь зубы.

– Не пущу... – повторила Сельма совсем тихо.

Дядя Юра пару раз кашлянул и сказал как бы в сторону:

– Вообще-то в такое время женщине одной в квартире... нехорошо, пожалуй...

– Это точно, – подхватил Стась. – Нехорошо сейчас одной, а с нами никто не тронет, мы – фермеры...

А Андрей все стоял перед Сельмой и смотрел на нее. Он пытался хоть сейчас и хоть что-нибудь понять в этой женщине и, как всегда, ничего не понимал. Она была шлюха, шлюха природная, шлюха божьей милостью – это он понимал. Это он понял давно. Она любила его, полюбила с первого же дня – это он тоже знал, и знал, что это нисколько ей не мешает. И одной в квартире остаться сейчас ей было все равно что плюнуть, она вообще никогда ничего не боялась. Это тоже ему было прекрасно известно. Все в отдельности о себе и о ней он знал и понимал, а вот все вместе...

– Ладно, – сказал он. – Одевайся.

– Ребра-то болят? – осведомился дядя Юра, стремясь увести разговор куда-нибудь подальше в сторону.

– Ничего, – буркнул Андрей. – Терпеть можно. Перетопчемся.

Стараясь ни с кем не встречаться глазами, он сунул в карман сигареты, спички и остановился перед буфетом, где в самом дальнем углу под грудой салфеток и полотенец лежал у него пистолет Дональда. Брать или не брать? Он представил себе разные сцены и обстоятельства, в которых пистолет мог бы пригодиться, и решил не брать. Ну его к черту, обойдусь как-нибудь. Воевать я, во всяком случае, ни с кем не собираюсь...

– Ну, пошли, что ли? – сказал Стась.

Он уже стоял у двери и осторожно продевал перебинтованную голову в ремень автомата. Сельма стояла рядом с ним в длинном своем грубом свитере, который она натянула прямо поверх декольте. На руке у нее был плащ.

– Пошли, – скомандовал дядя Юра, громыхнув об пол прикладом пулемета.

– Серьги сними, – буркнул Андрей Сельме и вышел на лестницу.

Они стали спускаться. На лестничных площадках шушукались в темноте жильцы, испуганно замолкали и сторонились, различив вооруженных людей. Кто-то сказал: «Это Воронин...» – и сейчас же окликнул:

– Господин редактор, вы не скажете, что в городе происходит?

Андрей не успел ничего ответить, потому что на спрашивающего зашикали со всех сторон, а кто-то зловещим шепотом проговорил: «Не видишь, дурак, повели человека!..» Сельма истерически хихикнула.

Они вышли во двор, погрузились в телегу, и Сельма накинула на плечи Андрея плащ. Дядя Юра вдруг сказал: «Тихо!» – и все стали прислушиваться.

– Палят где-то, – негромко сказал Стась.

– Длинными очередями, – добавил дядя Юра. – Не жалеют боеприпаса... И где они его берут? Десяток патронов – пол-литра самогонки, а он – во как чешет... Н-но! – заорал он. – Застоялась!

Телега с грохотом вкатилась под арку. На ступенях дворницкой стоял с метлой и совком маленький Ван.

– Гляди-ка – Ваня! – воскликнул дядя Юра. – Тпр-р-р! Здорово, Ваня! Ты что здесь, а?

– Подметаю, – отозвался Ван, улыбаясь. – Здравствуйте.

– Брось, брось подметать! – сказал дядя Юра. – Что ты, в самом деле! Поехали с нами, мы тебя министром, понимаешь, сделаем, в чечуче ходить будешь, на «Победе» раскатывать!

Ван вежливо засмеялся.

– Ладно, дядя Юра, – нетерпеливо сказал Андрей. – Поехали, поехали!..

У него сильно болел бок, в телеге сидеть было неудобно, и он уже жалел, что не пошел пешком. Незаметно для себя он привалился к Сельме.

– Ну ладно, Ваня, не хочешь – не надо, – решил дядя Юра. – Но насчет министра – приготовься! Причешься, понимаешь, шею помой... – Он взмахнул вожжами. – Н-но!

С грохотом выкатились на Главную.

– А чья это телега, не знаешь? – спросил вдруг Стась.

– Хрен его знает, – отозвался дядя Юра, не оборачиваясь. – Лошадь вроде бы этого крохобора... ну, по-над самым обрывом живет, рыжий такой, конопатый... канадец, что ли...

– Ну? – сказал Стась. – Во матерится, наверное.

– Нет, – сказал дядя Юра. – Убили его.

– Ну? – сказал Стась и замолчал.

Главная улица была пуста и затянута тяжелым ночным туманом, хотя по часам было пять пополудни. Впереди туман имел красноватый оттенок и беспокойно мерцал. Время от времени там ярко вспыхивали пятна белого света – то ли прожектора, то ли мощные фары, – и оттуда, глухо сквозь туман, перекрывая иногда грохот колес и перестук копыт, доносилась пальба. Что-то там происходило.

В домах по сторонам улицы многие окна были освещены, однако большей частью только в верхних этажах, выше второго. Очередей возле запертых магазинов и лавок не было, но Андрей заметил, что в некоторых подворотнях и подъездах стоит народ, – осторожно выглядывают, снова прячутся, а самые отчаянные выходят на тротуар и смотрят туда, где мерцает и трещит в тумане. Кое-где на мостовой неподвижно лежали какие-то словно бы темные мешки. Андрей не сразу понял, что это, и только через некоторое время с удивлением убедился, что это мертвые павианы. В скверике возле темной школы паслась одинокая лошадь.

Телега грохотала и тряслась, все молчали. Сельма тихонько нащупала руку Андрея, и он, отдавшись боли и усталости, совсем привалился к ее теплому свитеру и закрыл глаза. Плохо мне, думал он. Ох и плохо... Что это Кэнси там горячку порет, какой там еще фашистский переворот?.. Просто остервенели все от страха, от злости, от безнадежности... Эксперимент есть Эксперимент...

Тут вдруг телегу дернуло, и сквозь грохот колес послышался такой дикий и пронзительный визг, что Андрей тут же очнулся, мгновенно весь покрывшись потом, выпрямился и очумело завертел головой.

Дядя Юра ожесточенно матерился, изо всех сил натягивая вожжи, чтобы удержать лошадь, рвущуюся куда-то вбок, а слева по тротуару, выпуская нечеловеческие и в то же время совсем человеческие, полные боли и ужаса визги, несло что-то горящее, какой-то комок пламени, оставляя за собой брызги огня, и прежде, чем Андрей успел опомниться, понять, Стась ловко соскочил с телеги и от живота, в две коротких очереди срезал из автомата этот живой факел – только стекла зазвенели в какой-то витрине. Огненный комок, кувыряясь, прокатился по тротуару, жалобно пискнул в последний раз и замер.

– Отмучился, бедняга, – сказал Стась хрипло, и Андрей наконец понял, что это был павиан, горящий павиан. Чуть какая-то... Теперь он лежал, свесившись с тротуара, продолжая медленно гореть, и тяжелый смрад распространялся от него по улице.

Дядя Юра снова тронул лошадь, телега покатилась, и Стась пошел рядом, положив руку на дощатый борт. Андрей, вытягивая шею,

смотрел вперед, в мерцающий, сделавшийся очень светлым и розовым туман. Да, что-то там происходило, что-то совершенно непонятное – какой-то вой доносился оттуда, стрельба, рокот моторов, и время от времени яркие малиновые вспышки возникали там и сейчас же гасли.

– Слышь, Стась, – сказал вдруг дядя Юра, не оборачиваясь. – Сбегай-ка, браток, вперед, глянь, что там делается. А я за тобой потихонечку-полегонечку...

– Ладно, – сказал Стась и, взяв свой чудо-автомат под мышку, трусцой побежал вперед, держась стены дома. Очень скоро его не стало видно в мерцающем тумане, а дядя Юра все придерживал и придерживал лошадь, пока она совсем не остановилась.

– Сядь поудобнее, – шепнула Сельма.

Андрей дернул плечом.

– Да ничего такого не было, – продолжала шептать Сельма. – Это же управляющий был, он по всем квартирам ходил, спрашивал, не прячет ли кто оружие...

– Замолчи, – сказал Андрей сквозь зубы.

– Честное слово, – шептала Сельма. – Он же только на одну минутку зашел, он уже уходит собирался...

– Так без штанов и собирался? – холодно осведомился Андрей, отчаянно пытаясь отогнать отвратительное воспоминание: он, обессиленно висая на дяде Юре и Стасе, смотрит в прихожей собственной квартиры на какого-то белоглазого коротышку, воровато запахивающего халат, из-под которого виднеются фланелевые кальсоны. И отвратительно невинное, пьяное лицо Сельмы из-за плеча коротышки. И как выражение невинности сменяется на этом лице испугом, а потом – отчаянием.

– Но он же так и ходил по квартирам – в халате! – шептала Сельма.

– Слушай, заткнись, – сказал Андрей. – Заткнись, ради бога. Я тебе не муж, ты мне не жена, какое мне до всего этого дело?..

– Но я же тебя люблю, хороший мой! – шептала Сельма с отчаянием. – Только одного тебя...

Дядя Юра гулко закашлялся.

– Едет кто-то, – произнес он.

В тумане впереди возник огромный темный силуэт, надвинулся, приближаясь, вспыхнули фары – это был грузовик, мощный самосвал. Клопоча мотором, он остановился шагах в двадцати от телеги. Послышался крикливый голос, подающий команды, какие-то люди полезли через борта и понуро разбрелись по мостовой. Хлопнула

дверца, еще одна темная фигура отделилась от грузовика, постояла немного, а потом неторопливо направилась прямо к телеге.

– Сюда идет, – сообщил дядя Юра. – Ты, это, Андрей... ты в разговоры не ввязывайся. Я говорить буду.

Человек подошел к телеге. Это был, видимо, так называемый милиционер в кургузом пальтишке с белыми повязками на рукавах. На плече у него, дулом вниз, висела винтовка.

– А, фермеры, – сказал милиционер. – Здорово, ребята.

– Здорово, если не шутишь, – откликнулся дядя Юра, помолчав.

Милиционер помялся, покрутил головой, как бы в нерешительности, потом сказал стеснительно:

– Хлебца на продажу нету?

– Хлебца тебе, – сказал дядя Юра.

– Ну, может, мясо есть, картошечка...

– Картошки тебе, – сказал дядя Юра.

Милиционер совсем застеснялся, шмыгнул носом, вздохнул, посмотрел в сторону своего грузовика и вдруг с каким-то облегчением заорал: «Да вон, вон еще валяется! Задницы слепые! Вон горелое лежит!», после чего сорвался с места и, шумно топая плоскостопными ногами, убежал по мостовой. Видно было, как он размахивает руками и распоряжается, а понурые люди, слабо и невнятно огрызаясь, волокут что-то темное, с натугой раскачивают и швыряют в ковш самосвала.

– Картошки ему, – ворчал дядя Юра. – Мяса!..

Грузовик тронулся и проехал мимо, совсем рядом. От него ужасно понесло паленой шерстью и горелым мясом. Ковш был загружен доверху, жуткие скрюченные силуэты проплыли на фоне слабо освещенной стены дома, и вдруг Андрей почувствовал, что у него мороз пошел по коже: из этой жуткой груды, явственно белея, торчала человеческая рука с растопыренными пальцами. Понурые люди в ковше, хватаясь друг за друга и за борта, толпились возле кабины. Их было человек пять-шесть, какие-то приличного вида люди в шляпах.

– Похоронная команда, – сказал дядя Юра. – Это правильно. Сейчас их на свалку, и – вся-кот... Эге, а вон и Стась нам машет! Н-но!

В освещенном тумане впереди виднелась длинная нескладная фигура Стася. Когда телега поравнялась с ним, дядя Юра вдруг наклонился с передка, взглядываясь, и почти с испугом спросил:

– Ты что это, браток? Что это с тобой?

Стась, не отвечая, попытался вспрыгнуть на телегу боком, сорвался, громко скрипнул зубами, потом взялся обеими руками за борт и принялся что-то бормотать сдавленным голосом.

– Что он? – спросила Сельма шепотом.

Телега медленно катилась туда, где все громче рокотали моторы и хлопали выстрелы, а Стась, держась руками за телегу, шел рядом, словно не в силах взобраться, пока дядя Юра, наклонившись, не втащил его на передок.

– Да ты что? – в голос, громко спросил дядя Юра. – Ехать-то можно? Да говори ты толком, что ты болбочешь?

– Мать божья, – сказал Стась ясным голосом. – Да зачем же они это делают? Это кто же такое приказал?

– Тпр-р-р! – сказал дядя Юра на весь город.

– Нет, ты ехай, ехай, – сказал Стась. – Ехать можно. Смотреть только не надо... Пани, – он повернулся к Сельме, – вам смотреть совсем не надо, отвернитесь, вон туда смотрите... а лучше вообще не смотрите.

У Андрея перехватило горло, он поглядел на Сельму и увидел ее расширенные, на все лицо глаза.

– Давай, Юра, давай... – бормотал Стась. – Да гони ты ее, стерву, что ты плетешься! Быстро ехай! – заорал он. – Вскачь! Вскачь!..

Лошадь помчалась вскачь, дома слева кончились, туман вдруг отступил, рассеялся, и открылся Павианий бульвар – источник шума, несомненно, находился здесь. Шеренга грузовиков с двигателями, работающими вхолостую, охватывала бульвар полукольцом. В грузовиках и между грузовиками стояли люди с белыми повязками, а по бульвару среди горящих деревьев и кустов бегали с воплями и визгами люди в полосатых пижамах и совершенно обезумевшие павианы. Все они спотыкались, падали, карабкались на деревья, срывались с ветвей, пытались спрятаться в кустах, а люди с белыми повязками стреляли, не переставая, из винтовок и пулеметов. Множество неподвижных тел усеивало бульвар, некоторые дымились и тлели. С одного из грузовиков с длинным шипением излилась огненная струя, клубящаяся черным дымом, и еще одно дерево, облепленное черными гроздьями обезьян, вспыхнуло огромным факелом. И кто-то завопил нестерпимо высоким фальцетом, перекрывая все шумы: «Я здоровый! Это ошибка! Я нормальный! Это ошибка!..»

Все это, трясясь и подпрыгивая, отдаваясь острой болью в ребрах, опалив жаром и обдав вонью, оглушив и ударив по глазам, пронеслось мимо и через минуту осталось позади, мерцающий туман вновь сомкнулся, но дядя Юра еще долго гнал лошадь, отчаянно гикая и размахивая вожжами. Это черт знает что, тупо твердил про себя Андрей, обессиленно привалившись к Сельме. Это же черт знает что такое! Они же сумасшедшие, они ополоумели от крови... Безумцы

овладели Городом, кровавые безумцы овладели, теперь всему конец, они же не останутся, они же потом возьмутся за нас...

Телега вдруг остановилась.

– Ну нет, – сказал дядя Юра, поворачиваясь всем телом. – Это дело надо того... – Он пошарил в телеге среди мешков, достал большую бутылку, зубами вытащил пробку, сплюнул и принялся глотать прямо из горлышка. Потом он передал бутылку Стасю, вытер рот и сказал: – Истребляете, значит... Эксперимент... Ладно. – Он достал из нагрудного кармана свернутую газету, аккуратно оторвал угол и полез за табаком. – Круто берете. Ох, круто! Крутенько!..

Стась протянул бутылку Андрею, Андрей помотал головой. Сельма взяла бутылку, отхлебнула два раза и вернула Стасю. Все молчали. Дядя Юра дымил и трещал сигаркой, бурчал горлом, как огромный пес, потом вдруг повернулся и разобрал вожжи.

До поворота на Стульчаковый оставался всего один квартал, когда туман впереди снова озарился светом и послышался нестройный шум многих голосов. На перекрестке, прямо посередине улицы, освещенная прожекторными лампами, кишела, гудела и колыхалась огромная толпа. Перекресток был забит, проехать было невозможно.

– Митинг какой-то, – сказал дядя Юра, обернувшись.

– Это уж как водится, – уныло согласился Стась. – Если уж взялись расстреливать, значит, тут же и митинги... Объехать никак нельзя?

– Погоди, браток, а зачем нам объезжать? – сказал дядя Юра. – Надо послушать, что люди говорят. Может, насчет солнца чего скажут... Гляди, здесь наших полно.

Гул затих, и над толпой, усиленный микрофонами, раздался надсадный яростный голос:

– ...И еще раз повторяю: беспощадно! Мы очистим Город!.. от грязи!.. от нечисти!.. от всех и всяческих тунеядцев!.. Воров – на фонарь!..

– А-а-а! – проревела толпа.

– Взятчиков – на фонарь!..

– А-а-а!

– Кто выступает против народа, будет висеть на фонаре!

– А-а-а!

Теперь Андрей разглядел говорившего. В самом центре толпы возвышался клепаный борт какой-то военной машины, а над бортом, вцепившись в него обеими руками, озаренный голубым светом прожектора, качался взад-вперед всем своим длинным, затянутым в черное туловищем и разевал в крике запекшийся рот бывший унтер-

офицер вермахта, а ныне руководитель партии Радикального возрождения Фридрих Гейгер.

– И это будет только начало! Мы установим в Городе наш, истинно народный, истинно человеческий порядок! Нам нет дела до всяких там Экспериментов! Мы не морские свинки! Мы не кролики! Мы – люди! Наше оружие – разум и совесть! Мы никому не позволим! Распоряжаться нашей судьбой! Мы сами распорядимся нашей судьбой! Судьба народа – в руках народа! Судьба людей – в руках людей! Народ доверил свою судьбу мне! Свои права! Свое будущее! И я клянусь! Я оправдаю это доверие!..

– А-а-а!

– Я буду беспощаден! Во имя народа! Я буду жесток! Во имя народа! Я не допущу никакой розни! Хватит борьбы между людьми! Никаких коммунистов! Никаких социалистов! Никаких капиталистов! Никаких фашистов! Хватит бороться друг с другом! Будем бороться друг ЗА друга!..

– А-а-а!

– Никаких партий! Никаких национальностей! Никаких классов! Каждого, кто проповедует рознь, – на фонарь!

– А-а-а!

– Если бедные будут продолжать драться против богатых! Если коммунисты будут продолжать драться против капиталистов! Если черные будут продолжать драться против белых! Нас растопчут! Нас уничтожат!.. Но если мы! Встанем плечом к плечу! Сжимая в руках оружие! Или отбойный молоток! Или рукоятки плуга! Тогда не найдется такой силы, которая могла бы нас сокрушить! Наше оружие – единство! Наше оружие – правда! Какой бы тяжелой она ни была! Да, нас заманили в ловушку! Но, клянусь богом, зверь слишком велик для этой ловушки!..

– А! – рывкнула было толпа и ошеломленно смолкла. Вспыхнуло солнце.

Впервые за двенадцать дней вспыхнуло солнце, запылало золотым диском на своем обычном месте, ослепило, обожгло серые выцветшие лица, нестерпимо засверкало в стеклах окон, оживило и зажгло миллионы красок – и черные дымы над дальними крышами, и пожухлую зелень деревьев, и красный кирпич под обвалившейся штукатуркой...

Толпа дико взревела, и Андрей завопил вместе со всеми. Творилось что-то невообразимое. Летели в воздух шапки, люди обнимались, плакали, кто-то принялся палить в воздух, кто-то в диком восторге швырял кирпичами в прожектора, а Фриц Гейгер, возвышаясь

над всем этим, как Господь Бог, сказавший «да будет свет», длинной черной рукой указывал на солнце, выкатив глаза и гордо задрал подбородок. Потом голос его снова возник над толпой.

– Вы видите?! Они уже испугались! Они дрожат перед вами! Перед нами! Поздно, господа! Поздно! Вы снова хотите захлопнуть ловушку? Но люди уже вырвались из нее! Никакой пощады врагам человечества! Спекулянтам! Тунеядцам! Расхитителям народного добра! Солнце снова с нами! Мы вырвали его из черных лап! Врагов человечества! И мы больше никогда! Не отдадим его! Никогда! И никому!..

– А-а-а!

Андрей опомнился. Стася в телеге не было. Дядя Юра, широко расставив ноги, стоял на передке, потрясал пулеметом и, судя по налившемуся кровью затылку, тоже ревел нечленораздельное. Сельма плакала, колотя Андрея кулачками по спине.

Ловко, холодно подумал Андрей. Тем хуже для нас. Чего я тут сижу? Мне бежать надо, а я сижу... Преодолевая боль в боку, он поднялся и выпрыгнул из телеги. Вокруг редела и шевелилась толпа. Андрей полез напролом. Первое время он еще берегся, пытался защититься локтями, да разве в такой каше уберешься!.. Покрытый потом от боли и подступающей тошноты, он лез, толкался, наступал на ноги, даже бодался и наконец выбрался-таки в Стульчаковый переулочек. И все это время вдогонку ему гремел голос Гейгера:

– Ненависть! Ненависть поведет нас! Хватит фальшивой любви! Хватит иудиных поцелуев! Предателей человечества! Я сам подаю пример святой ненависти! Я взорвал броневик кровавых жандармов! У вас на глазах! Я приказал повесить воров и гангстеров! У вас на глазах! Я железной метлой выметаю нечисть и нелюдей из нашего Города! У вас на глазах! Я не жалел себя! И я получил священное право не жалеть других!..

Андрей ткнулся в подъезд редакции. Дверь была заперта. Он злобно ударил в нее ногой, задребезжали стекла. Он принялся стучать изо всех сил, шепча ужасные ругательства. Дверь отворилась. На пороге стоял Наставник.

– Входи, – сказал он, посторонившись.

Андрей вошел. Наставник запер за ним дверь на засов и повернулся. Лицо у него было мучнисто-бледное, с темными кругами под глазами, и он то и дело облизывал губы. У Андрея сжалось сердце – никогда раньше он не видел Наставника в таком подавленном состоянии.

– Неужели все так плохо? – спросил Андрей упавшим голосом.

– Да уж... – Наставник бледно улыбнулся. – Уж чего тут хорошего.
– А солнце? – сказал Андрей. – Зачем вы его выключали?
Наставник стиснул руки и прошелся взад-вперед по вестибюлю.
– Да не выключали мы его! – проговорил он с тоской. – Авария.
Вне всякого плана. Никто не ожидал.
– Никто не ожидал... – повторил Андрей с горечью. Он стянул плащ и бросил его на пыльный диван. – Если б не выключилось солнце, ничего бы этого не было...
– Эксперимент вышел из-под контроля, – пробормотал Наставник, отвернувшись.
– Вышел из-под контроля... – снова повторил Андрей. – Вот уж никогда не думал, что Эксперимент может выйти из-под контроля.
Наставник посмотрел на него исподлобья.
– Н-ну... В известном смысле ты прав... Можно смотреть на это и таким образом... Вышедший из-под контроля Эксперимент – это тоже Эксперимент. Возможно, кое-что придется несколько изменить... заново откорректировать. Так что ретроспективно – ретроспективно! – эта тьма египетская будет рассматриваться уже как неотъемлемая, запрограммированная часть Эксперимента.
– Ретроспективно... – еще раз повторил Андрей. Глухая злоба охватила его. – А что вы теперь прикажете делать нам? Спасаться?
– Да. Спасаться. И спасти.
– Кого спасти?
– Всех, кого можно спасти. Все, что еще можно спасти. Ведь не может же быть, чтобы некого и нечего было спасти!
– Мы будем спасаться, а Фриц Гейгер будет проводить Эксперимент?
– Эксперимент остался Экспериментом, – возразил Наставник.
– Ну да, – сказал Андрей. – От павианов до Фрица Гейгера.
– Да. До Фрица Гейгера, и через Фрица Гейгера, и невзирая на Фрица Гейгера. Не пускать же из-за Фрица Гейгера пулю в лоб! Эксперимент должен продолжаться... Жизнь ведь продолжается, несмотря ни на какого Фрица Гейгера. Если ты разочаровался в Эксперименте, то подумай о борьбе за жизнь...
– О борьбе за существование, – криво усмехнувшись, проговорил Андрей. – Какая уж теперь жизнь!
– Это будет зависеть от вас.
– А от вас?
– От нас мало что зависит. Вас много, вы все здесь решаете, а не мы.
– Раньше вы говорили по-другому, – сказал Андрей.

– Раньше и ты был другой! – возразил Наставник. – И тоже говорил по-другому!

– Боюсь, что я свалил дурака, – медленно проговорил Андрей. – Боюсь, что я был просто глуп.

– Боишься ты не только этого, – с каким-то лукавством заметил Наставник.

У Андрея замерло сердце, как это бывает, когда падаешь во сне. И он грубо сказал:

– Да, боюсь. Всего боюсь. Пуганая ворона. Вас когда-нибудь били сапогом в промежность?.. – Новая мысль пришла ему в голову. – Да вы ведь и сами побаиваетесь? А?

– Конечно! Я же говорю тебе, что Эксперимент вышел из-под контроля...

– Э, бросьте! Эксперимент, Эксперимент... Не в Эксперименте дело. Сначала павианов, потом – нас, а потом и вас, так ведь?..

Наставник ничего не ответил. Самое ужасное заключалось в том, что Наставник не сказал на это ни слова. Андрей все ждал, но Наставник только молча бродил по вестибюлю, бессмысленно передвигал с места на место кресла, стирал рукавом пыль со столиков и даже не глядел на Андрея.

В дверь постучали – сначала кулаком, а потом сразу стали бить ногой. Андрей отодвинул засов – перед ним стояла Сельма.

– Ты меня бросил! – сказала она возмущенно. – Я еле пробились! Андрей стесненно оглянулся. Наставник исчез.

– Извини, – проговорил Андрей. – Мне было не до тебя.

Ему было трудно говорить. Он старался подавить в себе ужас от одиночества и ощущения незащитности. Он с дребезгом захлопнул дверь и торопливо задвинул засов.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Редакция была пуста. Видимо, сотрудники разбежались, когда началась пальба около мэрии. Андрей проходил по комнатам, равнодушно оглядывая разбросанные бумаги, опрокинутые стулья, неопрятную посуду с остатками бутербродов и чашки с остатками кофе. Из глубины редакции доносилась громкая бравурная музыка, это было странно. Сельма тащила следом, держа его за рукав. Она все говорила что-то, что-то сварливое, но Андрей ее не слушал. Зачем я сюда приперся, думал он. Все же удрали, дружно, как один, и правильно сделали, сидел бы сейчас дома, лежал бы в постели, гладил бы свой несчастный бок и дремал, и наплевать на все...

Он вошел в отдел городской хроники и увидел Изю.

Сначала он не понял, что это Изя. За дальним, в углу, столом, согнувшись над раскрытой подшивкой, стоял, упираясь широко расставленными руками, неряшливо, ступеньками остриженный посторонний человек в подозрительной серой хламиде без пуговиц, и только через мгновение, когда человек этот вдруг знакомо осклабился и принялся знакомым жестом щипать себя за бородавку на шее, Андрей понял, что перед ним Изя.

Некоторое время Андрей стоял в дверях и смотрел на него. Изя не слышал, как он вошел. Изя вообще ничего не слышал и не замечал – во-первых, он читал, а во-вторых, прямо у него над головой висел репродуктор, и оттуда неслись громовые бряцания победного марша. Потом Сельма ужасно завопила: «Да ведь это же Изя!» – и ринулась вперед, оттолкнув Андрея.

Изя быстро поднял голову и, ослабившись еще шире, распахнул руки.

– Ага! – заорал он радостно. – Явились!..

Пока он обнимался с Сельмой, пока звучно и с аппетитом чмокал ее в щеки и в губы, пока Сельма вопила что-то неразборчивое и восторженное и ерошила его уродливые волосы, Андрей приблизился к ним, стараясь побороть в себе острую мучительную неловкость. Режущее чувство вины и предательства, которое едва не свалило его с ног в то утро в подвале, за последний год притупилось и почти забылось, но сейчас снова пронзило его, и он, приблизившись, несколько секунд колебался, прежде чем рискнул протянуть руку. Он нашел бы совершенно естественным, если бы Изя не заметил этой его руки или даже сказал бы что-нибудь презрительное и уничтожающее – сам он наверняка поступил бы именно так. Но Изя, освободившись от объятий Сельмы, с жаром схватил его руку, пожал и с огромным интересом спросил:

– Где это тебя так разукрасили?

– Побили, – кратко ответил Андрей. Изя поразил его. Хотелось очень много ему сказать, но он спросил только: – А ты откуда здесь взялся?

Вместо ответа Изя перебрал несколько страниц подшивки и, преувеличенно жестикулируя, прочел с пафосом:

– «...Никакими доводами разума невозможно объяснить ту ярость, с которой правительственная пресса нападает на партию Радикального возрождения. Но если мы вспомним, что именно эрвисты – эта крошечная молодая организация – наиболее бескомпромиссно выступают против каждого случая коррупции...»

– Брось, – сморщившись сказал Андрей, но Изя только повысил голос:

– «...беззакония, административной глупости и беспомощности; если мы вспомним, что именно эрвисты подняли «дело вдовы Баттон»; если мы вспомним, что эрвисты первыми предупредили правительство о бесперспективности болотного налога...» Белинский! Писарев! Плеханов! Ты сам это сочинил или твои идиотики?

– Ладно, ладно... – сказал Андрей, уже раздражаясь, и попытался отнять у Изи подшивку.

– Нет, погоди! – кричал Изя, грозя пальцем и таща подшивку к себе. – Вот тут еще один перл!.. Где это? Вот. «Наш Город богат честными людьми, как и всякий город, населенный тружениками. Однако если говорить о политических группировках, то разве что лишь Фриц Гейгер может претендовать на высокое звание...»

– Хватит! – заорал Андрей, но Изя вырвал у него подшивку, забежал за ликующую Сельму и, шипя и брызгаясь, продолжал оттуда:

– «...Не будем говорить о речах, будем говорить о делах! Фридрих Гейгер отказался от поста министра информации; Фридрих Гейгер голосовал против закона, предусматривающего крупные льготы для заслуженных деятелей прокуратуры; Фридрих Гейгер был единственным видным деятелем, возражающим против создания регулярной армии, в которой ему предлагалась высокая должность...» – Изя зашвырнул подшивку под стол и принялся потирать руки. – Ты всегда был потрясающим ослом в политике! Но за эти последние месяцы ты поглупел просто катастрофически. Поделом тебе начистили чайник! Глаз-то хоть цел?

– Глаз цел, – медленно сказал Андрей. Он только сейчас заметил, что Изя как-то неловко двигает левой рукой и три пальца на этой руке у него не сгибаются вовсе.

– Да выключи ты его к чертовой матери! – заорал Кэнси, появляясь в дверях. – А, Андрей, ты уже здесь... Это хорошо. Здравствуй, Сельма! – Он стремительно пересек комнату и вырвал вилку репродуктора из розетки.

– Зачем? – закричал Изя. – Я хочу слышать речи моих вождей! Пусть гремят боевые марши!..

Кэнси только бешено глянул на него.

– Андрей, пойдем, я тебе расскажу, что мы сделали, – сказал он. – И нужно подумать, что делать дальше.

Лицо и руки его были покрыты копотью. Он устремился в глубь редакции, и Андрей пошел за ним. Только сейчас он почувствовал,

что в помещениях основательно попахивает горелой бумагой. Изя с Сельмой шли позади.

– Всеобщая амнистия! – шипя и булькая, повествовал Изя. – Великий вождь открыл двери узилищ! Ему понадобилось место для других заключенных... – Он заухал и застонал. – Всех уголовников выпустили до единого, а я ведь, как известно, уголовник! Даже бессрочников выпустили...

– Худой стал, – говорила Сельма с жалостью. – Все на тебе висит, облезлый ты сделался какой-то...

– Так ведь последние дни – три дня – ни жрать не давали, ни умываться...

– Так ты, наверное, есть хочешь?

– Да нет, ни черта, я тут нажрался...

Они вошли в кабинет Андрея. Здесь стояла ужасающая жара. Солнце било прямо в стекла, и жарко пылал камин. Перед камином сидела на корточках шлюшка-секретарша, тоже чумазая, как и Кэнси, и старательно ворочала кочергой в груди горящей бумаги. Все в кабинете было покрыто копотью и черными клочьями бумажного пепла.

Увидев Андрея, секретарша вскочила и улыбнулась ему испуганно и заискивающе. Вот уж не ожидал, что она останется, подумал Андрей. Он сел за свой стол и виновато, через силу, покивал ей и улыбнулся в ответ.

– ...Списки всех спецкоров, списки и адреса членов редколлегии, – деловито перечислял Кэнси. – Оригиналы всех политических статей, оригиналы еженедельных обзоров...

– Статьи Дюпена надо сжечь, – сказал Андрей. – Он у нас был главный антиэрвист, по-моему...

– Уже сжег, – нетерпеливо сказал Кэнси. – И Дюпена, и на всякий случай Филимонова...

– Что вы суетитесь? – сказал Изя весело. – Да ведь вас на руках носить будут!

– Это как сказать, – мрачно проговорил Андрей.

– Да чего там «как сказать»? Хочешь пари? На сто щелбанов!

– Да подожди, Изя! – сказал Кэнси. – Заткнись ты, ради бога, хоть на десять минут!.. Всю переписку с мэрией я уничтожил, а переписку с Гейгером пока оставил...

– Протоколы редколлегии! – спохватился Андрей. – За прошлый месяц...

Он торопливо полез в нижний ящик стола, достал папку и протянул ее Кэнси. Тот, скривившись, перебрал несколько листов.

– Да-а-а... – сказал он, качая головой. – Это я забыл... Вот как раз выступление Дюпена... – Он шагнул к камину и швырнул папку в огонь. – Перемешивайте, перемешивайте! – раздраженно приказал он секретарше, которая слушала начальство, приоткрывши рот.

В дверях появился заведующий отделом писем, потный и очень возбужденный. На руках перед собой он тащил кипу каких-то папок, прижимая их сверху подбородком.

– Вот... – пропыхтел он, с грохотом сваливая кипу возле камина. – Тут какие-то социологические опросы, я даже разбираться не стал... Вижу – фамилии, адреса... Господи, шеф, что с вами?

– Привет, Денни, – сказал Андрей. – Спасибо, что вы остались.

– Глаз цел? – спросил Денни, вытирая со лба пот.

– Цел, цел... – успокоил его Изя. – Вы все не то уничтожаете, – объявил он. – Вас ведь никто не тронет: вы – желтоватая оппозиционная либеральная газетка. Вы просто перестанете быть оппозиционными и либеральными...

– Изя, – сказал Кэнси. – Я тебя в последний раз прошу: перестань трепаться, иначе я тебя выкину вон.

– Да не треплюсь я! – сказал Изя с досадой. – Дай кончить! Вы письма, письма уничтожайте! Вам же писали, наверное, умные люди...

Кэнси воззрился на него.

– Ч-черт! – прошипел он и выскочил из кабинета. Денни устремился следом, продолжая на ходу вытирать лицо и шею.

– Ничего не понимаете! – сказал Изя. – Вы же тут все – кретины. А опасность грозит только умным людям.

– Что кретины – то кретины... – сказал Андрей. – Это ты прав.

– Ага! Умнеешь! – воскликнул Изя, размахивая искалеченной рукой. – Зря. Это опасно! Вот в этом-то и заключается вся трагедия. Сейчас очень много людей поумнеет, но поумнеет недостаточно. Они не успеют понять, что сейчас надо как раз притворяться дурачком...

Андрей посмотрел на Сельму. Сельма глядела на Изю с восторгом. И секретарша тоже глядела на Изю с восторгом. А Изя стоял, расставив ноги в тюремных башмаках, небритый, грязный, расхлюстанный, рубашка из штанов вылезла, на ширинке не хватало пуговиц, – стоял во всей своей красе, такой же, как всегда, нисколько не изменившийся, – и разглагольствовал, и поучал. Андрей вылез из-за стола, подошел к камину, присел рядом с секретаршей и, отобрав у нее кофемолку, принялся ворошить и перекапывать неохотно горящую бумагу.

– ...А поэтому, – поучал Изя, – уничтожать надо вовсе не просто те бумаги, где ругают нашего вождя. Ругать тоже можно по-разному. Уничтожать же надо бумаги, написанные умными людьми!..

В кабинет просунулся Кэнси и крикнул:

– Слушайте, помог бы кто-нибудь... Девочки, что вы здесь зря око-лачиваетесь, а ну идите за мной!

Секретарша сейчас же вскочила и, на ходу поправляя перекрутив-шуюся юбочку, выбежала вон. Сельма постояла, словно ожидая, что ее остановят, потом вдавила окурок в пепельницу и тоже вышла.

– ...А вас никто не тронет! – продолжал разглагольствовать Изя, ничего не видя и не слыша, как глухарь на току. – Вас еще поблагода-рят, подбросят вам бумаги, чтобы вы повысили тираж, повысят вам оклады и расширят штат... И только потом, если вам вздумается вдруг брыкаться, только тогда вас возьмут за штаны и уж тут несомненно припомнят вам все – и вашего Дюпена, и вашего Филимонова, и все ваши либерально-оппозиционные бредни... Но только зачем вам брыкаться? Вы и не подумаете брыкаться, наоборот!..

– Изя, – сказал Андрей, глядя в огонь. – Почему ты тогда не сказал мне, что у тебя было в папке?

– Что?.. В какой папке?.. Ах, в той...

Изя вдруг как-то сразу притих, подошел к камину и присел рядом с Андреем на корточки. Некоторое время они молчали. Потом Андрей сказал:

– Конечно, я был тогда ослом. Полнейшим болваном. Но ведь сплетником-то и трепачом я уж никак не был. Это уж ты должен был тогда понять...

– Во-первых, ты не был болваном, – сказал Изя. – Ты был хуже. Ты был оболваненный. С тобой ведь по-человечески разговаривать было нельзя. Я знаю, я ведь и сам долгое время был таким... А потом – при чем тут сплетни? Такие вещи, согласишься, простым гражданам знать ни к чему. Этак все, к чертовой матери, вразнос может пойти...

– Что? – сказал Андрей растерянно. – Из-за твоих любовных записочек?..

– Каких любовных записочек?

Некоторое время они изумленно глядели друг другу в глаза. По-том Изя осклабился:

– Господи, ну конечно же... С чего это я взял, что он тебе все это расскажет? Зачем это ему – рассказывать? Он же у нас орел, вождь! Кто владеет информацией, тот владеет миром, – это он хорошо у меня усвоил!..

– Ничего не понимаю, – пробормотал Андрей почти с отчаянием. Он чувствовал, что сейчас узнает еще что-то мерзкое об этом и без того мерзком деле. – О чем ты говоришь? Кто – он? Гейгер?

– Гейгер, Гейгер, – покивал Изя. – Наш великий Фриц... Значит, любовные записочки были у меня в папке? Или, может быть, компрометирующие фотографии? Ревнивая вдова и бабник Кацман... Правильно, такой протокол я тоже им подписал...

Изя, кряхтя, поднялся и принялся ходить по кабинету, потирая руки и хихикая.

– Да, – сказал Андрей. – Так он мне и сказал. Ревнивая вдова. Значит, это было вранье?

– Ну конечно, а ты как думал?

– Я поверил, – сказал Андрей коротко. Он стиснул зубы и с остервенением заворочал кочергой в камине. – А что там было на самом деле? – спросил он.

Изя молчал. Андрей оглянулся. Изя стоял, медленно потирая руки, и с застывшей улыбкой глядел на него остекленевшими глазами.

– Интересно получается... – проговорил он неуверенно. – Может, он просто забыл? То есть не то, чтобы забыл... – Он вдруг сорвался с места и снова присел на корточки рядом с Андреем. – Слушай, я тебе ничего не скажу, понял? И если тебя спросят, то так и отвечай: ничего не сказал, отказался. Сказал только, что дело касается одной большой тайны Эксперимента, сказал, что опасно эту тайну знать. И еще показал несколько запечатанных конвертов и, подмигивая, объяснил, что конверты эти раздаст верным людям и что конверты эти будут вскрыты в случае его, Кацмана, ареста или, скажем, неожиданной кончины. Понимаешь? Имен верных людей не назвал. Вот так и скажешь, если спросят.

– Хорошо, – медленно сказал Андрей, глядя в огонь.

– Это будет правильно... – проговорил Изя, тоже глядя в огонь. – Только вот если тебя бить будут... Румер – это, знаешь, сволочь какая... – Его передернуло. – А может, и не спросит никто. Не знаю. Это все надо обдумать. Так, сразу, и необразишь.

Он замолчал. Андрей все размешивал жаркую, переливающуюся красными огоньками кучу, и через некоторое время Изя снова принялся подбрасывать в камин пачки бумаг.

– Сами папки не бросай, – сказал Андрей. – Видишь, плохо горят... А ты не боишься, что ту папку найдут?

– А чего мне бояться? – сказал Изя. – Это Гейгер пусть боится... Да и не найдут ее теперь, если сразу не нашли. Я ее в люк бросил, а потом

все гадал: попал или промахнулся... А за что тебе вломили? Ты же, по моему, с Фрицем в прекрасных отношениях...

– Это не Фриц, – сказал Андрей неохотно. – Просто не повезло.

В комнату с шумом ввалились женщины и Кэнси – они тащили на растянутом плаще целую грудку писем. За ними, по-прежнему вытираясь, шел Денни.

– Ну, теперь, кажется, все, – сказал он. – Или вы еще тут что-нибудь придумали?

– Ну-ка, подвиньтесь! – потребовал Кэнси.

Плащ был положен у камина, и все принялись кидать письма в огонь. В камине сразу загудело. Изя запустил здоровую руку в недра этой кучи разноцветной исписанной бумаги, извлек какое-то письмо и, заранее ослабляясь, принялся жадно читать.

– Кто это сказал, что рукописи не горят? – отдуваясь, проговорил Денни. Он уселся за стол и закурил сигарету. – Прекрасно горят, по моему... Ну и жара. Окна открыть, что ли?

Секретарша вдруг пискнула, вскочила и выбежала вон, приговаривая: «Забыла, совсем забыла!..»

– Как ее зовут? – торопливо спросил Андрей у Кэнси.

– Амалия! – буркнул Кэнси. – Сто раз тебе говорил... Слушай, я сейчас Дюпену позвонил...

– Ну?

Вернулась секретарша с охапкой блокнотов.

– Это всё – ваши распоряжения, шеф, – пропищала она. – Я совсем про них забыла. Тоже, наверное, надо сжечь?

– Конечно, Амалия, – сказал Андрей. – Спасибо, что вспомнили. Сжигайте, Амалия, сжигайте... Так что Дюпен?

– Я хотел его предупредить, – сказал Кэнси, – что все в порядке, все следы уничтожены. А он страшно удивился, какие следы? Разве он что-нибудь такое писал? Он только что закончил подробную корреспонденцию о героическом штурме мэрии, а сейчас работает над обзором: «Фридрих Гейгер и народ».

– Сука, – сказал Андрей вяло. – Впрочем, все мы суки...

– Говори за себя, когда говоришь такие вещи! – огрызнулся Кэнси.

– Ну, извини, – вяло сказал Андрей. – Ну, не все суки. Большинство.

Изя вдруг захихикал.

– Вот пожалуйста – умный человек! – провозгласил он, потрясая листочком. – «Совершенно очевидно, – процитировал он, – что люди, подобные Фридриху Гейгеру, ждут только какой-нибудь большой беды, пусть даже кратковременного, но чувствительного нарушения

равновесия, чтобы развязать страсти и на волне смуты выскочить на поверхность...» Кто это пишет? – Он посмотрел на обороте. – А, ну еще бы!.. В огонь, в огонь! – Он скомкал листок и швырнул в камин.

– Слушай, Андрей, – сказал Кэнси. – Не пора ли подумать о будущем?

– А чего о нем думать, – проворчал Андрей, орудуя кочергой. – Проживем как-нибудь, перетопчемся...

– Я не о нашем будущем говорю! – сказал Кэнси. – Я говорю о будущем газеты, о будущем Эксперимента!..

Андрей посмотрел на него с удивлением. Кэнси был такой же, как всегда. Словно ничего не произошло. Словно ничего вообще не происходило за последние тошнотные месяцы. Он даже казался еще более готовым к драке, чем обычно. Хоть сейчас в драку – во имя законности и идеалов. Как взведенный курок. А может быть, с ним действительно ничего не происходило?..

– Ты говорил со своим Наставником? – спросил Андрей.

– Говорил, – ответил Кэнси с вызовом.

– Ну и что? – спросил Андрей, преодолевая обычную неловкость, как всегда, при разговоре о Наставниках.

– Это никого не касается и не имеет никакого значения. При чем здесь Наставники? У Гейгера тоже есть Наставник. У каждого бандита в Городе есть Наставник. Это не мешает каждому думать собственной головой.

Андрей вытащил из пачки сигарету, размял и, щурясь от жара, прикурил от раскаленной кочерги.

– Надоело мне все, – сказал он тихо.

– Что тебе надоело?

– Да все... По-моему, бежать нам надо отсюда, Кэнси. Ну их всех к черту.

– Как это – бежать? Ты что это?

– Надо сниматься, пока не поздно, и мотать на болота, к дяде Юре, подальше от всего этого кабака. Эксперимент вышел из-под контроля, мы с тобой вернуть его под контроль не можем, а значит, нечего и рыпаться. На болотах у нас, по крайней мере, будет оружие, у нас будет сила...

– Ни на какие болота я не поеду! – объявила вдруг Сельма.

– А тебе никто и не предлагает, – сказал Андрей, не оборачиваясь.

– Андрей, – сказал Кэнси. – Это же дезертирство.

– По-твоему – дезертирство, а по-моему – разумный маневр. И вообще как хочешь. Ты меня спросил, что я думаю о будущем, я тебе отвечаю: здесь мне делать нечего. Редакцию все равно разгонят, а нас

пошлют дохлых павианов убирать. Под конвоем. И это еще в лучшем случае...

– А вот еще один умный человек! – провозгласил Изя с восхищением. – Слушайте: «Я – старый подписчик вашей газеты, и я, в общем и целом, одобряю ее курс. Но почему вы постоянно выступаете в защиту Ф.Гейгера? Может быть, вы недостаточно информированы? Я совершенно точно знаю, что Гейгер имеет досье на всех сколько-нибудь заметных лиц в Городе. Его люди пронизывают весь муниципальный аппарат. Вероятно, они есть и в вашей газете. Уверяю вас, эрвистов совсем не так мало, как вы думаете. Мне известно, что у них есть и оружие...» – Изя посмотрел на оборот письма. – Ах, вот это кто... «Имени моего прощу не публиковать...» В огонь, в огонь!

– Можно подумать, что ты знаешь в городе всех умных людей, – сказал Андрей.

– Между прочим, их не так уж и много, – возразил Изя, снова запуская руку в бумажную кучу. – Я уж не говорю о том, что умные люди редко пишут в газеты.

Наступило молчание. Денни, накурившись всласть, тоже подобрался к камину и принялся бросать бумагу в огонь большими охапками.

– Ворочайте, ворочайте, шеф! – сказал он. – Больше жизни! Дайте-ка мне кочергу...

– По-моему, это просто трусость – удирать сейчас из города, – сказала Сельма с вызовом.

– Сейчас каждый честный человек на счету, – подхватил Кэнси. – Если мы уйдем, кто же останется? Дюпенам прикажешь отдать газету?

– Ты останешься, – сказал Андрей устало. – Сельму вот можешь взять в газету... или Изю...

– Ты же хорошо знаком с Гейгером, – прервал его Кэнси. – Ты мог бы использовать свое влияние...

– Нет у меня на него никакого влияния, – сказал Андрей. – А если и есть, то не хочу я его использовать. Я таких вещей не умею и не терплю.

И снова все замолчали, только гудело пламя в каминной трубе.

– Хоть бы они ехали скорее, что ли, – проворчал Денни, бросая в огонь последнюю кипу писем. – Выпить хочется – сил нет, а выпить нечего...

– Они так сразу не приедут, – немедленно возразил Изя. – Они сначала позвонят! – Он швырнул в камин письмо, которое читал, и прошелся по кабинету. – Вы этого, Денни, не знаете и не понимаете.

Это ритуал! Процедура, отработанная в трех странах, отработанная до тонкости, проверенная... Девочки, а нет ли здесь чего-нибудь по-жрать? – спросил он вдруг.

Тощая Амалия немедленно вскочила и с писком: «Сейчас, сейчас!..» исчезла в приемной.

– Кстати, – ни с того ни с сего вспомнил Андрей. – А где цензор?

– Он очень хотел остаться, – сказал Денни. – Но господин Убуката выпихнул его вон. Он ужасно кричал, этот цензор. «Куда я пойду? – кричал он. – Вы меня убиваете!» Пришлось даже дверь запереть на засов, чтобы не пускать его. Сначала он бился всем телом, а потом отчаялся и ушел... Слушайте, я все-таки открою окно. Сил моих нет, как жарко...

Вернулась секретарша и, застенчиво улыбаясь бледными, без косметики, губами, вручила Изе бумажный промасленный пакет с какими-то пирожками.

– М-м! – вскричал Изя и сейчас же принялся чавкать.

– Ребра болят? – тихонько спросила Сельма, наклонившись к уху Андрея.

– Нет, – сказал Андрей коротко, поднялся и, отстранив ее, подошел к столу. И в этот момент зазвонил телефон. Все повернули головы и уставились на белый аппарат. Телефон звонил.

– Ну, Андрей! – нетерпеливо сказал Кэнси.

Андрей поднял трубку.

– Да.

– Редакция «Городской газеты»? – осведомился деловой голос.

– Да, – сказал Андрей.

– Господина Воронина попрошу.

– Я.

В трубку подышали, затем раздались гудки отбоя. С сильно бьющимся сердцем Андрей осторожно положил трубку.

– Это они, – сказал он.

Изя прочавкал что-то неразборчивое, ожесточенно кивая головой. Андрей сел. Все смотрели на него – напряженно улыбающийся Денни, насупленный и взъерошенный Кэнси, жалко-испуганная Амалия и бледная подобрывшаяся Сельма. И Изя смотрел на него, жуя и осклабясь, вытирая замасленные пальцы о полы куртки.

– Ну, чего вы уставились? – раздраженно сказал Андрей. – А ну, мотайте все отсюда.

Никто не двинулся с места.

– Чего ты волнуешься? – сказал Изя, рассматривая последний пирожок. – Все будет тихо-мирно, как говорит дядя Юра. Тихо-мирно,

честно-благородно... Только не надо делать резких движений. Это как с кобрами...

За окном послышалось тарахтение автомобильного двигателя, скрип тормозов, пронзительный голос скомандовал: «Кайзер, Величенко, за мной! Минович, оставаться здесь!..» – и сейчас же в дверь внизу ударили кулаком.

– Я пойду открою, – сказал Денни, а Кэнси подскочил к камину и принялся изо всех сил ворошить груды дымящейся золы. Пепел полетел по всей комнате.

– Резких движений не делайте! – крикнул Изя вслед Денни.

Дверь внизу содрогалась и жалобно дребезжала стеклами. Андрей поднялся, заложил руки за спину и, стиснув их изо всех сил, встал посередине комнаты. Давешнее ощущение дурного томления и слабости в ногах снова охватило его. Стук и грохот внизу прекратились, слышались недовольные голоса, а затем множество ног затопотало в пустых помещениях.словно их там целый батальон, мелькнуло в голове у Андрея. Он попятился и оперся задом о стол. Колени у него отвратительно дрожали. Бить не позволю, подумал он с отчаянием. Пусть лучше убивают. Пистолет я не взял... Зря не взял... А может, правильно, что не взял?..

В дверь прямо напротив него решительно шагнул полный невысокий человек в хорошем пальто с белыми повязками на рукавах и в огромном берете с каким-то значком. На ногах у него были великолепно начищенные сапоги, а пальто было слабо и очень некрасиво стянуто широким ремнем, на котором слева тяжело отвисала новенькая желтая кобура. За ним ввалились еще какие-то люди, но Андрей их не видел. Он как зачарованный смотрел в одутловатое бледное лицо с расплывчатыми чертами и с маленькими закисшими глазками. Конъюнктивит у него, что ли, подумалось где-то на самом краю сознания. И выбит так, что вроде бы даже блестит, как лакированный...

Человек в берете быстро оглядел комнату и уставился прямо на Андрея.

– Господин Воронин? – с вопросительной интонацией провозгласил он высоким пронзительным голосом.

– Я, – с трудом выдавил из себя Андрей, обеими руками вцепившись в край стола.

– Главный редактор «Городской газеты»?

– Да.

Человек в берете умело, но небрежно откозырял двумя пальцами.

– Имею честь, господин Воронин, – высокопарно произнес он, – вручить вам личное послание президента Фридриха Гейгера!

Очевидно, он намеревался ловким движением выхватить личное послание из-за пазухи, но что-то там за что-то зацепилось, и ему пришлось довольно долго копаться в недрах своего пальто, слегка перекосившись на правый бок с таким видом, словно его одолевали насекомые. Андрей смотрел на него обреченно и ничего не понимал – все было как-то не так. Не этого он ожидал. А может быть, пронесет, мелькнуло у него в голове, но он сейчас же суеверно отогнал эту мысль.

Наконец послание было извлечено, и человек в берете протянул его Андрею с недовольным и несколько обиженным видом. Андрей взял хрустнувший запечатанный конверт. Это был обыкновенный почтовый конверт, длинный, голубоватого цвета, со стилизованным изображением сердца, украшенного птичьими крылышками. Знакомым крупным почерком на конверте было написано: «Главному редактору «Городской газеты» Андрею Воронину лично, конфиденциально. Ф.Гейгер, президент». Андрей надорвал конверт и вытащил обыкновенный листок почтовой бумаги с синим обрезом.

«Милый Андрей! Прежде всего позволь от всего сердца поблагодарить тебя за ту помощь и поддержку, которые я непрерывно чувствовал со стороны твоей газеты на протяжении последних решающих месяцев. Теперь, как видишь, ситуация в корне переменилась. Уверен, что новая терминология и некоторые неизбежные эксцессы не смутят тебя: слова и средства переменились, но цели остались прежними. Бери газету в свои руки – ты назначен ее бессменным и полномочным главным редактором и издателем. Набирай себе сотрудников по собственному выбору, расширяй штат, требуй новые типографские мощности – даю тебе полный карт-бланш. Податель сего письма – младший адъютант Раймонд Цвирик – назначен в твою газету политическим представителем моего управления информации. Мужик он, как ты сам убедишься, невеликого ума, но дело свое знает хорошо и, особенно на первых порах, поможет тебе войти в курс общей политики. В случае возможных конфликтов обращайся, разумеется, непосредственно ко мне. Желаю успеха. Покажем этим слюнявым либералам, как надо работать. Дружески, твой Фриц».

Андрей прочитал личное и конфиденциальное послание дважды, потом опустил руку с письмом и огляделся. Опять все смотрели на него – бледные, решительные, напряженные. Только Изя сиял, как начищенный самовар, и тайком от окружающих отпускал в пространство воображаемые щелбаны. Младший адъютант (что бы это могло значить, черт побери, слово какое-то знакомое... адъютант,

коадьютор... что-то из истории... или из «Трех мушкетеров»), младший адьютор Раймонд Цвирик тоже смотрел на него – смотрел строго, но покровительственно. А у дверей переминались с ноги на ногу и опять же смотрели на него какие-то непонятные типы с карабинами и белыми повязками на руках.

– Так... – проговорил Андрей, складывая письмо и пряча его в конверт. Он не знал, с чего начать.

Тогда начал младший адьютор:

– Это ваши сотрудники, господин Воронин? – деловито осведомился он, слегка поведя рукой из стороны в сторону.

– Да, – сказал Андрей.

– Гм... – с сомнением произнес господин Раймонд Цвирик, глядя в упор на Изю, но тут Кэнси вдруг резко спросил его:

– А кто вы, собственно, такой?

Господин Раймонд Цвирик взглянул на него, а затем изумленно повернулся к Андрею. Андрей прокашлялся.

– Господа, – проговорил он. – Позвольте вам представить: господин Цвирик, младший коадьютор...

– Адьютор! – с негодованием поправил Цвирик.

– Что?.. Ах да, адьютор. Не коадьютор, а просто адьютор... (Сельма вдруг ни с того ни с сего прыснула и зажала себе рот ладошкой.) Младший адьютор, политический представитель в нашей газете. Отныне.

– Представитель чего? – непримиримо спросил Кэнси.

Андрей полез было снова в конверт, но Цвирик еще более негодующим тоном объявил:

– Политический представитель управления информации!

– Ваши документы! – резко сказал Кэнси.

– Что?! – Закишие глазки господина Цвирика возмущенно замигали.

– Документы, полномочия – есть у вас что-нибудь, кроме вашей дурацкой кобуры?

– Кто это?! – пронзительно вскричал господин Цвирик, снова поворачиваясь к Андрею. – Кто этот человек?!

– Это господин Кэнси Убуката, – торопливо сказал Андрей. – Заместитель главного редактора... Кэнси, не надо никаких полномочий. Он же передал мне письмо от Фрица...

– Какого еще Фрица? – сказал Кэнси брезгливо. – При чем здесь какой-то Фриц?

– Резких движений! – воззвал Изю. – Умоляю вас, не делайте резких движений!

Цвирик вертел головой между Изей и Кэнси. Лицо его уже больше не лоснилось, оно медленно заливалось багровым.

– Я вижу, господин Воронин, – произнес он наконец, – ваши сотрудники не очень хорошо представляют себе, что именно произошло сегодня!.. Или наоборот! – Он все возвышал голос. – Представляют, но в каком-то странном, извращенном свете! Я вижу здесь горелую бумагу, я вижу угрюмые лица, и я не вижу никакой готовности приступить к работе. В час, когда весь Город, весь наш народ...

– А это кто? – перебил его Кэнси, указывая на типов с карабинами. – Это что, новые сотрудники?

– Представьте себе – да! Господин БЫВШИЙ заместитель главного редактора! Это новые сотрудники. Я не могу вам обещать, что они...

– Это мы еще посмотрим, – незнакомым скрипучим голосом произнес Кэнси и шагнул к Цвирику. – На каком основании...

– Кэнси! – сказал Андрей беспомощно.

– На каком основании вы здесь испаряетесь? – продолжал Кэнси, не обращая на Андрея никакого внимания. – Кто вы такой? Как вы смеее так себя вести? Почему вы не предъявляете документы? Вы просто вооруженные бандиты, которые проникли сюда с целью ограбления!..

– Заткнись, желтожопый! – дико завопил вдруг Цвирик, хватаясь за кобуру.

Андрей качнулся вперед, чтобы стать между ними, но тут его сильно толкнули в плечо, и перед Цвириком оказалась Сельма.

– Как ты смеешь выражаться при женщинах, сволочь! – заорала она. – Зараза ты толстожопая! Бандюга!

Андрей совсем потерялся. Разом ужасно закричали и Цвирик, и Кэнси, и Сельма. Мельком Андрей заметил, что типы в дверях, неуверенно переглядываясь, стали брать карабины на изготовку, а возле них вдруг оказался Денни Ли, держа за ножку тяжелый редакторский табурет с железным сиденьем, но страшнее и невероятнее всех была шлюшка Амалия, которая, как-то хищно сгорбившись и выставив длинные белые зубы, очень жуткие на осунувшемся, как у мертвой, лице, крадучись подбиралась к Цвирику, заноса над своим правым плечом, словно клюшку для гольфа, дымящуюся кочергу... «Я тебя, сук-киного сына, запомнил! – неистово кричал Кэнси. – Ты деньги для школ разворовывал, стервец, а теперь в коадьюторы вылез?!» – «Я вас всех с дерьмом смешаю! Дерьмо у меня будете жрать! Враги человечества!..» – «Молчи, б...ская харя! Молчи, пока цел!..» – «Резких движений! Умоляю!..» Андрей, как зачарованный, не в силах

пошевелиться, следил за вздымающейся кочергой. Он чувствовал, он знал, что сейчас произойдет ужасное и непоправимое, и это ужасное уже не остановить.

– На фонарь вас! – налившись кровью, дико вопил младший адъютант, размахивая огромным автоматическим пистолетом. За всем этим гамом и шумом он успел как-то вытащить свой пистолет и теперь бестолково им размахивал и беспрерывно пронзительно орал, и тут Кэнси подскочил к нему, схватил за отвороты пальто, а он стал отпихиваться обеими руками, и вдруг грянул выстрел и сразу же другой и третий. Бесшумно мелькнула в воздухе кочерга, и все замерли.

Цвирик один стоял посредине кабинета, лицо его из багрового быстро делалось серым. Одной рукой он потирал ушибленное кочергой плечо, другая, трясущаяся, все еще была вытянута вперед. Пистолет валялся на полу. Типы в дверях, одинаково разинув рты, стояли с опущенными карабинами.

– Я не хотел... – дребезжащим голосом произнес Цвирик.

Громко ударился об пол выпавший из руки Денни табурет, и только тогда Андрей понял, куда все смотрят. Все смотрели на Кэнси, который как-то странно, медленно-медленно, закидывался назад, прижимая обе ладони к нижней части груди.

– Я не хотел... – повторял Цвирик плачущим голосом. – Видит бог, я не хотел!..

Ноги у Кэнси подломились, и он мягко, почти беззвучно повалился около камина в кучу пепла и золы и, издавши невнятный мучительный звук, с трудом подтянул колени к животу.

И тогда Сельма, страшно вскрикнув, впилась ногтями в толстое, лоснящееся, грязно-белое лицо Цвирика, а все остальные с топотом кинулись к лежащему, заслонили его, сгрудились над ним, а потом Изя выпрямился, повернул к Андрею неестественно перекошенное, с удивленно задранными бровями лицо и пробормотал:

– Он мертвый... Убит...

Грянул телефонный звонок. Ничего не соображая, Андрей, как во сне, протянул руку и взял трубку.

– Андрей? Андрей! – Это был Отто Фрижа. – Ты жив-здоров? Слава богу, я так за тебя беспокоился! Ну, теперь все будет хорошо. Теперь Фриц, если что, нас в обиду не даст...

Он говорил еще что-то – про колбасу, про масло, – Андрей больше его не слушал.

Сельма, сидя на корточках и обхватив голову руками, плакала навзрыд, а младший адъютант Раймонд Цвирик, размазывая по серым

щекам кровь из сочащихся глубоких царапин, все повторял и повторял, как испорченный механизм:

– Я не хотел... Клянусь богом, я не хотел...

Часть четвертая **ГОСПОДИН СОВЕТНИК**

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вода лилась тепловатая и гнусная на вкус. Воронка душа была расположена неестественно высоко, рукой не достать, и вялые струи поливали все что угодно, только не то, что нужно. Сток, по обыкновению, забило, и под ногами поверх решетки хлюпало. И вообще было отвратительно, что приходится ждать. Андрей прислушался: в раздевалке все еще бубнили и галдели. Кажется, поминалось его имя. Андрей скривился и принялся двигать спиной, стараясь поймать струю на хребет, – поскользнулся, схватился за шершавую бетонную стенку, выругался вполголоса. Черт бы их всех драл, могли бы все-таки догадаться – устроить отдельную душевую для правительственных сотрудников. Торчи тут теперь, как корень...

На двери перед самым носом было нацарапано: «Посмотри направо», Андрей машинально посмотрел направо. Там было нацарапано: «Посмотри назад». Андрей спохватился. Знаем, знаем, в школе еще учили, сами писали... Он выключил воду. В раздевалке было тихо. Тогда он осторожно приоткрыл дверь и выглянул. Слава богу, ушли...

Он вышел, ковыляя по грязноватому кафелю и брезгливо поджимая пальцы, и направился к своей одежде. Краем глаза он уловил какое-то движение в углу, покосился и обнаружил чьи-то заросшие черным волосом тощие ягодицы. Так и есть, обычная картина: стоит голый коленками на скамейке и глазееет в щель, где женская раздевалка. Аж закоченел весь от внимательности.

Андрей взял полотенце и стал вытираться. Полотенце было дешевенькое, казенное, пропахшее карболкой, воду оно не то, чтобы впитывало, а как бы размазывало по коже.

Голый все глазел. Поза у него была неестественная, как у висельника, – дыру в стене провертел, видимо, подросток, низко и неудобно. Потом ему там смотреть стало, вероятно, не на что. Он шумно перевел дух, сел, спустив ноги, и увидел Андрея.

– Оделась, – сообщил он. – Красивая женщина.

Андрей промолчал. Он натянул брюки и принялся обуваться.

– Опять мозоль сорвал – пожалуйста... – снова сообщил голый, рассматривая свою ладонь. – Который раз уже. – Он развернул полотенце и с сомнением оглядел его с обеих сторон. – Я вот чего не понимаю, – продолжал он, вытирая голову. – Неужели нельзя сюда экскаватор пригнать? Ведь всех нас можно одним-единственным экскаватором заменить. Ковыряемся лопатами, как эти...

Андрей пожал плечами и проворчал что-то, самому себе непонятное.

– А? – спросил голый, выставляя ухо из полотенца.

– Я говорю, экскаваторов всего два в Городе, – сказал Андрей раздраженно. На правом ботинке лопнул шнурок, и уйти от разговора было теперь невозможно.

– Вот я и говорю – пригнали бы один сюда! – возразил голый, энергично растирая свою цыплячью волосатую грудку. – А то – лопатами... Лопатой, если угодно, надо уметь работать, а откуда, спрашиваю я, нам уметь, если мы из горплана?

– Экскаваторы нужны в другом месте, – проворчал Андрей. Проклятый шнурок никак не завязывался.

– В каком же это другом? – немедленно прицепился голый из горплана. – У нас же здесь, как я понимаю, Великая Стройка. А где же тогда экскаваторы? На Величайшей, что ли? Не слышал про такую.

На черта ты мне сдался с тобой спорить, подумал Андрей злобно. И чего я, в самом деле, с ним спорю? Соглашаться с ним надо, а не спорить. Поддакнул бы ему пару раз, он бы и отвязался... Нет, не отвязался бы он все равно, о голых бабах бы принялся рассуждать – как ему полезно на них любоваться. Недотыкомка.

– Что вы ноете, в самом деле? – сказал он, выпрямляясь. – Всего-то час в сутки просят вас поработать, а вы уже разнылись, будто вам карандаш в задний проход завинчивают... Мозоль он, видите ли, сорвал! Травма производственная...

Голый человек из горплана ошеломленно смотрел на него, приоткрыв рот. Тощий, волосатый, с подагрическими коленками, с косым брюшком...

– Ведь для себя же! – продолжал Андрей, с ожесточением затягивая галстук. – Ведь не на дядю – на себя самого просят поработать! Нет, опять они недовольны, опять им все неладно. До Поворота, небось, дерьмо возил, а теперь в горплане служит, а все-таки ноет...

Он надел пиджак и принялся скатывать комбинезон. И тут человек из горплана подал наконец голос.

– Позвольте, сударь! – вскричал он обиженно. – Да я же совсем не в том смысле! Я только имел в виду рациональность, эффективность... Странно даже! Я, если угодно, сам мэрию брал!.. Я и говорю вам, что если это Великая Стройка, то все самое лучшее и должно быть сюда... И вы на меня не извольте кричать!..

– А-а, разговаривать тут с вами... – сказал Андрей и, на ходу заворачивая комбинезон в газету, пошел из раздевалки.

Сельма уже ждала его, сидя на скамеечке поодаль. Она задумчиво курила, глядя в сторону котлована, привычно положив ногу на ногу, – свежая и розовая после душа. Андрея неприятно кольнуло, что этот волосатый недоносок, очень может быть, пускал слюни и глазел в щель именно на нее. Он подошел, остановился рядом и положил ладонь ей на прохладную шею.

– Пойдем?

Она подняла на него глаза, улыбнулась и потерлась щекой о его руку.

– Давай докурим, – предложила она.

– Давай, – согласился он, сел и тоже закурил.

В котловане копошились сотни людей, летела земля с лопат, вспыхивало солнце на отточенном железе. Грузенные грунтом подводы вереницей тянулись по противоположному склону, у штабелей бетонных плит скапливалась очередная смена. Ветер крутил красноватую пыль, доносил обрывки маршей из репродукторов, установленных на цементных столбах, раскачивал огромные фанерные щиты с выцветшими лозунгами: «Гейгер сказал: надо! Город ответил: сделаем!», «Великая Стройка – удар по нелюдям!», «Эксперимент – над экспериментаторами!».

– Отто обещал – сегодня ковры будут, – сказала Сельма.

– Это хорошо, – обрадовался Андрей. – Бери самый большой. Положим в гостиной на полу.

– Я хотела тебе в кабинет. На стену. Помнишь, я еще в прошлом году говорила, как только мы въехали?..

– В кабинет? – задумчиво произнес Андрей. Он представил себе свой кабинет, ковер и оружие. Это выглядело. – Правильно, – сказал он. – Оч хор. Давай в кабинет.

– Только Румеру обязательно позвони, – сказала Сельма. – Пусть даст человека.

– Сама позвони, – сказал Андрей. – Мне некогда будет... А впрочем, ладно, позвоню. Куда тебе его прислать? Домой?

– Нет, прямо на базу. Ты к обеду будешь?

– Буду, наверное. Между прочим, Изя давно напрашивается зайти.

– Ну и очень хорошо! Сегодня же на вечер и зови. Сто лет мы уже не собирались. И Вана надо позвать, вместе с Мэйлинь...

– Умгу, – сказал Андрей. Насчет Вана он как-то не подумал. – А кроме Изы ты из наших кого-нибудь собираешься позвать? – спросил он осторожно.

– Из наших? Полковника можно позвать... – нерешительно проговорила Сельма. – Он славный... Вообще, если кого-нибудь и звать сегодня из наших, то в первую очередь Дольфюсов. Мы у них уже два раза были, неудобно.

– Если бы без жены... – сказал Андрей.

– Без жены невозможно.

– Знаешь, что, – сказал Андрей, – ты им пока не звони, а вечером посмотрим. – Ему было совершенно ясно, что Ван и Дольфюсы никак не сочетаются. – Может, лучше Чачуа позовем?

– Гениально! – сказала Сельма. – Мы его на Дольфюсиху напустим. Всем будет хорошо. – Она бросила окурочек. – Пошли?

Из котлована, направляясь к душевой, потянулась, пыля, очередная толпа Великих Строителей – потных, громогласных, регочущих работяг с Литейного.

– Пошли, – сказал Андрей.

По заплыванной песчаной аллейке между двумя рядами жиденьких свежесажённых липок они вышли на автобусную остановку, где еще стояли два битком набитых облупленных автобуса. Андрей поглядел на часы: до отправления автобусов оставалось семь минут. Из переднего автобуса раскрасневшиеся бабы выпихивали какого-то пьяного. Пьяный хрипло орал, и бабы тоже орали высокими истеричными голосами.

– С хамами поедем или пешком? – спросил Андрей.

– А у тебя время есть?

– Есть. Пошли, над обрывом пройдемся. Там попрохладней.

Сельма взяла его под руку, они свернули налево, в тень старого пятиэтажного дома, обстроенного лесами, и по мощенной булыжником улочке направились к обрыву.

Район был здесь глухой, заброшенный. Пустые ободранные домишки стояли вкривь и вкось, мостовые проросли травой. До Поворота и сразу после в этих местах было небезопасно появляться не только ночью, но и днем – кругом здесь были притоны, малины, хавиры, селились здесь самогонщики, скупщики краденого, профессиональные охотники за золотом, проститутки-наводчицы и прочая

сволочь. Потом за них взялись: одних выловили и отправили в поселения на болотах – батрачить у фермеров, других – мелкую шпану – просто разогнали кого куда, кое-кого в суматохе поставили к стенке, а все, что нашлось здесь ценного, реквизируют в пользу города. Кварталы опустели. Попервоначально еще ходили здесь патрули, потом их сняли за ненадобностью, а в самое последнее время было всенародно объявлено, что трущобы эти подлежат сносу, а на их месте, вдоль всего обрыва в пределах городской черты, будет разбита парковая полоса – развлекательно-прогулочный комплекс.

Сельма и Андрей обогнули последнюю развалюху и пошли вдоль обрыва по колено в высокой сочной траве. Здесь было прохладно – из пропасти накатывал волнами влажный холодный воздух. Сельма чихнула, и Андрей обнял ее за плечи. Гранитный парапет еще не дотянули до этих мест, и Андрей инстинктивно старался держаться подальше от края обрыва – шагах в пяти-шести.

Над обрывом каждый человек чувствовал себя странно. Причем у всех, по-видимому, возникало здесь одинаковое ощущение, будто мир, если глядеть на него отсюда, явственно делится на две равные половины. К западу – неоглядная сине-зеленая пустота – не море, не небо даже – именно пустота синевато-зеленоватого цвета. Сине-зеленое Ничто. К востоку – неоглядная, вертикально вздымающаяся желтая твердь с узкой полоской уступа, по которому тянулся Город. Желтая Стена. Желтая абсолютная Твердь.

Бесконечная Пустота к западу и бесконечная Твердь к востоку. Понять эти две бесконечности не представлялось никакой возможности. Можно было только привыкнуть. Те, кто привыкнуть не мог или не умел, на обрыв старались не ходить, а поэтому здесь редко кого можно было встретить. Сейчас сюда выходили разве что влюбленные парочки, да и то, главным образом, по ночам. По ночам в пропасти что-то светилось слабым зеленоватым светом, будто там, в бездне, что-то тихо гнило из века в век. На фоне этого свечения черный лохматый край обрыва виден был прекрасно, а трава здесь всюду была на удивление высокая и мягкая...

– А вот когда мы построим дирижабли, – сказала вдруг Сельма, – мы, тогда как – подниматься будем вверх или опускаться в этот обрыв?

– Какие дирижабли? – рассеянно спросил Андрей.

– Как – какие? – удивилась Сельма, и Андрей спохватился.

– А, аэростаты! – сказал он. – Вниз. Вниз, конечно. В обрыв.

Среди большинства горожан, ежедневно отрабатывающих свой час на Великой Стройке, было распространено мнение, будто

строится гигантский завод дирижаблей. Гейгер полагал, что такое мнение следует пока всячески поддерживать, ничего при этом, однако, прямо не утверждая.

– А почему вниз? – спросила Сельма.

– Ну, видишь ли... Мы пробовали поднимать воздушные шары – без людей, конечно. Что-то там с ними наверху происходит – они взрываются по непонятной причине. Выше километра еще ни один не поднялся.

– А что там, внизу, может быть? Как ты думаешь?

Андрей пожал плечами.

– Представления не имею.

– Эх ты, ученый! Господин советник.

Сельма подобрала в траве обломок какой-то старой доски с кри-вым ржавым гвоздем и швырнула в пропасть.

– По кумполу там кому-нибудь, – сказала она.

– Не хулигань, – сказал Андрей миролюбиво.

– А я такая, – сказала Сельма. – Забыл?

Андрей посмотрел на нее сверху вниз.

– Нет, не забыл, – сказал он. – Хочешь, в траву завалю сейчас?

– Хочу, – сказала Сельма.

Андрей огляделся. На крыше ближайшей развалюхи, свесив ноги, курили двое каких-то в кепках. Тут же рядом, покосившись на грудe мусора, стояла грубо сколоченная тренога с чугунной бабой на коря-вой цепи.

– Глазют, – сказал он. – Жаль. Я бы тебе показал, госпожа совет-ница.

– Давай вали ее, чего время теряешь! – пронзительно крикнули с крыши. – Лопух молодой!..

Андрей притворился, что не слышит.

– Ты сейчас прямо домой? – спросил он.

Сельма посмотрела на часы.

– В парикмахерскую надо зайти, – сказала она.

У Андрея вдруг появилось незнакомое будоражащее ощущение. Он вдруг как-то очень явственно осознал, что вот он – советник, ответственный работник личной канцелярии президента, уважаемый человек, что у него есть жена, красивая женщина, и дом – богатый, полная чаша, – и что вот жена его идет сейчас в парикмахерскую, потому что вечером они будут принимать гостей, не пьянствовать беспорядочно, а держать солидный прием, и гости будут не кто-нибудь, а люди все солидные, значительные, нужные, самые нужные в городе. Это было ощущение неожиданно осознанной зрелости, собственной

значимости, ответственности, что ли. Он был взрослым человеком, вполне определившимся, самостоятельным, семейным. Он был зрелый мужчина, твердо стоящий на собственных ногах. Не хватало только детей – все остальное у него было как у настоящих взрослых...

– Здравия желаю, господин советник! – произнес почтительный голос.

Оказывается, они уже вышли из заброшенного квартала. Слева потянулся гранитный парапет, под ноги легли узорные бетонные плиты, справа и впереди поднялась белесая громада Стеклянного Дома, а на пути стоял, вытянувшись и приложив два пальца к козырьку форменной фуражки, молодой опрятный негр-полицейский в голубоватой форме внешней охраны.

Андрей рассеянно кивнул ему и сказал Сельме:

– Извини, ты что-то говорила, я задумался...

– Я говорю: не забудь позвонить Румеру. Мне ведь теперь человек понадобится не только для ковра. Вина надо принести, водки... Полковник любит виски, а Дольфюс – пиво... Я возьму, пожалуй, сразу ящик...

– Да! «Пусть в сортире плафон сменяют!» – сказал Андрей. – А ты сделай мясо по-бургундски. Амалию тебе прислать?..

Они расстались у поперечной дорожки, ведущей к Стеклянному Дому. Сельма пошла дальше, а Андрей, проводив ее (с удовольствием) глазами, свернул и направился к западному подъезду.

Обширная, выложенная бетонными плитами площадь вокруг здания была пуста, лишь кое-где виднелись голубые мундиры охраны. Под густыми деревьями, окаймлявшими площадь, торчали, как всегда, зеваки из новичков – жадно ели глазами вместилище власти, – а пенсионеры с тросточками давали им пояснения.

У подъезда стоял уже драндулет Дольфюса, капот был, как всегда, поднят, из двигателя выпячивалась затянута в сверкающий хром нижняя часть шофера. И тут же смердел грязный, прямо с болот, грузовик фермерского вида – над бортами неопратно торчали красносиние конечности какой-то ободранной говядины. Над говядиной вились мухи. Хозяин грузовика, фермер, ругался в дверях с охраной. Ругались они, видимо, довольно давно: уже дежурный начальник охраны был здесь и трое полицейских, и еще двое неторопливо приближались, поднимаясь по широким ступеням с площади.

Фермер показался Андрею знакомым – длинный, как жердь, тощий мужик с обвисшими усами. От него пахло потом, бензином и перегаром. Андрей показал свой пропуск и прошел в вестибюль, успевши уловить, однако, что мужик требовал лично президента

Гейгера, а охрана внушала ему, что здесь служебный вход и что ему, мужику, надлежит обогнуть здание и попытаться счастья в бюро приемной. Голоса спорящих постепенно возвышались.

Андрей поднялся в лифте на пятый этаж и вступил в дверь, на которой красовалась черно-золотая надпись: «Личная канцелярия президента по вопросам науки и техники». Сидевшие у входа курьеры встали, когда он вошел, и одинаковым движением спрятали за спины дымящиеся окурки. Больше в белом широком коридоре никого не было видно, однако из-за дверей, совсем как когда-то в редакции, доносились телефонные звонки, деловые диктующие голоса, треск пишущих машинок. Канцелярия работала на полном ходу. Андрей распахнул дверь с табличкой «Советник А.Воронин» и вступил в свою приемную.

Здесь тоже поднялись ему навстречу: толстый, вечно потеющий начальник геодезического сектора Кехада; апатичный, скорбный видом, белоглазый заведующий отделом кадров Варейкис; вертлявая стареющая тетка из финансового управления и какой-то незнакомый мальчишка спортивного вида – надо думать, новичок, ожидающий представления. А из-за своего столика с машинкой у окна проворно поднялась, улыбаясь ему, его личный секретарь Амалия.

– Здравствуйте, здравствуйте, господа, – громко сказал Андрей, изображая самую благодушную улыбку. – Прошу прощения! Проклятые автобусы набиты битком, пришлось пешкодралить от самой стройки...

Он принялся пожимать руки: потную лапищу Кехады, вялый плавник Варейкиса, горсть сухих костей финансовой тетки (Какого черта она ко мне приперлась? Что ей тут могло понадобиться?) и чугунную лопату насупившегося новичка.

– Я думаю, даму мы пропустим вперед... – говорил он. – Мадам, прошу вас... – Это финансовой тетке. – Что-нибудь срочное есть? – Это вполголоса Амалии. – Благодарю вас... – Он взял протянутую телефонограмму и распахнул дверь в кабинет. – Прошу, мадам, прошу...

На ходу разворачивая телефонограмму, он прошел к столу, глядя в бумагу, показал тетке рукой на кресло, потом сел сам и положил телефонограмму перед собой.

– Слушаю вас.

Тетка затарахтела. Андрей, улыбаясь уголками губ, внимательно ее слушал, постукивая карандашиком по телефонограмме. Все было ему ясно с первых же слов.

– Простите, – прервал он ее через полторы минуты. – Я вас понял. Собственно, у нас не принято принимать людей по протекции. Однако

в вашем случае мы, несомненно, имеем дело с неким исключением. Если ваша дочь действительно настолько интересуется космографией, что занималась ею самостоятельно, еще в школе... Позвоните, прошу вас, моему заведующему кадрами. Я поговорю с ним. – Он встал. – Несомненно, такие амбиции у молодежи надлежит всячески приветствовать и поощрять... – Он проводил ее до двери. – Это вполне в духе нового времени... Не благодарите меня, мадам, я просто выполнил свой долг. Всего наилучшего...

Он вернулся к столу и перечитал телефонограмму: «Президент приглашает г-на советника Воронина в свой кабинет к 14.00». Все. По какому делу? Зачем? Что с собой иметь? Странно... Скорее всего, Фриц просто соскучился и хочет потрепаться. Четырнадцать ноль-ноль – это время обеденного перерыва. Значит, обедаем у президента... Он снял трубку внутреннего телефона.

– Амалия, давайте Кехаду.

Дверь отворилась, и вошел Кехада, ведя за собой за рукав спортивного юнца.

– Хочу представить вам, господин советник, – начал он прямо с порога, – вот этого молодого человека... Дуглас Кетчер... Он – новичок, прибыл всего месяц назад, и ему скучно сидеть на одном месте.

– Ну, – сказал Андрей, засмеявшись, – нам всем скучно сидеть на одном месте. Очень рад, Кетчер. Откуда вы родом? Из какого времени?

– Даллас, штат Техас, – неожиданно глубоким басом проговорил юнец, стеснительно улыбаясь. – Шестьдесят третий год.

– Что-нибудь кончали?

– Нормальный колледж. Потом много ходил с геологами. Разведка нефти.

– Отлично, – сказал Андрей. – Это то, что нам нужно. – Он поиграл карандашом. – Вы, возможно, не знаете этого, Кетчер, но у нас здесь принято спрашивать: почему? Вы бежали? Или вы искали приключений? Или вас заинтересовал Эксперимент?..

Дуглас Кетчер насунился, взял в кулак правой руки большой палец левой, посмотрел в окно.

– Можно сказать, что я бежал, – пробубнил он.

– У них там президента застрелили, – пояснил Кехада, утирая лицо платком. – Прямо у него в городе...

– Ах, вот как! – сказал Андрей понимающе. – Вы каким-то образом попали под подозрение?

Юнец замотал головой, а Кехада сказал:

– Нет, не в этом дело. Это длинная история. Они возлагали на этого президента большие надежды, он был у них кумиром... словом – психология.

– Проклятая страна, – изрек юнец. – Ничто им не поможет.

– Так-так, – сказал Андрей, сочувственно кивая. – Но вы знаете, что Эксперимент мы больше не признаем?

Юнец пожал могучими плечами.

– Мне это все равно. Мне здесь нравится. Только я не люблю сидеть на одном месте. В городе мне скучновато. А мистер Кехада предложил мне пойти в экспедицию...

– Я хочу послать его для начала в группу Сона, – сказал Кехада. – Парень он крепкий, кое-какой опыт у него есть, а найти людей для работы в джунглях вы знаете, как трудно.

– Ну что ж, – сказал Андрей. – Я очень рад, Кетчер. Вы мне нравитесь. Надеюсь, так будет и впредь.

Кетчер неловко кивнул и поднялся. Кехада тоже встал, отдуваясь.

– Еще одно, – сказал Андрей, поднимая палец. – Хочу предупредить вас, Кетчер, Город и Стекланный Дом заинтересованы в том, чтобы вы учились. Нам не нужны простые исполнители, их у нас хватает. Мы нуждаемся в подготовленных кадрах. Уверен, что из вас может получиться отличный инженер-нефтяник... Как у него с индексом, Кехада?

– Восемьдесят семь, – сказал Кехада, ухмыляясь.

– Ну, вот видите... У меня есть основания быть уверенным в вас.

– Постараюсь, – буркнул Дуглас Кетчер и посмотрел на Кехаду.

– У нас все, – сказал Кехада.

– У меня тоже все, – сказал Андрей. – Всего наилучшего... И запустите ко мне Варейкиса.

Как обычно, Варейкис не вошел, а двинулся в кабинет по частям, то и дело оглядываясь в щель приоткрытой двери. Потом он плотно закрыл дверь, неслышно подковылял к столу и сел. Скорбь на его лице обозначилась яснее, углы губ совсем опустились.

– Чтобы не забыть, – сказал Андрей. – Тут была эта баба из финансового управления...

– Знаю, – тихо сказал Варейкис. – Дочка.

– Да. Так вот, я не возражаю.

– К Кехаде, – не то спросил, не то приговорил Варейкис.

– Нет, думаю, лучше к расчетчикам.

– Хорошо, – сказал Варейкис и вытащил из внутреннего кармана пиджака блокнот. – Инструкция ноль-семнадцать, – сказал он совсем тихо.

– Да?

– Закончен очередной конкурс, – так же тихо сказал Варейкис. – Выявлено восемь сотрудников с индексом интеллигентности ниже положенных семидесяти пяти.

– Почему семидесяти пяти? По инструкции предельный индекс шестьдесят семь.

– Согласно разъяснению личной канцелярии президента по кадрам, – губы Варейкиса едва шевелились, – предельный индекс интеллигентности для сотрудников личной канцелярии президента по науке и технике составляет семьдесят пять.

– Ах, вот как... – Андрей почесал темя. – Гм... Ну что ж, это логично.

– Кроме того, – продолжал Варейкис, – пятеро из этих восьми не дотягивают и до шестидесяти семи. Вот список.

Андрей взял список, просмотрел. Полузнакомые имена и фамилии, двое мужчин и шестеро женщин...

– Позвольте, – сказал он, нахмурившись. – Амалия Торн... Это же моя Амалия! Что еще за фокусы?

– Пятьдесят восемь, – сказал Варейкис.

– А в прошлый раз?

– В прошлый раз меня здесь еще не было.

– Она же секретарь! – сказал Андрей. – Мой. Мой личный секретарь!

Варейкис уныло молчал. Андрей еще раз проглядел список. Рашидов... Это, кажется, геодезист... Кто-то его хвалил. Или ругал?.. Татьяна Постник. Оператор. А, это такая с кудряшками, милая такая мордашка, что-то у нее с Кехадой было... хотя нет, это другая...

– Ладно, – сказал он. – С этим я разберусь, и мы еще поговорим. Хорошо, если бы вы по своей линии запросили разъяснений по поводу таких должностей, как секретарша, оператор... по поводу вспомогательного персонала. Не можем же мы предъявлять к ним такие же требования, как к научным сотрудникам. В конце концов, у нас и курьеры числятся...

– Слушаю, – сказал Варейкис.

– Что-нибудь еще? – спросил Андрей.

– Да. Инструкция ноль-ноль-три.

Андрей сморщился.

– Не помню.

– Пропаганда Эксперимента.

– А, – сказал Андрей. – Ну?

– Имеют место систематические сигналы по поводу следующих лиц.

Варейкис положил перед Андреем еще один листок бумаги. В списке было всего три фамилии. Все мужчины. Все трое – начальники секторов. Основных. Космографии, социальной психологии и геодезии. Салливен, Бутц и Кехада. Андрей побарабанил пальцами по списку. Экая напасть, подумал он. Опять двадцать пять за рыбу деньги. Впрочем, спокойствие. Не будем зарываться. Эту дубину все равно ничем не прошибешь, а мне с ним еще работать и работать...

– Неприятно, – произнес он. – Очень неприятно. Полагаю, информация проверена? Ошибок нет?

– Перекрестная и неоднократно подтвердившаяся информация, – бесцветным голосом сказал Варейкис. – Салливен утверждает, что Эксперимент над Городом продолжается. По его словам, Стекланный Дом, пусть даже помимо своей воли, продолжает осуществлять линию Эксперимента. Утверждает, что Поворот есть всего лишь один из этапов Эксперимента...

Святые слова, подумал Андрей. Изя то же самое говорит, и Фрицу это очень не нравится. Только Изе разрешается, а Саллиvenu, бедняге, нельзя.

– Кехада, – продолжал Варейкис. – При подчиненных восхищается научно-технической мощью гипотетических экспериментаторов. Принижает ценность деятельности президента и президентского совета. Дважды уподоблял эту деятельность мышинной возне в картонной коробке из-под обуви...

Андрей слушал, опустив глаза. Лицо он держал каменным.

– Наконец, Бутц. Неприязненно отзывается лично о президенте. В нетрезвом виде назвал существующее политическое руководство диктатурой посредственности над кретинами.

Андрей не удержался – крякнул. Черт их за язык тянет, с раздражением подумал он, отгалкивая от себя листок. Элита называется – сами себе на голову гадят...

– И все-то вы знаете, – сказал он Варейкису. – И все-то вам известно...

Не надо было этого говорить. Глупо. Варейкис, не мигая, скорбно глядел ему в лицо.

– Прекрасно работаете, Варейкис, – сказал Андрей. – Я за вами как за каменной стеной... Полагаю, эта информация, – он постучал ногтем по листку, – уже переправлена по обычным каналам?

– Будет переправлена сегодня, – сказал Варейкис. – Я был обязан предварительно поставить в известность вас.

– Прекрасно, – бодро сказал Андрей. – Переправляйте. – Он сколол булавкой оба листочка и положил их в синий бювар с надписью «На доклад президенту». – Посмотрим, что решит по этому поводу наш Румер...

– Поскольку информация такого рода поступает не впервые, – сказал Варейкис, – я полагаю, что господин Румер будет рекомендовать снять этих людей с ведущих постов.

Андрей посмотрел на Варейкиса, стараясь сфокусировать глаза где-то подальше за его спиной.

– Вчера я был на просмотре новой картины, – сказал он. – «Голые и боссы». Мы ее одобрили, так что скоро она пойдет широким экраном. Очень, очень советую вам ее посмотреть. Там, знаете ли, так...

Он принялся неторопливо и подробно излагать Варейкису содержание этой чудовищной пошлятины, которая, впрочем, действительно очень понравилась Фрицу, да и не ему одному. Варейкис молча слушал, время от времени кивая в самых неожиданных местах – как бы спохватываясь. Лицо его по-прежнему не выражало ничего, кроме уныния и скорби. Видно было, что он уже давно потерял нить и ничегошеньки не понимает. В самый кульминационный момент, когда до Варейкиса явно дошло, что ему придется выслушать все до самого конца, Андрей прервал себя, откровенно зевнул и сказал благодушно:

– Ну и так далее, в том же духе. Обязательно посмотрите... Кстати, какое впечатление произвел на вас молодой Кетчер?

Варейкис заметно встрепнулся.

– Кетчер? Пока у меня такое впечатление, что с ним все в порядке.

– У меня тоже, – сказал Андрей. Он взялся за телефонную трубку.

– У вас есть еще что-нибудь ко мне, Варейкис?

Варейкис поднялся.

– Нет, – сказал он. – Больше ничего. Разрешите идти?

Андрей благосклонно покивал ему и сказал в трубку:

– Амалия, кто там еще?

– Эллизауэр, господин советник.

– Какой еще Эллизауэр? – спросил Андрей, наблюдая, как Варейкис осторожно, по частям выдвигается из кабинета.

– Заместитель начальника транспортного отдела. По поводу темы «Аквармарин».

– Пусть подождет. Принесите почту.

Амалия появилась на пороге через минуту, и всю эту минуту Андрей, побряхтывая, растирал себе бицепсы и шевелил поясницей, все приятно ныло после часа усердной работы с лопатой в руках, и он, как

всегда, рассеянно думал, какая это, в сущности, хорошая зарядка для человека, ведущего по преимуществу сидячий образ жизни.

Амалия плотно прикрыла за собой дверь и, простучав по паркету высокими каблуками, остановилась рядом с ним, положив на стол папку с корреспонденцией. Он привычно обнял ее узкие твердые бедра, обтянутые прохладным шелком, похлопал по ляжке, а другой рукой открыл папку.

– Ну-с, что тут у нас? – бодро сказал он.

Амалия так и таяла у него под ладонью, она даже дышать перестала. Смешная девка и верная, как пес. И дело знает. Он посмотрел на нее снизу вверх. Как всегда в минуты ласки, лицо у нее сделалось бледное и испуганное, и когда глаза их встретились, она нерешительно положила узкую горячую ладонь ему на шею под ухом. Пальцы у нее дрожали.

– Ну что, малышка? – сказал он ласково. – Есть в этом хламе что-нибудь важное? Или мы с тобой сейчас запрем дверь и переменим позу?

Это у них было такое кодовое обозначение для развлечений в кресле и на ковре. Про Амалию он никогда не мог бы рассказать, какова она в постели. В постели он с ней ни разу не был.

– Тут проект финансовой сметы... – слабым голосом произнесла Амалия. – Потом всякие заявления... Ну, и личные письма, я их не вскрывала.

– И правильно сделала, – сказал Андрей. – Вдруг там от какой-нибудь красотки...

Он отпустил ее, и она слабо вздохнула.

– Посиди, – сказал он. – Не уходи, я быстро.

Он взял первое попавшееся письмо, разорвал конверт, пробежал, сморщился. Оператор Евсеенко сообщал про своего непосредственного шефа Кехаду, что тот «допускает высказывания в адрес руководства и лично господина советника». Андрей знал этого Евсеенко хорошо. Станный на редкость был человек и на редкость невезучий – несчастный во всех своих начинаниях. В свое время он поразил воображение Андрея, когда хвалил военное время сорок второго года под Ленинградом. «Хорошо тогда было, – говорил он с какой-то даже мечтательностью в голосе. – Живешь, ни о чем не думаешь, а если чего надо – скажешь солдатам, они достанут...» Отвоевался он капитаном и за всю войну убил одного-единственного человека – собственного политрука. Они тогда выходили из окружения, Евсеенко увидел, что политрука взяли немцы и обшаривают ему карманы. Тогда он выпалил в них из-за кустов, убил политрука и убежал. Очень

он себя за этот поступок хвалил: они бы его запытали. Ну что с ним, дураком, делать? Шестой донос уже пишет. И ведь не Румеру пишет, не Варейкису, а мне. Забавнейший психологический выверт. Если написать Варейкису или Румеру, Кехаду привлекут. А я Кехаду не трону, все про него знаю, но не трону, потому что ценю и прощаю, это всем известно. Вот и получается, что и гражданский долг вроде бы выполнен, и человека не загубили... Экий урод все-таки, прости господи!..

Андрей смял письмо, выбросил в корзину и взял следующее. Почерк на конверте показался ему знакомым, очень характерный почерк. Обратного адреса не было. Внутри конверта оказался листок бумаги, текст был напечатан на машинке – копия, и не первая, – а внизу была приписка от руки. Андрей прочитал, ничего не понял, перечитал еще раз, похолодел и взглянул на часы. Потом сорвал трубку с белого телефона и набрал номер.

– Советника Румера, срочно! – гаркнул он не своим голосом.

– Советник Румер занят.

– Говорит советник Воронин! Я сказал – срочно!

– Простите, господин советник. Советник Румер у президента...

Андрей швырнул трубку и, отпихнув оторопевшую Амалию, бросился к двери. Уже схватившись за пластмассовую ручку, он понял, что поздно, все равно уже не успеть. Если все это правда, конечно. Если это не идиотский розыгрыш...

Он медленно подошел к окну, взялся за обшитый бархатом поручень и стал смотреть на площадь. Там было пусто, как всегда. Маячили голубые мундиры, в тени под деревьями торчали зеваки, старушка проковыляла, толкая перед собой детскую коляску. Проехал автомобиль. Андрей ждал, вцепившись в поручень.

Амалия подошла к нему сзади, тихонько коснулась плеча.

– Что случилось? – спросила она шепотом.

– Отойди, – сказал он, не оборачиваясь. – Сядь в кресло.

Амалия исчезла. Андрей снова поглядел на часы. На его часах уже прошла лишняя минута. Конечно, подумал он. Не может быть. Идиотский розыгрыш. Или шантаж... И в этот момент из-под деревьев появился и неторопливо двинулся через площадь какой-то человек. Он казался совсем маленьким с этой высоты и с этого расстояния, и Андрей не узнавал его. Он помнил, что тот был худощавый и стройный, а этот выглядел грузным, разбухшим, и только в самую последнюю минуту до Андрея дошло – почему. Он зажмурился и попятился от окна.

На площади грохнуло – гулко и коротко. Дрогнули и задрезжали рамы, и сейчас же где-то внизу с раздражающим дребезгом посыпались стекла. Задавленно вскрикнула Амалия, а на площади внизу завопили истошными голосами...

Отстраняя одной рукой рвущуюся не то к нему, не то к окну Амалию, Андрей заставил себя открыть глаза и смотреть. Там, где был человек, стоял желтоватый столб дыма, и за дымом ничего не было видно. Со всех сторон к этому месту бежали голубые мундиры, а поодаль, под деревьями, быстро росла толпа. Все было кончено.

Андрей, не чувствуя ног, вернулся к столу, сел и снова взял письмо.

«Всем сильным ублюдочного мира сего!

Я ненавижу ложь, но правда ваша еще хуже лжи. Вы превратили Город в благоустроенный хлев, а граждан Города – в сытых свиней. Я не хочу быть сытой свиньей, но я не хочу быть и свинопасом, а третьего в вашем чавкающем мире не дано. В своей правоте вы самодовольны и бездарны, хотя когда-то многие из вас были настоящими людьми. Есть среди вас и мои бывшие друзья, к ним я обращаюсь в первую очередь. Слова не действуют на вас, и я подкрепляю их своей смертью. Может быть, вам станет стыдно, может быть – страшно, а может быть – просто неудобно в вашем хлеву. Это все, на что мне осталось надеяться. Господь да покарает вашу скуку! Это не мои слова, но я под ними с восторгом подписываюсь – Денни Ли».

Все это было напечатано на машинке, под копирку, третья или даже четвертая копия. А ниже шла приписка от руки:

«Милый Воронин, прощай! Я взорвусь сегодня в тринадцать ноль-ноль на площади перед Стеклянным Домом. Если письмо не опоздает, можешь посмотреть, как это произойдет, но не надо мне мешать – будут только лишние жертвы. Твой бывший друг и заведующий отделом писем твоей бывшей газеты – Денни».

Андрей поднял глаза и увидел Амалию.

– Помнишь Денни? – сказал он. – Денни Ли, завписьюмами...

Амалия молча кивнула, потом лицо ее вдруг словно скомкало ужасом.

– Не может быть! – сказала она хрипло. – Неправда...

– Взорвался... – сказал Андрей, с трудом шевеля губами. – Динамитом, наверное, обвязался. Под пиджаком.

– Зачем? – сказала Амалия. Она закусил губу, глаза ее налились слезами, слезы побежали по маленькому белому лицу, повисли на подбородке.

– Не понимаю, – сказал Андрей беспомощно. – Ничего не понимаю... – Он бессмысленно уставился в письмо. – Виделись же недавно... Ну, ругались, ну, спорили... – Он снова посмотрел на Амалию. – Может, он приходил ко мне на прием? Может, я его не принял?

Амалия, закрыв лицо руками, трясла головой.

И вдруг Андрей почувствовал злость. Даже не злость, а бешеное раздражение, какое испытал сегодня в раздевалке после душа. Какого дьявола! Какого еще им рожна?! Чего им не хватает, этой швали?.. Идиот! Что он этим доказал? Свиньей он не хочет быть, свинопасом он не хочет быть... Скучно ему! Ну и катись к такой матери со своей скукой!..

– Перестань реветь! – заорал он на Амалию. – Вытри сопли и ступай к себе.

Он отшвырнул от себя бумаги, вскочил и снова подошел к окну.

На площади чернела огромная толпа. В центре этой толпы было пустое серое пространство, оцепленное голубыми мундирами, и там копошились люди в белых халатах. Карета «скорой помощи» надрывно завывала сиреной, пытаясь расчистить себе дорогу...

...Ну и что же ты все-таки доказал? Что не хочешь с нами жить? А зачем это было доказывать и кому? Что ненавидишь нас? Зря. Мы делаем все, что нужно. Мы не виноваты, что они свиньи. Они были свиньями и до нас, и после нас они останутся свиньями. Мы можем только накормить их и одеть, и избавить от животных страданий, а духовных страданий у них сроду не было и быть не может. Что мы – мало сделали для них? Посмотри, каким стал город. Чистота, порядок, прошлого бардака и в помине нет, жратвы – вволю, тряпок – вволю, скоро и зрелищ будет вволю, дай только срок, – а что им еще нужно?.. А ты, ты что сделал? Вот отскребут сейчас санитары кишки твои от асфальта – вот и все твои дела... А нам работать и работать, целую махину ворочать, потому что все, чего мы пока добились, это только начало, это все еще нужно сохранить, милый мой, а сохранивши – приумножить... Потому что на Земле, может быть, и нет над людьми ни Бога, ни дьявола, а здесь – есть... Демократ ты вонючий, народник-угодник, брат моих братьев...

Но перед глазами у него все стоял Денни, каким он был в последнюю их встречу, месяц или два назад, – усохший весь какой-то, замуценный, словно больной, и тайный какой-то ужас прятался в его потухших печальных глазах, – и как он сказал в самом конце беспорядочного и бестолкового спора, уже поднявшись и бросив на серебряное блюдечко смятые бумажки: «Господи, ну чего ты расхвастался передо мной? Живот он кладет на алтарь... Для чего? Людей накормить

от пуза! Да разве же это задача? В задрипанной Дании это уже умеют делать много лет. Ладно, пусть я не имею права, как ты выражаешься, распинаться от имени всех. Пусть не все, но мы-то с тобой точно знаем, что людям не это надо, что по-настоящему нового мира так не построишь!..» – «А как же, мать твою туда и сюда, его строить? Как?!» – заорал тогда Андрей, но Денни только махнул рукой и не стал больше разговаривать.

Зазвонил белый телефон. Андрей нехотя вернулся к столу и взял трубку.

– Андрей? Это Гейгер говорит.

– Здравствуй, Фриц.

– Ты его знал?

– Да.

– И что ты об этом думаешь?

– Истерик, – сказал Андрей сквозь зубы. – Слякоть.

Гейгер помолчал.

– Письмо ты получил от него?

– Да.

– Странный человек, – сказал Гейгер. – Ну ладно. Жду тебя к двум.

Андрей положил трубку, и телефон зазвонил снова. На этот раз звонила Сельма. Она была очень встревожена. Слух о взрыве уже докатился до Белого Двора, по дороге, разумеется, исказился до неузнаваемости, и теперь на Белом Дворе царил тихая паника.

– Да цело, цело все, – сказал Андрей. – И я цел, и Гейгер цел, и Стекланный Дом цел... Ты Румеру звонила?

– Какой, к черту, Румер? – возмутилась Сельма. – Я без памяти из салона прибежала – Дольфюсиха туда ворвалась, вся белая, штукатурка сыплется, и вопит, что на Гейгера было покушение и полдома снесло...

– Ну ладно, – сказал Андрей нетерпеливо. – Мне некогда.

– Ты можешь мне сказать, что произошло?

– Один маньяк... – Андрей остановился, спохватившись. – Болван какой-то тащил взрывчатку через площадь и уронил, наверное.

– Это точно не покушение? – настойчиво спросила Сельма.

– Да не знаю я! Румер этим занимается, а я ничего не знаю!

Сельма подышала в трубку.

– Врешь ты все, наверное, господин советник, – сказала она и дала отбой.

Андрей обогнул стол и вернулся к окну. Толпа уже почти рассосалась. Санитаров не было, «скорой помощи» – тоже. Несколько полицейских поливали из брандспойтов пространство вокруг неглубокой

выщерблины в бетоне. И ковыляла в обратном направлении старуха, толкая перед собой коляску с младенцем. И все.

Он подошел к двери и выглянул в приемную. Амалия была на своем месте – строгая, с поджатыми губами, совершенно неприступная – пальцы с обычной бешеной скоростью порхают по клавишам, на лице – никаких следов слез, соплей и прочих эмоций. Андрей смотрел на нее с нежностью. Молодец баба, подумал он. Хрен тебе, сказал он Варейкису с огромным злорадством. Я скорее уж тебя отсюда вышибу к чертовой матери... Амалию вдруг заслонили. Андрей поднял глаза. На нечеловеческой высоте над ним искательно маячила сплюснутая с боков физиономия Элизауэра из транспортного.

– А, – сказал Андрей. – Элизауэр... Извините, я вас сегодня не приму. Завтра с утра, пожалуйста.

Не говоря ни слова, Элизауэр переломился пополам в поклоне и исчез. Амалия уже стояла с блокнотом и карандашом наготове.

– Господин советник?

– Зайдите на минутку, – сказал Андрей.

Он вернулся к столу, и сейчас же снова зазвонил белый телефон.

– Воронин? – проговорил гнусавый прокуренный голос. – Румер тебя беспокоит. Ну, как ты там?

– Прекрасно, – сказал Андрей, показывая Амалии рукой: не уходи, мол, я сейчас.

– Жена как?

– Все хорошо, привет тебе передавала. Кстати, пошли к ней сегодня двоих из отдела обслуживания, там по хозяйству надо...

– Двоих? Ладно. Куда?

– Пусть ей позвонят, она скажет. Пусть сейчас прямо и позвонят.

– Ладно, – сказал Румер. – Сделаю. Не сразу, может быть, но сделаю... Я тут, понимаешь, совсем с этим бараклом зашился. Официальную версию знаешь?

– Откуда? – сердито сказал Андрей.

– В общем, так. Несчастный случай со взрывчаткой. При переносе взрывчатых веществ. Во время транспортировки. Подробности выясняются.

– Понял.

– Шел, значит, какой-то работяга-взрывник, ну и нес эту взрывчатку... Или, скажем, ее вез куда-то там... Пьяный.

– Да понял, понял я, – сказал Андрей. – Правильно. Молодец.

– Ага, – сказал Румер. – Ну там, споткнулся он или... В общем, подробности выясняются. Виновные будут наказаны. Информашку

сейчас размножат и тебе принесут. Ты только вот что. Письмо ты ведь получил? Кто его у тебя там читал?

– Никто.

– А секретарь?

– Я тебе говорю: никто. Личные письма я всегда вскрываю сам.

– Правильно, – сказал Румер с одобрением. – Это у тебя правильно поставлено. А то у некоторых, понимаешь, такой кабак развели с письмами... Кто попало читает... Значит, у тебя никто не читал. Это хорошо. Ты его спрячь хорошенько, это письмо, – по форме два нуля. Там к тебе сейчас зайдет один мой холуек, так ты ему отдай, ладно?

– Это зачем? – спросил Андрей.

Румер затруднился.

– Да ведь как сказать... – промямлил он. – Может, и пригодится... Ты его вроде бы знал?..

– Кого?

– Ну, этого... – Румер хихикнул. – Работягу этого... со взрывчаткой...

– Знал.

– Ну, по телефону мы с тобой не будем, а этот холуек мой, он задаст тебе пару вопросов, ты уж ему ответь.

– Некогда мне с ним, – сказал Андрей сердито. – Меня Фриц к себе вызвал.

– Да ну, пять минут, – заныл Румер, – ну чего тебе стоит, ей-богу... На два вопроса ответить уже не можешь...

– Ну ладно, ладно, – нетерпеливо сказал Андрей. – У тебя все?

– Я ведь его к тебе уже направил, через минуту у тебя будет. Цвирик его фамилия. Старший адъютант...

– Ну хорошо, хорошо, договорились.

– Два вопроса всего. Не задержит он тебя...

– У тебя все? – снова спросил Андрей.

– Все. Мне тут еще других советников обзвонить надо.

– Ты вот людей к Сельме не забудь направить.

– Да не забуду. Я тут у себя записал. Пока.

Андрей повесил трубку и сказал Амалии:

– Имей в виду, ты ничего не видела и не слышала.

Амалия испуганно взглянула на него и молча ткнула пальцем в сторону окна.

– Вот именно, – сказал Андрей. – Не знаешь никаких имен и не знаешь, что вообще произошло...

Дверь приотворилась, и в кабинет просунулась смутно знакомая бледная физиономия с кислыми глазками.

– Подождите! – резко сказал Андрей. – Я вас вызову.

Физиономия исчезла.

– Поняла? – сказал Андрей. – За окном грохнуло, и больше ты ничего не знаешь. Официальная версия такая: шел пьяный работяга, нес взрывчатку со склада, виновные выясняются. – Он помолчал, раздумывая. – Где я эту харю видел? И фамилия знакомая... Цвирик... Цвирик...

– Зачем же он это сделал? – тихо спросила Амалия. Глаза у нее снова подозрительно увлажнились.

Андрей нахмурился.

– Давай-ка сейчас не будем об этом. Потом. Иди позови сюда этого холуя.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Когда они уселись за стол, Гейгер сказал Изе:

– Угощайся, мой еврей. Угощайся, мой славный.

– Я не твой еврей, – возразил Изя, наваливая себе на тарелку салат. – Я тебе сто раз уже говорил, что я – свой собственный еврей. Вот твой еврей. – Он ткнул вилкой в сторону Андрея.

– А томатного сока нет? – спросил брюзгливо Андрей, оглядывая стол.

– Хочешь томатного? – спросил Гейгер. – Паркер! Томатный сок господину советнику!

В дверях столовой возник рослый румяный молодец – личный адъютант президента, – малиново позванивая шпорами, приблизился к столу и с легким поклоном поставил перед Андреем запотевший графинчик с томатным соком.

– Спасибо, Паркер, – сказал Андрей. – Ничего, я сам налью.

Гейгер кивнул, и Паркера не стало.

– Дрессировочка! – прошамкал Изя набитым ртом.

– Славный парнишка, – сказал Андрей.

– А вот у Манджуро за обедом водку подают, – сказал Изя.

– Стукач! – сказал ему Гейгер с упреком.

– Почему это? – удивился Изя.

– Если Манджуро в рабочее время жрет водку, я должен его накачать.

– Всех не перестреляешь, – сказал Изя.

– Смертная казнь отменена, – сказал Гейгер. – Впрочем, точно не помню. Надо у Чачуа спросить...

– А что случилось с предшественником Чачуа? – невинно осведомился Изя.

– Это была чистая случайность, – сказал Гейгер. – Перестрелка.

– Между прочим, отличный был работник, – заметил Андрей. – Чачуа свое дело знает, но шеф!.. Это был феноменальный человек.

– Н-да, наломали мы тогда дров... – сказал Гейгер задумчиво. – Молодо-зелено...

– Все хорошо, что хорошо кончается, – сказал Андрей.

– Еще ничего не кончилось! – возразил Изя. – Откуда вы взяли, что все уже кончилось?

– Ну, пальба-то, во всяком случае, кончилась, – проворчал Андрей.

– Настоящая пальба еще и не начиналась, – объявил Изя. – Слушай, Фриц, на тебя были покушения?

Гейгер нахмурился.

– Что за идиотская мысль? Конечно, нет.

– Будут, – пообещал Изя.

– Спасибо, – сказал Гейгер холодно.

– Будут покушения, – продолжал Изя, – будет взрыв наркомании. Будут сытые бунты. Хиппи уже появились, я о них и не говорю. Будут самоубийства протеста, самосожжения, самовзрывания... Впрочем, они уже есть.

Гейгер и Андрей переглянулись.

– Пожалуйста, – сказал Андрей с досадой. – Уже знает.

– Интересно, откуда? – проговорил Гейгер, рассматривая Изю прищуренными глазами.

– Что я знаю? – спросил Изя быстро. Он положил вилку. – Погодите-ка!.. А! Так, значит, это было самоубийство протеста? То-то я думаю – что за бред собачий? Взрывники какие-то пьяные с динамитом шляются... Вот оно что! А я, честно говоря, вообразил, что это – попытка покушения... Понятно... А кто это был на самом деле?

– Некто Денни Ли, – сказал Гейгер, помолчав. – Андрей его знал.

– Ли... – задумчиво проговорил Изя, рассеянно растирая по лацкану пиджака брызги майонеза. – Денни Ли... Подожди, он такой тощий... Журналист?

– Ты его тоже знал, – сказал Андрей. – Помнишь, у меня в газете...

– Да-да-да! – воскликнул Изя. – Правильно! Вспомнил.

– Только ради бога, держи язык за зубами, – сказал Гейгер.

Изя с обычной своей окаменевшей улыбкой взялся за бородавку на шее.

– Вот это, значит, кто... – бормотал он. – Понятно... Понятно... Обложился, значит, взрывчаткой и вышел на площадь... Письма, наверное, разослал по всем газетам, чудак... Так-так-так... И что ты теперь намерен предпринять? – обратился он к Гейгеру.

– Я уже предпринял, – сказал Гейгер.

– Ну да, ну да! – нетерпеливо сказал Изя. – Все засекретил, дал официальное вранье, Румера спустил с цепи, – я не об этом. Что ты вообще об этом думаешь? Или ты полагаешь, что это случайность?

– Н-нет. Я не полагаю, что это случайность, – медленно сказал Гейгер.

– Слава богу! – воскликнул Изя.

– А ты что думаешь? – спросил его Андрей.

Изя быстро повернулся к нему.

– А ты?

– Я думаю, что во всяком порядочном обществе должны существовать свои маньяки. Денни был маньяк, это совершенно точно. У него был явный сдвиг на почве философии. И в городе он, конечно, не один такой...

– А что он говорил? – жадно спросил Изя.

– Он говорил, что ему скучно. Он говорил, что мы не нашли настоящую цель. Он говорил, что вся наша работа по повышению уровня жизни – чепуха и ничего не решает. Он много чего говорил, а сам ничего путного предложить не мог. Маньяк. Истерик.

– А чего бы он все-таки хотел? – спросил Гейгер.

Андрей махнул рукой.

– Обычная народническая чушь. «Вынесет все и широкую, ясную...»

– Не понимаю, – сказал Гейгер.

– Ну, он полагал, что задача просвещенных людей – поднимать народ до своего просвещенного уровня. Но как за это взяться, он, конечно, не знал.

– И поэтому убил себя?.. – с сомнением сказал Гейгер.

– Я же тебе говорю – маньяк.

– А твое мнение? – спросил Гейгер Изю.

Изя не задумался ни на секунду.

– Если маньяком, – сказал он, – называть человека, который бьется над неразрешимой проблемой, – тогда да, он был маньяк. И ты, – Изя ткнул пальцем в Гейгера, – его не поймешь. Ты относишься к людям, которые берутся только за разрешимые проблемы.

– Положим, – сказал Андрей, – Денни был совершенно уверен, что его проблема разрешима.

Изя отмахнулся от него.

– Вы оба ни черта не понимаете, – объявил он. – Вот вы полагаете себя технократами и элитой. Демократ у вас – слово ругательное. Всяк сверчок да познает приличествующий ему шесток. Вы ужасно презираете широкую массу и ужасно гордитесь этим своим презрением. А на самом деле вы – настоящие, стопроцентные рабы этой массы! Все, что вы ни делаете, вы делаете для массы. Все, над чем вы ломаете голову, все это нужно в первую очередь именно массе. Вы живете для массы. Если бы масса исчезла, вы потеряли бы смысл жизни. Вы жалкие, убогие прикладники. И именно поэтому из вас никогда не получится маньяков. Ведь все, что нужно широкой массе, раздобыть сравнительно нетрудно. Поэтому все ваши задачи – это задачи, заведомо разрешимые. Вы никогда не поймете людей, которые кончают с собой в знак протеста...

– Почему это мы не поймем? – с раздражением возразил Андрей. – Что тут, собственно, понимать? Конечно, мы делаем то, чего хочет подавляющее большинство. И мы этому большинству даем или стараемся дать все, кроме птичьего молока, которое, кстати, этому большинству и не требуется. Но всегда есть ничтожное меньшинство, которому нужно именно птичье молоко. Идея-фикс, понимаете ли, у них. Идея-бзик. Подавай им именно птичье молоко! Просто потому, что именно птичьего молока достать нельзя. Вот так и появляются социальные маньяки. Чего тут не понять? Или ты действительно считаешь, что все это быдло можно поднять до элитарного уровня?

– Не обо мне речь, – сказал Изя, осклабясь. – Я-то себя рабом большинства, сиречь слугой народа, не считаю. Я никогда на него не работал и не считаю себя ему обязанным...

– Хорошо, хорошо, – сказал Гейгер. – Всем известно, что ты сам по себе. Вернемся к нашим самоубийствам. Ты полагаешь, значит, самоубийства будут, какую бы политику мы ни проводили?

– Они будут именно потому, что вы проводите вполне определенную политику! – сказал Изя. – И чем дальше, тем больше, потому что вы отнимаете у людей заботу о хлебе насущном и ничего не даете им взамен. Людям становится тошно и скучно. Поэтому будут самоубийства, наркомания, сексуальные революции, дурацкие бунты из-за выеденного яйца...

– Да что ты несешь! – сказал Андрей с сердцем. – Ты подумай, что ты несешь, экспериментатор ты вшивый! «Перчику ему в жизнь,

перчику!» Так, что ли? Искусственные недостатки предлагаешь создавать? Ты подумай, что у тебя получается!..

– Это не у меня получается, – сказал Изя, протягивая через весь стол искалеченную руку, чтобы взять кастрюльку с соусом. – Это у тебя получается. А вот то, что вы взамен ничего не сможете дать, это факт. Великие стройки ваши – чушь. Эксперимент над экспериментаторами – бред, всем на это наплевать... И перестаньте на меня бросаться, я же не в осуждение вам говорю. Просто таково положение вещей. Такова судьба любого народника – рядится ли он в тогу технократа-благодетеля или он тшится утвердить в народе некие идеалы, без которых, по его мнению, народ жить не может... Две стороны одного медяка – орел или решка. В итоге – либо голодный бунт, либо сытый бунт – выбирайте по вкусу. Вы выбрали сытый бунт – и благо вам, чего же на меня-то набрасываться?

– Соус на скатерть не лей, – сердито сказал Гейгер.

– Пардон... – Изя рассеянно растер лужу по скатерти салфеткой. – Это же арифметически ясно, – сказал он. – Пусть недовольные составляют только один процент. Если в городе миллион человек – значит, десять тысяч недовольных. Пусть даже десятая процента – тысяча недовольных. Как начнет эта тысяча шуметь под окнами!.. А потом, заметьте, вполне довольных ведь не бывает. Это только вполне недовольные бывают. А так ведь каждому чего-нибудь да не хватает. Всем он, понимаешь, доволен, а вот автомобиля у него нет. Почему? Он, понимаешь, на Земле привык к автомобилю, а здесь у него нет и, главное, не предвидится... Представляете, сколько таких в Городе?

Изя прервал себя и принялся жадно поедать макароны, обильно заливая их соусом.

– Вкусная у вас жратва, – сказал он. – При моих достатках только в Стеклянном Доме и пожрешь по-настоящему...

Андрей посмотрел, как он жрет, фыркнул и налил себе томатного сока. Выпил, закурил сигарету. Вечно у него апокалипсис получается... Семь чаш гнева и семь последних язв...

Быдло есть быдло. Конечно, оно будет бунтовать, на то мы Румера и держим. Правда, бунт сытых – это что-то новенькое, что-то вроде парадокса. На Земле такого, пожалуй, еще не бывало. По крайней мере – при мне. И у классиков ничего об этом не говорится... А, бунт есть бунт... Эксперимент есть Эксперимент, футбол есть футбол... Тьфу!

Он посмотрел на Гейгера. Фриц, откинувшись в кресле, рассеянно и в то же время старательно ковырял пальцем в зубах, и Андрея вдруг ошеломила простая и страшная в своей простоте мысль: ведь это

всего-навсего унтер-офицер вермахта, солдафон, недоучка, десяти порядочных книжек за всю свою жизнь не прочитал, а ведь ему – решать!.. Мне, между прочим, тоже решать, подумал он.

– В нашей ситуации, – сказал он Изе, – у порядочного человека просто нет выбора. Люди голодали, люди были замордованы, испытывали страх и физические мучения – дети, старики, женщины... Это же был наш долг – создать приличные условия существования...

– Ну, правильно, правильно, – сказал Изя. – Я все понимаю. Вами двигали жалость, милосердие и тэ-дэ, и тэ-пэ. Я же не об этом. Жалеть женщин и детей, плачущих от голода, – это нетрудно, это всякий умеет. А вот сумеете вы пожалеть здорового сытого мужика с таким вот, – Изя показал, – половым органом? Изнывающего от скуки мужика? Денни Ли, по-видимому, умел, а вы сумеете? Или сразу его – в нагайки?..

Он замолчал, потому что в столовую вошел румяный Паркер в сопровождении двух хорошеньких девушек в белых передничках. Со стола убрали и подали кофе и сбитые сливки. Изя сейчас же ими вымазлся и принялся облизываться, как кот, до ушей.

– И вообще, знаете, что мне кажется? – задумчиво проговорил он. – Как только общество решит какую-нибудь свою проблему, сейчас же перед ним встает новая проблема таких же масштабов... нет, еще больших масштабов. – Он оживился. – Отсюда, между прочим, следует одна интересная штука. В конце концов перед обществом встанут проблемы такой сложности, что разрешить их будет уже не в силах человеческих. И тогда так называемый прогресс остановится.

– Ерунда, – сказал Андрей. – Человечество не ставит перед собой проблем, которые оно не способно решить.

– А я и не говорю о проблемах, которые человечество перед собой ставит, – возразил Изя. – Я говорю о проблемах, которые перед человечеством встают. Сами встают. Проблему голода человечество перед собой не ставило. Оно просто голодало...

– Ну, поехали! – сказал Гейгер. – Хватит. Повело блудословить. Можно подумать, у нас никаких дел нет, только языком трепать.

– А какие у нас дела? – удивился Изя. – У меня, например, сейчас обеденный перерыв...

– Как хочешь, – сказал Гейгер. – Я хотел поговорить о твоей экспедиции. Но можно, конечно, и отложить.

Изя замер с кофейником в руке.

– Позволь, – сказал он строго. – Зачем же откладывать? Откладывать не надо, сколько раз уже откладывали...

– Ну, а чего вы треплетесь? – сказал Гейгер. – Уши вянут вас слушать.

– Это какая экспедиция? – спросил Андрей. – За архивами, что ли?

– Великая экспедиция на север! – провозгласил Изя, но Гейгер остановил его, подняв большую белую ладонь.

– Это предварительный разговор, – сказал он. – Но решение об экспедиции я уже принял, средства выделены. Транспорт будет готов месяца через три-четыре. А сейчас надо наметить самые общие цели и программу.

– То есть, экспедиция будет комплексная? – спросил Андрей.

– Да. Изя получит свои архивы, а ты получишь свои наблюдения солнца и что там еще тебе нужно...

– Слава богу! – сказал Андрей. – Наконец-то.

– Но у вас будет, по крайней мере, еще одна цель, – сказал Гейгер. – Дальняя разведка. Экспедиция должна проникнуть на север очень глубоко. Как можно глубже. Насколько хватит горючего и воды. Поэтому людей в группу надо подобрать специальным образом, с большим пристрастием. Только добровольцев и только самых лучших из добровольцев. Никто толком не знает, что там может быть – на севере. Вполне возможно, что вам придется не только искать бумажки и глядеть в ваши трубы, но и стрелять, садиться в осаду, прорываться и так далее. Поэтому в группе будут военные. Кто и сколько – это мы еще уточним...

– Ох, как можно меньше! – сказал Андрей, морщась. – Знаю я твоих военных, работать же будет невыносимо... – Он с досадой отодвинул чашку. – И вообще я не понимаю. Не понимаю, зачем военные. Не понимаю, какая там может быть перестрелка... Там же пустыня, развалины – откуда перестрелка?

– Там, братец, все может быть, – сказал Изя весело.

– Что значит – все? Может быть, там бесы кишмя кишат, так что же нам – попов прикажешь с собой брать?

– Может быть, мне все-таки дадут высказаться до конца? – спросил Гейгер.

– Высказывайся, – проговорил Андрей расстроенно.

Всегда вот так, думал он. Как с обезьяньей лапкой. Уж если и исполнится желание, так с таким привеском, что лучше бы уж и не исполнялось совсем. Ну нет, черта с два. Я эту экспедицию господам офицерам не отдам. Глава экспедиции – Кехада. Глава научной части и всей группы. А иначе идите к чертовой матери, не будет вам никакой космографии, и пусть ваши фельдфебели одним Изей командуют.

Экспедиция – научная, значит, во главе – ученый... Тут он вспомнил, что Кехада неблагонадежен, и это воспоминание так его разозлило, что он пропустил часть того, что говорил Гейгер.

– Что-что? – спросил он, встрепенувшись.

– Я тебя спрашиваю: на каком расстоянии от города может быть конец мира?

– Точнее – начало, – вставил Изя.

Андрей сердито пожал плечами.

– Ты мои докладные, вообще, читаешь? – спросил он у Гейгера.

– Читаю, – сказал Гейгер. – Там у тебя говорится, что при удалении на север солнце будет склоняться к горизонту. Очевидно, что где-то далеко на севере оно сядет за горизонт и вообще скроется из виду. Так вот я тебя и спрашиваю: как далеко до этого места, – ты можешь сказать?

– Не читаешь ты моих докладных, – сказал Андрей. – Если бы ты их читал, ты бы понял, что я всю эту экспедицию затеваю именно для того, чтобы выяснить, где это самое начало мира.

– Это я понял, – терпеливо сказал Гейгер. – Я тебя спрашиваю: приближенно. Хотя бы приближенно можешь ты мне назвать это расстояние? Сколько это – тысяча километров? Сто тысяч? Миллион?.. Мы устанавливаем цель экспедиции, понимаешь? Если эта цель на расстоянии миллион километров, то это уже и не цель. А если...

– Ясно, ясно, – сказал Андрей. – Так бы и говорил. Значит, так... Тут вся трудность в том, что мы не знаем ни кривизны мира, ни расстояния до солнца. Если бы у нас было много наблюдений вдоль всей линии Города – понимаешь? – не нынешнего города, а от начала до конца, – тогда мы могли бы определить эти величины. Большая дуга нужна, понимаешь? По крайней мере – несколько сотен километров. А у нас весь материал на дуге в пятьдесят километров. Поэтому и точность ничтожная.

– Дай мне самый минимум и самый максимум, – сказал Гейгер.

– Максимум – бесконечность, – сказал Андрей. – Это если мир плоский. А минимум – порядка тысячи километров.

– Дармоеды вы, – сказал Гейгер с отвращением. – Сколько я в вас денег всади, а толку от вас...

– Ты это брось, – сказал Андрей. – Я у тебя два года добиваюсь экспедиции. Хочешь знать, в каком мире ты живешь, – деньги давай, транспорт давай, людей... Иначе ничего не будет. Нам и всего-то нужна дуга километров в пятьсот. Промерим гравитацию, изменение яркости, изменение по высоте...

– Хорошо, – прервал его Гейгер. – Не будем сейчас об этом говорить. Это детали. Вы только уясните себе, что одна из целей экспедиции – добраться до начала мира. Уяснили?

– Уяснили, – сказал Андрей. – Но зачем это тебе надо – непонятно.

– Я хочу знать, что там есть, – сказал Гейгер. – А там есть что-то. Что-то такое, от чего многое может зависеть.

– Например? – спросил Андрей.

– Например, Антигород.

Андрей фыркнул.

– Антигород... Ты что, до сих пор в него веришь?

Гейгер поднялся и, заложив руки за спину, прошелся по столовой.

– Веришь, не веришь... – сказал он. – Я должен знать точно: существует он или не существует.

– Лично мне, – сказал Андрей, – давным-давно уже стало ясно, что Антигород – это просто выдумка старого руководства...

– Вроде Красного Здания, – тихонько сказал Изя, хихикнув.

Андрей нахмурился.

– Красное Здание здесь ни при чем. Гейгер и сам утверждал, что старое руководство готовило военную диктатуру, ему нужна была угроза извне – вот вам и Антигород.

Гейгер остановился перед ним.

– А почему ты, собственно, так протестуешь против похода до самого конца? Неужели тебе самому несколько не любопытно, что там может быть? Вот дал мне господь советничков!

– Да ничего там нет! – сказал Андрей, несколько, впрочем, потерявшись. – Холодина там, вечная ночь, ледяная пустыня... Обратная сторона Луны, понимаешь?

– Я располагаю другими сведениями, – сказал Гейгер. – Антигород существует. Никакой там ледяной пустыни нет, а если она и есть, то ее можно пройти. Там город, такой же, как у нас, но что там происходит, мы не знаем, и чего они там хотят – мы тоже не знаем. А вот рассказывают, например, что у них там все наоборот. Когда у нас хорошо – у них там плохо... – Он оборвал себя и снова заходил по столовой.

– Господи, – сказал Андрей. – Что за бред?..

Он взглянул на Изю и осекся. Изя сидел, закинув руку за спинку кресла, галстук у него съехал под ухо, а сам он масляно сиял и победно глядел на Андрея.

– Понятно, – сказал Андрей. – Можно узнать, из каких источников у тебя эти сведения? – спросил он Изю.

– Все из тех же, душа моя, – сказал Изя. – История – великая наука. А в нашем Городе она умеет особенно много гитик. Ведь чем, кроме всего прочего, хорош наш город? Архивы в нем почему-то не уничтожаются! Войн нет, нашествий нет, что написано пером, не вырубают топором...

– Архивы твои... – сказал Андрей с досадой.

– Не скажи! Вот Фриц не даст соврать – кто уголь нашел? Триста тысяч тонн угля в подземном хранилище! Геологи твои нашли? Нет-с, Кацман нашел. Не выходя из своего кабинетика, заметь...

– Короче говоря, – сказал Гейгер, снова усаживаясь в свое кресло, – наука наукой, архивы архивами, а я хочу знать следующее. Первое. Что у нас в тылу? Можно ли там жить? Что полезного можно оттуда извлечь? Второе. Кто там живет? На всем протяжении: от этого места, – он постучал ногтем в стол, – и до самого конца мира, или начала, или докуда вы там дойдете... Что это за люди? Люди ли? Почему они там? Как туда попали? Чем живут?.. И третье. Все, что вам удастся выяснить об Антигороде. Это ПОЛИТИЧЕСКАЯ цель, которую я перед вами ставлю. И это – истинная цель экспедиции, Андрей, вот что ты должен понять. Ты поведешь эту экспедицию, выяснишь все, что я сказал, и доложишь результаты мне, здесь, в этой вот комнате.

– Что-что? – сказал Андрей.

– Доложишь. Здесь. Лично.

– Ты хочешь послать туда меня?

– Естественно! А ты как думал?

– Позволь... – Андрей растерялся. – С какой это стати?.. Я вовсе никуда не собирался... У меня дел по горло, на кого я все это брошу?.. Да и не хочу я никуда идти!

– То есть как это – не хочешь? Что же ты мне голову морочил? Если не тебя, кого же я пошлю?

– Господи, – сказал Андрей. – Да кого угодно! Поставь начальником Кехаду... опытнейший разведчик... Или Бутца, например...

Под пристальным взглядом Гейгера он замолчал.

– Давай лучше не будем говорить ни о Кехаде, ни о Бутце, – негромко сказал Гейгер.

Андрей не нашелся что ответить, и наступила неловкая тишина. Потом Гейгер налил себе остывшего кофе.

– В этом городе, – сказал он по-прежнему негромко, – я доверяю буквально двум-трем человекам, не более. Из них возглавить экспедицию можешь только ты. Потому что я уверен: если я попрошу тебя дойти до конца, ты дойдешь до конца. Не повернешь с полдороги и никому не разрешишь повернуть с полдороги. И когда ты потом

представишь отчет, я смогу верить этому отчету. Изиному отчету, например, я бы тоже мог поверить, но Изя – ни к черту не годный администратор и совершенно никудышный политик. Понимаешь меня? Поэтому решай. Либо ты возглавляешь эту экспедицию, либо экспедиция вообще не состоится.

Снова наступило молчание. Изя с неловкостью сказал:

– О-хо-хо-хо-хо... Может, мне выйти, администраторы?

– Сиди, – приказал Гейгер, не поворачиваясь к нему. – Вон – жри пирожные.

Андрей лихорадочно соображал. Все бросить. Сельму. Дом. Налаженную спокойную жизнь... На кой черт мне это сдалось? Амалию. Тащиться куда-то. Жара. Грязь. Дрянная жратва... Постарел я, что ли? Пару лет назад такое предложение привело бы меня в восторг. А сейчас не хочу. Ну вот совсем не хочу... Изя каждый день – в гомерических порциях. Военные. Солдатня. И ведь пешком же, наверное, всю тысячу километров – пешком, да еще с мешком на плечах, и не с пустым, мать его, мешком... И оружие. Мать честная, там ведь стрелять, может быть, придется!.. На фига мне это сдалось – под пулями торчать? На фига козе баян? На хрена волку жилетка – по кустам ее трепать?.. Надо будет дядю Юру взять обязательно – я этим военным ни хрена не верю... Жара, и мозоли, и вонь... А на самом краю – холодина, наверное, проклятушая... Хорошо хоть солнце будет все время в затылок... И Кехаду надо взять, не пойду без Кехады и все – мало ли что ты ему не доверяешь, зато с Кехадой я за научную часть буду спокоен... И столько времени без бабы – это же с ума сойти, я уже так отвык. Но ты мне за это заплатишь. Ты мне штатных единиц, во-первых, в канцелярию подбросишь – в отдел социальной психологии... и в геодезию не мешает... Во-вторых, Варейкису по рукам. И вообще все эти идеологические ограничения – чтобы духу их не было у меня в науке. В других отделах – пожалуйста, это меня не касается... Ведь там же воды нет, елки-палки! Ведь город почему все время на юг ползет – на севере источники иссякают. Что же, прикажете воду с собой тащить? На тысячу километров?..

– Что же – я воду на горбу с собой потащу? – раздраженно спросил он.

Гейгер изумленно задрал брови.

– Какую воду?

Андрей спохватился.

– В общем ладно, – сказал он. – Только военных я сам подберу, раз уж ты так на них настаиваешь. А то насыешь мне разных

болванов... И чтобы единоначалие! – грозно сказал он, подняв палец.
– Главный – я!

– Ты, ты, – успокаивающе сказал Гейгер. Он улыбался, откинувшись в кресле. – Ты вообще будешь подбирать всех. Единственного человека я тебе навязываю – Изю. Остальные – твои. О хороших механиках позаботься, врача подбери...

– Кстати, транспорт какой-нибудь будет у меня?

– Будет, – сказал Гейгер. – И транспорт будет настоящий. Такого еще у нас не было. На себе переть ничего не придется, разве что – оружие... Ты не отвлекайся, это все мелочи. Это мы все еще специально обсудим, когда ты подберешь начальников подразделений... Я вот на что хочу обратить ваше внимание. Секретность! Это вы мне, ребята, обеспечьте. Конечно, совсем скрыть такую затею невозможно, значит, придется пустить дезу – за нефтью отправились, например. На двести сороковой километр. Но политические цели экспедиции должны быть известны только вам. Договорились?

– Договорились, – отозвался Андрей озабоченно.

– Изя, это особенно к тебе относится. Слышишь?

– Угу, – сказал Изя с набитым ртом.

– А почему, собственно, такая уж секретность? – спросил Андрей.
– Что мы такое собираемся делать, чтобы вокруг этого секретность разводить?

– Не понимаешь? – спросил Гейгер, скривившись.

– Не понимаю, – сказал Андрей. – Совершенно не вижу, что тут такого... угрожающего системе.

– Да не системе, балда! – сказал Гейгер. – Тебе! Тебе это угрожает! Неужели непонятно, что они так же боятся нас, как и мы их?

– Кто – они? Антигорожане твои, что ли?

– Ну естественно! Если мы сообразили послать, наконец, разведку, почему не предположить, что они сделали это давным-давно? Что в Городе полным-полно их шпионов? Не улыбайся, не улыбайся, дурачок! Это тебе не шутки! Налетишь на засаду – вырежут вас всех, как цыплят...

– Ладно, – сказал Андрей. – Убедил. Молчу.

Некоторое время Гейгер с сомнением его рассматривал, потом сказал:

– Ну хорошо. Значит, цели вы поняли. Насчет секретности – тоже. Значит, собственно, все. Сегодня подпишу приказ о твоём назначении руководителем операции... н-ну, скажем... м-м...

– «Мрак и туман», – подсказал Изя, невинно тараща глаза.

– Что? Нет... Слишком длинно. Скажем... «Зигзаг». Операция «Зигзаг». Хорошо звучит, правда? – Гейгер вытянул из нагрудного кармана блокнотик и что-то записал. – Ты, Андрей, можешь приступить к подготовке. Я имею в виду пока чисто научную часть. Подбирай людей, уточняй свои задачи... оборудование заказывай, снаряжение... Твоим заказам я обеспечу зеленую улицу. Кто у тебя заместитель?

– По канцелярии? Бутц.

Гейгер поморщился.

– Ну ладно, – сказал он. – Пусть будет Бутц. Взваливай на него всю канцелярию, а сам полностью переключайся на операцию «Зигзаг» ... И предупреди своего Бутца, чтобы поменьше трепал языком! – гаркнул он вдруг.

– Вот что, – сказал Андрей. – Давай с тобой договоримся...

– К черту, к черту! – сказал Гейгер. – Не желаю я сейчас на эти темы разговаривать. Знаю я, что ты мне хочешь сказать! Но рыба гниет с головы, господин советник, а ты развел у себя в канцелярии... ч-черт!..

– Якобинцев, – подсказал Изя.

– А ты, еврей, молчи! – заорал Гейгер. – Черт бы вас всех подрал, болтунов!.. Сбили меня совсем... О чем я говорил?

– Что ты не желаешь на эти темы разговаривать, – сказал Изя.

Гейгер непонимающе уставился на него, и тогда Андрей сказал нарочито спокойно:

– Я очень прошу тебя, Фриц, оградить моих сотрудников от всяческих идеологических благоглупостей. Я этих людей сам подбирал, и я им верю, и, если ты действительно хочешь иметь в Городе науку – оставь их в покое.

– Ну хорошо, хорошо, – проворчал Гейгер. – Не будем сегодня об этом...

– Нет, будем, – кротко сказал Андрей, умиляясь самому себе. – Ты ведь меня знаешь – я целиком за тебя. Пойми, пожалуйста: эти люди не могут не брюзжать. Так уж они устроены. Кто не брюзжит, тот ни черта не стоит. Пусть брюзжат! За идеологической нравственностью у себя в канцелярии я уж как-нибудь и сам прослежу. Можешь быть спокоен. И скажи, пожалуйста, нашему дорогому Румеру, чтобы он зарубил на своем павианьем носу...

– А можно без ультиматумов? – высокомерно осведомился Фриц.

– Можно, – сказал Андрей совсем уже кротко. – Все можно. Без ультиматумов можно, без науки можно, без экспедиции можно...

Гейгер, шумно дыша через раздутые ноздри, смотрел на него в упор.

– Я не хочу сейчас говорить на эту тему! – сказал он.

И Андрей понял, что на сегодня хватит. Тем более что и в самом деле на такие темы лучше говорить с глазу на глаз.

– Не хочешь, и не надо, – сказал он примирительно. – Просто, к слову, пришлось. Варейкис меня сегодня достал, понимаешь... Слушай, тут у меня вот какой вопрос. Общее количество груза, который я смогу с собой взять. Хотя бы ориентировочно.

Гейгер еще несколько раз с силой выдохнул воздух через ноздри, потом покосился на Изю и снова откинулся в кресле.

– Рассчитывай тонн на пять, на шесть... может быть, и больше, – сказал он. – Свяжись с Манджуро... Только учти, он хоть и четвертое лицо в государстве, но о настоящих целях экспедиции он не знает ничего. За транспорт отвечает он. Через него узнаешь все подробности.

Андрей кивнул.

– Хорошо. А из военных, ты знаешь, кого я хочу взять? Полковника.

Гейгер встрепенулся.

– Полковника? У тебя губа не дура! А с кем я здесь останусь? На полковнике весь генштаб держится...

– Вот и прекрасно, – сказал Андрей. – Значит, полковник одновременно произведет глубокую рекогносцировку. Лично изучит, так сказать, возможный театр. И отношения у меня с ним налажены... Между прочим, ребята, я сегодня устраиваю небольшую вечеринку. Мясо по-бургундски. Вы как?

На лице Гейгера немедленно появилось выражение озабоченности.

– Гм... Сегодня? Не знаю, дружище, не могу сказать точно... Просто не знаю. Возможно, заскочу на минутку.

Андрей вздохнул.

– Ладно уж. Только если сам не придешь, не присылай, пожалуйста, Румера вместо себя, как в прошлый раз. Я, понимаешь, к себе не президента приглашаю, а Фрица Гейгера. В официальных заменах не нуждаюсь.

– Ну, посмотрим, посмотрим... – сказал Гейгер. – Еще по чашечке? Время есть. Паркер!

Румяный Паркер возник на пороге, выслушал, наклонив голову с идеальным пробормотом, приказ о кофе и сказал деликатным голосом:

– Господина президента ждет у телефона советник Румер.

– Легок на помине... – проворчал Гейгер, поднимаясь. – Простите, ребята, я сейчас.

Он вышел, и тотчас же явились девочки в белых передничках. Они быстро и бесшумно организовали второй круг кофе и исчезли вместе с Паркером.

– Ну а ты-то придешь? – спросил Андрей Изю.

– С удовольствием, – сказал Изя, хлебая кофе с присвистом и причмокиванием. – А кто будет?

– Полковник будет. Дольфюсы будут, Чачуа, может быть... А кто тебе, собственно, нужен?

– Дольфюсика мне, честно говоря, не особенно нужна.

– Ничего, мы на нее Чачуа напустим...

Изя покивал, а потом вдруг сказал:

– А ведь давненько мы не собирались, а?

– Да, брат, дела...

– Врешь, врешь, какие там у тебя дела... Сидишь, коллекцию свою перетираешь... Смотри, не застрелись там случайно... Да! Я тебе, между прочим, пистолетик раздобыл. Настоящий смит-и-вессон, из прерий...

– Честно?!

– Только он ржавый, заржавел весь...

– Не вздумай чистить! – закричал Андрей, подсакивая. – Неси как есть, а то испортишь все, – руки-крюки!.. И не пистолетик это тебе, а револьвер. Где нашел?

– Где надо, там и нашел, – сказал Изя. – Погоди, в экспедиции мы столько найдем – домой не дотащишь...

Андрей поставил чашечку с кофе. Этот аспект экспедиции в голову ему еще не приходил, и он моментально ощутил необычайный подъем, представив себе уникальный набор кольтов, браунингов, маузеров, наганов, парабеллумов, зауэров, вальтеров... и дальше, в глубь времен: дуэльных лефоше и лепажей... огромных абордажных пистолетов со штыком... великолепных самоделок с Дальнего Запада... всех этих неописуемых драгоценностей, о которых он и мечтать не решался, читая и перечитывая каталог частного собрания миллионера Бруннера, каким-то чудом занесенный в Город. Футляры, ящики, склады оружия... Может быть, «чешску збройовку» повезет найти, с шалльдампфером... или «астру-девятьсот» ... а может быть, черт побери, и «девятку» – «маузер ноль-восемь», редкость, мечта... Да-а...

– А противотанковые мины ты не собираешь? – спросил Изя. – Или, скажем, кулеврины?

– Нет, – сказал Андрей, радостно улыбаясь. – Я только личное стрелковое оружие...

– А то вот предлагают по случаю базуку, – сказал Изя. – Недорого просят – всего двести тугриков.

– Насчет базуки, братец, иди ты к Румеру, – сказал Андрей.

– Спасибо. «У Румера я уже бывал», – сказал Изя, и улыбка его застыла.

А, ч-черт, подумал Андрей с неловкостью, но тут, к счастью, вернулся Гейгер. Он был доволен.

– А ну-ка, налейте чашечку президенту, – сказал он. – О чем вы здесь?..

– О литературе и искусстве, – сказал Изя.

– О литературе? – Гейгер отхлебнул кофе. – Ну-ка, ну-ка! Что именно мои советники говорят о литературе?

– Да треплется он, – сказал Андрей. – О моей коллекции мы говорили, а не о литературе.

– А что это вдруг тебя заинтересовала литература? – спросил Изя, с любопытством глядя на Гейгера. – Такой был всегда практичный президент...

– Потому и заинтересовала, что практичный, – сказал Гейгер. – Считайте, – предложил он и принялся загибать пальцы. – В городе выходят: два литературных журнала, четыре литературных приложения к газетам, по крайней мере десятков серийных выпусков приключенческой белиберды... вот и все, кажется. И еще полтора десятка названий книг в год. И при этом – ничего сколько-нибудь приличного. Я говорил со сведущими людьми. Ни до Поворота, ни после в Городе не появилось ни одного сколько-нибудь значительного литературного произведения. Одна макулатура. В чем дело?

Андрей и Изя переглянулись. Да, Гейгер всегда умел удивить, ничего не скажешь.

– Что-то я тебя все-таки не понимаю, – сказал Изя Гейгеру. – Какое, собственно, тебе до этого дело? Ищешь писателя, чтобы поручить ему свое жизнеописание?

– А если без шуточек? – терпеливо сказал Гейгер. – В Городе миллион человек. Больше тысячи числятся литераторами. И все бездари. То есть сам я, конечно, не читаю...

– Бездари, бездари, – кивнул Изя. – Правильно тебя информировали. Ни Толстых, ни Достоевских не видно. Ни Львов, ни даже Алексеев...

– А в самом деле, почему? – спросил Андрей.

– Писателей выдающихся – нет, – продолжал Гейгер. – Художников – нет. Композиторов – нет. Этих... скульпторов тоже нет.

– Архитекторов нет, – подхватил Андрей. – Киношников нет...

– Ничего такого нет, – сказал Гейгер. – Миллион человек! Меня это сначала просто удивило, а потом, честно говоря, встревожило.

– Почему? – сейчас же спросил Изя.

Гейгер в нерешительности пожевал губами.

– Трудно объяснить, – признался он. – Сам я, лично, не знаю, зачем все это нужно, но я слышал, что в каждом порядочном обществе все это есть. А раз у нас этого нет, значит, что-то не в порядке... Я рассуждаю так. Ну, хорошо: до Поворота жизнь в городе была тяжелая, стоял кабак, и было, предположим, не до изящных искусств. Но вот жизнь в общем налаживается...

– Нет, – перебил его Андрей задумчиво. – Это здесь ни при чем. Насколько я знаю, лучшие мастера мира работали как раз в обстановке ужасных кабаков. Тут нет никакой закономерности. Мастер мог быть нищим, сумасшедшим, пьяницей, а мог быть и вполне обеспеченным, даже богатым человеком, как Тургенев, например... Не знаю.

– Во всяком случае, – сказал Изя Гейгеру, – если ты собираешься, например, резко повысить уровень жизни своих литераторов...

– Да! Например! – Гейгер снова отхлебнул кофе и, облизывая губы, стал смотреть на Изю прищуренными глазами.

– Ничего из этого не выйдет, – сказал Изя с каким-то удовлетворением. – И не надейся!

– Погодите, – сказал Андрей. – А может быть, талантливые творческие люди просто не попадают в Город? Не соглашаются сюда идти?

– Или, скажем, им не предлагают, – сказал Изя.

– Бросьте, – сказал Гейгер. – Пятьдесят процентов населения Города – молодежь. На Земле они были никто. Как можно было определить, творческие они или нет?

– А может быть, как раз и можно определить, – сказал Изя.

– Пусть так, – сказал Гейгер. – В Городе несколько десятков тысяч человек, которые родились и выросли здесь. Как с ними? Или талант – это обязательно наследственное?

– Вообще-то, действительно, странно, – сказал Андрей. – Инженеры в Городе есть прекрасные. Ученые – очень неплохие. Может быть, не Менделеевы, но на крепком мировом уровне. Взять того же Бутца... Талантливых людей пропасть – изобретатели, администраторы, ремесленники... вообще всякие прикладники...

– То-то и оно, – сказал Гейгер. – Это-то меня и удивляет.

– Слушай, Фриц, – сказал Изя. – Ну зачем тебе лишние хлопоты? Ну, появятся у тебя талантливые писатели, ну, начнут они тебя костерить в своих гениальных произведениях – и тебя, и твои порядки, и

твоих советников... И пойдут у тебя самые неприятные неприятности. Сначала ты будешь их уговаривать, потом начнешь грозить, потом придется тебе их сажать...

– Да почему это они будут меня обязательно костерить? – возмутился Гейгер. – А может быть, наоборот, – воспевать?

– Нет, – сказал Изя. – Воспевать они не станут. Тебе же Андрей сегодня объяснил насчет ученых. Так вот, великие писатели тоже всегда брюзжат. Это их нормальное состояние, потому что они – это больная совесть общества, о которой само общество, может быть, даже и не подозревает. А поскольку символом общества являешься в данном случае ты, тебе в первую очередь и накидают банок... – Изя хихикнул. – Воображаю, как они расправятся с твоим Румером!

Гейгер пожал плечом.

– Конечно, если у Румера есть недостатки, настоящий писатель обязан их изобразить. На то он и писатель, чтобы врачевать язвы...

– Сроду писатели не врачевали никаких язв, – возразил Изя. – Больная совесть просто болит, и все...

– В конце концов, не в этом дело, – прервал его Гейгер. – Ты мне прямо ответь: нынешнее положение ты считаешь нормальным или нет?

– А что считать за норму? – спросил Изя. – Можно считать нормальным положение на Земле?

– Понес, понес! – сказал Андрей, сморщившись. – Тебя же просто спрашивают: может существовать общество без творческих талантов? Правильно я понял, Фриц?

– Я даже спрошу точнее, – сказал Гейгер. – Нормально ли, чтобы миллион человек – все равно, здесь или на Земле – за десятки лет не дал ни одного творческого таланта?

Изя молчал, рассеянно теребя свою бородавку, а Андрей сказал:

– Если судить, скажем, по Древней Греции, то очень ненормально.

– Тогда в чем же дело? – спросил Гейгер.

– Эксперимент есть Эксперимент, – сказал Изя. – Но если судить, например, по монголам, то у нас все в порядке.

– Что ты хочешь этим сказать? – подозрительно спросил Гейгер.

– Ничего особенного, – удивился Изя. – Просто их тоже миллион, а может быть, даже и больше. Можно привести в пример еще, скажем, корейцев... почти любую арабскую страну...

– Ты еще возьми цыган, – сказал Гейгер недовольно.

Андрей оживился.

– А кстати, ребята, – сказал он. – А цыгане в Городе есть?

– Провалиться вам! – сердито сказал Гейгер. – Совершенно невозможно с вами серьезно разговаривать...

Он хотел добавить еще что-то, но тут на пороге возник румяный Паркер, и Гейгер сейчас же посмотрел на часы.

– Ну, все, – сказал он, поднимаясь. – Понеслась!.. – Он вздохнул и принялся застегивать френч. – По местам! По местам, советники! – сказал он.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Отто Фрижа не соврал: ковер был действительно роскошный. Он был черно-багровый, глубоких благородных оттенков, он занял всю левую стену в кабинете, напротив окон, и кабинет с ним приобрел совершенно особенный вид. Это было дьявольски красиво, это было элегантно, это было значительно.

В полном восторге Андрей чмокнул Сельму в щеку, и она снова ушла на кухню командовать прислугой, а Андрей походил по кабинету, рассматривая ковер со всех точек зрения, приглядываясь к нему то впрямую, то искоса, боковым зрением, потом раскрыл заветный шкаф и извлек оттуда здоровенный маузер – десятизарядное чудовище, рожденное в спецотделе Маузерверке, излюбленное, прославившееся в гражданскую войну оружие комиссаров в пыльных шлемах, а также японских императорских офицеров в шинелях с воротниками собачьего меха.

Маузер был чистый, воронено отсвечивающий, на вид совершенно готовый к бою, но, к сожалению, со сточенным бойком. Андрей подержал его двумя руками, покачивая на весу, потом взялся за округлую рифленую рукоять, опустил, а затем поднял на уровень глаз и прицелился в ствол яблони за окном, как Гейгер на стрельбище.

Потом он повернулся к ковру и некоторое время выбирал место. Место скоро нашлось. Андрей сбросил туфли, залез с ногами на кушетку и приложил к месту маузер. Прижимая его к ковру одной рукой, он откинулся как можно дальше назад и полюбовался. Это было прекрасно. Он соскочил на пол, в одних носках опрометью побежал в прихожую, вытащил из стенного шкафа ящик с инструментом и вернулся обратно к ковру.

Он повесил маузер, потом люгер с оптическим прицелом (из этого люгера Копчик застрелил насмерть двух милиционеров в последний день Поворота) и возился с браунингом модели девятьсот шестого года – маленьким, почти квадратным, – когда знакомый голос за спиной произнес:

– Правее, Андрей, чуть правее. И на сантиметр ниже.

– Так? – спросил Андрей, не оборачиваясь.

– Так.

Андрей закрепил браунинг, задом спрыгнул с кушетки и попятился к самому столу, озирая дело рук своих.

– Красиво, – похвалил Наставник.

– Красиво, но мало, – сказал Андрей со вздохом.

Наставник, неслышно ступая, подошел к шкафу, присел на корточки, покопался и достал армейский наган.

– А это? – спросил он.

– Деревяшек на рукоятке нет, – сказал Андрей с сожалением. – Все время собираюсь заказать и каждый раз забываю... – Он надел туфли, присел на подоконник рядом со столом и закурил. – Сверху у меня будет дуэльный арсенал. Первая половина девятнадцатого века. Красивейшие экземпляры попадают, с серебряной насечкой, и формы самые удивительные – от таких вот маленьких до огромных, длинноствольных...

– Лепажки, – сказал Наставник.

– Нет, лепажки как раз маленькие... А внизу, над самой кушеткой, я развешу боевое оружие семнадцатого-восемнадцатого веков...

Он замолчал, представляя себе, как это будет прекрасно. Наставник, сидя на корточках, копался в шкафу. За окном неподалеку стрекотала машинка для стрижки газонов. Чирикали и посвистывали птицы.

– Хорошая идея – повесить здесь ковер, верно? – сказал Андрей.

– Прекрасная, – сказал Наставник, поднимаясь. Он вытащил из кармана носовой платок и вытер руки. – Только торшер я бы поставил в тот угол, рядом с телефоном. И телефон нужно белый.

– Белый мне не полагается, – сказал Андрей со вздохом.

– Ничего, – сказал Наставник. – Вернешься из экспедиции – будет у тебя и белый.

– Значит, это правильно, что я согласился идти?

– А у тебя были сомнения?

– Да, – сказал Андрей и погасил окурок в пепельнице. – Во-первых, мне не хотелось. Просто не хотелось. Дома хорошо, жизнь наладилась, много работы. Во-вторых, если говорить честно, – страшно-вато.

– Ну-ну-ну, – сказал Наставник.

– Нет, в самом деле. Вот вы – вы можете мне сказать, с чем я там встречусь? Вот видите! Полная неизвестность... Десяток страшных Изиных легенд и полная неизвестность... Ну и плюс все прелести

походной жизни. Знаю я эти экспедиции! И в археологических я бывал, и во всяких прочих...

И тут, как он и ожидал, Наставник спросил с интересом:

– А что в этих экспедициях... как бы это выразиться... что в них самое страшное, что ли, самое неприятное?

Андрей очень любил этот вопрос. Ответ на него он придумал очень давно и даже записал в книжечку, и впоследствии неоднократно использовал его в разговорах с разными девицами.

– Самое страшное? – повторил он для разгону. – Самое страшное – это вот что. Представьте себе: палатка, ночь, пустыня вокруг, безлюдье, волки воют, град, буря... – Он сделал паузу и посмотрел на Наставника, который весь подался вперед, слушая. – Град, понимаете? С голубиное яйцо величиной... И надо идти по нужде.

Напряженное ожидание на лице Наставника сменилось несколько растерянной улыбкой, потом он расхохотался.

– Смешно, – сказал он. – Сам придумал?

– Сам, – гордо сказал Андрей.

– Молодец, смешно... – Наставник опять засмеялся, крутя головой. Потом он сел в кресло и стал смотреть в сад. – А хорошо здесь у вас, на Белом Дворе, – сказал он.

Андрей обернулся и тоже посмотрел в сад. Залитая солнцем зелень, бабочки над цветами, неподвижные яблони, а метрах в двухстах, за кустами сирени – белые стены и красная крыша соседнего коттеджа... И Ван в длинной белой рубахе неторопливо, покойно шагает за стрекочущей машинкой, а его младшенький семенит рядом, ухватившись за его штанину...

– Да, Ван обрел покой, – сказал Наставник. – Может быть, это и есть самый счастливый человек в Городе.

– Очень может быть, – согласился Андрей. – Во всяком случае, про других своих знакомых я бы этого не сказал.

– Ну, такой уж у тебя сейчас круг знакомых, – возразил Наставник. – Ван среди них – исключение. Я бы даже просто сказал, что он вообще человек другого круга. Не твоего.

– Да-а, – задумчиво протянул Андрей. – А ведь когда-то вместе грузили мусор, за одним столом сидели, из одной кружки пили...

Наставник пожал плечами.

– Каждый получает то, чего он заслуживает.

– То, чего он добивается, – пробормотал Андрей.

– Можно и так сказать. Если угодно, это одно и то же. Вану ведь всегда хотелось быть в самом низу. Восток есть Восток. Нам этого не понять. Вот и разошлись ваши дорожки.

– Самое забавное, – сказал Андрей, – что ведь мне с ним по-прежнему хорошо. У нас всегда есть о чем поговорить, есть что вспомнить... Когда я с ним, я никогда не испытываю неловкости.

– А он?

Андрей подумал.

– Не знаю. Но скорее да, чем нет. Иногда мне вдруг кажется, что он изо всех сил старается держаться от меня подальше.

Наставник потянулся, хрустнув пальцами.

– Да разве в этом дело? – сказал он. – Когда Ван сидит с тобой за бутылкой водки и вы вспоминаете, как оно все было, Ван отдыхает, согласись. А когда ты сидишь с полковником за бутылкой шотландского, разве кто-нибудь из вас отдыхает?

– Какой уж тут отдых, – пробормотал Андрей. – Чего там... Полковник мне просто нужен. А я – ему.

– А когда ты обедаешь с Гейгером? А когда пьешь пиво с Дольфюсом? А когда Чачуа рассказывает тебе по телефону новые анекдоты?..

– Да, – сказал Андрей. – Все это так. Да.

– У тебя разве что с одним Изей сохранились прежние отношения, да и то...

– Вот именно, – сказал Андрей. – Да и то.

– Не-ет, и речи быть не может! – сказал Наставник решительно. – Ты только представь себе: вот здесь сидит полковник, заместитель начальника штаба вашей армии, старый английский аристократ знаменитого рода. Вот здесь сидит Дольфюс, советник по строительству, знаменитый некогда в Вене инженер. И жена его – баронесса, прусская юнкерша. А напротив – Ван. Дворник.

– Н-да, – сказал Андрей. Он почесал в затылке и засмеялся. – Бес тактно как-то получается...

– Нет-нет! Ты забудь про деловую бес тактность, бог с ней. Ты представь себе, что Ван будет при этом чувствовать, каково будет ему?..

– Понимаю, понимаю... – сказал Андрей. – Понимаю... Да ну, все это вздор! Позову его завтра, сядем вдвоем, посидим, Мэйлинь с Сельмой чифань нам какой-нибудь смастерят, а мальчишке я «бульдог» подарю – есть у меня, без курка...

– Выпьете! – подхватил Наставник. – Расскажите друг другу что-нибудь из жизни, и ему есть тебе, о чем рассказать, и ты тоже хороший рассказчик, а он ведь ничего не знает ни про Пенджикент, ни про Харбаз... Прекрасно будет! Я даже немножко завидую.

– А вы приходите, – сказал Андрей и засмеялся.

Наставник тоже засмеялся.

– Буду мысленно с вами, – сказал он.

В это время в парадной позвонили. Андрей посмотрел на часы – было ровно восемь.

– Это наверняка полковник, – сказал он и вскочил. – Я пойду?

– Ну разумеется! – сказал Наставник. – И прошу тебя, впредь никогда не забывай, что Ванов в Городе – сотни тысяч, а советников – всего двадцать...

Это действительно был полковник. Он всегда являлся в точно назначенный срок, а следовательно – первым. Андрей встретил его в прихожей, пожал ему руку и пригласил в кабинет. Полковник был в штатском. Светло-серый костюм сидел на нем, как на манекене, седые редкие волосы были аккуратно зачесаны, туфли сияли, гладко выбритые щеки сияли тоже. Был он небольшого роста, сухой, с хорошей выправкой, но в то же время чуть расслабленный, без этой деревянности, столь характерной для немецких офицеров, которых в армии было полным-полно.

Войдя в кабинет, он остановился перед ковром и, заложив за спину сухие белые руки, некоторое время молча обозревал багрово-черное великолепие вообще и развешенное на этом фоне оружие, в частности. Потом он сказал: «О!» и посмотрел на Андрея с одобрением.

– Садитесь, полковник, – сказал Андрей. – Сигару? Виски?

– Благодарю, – сказал полковник, усаживаясь. – Капля возбуждающего не помешает. – Он извлек из кармана трубку. – Сегодня был бешеный день, – объявил он. – Что там произошло у вас на площади? Мне приказали поднять казармы по тревоге.

– Какой-то болван, – сказал Андрей, роясь в баре, – получил на складе динамит и не нашел лучшего места споткнуться, как у меня под окнами.

– А, значит, никакого покушения не было?

– Господь с вами, полковник! – сказал Андрей, наливая виски. – Здесь у нас все-таки не Палестина.

Полковник усмехнулся и принял от Андрея бокал.

– Вы правы. В Палестине инциденты такого рода никого не удивляли. Впрочем, и в Йемене тоже...

– А вас, значит, подняли по тревоге? – спросил Андрей, усаживаясь со своим бокалом напротив.

– Представьте себе. – Полковник отхлебнул из бокала, подумал, задравши брови, потом осторожно поставил бокал на телефонный

столик рядом с собой и принялся набивать трубку. Руки у него были старческие, с серебристым пушком, но не дрожали.

– И какова же оказалась боевая готовность войск? – осведомился Андрей, тоже отхлебывая из бокала.

Полковник снова усмехнулся, и Андрей ощутил мгновенную зависть – ему очень хотелось бы уметь усмехаться так же.

– Это военная тайна, – сказал полковник. – Но вам я скажу. Это было ужасно! Такого я не видывал даже в Йемене. Да что там Йемен! Такого я не видывал, даже когда дрессировал этих чернозадых в Уганде!.. Половины солдат в казармах не оказалось вовсе. Половина другой половины явилась по тревоге без оружия. Те, кто явился с оружием, не имели боеприпасов, потому что начальник склада боепитания вместе с ключами отработывал свой час на Великой Стройке...

– Вы, я надеюсь, шутите, – сказал Андрей.

Полковник раскурил трубку и, разгоняя дым ладонью, посмотрел на Андрея бесцветными старческими глазами. Вокруг глаз у него была масса морщинок, и казалось, что он смеется.

– Может быть, я немного и преувеличил, – сказал он, – однако посудите сами, советник. Наша армия создана без всякой определенной цели только потому, что некое известное нам обоим лицо не мыслит государственной организации без армии. Очевидно, что никакая армия не способна нормально функционировать, если отсутствует реальный противник. Пусть даже только потенциальный... От начальника генерального штаба и до последнего кашевара вся наша армия сейчас проникнута убеждением, что эта затея есть просто игра в оловянные солдатики.

– А если предположить, что потенциальный противник все же существует?

Полковник снова окутался медвяным дымом.

– Тогда назовите его нам, господа политики!

Андрей снова отхлебнул из бокала, подумал и спросил:

– А скажите, полковник, у генштаба есть какие-нибудь оперативные планы на случай вторжения извне?

– Ну-у... я бы не назвал это собственно оперативными планами. Представьте себе хотя бы ваш русский генштаб на Земле. Существуют у него оперативные планы на случай вторжения, скажем, с Марса?

– Что ж, – сказал Андрей. – Я вполне допускаю, что что-нибудь вроде и существует...

– «Что-нибудь вроде» существует и у нас, – сказал полковник. – Мы не ждем вторжения ни сверху, ни снизу. Мы не допускаем возможности серьезной угрозы с юга... исключая, разумеется,

возможность успешного бунта уголовников, работающих на поселениях, но к этому мы готовы... Остается север. Мы знаем, что во время Поворота и после него на север бежало довольно много сторонников прежнего режима. Мы допускаем – теоретически, – что они могут организовать и предпринять какую-нибудь диверсию или даже попытку реставрации... – Он затаился, сипя трубкой. – Однако, при чем здесь армия? Очевидно, что на случай всех этих угроз вполне достаточно специальной полиции господина советника Румера, а в тактическом отношении – самой вульгарной кордонной тактики...

Андрей подождал немного и спросил:

– Надо ли понимать вас так, полковник, что генеральный штаб не готов к серьезному вторжению с севера?

– Вы имеете в виду вторжение марсиан? – сказал полковник задумчиво. – Нет, не готов. Я понимаю, что вы хотите сказать. Но у нас нет разведки. Возможность такого вторжения никто и никогда серьезно не рассматривал. У нас попросту нет для этого никаких данных. Мы не знаем, что творится уже на пятидесятом километре от Стеклоного Дома. У нас нет карт северных окрестностей... – Он засмеялся, выставив длинные желтоватые зубы. – Городской архивариус господин Кацман предоставил в распоряжение генштаба что-то вроде карты этих районов... Как я понимаю, он составил ее сам. Этот замечательный документ хранится у меня в сейфе. Он оставляет вполне определенное впечатление, что господин Кацман исполнял эту схему за едой и неоднократно ронял на нее свои бутерброды и проливал кофе...

– Однако же, полковник, – сказал Андрей с упреком, – моя канцелярия представила вам, по-моему, совсем неплохие карты!

– Несомненно, несомненно, советник. Но это, главным образом, карты обитаемого Города и южных окрестностей. Согласно основной установке, армия должна находиться в боевой готовности на случай беспорядков, а беспорядки могут иметь место именно в упомянутых районах. Таким образом, проделанная вами работа совершенно необходима, и, благодаря вам, к беспорядкам мы готовы. Однако, что касается вторжения... – Полковник покачал головой.

– Насколько я помню, – сказал Андрей значительно, – моя канцелярия не получала от генштаба никаких заявок на картографирование северных районов.

Некоторое время полковник смотрел на него, трубка его погасла.

– Надо сказать, – медленно проговорил он, – что с такими заявками мы обращались лично к президенту. Ответы были, признаться, совершенно неопределенные... – Он снова помолчал. – Так вы

полагаете, советник, что для пользы дела с такими заявками надо обращаться к вам?

Андрей кивнул.

– Сегодня я обедал у президента, – сказал он. – Мы много говорили на эту тему. Вопрос о картографировании северных районов в принципе решен. Однако необходимо посильное участие военных специалистов. Опытный оперативный работник... ну, вы, несомненно, понимаете.

– Понимаю, – сказал полковник. – Кстати, где вы раздобыли такой маузер, советник? В последний раз, если не ошибаюсь, я видел подобные чудовища в Батуми, году в восемнадцатом...

Андрей принялся рассказывать ему, где и как он достал этот маузер, но тут в передней раздался новый звонок. Андрей извинился и пошел встречать.

Он надеялся, что это будет Кацман, однако, противу всяких ожиданий, это оказался Отто Фрижа, которого Андрей, собственно, и не приглашал вовсе. Как-то из головы вылетело. Отто Фрижа постоянно вылетал у него из головы, хотя как начальник АХЧ Стеклянного Дома он был человеком в высшей степени полезным и даже незаменимым. Впрочем, Сельма этого обстоятельства не забывала никогда. Вот и сейчас она принимала от Отто аккуратную корзинку, заботливо прикрытую тончайшей батистовой салфеточкой, и маленький букетик цветов. Отто был милостиво допущен к руке. Он щелкал каблуками, краснел ушами и был, очевидно, счастлив.

– А, дружище, – сказал ему Андрей. – Вот и ты!

Отто был все такой же. Андрей вдруг почему-то подумал, что из всех старичков Отто изменился меньше всех. Собственно, совсем не изменился. Все та же цыплячья шея, огромные оттопыренные уши, выражение постоянной неуверенности на веснушчатой физиономии. И щелкающие каблуки. Он был в голубой форме спецполиции и при квадратной медальке «За заслуги».

– Большущее тебе спасибо за ковер, – говорил Андрей, обняв его за плечи и ведя к себе в кабинет. – Сейчас я тебе покажу, как он у меня выглядит... Пальчики оближешь, от зависти помрешь...

Однако, попавши в кабинет, Отто Фрижа не стал ни облизывать себе пальцы, ни, тем более, помирать от зависти. Он увидел полковника.

Ефрейтор фольксштурма Отто Фрижа испытывал к полковнику Сент-Джеймсу чувства, граничащие с благоговением. В присутствии полковника он вовсе терял дар речи, стальными болтами закреплял

на своей физиономии улыбку и готов был стучать каблуком о каблук в любой момент, непрерывно и со все возрастающей силой.

Повернувшись к знаменитому ковру спиной, он стал по стойке «смирно», выпятил грудь, прижал ладони к бедрам, растопырил локти и столь резко мотнул головой в поклоне, что у него на весь кабинет хрустнули шейные позвонки. Лениво улыбаясь, полковник поднялся ему навстречу и протянул руку. В другой руке у него был бокал.

– Очень рад вас видеть... – произнес он. – Приветствую вас, господин... ум-м...

– Ефрейтор Отто Фрижа, господин полковник! – с восторгом взвизгнул Отто, согнулся пополам и щепотно потрогал пальцы полковника. – Честь имею явиться!..

– Отто, Отто! – укоризненно сказал Андрей. – Мы здесь без чинов!

Отто жалобно хихикнул, вынул платок и вытер было лоб, но тут же испугался и принялся запикивать платок обратно, не попадая в карман.

– Помнится, под Эль-Аламейном, – сказал полковник добродушно, – мои ребята привели ко мне немецкого фельдфебеля...

В передней снова раздался звонок, и Андрей, вновь извинившись, вышел, оставив несчастного Отто на съедение британскому льву.

Явился Изя. Пока он целовал Сельму в обе щеки, пока он чистил по ее требованию ботинки и подвергался обработке платяной щеткой, ввалились разом Чачуа и Дольфюс с Дольфюсихой. Чачуа волочил Дольфюсиху под руку, на ходу одолевая ее анекдотами, а Дольфюс с бледной улыбкой тащился сзади. На фоне темпераментного начальника юридической канцелярии он казался особенно серым, бесцветным и незначительным. На каждой руке у него было по теплому плащу на случай ночного похолодания.

– К столу, к столу! – нежным колокольчиком зазвенела Сельма, хлопая в ладоши.

– Дорогая! – запротестовала басом Дольфюсиха. – Но мне же нужно привести себя в порядок!..

– Зачем?! – поразился Чачуа, вращая налитыми белками. – Такую красоту – и еще приводить в какой-то порядок? В соответствии со статьей двести восемнадцатой уголовно-процессуального кодекса закон имеет воспрепятствовать...

Поднялся обычный гвалт. Андрей не успевал улыбаться. Над левым его ухом клокотал и булькал Изя, излагая что-то по поводу дикого кабака в казармах во время сегодняшней боевой тревоги, а над правым – Дольфюс с места в карьер бубнил о сортирах и о главной

канализационной магистрали, близкой к засорению... Потом все повалили в столовую. Андрей, приглашая, рассаживая, напропалую отпуская остроты и комплименты, увидел краем глаза, как отворилась дверь кабинета и оттуда, засовывая трубку в боковой карман, вышел улыбающийся полковник. Один. Сердце у Андрея упало, но тут появился и ефрейтор Отто Фрижа – по-видимому, он просто выдерживал предписываемую строевым уставом дистанцию в пять метров позади старшего по званию. Началось трескучее щелканье каблуками.

– Пить будем, гулять будем!.. – гортанно ревел Чачуа.

Зазвенели ножи и вилки. Не без труда водворив Отто между Сельмой и Дольфюсихой, Андрей сел на свое место и оглядел стол. Все было хорошо.

– И представьте, дорогая, в ковре оказалась вот такая дыра! Это в ваш огород, господин Фрижа, гадкий мальчишка!..

– Говорят, вы там расстреляли кого-то перед строем, полковник?

– И запомните мои слова: канализация, именно канализация когда-нибудь загубит наш город!..

– С такой красотой и такую маленькую рюмку?

– Отто, миленький, да оставь ты эту кость... Вот хороший кусочек!..

– Нет, Кацман, это военная тайна. Хватит с меня тех неприятностей, которые я претерпел от евреев в Палестине...

– Водки, советник?

– Благодарю вас, советник!

И щелкали под столом каблуки.

Андрей выпил подряд две рюмки водки – для разгону, – с удовольствием закусил и стал вместе со всеми слушать бесконечно длинный и фантастически неприличный тост, провозглашаемый Чачуа. Когда, наконец, выяснилось, что советник юстиции поднимает этот маленький-маленький бокал с большим-большим чувством не для того, чтобы агитировать присутствующих за все перечисленные половые извращения, а всего лишь «за самых злых и беспощадных моих врагов, с которыми я всю жизнь сражаюсь и от которых всю жизнь терплю поражения, а именно – за прекрасных женщин!..», Андрей облегченно расхохотался вместе со всеми и хлопнул третью рюмку. Дольфюсиха в совершенном изнеможении гукала и рыдала, прикрываясь салфеткой.

Все как-то очень быстро надрались. «Да! О да!» – знакомо доносилось с дальнего конца стола. Чачуа, нависнув шевелящимся носом над ослепительным декольте Дольфюсихи, говорил, не умолкая ни на секунду. Дольфюсиха изнеможенно гукала, игриво отшатывалась от



него и широченной своею спиной наваливалась на Отто. Отто уже два раза уронил вилку. Под боком у Андрея Дольфюс, оставив наконец в

покое канализацию, не к месту и не ко времени впал в служебный энтузиазм и напропалую выдавал государственные тайны. «Автономия! – угрожающе бубнил он. – Ключ к ан... авн... автономии – хлорелла!.. Великая Стройка?.. Не смешите меня. Какие, к дьяволу, дирижабли? Хлорелла!» – «Советник, советник, – урезонивал его Андрей. – Ради бога! Это совершенно необязательно знать всем. Расскажите мне лучше, как обстоят дела с лабораторным корпусом...» Прислуга уносила грязные тарелки и приносила чистые. Закуски уже смели, было подано мясо по-бургундски.

– Я поднимаю этот маленький-маленький бокал!..

– Да, о да!

– Гадкий мальчишка! Да как же можно вас не любить?

– Изя, отстань от полковника! Полковник, хотите я сяду рядом с вами?

– Четырнадцать кубометров хлореллы – это ноль... Автономия!

– Виски, советник?

– Бл-рю вас, советник!

В разгар веселья в столовой вдруг обнаружился румяный Паркер. «Господин президент просит извинить, – доложил он. – Срочное совещание. Он передает горячий привет госпоже и господину Ворониным, а равно и всем их гостям...» Паркера заставили выпить водки – для этого понадобился всеокрушающий Чачуа. Был произнесен тост за президента и за успех всех его начинаний. Стало немного тише, уже был подан кофе с мороженым и с ликерами. Отто Фрижа слезливо жаловался на любовные неудачи. Дольфюсиха рассказывала Чачуа про милый Кенигсберг, на что Чачуа кивал носом и страстно приговаривал: «А как же! Помню... Генерал Черняховский... Пять суток пушками ломали...» Паркер исчез, за окнами было уже темно. Дольфюс жадно пил кофе и развивал перед Андреем фантазмагорические проекты реконструкции северных кварталов. Полковник рассказывал Изе: «...ему дали десять суток за хулиганство и десять лет каторжных работ за разглашение государственной и военной тайны». Изя брызгал, булькал и отвечал: «Да это же старье, Сент-Джеймс! У нас это еще про Хрущева рассказывали!..» – «Опять политика!» – обиженно кричала Сельма. Она все-таки втиснулась между Изей и полковником, и старый воин по-отечески гладил ее коленку.

Андрею вдруг стало грустно. Он извинился в пустоту, встал и на онемевших ногах прошел в свой кабинет. Там он уселся на подоконнике, закурил и стал смотреть в сад.

В саду было черным-черно, сквозь черную листву сиреневых кустов ярко светились окна соседнего коттеджа. Ночь была теплая, в

траве шевелились светлячки. А завтра что? – подумал Андрей. Ну, схожу я в эту экспедицию, ну, разведваю... оружия притащу оттуда кучу, разберу, повешу... а дальше что?

В столовой галдели. «А вы знаете, полковник? – орал Изя. – Союзное командование предлагает за голову Чапаева двадцать тысяч!..» И Андрей сразу вспомнил продолжение: «Союзное командование, ваше превосходительство, могло бы дать и больше. Ведь за ними Гурьев, а в Гурьеве – нефть. Хе-хе-хе». – «...Чапаев? – спрашивал полковник. – А, это ваш кавалерист. Но его же, кажется, расстреляли?..»

Сельма вдруг затянула высоким голосом: «А наутро Катю... будила ё ма-а-ать... Ставай, ставай, Катя. Корабли стоять...». Но ее тут же перебил бархатный рев Чачуа: «Я принес тебе цветы... Ах, какие чудные цветы!.. У меня ты те цветы не взяла... Почему не взяла?..»

Андрей закрыл глаза и вдруг с необычайно острой тоской вспомнил про дядю Юру. И Вана нет за столом, и дяди Юры нет... Ну на кой ляд, спрашивается, мне этот Дольфюс?.. Призраки окружили его.

На кушетке сидел Дональд в своей потрепанной техасской шляпе. Он положил ногу на ногу и обхватил острое колено крепко сцепленными пальцами. Уходя не грусти, приходя не радуйся... А за стол уселся Кэнси в старой полицейской форме – упер локоть в стол и положил подбородок на кулак. Он смотрел на Андрея без осуждения, но и теплоты не было в этом взгляде. А дядя Юра похлопывал Вана по спине и приговаривал: «Ничего, Ваня, не горюй, мы тебя министром сделаем, в «Победе» ездить будешь...» И знакомо, нестерпимо щемяще запахло махоркой, здоровым потом и самогоном. Андрей с трудом перевел дух, потер онемевшие щеки и снова стал глядеть в сад.

В саду стояло Здание.

Оно стояло прочно и естественно среди деревьев, словно оно было здесь давно, всегда, и намерено простоять до скончания веков – красное, кирпичное, четырехэтажное – и, как тогда, окна нижнего этажа были забраны ставнями, а крыша была крыта оцинкованной жстью, к двери вело крыльцо из четырех каменных ступенек, а рядом с единственной трубой торчала странная крестовидная антенна. Но теперь все окна его были темны, и ставен на нижнем этаже кое-где не хватало, а стекла были грязные, с потеками, с трещинами, кое-где заменены фанерными покоробленными щитами, а кое-где заклеены крест-накрест полосками бумаги. И не было больше торжественной и мрачной музыки – от Здания невидимым туманом ползла тяжелая ватная тишина.

Не размышляя ни секунды, Андрей перекинул ноги через подоконник и спрыгнул в сад, в мягкую густую траву. Он пошел к Зданию,



распугивая светлячков, все глубже зарываясь в мертвую тишину, не спуская глаз со знакомой медной ручки на дубовой двери, только теперь эта ручка была тусклая и покрыта зеленоватыми пятнами.

Он поднялся на крыльцо и оглянулся. В ярко освещенных окнах столовой весело прыгали, ломаясь причудливо, человеческие тени, слабо доносилась плясовая музыка и почему-то опять звон ножей и вилок. Он махнул на все это рукой, отвернулся и взялся за влажную резную медь. В прихожей было теперь полутемно, сыро и затхло, разлапистая вешалка торчала в углу, голая, как мертвое высохшее дерево. На мраморной лестнице не было ковра и не было металлических прутьев – остались только прозеленевшие кольца, старые пожелтевшие окурки да какой-то неопределенный мусор на ступенях. Тяжело ступая и ничего не слыша, кроме своих шагов и своего дыхания, Андрей медленно поднялся на верхнюю площадку.

Из давно погасшего камина несло застарелой гарью и аммиаком, что-то едва слышно копошилось там, шуршало и топотало. В огромном зале было все так же холодно, дуло по ногам, черные пыльные тряпки свисали с невидимого потолка, мраморные стены темнели неопрятными подозрительными пятнами и блестели потеками сырости, золото и пурпур с них осыпались, а горделиво-скромные бюсты – гипсовые, мраморные, бронзовые, золотые – слепо и скорбно глядели из ниш сквозь ключья пыльной паутины. Паркет под ногами трещал и подавался при каждом шаге, на замусоренном полу лежали лунные квадраты, а впереди уходила вглубь и вдаль какая-то галерея, в которой Андрей никогда раньше не бывал. И вдруг целая стая крыс выскочила у него из-под ног, с писком и топотаньем пронеслась по галерее и исчезла в темноте.

Где же все они? – беспорядочно думал Андрей, бредя по галерее. Что с ними случилось? – думал он, спускаясь в затхлые недра по гремящим железным лестницам. Как же все это произошло? – думал он, переходя из комнаты в комнату, а под ногами его хрустела осыпавшаяся штукатурка, скрипело битое стекло, чавкала заросшая пушистыми холмиками плесени грязь... и сладковато пахло разложением, и где-то тикала, падая капля за каплей, вода, и на ободранных стенах чернели огромные, в мощных рамах картины, на которых ничего нельзя было разобрать...

Теперь здесь всегда так будет, думал Андрей. Что-то я сделал такое, что-то мы все сделали такое, что теперь здесь так будет всегда. Оно больше не сдвинется с места, оно навсегда останется здесь, оно будет гнить и разрушаться, как обыкновенный дряхлый дом, и в конце концов его разобьют чугунными бабами, мусор сожгут, а

горелые кирпичи вывезут на свалку... Ведь ни одного же голоса! И вообще ни одного звука, только крысы в отчаянии пищат по углам...

Он увидел огромный шведский шкаф со шторной дверью и вдруг вспомнил, что точно такой же шкаф стоит у него в маленькой комнатухе – шесть квадратных метров, единственное окно во двор-колодец, рядом – кухня. На шкафу полно старых газет, свернутых в рулоны плакатов, которые до войны коллекционировал отец, и еще какого-то лежалого бумажного хлама... и когда огромной крысе мышеловкой раздробило морду, она как-то ухитрилась забраться на этот шкаф и долго там шуршала и копошилась, и каждую ночь Андрей боялся, что она свалится ему на голову, а однажды взял бинокль и издали, с подоконника, посмотрел, что там делается, среди бумаги. Он увидел – или ему показалось, что он увидел? – торчащие уши, серую голову и страшный, блестящий, словно лакированный, пузырь вместо морды. Это было так жутко, что он выскочил из своей комнаты и некоторое время сидел в коридоре на сундуке, чувствуя слабость и тошноту внутри. Он был один в квартире, ему некого было стесняться, но ему было стыдно за свой страх, и в конце концов он поднялся, пошел в большую комнату и там завел на патефоне «Рио-риту»... А еще через несколько дней в его комнатухе появился сладковатый тошнотный запах, такой же, как здесь...

В глубокоом, как колодец, сводчатом помещении странно и неожиданно отсвечивал рядами свинцовых труб огромный орган, давно уже мертвый, остывший, немой, как заброшенное кладбище музыки. А около органа, рядом с креслом органиста, лежал, скрючившись, человек, закутанный в драный ковер, и в головах у него поблескивала пустая бутылка из-под водки. Андрей понял, что все действительно кончено, и торопливо пошел к выходу.

Спустившись с крыльца в свой сад, он увидел Изю. Изя был непривычно пьяный и весь какой-то особенно растерзанный и взлохмаченный. Он стоял, покачиваясь, держась одной рукой за ствол яблони, и смотрел на Здание. В сумраке блестели его зубы, обнаженные застывшей улыбкой.

- Все, – сказал ему Андрей. – Конец.
- Бред взбудораженной совести! – произнес Изя невнятно.
- Одни крысы бегают, – сказал Андрей. – Гниль.
- Бред взбудораженной совести... – повторил Изя и хихикнул.

Часть пятая РАЗРЫВ НЕПРЕРЫВНОСТИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Преодолев спазм, Андрей проглотил последнюю ложку размазни, с отвращением оттолкнул манерку и потянулся за кружкой. Чай был еще горячий. Андрей взял кружку в ладони и принялся отхлебывать маленькими глотками, уставясь в шипящий огонек бензиновой лампы. Чай был необычайно крепкий, перестоявшийся, от него разило венником, и был у него еще какой-то привкус – то ли от этой густой воды, которую они набрали на восемьсот двадцатом километре, то ли Кехада опять подсыпал всему командному составу своей дряни от поноса. А может быть, просто кружку плохо отмыли – была она сегодня какая-то особенно соляная и липкая.

За окном внизу побрякивали котелками солдаты. Остряк Тевосян отмочил что-то насчет Мымры, солдаты заржали было, но тут сержант Фогель заорал вдруг прусским голосом: «Вы на пост мне идете или к бабе под одеяло, вы, земноводное! Почему босиком? Где ваша обувь, троглодит?» Угрюмый голос отозвался в том смысле, что ноги, мол, стерты до мяса, а местами и до костей. «Закройте пасть, корова крытая! Немедленно обуться – и на пост! Живо!..»

Андрей с наслаждением пошевелил под столом пальцами босых ног. Ноги уже слегка отдышались на прохладном паркете. Холодной бы воды полный таз... Ноги бы туда... Он заглянул в кружку. Чаю оставалось еще до половины, и Андрей, мысленно пославши все к чертовой матери, неожиданно для самого себя вылакал остаток в три огромных сладострастных глотка. В животе сразу же заурчало. Некоторое время Андрей опасливо прислушивался к тому, что там происходит, потом отставил кружку, вытер рот тыльной стороной ладони и посмотрел на железный ящик с документами. Рапорты надо бы вечерашние достать. Неохота. Успею. Сейчас бы лечь, вытянуться во всю длину, курткой прикрыться и завести глаза минуток этак на шестьсот...

За окном внезапно и неистово затрещал двигатель трактора. Задребезжали остатки стекол в окнах, рядом с лампой упал с потолка кусок штукатурки. Пустая кружка, мелко подрагивая, поползла к краю стола. Андрей, весь сморщившись, поднялся, прошлепал босыми ногами к окну и выглянул.

В лицо пахнуло жаром не успевшей остыть улицы, едкой гарью выхлопов, тошнотной вонью разогретого масла. В пыльном свете подвижной фары бородатые люди, рассевшись прямо на мостовой, лениво ковырялись ложками в манерках и котелках. Все они были босы, и почти все разделись до пояса. Потные белые тела лоснились, а лица казались черными, и кисти рук были черные, словно все они были в перчатках. Андрей вдруг обнаружил, что никого из них не узнает. Стадо незнакомых голых обезьян... В круг света вступил сержант Фогель с громадным алюминиевым чайником в руке, и обезьяны сейчас же зашевелились, заволновались, заерзали и потянули к чайнику свои кружки. Отталкивая кружки свободной рукой, сержант принялся орать, но за треском двигателя его было почти не слышно.

Андрей вернулся за стол, рывком откинул крышку ящика и извлек журнал и вчерашние рапорты. На стол с потолка упал еще один кусок штукатурки. Андрей посмотрел наверх. Комната была высоченная – метра четыре, а то и все пять. Лепной потолок местами осыпался, и видна была dranка, наводящая на сладостные воспоминания о домашних пирогах с повидлом, которые подавались к огромному количеству прекрасно заваренного, прозрачного, в прозрачных тонкостенных стаканах чая. С лимоном. Или можно было просто взять пустой стакан и набрать на кухне сколько угодно чистой холодной воды...

Андрей мотнул головой, снова поднялся и наискосок через всю комнату прошел к огромному книжному шкафу. Стекол в дверцах не было, и книг тоже не было – были пустые пыльные полки. Андрей уже знал это, но все-таки еще раз осмотрел их и даже пошарил рукой в темных углах.

Комната, надо сказать, сохранилась неплохо. Были в ней два вполне приличных кресла и еще одно с продраным сиденьем – когда-то роскошное, обитое тисненой кожей. У стены напротив окна выстроились рядом несколько стульев, и стоял посередине комнаты столик на коротких ножках, и на столике – хрустальная вазочка с какой-то черной засохшей дрянью внутри. Обои отстали от стен, а местами и совсем отвалились, паркет разохся и вспучился, но все-таки комната была в очень приличном состоянии – совсем недавно здесь еще жили, лет десять тому назад, не больше.

Впервые после пятисотого километра Андрей видел настолько хорошо сохранившийся дом. После многих километров выгоревших дотла кварталов, превратившихся в черную обугленную пустыню; после многих километров сплошных руин, поросших бурой колючкой, среди которых нелепо возвышались дрожащие от ветхости пустые многоэтажные коробки с давно уже обрушившимися перекрытиями;

после многих и многих километров пустырей, усаженных сгнившими срубами без крыш, где весь уступ просматривался с дороги от Желтой Стены на востоке и до края обрыва на западе – после всего этого здесь снова начинались почти целые кварталы, выложенная булыжником дорога, и может быть, где-то здесь были люди – во всяком случае, полковник приказал удвоить караулы.

Интересно, как там полковник. Старик что-то сдал за последнее время. Впрочем, за последнее время все сдали. Очень кстати, что именно сейчас, впервые за двенадцать суток, ночевка будет под крышей, а не под голым небом. Воду бы здесь найти – можно было бы сделать большой привал. Только воды здесь, кажется, снова не будет. Во всяком случае, Изя говорит, что на воду здесь рассчитывать не стоит. Во всем этом стаде только от Изи да от полковника и есть толк...

В дверь постучали, еле слышно за треском двигателя. Андрей поспешно вернулся на место, накинул куртку и, раскрывая журнал, гаркнул:

– Да!

Это был всего лишь Даган – сухой, старый, под стать своему полковнику, гладко выбритый, опрятный, застегнутый на все пуговицы.

– Разрешите прибрать, сэр? – прокричал он.

Андрей кивнул. Господи, подумал он. Это же сколько сил надо потратить, чтобы так соблюдать себя в этом кабаке... А ведь он не офицер, он даже не сержант – всего-навсего денщик. Холуй.

– Как там полковник? – спросил он.

– Виноват, сэр? – Даган с грязной посудой в руках замер, повернув к Андрею длинное хрящеватое ухо.

– Как себя чувствует полковник?! – заорал Андрей, и в ту же самую секунду двигатель за окном замолчал.

– Полковник пьет чай! – заорал Даган в наступившей тишине и сейчас же сконфуженно добавил, понизив голос: – Виноват, сэр. Полковник чувствует себя удовлетворительно. Поужинал и теперь пьет чай.

Андрей рассеянно кивнул и перебрал несколько страниц журнала.

– Будут какие-нибудь приказания, сэр? – осведомился Даган.

– Нет, спасибо, – сказал Андрей.

Когда Даган вышел, Андрей взялся, наконец, за вчерашние рапорты. Вчера он так ничего и не записал. Его так несло, что он едва досидел до конца вечернего рапорта, а потом маялся полночи – торчал на корточках посреди дороги голым гузном в сторону лагеря,

напряженно вглядываясь и вслушиваясь в ночной мрак, с пистолетом в одной руке и с фонариком в другой.

«День 28-й», – вывел он на чистой странице и подчеркнул написанное двумя жирными линиями. Затем он взял рапорт Кехады.

«Пройдено 28 км, – записал он. – Высота солнца 63°51'13".2 (979-й км). Средняя температура: в тени +23°C, на солнце +31°C. Ветер 2,5 м/сек., влажность 0,42. Гравитация 0,998. Проводилось бурение – 979-й, 981-й, 986-й км. Воды нет. Расход топлива...» Он взял рапорт Элизауэра, захватанный испачканными смазкой пальцами, и долго разбирал куриный почерк.

«Расход топлива 1,32 нормы. Остаток на конец 28-го дня – 3200 кг. Состояние двигателей: № 1 – удовлетворительное; № 2 – изношены пальцы и что-то с цилиндрами...»

Что именно случилось с цилиндрами, Андрей так и не разобрал, хотя подносил листок к самому огню лампы.

«Состояние личного состава: физическое состояние – почти у всех потертости ног, не прекращается поголовный понос, у Пермьяка и Палотти усиливается сыпь на плечах. Раненых нет, травм нет. Особых происшествий не произошло. Дважды показывались акульки волки, отогнаны выстрелами. Расход боепитания 12 патронов. Расход воды 40 л. Остаток на конец 28-го дня 1100 кг. Расход продовольствия 20 норм. Остаток на конец 28-го дня 730 норм...»

За окном пронзительно заверещала Мымра, густо заржали прокуренные глотки. Андрей поднял голову, прислушиваясь. А черт его знает, подумал он. Может, это и неплохо, что она с нами увязалась. Все-таки какое ни есть, а для ребят развлечение... Драться вот только из-за нее что-то стали последнее время.

В дверь опять постучали.

– Войдите, – сказал Андрей недовольно.

Вошел сержант Фогель – громадный, красномордый, с широкими черными пятнами пота, расплывшимися из-под мышек френча.

– Сержант Фогель просит разрешения обратиться к господину советнику! – гаркнул он, прижав ладони к бедрам и растопырив локти.

– Слушаю вас, сержант, – сказал Андрей.

Сержант покосился на окно.

– Прошу разрешения говорить конфиденциально, – сказал он, понизив голос.

Это что-то новенькое, подумал Андрей с неприятным ощущением.

– Проходите, садитесь, – сказал он.

Сержант на цыпочках приблизился к столу, присел на краешек кресла и нагнулся к Андрею.

– Люди не хотят идти дальше, – произнес он вполголоса.

Андрей откинулся на спинку стула. Так. Вот, значит, до чего дожили... Прелестно... Поздравляю, господин советник...

– Что значит – не хотят? – сказал он. – Кто их спрашивает?

– Измотаны, господин советник, – сказал Фогель доверительно. – Курево кончается, поносы замучили. А главное – боятся. Страшно, господин советник.

Андрей молча смотрел на него. Надо было что-то делать. Немедленно. Но он не знал, что именно.

– Одиннадцать дней идем по безлюдью, господин советник, – продолжал Фогель почти шепотом. – Господин советник помнит, как нас предупреждали, что будет тринадцать дней безлюдья, а потом – всем конец. Два дня всего осталось, господин советник...

Андрей облизал губы.

– Сержант, – сказал он. – Стыдно. Старый вояка, а верите бабьим слухам. Не ожидал!

Фогель криво ухмыльнулся, двинув огромной нижней челюстью.

– Никак нет, господин советник. Меня не испугаешь. Будь у меня там, – он ткнул большим корявым пальцем за окно, – будь у меня там одни немцы или хотя бы япошки, такого разговора у нас бы не было, господин советник. Но у меня там сброд. Итальяшки, армяне какие-то...

– Отставить, сержант! – возвысив голос, сказал Андрей. – Стыдно. Устава не знаете! Почему обращаетесь не по команде? Что за распушенность, сержант? Встать!

Фогель тяжело поднялся и принял стойку «смирно».

– Сядьте, – сказал Андрей, выдержав паузу.

Фогель так же тяжело сел, и некоторое время они молчали.

– Почему обратились ко мне, а не к полковнику?

– Виноват, господин советник. Я обращался к господину полковнику. Вчера.

– Ну и что?

Фогель замялся и отвел глаза.

– Господину полковнику было не угодно принять мое донесение к сведению, господин советник.

Андрей усмехнулся.

– Вот именно! Какой же вы, к чертовой матери, сержант, если не умеете держать своих людей в порядке? Страшно им, видите ли! Дети малые... Они вас должны бояться, сержант! – заорал он. – Вас! А не тринадцатого дня!

– Если бы это были немцы... – снова начал Фогель угрюмо.

– Это что же такое? – вкрадчиво сказал Андрей. – Я, начальник экспедиции, должен учить вас, как распоследнего сопляка, что надо делать, когда подчиненные бунтуют? Стыдно, Фогель! Если не знаете, почитайте устав. Насколько мне известно, там все это предусмотрено.

Фогель опять ухмыльнулся, двинув нижней челюстью. По-видимому, в уставе такие случаи все-таки не предусматривались.

– Я был о вас лучшего мнения, Фогель, – резко сказал Андрей. – Гораздо лучшего! Зарубите себе на носу: хотя ваши люди идти или не хотят – никого здесь не интересует. Все мы хотели бы сейчас сидеть дома, а не шляться по этому пеклу. Всем хочется пить, и все измотаны. И тем не менее, все выполняют свой долг, Фогель. Ясно?

– Слушаюсь, господин советник, – проворчал Фогель. – Разрешите идти?

– Ступайте.

Сержант удалился, беспощадно попирая сапогами разохшийся паркет.

Андрей сбросил куртку и снова подошел к окну. Публика вроде бы утомилась. В круге света возвышался невыносимо длинный Эллизауэр и, наклонившись, рассматривал какую-то бумагу, кажется, карту, которую держал перед ним широкий грузный Кехада. Вынырнув из темноты, мимо них прошел и скрылся в доме какой-то солдат – босой, полуголый, встрепанный, держа автомат за ремень. Там, откуда он шел, чей-то голос воззвал в темноте:

– Носатый! Эй, Тевосян!

– Чего тебе? – откликнулись с невидимой волокуши, где красными светляками разгорались и гасли огоньки сигарет.

– Фару поверни! Не видно здесь ни хрена...

– Да зачем тебе? В темноте не можешь?

– Загадили тут уже все... не знаю, куда ступить...

– Часовому не положено, – вмешался новый голос с волокуши. – Вали, где стоишь!

– Да посветите, мать вашу в душу! Задницу трудно вам поднять, что ли?

Длинный Эллизауэр распрямился, в два шага оказался около трактора и повернул прожектор вдоль улицы. Андрей увидел часового. Придерживая спущенные штаны, часовой неуверенно топтался на полусогнутых ногах возле той здоровенной железной статуи, которую какие-то чудачки умудрились возвести прямо на тротуаре у ближайшего перекрестка. Статуя изображала коренастого типа в чем-то вроде тоги, наголо обритого, с неприятной жабьей физиономией. В свете прожектора статуя казалась черной. Левая рука показывала в

небеса, а правая с растопыренными пальцами простиралась над землей. Сейчас на этой руке висел автомат.

– Порядок, спасибочки вам! – обрадованно заорал часовой и прочно утвердился на корточках. – Можно гасить!

– Давай, давай, работай! – поощрили его с волокуши. – Мы тебя огнем прикроем в случае чего.

– Да свет-то уберите, ребята! – взмолился капризный часовой.

– Не убирайте, господин инженер, – посоветовали с волокуши. – Это он шутит. И по уставу не положено...

Но Эллизауэр все-таки убрал свет. Слышно было, как на волокуше возятся и похохатывают. Потом там засвистели дуэтом какой-то марш.

Все, как всегда, подумал Андрей. Даже, пожалуй, они сегодня повеселее, чем обычно. Ни вчера, ни позавчера я этих шуточек не слышал. Жилые дома, может быть?.. Да, очень может быть. Все пустыня, пустыня, а теперь все-таки дома. Можно хоть спокойно выспаться, волки не потревожат... Да только Фогель – не паникер. Не-ет, он не из таких... Андрей вдруг представил себе, как завтра он отдает приказ выступать, а они сбиваются в кучу, оцетиниваются автоматами и говорят: «Не пойдем!» Может быть, они потому и веселые сейчас – обо всем договорились между собой, порешили завтра повернуть назад («...а что он нам сделает, мозгляк, чиновник задрипанный?..»), и теперь им хоть трава не расти, сам черт им не брат, и все на свете они видели в гробу... И Кехада, сволочь, с ними. Он уже сколько дней ноет, что дальше идти бессмысленно... волком на меня смотрит на вечерних рапортах... ему же одно удовольствие будет, если я вернусь к Гейгеру ни с чем, как мокрая курица...

Андрей зябко передернул плечами. Сам виноват, слюнтяй, распустил вожжи, демократ вшивый, народолюбец... Надо было тогда этого рыжего Хнойпека поставить к стенке, мерзавца, разом всю эту банду взять за глотку – они бы у меня сейчас по струночке ходили! Главное, случай-то какой был! Групповое изнасилование, причем зверское, причем туземки, причем несовершеннолетней туземки... И как этот Хнойпек нагло ухмылялся – нагло, сыто, отвратно, – когда я орал на них... и как они все позеленели, когда я вытащил пистолет... Ах, полковник, полковник! Либерал вы, а не боевой офицер! «Ну, зачем же сразу расстреливать, советник? Существуют же и иные методы воздействия!..» Не-ет, полковник, на этих Хнойпеков иными методами, как видно, не воздействуешь... А после этого все пошло сикось-накось. Девчонка увязалась за отрядом, я это обстоятельство позорно проморгал (от удивления, что ли?), а потом начались из-за нее драки и

свары... И опять же, надо было к первой же драке привязаться, поставить кого-нибудь к стенке, а девку выпороть и вышвырнуть из лагеря вон... А только – куда ее вышвырнешь? Начались горелые кварталы, безводье, появились волки...

Внизу вдруг яростно зарычали, заматерились, что-то упало и покатилося с грохотом, и в круг света из подъезда, спиной вперед, вылетела совершенно голая обезьяна, шлепнулась на задницу, поднявши клуб пыли, и еще не успела подобрать ноги, как на нее из того же подъезда тигром сиганула вторая обезьяна, тоже голая, и они сцепились, покатались по булыжной мостовой, завывая и рыча, хрипя и плюясь, изо всех сил метеля друг друга.

Андрей, вцепившись одной рукой в подоконник, другой бестолково шарил у пояса, забыв, что кобура валяется в кресле, но тут из темноты вынырнул сержант Фогель, налетел, как черная потная туча, гонимая ураганом, навис над мерзавцами, и вот уже ухватил одного за волосы, другого за бороду, оторвал от земли, с сухим треском ударил друг о друга и отшвырнул от себя в разные стороны, как щенков.

– Очень хорошо, сержант! – раздался слабый, но твердый голос полковника. – Привязать негодяев на ночь к койкам, а завтра – на весь день в авангард вне очереди.

– Слушаюсь, господин полковник, – тяжело дыша отозвался сержант. Он глянул направо, где копошилась на булыжнике, сияясь подняться, голая обезьяна, и неуверенно добавил: – Осмелюсь доложить, господин полковник, один – не наш. Картограф Рулье.

Андрей замотал головой, освобождая место в глотке, и не своим голосом проревел:

– Картографа Рулье в авангард на три дня, с полной солдатской выкладкой! При повторении драки расстрелять обоих на месте! – В горле у него что-то болезненно сорвалось. – Расстреливать на месте всех мерзавцев, которые осмелятся драться! – просипел он.

Он пришел в себя уже за столом. Поздно, пожалуй, думал он, тупо разглядывая свои грязные подрагивающие пальцы. Поздно. Надо было раньше... Но вы у меня пойдете! Вы у меня будете делать, что вам приказывают! Половину я велю перестрелять... сам перестреляю... но другая половина у меня пойдет по струночке. Хватит... Хватит! А Хнойпеку – первая пуля при любых обстоятельствах. Первая!..

Он пошарил за спиной, вытянул кобуру с ремнем и достал пистолет. Ствол был забит грязью. Он потянул затвор. Затвор пошел туго, оттянулся до половины и застрял в таком положении. Ч-черт, все завязло, все в грязи... За окном было тихо, только позвякивали в

отдалении подковки часовых по булыжнику, да еще кто-то сморкался в нижнем этаже и громко шипел сквозь зубы.

Андрей подошел к двери и выглянул в коридор.

– Даган! – позвал он вполголоса.

В углу что-то шевельнулось. Вздрогнув, Андрей присмотрелся: это был Немой. Он сидел в своей обычной позе, скрестив и каким-то очень сложным образом переплетя ноги. Глаза его влажно поблескивали в полутьме.

– Даган! – позвал Андрей громче.

– Иду, сэр! – откликнулись из глубины дома. Послышались шаги.

– Чего ты здесь сидишь? – сказал Андрей Немому. – Зайди в комнату.

Немой, не шевелясь, смотрел на него, подняв широкое лицо.

Андрей вернулся к столу и, когда Даган, постучав, заглянул в комнату, сказал ему:

– Приведите в порядок мой пистолет, пожалуйста.

– Слушаюсь, сэр, – почтительно сказал Даган, взял пистолет и у дверей посторонился, пропуская в комнату Изю.

– Ага, лампа! – сказал Изя, устремляясь прямо к столу. – Слушай, Андрей, а больше у нас нет такой лампы? Надоело мне с фонариком, глаза уже болят...

За последние дни Изя здорово похудел. Все на нем висело, и все на нем было рваное. И разило от него, как от старого козла. Впрочем, и от всех так разило. Кроме полковника.

Андрей смотрел, как Изя, ни на что, не обращая внимания, подхватил стул, уселся и придвинул к себе лампу. Потом он принялся доставать из-за пазухи пачки каких-то мятых старых бумаг и раскладывать их перед собой. При этом он по обыкновению слегка подпрыгивал на стуле, шарил по бумагам глазами, словно бы пытаясь прочесть все их сразу, и время от времени пощипывал бородавку. До этой бородавки ему теперь было трудненько добираться по причине густейшей курчавой волосни, покрывавшей щеки, шею и даже, кажется, уши.

– Слушай, ты бы побрился все-таки, – сказал Андрей.

– Зачем это? – рассеянно осведомился Изя.

– Весь командный состав бреется, – сказал Андрей сердито. – Один ты ходишь как чучело.

Изя поднял голову и некоторое время смотрел на Андрея, обнажив среди волосни желтоватые, давно не чищенные зубы.

– Да? – сказал он. – А ты знаешь, я – человек непрестижный. Смотри, какая на мне курточка.

Андрей посмотрел.

– Тоже, между прочим, мог бы заштопать. Сам не умеешь – Дагану отдай.

– По-моему, у Дагана и без меня дел хватает... Кстати, в кого это ты намереваешься стрелять?

– В кого надо, – сказал Андрей мрачно.

– Ну-ну, – сказал Изя и погрузился в чтение.

Андрей глянул на часы. Было уже без десяти. Андрей со вздохом полез под стол, нашарил там башмаки, вынул из них уже затвердевшие носки, понюхал украдкой, потом задрал правую ногу к свету и осмотрел стертую пятку. Ссадина немножко подзатянулась, но было еще больно. Заранее сморщившись, он осторожно натянул задубевший носок и подвигал ступней. Совсем сморщился и потянулся за ботинком. Обувшись, он опоясался ремнем с пустой кобурой, оправил и застегнул куртку.

– На, – сказал Изя и толкнул ему через стол пачку исписанных бумаг.

– Это что? – без всякого интереса спросил Андрей.

– Бумага.

– А-а... – Андрей собрал листки и спрятал в карман куртки. – Спасибо.

Изя уже снова читал. Быстро, как машина.

Андрей вспомнил, как ему не хотелось брать Изю в эту экспедицию – с его нелепым видом огородного чучела, с его вызывающе еврейской физиономией, с его наглым хихиканьем, с его самоочевидной непригодностью к тяжелым физическим нагрузкам. Было совершенно ясно, что Изя будет доставлять массу хлопот, а толку от архивариуса в походных условиях, приближенных к боевым, будет чуть. И все оказалось не так.

То есть, ТАК тоже оказалось. Изя первый стер ноги. Сразу обе. Изя был невыносим на вечерних рапортах со своими идиотскими неуместными шуточками и непрошенной фамильярностью. На третий день пути он ухитрился провалиться в какой-то погреб, и его пришлось вытаскивать всей командой. На пятый день он потерялся и задержал выступление на несколько часов. Во время стычки на триста сороковом километре он вел себя как последний кретин и только чудом остался жив. Солдаты издевались над ним, а Кехада с ним постоянно ссорился. Эллизауэр оказался принципиальным юдофобом, и пришлось делать ему по поводу Изи специальное внушение... Было. Все было.

И при всем при том довольно скоро получилось так, что Изя сделался самой популярной в экспедиции фигурой, не считая, может быть, полковника. А в известном смысле и более популярной. Во-первых, он находил воду. Геологи много и тщетно искали источники, сверлили скалы, потели, совершали изнурительные походы во время общих привалов. Изя просто сидел в волокуше под уродливым самодельным зонтиком и копался в старых бумагах, которых у него набралось уже несколько ящичков. И он четыре раза предсказал, где искать подземные цистерны. Правда, одна цистерна оказалась пересохшей, а в другой вода порядочно протухла, но дважды экспедиция получила прекрасную воду, благодаря Изе и только Изе.

Во-вторых, он нашел склад солярки, после чего антисемитизм Эллизауэра сделался в значительной степени абстрактным. «Я ненавижу жидов, – объяснялся он своему главному мотористу. – Нет ничего на свете хуже жида. Однако я никогда ничего не имел против евреев! Возьми, скажем, Кацмана...»

Далее, Изя всех снабжал бумагой. Запасы пипифакса кончились после первого же взрыва желудочных заболеваний, и вот тут популярность Изи – единственного обладателя и хранителя бумажных богатств в стране, где не то, что лопуха, пучка травы не отыщешь, – тут уж популярность Изи достигла наивозможнейшего предела.

Не прошло и двух недель, как Андрей с некоторой даже ревностью обнаружил, что Изю любят. Все. Даже солдаты, что было совершенно уже невероятно. Во время привалов они толклись около него и, раскрывши рты, слушали его трепотню. Они по собственному почину и с удовольствием перетаскивали с места на место его железные ящики с документацией. Они жаловались ему и выпендривались перед ним, как школьники перед любимым учителем. Фогеля они ненавидели, полковника – трепетали, с учеными дрались, а с Изей – смеялись. Не над ним уже – с ним!.. «Вы знаете, Кацман, – сказал однажды полковник. – Я никогда не понимал, зачем в армии нужны комиссары. У меня никогда не было комиссара, но вас бы я, пожалуй, на такую должность взял...»

Изя кончил разбирать одну пачку бумаг и извлек из-за пазухи вторую.

– Есть что-нибудь интересное? – спросил Андрей. Спросил не потому, что ему было на самом деле любопытно, а просто захотелось как-то выразить нежность, которую он вдруг испытал сейчас к этому неуклюжему, нелепому, даже неприятному на вид человеку.

Изя не успел ответить – успел только головой помотать. Дверь распахнулась, и в комнату шагнул полковник Сент-Джеймс.

– Разрешите, советник? – произнес он.

– Прощу вас, полковник, – сказал Андрей, поднимаясь. – Добрый вечер.

Изя вскочил и пододвинул полковнику кресло.

– Вы очень любезны, комиссар, – сказал полковник и медленно, в два разделения, уселся. Выглядел он как обычно – подтянутый, свежий, пахнувший одеколоном и хорошим табаком, – только вот щеки у него последнее время малость ввалились и необычайно глубоко запали глаза. И ходил он теперь уже не со своеобразным стеком, а с длинной черной тростью, на которую заметно опирался, когда приходилось стоять.

– Эта безобразная драка под окнами... – сказал полковник. – Я приношу вам свои извинения, советник, за моего солдата.

– Будем надеяться, что это была последняя драка, – сказал Андрей угрюмо. – Я больше не намерен этого терпеть.

Полковник рассеянно покивал.

– Солдаты всегда дерутся, – заметил он небрежно. – В британской армии это, собственно, поощряется. Боевой дух, здоровая агрессивность и так далее... Но вы, разумеется, правы. В таких тяжелых походных условиях это нетерпимо. – Он откинулся в кресле, достал и принялся набивать трубку. – А ведь потенциального противника все не видно, советник! – сказал он юмористически. – Я предвижу, в связи с этим большие осложнения для моего бедного генерального штаба. Да и для господ политиков – тоже, если быть откровенным...

– Наоборот! – воскликнул Изя. – Вот теперь-то для всех нас и начнутся самые горячие денечки! Поскольку настоящего противника не существует, необходимо его придумать. А как показывает мировой опыт, самый страшный противник – это противник придуманный. Уверяю вас, это будет невероятно жуткое чудовище. Армию придется удвоить.

– Вот как? – сказал полковник по-прежнему юмористически. – Интересно, кто же будет его придумывать? Уж не вы ли, мой комиссар?

– Вы! – сказал Изя торжественно. – Вы в первую очередь. – Он принялся загибать пальцы. – Во-первых, вам придется создать при генеральном штабе отдел политической пропаганды...

В дверь постучали, и прежде, чем Андрей успел ответить, вошли Кехада и Эллизауэр. Кехада был мрачен, Эллизауэр неопределенно улыбался откуда-то из-под самого потолка.

– Прошу садиться, господа, – холодно предложил им Андрей. Он постучал по столу костяшками пальцев и сказал Изе: – Кацман, мы начинаем.

Изя оборвал себя на полуслове и с готовностью повернулся лицом к Андрею, перекинув руку через спинку кресла. Полковник снова выпрямился и сложил ладони на набалдашнике трости.

– Ваше слово, Кехада, – сказал Андрей.

Начальник научной части сидел прямо перед ним, широко расставив толстые, как у штангиста, ноги, чтобы не мокло в шаг, а Эллизауэр, как всегда, устроился у него за спиной, сильно там ссутулившись, чтобы не слишком торчать.

– По геологии ничего нового, – мрачно сказал Кехада. – По-прежнему глина, песок. Никаких следов воды. Здешний водопровод давно пересох. Может быть, именно поэтому они и ушли отсюда, не знаю... Данные по солнцу, ветру и так далее... – Он достал из нагрудного кармана листок бумаги, перебросил Андрею. – У меня пока все.

Андрею очень не понравилось это «пока», но он только кивнул и стал смотреть на Эллизауэра.

– Транспортная часть?

Эллизауэр распрямился и заговорил поверх головы Кехады:

– Пройдено сегодня тридцать восемь километров. Двигатель трактора номер второй надо ставить на капитальный ремонт. Очень сожалею, господин советник, но – увы...

– Так, – сказал Андрей. – Что это значит – капитальный ремонт?

– Два-три дня, – сказал Эллизауэр. – Часть узлов придется заменить, а другие привести в порядок. Может быть, даже четыре дня. Или пять.

– Или десять, – сказал Андрей. – Дайте рапорт.

– Или десять, – согласился Эллизауэр, все так же неопределенно улыбаясь. Не вставая, он протянул через плечо Кехады свой рапорт.

– Вы это в шутку? – стараясь говорить спокойно, произнес Андрей.

– Что именно, господин советник? – Эллизауэр испугался. Или только сделал вид, что испугался.

– Три дня или десять дней, господин специалист?!

– Я очень сожалею, господин советник... – забормотал Эллизауэр. – Я боюсь сказать точно... Мы не в гараже, и потом мой Пермьяк... У него какая-то сыпь, и весь день его рвало... Он у меня главный моторист, господин советник...

– А вы? – сказал Андрей.

– Я сделаю все, что смогу... Другое дело, что в наших условиях... я имею в виду – в полевых условиях...

Некоторое время он еще продолжал болтать что-то насчет мотористов, насчет крана, которого не захватили, а ведь он предупреждал... насчет сверлильного станка, которого здесь нет и быть, к сожалению, не может, снова насчет моториста и еще что-то там про поршни и пальцы... С каждой минутой он говорил все тише, все невнятной и наконец замолчал совсем, а Андрей все это время, не отрываясь, смотрел ему в глаза, и было совершенно ясно, что этот длинный трусливый пройдоха совсем заврался, и сам уже понимает это, и видит, что все это понимают, и пытается как-то вывернуться, но не умеет, и все-таки намерен твердо стоять на своем вранье до победного конца.

Потом Андрей опустил глаза и уставился в его рапорт, в неряшливые строчки, нацарапанные куриным почерком, но ничего при этом не видел и не понимал. Сговорились, гады, думал он с тихим отчаянием. Эти – тоже сговорились. Ну, как мне теперь с ними?.. Пистолета нет, жалко... Шлепнуть Элизауэра... или запугать так, чтобы обосрался... Нет – Кехада, Кехада, вот кто у них главный. На меня все хочет свалить... Всю эту протухшую, провонявшую затею хочет свалить на меня одного... подонок, толстый боров... Ему хотелось заорать и изо всех сил ахнуть кулаком по столу.

Молчание становилось нестерпимым. Изя вдруг нервно заерзал на стуле и принялся бормотать:

– В чем, собственно, дело? В конце концов, торопиться нам особенно некуда. Сделаем остановку... В зданиях могут быть архивы... Воды здесь, правда, нет, но за водой можно послать вперед отдельную группу...

И тут его оборвал Кехада.

– Ерунда, – сказал он резко. – Хватит болтать, господа. Давайте ставить точки над «и». Экспедиция провалилась. Воды мы не нашли. Нефти – тоже. И не могли найти при такой организации георазведки. Несемса как сумасшедшие, людей измотали, транспорт измочалили. Дисциплина в отряде ни к черту – девок приبلудных подкармливаем, тащим с собой каких-то распространителей слухов... Перспектива давным-давно утеряна, всем на все наплевать. Люди идти дальше не хотят, они не видят, зачем нужно идти, и нам нечего им сказать. Космографические данные оказались просто ни к черту не годными: готовились к полярным холодам, а заехали в раскаленную пустыню. Личный состав экспедиции подобран плохо, с бору по сосенке. Медицинское обеспечение отвратительное. Вот в результате мы и получаем то, что должны были получить: падение морального духа, развал дисциплины, скрытое неповиновение и не сегодня-завтра – бунт. Все.

Кехада замолчал, вытащил портсигар и закурил.

– Что вы, собственно, предлагаете, господин Кехада? – проговорил Андрей спертым голосом. Ненавистное лицо с толстыми усами плавало перед ним в паутине каких-то неопределенных линий. Очень хотелось влечь Лампой. Прямо по усам...

– По-моему, это тривиально, – произнес Кехада с пренебрежением. – Надо поворачивать оглобли. И немедленно. Пока целы.

Спокойствие, убеждал себя Андрей. Сейчас – только спокойствие. Как можно меньше слов. Не спорить ни в коем случае. Спокойно слушать и молчать. Ах, до чего же хочется влечь!..

– Действительно, – подал голос Эллизауэр. – До каких же пор можно идти? Мои люди меня спрашивают: что же это получается, господин инженер? Договорились идти, пока солнце не сядет за горизонт. Так оно – наоборот, поднимается. Потом договорились, что пока оно не поднимется в зенит... Опять же – не поднимается, до зенита не доходит, а скачет то вверх, то вниз...

Только не спорить, твердил про себя Андрей. Пусть болтают. Это даже интересно, что они там еще придумают сказать... Полковник не выдаст. Армия все решает. Армия!.. Неужели это они Фогеля подговорили, гады?..

– Ну, а вы-то что? – спросил Изя Эллизауэра. – Вы?

– А что – я?

– Они вас спрашивают, понятно... А что вы им отвечаете?

Эллизауэр принялся пожимать плечами и двигать реденькими бровями.

– Даже странно... – бормотал он при этом. – А что я могу им ответить, спрашивается? Вот я и хотел бы узнать, что я должен им отвечать? Откуда мне это знать?..

– То есть вы им ничего не отвечаете?

– А что я могу ответить? Что?! Отвечаю, что начальству виднее...

– Ну и ответ! – сказал Изя, ужасно тараща глаза. – Да такими ответами целую армию разложить можно, не то, что несчастных водителей... Я, мол, ребяташки, хоть сейчас готов назад, да вот зверь-начальник не пускает... Вы сами-то понимаете, зачем мы идем? Ведь вы же доброволец, вас никто не принуждал!

– Слушайте, Кацман... – попытался прервать его Кехада. – Давайте говорить о деле!

Изя даже не взглянул на него.

– Вы знали, что будет трудно, Эллизауэр? Знали. Знали, что не за пряниками идем? Знали... Знали, что Городу нужна эта экспедиция?

Знали – вы образованный человек, инженер... Знали приказ: идти, пока хватает горючего и воды? Прекрасно знали, Эллизауэр!

– Да я ведь не возражаю! – торопливо заговорил вконец перепуганный Эллизауэр. – Я ведь только вам объясняю, что мои объяснения... то есть что мне не ясно, как им надо отвечать, потому что меня ведь спрашивают...

– Да перестаньте вы вилять, Эллизауэр! – решительно сказал Изя. – Все предельно ясно: дальше идти боитесь, ведете моральный саботаж, разложили собственных подчиненных, а теперь прибежали сюда жаловаться... А вам, между прочим, даже пешком ходить не приходится. Все время ездите...

Давай, Изя, давай, голубчик, думал Андрей с умилением. Врежь ему, паскудине, врежь!.. Он уже обгадился, сейчас в сортир попросится...

– И вообще я не понимаю, из-за чего вся эта паника, – продолжал Изя все так же решительно. – Геология нас подвела? Да господь с ней, с геологией, обойдемся и без геологии. Без космографии тем более обойдемся... Неужели не ясно, что главное наше дело – разведка, сбор информации. Я лично утверждаю, что экспедиция уже сегодня сделала очень много, а может сделать еще больше. Трактор поломался? Не страшно. Пусть его здесь ремонтируют, два дня или десять, я не знаю – оставим здесь самых усталых и больных, а на втором тракторе двинемся потихонечку дальше. Воду найдем – остановимся, подождем оставшихся. Ведь все очень просто, ничего особенного...

– Да, конечно, все очень просто, Кацман, – желчно сказал Кехада. – А пулю в спину не хотите, Кацман? Или в лоб? Вы слишком увлеклись своими архивами, ничего вокруг не замечаете... Солдаты дальше не пойдут. Я это знаю, я слышал, как они договаривались...

Эллизауэр вдруг воздвигся у него за спиной и, бормоча невнятные извинения, демонстративно держась за живот, кинулся вон из комнаты. Крыса, со злорадством подумал Андрей. Сволочь трусливая. Дристун...

Кехада будто ничего не заметил.

– Из своих геологов я могу положиться только на одного человека, – продолжал он. – На солдат и на водителей нельзя полагаться вообще. Конечно, вы можете расстрелять одного или двоих для острастки... может быть, это поможет. Не знаю. Сомневаюсь. И я не уверен, что вы имеете моральное право так поступать. Они не хотят идти, потому что чувствуют себя обманутыми. Потому что они ничего не получили от этого похода и теперь уже не надеются получить. Эта прекрасная легенда, которую так находчиво придумал господин

Кацман, – легенда насчет Хрустального Дворца – действовать перестала. Преобладают, знаете ли, Кацман, другие легенды...

– Какого черта? – сказал Изя, заикаясь от негодования. – Я ничего не придумывал!..

Кехада отмахнулся от него почти добродушно.

– Ладно, ладно, теперь это уже не имеет никакого значения. Теперь уже ясно, что дворца не будет, так что и говорить здесь не о чем... Вы же прекрасно знаете, господа, что три четверти ваших добровольцев шли в этот поход за добычей и только за добычей. И что они получили вместо добычи? Кровавый понос да вшивую идиотку для ночных развлечений... Но дело даже не в этом. Мало того, что они разочарованы, – они еще и напуганы. Скажем спасибо господину Кацману. Скажем спасибо господину Паку, которому мы так любезно предложили стол и дом в экспедиции. Стараниями этих господ люди чрезмерно много узнали о том, что нам предстоит, если мы двинемся дальше. Люди боятся тринадцатого дня. Люди боятся говорящих волков... Мало нам было акульных волков – нам пообещали говорящих!.. Люди боятся железноголовых. А в сочетании с тем, что они уже повидали – все эти немые с вырезанными языками, заброшенные концлагеря, одичавшие кретины, которые молятся источникам, и хорошо вооруженные кретины, которые ни с того ни с сего стреляют из-за угла... В сочетании с тем, что они увидели за сегодняшний день, здесь, в этих домах – эти кости в забаррикадированных квартирах... Прелестное и внушительное получается сочетание! И если вчера солдат больше всего на свете боялся сержанта Фогеля, то сегодня ему на Фогеля уже наплевать – у него есть страхи пострашнее...

Кехада наконец замолк и, переводя дух, вытер пот, обильно выступивший на его толстом лице. И тут полковник, иронически подняв одну бровь, произнес:

– У меня создается впечатление, что вы и сами основательно напуганы, господин Кехада. Или я ошибаюсь?

Кехада скосил на него красный глаз.

– За меня не беспокойтесь, полковник, – проворчал он. – Если я чего-нибудь и боюсь, так это – пули между лопаток. Ни за что ни про что. От людей, которым я, между прочим, сочувствую.

– Вот как? – заметил полковник. – Ну что ж... Я не берусь судить о важности настоящей экспедиции и не берусь указывать начальнику экспедиции, как ему надлежит поступать. Мое дело – выполнять приказания. Считаю, однако, необходимым сказать, что все эти рассуждения насчет бунта и неповиновения представляются мне праздной болтовней. Предоставьте моих солдат мне, господин Кехада! Если

угодно, можете предоставить мне и тех ваших геологов, которым вы не доверяете. Я с удовольствием ими займусь... Должен обратить ваше внимание, советник, – все с той же убийственной вежливостью продолжал он, поворачиваясь к Андрею, – что сегодня здесь слишком много говорят о солдатах, причем почему-то как раз те лица, которые к солдатам никакого официального отношения не имеют...

– О солдатах говорят лица, – зло прервал его Кехада, – которые круглосуточно работают, едят и спят рядом с ними...

В возникшей тишине послышался легкий скрип кожаного кресла: полковник сел очень прямо. Некоторое время он молчал. Тихонько приоткрылась дверь, Элизауэр с постной улыбкой, слегка кланяясь на ходу, прокрался к своему месту.

Ну, торопил Андрей, во все глаза глядя на полковника. Ну! Врежь ему! По усам! По роже ему, по роже!..

Полковник наконец заговорил:

– Должен также обратить ваше внимание, советник, что среди некоторой части командного состава обнаружилось сегодня явное сочувствие и, более того, потворство вполне понятным, обычным, но совершенно нежелательным настроениям среди нижних чинов армии. Как старший офицер я имею заявить следующее. В том случае, если упомянутые потворство и сочувствие примут какие-либо практические формы, я буду поступать с потворствующими и сочувствующими, как полагается поступать с таковыми в полевых условиях. В остальном, господин советник, имею честь заверить вас, что армия и впредь готова выполнять любые ваши распоряжения.

Андрей потихоньку перевел дух и с удовольствием посмотрел на Кехаду. Кехада, криво улыбаясь, прикуривал новую сигарету от окурка старой. Элизауэра не было видно вовсе.

– А как, собственно, поступают с потворствующими и сочувствующими в полевых условиях? – с огромным любопытством осведомился Изя, который тоже был очень доволен.

– Их обычно вешают, – сухо ответил полковник.

Снова наступила тишина. Вот так-то, думал Андрей. Вам, надеюсь, все ясно, господин Кехада? Или, может быть, у вас есть какие-нибудь вопросы? Нет у вас никаких вопросов, куда там!.. Армия! Армия все решает, голубчики мои... И все равно я ничего не понимаю, думал он. Откуда у него такая уверенность? Или, может быть, это только маска, полковник? Я ведь тоже выгляжу сейчас очень уверенным. Во всяком случае, должен бы выглядеть... Обязан.

Он исподлобья посмотрел на полковника. Тот по-прежнему сидел очень прямо, стиснув в зубах погасшую трубку. И он был очень

бледен. Может быть, просто от злости. Будем надеяться, что всего лишь от злости... К черту, к черту, панически подумал Андрей. Большой привал! Немедленно! И пусть Кацман достанет мне воду. Много воды. Для полковника. Для одного полковника. И прямо с сегодняшней ночи полковнику – двойную порцию воды!..

Эллизауэр, весь перекошенный, высунулся из-за толстого плеча Кехады и жалобно проскрипел:

– Разрешите... Мне необходимо... Опять...

– Сядьте, – сказал ему Андрей. – Сейчас заканчиваем. – Он откинулся в кресле и взялся за подлокотники. – Приказ на завтра. Объявляется большой привал. Эллизауэр! Все силы на неисправный трактор. Даю вам три дня сроку, извольте управиться. Кехада. Завтра весь день занимайтесь больными. Послезавтра будьте готовы выступить со мной в глубокую разведку. Кацман, вы поедете с нами... Воду! – Он постучал пальцем по столу. – Воду мне, Кацман!.. Господин полковник! Завтра приказываю вам отдыхать. Послезавтра примете командование лагерем. Все, господа. Свободны.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Светя себе под ноги фонариком, Андрей торопливо поднялся на следующий этаж – кажется, уже на пятый. Ч-черт, не добегу ведь... Он приостановился и весь напрягся, пережидая острый позыв. В животе что-то с глухим ворчанием провернулось, стало чуть полегче. Дьяволы, все этажи засрали, ступить некуда. Он добрался до площадки и толкнулся в первую же дверь. Дверь со скрипом приоткрылась. Андрей протиснулся внутрь и принялся. Вроде бы ничего... Он посветил фонариком. На рассохшемся паркете, тут же у дверей, белели кости среди заскорузлых лохмотьев, скалил зубы череп, облепленный пучками волос. Ну ясно: заглянули, но испугались... Неестественно передвигая ногами, Андрей почти побежал по коридору. Гостиная... Ч-черт, что-то вроде спальни... Где здесь у них сортир? А, вот он...

Потом, уже спокойный, хотя резь в животе так и не утихла до конца, весь покрытый холодным липким потом, он снова вышел в коридор, застегнулся во тьме и снова вытащил из кармана фонарик. Немой был тут как тут – стоял, прислонившись плечом к какому-то полированному, бесконечной высоты шкафу, засунув большие белые ладони под широкий ремень.

– Сторожишь? – рассеянно-добродушно сказал ему Андрей. – Сторожи, сторожи, а то вот саданут меня чем-нибудь тяжелым из-за угла – что тогда будешь делать?..

Он поймал себя на том, что взял привычку разговаривать с этим странным человеком, как с огромной собакой, и ему стало неловко. Он дружески похлопал Немого по голому прохладному плечу и теперь уже не торопясь пошел по квартире, светя фонариком направо и налево. Позади, не приближаясь и не отставая, слышались мягкие шаги Немого.

Эта квартира была еще роскошнее. Множество комнат, набитых тяжелой старинной мебелью, мощные люстры, огромные почерневшие картины – в музейных рамах. Но мебель почти вся была поломана – ручки у кресел оторваны, стулья валялись без ножек и без спинок, у шкафов были оторваны дверцы. Топили они здесь мебелью, что ли, подумал Андрей. При такой-то жаре? Странно...

Дом был вообще, прямо скажем, странноватый, – солдат вполне можно было понять. Некоторые квартиры стояли нараспашку, там было просто пусто, совсем ничего, голые стены. Другие квартиры были заперты изнутри, иногда даже забаррикадированы мебелью, и, если удавалось вломиться внутрь, оказывалось, что там валяются на полу человеческие кости. То же самое было и в домах по соседству, и можно было предполагать, что-то же обнаружится и в остальных домах этого квартала.

Все это было ни с чем не сообразно, и даже Изя Кацман пока не сумел придумать никакого вразумительного объяснения, почему одни жильцы этих домов бежали, захватив с собою все, что могли унести, даже книги, а другие – забаррикадировались в своих жилищах, чтобы там умереть, по-видимому, от голода и жажды. А может быть, и от холода – в некоторых квартирах обнаружили жалкие подобию железных печурок, а в других огонь разводили, видимо, прямо на полу или на листах ржавого железа, сорванных, скорее всего, с крыши.

– Ты понимаешь, что здесь произошло? – спросил Андрей Немого.

Тот медленно покачал головой.

– Ты был здесь когда-нибудь раньше?

Немой кивнул.

– Тогда здесь жили?

«Нет», – показал Немой.

– Понятно... – пробормотал Андрей, пытаясь разобрать, что изображено на почерневшей картине. Кажется, что-то вроде портрета. Кажется, женщина какая-то...

– Это опасное место? – спросил он.

Немой глядел на него остановившимися глазами.

– Понимаешь вопрос?

Да.

– Можешь ответить?

Нет.

– И на том спасибо, – сказал Андрей задумчиво. – Значит, может, и ничего. Ладно, пошли домой.

Они вернулись на второй этаж. Немой остался в своем углу, а Андрей прошел к себе. Кореец Пак уже ждал его – беседовал о чем-то с Изей. Увидев Андрея, он замолчал и поднялся ему навстречу.

– Садитесь, господин Пак, – сказал Андрей и сел сам.

Пак, чуточку помедлив, осторожно опустился на сиденье стула и положил руки на колени. Желтоватое лицо его было спокойно, сонные глаза влажно поблескивали сквозь щелочки между припухшими веками. Андрею он всегда нравился – чем-то неуловимо напоминал Кэнси, а может быть, просто потому, что был всегда опрятен, благожелателен, со всеми дружелюбен, но без всякой фамильярности, немногословен, но вежлив и приветлив – всегда немного сам по себе, всегда на некотором неуловимом расстоянии... А может быть, потому, что именно он, Пак, прекратил эту нелепую стычку на триста сороковом километре – в самый разгар пальбы вышел из развалин и, подняв руку с раскрытой ладонью, неторопливо двинулся навстречу выстрелам...

– Вас не разбудили, господин Пак? – спросил Андрей.

– Нет, господин советник. Я еще не ложился.

– Желудок мучает?

– Не больше, чем других.

– Но, вероятно, и не меньше... – заметил Андрей. – А как у вас с ногами?

– Лучше, чем у других.

– Это хорошо, – сказал Андрей. – А как вообще самочувствие? Очень сильно устали?

– У меня все в порядке, благодарю вас, господин советник.

– Это хорошо, – повторил Андрей. – Я вот почему побеспокоил вас, господин Пак. Завтра объявлен большой привал. Но уже послезавтра я намерен с особой группой совершить небольшую рекогносцировку. Километров на пятьдесят-семьдесят вперед. Нам надо найти воду, господин Пак. Идти будем, вероятно, налегке, но быстро.

– Понимаю вас, господин советник, – сказал Пак. – Прошу разрешения присоединиться.

– Благодарю. Хотел просить вас об этом. Итак, выходим послезавтра, прямо в шесть утра. Сухой паек и воду получите у сержанта.

Договорились? Теперь вот что... Как вы полагаете, сумеем мы найти здесь воду?

– Думаю, да, – сказал Пак. – Я слышал кое-что об этих районах. Где-то здесь должен быть источник. Когда-то, по слухам, это был очень обильный источник. Теперь он, вероятно, оскудел. Но на наш отряд, возможно, и хватит. Надо посмотреть.

– А может быть, он вообще пересох?

Пак покачал головой.

– Возможно, но весьма маловероятно. Я никогда не слышал об источниках, которые пересыхают совсем. Выход воды может уменьшиться, даже сильно уменьшиться, но совсем источники, видимо, не пересыхают.

– В документах я пока не нашел ничего полезного, – сказал Изя. – Вода в город подавалась по акведуку, а теперь этот акведук сух, как... как я не знаю что.

Пак промолчал.

– А что вы еще слышали об этих кварталах? – спросил его Андрей.

– Разные более или менее страшные вещи, – сказал Пак. – Часть – явная выдумка. Что касается остального... – Он пожал плечами.

– Ну, например? – сказал Андрей благодушно.

– Собственно, все это я уже рассказывал вам раньше, господин советник. Например, по слухам, где-то неподалеку отсюда находится так называемый Город Железноголовые. Однако кто такие эти железноголовые, я понять так и не сумел... Кровавый водопад – но это еще, по-видимому, далеко. Вероятно, речь идет о потоке, который размывает какую-нибудь горную породу красного цвета. Воды там, во всяком случае, будет много... Существуют легенды о говорящих животных – это уже на грани вероятного. А о том, что находится за этой гранью, говорить, видимо, не имеет смысла... Впрочем, Эксперимент есть Эксперимент.

– Вам, наверное, очень надоели эти расспросы, – сказал Андрей, улыбаясь. – Воображаю, как вам надоело повторять всем одно и то же в двадцатый раз. Но вы уж нас извините, господин Пак. Ведь среди нас вы – самый осведомленный.

Пак снова пожал плечами.

– К сожалению, цена моей осведомленности невелика, – сказал он сухо. – Большинство слухов не подтверждается. И наоборот – встречается много такого, о чем я никогда ничего не слышал... А что касается расспросов, то не кажется ли вам, господин советник, что рядовые члены группы слишком осведомлены, когда речь идет о слухах? Лично я отвечаю на расспросы только тогда, когда разговариваю с

кем-нибудь из командного состава. Я считаю неправильным, господин советник, что солдаты и прочие рядовые работники экспедиции в курсе всех этих слухов. Вредно для морали.

– Вполне согласен с вами, – сказал Андрей, стараясь не отводить глаз. – И во всяком случае, я бы предпочел, чтобы было побольше слухов насчет молочных рек с кисельными берегами.

– Да, – сказал Пак. – Поэтому, когда меня спрашивают солдаты, я стараюсь уклониться от неприятных тем и муссирую, главным образом, легенду о Хрустальном Дворце... Правда, в последнее время они больше не желают слушать об этом. Все очень боятся и хотят домой.

– И вы тоже? – спросил Андрей сочувственно.

– У меня нет дома, – сказал Пак спокойно. Лицо у него было непроницаемое, глаза сделались совсем сонные.

– Н-да... – Андрей побарабанил пальцами по столу. – Ну что же, господин Пак. Еще раз – спасибо. Прошу вас отдохнуть. Спокойной ночи.

Он проводил глазами спину, обтянутую выцветшей голубой саржей, подождал, пока закроется дверь, и сказал:

– Хотел бы я все-таки понять, зачем он увязался с нами?

– То есть как это – зачем? – встрепенулся Изя. – Сами они разведку организовать не могли, вот и попросились к тебе...

– А зачем им, собственно, разведка?

– Ну, дорогой мой, не всем царство Гейгера по вкусу, как тебе! Раньше они не хотели жить под господином мэром – это тебя не удивляет? А теперь они не хотят жить под господином президентом. Они хотят жить сами по себе, понимаешь?

– Понимаю, – сказал Андрей. – Только, по-моему, никто не собирается мешать им жить самим по себе.

– Это – по-твоему, – сказал Изя. – Ты ведь не президент.

Андрей залез в железный ящик, достал плоскую флягу со спиртом и принялся свинчивать колпачок.

– Неужели ты воображаешь, – сказал Изя, – что Гейгер потерпит у себя под боком хорошо вооруженную, крепкую колонию? Две сотни закаленных, битых-перебитых мужиков всего в трехстах километрах от Стеклянного Дома... Конечно, он им жить не даст. Значит, им надо уходить дальше на север. Куда?

Андрей побрызгал спиртом на руки и изо всех сил потер ладонь о ладонь.

– До чего же осточертела эта грязь... – пробормотал он с отвращением. – Ты представить себе не можешь...

– Да-а, грязь... – сказал Изя рассеянно. – Грязь – это тебе не сахар... Ты мне скажи, что ты все время пристаешь к Паку? Чем он тебе не потрафил? Я его знаю давно, чуть ли не с первого дня. Это честнейший, культурнейший человек. Что ты к нему пристал? Только твоей зоологической ненавистью к интеллигенции можно объяснить эти бесконечные иезуитские допросы. Если тебе так уж позарез надо узнать, кто распространяет слухи, осведомителей своих допрашивай, а Пак здесь ни при чем...

– У меня нет осведомителей, – холодно сказал Андрей.

Они помолчали. Потом Андрей неожиданно для себя сказал:

– Хочешь – честно?

– Ну? – жадно сказал Изя.

– Так вот, мой милый. У меня в последнее время появилось ощущение, что кто-то очень хочет нашу экспедицию прекратить. Совсем прекратить, понимаешь? Не просто чтобы мы повернули оглобли и пошли домой, а прикончить нас. Уничтожить. Чтобы мы пропали без вести, понимаешь?

– Н-ну, брат!.. – сказал Изя. Пальцы его со скрипом копались в бороде, отыскивая бородавку.

– Да-да! И я все пытаюсь понять, кому это может быть выгодно. И получается, что это выгодно твоему Паку. Молчи! Дай мне договорить! Если мы пропадем без вести, Гейгер не узнает ничего – ни о колонии, ни о чем... И вторую такую экспедицию он не скоро решится организовать. И тогда не надо им будет уходить на север, покидать насиженное место. Вот так вот у меня получается, понимаешь?

– По-моему, ты с ума сошел, – сказал Изя. – Откуда у тебя эти ощущения? Если насчет повернуть оглобли – тут никаких ощущений не надо. Все хотят повернуть... Но откуда ты взял, что нас хотят уничтожить?

– Не знаю! – сказал Андрей. – Я тебе говорю: ощущение... – Он помолчал. – Во всяком случае, я правильно решил взять Пака с собой послезавтра. Нечего ему тут без меня в лагере делать...

– Да он-то здесь при чем?! – гаркнул Изя. – Ну подумай ты головой своей дурацкой! Ну, уничтожит он нас, а потом что? Восемьсот километров пешком? По безводью?!

– Откуда я знаю? – огрызнулся Андрей. – Может, он трактор умеет водить.

– Ты еще Мымру заподозри, – сказал Изя. – Как это... Как в сказке о царе Додоне... Шамаханская царица.

– Н-да... Мымра... – задумчиво сказал Андрей. – Тоже штучка та еще... И этот Немой... Кто он? Откуда? Почему ходит везде за мной,

как собака? Даже в сортир... Между прочим, ты знаешь, он уже, оказывается, в этих местах побывал.

– Открытие сделал! – сказал Изя пренебрежительно. – Это я давным-давно понял. Эти безъязыкие пришли с севера...

– Может быть, им здесь и вырезали языки? – сказал Андрей негромко.

Изя посмотрел на него.

– Слушай, давай выпьем, – сказал он.

– Разбавлять нечем.

– Ну, тогда хочешь, я тебе Мымру приведу?

– Иди ты к дьяволу... – Андрей поднялся, морщась, подвигал стертой ногой в ботинке. – Ладно, я пойду погляжу, как и что. – Он похлопал себя по пустой кобуре. – У тебя пистолет есть?

– Есть где-то. А что?

– Ладно, так пойду, – сказал Андрей.

Вытаскивая на ходу фонарик, он вышел в коридор. Немой поднялся ему навстречу. Справа, в глубине квартиры, из-за приоткрытой двери слышались негромкие голоса. Андрей приостановился.

– ...В Каире, Даган, в Каире! – внушительно вещал полковник. – Теперь я вижу, что вы все забыли, Даган. Двадцать первый полк Йоркширских стрелков, и командовал им тогда старина Билл, пятый баронет Стрэтфорд.

– Я прошу извинения, господин полковник, – почтительно возразил Даган. – Мы можем прибегнуть к дневникам господина полковника...

– Не надо, не надо никаких дневников, Даган! Занимайтесь своим пистолетом. Вы мне еще обещали почитать на ночь...

Андрей вышел на лестничную площадку и, как на телеграфный столб, налетел на Эллизауэра. Эллизауэр курил, ссутулившись, прислонясь задом к железным перилам.

– Последняя перед сном? – спросил Андрей.

– Так точно, господин советник. Сейчас ложусь.

– Ложитесь, ложитесь, – сказал Андрей, проходя. – Знаете: больше спишь – меньше грешишь.

Эллизауэр почтительно хихикнул ему вслед. Верста коломенская, подумал Андрей. Попробуй мне только в три дня не управиться – самого в волокушу запрягу...

Нижние чины располагались на нижнем этаже (хотя гадить они наладились на верхних). Разговоров здесь слышно не было – все или почти все, видимо, уже спали. Сквозь распахнутые – для сквозняка –

двери квартир, выходящих в вестибюль, доносился разноголосый храп, сонное чмоканье, бормотание, хриплый прокуренный кашель.

Андрей заглянул сначала в квартиру налево. Здесь устроились армейцы. Из маленькой комнатухи без окон виднелся свет. Сержант Фогель в одних трусах и в фуражке, сдвинутой на затылок, сидел за столиком и прилежно заполнял какую-то ведомость. В армии был порядок: дверь комнатухи была настежь, так что никто не мог бы войти или выйти незамеченным. На звук шагов сержант быстро поднял голову и всмотрелся, прикрывая лицо от света лампы.

– Это я, Фогель, – сказал Андрей негромко и вошел.

Сержант мигом поставил ему стул. Андрей сел и огляделся. Так, в армии порядок. Все три бидона с расходной водой здесь. Ящики с консервами и галетами для завтрашнего завтрака тоже уже здесь. И ящик с сигаретами. Прекрасно вычищенный пистолет сержанта лежал на столе. Дух в комнатухе стоял тяжелый, мужской, походно-полевой. Андрей положил руку на спинку стула.

– Что на завтрак, сержант? – спросил он.

– Как обычно, господин советник, – сказал Фогель, удивившись.

– Давайте-ка придумайте что-нибудь не как обычно, – сказал Андрей. – Кашу, что ли, рисовую с сахаром... Консервированные фрукты остались?

– Можно рисовую кашу с черносливом, – предложил сержант.

– Давайте с черносливом... Воды выдайте утром двойную порцию.

И по полплитки шоколаду... Шоколад остался?

– Есть еще немного, – сказал сержант неохотно.

– Вот и выдайте... Сигареты что – последний ящик?

– Точно так.

– Ну, ничего не поделаешь. Завтра – как обычно, а с послезавтрашнего дня сокращайте норму... Да, и вот еще что. Полковнику с сегодняшнего дня и впредь – двойную порцию воды.

– Осмелюсь доложить... – начал было сержант.

– Знаю, – прервал его Андрей. – Скажете, что это мой приказ.

– Слушаюсь... Угодно господину советнику... Анастасис! Куда?

Андрей обернулся. В коридоре, покачиваясь на нетвердых ногах и придерживаясь рукой за стену, стоял совершенно раскисший со сна солдат – тоже в одних трусах и в ботинках.

– Виноват, господин сержант... – промямлил он. Видно было, что он ничего не соображает. Потом руки его опустились по швам. – Разрешите отлучиться в уборную, господин сержант!

– Бумага нужна?

Солдат почмокал губами, пошевелил лицом.

– Никак нет. Имеется... – Он показал зажатый в кулаке клочок бумаги, видимо, из Изиных архивов. – Разрешите идти?

– Ступай... Прошу прощения, господин советник. Всю ночь бегают. А случается, что и просто так... под себя... Раньше хоть марганцовка помогала, а теперь вот ничего уже не помогает... Угодно будет, господин советник, проверить караулы?

– Нет, – сказал Андрей, поднимаясь.

– Прикажете сопровождать?

– Нет. Оставайтесь.

Андрей снова вышел в вестибюль. Здесь было так же жарко, но во-няло все-таки поменьше. Рядом бесшумно вырос Немой. Слышно было, как на лестнице, этажом выше, оступается и шипит сквозь зубы рядовой Анастасис. Не дойдет ведь до сортира, на пол навалит, подумал Андрей с гадливым сочувствием.

– Ну что, – сказал он вполголоса Немому. – Посмотрим, как гражданские устроились?

Он пересек вестибюль и вошел в дверь квартиры напротив. Походно-полевой дух стоял и здесь, но армейского порядка уже не было. Пригашенная лампа в коридоре тускло освещала сваленные кое-как приборы в брезентовых чехлах вперемежку с оружием, грязный рюкзак с развороченными внутренностями, брошенные у стены манерки и кружки. Взявши лампу, Андрей шагнул в ближайшую комнату, и сейчас же ему под ноги попался чей-то ботинок.

Здесь спали водители – голые, потные, распростертые на мятом брезенте. Даже простыни не постелили... Впрочем, простыни были, надо думать, грязнее всякого брезента. Один из водителей вдруг поднялся, сел, не раскрывая глаз, зверски поскреб плечи и проговорил невнятно: «На охоту идем, а не в баню... На охоту, понял? Вода желтая... под снегом желтая, понял?» Еще не договорив, он снова обмяк и повалился на бок.

Андрей убедился, что все четверо на месте, и прошел к следующей комнате. Здесь уже обитала интеллигенция. Спали на раскладушках, застелив их серыми простынями, спали тоже беспокойно, с нездоровым храпом, – постанывали, скрипели зубами. Двое картографов в одной комнате, двое геологов – в соседней. В комнате геологов Андрей уловил незнакомый сладковатый запах, и ему сразу же вспомнилось, что ходит слух, будто геологи покуривают гашиш. Позавчера сержант Фогель отобрал сигарету с анашой у рядового Тевосяна, начистил ему зубы и пригрозил сгноить в авангарде. И хотя полковник отнесся к этому случаю скорее юмористически, Андрею все это очень не понравилось.

Остальные комнаты в огромной квартире были пусты, только на кухне, закутавшись с головой в какое-то тряпье, спала Мымра – измочали ее, видно, за этот вечер. Из-под гнусного тряпья торчали тощие голые ноги, все в ссадинах и каких-то пятнах. Вот еще беда на нашу голову, подумал Андрей. Шамаханская царица. Черт бы ее побрал, проклятую сучку. Шлюха грязная... Откуда? Кто такая? Бормочет невразумительное на непонятном языке... Почему в Городе – непонятный язык? Как это может быть? Изя услышал – обалдел... Мымра. Это ведь Изя ее так назвал. Правильно назвал. Очень похоже. Мымра.

Андрей вернулся к комнате водителей, поднял лампу над головой и показал Немому на Пермяка. Немой, бесшумно скользнув между спящими, нагнулся над Пермяком и взял его обеими ладонями за уши. Потом он выпрямился. Пермяк уже сидел, упираясь одной рукой в пол, а другой – отирая с губ набежавшую во сне слюнку.

Поймав его взгляд, Андрей мотнул головой в сторону коридора, и Пермяк сразу же поднялся на ноги – легко и беззвучно. Они прошли в пустую комнату в глубине квартиры, Немой плотно закрыл дверь и прислонился к ней спиной. Андрей посмотрел, где сесть. Комната была пуста, и он сел прямо на пол. Пермяк опустил перед ним на корточки. В свете лампы конопатое лицо его казалось нечистым, спутанные волосы падали на лоб, и сквозь них чернела корявая татуировка «раб Хрущёва».

– Пить хочешь? – спросил Андрей вполголоса.

Пермяк кивнул. На лице его появилась знакомая блудливая улыбочка. Андрей извлек из заднего кармана плоскую флягу, где на доннышке плескалась вода, и протянул ему. Он смотрел, как Пермяк пьет – маленькими скупыми глотками, шумно дыша через нос, двигая щетинистым кадыком. Вода сразу же испариной выступала у него на теле.

– Тепленькая... – сипло сказал Пермяк, возвращая пустую фляжку. – Холодной бы... из-под крана... Эх!

– Что там у вас с двигателем? – спросил Андрей, засовывая фляжку обратно в карман.

Пермяк растопыренной ладонью собрал пот с лица.

– Говно – двигатель, – сказал он. – Его у нас вторым делали, не попевали к сроку... Чудо еще, что до сего дня продержался.

– Починить можно?

– Починить можно. Денька два-три потыркаемся – починим. Только это ненадолго. Еще километров двести прочапаем, снова будем загорать. Говно – двигатель.

– Понятно, – сказал Андрей. – А ты не заметил, кореец Пак около солдат не вертится?

Пермяк досадливо отмахнулся от этого вопроса. Он придвинулся к Андрею и проговорил ему в самое ухо:

– Нынче на обеденном привале солдаты сговорились дальше не идти.

– Это я уже знаю, – сказал Андрей, стискивая зубы. – Ты мне скажи, кто у них верховодит?

– Не могу никак разобрать, начальник, – свистящим шепотом ответил Пермяк. – Болтает больше всех Тевосян, но ведь он трепло, а потом он последнее время что ни утро – торчит...

– Что?

– Торчит... Ну – под балдой, накурившись... Его никто не слушает. А вот кто настоящий заводила – не пойму.

– Хнойпек?

– А хрен его знает. Может, и он. Человек в авторитете... Водители вроде бы тоже за, то есть чтобы дальше не идти. От господина Эллизауэра толку никакого нет – он только хихикает, как падлю, да всем старается угодить... боится, значит. А я что могу? Я только их подзуживаю, что на солдат полагаться нельзя, что они нашего брата-водителя ненавидят. Мы, мол, едем – они идут. Им паек солдатский, а нам – как господам ученым... За что, мол, им нас любить? Раньше действовало, а теперь что-то плохо действует. Главное что? Тринадцатый день послезавтра...

– А ученые как? – прервал его Андрей.

– А хрен их знает. Ругаются страшными словами, а вот за кого они – не могу понять. Каждый божий день у них с солдатами из-за Мымры грызня... А господин Кехада, знаете, что говорил? Что полковник, мол, долго не протянет.

– Кому говорил?

– Я так думаю, что это он всем говорит. А сам я слышал, как он это своим геологам объяснял, чтобы они с оружием не расставались. На этот случай. Сигаретки нет, Андрей Михайлович?

– Нет, – сказал Андрей. – А как сержант?

– К сержанту не подступишься. С ним – где залезешь, там и слезешь. Камешек. Убьют они его первого. Очень ненавидят.

– Ладно, – сказал Андрей. – А как все-таки насчет корейца? Агитирует он солдат или нет?

– Не видел. Он всегда особняком держится. Ежели хотите, я, конечно, за ним специально присмотрю, но, по-моему, это пустой номер...

– Ну, вот что, – сказал Андрей. – С завтрашнего дня – большой привал. Работы, в общем, никакой. Только на тракторе. А солдаты будут вообще только валяться да болтать. Ты вот что, Пермяк. Ты мне выясни, кто у них главный. Это у тебя будет дело номер один. Придумай что-нибудь, тебе там видней, как это сделать... – Он поднялся, и Пермяк тоже вскочил. – Тебя сегодня правда рвало?

– Да, скрутило чего-то... Сейчас вроде полегче.

– Надо что-нибудь?

– Да нет, лучше не стоит. Курева бы...

– Ладно. Трактор почините – премию выдам. Иди.

Пермяк выскользнул за дверь мимо посторонившегося Немого, а Андрей подошел к окну и оперся на подоконник, выжидая положенные пять минут. В отсветах подвижной фары грузно чернели остовы волокуш и второго трактора, блестели остатки стекол в черных окнах дома напротив. Справа невидимый в темноте часовой, позвякивая подковками, бродил взад-вперед поперек улицы и тихонько насвистывал что-то унылое.

Ничего, подумал Андрей. Выкарабкаемся. Заводилу бы найти... Он представил себе снова, как по его приказу сержант выстраивает солдат без оружия в одну шеренгу и как он, Андрей, начальник экспедиции, с пистолетом в опущенной руке медленно идет вдоль этой шеренги, вглядываясь в окаменевшие заросшие лица, как он останавливается перед отвратной рыжей харей Хнойпека и стреляет ему в живот – раз и второй раз... Без суда и следствия. Так будет с каждым мерзавцем и трусом, который осмелится...

А господин Пак, по-видимому, и на самом деле ни при чем, подумал он. И на том спасибо. Ладно. Завтра еще ничего не случится. Еще дня три ничего не случится, а за три дня можно много чего придумать... Можно, например, хороший источник найти, километрах в ста впереди. К воде небось поскачут, как лошади... Ну и духотища же все-таки здесь. Всего-то один вечер здесь стоим, а уже дерьмом везде воняет... И вообще время всегда работает на начальство против бунтовщиков. Везде так было и всегда так было... Откуда я это взял? Изя? Да нет, пожалуй, это я сам придумал. Хорошо придумал, правильно. Молодец... Вот они сегодня сговорились, что завтра дальше не пойдут. Утром поднимутся оскаленные, а мы им – большой привал. Идти-то, ребята, оказывается, никуда и не надо, зря оскалились... А тут еще тебе и каша с черносливом, чаю вторая кружка, шоколад... Вот так-то, господин Хнойпек! А до тебя я все-таки доберусь, дай только срок... Черт, спать охота. Пить охота... Ну, про питье ты, положим, забудь,

господин советник, а вот спать надо. Завтра – чуть свет... Провалился бы ты, Фриц, со своей экспансией. Тоже мне – император вся говна...
– Пойдем, – сказал он Немому.

За столом Изя все еще листал свои бумажки. Теперь он взял себе новую дурную привычку – бороду кусать. Завернет волосню свою на горсть, сунет в зубы и грызет. Экое чучело, право... Андрей подошел к раскладушке и принялся застилать простыню. Простыня липла к рукам, как клеенка.

Изя вдруг сказал, повернувшись к нему всем телом:

– Так вот. Жили они здесь под управлением Самого Доброго и Простого. Все с большой буквы, заметь. Жили хорошо, всего было вдоволь. Потом стал меняться климат, наступило резкое похолодание. А потом еще что-то произошло, и они все погибли. Я тут нашел дневник. Хозяин забаррикадировался в квартире и помер от голода. Вернее, он не помер, а повесился, но повесился от голода – сошел с ума... Началось с того, что на улице появилась какая-то рябь...

– Что появилось? – спросил Андрей, переставая стаскивать ботинок.

– Какая-то рябь появилась. Рябь! Тот, кто попадал в эту рябь, исчезал. Иногда успевал еще заорать, а иногда и того не успевал – просто растворялся в воздухе – и все.

– Бред какой-то... – проворчал Андрей. – Ну?

– Те, кто вышел из дому, все погибли в этой ряби. А те, кто испугался или сообразил, что дело дрянь, те поначалу выжили. Первое время по телефону переговаривались, потом стали понемножку вымирать. Жрать ведь нечего, на улице – мороз, дров не запасли, отопление не работает...

– А рябь куда делась?

– Ничего по этому поводу не пишет. Я тебе говорю, он к концу с ума сошел. Последняя запись у него такая... – Изя пошелестел бумагами. – Вот, слушай: «Не могу больше. Да и зачем? Пора. Сегодня утром Добрый и Простой прошел по улице и заглянул ко мне в окно. Это улыбка. Пора». И все. Квартира у него, заметь, на пятом этаже. Он, бедняга, петельку к люстре приладил... Петелька, между прочим, так до сих пор и висит.

– Да, похоже, на самом деле с ума сошел, – сказал Андрей, забираясь в постель. – Это от голода, точно. Слушай, а насчет воды как, ничего?

– Пока ничего. Я полагаю, нам завтра надо идти до конца акведука... Ты что, уже спать?

– Да. «И тебе советую», – сказал Андрей. – Прикрути лампу и выметайся.

– Слушай, – сказал Изя жалобно. – Я хотел еще немножко почитать. У тебя лампа хорошая.

– А твоя где? У тебя такая же.

– Понимаешь, она у меня разбилась. В волокуше... Я на нее ящик поставил. Нечаянно...

– Кр-ретин, – сказал Андрей. – Ладно. Забирай лампу и уходи.

Изя торопливо зашуршал бумагой, двинул стулом, потом сказал:

– Да! Тут тебе Даган пистолет твой принес. И от полковника что-то передавал, но я забыл...

– Ладно, дай сюда пистолет, – сказал Андрей.

Он сунул пистолет под подушку и повернулся на бок, спиной к Изе.

– А хочешь, я тебе одно письмо почитаю? – вкрадчиво сказал Изя.

– У них тут, понимаешь, было что-то вроде полигамии...

– Пошел вон, – спокойно сказал Андрей.

Изя хихикнул. Андрей с закрытыми глазами слушал, как он воится, шуршит, скрипит рассохшимся паркетом. Потом скрипнула дверь, и когда Андрей открыл глаза, было уже темно.

Рябь какая-то... Н-да. Ну, тут уж как повезет. Сие от нас не зависит. Думать надо только о том, что от нас зависит... Вот в Ленинграде никакой ряби не было, был холод, жуткий, свирепый, и замерзающие кричали в обледенелых подъездах – все тише и тише, долго, по многу часов... Он засыпал, слушая, как кто-то кричит, просыпался все под этот же безнадежный крик, и нельзя сказать, что это было страшно, скорее тошно, и когда утром, закутанный до глаз, он спускался за водой по лестнице, залитой замерзшим дерьмом, держа за руку мать, которая волочила санки с привязанным ведром, этот, который кричал, лежал внизу возле клетки лифта, наверное, там же, где упал вчера, наверняка там же – сам он встать не мог, ползти тоже, а выйти к нему так никто и не вышел... И никакой ряби не понадобилось. Мы выжили только потому, что мать имела обыкновение покупать дрова не летом, а ранней весной. Дрова нас спасли. И кошки. Двенадцать взрослых кошек и маленький котенок, который был так голоден, что, когда я хотел его погладить, он бросился на мою руку и жадно грыз и кусал пальцы... Вас бы туда, сволочей, подумал Андрей про солдат с неожиданной злобой. Это вам не Эксперимент... И тот город был страшнее этого. Я бы там обязательно сошел с ума. Меня спасло, что я был маленький. Маленькие просто умирали...

А город, между прочим, так и не сдали, подумал он. Те, кто остался, понемножку вымирали. Складывали их штабелями в деревянных сараях, живых пытались вывезти – власть все равно функционировала, и жизнь шла своим чередом – странная, бредовая жизнь. Кто-то просто тихо умирал; кто-то совершал героические поступки, потом тоже умирал; кто-то до последнего вкалывал на заводе, а когда приходило время, тоже умирал... Кто-то на всем этом жирел, за кусочки хлеба скушал драгоценности, золото, жемчуг, серьги, потом тоже умирал – сводили его вниз к Неве и стреляли, а потом поднимались, ни на кого не глядя, закидывая винтовочки за плоские спины... Кто-то охотился с топором в переулках, ел человечину, пытался даже торговать человечинной, но тоже все равно умирал... Не было в этом городе ничего более обыкновенного, чем смерть. А власть оставалась, и пока оставалась власть, город стоял.

Интересно все-таки, было им нас жалко? Или они о нас просто не думали? Просто выполняли приказ, а в приказе было про город и ничего не было про нас. То есть про нас, конечно, тоже было, но только в пункте «ж» ... На Финляндском вокзале под ясным, белым от холода небом стояли эшелоны дачных вагонов. В нашем вагоне было полно детишек, таких же, как я, лет двенадцати – какой-то детский дом. Ничего почти не помню. Помню солнце в окнах и пар дыхания, и детский голос, который все повторял и повторял одну и ту же фразу, с одной и той же бессильно-злой визгливой интонацией: «Иди на х... отседова!», и снова: «Иди на х... отседова!», и снова...

Подожди, я не об этом. Приказ и жалость – вот я о чем. Вот мне, например, солдат жалко. Я их прекрасно понимаю и даже им сочувствую. Отбирали ведь добровольцев, и вызвались, конечно, в первую голову авантюристы, сарынь-на-кичку, которым в благоустроенном нашем городе скучно и томно, которые не прочь посмотреть совсем новые места, автоматиком поиграть при случае, пошарить по развалинам, а вернувшись – набить карманы наградами, нацепить свеженькие лычки, гоголем походить среди девок... И вот вместо всего этого – понос, кровавые мозоли, чертовщина жуткая какая-то... Тут забунтуешь!

А мне? Мне что – легче? Я что – тоже за поносом сюда шел? Мне тоже неохота дальше идти, я тоже впереди ничего хорошего уже не вижу, у меня, черт вас побери, тоже были кое-какие надежды – свой, понимаете ли, хрустальный дворец за горизонтом! Я, может быть, сейчас рад-радехонек scomандовать: все, ребята, поворачивай оглобли!.. Мне ведь тоже осточертела эта грязь, я тоже разочарован, я тоже, черт побери, боюсь – какой-нибудь там ряби паршивой или

людей с железными головами. У меня, может быть, все внутри обрвалось, когда я этих безъязыких увидел: вот оно, предупреждение тебе – не ходи, дурак, возвращайся... А волки? Когда я один в арьергарде шел, потому что вы все со страху обдристались, думаете, мне сладко было? Выскочит из пыли, отхватит ползадницы, и нет его... Вот так-то, голубчики, сволочи мои дорогие, не вам одним тяжело, у меня тоже от жажды внутри все потрескалось...

Ну хорошо, сказал он себе. А на кой ляд ты тогда идешь? Вот прямо завтра и дай команду – птичкой полетим, через месяц будем дома, бросишь Гейгеру под ноги свои высокие полномочия и скажешь: ну тебя, брат, на хер, сам иди, если тебе так приспичило экспансию разводить, если у тебя, понимаешь, в одном месте свербеж... Да нет, собственно, почему обязательно со скандалом? Как-никак, а прошли девятьсот километров, карту сделали, архивов раздобыли десять ящичков – мало, что ли? Ну нет там ничего дальше! Сколько же можно еще ноги мозолить? Это ведь не Земля, не шар... Ну нет здесь нефти, и воды нет, и крупных поселений... И Антигорода никакого, конечно, нет, это совершенно теперь ясно – никто здесь о нем и слыхом не слыхивал... В общем, оправдания найдутся. Оправдания... То-то и оно, что оправдания!

Тут ведь вопрос как стоит? Договорились идти до конца, и приказано было тебе идти до конца. Так? Так. Теперь: дальше идти можешь? Могу. Жратва есть, горючее есть, оружие в порядке... Люди, конечно, измотались, но все целы-невредимы... Да и не так уж измотались, в конце концов, коли Мымру по вечерам валяют... Нет, брат, не сходятся у тебя концы с концами. Дерьмовый ты начальник, скажет тебе Гейгер, ошибся я в тебе! А тут еще ему Кехада – в одно ухо, Пермяк – в другое, а там уже и Эллизауэр на подхвате...

Эту последнюю мысль постарался Андрей поскорее от себя отогнать, но было уже поздно. С ужасом он обнаружил, что для него, оказывается, отнюдь не маловажную роль играет его положение господина советника и что ему крайне не нравится думать о том, что положение это может вдруг измениться.

Ну и пусть изменится, думал он, защищаясь. Что я – с голоду подохну без этого положения? Пожалуйста! Пусть господин Кехада садится на мое место, а я сяду – на его. Дело от этого пострадает, что ли?.. Господи, подумал он вдруг. Да какое, собственно, дело-то? Что ты несешь, милый? Ты ведь уже теперь не маленький – о судьбах мира заботиться... Судьбы мира, знаешь ли, и без тебя обойдутся, и без Гейгера... Каждый должен делать свое дело на своем посту? Пожалуйста, не возражаю. Готов делать свое дело на своем посту. На своем. На

этом самом. На посту власть имущего. Вот так-то, господин советник!.. А какого черта? Почему бывший унтер-офицер битой армии имеет право властвовать над миллионным городом, а я – без пяти минут кандидат наук, человек с высшим образованием, комсомолец – не имею права властвовать над отделом науки? Что же это – у меня хуже выходит, чем у него? В чем дело?..

Ерунда все это – «имею право, не имею права» ... Право на власть имеет тот, кто имеет власть. А еще точнее, если угодно, – право на власть имеет тот, кто эту власть осуществляет. Умеешь подчинять – имеешь право на власть. Не умеешь – извини!..

И вы у меня пойдете, мерзавцы! – сказал он спящей экспедиции. Не потому вы у меня пойдете, что я сам рвусь, как этот павиан бородатый, в неизведанные дали, а потому вы у меня пойдете, что я вам прикажу идти. А прикажу я вам идти, сукины вы дети, разгильдяи, ландскнехты дрисливые, не из чувства долга перед Городом или, упаси бог, перед Гейгером, а потому, что у меня есть власть, и эту власть я должен постоянно подтверждать – и перед вами, паскудниками, подтверждать, и перед собой. И перед Гейгером... Перед вами – потому что иначе вы меня сожрете. Перед Гейгером – потому что иначе он меня выгонит и будет прав. А перед собой... Это, знаете ли, королям и всяким там монархам была в свое время лафа. Власть у них была от Бога, лично, без власти ни они сами себя не представляли, ни ихние подданные. Да и то, между прочим, зевать им не приходилось. А мы, маленькие люди, в Бога не верим. Нас на трон миром не мазали. Мы должны сами о себе позаботиться... У нас, знаете ли, так: кто смел, тот и съел. Самозванцев нам не надо – командовать буду я. Не ты, не он, не они и не оне. Я. Армия меня поддержит...

Во наколбасил, подумал он с некоторой даже неловкостью. Он перевернулся на другой бок, а руку для удобства засунул под подушку, где было попрохладней. Пальцы его наткнулись на пистолет.

...Это как же вы намереваетесь всю эту свою программу осуществлять, господин советник? Это же – стрелять придется! Не в воображении своем стрелять («Рядовой Хнойпек, выйти из строя!..»), не онанизмом умственным заниматься, а вот так – взять и выпалить живому человеку, может быть, безоружному, может быть, даже ничего не подозревающему, может быть, и не виноватому, в конце концов... да плевать на все это! – ЖИВОМУ человеку – в живот, в мягкое, в кишки... Нет, этого я не умею. Этого я никогда не делал и, ей-богу, не представляю... На триста сороковом километре я, конечно, тоже палил, как и все, со страху просто, ничего же не понимал... Но там я никого не видел, и там в меня, черт побери, тоже стреляли!..

Ладно, подумал он. Ну, хорошо – гуманизм там, отсутствие привычки опять же... А если они все-таки не пойдут? Я им прикажу, а они мне ответят: шел бы ты на хер, братец, сам иди, если у тебя в одном месте свербеж...

А ведь это идея! – подумал он. Выдать разгильдяям немного воды, часть жратвы выделить на обратную дорогу, поломанный трактор пусть чинят... Идите, мол, без вас обойдемся. Как бы это было роскошно – разом освободиться от дерьма!.. Впрочем, он сразу представил себе лицо полковника при таком предложении. М-да, полковник этого не поймет. Не та порода. Он как раз из этих... из монархов. Ему мысль о возможном неподчинении просто в голову не приходит. И уж во всяком случае, мучиться над всеми этими проблемами он не станет... Военно-аристократическая косточка. Ему хорошо – у него и отец был полковник, и дед был полковник, и прадед был полковник – вон какую империю отгрохали, то-то небось народу перебили... Вот он пусть и расстреливает, в случае чего. В конце концов, это его люди. Я в его дела вмешиваться не намерен... Ч-черт, надоело мне это все! Интеллигентщина распротухлая, развел гнидник под черепушкой!.. Должны идти – и все! Я выполняю приказ, и вы извольте выполнять. Меня не приласкают, если нарушу, и вам тоже, черт вас дерит, не поздоровится! И все. И к черту. Лучше о бабах думать, чем об этой ерунде. Тоже мне – философия власти...

Он снова перевернулся, скручивая под собою простыню, и с натугой представил себе Сельму. В этом ее сиреневом пеньюаре – как она наклоняется перед постелью и ставит на столик поднос с кофе... Он подробно представил себе, как все это было бы с Сельмой, а потом вдруг – уже без всякой натуги – очутился на службе в своем кабинете, где обнаружил в большом кресле Амалию с юбочкой, закатанной до подмышек... Тогда он понял, что дело зашло слишком далеко.

Он отбросил простыню, сел нарочито неудобно, чтобы край раскладушки врезался в задницу, и некоторое время сидел, таращась в слабо освещенный рассеянным светом прямоугольник окна. Потом он посмотрел на часы. Было уже больше двенадцати. А вот встану сейчас, подумал он. Спущусь на первый этаж... Где она там дрыхнет – на кухне, что ли? Раньше эта мысль всегда вызывала у него здоровое отвращение. Сейчас этого не получалось. Он представил себе голые грязные ноги Мымры, но не задержался на них, а пошел выше... Ему вдруг стало интересно, а какая она голая. В конце концов, баба есть баба...

– Господи! – сказал он громко.

Дверь сейчас же скрипнула, и на пороге появился Немой. Черная тень во тьме. Только белки поблескивают.

– Ну чего пришел? – сказал ему Андрей с тоскою. – Иди спи.

Немой исчез. Андрей нервно зевнул и повалился боком на койку.

Проснулся он от ужаса, весь мокрый.

– ...Стой, кто идет? – снова завопил под окном часовой. Голос у него был пронзительный, отчаянный, словно он звал на помощь.

И сейчас же Андрей услышал тяжелые хрусткие удары, как будто кто-то огромный мерно ударял огромной кувалдой по крошащемуся камню.

– Стрелять буду! – пронзительно завизжал часовой совсем уже нечеловеческим голосом и принялся стрелять.

Андрей не запомнил, как оказался у окна. В темноте справа судорожно билось оранжевое пламя выстрелов. В огненных отсветах выше по улице чернело что-то громоздкое, неподвижное, непонятных очертаний, и из него вылетали и рассыпались снопы зеленоватых искр. Андрей ничего не успел понять. Обойма у часового кончилась, на мгновение наступила тишина, потом он там в темноте снова дико завизжал – совсем как лошадь, – забухал ботинками и вдруг оказался в круге света под самым окном – влетел, завертелся на одном месте, размахивая пустым автоматом, затем, не переставая визжать, бросился к трактору, забился в черную тень под гусеницу и все дергал, дергал из-за пояса запасную обойму, и никак не мог выдернуть... И тогда снова послышались хрусткие удары кувалды о камень: бумм-бумм-бумм...

Когда Андрей в одной куртке, без штанов, в башмаках с болтающимися шнурками выскочил с пистолетом в руке на улицу, там уже было полно народу. Сержант Фогель ревел быком:

– Тевосян, Хнойпек! Направо! Приготовиться вести огонь! Анастасис! На трактор, за кабину! Наблюдать, приготовиться вести огонь!.. Живее! Дохлые свиньи!.. Василенко! Налево! Залечь, вести... Налево, раздолбай славянский! Залечь, вести наблюдение!.. Палотти! Куда, макаронник!..

Он схватил бегущего без памяти итальянца за шиворот, со страшной силой ударил его башмаком в зад и швырнул к трактору.

– За кабину, животное!.. Анастасис, дайте свет вдоль улицы!..

Андрея толкали в спину, в бока. Стиснув зубы, он пытался удержаться на ногах, абсолютно ничего не соображая, борясь с нестерпимым желанием заорать что-то бессмысленное. Он прижался к стене и, выставив перед собой пистолет, затравленно озирался. Почему они

все бегут туда? А вдруг те нападут сзади? Или с крыши? Или из дома напротив?..

– Водители! – ревел Фогель. – Водители, на трактора!.. Кто там стреляет, ублюдки?! Прекратить огонь!..

Понемногу в голове у Андрея прояснилось. Дело, оказывается, было совсем не так уж и плохо. Солдаты залегли, где было приказано, суэта прекратилась, и наконец кто-то на тракторе повернул прожектор и осветил улицу.

– Вон он! – крикнул придушенный голос.

Коротко ударили и сейчас же смолкли автоматы. Андрей успел заметить только что-то огромное, чуть ли не выше домов, уродливое, с торчащими в разные стороны обрубками и шипами. Оно отбросило вдоль улицы бесконечную тень и сразу же свернуло за угол в двух кварталах выше по улице. Исчезло из виду, а тяжелые удары кувалды по хрустящему камню сделались тише, потом еще тише, а вскоре затихли совсем.

– Что там произошло, сержант? – произнес спокойный голос полковника над головой Андрея.

Полковник, застегнутый на все пуговицы, упершись руками в подоконник и слегка наклонившись вперед, стоял у окна.

– Часовой поднял тревогу, господин полковник, – отозвался сержант Фогель. – Рядовой Терман.

– Рядовой Терман, ко мне, – сказал полковник.

Солдаты завертели головами.

– Рядовой Терман! – рявкнул сержант. – К полковнику!

В рассеянном свете прожектора было видно, как рядовой Терман лихорадочно выкарабкивается из-под гусеницы. Снова у него, у бедняги, что-то там зацепилось. Он рванулся изо всех сил, встал на ноги и закричал петушиным голосом:

– Рядовой Терман по приказанию господина полковника явился!

– Ну и чучело! – сказал полковник брезгливо. – Застегнитесь.

И в этот момент включилось солнце. Это было так неожиданно, что над лагерем пронеслось многоголосое сдавленное мычание. Многие закрыли глаза ладонями. Андрей зажмурился.

– Почему подняли тревогу, рядовой Терман? – осведомился полковник.

– Посторонний, господин полковник! – с отчаянием в голосе выпалил Терман. – Не отзывался. Шел прямо на меня. Земля дрожала!.. Согласно уставу, окликнул два раза, потом открыл огонь...

– Ну что ж, – сказал полковник. – Хвалю.

В ярком свете все казалось совсем не таким, как пять минут назад. Лагерь теперь был как лагерь – осточертевшие волокуши, грязные железные бочки с горючим, покрытые пылью трактора... На этом обычном, уже обрыдлом фоне полураздетые вооруженные люди, лежавшие и сидевшие на корточках со своими пулеметами и автоматами, всклокоченные, с помятыми лицами и растрепанными бородами, казались нелепыми и смешными. Андрей вспомнил, что он и сам без штанов и что ботиночные шнурки у него болтаются, ему стало



неловко. Он осторожно попятился к дверям, но там толпой стояли водители, картографы и геологи.

– Осмелюсь доложить, – говорил тем временем приободрившийся Терман. – Это был не человек, господин полковник.

– А что же это было?

Рядовой Терман затруднился.

– Похоже скорее на слона, господин полковник, – авторитетно сказал Фогель. – Или же на допотопное чудовище.

– На стегозавра больше всего похоже, – подал голос Тевосян.

Полковник тут же обратил на него взгляд и несколько секунд с любопытством его рассматривал.

– Сержант, – сказал он наконец. – Почему ваши люди раскрывают рот без разрешения?

Кто-то злорадно хихикнул.

– Р-р-разговорчики! – страшным шепотом произнес сержант. – Разрешите наказать, господин полковник?

– Полагаю... – начал было полковник, и тут его прервали.

– В-ва-ва-ва-в-в... – тихонько, а потом все громче завыл кто-то, и Андрей заметался взглядом по лагерю, ища, кто это воет и почему.

Все испуганно зашевелились, все завертели головами, а потом Андрей увидел: Анастасис, стоя позади тракторной кабины, тычет рукой куда-то вперед, весь белый, даже зеленый, и не может выговорить ни одного связного слова. Андрей, заранее напрягаясь, готовый ко всему, поглядел, куда он тычет, но ничего там не увидел. Улица была пуста, в дальнем конце ее уже дрожало жаркое марево. Потом сержант вдруг гулко прочистил горло и надвинул фуражку на лоб, кто-то тихо, с отчаянием, выругался, а Андрей все еще не понимал, и только когда незнакомый голос у него над ухом прохрипел: «Господи, твоя воля!..», Андрей, наконец, понял. У него волосы зашевелились на затылке, и ослабели ноги.

Статуи на углу не было. Огромный железный человек с жабьим лицом и пафосно растопыренными руками исчез. Остался на перекрестке только засохший кал, который вчера навалили вокруг статуи солдаты.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

– Так я пошел, полковник, – сказал Андрей, поднимаясь.

Полковник тоже поднялся и тотчас же тяжело оперся на трость. Сегодня он был еще бледнее, лицо обтянуто, и он казался

совершенным стариком. Даже от выправки его, можно сказать, ничего не осталось.

– Счастливого пути, господин советник, – проговорил он. Выцветшие глазки его глядели почти виновато. – Черт возьми, в сущности, командирская рекогносцировка – это ведь мое дело...

Андрей взял со стола автомат и закинул ремень на плечо.

– Не знаю, не знаю... – сказал он. – У меня, например, такое ощущение, будто я удираю, бросивши все на вас... А вы больны, полковник.

– Да, представьте себе, сегодня я... – Полковник оборвал себя. – Я полагаю, вы вернетесь до темноты?

– Я вернусь значительно раньше, – сказал Андрей. – Эту вылазку я не рассматриваю даже как рекогносцировку. Я просто хочу показать этим трусливым ублюдкам, что ничего страшного впереди нет. Ходячие статуи, видите ли!.. – Он спохватился. – Я не имел в виду упрекнуть ваших солдат, полковник...

– Пустяки... – Полковник слабо отмахнулся тощей рукой. – Вы совершенно правы. Солдаты всегда трусливы. Я ни разу в жизни не видел храбрых солдат. Да и с какой стати им быть храбрыми?

– Ну, – улыбнулся Андрей, – если бы впереди нас ожидали всегонавсего танки противника...

– Танки! – сказал полковник. – Танки – другое дело. Но вот я прекрасно помню случай, когда рота парашютистов отказалась вступить в деревню, где жил известный на всю округу колдун.

Андрей засмеялся и протянул полковнику руку.

– До встречи, – сказал он.

– Минуточку, – остановил его полковник. – Даган!

В комнате возник Даган с флягой, оплетенной серебряной сеткой, в руке. На столе появился серебряный подносик, а на подносике – серебряные же стопочки.

– Прошу вас, – сказал полковник.

Они выпили и обменялись рукопожатием.

– До встречи, – повторил Андрей.

Он спустился по вонючей лестнице в вестибюль, холодно кивнул Кехаде, который прямо на полу возился с каким-то прибором вроде теодолита, и вышел на пышущую жаром улицу. Короткая тень его легла на пыльные потрескавшиеся плиты тротуара, и сейчас же рядом появилась вторая тень, и тогда Андрей вспомнил про Немого. Он оглянулся. Немой стоял в своей обычной позе, засунув ладони за широкий пояс, с которого свисал устрашающего вида тесак. Густые

черные волосы его стояли дыбом, босые ноги были расставлены, а коричневая кожа лоснилась, словно смазанная жиром.

– Может, автомат возьмешь все-таки? – спросил Андрей.

«Нет».

– Ну, как хочешь...

Андрей огляделся. Изя и Пак сидели в тени волокуши и, развернув карту, рассматривали схему города. Двое солдат, вытянув шеи, заглядывали им через головы. Один из них поймал взгляд Андрея, поспешно отвел глаза и толкнул другого в бок. Оба сейчас же отошли и скрылись за волокушей.

У второго трактора копошились водители во главе с Эллизауэром. Водители были кто в чем, а на маленьком черепе Эллизауэра красовалась гигантская широкополая шляпа. Тут же торчали еще два солдата – подавали советы, часто сплевывая в сторону.

Андрей посмотрел вверх – вдоль улицы. Пусто. Раскаленный воздух дрожит над булыжником. Маревы. За сто метров уже ничего не разобрать – как в воде.

– Изя! – позвал он.

Изя и Пак оглянулись и встали. Кореец подобрал с мостовой и взял под мышку свой маленький самодельный автомат.

– Что, уже? – бодро спросил Изя.

Андрей кивнул и пошел вперед.

Все смотрели на него: прищурившийся от солнца Пермяк, придурковатый Унгерн, испуганно округливший свой вечно полураскрытый рот, угрюмый Горилла-Джексон, медленно вытиравший руки куском пакли... Эллизауэр, очень похожий на грязный, ободранный грибок с детской площадки, приложил два пальца к полям шляпы с самым торжественным и сочувствующим видом, а поплевававшие солдаты перестали поплевывать, обменялись неслышными замечаниями сквозь зубы и дружно запылили прочь. Тр<u>сите, гниды, мстительно подумал Андрей. Окликнуть вас сейчас для смеха – в штаны ведь навалите...

Они прошли мимо часового, который поспешно сделал «на караул», и зашагали по булыжнику – впереди Андрей с автоматом за плечом, следом по пятам – Немой с рюкзаком, в котором лежали четыре банки консервов, пачка галет и две фляги воды, сзади, отстав шагов на десять, шлепал разбитыми башмаками Изя – за спиной у него был пустой рюкзак, в одной руке он держал схему, а другой судорожно обхлопывал карманы, как бы ища, не забыл ли чего-нибудь. Последним, чуть вразвалочку, походкой человека, привыкшего к

дальним переходам, легко шагал кореец Пак с короткоствольным автоматом под мышкой.

Улица была раскалена. Солнце свирепо жарило лопатки и плечи. От стен домов медленными волнами накатывал жар. Ветра сегодня не было совсем.

Позади, в лагере, завели многострадальный двигатель – Андрей не обернулся. Чувство освобождения вдруг овладело им. На несколько славных часов из его жизни исчезали вонючие солдаты с их простой до непонятности психологией; исчезал интриган Кехада, который был виден весь насквозь и от этого особенно осточертел; исчезали все эти омерзительные заботы о чужих стертых ногах, о чужих скандалах и драках, о том, что кого-то рвет – не отравление ли? – а кого-то особенно интенсивно и с кровью несет – не дизентерия ли?.. Провалиться бы вам всем, твердил Андрей с каким-то даже упоением. Век бы я вас не видел. До чего же без вас хорошо!..

Правда, он тут же вспомнил о сомнительном корейце Паке, и на секунду ему показалось, что светлая радость освобождения замутилась сейчас новыми заботами и подозрениями, но он тут же легкомысленно махнул на это рукой. Кореец как кореец. Спокойный человек, никогда ни на что не жалуется. Дальневосточный вариант Иосифа Кацмана, вот и все... Он вдруг вспомнил, как брат рассказывал ему когда-то, что на Дальнем Востоке все народы, а особенно японцы, относятся к корейцам в точности так же, как в Европе все народы, а особенно русские и немцы, относятся к евреям. Это показалось ему сейчас забавным, и почему-то вдруг вспомнился Кэнси... Да, Кэнси бы сюда, дядю Юру, Дональда... Э-хе-хе... Если бы удалось дядю Юру уговорить в эту экспедицию, сейчас бы все было по-другому...

Он вспомнил, как за неделю до выхода он специально выкроил несколько часов, взял у Гейгера лимузин с пуленепробиваемыми стеклами и смотался к дяде Юре. Как они пили в большой двухэтажной хате, где было чисто, светло, вкусно пахло мятой, домашним дымком, свежепеченым хлебом. Пили самогон, закусывали заливным поросенком, хрустящими малосольными огурчиками, каких Андрей не едал бог знает сколько лет, обгладывали бараньи ребрышки, макали куски мяса в соус, пропитанный чесночными запахами, а потом дебилая голландка Марта, супруга дяди Юры, беременная уже по третьему разу, внесла свистящий самовар, за который дядя Юра в свое время отдал воз хлеба да воз картошки, и они долго, основательно, фундаментально пили чай, заедая каким-то невиданным вареньем, – потели, отдувались, обтирали мокрые лица свежими полотенцами с вышивкой, а дядя Юра все бубнил: «Ничего, ребята, жить теперь вполне

можно... Пригоняют мне каждый день пяток тунеядцев из лагеря, воспитываю их трудом, сил, понимаешь, не жалею... ежели что – сразу по зубам, но зато жрут они у меня здесь от пуза, что сам ем, то и им даю, я тебе не эксплуататор какой-нибудь...» А при прощании, когда Андрей уже садился в машину, дядя Юра, сжимая его ладонь своими лапищами, превратившимися, казалось, в сплошную мозоль, проговорил, ища глазами его взгляд: «Ты меня простишь, Андрюха, я знаю... Все бы бросил, и бабу бы свою бросил... Вот этих бросить не могу, не позволяю себе...» – и указал большим пальцем через плечо в сторону двух белоголовых мальчуганов-погодков, которые тихо, чтобы не услышали, тузили друг друга за крыльцом...

Андрей обернулся. Лагеря, видно, уже не было, марево закрыло его. Тарахтенье двигателя едва доносилось – как из ваты. Изя шел теперь рядом с Паком, махал у него перед носом схемой и кричал что-то про масштаб. Пак, собственно, не спорил. Он только улыбался и, когда Изя порывался остановиться, чтобы развернуть схему и показать все наглядно, деликатно брал его за локоть и увлекал вперед. Серьезный человек, несомненно. На такого при прочих равных условиях вполне можно было бы положиться. Интересно, чего они не поделили с Гейгером?.. Люди они совершенно разные, это ясно...

Пак учился в Кембридже и имел степень доктора философии. Вернувшись в Южную Корею, он принял участие в каких-то студенческих беспорядках против режима, и Ли Сын Ман засадил его в кутузку. Из кутузки его в пятидесятом году освободила северокорейская армия, о нем написали в газетах, как о настоящем сыне корейского народа, который ненавидит клику Ли Сын Мана и американских империалистов, он сделался заместителем ректора, а через месяц его снова посадили в кутузку, где без предъявления обвинения продержали до самого десанта в Чемульпо, когда кутузка попала под огонь частей Первой кавалерийской дивизии, стремительно рвавшейся на северо-восток. В Сеуле стоял ад кромешный, Пак уже не рассчитывал остаться в живых, и тут ему предложили участие в Эксперименте.

В Город он попал задолго до Андрея, переменял двадцать специальностей, сцепился, конечно, с господином мэром и вошел в подпольную организацию интеллигентов, поддерживавшую тогда движение Гейгера. Что-то у них там с Гейгером произошло. Так или иначе, большая группа подпольщиков еще за два года до Поворота тайно покинула город и ушла на север. Им повезло: на триста пятидесятом километре они нашли в развалинах «снаряд времени» – здоровенную металлическую цистерну, битком набитую самыми разнообразными предметами культуры и образцами технологии. Место было

хорошее – вода, плодородная почва у самой Стены, много уцелевших зданий, – там они и осели.

Они ничего не знали о том, что произошло в городе, и когда появились обшитые броней трактора экспедиции, решили, что это – за ними. К счастью, в короткой яростной и нелепой схватке погиб всего один человек. Пак узнал Изю, своего старинного приятеля, и понял, что происходит ошибка... А потом он попросился к Андрею. Он сказал, что им движет любопытство, что он давно уже планировал поход на север, но у эмигрантов не было на это средств. Андрей не очень ему поверил, но с собой взял. Ему показалось, что Пак будет полезен своими знаниями, и Пак действительно оказался полезен. Он делал для экспедиции все, что мог, с Андреем всегда был дружелюбен и предупредителен, с Изей – тем более, но вызвать его на откровенность оказалось невозможно. Ни Андрей, ни даже Изя так и не узнали, откуда у него столько сведений мифического и реального характера относительно предстоящего пути, для чего он все-таки увязался с экспедицией и что он вообще думал – о Гейгере, о Городе, об Эксперименте... Пак никогда не поддерживал разговоров на отвлеченные темы.

Андрей приостановился и, дождавшись своего арьергарда, спросил:

– Ну, вы договорились, что именно вас интересует?

– Что именно? – Изя наконец развернул свою схему. – Смотри... – Он стал показывать траурным ногтем. – Мы сейчас вот здесь. Значит, раз, два... через шесть кварталов должна быть площадь. Вот здесь какое-то большое здание, наверное, правительственное. Сюда нам надо обязательно попасть. Ну, а если по дороге попадетс я что-нибудь интересное... Да! Вот сюда бы еще интересно добратъся. Далековато немного, но масштаб тут ни к черту, так что неизвестно, может быть, это все рядом... Видишь, написано: «Пантеон». Я люблю пантеоны.

– Ну что ж... – Андрей поправил автомат. – Можно и так, конечно... А воду, значит, мы сегодня искать не будем?

– До воды далеко, – негромко сказал Пак.

– Да, брат... – подхватил Изя. – До воды, брат... Видишь, у них здесь указано – водонапорная башня... «Это здесь?» – спросил он Пака.

Пак пожал плечами.

– Я не знаю. Но если в этих кварталах вода вообще осталась, то только здесь.

– Да-а-а... – протянул Изя. – Далековато. Километров тридцать, за день не обернуться... Правда, масштаб... Слушай, а зачем тебе воду

именно сейчас? За водой пойдем завтра, как и договаривались... вернее, поедем.

– Хорошо, – сказал Андрей. – Пошли.

Теперь они шли рядом, и некоторое время все молчали. Изя непрерывно крутил головой и как бы принюхивался, но ни справа, ни слева ничего интересного не обнаруживалось. Трех- и четырехэтажные дома, иногда довольно красивые. Выбитые стекла. Некоторые окна заколочены покоробившейся фанерой. На балконах – полуразвалившиеся цветочные ящики, многие дома заплетены жестким пыльным плющом. Большой магазин – огромные, запыленные до непрозрачности витрины, почему-то уцелевшие, а двери – выломаны... Изя сорвался, трусой сбегал, заглянул, снова вернулся.

– Пусто, – сообщил он. – Полный разгром.

Какое-то общественное здание – не то театр, не то концертный зал, не то кино. Потом опять магазин – витрина расколота, – и еще магазин на другой стороне... Изя вдруг остановился, шумно потянул носом и поднял грязноватый палец.

– О! – сказал он. – Здесь где-то!

– Что? – спросил Андрей, озираясь.

– Бумага, – коротко отозвался Изя.

Ни на кого не глядя, он уверенно устремился к зданию на правой стороне улицы. Здание это было как здание, ничем особенным от соседних не отличалось, разве что подъезд был пороскошнее да в общем облике его чувствовался некий готический акцент. Изя исчез в подъезде, и они не успели еще пересечь улицы, как он снова высунулся и азартно позвал:

– Давайте сюда, Пак! Библиотека!..

Андрей только головой покрутил от восхищения. Ай да Изя!

– Библиотека? – сказал Пак, ускоряя шаги. – Не может быть!..

В вестибюле было прохладно и полутемно после полыхающей желтым жаром улицы. Высокие готические окна, выходявшие, по-видимому, во внутренний двор, были украшены цветными витражами. Пол, выложенный узорной плиткой. Белого камня лестницы, уходящие вправо и влево... По левой уже взбегал Изя, Пак легко нагнал его, и они, шагая через три ступеньки, скрылись из виду.

– А нам-то на кой черт туда тащиться? – сказал Андрей Немому.

Тот был согласен. Андрей поискал, где присесть, и присел на прохладные белые ступени. Автомат он снял и положил рядом. Немой уже сидел на корточках у стены, закрыв глаза и охватив колени длинными мощными руками. Было тихо, только бубнили наверху неразборчивые голоса.

Надоело, подумал Андрей с раздражением. Мертвые кварталы надоели. Раскаленное это безмолвие. Загадки эти... Людей бы найти, пожить бы с ними, порасспросить их... и чтобы угостили чем-нибудь... все равно чем, только бы не овсянкой этой обрыдлой... и холодного вина! Много, сколько хочешь... или пива. В животе у него заурчало, и он испуганно напрягся, прислушиваясь. Нет, ничего. Сегодня – тьфу-тьфу – ни разу еще не бегал, и на том спасибо. И пятка вроде бы зажила...

Наверху что-то повалилось с тяжелым рассыпчатым грохотом. Изя разборчиво проорал: «Ну куда вы лезете, ей-богу!..» Раздался смех, и голоса забубнили снова.

Копайтесь, копайтесь, подумал Андрей. Только на вас и надежда. Только от вас и можно ждать хоть какого-нибудь толку... И останется от всей этой бездарной затеи мой отчет да двадцать четыре Изиных ящичка с бумагами!..

Он вытянул ноги и сам вытянулся на ступеньках, опираясь на локти. Немой вдруг чихнул, звонко откликнулось эхо. Андрей откинул голову и стал глядеть в далекий сводчатый потолок. Хорошо строили, красиво, лучше, чем у нас. И вообще жили, как видно, не худо. И все равно сгнули... Очень это все Фрицу не понравится – он бы, конечно, потенциального противника предпочел. А то, что такое получается: жили-жили, строили-строили, прославляли какого-то своего Гейгера... Доброго и Простого... А в результате – пожалуйста: пустота. Как и не было никого. Одни кости, да и тех что-то маловато для такого поселения... Вот так-то, господин президент! Человек предполагает, а Господь рябь какую-нибудь напустит и – конец всему...

Он тоже чихнул и потянул носом. Прохладно здесь как-то... А Кехаду хорошо бы под суд отдать, когда вернемся... Мысли его легко свернули в привычное русло: как загнать Кехаду в угол, чтобы он и пикнуть не смел, чтобы вся документация была как на ладони, и чтобы Гейгеру все сразу стало ясно... Он отмахнулся от этих мыслей – они были не к месту и не ко времени. Сейчас надо было думать только о завтрашнем дне. Да и о сегодняшнем не помешало бы. Например, куда все-таки девалась статуя? Пришел кто-то рогатый, стегозавр какой-то... взял ее под мышку и уволок. Зачем? И потом, в ней, между прочим, тонн пятьдесят весу. Такая зверюга захочет – трактор под мышкой унесет... Уходить отсюда нам надо, вот что. Если б не полковник, сегодня же ноги бы нашей здесь не было... Он стал думать о полковнике и вдруг поймал себя на том, что прислушивается.

Какой-то отдаленный неясный звук появился – не голоса, голоса наверху бубнили по-прежнему, – нет, там, на улице, за высокими

приотворенными дверями подъезда. Явственно зазвенели разноцветные стекла в витраже, и явственно завибрировали каменные ступеньки под локтями и задом, словно где-то неподалеку была железная дорога и по ней шел сейчас поезд – тяжелый грузовой состав. Немой вдруг широко раскрыл глаза и повернул голову, настороженно прислушиваясь.

Андрей осторожно подтянул под себя ноги и встал, держа автомат за ремень. Немой сейчас же тоже встал, кося на него одним глазом и все продолжая прислушиваться.

Взявши автомат на изготовку, Андрей бесшумно перебежал к дверям и осторожно выглянул. Жаркий пыльный воздух обжег ему лицо. Улица была желта, раскалена и пуста по-прежнему. Только ватной тишины больше не было. Огромный далекий молот с унылой равномерностью бил в мостовую, и удары эти заметно приближались – тяжелые, хрусткие удары, дробящие в щебень булыжник мостовой.

В доме напротив со звоном осыпалась расколотая витрина. От неожиданности Андрей отпрянул, но тут же взял себя в руки и, закусив губу, оттянул затвор автомата. Черт меня сюда понес, подумал он краем сознания.

Молот все приближался, и совершенно непонятно было – откуда, но удары были все тяжелее, все звонче, и была в них какая-то несокрушимая и неотвратимая победительность. Шаги судьбы, мелькнуло в голове у Андрея. Он растерянно оглянулся на Немого.

Он испытал шок. Немой стоял, прислонившись плечом к стене, и сосредоточенно орудовал своим тесаком, обрезая ноготь на мизинце левой руки. Вид у него при этом был совершенно равнодушный и даже скучающий.

– Что?! – хрипло спросил Андрей. – Ты что это?..

Немой посмотрел на него, кивнул и снова занялся своим ногтем. Бумм, бумм, бумм – раздавалось совсем близко, земля под ногами содрогалась. И вдруг наступила тишина. Андрей сейчас же снова выглянул. Он увидел: на ближнем перекрестке, доставая головой до третьего этажа, возвышается темная фигура. Статуя. Старинная металлическая статуя. Тот самый давешний тип с жабьей мордой – только теперь он стоял, напряженно вытянувшись, задрав объемистый подбородок, одна рука заложена за спину, другая – то ли гроззя, то ли указуя в небеса – поднята, и выставлен указательный палец...

Андрей, обмирая, как в дурном сне, смотрел на это бредовое чудовище. Но он знал, что это не бред. Статуй был как статуй – дурацкое бездарное сооружение из металла, покрытое не то окалиной, не то черной окисью, нелепо и не на месте установленное... В горячем

воздухе, поднимавшемся от мостовой, очертания его дрожали и колебались точно так же, как очертания домов вдоль улицы.

Андрей почувствовал руку на своем плече и оглянулся – Немой улыбался и успокаивающе кивал ему. Бумм, бумм, бумм – снова раздалось на улице. Немой все держал его за плечо – трепал, гладил, мямл мускулы ласковыми пальцами. Андрей резко отстранился и снова выглянул наружу. Статуи не было больше. И снова была тишина.

Тогда Андрей оттолкнул Немого и на ватных ногах побежал по лестнице наверх, где по-прежнему, как ни в чем не бывало, бубнили голоса.

– Хватит! – рявкнул он, врываясь в библиотечный зал. – Пошли отсюда!

Голос у него совсем сел, и они его не услышали, а может быть, и услышали, но не обратили внимания – они были заняты. Помещение было огромное, уходило в глубину черт-те знает куда, стеллажи, набитые книгами, глушили звуки. Один из стеллажей был повален, книги лежали горой, и в этой горе копались Изя и Пак – оба очень довольные, разгоряченные, потные, азартные... Андрей, шагая прямо по книгам, подошел к ним, взял за воротники, поднял.

– Пошли отсюда, – сказал он. – Хватит. Пошли.

Изя глянул на него затуманенными глазами, рванулся, вырвался и сразу же пришел в себя. Глаза его быстро обшарили Андрея с головы до ног.

– Что с тобой? – спросил он. – Что-нибудь случилось?

– Ничего не случилось, – зло сказал Андрей. – Хватит здесь копать. Куда вам надо? В пантеон? Вот и пошли в пантеон.

Пак, которого он все еще держал за шиворот, деликатно подвигал плечами и кашлянул. Андрей отпустил его.

– Ты знаешь, что мы здесь нашли?.. – с азартом начал Изя и сразу же оборвал себя. – Слушай, да что стряслось?

Андрей уже взял себя в руки. Все, что было там, внизу, казалось совершенно нелепым и невозможным здесь – в этом строгом душном зале, под испытующим взглядом Изя, рядом с невозмутимо корректным Паком.

– Мы не можем тратить столько времени на каждый объект, – сказал он хмурясь. – У нас всего одни сутки. Пойдемте.

– Библиотека – это не каждый объект! – немедленно возразил Изя. – Это первая библиотека за весь маршрут... Слушай, на тебе лица нет. Что случилось, в конце концов?!

Андрей все никак не мог решиться рассказать. Не знал – как.

– Пошли, – буркнул он, повернулся и зашагал по книгам к выходу.

Изя догнал его и, взявши под руку, пошел рядом. Немой в дверях посторонился, пропуская их. Андрей все не знал, как начать. Все начала и все слова были дурацкими. Потом он вспомнил про дневник.

– Ты мне вчера дневник читал... – проговорил он. Они уже спустились по лестнице. – Ну, этого... который повесился...

– Да?

– Вот тебе и да!

Изя остановился.

– Рябь?

– Неужели вы ничего не слышали? – сказал Андрей с отчаянием.

Изя замотал бородой, а Пак ответил негромко:

– Вероятно, мы увлеклись. Мы спорили.

– Маньяки... – сказал Андрей. Он судорожно перевел дух, оглянулся на Немого и выговорил наконец: – Статуя. Пришла и ушла... Шляются, понимаешь, по городу, как живые...

Он замолчал.

– Ну? – нетерпеливо сказал Изя.

– Что – ну? Все!

Напряженное лицо Изи изобразило огромное разочарование.

– Ну и что? – сказал он. – Ну, статуя... ночью тоже шлялась одна, ну и что?

Андрей открыл и снова закрыл рот.

– Железноголовые, – подал голос Пак. – По-видимому, эта легенда возникла именно здесь...

Андрей, не в силах произнести ни слова, переводил взгляд с Изи на Пака и обратно. Изя сочувственно – дошло до него, наконец-то! – тянул губы дудкой и все порывался потрепать Андрея по руке, а Пак, полагая, очевидно, что все необходимые разъяснения даны, украдкой поглядывал через плечо на дверь в библиотеку.

– Т-так... – выдавил, наконец, Андрей. – Очень мило. Значит, вы сразу в это поверили?..

– Слушай, ты успокойся, – сказал Изя, ухватив его все-таки за рукав. – Конечно, поверили, а почему не поверить? Эксперимент, он все-таки и есть Эксперимент. За всеми этими нашими поносами и склоками мы о нем забыли, но на самом-то деле... Елки-палки, да что тут такого? Ну, статуи, ну, ходят... А здесь у нас библиотека! И знаешь, какая любопытная картина выясняется: люди, которые здесь жили, – наши современники, двадцатый век...

– Понятно, – сказал Андрей. – Пусти рукав.

Ему уже было совершенно ясно, что он свалил дурака. Впрочем, эта парочка еще не видела статуй по-настоящему. Посмотрим, как они запоют, когда увидят. Правда, Немой тоже как-то странно...

– Нечего меня уговаривать, – сказал он. – Сейчас на эту библиотеку времени у нас нет. Будем проходить мимо тракторами – навалите хоть целую волокушу. А сейчас пошли. Я обещал вернуться к отбою.

– Ну, хорошо, – успокаивающе сказал Изя. – Ну, пошли. Пошли.

Н-да, думал Андрей, торопливо сбегая по лестнице. Как же это я, с неловкостью думал он, распахивая двери подъезда и выходя на улицу первым, чтобы никто не мог видеть его лица. И ведь не солдат, не шоферюга какой-нибудь, думал он, шагая по раскаленному бульжнику. Это все Фриц, думал он со злостью. Объявил, понимаешь, что нет больше никакого Эксперимента, а я и поверил... то есть не поверил, конечно, а просто принял новую идеологию – из лояльности и по долгу службы... Нет, ребята, все эти новые идеологии – это для дураков, для массы... Но ведь и то сказать: четыре годика жили – ни о каком Эксперименте и не вспоминали, других дел было по горло... Карьерку делали, ядовито подумал он. Ковры доставали, экспонатки для личных коллекций...

На перекрестке он приостановился, искоса глянул в переулок. Статуя была там – грозила полуметровым черным пальцем, неприятно ухмылялась жабьей пастью. Я, мол, вас, сук-киных котов!..

– Эта, что ли? – спросил Изя небрежно.

Андрей кивнул и пошел дальше.

Они шли и шли, постепенно дурея от жары и слепящего света, наступая на собственные короткие уродливые тени, пот соляной коркой застывал на лбу и на висках, и даже Изя перестал уже трепаться о крушении каких-то там своих стройных гипотез, и даже неутомимый Пак уже приволакивал ногу – подошва оторвалась, а Немой время от времени широко разевал черный рот и, высунув страшный обрубок языка, принимался часто-часто, как собака, дышать... И ничего больше не происходило, только один раз Андрей, не успев совладать с собой, вздрогнул, когда, подняв случайно глаза, увидел в распахнутом окне четвертого этажа огромное позеленевшее лицо, уставившееся на него слепыми выпученными глазами. Что ж, зрелище и в самом деле было жуткое – четвертый этаж и пятнистая зеленая харя во все окно.

Потом они вышли на площадь.

Таких площадей они еще не встречали. Она была похожа на вырубленный диковинный лес. Как пни, были понатыканы на ней постаменты – круглые, кубические, шестигранные, звездообразные, в

виде каких-то абстрактных ежей, артиллерийских башен, мифических зверей – каменные, чугунные, из песчаника, из мрамора, из нержавеющей стали, даже, кажется, из золота... И все эти постаменты были пусты, только в полусотне метров впереди голову крылатого льва попирала обломанная выше колена голая нога в человеческий рост, босая, с необычайно мускулистой икрой.

Площадь была огромная, противоположного конца ее видно не было за мутным маревом, а справа, под самой Желтой Стеной, виднелись искаженные потоками горячего воздуха очертания длинного приземистого строения с фасадом из тесно поставленных колонн.

– Ну и ну! – непроизвольно вырвалось у Андрея.

А Изя проговорил непонятно:

– То он в бронзе, а то он в мраморе, то он с трубкой, а то без трубки... – и спросил: – А куда они, собственно, все подевались?

Никто ему не ответил. Все смотрели и не могли насмотреться, даже, кажется, Немой. Потом Пак сказал:

– Нам, по-видимому, надо вон туда...

– Это и есть ваш Пантеон? – спросил Андрей, чтобы что-нибудь сказать, а Изя произнес с каким-то возмущением:

– Я не понимаю! Что же это они – все по городу шляются? Почему же мы их тогда почти не видели? Их же здесь должны быть тысячи, тысячи!..

– Город Тысячи Статуй, – сказал Пак.

Изя живо повернулся к нему.

– Что, и такая легенда существует?

– Нет. Но я так бы его назвал.

– Трам-тарарам! – сказал Андрей, которого осенила неожиданная мысль. – Как же мы здесь пройдем с нашими тягачами? Тут же никакой взрывчатки не хватит – эти надолбы подрывать...

– Я думаю, должна быть дорога вокруг площади, – сказал Пак. – Над обрывом.

– Пошли? – сказал Изя. Ему уже не терпелось.

И они двинулись напрямик к пантеону, шагая между постамен- тами, по булыжнику, который был здесь разбит и искрошен в мелкий щебень, в белую пыль, ярко мерцающую на солнце. Время от времени они приостанавливались и то пригибались, то поднимались на цы- почки, чтобы прочесть надписи на постаментах, и надписи эти были странными до того, что от них брала оторопь.

НА ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ ОТ УЛЫБКИ. – БЛАГОСЛОВЕНИЕ МУСКУЛЮС ГЛЮТЕУС ТВОЕГО СПАСЛО МАЛЫХ СИХ. – ВЗВИЛОСЯ СОЛНЦЕ, И ПОГАСЛА ЗАРЯ ЛЮБВИ, НО. И даже

просто: **КОГДА!** Изя хохотал и гукал, бил кулаком в ладонь, Пак улыбался, качая головой, а Андрею было неловко, он чувствовал неуместность этого веселья, даже неприличие какое-то, но ощущения его были неуловимы, и он только терпеливо торопил: «Ну, хватит, хватит, – повторял он. – Пошли. Ну, какого черта? Опаздываем же, неудобно...»

Зло брало глядеть на этих идиотов – нашли, понимаете, место и время развлекаться. А они все задерживались и задерживались, водили грязными своими пальцами по выбитым строчкам, зубоскалили, ерничали, и он махнул на них рукой и почувствовал большое облегчение, когда обнаружил, что голоса их остались далеко позади и слов разобрать нельзя.

Так оно и лучше, подумал он с удовольствием. Без этой дурацкой свиты. В конце концов, я что-то не помню, а приглашали ли их? Что-то там было сказано про них, но вот что именно? То ли просили быть в парадной форме, то ли просили, наоборот, не быть вообще... Ах, какое это теперь имеет значение? Ну, в крайнем случае, посидят внизу. Пак еще туда-сюда, а Изя вдруг начнет придирается к слогу, не дай бог, еще сам полезет говорить... Нет-нет, без них лучше, правда, Немой? Ты держись у меня за спиной, вот здесь, справа, да поглядывай хорошенько! Тут, брат, хлопать ушами не приходится. Не забывай: мы здесь в стане настоящих оппонентов, это тебе не Кехада и не Хнойпек, на вот, возьми автомат, мне нужна свобода движений, и вообще лезть с автоматом на кафедру – я ведь, слава богу, не Гейгер... Позволь, а где же мои тезисы? Вот тебе и на! Как же я без тезисов?..

Пантеон высился перед ним и над ним всеми своими колоннами, разбитыми выщербленными ступенями, оскалившимися ржавой арматурой, из-за колонн несло ледяным холодом, там было темно, оттуда пахло ожиданием и тленом, а гигантские золоченые створки были уже открыты, и оставалось только войти. Он зашагал со ступеньки на ступеньку, внимательно следя за собой, чтобы – упаси бог! – не споткнуться, не растянуться здесь, на глазах у всех, он все ощупывал свои карманы, но тезисов нигде не было, потому что они, конечно, остались в железном ящике... нет, в новом костюме, я ведь хотел надеть новый костюм, а потом решил, что так будет эффектнее...

...Черт побери, как же я буду без тезисов? – подумал он, вступая в темный вестибюль. Что же там у меня было, в моих тезисах? – думал он, осторожно ступая по скользкому полу черного мрамора. Кажется, во-первых, про величие, весь напрягаясь, вспоминал он, чувствуя, как ледяной холод заползает ему под рубашку. Здесь было очень холодно, в этом вестибюле, могли бы предупредить, все-таки не лето на дворе,

песком могли бы, между прочим, посыпать, руки бы не отвалились, а то того и гляди затылком здесь навернешься...

...Ну, куда у вас тут? Вправо, влево? Ах да, пардон... Значит, так. Во-первых, о величии, думал он, устремляясь в совсем уже темный коридор. Вот это другое дело – ковер. Догадались! А факельщиков, конечно, поставить не сообразили. Всегда у них здесь так: либо поставят факельщиков или даже юпитера, но тогда уже непременно не будет ковра. Либо – вот как сейчас... Таким образом: величие.

...Говоря о величии, мы вспоминаем так называемые великие имена. Архимед. Очень хорошо! Сиракузы, эврика, бани... в смысле, ванны. Голый. Дальше. Аттила! Дождь венецианский. То есть я прошу прощения: это Отелло – дождь венецианский. Аттила – гуннов царь. Едет. Нем и мрачен, как могила... Да чего там далеко ходить за примерами? Петр! Величие. Великий. Петр Великий. Первый. Петр Второй и Петр Третий не были великими. Очень может быть потому, что не были первыми. Великий и первый чрезвычайно часто выступают как синонимы. Хотя-а-а... Екатерина Вторая, Великая. Вторая, но, тем не менее, великая. Это исключение важно отметить. Мы часто будем иметь дело с исключениями такого рода, которые, так сказать, только подтверждают правило...

Он крепко сцепил руки за спиной, упер подбородок в грудь и, втянув нижнюю губу, несколько раз прошелся назад и вперед, каждый раз изящно огибая свой табурет. Потом он отодвинул табурет ногой, уперся напряженными пальцами в стол и, сдвинув брови, поглядел поверх слушателей.

Стол был совершенно пустой, обитый серым цинком, и тянулся перед ним, как шоссе. Дальнего конца его не было видно, в желтоватом тумане мигали там колеблемые сквозняком огоньки свечей, и Андрей с мимолетной досадой подумал, что это, черт возьми, непорядочно, что уж кто-кто, а он-то должен был бы иметь возможность видеть, кто там – на том конце стола. Видеть его было гораздо более важно, чем этих... Впрочем, это не моя забота...

Рассеянно и снисходительно он оглядел ряды этих. Они смиренно восседали по обе стороны стола, повернув к нему внимательные лица – каменные, чугунные, медные, золотые, бронзовые, гипсовые, яшмовые... и какие там еще бывают у них лица. Например, серебряные. Или, скажем, нефритовые... Слепые глаза их были неприятны, да и вообще, что там могло быть приятного в этих громоздких тушах, колени которых торчали на метр, а то и на два выше поверхности стола. Хорошо было уже то, что они молчали и не шевелились. Всякое движение сейчас было бы невыносимым. Андрей с наслаждением, даже

с каким-то сладострастием прислушивался, как истекают последние капли превосходно задуманной паузы.

– Но каково правило? В чем оно состоит? В чем его субстанциональная сущность, имманентная только ему и никакому другому предикату?.. И здесь мне, боюсь, придется говорить вещи, не совсем привычные и далеко не приятные для вашего слуха... Величие! Ах, как много о нем сказано, нарисовано, сплясано и спето! Что был бы человеческий род без категории величия? Банда голых обезьян, по сравнению с которыми даже рядовой Хнойпек показался бы нам венцом высокой цивилизации. Не правда ли?.. Ведь каждый отдельный Хнойпек не имеет меры вещей. От природы он научен только пицеварить и размножаться. Всякое иное действие упомянутого Хнойпека не может быть оценено им самостоятельно ни как хорошее, ни как плохое, ни как полезное, ни как напрасное или вредное, – и именно вследствие такого вот положения вещей каждый отдельный Хнойпек при прочих равных условиях рано или поздно, но с неизбежностью попадает под военно-полевой суд, каковой суд уже и решает, как с ним поступить... Таким образом, отсутствие суда внутреннего закономерно и, я бы сказал, фатально восполняется наличием суда внешнего, например, военно-полевого... Однако, господа, общество, состоящее из Хнойпеков и, без всякого сомнения, из Мымр, просто не способно уделять такого огромного внимания суду внешнему – неважно, военно ли это полевой суд или суд присяжных, тайный суд инквизиции или суд Линча, суд Фемы или суд так называемой чести. Я не говорю уже о товарищеских и прочих судах... Надлежало найти такую форму организации хаоса, состоящего из половых и пищеварительных органов как Хнойпеков, так и Мымр, такую форму этого вселенского кабака, чтобы хоть часть функций упомянутых внешних судов была бы передана суду внутреннему. Вот, вот когда понадобилась и пригодилась категория величия! А дело в том, господа, что в огромной и совершенно аморфной толпе Хнойпеков, в огромной и еще более аморфной толпе Мымр время от времени появляются личности, для которых смысл жизни отнюдь не сводится к пицеварению и половым отправлениям по преимуществу. Если угодно – третья потребность! Ему, понимаете, мало чего-нибудь там переварить и попользоваться чьими-нибудь прелестями. Ему, понимаете, хочется еще сотворить что-нибудь такое-этакое, чего раньше, до него, не было. Например, инстанционную или, скажем, иерархическую структуру. Козерога какого-нибудь на стене. С яйцами. Или сочинить миф про Афродиту... На кой хрен ему это все сдалось – он и сам толком не знает. И на самом деле, ну зачем Хнойпеку Афродита Пеннорожденная или

тот же самый козерог на стене. С яйцами. Есть, конечно, гипотезы, есть, и не одна! Козерог ведь, как-никак, – это очень много мяса. Об Афродите я уже и не говорю... Впрочем, если уж быть до конца честным и откровенным, происхождение этой третьей потребности для нашей материалистической науки остается пока загадкой. Но в настоящий момент это и не должно нас интересовать. В настоящий момент нам важно, друзья мои, что? Что в общей серой толпе вдруг появляется личность, которая не удовлетворяется, пакость такая, овсяной кашей или грязной Мымрой, каковая имеет все ноги в цыпках, не удовлетворяется, значит, широко доступным реализмом, а начинает идеализировать, абстрагироваться, зараза, начинает – мысленно обращает овсяную кашу в сочного козерога под чесночным соусом, а Мымру – в роскошную особу с бедрами и хорошо помытую – из океана она у него. Из воды... Да мать же моя мамочка! Да ведь такому человеку цены нет! Такого человека надо поставить на высокое место и водить к нему Хнойпеков и Мымр побатальонно, чтобы учились они, паразиты, понимать свое место. Вот вы, задрипы, умеете так, как он? Вот ты, ты, рыжий, вшивый, умеешь котлету нарисовать, да такую, чтобы сразу же жрать захотелось? Или анекдотец хотя бы сочинить? Не умеешь? Так куда же ты, говно, лезешь с ним ровняться? Пахать иди, пахать! Рыбу удить, ракушки промышлять!..

Андрей оттолкнулся от стола и, восторженно потирая руки, снова прошелся взад и вперед. Очень здорово все получилось. Великолечно! И без никаких там тезисов. И все эти долдоны слушали, затаив дыхание. Хоть бы один пошевелился... Да уж, я – такой. Я, разумеется, не Кацман, я больше помалкиваю, но уж если меня доведут, если меня, черт побери, спросят... Правда, на том, невидимом конце стола тоже, кажется, принялся кто-то говорить. Еврей какой-то. Может быть, Кацман пробрался? Ну, это мы еще посмотрим – кто кого.

– Итак, величие – как категория – возникло из творчества, ибо велик лишь тот, кто творит, то бишь создает новое, небывалое. Но спросим себя, государи мои, кто же тогда будет их мордой в дерьмо тыкать? Кто им скажет: куда, тварюга, лезешь, куда прешь? Кто сделается, так сказать, жрецом творца – я не боюсь этого слова? А сделается им тот, сударики мои, кто рисовать упомянутую котлету или, скажем, Афродиту не умеет, но и ракушки промышлять тоже ни в какую не хочет – творец-организатор, творец-выстраиватель-в-колонны, творец, дары вымогающий и оные же и распределяющий!.. И вот тут мы вплотную подходим к вопросу о роли Бога и дьявола в истории. К вопросу, прямо скажем, запутанному, архисложному, к вопросу, в котором, на наш взгляд, все заврались... Ведь даже неверующему

младенцу ясно, что Бог – это хороший человек, а дьявол, наоборот, плохой. Но ведь это же, господа, козлийный бред! Что мы про них на самом деле знаем? Что Бог взял хаос в свои руки и организовал его, в то время как дьявол, наоборот, ежедневно и ежечасно норовит эту организацию, эту структуру разрушить, вернуть к хаосу. Верно ведь? Но, с другой стороны, вся история учит нас, что человек как отдельная личность стремится именно к хаосу. Он хочет быть сам по себе. Он хочет делать только то, что ему делать хочется. Он постоянно галдит, что от природы свободен. И зачем далеко за примерами ходить – возьмите все того же пресловутого Хнойпека!.. Вы понимаете, надеюсь, к чему я клоню? Ведь чем, спрошу я вас, занимались на протяжении всей истории самые лютые тираны? Они же как раз стремились указанный хаос, присущий человеку, эту самую хаотическую аморфную хнойпекомырненность надлежащим образом упорядочить, организовать, оформить, выстроить – желательно в одну колонну, – нацелить в одну точку и вообще уконтропушить. Или, говоря проще, упупить. И, между прочим, это им, как правило, удавалось! Хотя, правда, лишь на небольшое время и лишь ценой большой крови... Так теперь я вас спрашиваю: кто же на самом деле хороший человек? Тот, кто стремится реализовать хаос – он же свобода, равенство и братство, – или тот, кто стремится эту хнойпекомырненность (читай: социальную энтропию!) понизить до минимума? Кто? Вот то-то и оно!

Прекрасный получился период. Сухой, точный и в то же время не лишенный страстности... Ну что это он там бубнит – на том конце? Надо же, хамло какое! И работать мешает, и вообще...

С очень неприятным чувством Андрей вдруг обнаружил в ровных рядах внимательных слушателей несколько повернутых к нему затылков. Он присмотрелся. Сомнений не было – затылки. Раз, два... шесть затылков! Он изо всех сил откашлялся и строго постучал костяшками пальцев по оцинкованной поверхности. Это не помогло. Ну, погодите, подумал он с угрозой. Я вас сейчас! Как это будет полатыни?..

– Quos ego! – рявкнул он. – Вы, кажется, вообразили себе, будто вы что-то себе значите? Мы, мол, большие, а вы-де все копошитесь там внизу? Мы, мол, каменные, а вы – плоть гниющая? Мы, дескать, во веки веков, а вы – прах, однодневки? Вот вам! – Он показал им дулю. – Да кто вас помнит-то? Понавозводили вас каким-то давно забытым охламонам... Архимед – подумаешь! Ну, был такой, знаю, голый по улицам бегал безо всякого стыда... Ну и что? При надлежащем уровне цивилизации ему бы яйца за это дело оторвали. Чтоб не бегал. Эврика ему, понимаешь... Или тот же Петр Великий. Ну ладно, царь

там, император всея Руси... Видали мы таких. А вот как была его фамилия? А? Не знаете? А памятников-то поставили! Сочинений понаписали! А студента на экзамене спроси – дай бог, если один из десяти сообразит, какая у него была фамилия. Вот тебе и великий!.. И ведь со всеми с вами так! Либо никто вас вообще не помнит, только глаза лупят, либо, скажем, имя помнят, а фамилию – нет. И наоборот: фамилию помнят – например, премия Калинин, – а имя... да что там имя! Кто он такой был-то? То ли писатель он был, то ли вообще спекулянт шерстью... Да и кому это надо, сами вы посудите? Ведь если всех вас запоминать, так забудешь, сколько водка стоит.

Теперь он видел перед собой больше десяти затылков. Это было обидно. А Кацман на том конце стола бубнил все громче, все напористей, но все так же неразборчиво.

– Приманка! – зорал Андрей изо всех сил. – Вот что такое ваше хваленое величие! Приманка! Глядит на вас Хнойпек и думает: это надо же, какие люди бывали! Вот я теперь пить брошу, курить брошу, Мымру свою по кустам валять перестану, в библиотеку пойду запишусь и тоже всего этого достигну... То есть это предполагается, что он так должен думать! Но думает-то он, на вас глядячи, совсем не то. И ежели караула вокруг вас не выставить, в загородку вас не взять, так он понавалит вокруг, мелом слова напишет, да и пойдет обратно к своей Мымре, очень довольный. Вот вам и воспитательная функция! Вот вам и память человечества!.. Да на кой хрен, в самом деле, Хнойпеку память? На кой хрен ему вас помнить, скажите вы мне на милость? То есть, конечно, были такие времена, когда помнить вас всех считалось хорошим тоном. Деваться было некуда, запоминали. Александр, мол, Македонский, родился тогда-то, помер тогда-то. Завоеватель. Буцефал. «Графиня, ваш Буцефал притомился, а кстати, не хотите ли вы со мной переспать?» Культурно, образно, по-светски... Теперь, конечно, в школах тоже приходится зубрить. Родился тогда-то, помер тогда-то, представитель олигархической верхушки. Эксплуатор. Здесь уж совсем непонятно, кому это нужно. Экзамены, бывало, сдашь – и с плеч долой. «Александр Македонский тоже был великий полководец, но зачем же табуретки ломать?» Фильм был такой, «Чапаев». Смотрели? «Брат умирает – Митька, уши просит...» Вот и все применения вашему Александру Македонскому...

Андрей замолчал. Все эти разговоры были ни к чему. Никто его не слушал. Перед ним были только затылки – чугунные, каменные, железные, нефритовые... бритые, лысые, курчавые, с косицей, с выщерблинами, а то и вовсе скрытые за кольчугами, шлемами, треуголками... Не нравится, горько подумал он. Правда глаза колет. К

песнопениям привыкли, к одам. Экзэги монументум... А что я такого вам сказал? Ну, не врал, конечно, не подличал перед вами – что думал, то и сказал. Я ведь не против величия. Пушкин, Ленин, Эйнштейн... Я идолопоклонства не люблю. Делаю надо поклоняться, а не статуям. А может быть, даже и делам поклоняться не надо. Потому что каждый делает, что в его силах. Один – революцию, другой – свистульку. У меня, может, сил только на одну свистульку и хватает, так что же я – говно теперь?..

А голос за желтым туманом знай бубнил свое, и уже были слышны отдельные слова: «...невиданное и необычайное... из катастрофического положения... только вы... заслужило вечной благодарности и вечной славы...» Вот этого я особенно не терплю, подумал Андрей. Особенно я ненавижу, когда вечностями швыряются. Братья навеки. Вечная дружба. Навеки вместе. Вечная слава... Откуда они все это берут? Что они видят вечного?

– Хватит врать! – крикнул он через стол. – Совесть надо иметь!

Никто не обратил на него внимания. Он повернулся и побрел обратно, чувствуя, как сквозняк пробирает его до костей, вонючий сквозняк, пропитанный испарениями склепа, ржавчины, окислившейся меди... А ведь это не Изя там болтал, вяло подумал он. Изя таких слов сроду не произносил. Зря я на него... Зря я сюда пришел. Зачем меня, собственно, сюда принесло? Наверное, мне показалось, будто я что-то понял. Все-таки мне уже за тридцать, пора разбираться, что к чему. Что за дикая идея – убеждать памятники, что они никому не нужны? Это же все равно, что убеждать людей, что они никому не нужны... Оно, может быть, так и есть, да кто в это поверит?..

Что-то со мной сделалось за последние годы, подумал он. Что-то я утратил... Цель я утратил, вот что. Каких-нибудь пять лет назад я точно знал, зачем нужны те или иные мои действия. А теперь вот – не знаю. Знаю, что Хнойпека следует поставить к стенке. А зачем это – непонятно. То есть понятно, что тогда мне станет гораздо легче работать, но зачем это нужно – чтобы мне было легче работать? Это ведь только мне одному и нужно. Для себя. Сколько лет я уже живу для себя... Это, наверное, правильно: за меня для меня никто жить не станет, самому приходится позаботиться. Но ведь скучно это, тоскливо, сил нет... И выбора нет, подумал он. Вот что я понял. Ничего человек не может и не умеет. Одно он может и умеет – жить для себя. Он даже зубами скрипнул от безнадежной ясности и определенности этой мысли.

Он вышел из склепа в тень колонн и зажмурился. Желтая раскаленная площадь, утыканная пустыми постаментами, лежала перед

ним. Оттуда волнами накатывал жар, как из печи. Жар, жажда, изнурение... Это был мир, в котором надлежало жить и, следовательно, действовать.

Изя спал, уткнувшись лбом в раскрытый томик, вытянувшись на каменных плитах в тени. На штанах сзади у него зияла прореха, ноги в стоптанных башмаках были неестественно вывернуты. Потом от него разило за версту. Немой был тут же – сидел на корточках с закрытыми глазами, привалившись спиной к колонне, на коленях у него лежал автомат.

– Подъем, – сказал Андрей устало.

Немой раскрыл глаза и встал. Изя приподнял голову и поглядел на Андрея сквозь заплывшие веки.

– Где Пак? – спросил Андрей, озираясь.

Изя сел, вцепился скрюченными пальцами в пыльную шевелюру и принялся ожесточенно чесаться.

– Ч-черт... – пробормотал он невнятно. – Слушай, жрать же хочется невыносимо... Сколько можно?

– Сейчас пойдем, – сказал ему Андрей. Он все озирался. – Где Пак?

– Поше-ауэтеку, – ответил Изя, неистово зевая. – Ф-фу, разморило совершенно к чертям...

– Куда пошел?

– В библиотеку пошел. – Изя вскочил, подобрал свой томик и принялся запихивать его в мешок. – Мы решили, что он пока отберет книги... Сколько это сейчас времени? У меня вроде остановились...

Андрей взглянул на часы.

– Три, – сказал он. – Пошли.

– Может, пожрем сначала? – предложил Изя нерешительно.

– На ходу, – сказал Андрей.

Он испытывал какое-то смутное беспокойство. Что-то ему не нравилось. Что-то было не так. Он взял у Немого автомат и, заранее шурясь, шагнул на раскаленные ступеньки.

– Ну вот... – ворчал позади Изя. – Теперь – жрать на ходу... Я его как честный человек дождался, а он толком пожрать не дает... Немой, дай-ка сюда мешок...

Андрей, не оглядываясь, быстро шел между постаментами. Ему тоже хотелось есть, внутри так и сосало, но что-то толкало его идти, и идти быстро. Он поудобнее пристроил ремень автомата на плече и снова мельком посмотрел на часы. Было все те же три часа без одной минуты. Он поднес запястье к уху. Часы стояли.

– Эй, господин советник! – позвал его Изя. – Держи.

Андрей приостановился и принял у него две галеты, проложенные жирной консервированной свининой. Изя уже смачно хрумкал и причмокивал. Рассматривая на ходу сэндвич – откуда половчее кусать, – Андрей спросил:

– Когда Пак ушел?

– Да почти сразу же и ушел, – сказал Изя с набитым ртом. – Мы с ним осмотрели этот пантеон, ничего интересного не обнаружили, вот он и отправился.

– Зря, – сказал Андрей. Он понял, что его беспокоило.

– Что – зря?

Андрей не ответил.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Никакого Пака в библиотеке не оказалось. Он, конечно, сюда и не думал заходить. Книги валялись грудой, как и раньше.

– Странно, – сказал Изя, растерянно вертя головой. – Он же сказал, что отберет все по социологии...

– «Он сказал, он сказал...» – сквозь зубы проговорил Андрей. Он пхнул носком башмака подвернувшийся под ноги пухлый том, повернулся и сбежал по лестнице. Обвел все-таки в конце концов. Обвел косоглазый. Еврей дальневосточный... Он сам толком не понимал, в чем заключается хитрость дальневосточного еврея, но всеми фибрами души чувствовал: обвел!

Теперь они шли, прижимаясь к стенам, – Андрей по правой стороне улицы, Немой, который тоже понял, что дело дрянь, – по левой. Изя полез было на середину, но Андрей так на него гаркнул, что архивариус опрометью вернулся к нему и пошел след в след, возмущенно сопя и презрительно фыркая. Видимость была – метров пятьдесят, а дальше улица представлялась словно бы в аквариуме – все там мутно дрожало, отсвечивало, поблескивало, и даже вроде бы какие-то водоросли струились над мостовой.

Когда они поравнялись с кинотеатром, Немой вдруг остановился. Андрей, следивший за ним краем глаза, остановился тоже. Немой стоял неподвижно, он словно к чему-то прислушивался, держа обнаженный тесак в опущенной руке.

– Гарью несет... – тихонько проговорил сзади Изя.

И Андрей сейчас же почувствовал запах гари. Вот оно, подумал он, стискивая зубы.

Немой поднял руку с тесаком, махнул вдоль улицы и двинулся дальше. Они прошли еще метров двести со всей возможной

осторожностью. Запах гари усиливался. Запах горячего металла, тлеющего тряпья, солярки и еще какие-то сладковатые, почти вкусные запахи. Что же там произошло? – думал Андрей, стискивая зубы до хруста в висках. Что он там учинил? – твердил он в тоске. Что там горит? Это же там горит, несомненно... И тут он увидел Пака.

Он сразу подумал, что это Пак, потому что на трупе была знакомая куртка из выцветшей голубой саржи. Ни у кого в лагере больше не было такой куртки. Кореец лежал на углу, разбросав ноги, уронивши голову на самодельный короткоствольный автомат. Ствол автомата был направлен вдоль улицы в сторону лагеря. Пак был какой-то непривычно толстый, словно раздутый, и кисти рук у него были черносиние и лоснились.

Андрей еще не успел как следует понять, что же он на самом деле видит, как Изя с каким-то карканьем оттолкнул его, бросился, отдавив ему ногу, через перекресток и упал рядом с трупом на колени. Андрей сглотнул и посмотрел в сторону Немого. Немой энергично кивал и показывал тесаком куда-то вперед, и Андрей разглядел там, на самой границе видимости, еще одно тело. Кто-то там еще лежал – посередине улицы, – тоже толстый и черный, а сквозь марево видно было теперь, как поднимается над крышами искаженный рефракцией столб серого дыма.

Опустив автомат, Андрей пересек перекресток. Изя уже поднялся с колен, и, подойдя, Андрей сразу понял – почему: от трупа в голубой сарже невыносимо тянуло сладким и тошным.

– Боже мой... – проговорил Изя, поворачивая к Андрею залитое потом помертвевшее лицо. – Они же его убили, подонки... Они же все вместе его одного не стоят...

Андрей мельком взглянул под ноги, на страшную раздутую куклу с черной язвой вместо затылка. Солнце тускло отсвечивало на россыпи медных гильз. Андрей обошел Изю и, больше уже не прячась, не пригибаясь, зашагал наискосок через улицу к следующей раздутой кукле, над которой уже сидел на корточках Немой.

Этот лежал на спине, и, хотя лицо у него было чудовищно вспухшее и черное, Андрей узнал его: это был один из геологов, заместитель Кехады по съемке – Тэд Камински. Особенно страшно было, что он в одних трусах и почему-то в ватнике, какие носили водители. Видимо, ему попало в спину, и очередь прошла его насквозь – на груди телогрейка была вся в дырах, и из дыр торчали клочья серой ваты. Шагах в пяти валялся автомат без рожка.

Немой тронул Андрея за плечо и указал вперед. Там, приткнувшись к стене на правой стороне улицы, скорчился еще один труп.

Оказалось, это был Пермьяк. Его убило, видимо, на середине улицы, там еще оставалось на булыжнике высохшее черное пятно, но он, мучаясь, пополз к стене, оставляя за собой густой черный след, и там, у стены, мучаясь, умер, подвернув голову и изо всех сил обхватив руками разорванный пулями живот.

Они здесь убивали друг друга в приступе неистовой ярости, как взбесившиеся хищники, как остервеневшие тарантулы, как обезумевшие от голода крысы. Как люди.

Поперек ближайшего к лагерю немощеного переулка на засохших нечистотах валялся Тевосян. Он гнался за трактором, который свернул в этот переулок и уходил к обрыву, коверкая спекшуюся землю торопливыми гусеницами. Тевосян гнался за ним от самого лагеря, стреляя на ходу, а с трактора стреляли по нему и здесь, на перекрестке, где в ту ночь стояла статуя с жабьей харей, в него попали, и он остался лежать, оскалив желтые зубы, в своем испачканном пылью, нечистотами и кровью солдатском мундирчике. Но перед смертью, а может быть, и после смерти, он попал тоже: на полпути к обрыву, вцепившись скрюченными пальцами в раскрошенную гусеницами землю, вздутой горой громоздился сержант Фогель, и дальше трактор шел уже без него – до самого обрыва и вниз, в пропасть.

В лагере лениво догорала волокуша. По исковерканным простреленным бочкам, иссиня-черным от жара, еще бегали чадные язычки оранжевого пламени, и медленно поднимались в тусклое небо клубы жирного дыма. Из черной спекшейся кучи на волокуше торчали чьи-то горелые ноги, и тянуло тем самым вкусным запахом, от которого теперь тошнило.

Из окна комнаты картографов свисал голый труп Рулье – длинные волосатые руки его почти касались тротуара, а на тротуаре валялся автомат. Вокруг окна вся стена была избита и исковеркана пулями, а на противоположной стороне улицы лежали друг на друге скошенные одной очередью Василенко и Палотти. Оружия возле них не было, а на усохшем лице Василенко сохранилось выражение безмерного изумления и испуга.

Второго геолога, второго картографа и зампотеха Эллизауэра расстреляли, поставив к той же стене. Так они и лежали рядком под пробитой пулями дверью – Эллизауэр в кальсонах, остальные – голые.

А в самом центре этой смердящей гекатомбы, прямо посередине улицы, на длинном столе с алюминиевыми ножками, покрытый британским флагом, спокойно лежал, сложивши руки на груди, полковник Сент-Джеймс, в парадном мундире, при всех орденах, все такой же сухой, невозмутимый и даже иронически улыбающийся. Рядом,

привалившись к ножке стола, уткнувшись седой головой в мостовую, лежал Даган – тоже в парадном мундире, – и в руках у него была зажата сломанная трость полковника.

И это было все. Шестеро солдат, в том числе и Хнойпек, инженер Кехада, приبلудная девка Мымра и второй трактор со второй волокушей – исчезли. Остались трупы, осталось сваленное горой геологическое оборудование, осталось несколько автоматов в пирамиде. И смрад. И жирная копоть. И удушающая вонь жареного мяса от догорающей волокуши. Андрей ввалился в свою комнату, упал в кресло и со стоном уронил голову на руки. Все было кончено. Навсегда. И не было спасения от боли, и не было спасения от стыда, и не было спасения от смерти.

...Я привел их сюда. Я. Я их бросил здесь одних, трус, подонок. Отдохнуть захотелось. От рыл ихних отдохнуть захотелось вонючке, чи-стоплюю, слизняку... Полковник, ах, полковник! Нельзя было умирать, нельзя!.. Если бы я не ушел, он бы не умер. Если бы он не умер, никто бы здесь и пикнуть не посмел. Звери, звери... Гиены! Стрелять надо было, стрелять!..

Он снова протяжно застонал и заерзал мокрой щекой по рукаву. В библиотеках прохлаждался... речи статуям произносил... раздолбай, трепло, все прогадил, все растерял... Ну и подыхай теперь, сволочь! Никто не заплачет. На кой хрен ты такой кому нужен?.. Но страшно ведь, страшно... Гонялись друг за другом, стреляли – в лежащих стреляли, в мертвых стреляли, к стенке ставили с руганью, с мордобоем... До чего же вы дошли, ребята, а? До чего я вас довел?.. И зачем? Зачем?!

Он ударил по столешнице стиснутыми кулаками, выпрямился, обтер лицо ладонью. Было слышно, как за окном невнятно и страшно вскрикивает Изя и Немой успокаивающе курлыкает, словно голубь. Не хочу жить, подумал Андрей. Не хочу. К черту все это... Он поднялся из-за стола – туда, к Изе, к людям – и вдруг увидел перед собой раскрытый журнал экспедиции. Он с отвращением оттолкнул его от себя, но тут же заметил, что последняя страница исписана не его рукой. Он снова сел и стал читать.

Кехада писал:

«День 31-й. Вчера, утром 30-го дня экспедиции, советник Воронин с архивариусом Кацманом и эмигрантом Паком отправились на рекогносцировку с расчетом возвратиться в лагерь к отбою, но не возвратились. Сегодня в 14 часов 30 минут скоропостижно, от сердечного приступа, скончался временно исполняющий обязанности начальника экспедиции полковник Сент-Джеймс. Поскольку советник

Воронин до сих пор из рекогносцировки не возвратился, принимаю командование экспедицией на себя. Подпись: заместитель начальника экспедиции по науке Д.Кехада. 31-й день экспедиции, 15 часов 45 мин.».

Далее следовала обычная муть о расходе продовольствия и воды, о температуре, о ветре, а также приказ о назначении сержанта Фогеля начальником по военной части, выговор зампотеху Эллизауэру за медлительность и приказ ему же – максимально форсировать ремонт второго трактора. Дальше Кехада писал:

«Я намерен завтра провести торжественные похороны безвременно усопшего полковника Сент-Джеймса и сразу же после церемонии выслать хорошо вооруженный отряд на поиски рекогносцировочной группы советника Воронина. Буде исчезнувшая группа не обнаружится, я намерен отдать приказ о возвращении, поскольку считаю дальнейшее продвижение вперед еще более бессмысленным, нежели раньше».

«День 32-й. Рекогносцировочная группа не вернулась. За безобразную драку, учиненную минувшей ночью, картографа Рулье и рядовых Хнойпека и Тевосяна предупреждаю в последний раз и лишаю на день водного пайка...»

Дальше на бумаге шел чернильный зигзаг с брызгами, и записи на этом кончались. Видимо, на улице поднялась стрельба, Кехада выскочил и больше уже не возвращался.

Андрей перечитал записи дважды. Да, Кехада, ты этого хотел. Чего хотел, то и получил. А я все на Пака грешил, царство ему небесное... Он, прикусив губу, зажмурился, когда перед глазами его снова встала раздутая кукла в синей выцветшей куртке, и вдруг до него дошло: тридцать второй день. Как – тридцать второй? Тридцатый! Вчера я записывал за двадцать восьмой... Он торопливо перебросил страницу. Да. Двадцать восьмой... И трупы эти раздутые – они же лежат уже несколько суток... Господи, да что же это?.. Один, два... Какое же сегодня число? Ведь мы же сегодня утром ушли!

И он вспомнил жаркую, уставленную пустыми постаментами площадь, и ледяную тьму пантеона, и слепые статуи за бесконечно длинным столом... Это было давно. Это было очень давно. Да-а... Закрутила, значит, завертела гадская сила, заморочила, одурманила меня... Я же мог в тот же день вернуться, полковника живого бы застал, не допустил бы...

Дверь распахнулась, и в комнату шагнул не похожий на себя Изя – весь словно высохший, с вытянутым костистым лицом, угрюмый, озлобленный, точно и не он только что, как женщина, вскрикивал под

окнами. Он швырнул в угол полупустой мешок, сел в кресло напротив Андрея и сказал:

– Трупы лежат не меньше трех дней. Что происходит, ты понимаешь?

Андрей молча толкнул ему через стол журнал. Изя жадно схватил, разом проглотил записи, поднял на Андрея красные глаза.

Андрей сказал, криво усмехаясь:

– Эксперимент есть Эксперимент.

– Дрянь корявая, паршивая... – сказал Изя с ненавистью и отвращением. Он еще раз проглядел записи и бросил журнал на стол. – Суки!

– По-моему, это нас на площади скрутило, – сказал Андрей. – Где постаменты...

Изя кивнул, откинулся в кресле и, задрав бороду, закрыл глаза.

– Ну, что будем делать, советник? – спросил он.

Андрей молчал.

– Ты мне только стреляться не вздумай! – сказал Изя. – Знаю я тебя... комсомольца... орленка.

Андрей снова криво усмехнулся и потянул себя за воротник.

– Слушай, – проговорил он. – Пойдем отсюда куда-нибудь...

Изя открыл глаза и уставился на него.

– Смрад из окна... – сказал Андрей с трудом. – Не могу...

– Пошли ко мне, – сказал Изя.

В коридоре Немой поднялся им навстречу. Андрей взял его за голую мускулистую руку и потянул за собой. Все вместе они вошли в Изину комнату. Окна здесь глядели на другую улицу. За окнами, над низкими крышами уходила ввысь Желтая Стена. Здесь совсем не было смрада, и было почему-то даже прохладно, только вот сесть было негде – весь пол и все сплошняком было завалено бумагой и книгами.

– На пол, на пол садись, – сказал Изя, а сам повалился на свою развороченную грязную постель. – Давай думать, – сказал он. – Я подышать не собираюсь. У меня здесь еще куча дел.

– А чего думать? – сказал Андрей угрюмо. – Все равно... Воды нет, увезли, а жратва вся сгорела. Дороги назад нет – через пустыню нам не пройти... Даже если мы этих гадов догоним... Да нет – где нам их догнать, несколько дней прошло... – Он помолчал. – Если бы воду найти... Далеко до этой твоей водокачки?

– Километров двадцать, – сказал Изя. – Или тридцать.

– Если ночью идти, по холодку...

– Ночью идти нельзя, – сказал Изя. – Темно. И волки.

– Здесь нет волков, – возразил Андрей.

– Откуда ты знаешь?

– Ну, тогда давай стреляться к чертовой матери, – сказал Андрей.

Он уже знал, что не будет стреляться. Он хотел жить. Никогда раньше он не знал, что можно так сильно хотеть жить.

– Ну ладно, – сказал Изя. – А если серьезно?

– А если серьезно, то я хочу жить. И я выживу. Мне теперь на все наплевать. Мы теперь с тобой вдвоем, понял? Мы теперь с тобой должны выжить, и все. И провались они все к чертовой матери. Просто найдем воду и будем около нее жить.

– Правильно, – сказал Изя. Он сел на кровати, запустил руку под рубаху и принялся скрестись. – Днем будем пить воду, а по ночам я буду тебя поя...ть.

Андрей посмотрел на него, не понимая.

– Ты можешь еще что-нибудь предложить? – спросил он.

– Пока нет. Все правильно – сначала надо найти воду. Без воды нам карачун. А что дальше – там посмотрим... Я вот что сейчас думаю. По всему видно, что они драпали отсюда опрометью, сразу после бойни. Страшно стало. Повалились на волокушу и – газу! Надо бы в доме пошарить – наверняка здесь и вода, и жратва найдутся...

Он хотел еще что-то сказать, но остановился с разинутым ртом. Глаза его выкатились.

– Гляди, гляди! – сказал он испуганным шепотом.

Андрей стремительно повернулся к окну.

Сначала он ничего особенного не заметил, он только услышал – какое-то отдаленное гроыхание, словно обвал, словно где-то камни сыпались... Потом глаза его уловили некое движение на желтом вертикальном склоне над крышами.

Сверху, из голубоватой белесой мглы, куда уходил мир, быстро катилось острием вниз странное треугольное облако. Оно двигалось с невероятной высоты и было еще очень далеко от подножия стены, но уже можно было различить, что на острие бешено крутится, налетая на невидимые выступы и подсакивая, какое-то тяжелое тело мучительно знакомых очертаний. При каждом ударе от этого тела отлетали куски и продолжали падать рядом, веером летело каменное крошево, и вспухали клубы светлой пыли, втягиваясь в облако, образуя его, расходясь углом, как бурун за кормой быстроходного катера, а отдаленный гроыхающий гул стал громче и распался на отдельные удары, дробный треск обломков о монолит, грозное шуршание гигантского оползня...

– Трактор! – перехваченным голосом произнес Изя.

Андрей понял его только в самую последнюю секунду, когда изученная, истерзанная машина стремительно нырнула за крыши, пол под ногами дрогнул от страшного удара, столбом взвилась кирпичная пыль, взлетели на воздух обломки, клочья жести – через мгновение все это скрылось под лавиной желтого обвала.

Они еще долго молчали, прислушиваясь, как там гремит, трещит, хрустит, перекачивается, и пол под ногами все вздрагивал, а над крышами уже ничего не было видно за неподвижным желтым облаком.

– Ничего себе! – сказал Изя. – Как их туда занесло?

– Кого? – тупо спросил Андрей.

– Это же наш трактор, балда!

– Какой наш трактор? Который удрал?

Изя помолчал, изо всех сил сандаля нос грязными пальцами.

– Не знаю, – сказал он. – Не понимаю ничего... А ты понимаешь? – спросил он вдруг, повернувшись к Немому.

Тот равнодушно кивнул. Изя с досадой ударил себя по коленям, но тут Немой сделал странный жест: протянул перед собой указательный палец, круто опустил его к полу, а затем поднял выше головы, описавши в воздухе вытянутое кольцо.

– Ну? – жадно сказал Изя. – Ну?

Немой пожал плечами и повторил тот же жест. И Андрей вдруг вспомнил – вспомнил и сразу все понял.

– «Падающие Звезды»! – сказал он. – Это ж надо же!.. – Он горько рассмеялся. – Надо же, когда я это понял!..

– Что ты понял? – заорал Изя. – Какие звезды?

Андрей, все еще смеясь, махнул рукой.

– Плевать, – сказал он. – Плевать, плевать и плевать! Какое нам теперь до этого дело? Хватит болтать, Кацман! Нам выжить надо, понимаешь ты? Выжить! В этом гнусном неправдоподобном мире! Нам вода нужна, Кацман!..

– Подожди, подожди... – пробормотал Изя.

– Я ничего больше не хочу! – заорал Андрей, тряся сжатыми кулаками. – Я не желаю больше ничего понимать! Не желаю ничего узнавать!.. Ведь там трупы валяются, Кацман! Трупы!.. Они ведь тоже жить хотели, Кацман! А теперь просто вздулись и гниют!

Изя, выпятив бороду, слез с кровати, схватил Андрея за куртку и с силой посадил на пол.

– Тихо! – сказал он, страшно сопя. – По морде тебе дать? Сейчас дам. Баба!

Андрей скрипнул зубами и замолчал. Изя, отдуваясь вернулся на койку и снова принялся скрестись.

– Трупов он не видал... – ворчал он. – Мира этого он не видал... Баба.

Андрей, уткнувшись лицом в ладони, давил и затаптывал в себе бессмысленный отвратительный вой. Но краем сознания он уже понимал, что с ним сейчас происходит, и это помогало. Очень страшно было: быть здесь, среди мертвецов, еще вроде бы живым, но на самом деле уже мертвым... Изя говорил что-то, но он не слышал. Потом его отпустило.

– Что ты говоришь? – спросил он, отнимая руки от лица.

– Я говорю, что пойду пошарю у солдатни, а ты пошарь у интеллигенции. И в комнате у Кехады пошарь – у него там, где-то геологический эн-зе должен храниться... Не дрейфь, перезимуем...

В этот момент погасло солнце.

– М-мать! «Вот некстати!» – сказал Изя. – Теперь фонарь надо искать... Подожди-ка, ведь твой фонарь у меня должен быть...

– Часы, – сказал Андрей с трудом. – Часы надо поставить...

Он поднес запястье к глазам, разглядел фосфоресцирующие стрелки и поставил их на двенадцать ноль-ноль. Изя, ругаясь сквозь зубы, возился в темноте, двигал зачем-то койку, шуршал бумагой. Потом чиркнула и загорелась спичка. Изя стоял посередине комнаты на карачках и водил спичкой из стороны в сторону.

– Ну чего вы расселись, мать вашу!.. – заорал он. – Фонарь ищите! Живее, а то у меня спичек всего три штуки!..

Андрей нехотя поднялся, но Немой уже нашел фонарь, поднял стекло и передал Изе. Стало светлее. Изя, сосредоточенно шевеля бородой, регулировал горелку. Руки у него были крюки, горелка не желала регулироваться. Немой, весь лоснящийся от пота, вернулся в угол, сел на корточки и оттуда жалобно и преданно глядел на Андрея распахнутыми глазами ребенка. Воинство. Огрызки битой армии...

– Дай сюда фонарь, – сказал Андрей.

Он отобрал у Изя фонарь, наладил горелку и приказал:

– Пошли.

Он толкнул дверь в комнату полковника. Окна здесь были плотно закрыты, стекла целы, и поэтому смрада совсем не чувствовалось. Пахло табаком и одеколоном. Полковником.

Все было аккуратно прибрано, два упакованных чемодана отсвечивали добротной кожей, походная раскладная койка застелена была без единой морщинки, в головах на гвозде висела портупья с кобурой и фуражка с громадным козырьком. На громоздком комоду в углу стоял на войлочном кружке газовый фонарь, рядом – коробок спичек, стопка книг, футляр с биноклем...

Андрей поставил свой фонарь на стол и еще раз огляделся. Поднос с флягой и перевернутыми стаканчиками оказался на полке пустого стеллажа.

– Поддай, – сказал он Немому.

Немой кинулся, схватил и поставил поднос на стол, рядом с фонарем. Андрей разлил коньяк по стаканчикам. Стаканчиков было всего два, и для себя он наполнил колпачок фляжки.

– Берите, – сказал он. – За жизнь.

Изя одобрительно посмотрел на него, взял стаканчик, понюхал с видом знатока.

– Это вещь! – сказал он. – За жизнь, значит?.. Да разве это жизнь? – Он хихикнул, чокнулся с Немым и выпил. Глаза его увлажнились. – Хорошо-о... – слегка осипшим голосом проговорил он.

Немой тоже выпил – как воду, без всякого интереса. А Андрей все еще стоял с полным колпачком и пить не торопился. Что-то ему еще хотелось сказать, он и сам не знал толком – что. Какой-то очередной большой этап заканчивался, и начинался новый. И хотя ничего хорошего от завтрашнего дня ожидать не приходилось, завтрашний день все-таки был реальностью – особенно ощутимой потому, что это будет, может быть, один из очень и очень немногих оставшихся дней. Это было совсем незнакомое Андрею и очень острое ощущение.

Но он так и не придумал, что еще сказать, – только повторил: «За жизнь» – и выпил.

Потом он зажег газовый фонарь полковника и вручил его Изе, пообещав:

– Если и этот раскокаешь, борода безрукая, надаю по шее...

Изя, оскорбленно ворча, удалился, а Андрей все медлил уходить, рассеянно оглядывая комнату. Следовало бы, конечно, пошарить здесь – наверняка у Дагана хранилась для полковника какая-нибудь заначка, – но шарить именно здесь почему-то казалось... стыдным, что ли?

– Не стесняйтесь, Андрей, не стесняйтесь, – услышал он вдруг знакомый голос. – Мертвым ничего не нужно.

Немой сидел на краю стола, болтая ногой, и это уже был не Немой, точнее – не совсем Немой. Он по-прежнему был в одних штанах и с тесаком на широком поясе, но кожа его стала теперь сухой и матовой, лицо округлилось, на щеках проступил здоровый персиковый румянец. Это был Наставник – собственной персоной, – и Андрей впервые при виде него не ощутил ни радости, ни надежды, ни подъема. Он ощутил досаду и неловкость.

– Опять вы... – проворчал он, поворачиваясь к Наставнику спиной. – Давненько не видались...

Он подошел к окну и, прижавшись лбом к теплomu стеклу, стал смотреть во тьму, слабо озаряемую огоньками догорающей волокуши.

– А мы тут, как видите, помирать собрались...

– Зачем же помирать? – бодро произнес Наставник. – Надо жить! Умереть, знаете ли, никогда не поздно и всегда рано, не так ли?

– А если мы не найдем воды?

– Вы ее найдете. Всегда находили и теперь найдете.

– Хорошо. Найдем. Жить около нее всю жизнь? Зачем же тогда жить?

– А зачем вообще жить?

– Вот и я все думаю: а зачем жить? Глупую я прожил жизнь, Наставник. Дурацкую какую-то... Болтался все время как дерьмо в проруби – ни вверх, ни вниз. Сначала за идеи какие-то сражался, потом – за дефицитные ковры, а потом совсем уже ополоумел... людей вот погубил...

– Ну-ну-ну, это несерьезно, – сказал Наставник. – Люди всегда гибнут. При чем же тут вы?.. Вы начинаете новый этап, Андрей, и на мой взгляд – решающий этап. В известном смысле даже хорошо, что все получилось именно так. Рано или поздно все это с неизбежностью должно было произойти. Ведь экспедиция была обречена. Но вы могли бы погибнуть, так и не перейдя этого важного рубежа...

– Что же это за рубеж, интересно? – произнес Андрей, усмехаясь. Он повернулся к Наставнику лицом. – Идеи уже были – всякая там возня вокруг общественного блага и прочая муть для молокососов... Карьеру я уже делал, хватит, спасибо, посидел в начальниках... Так что же еще может со мной случиться?

– Понимание! – сказал Наставник, чуть повысив голос.

– Что – понимание? Понимание чего?

– Понимание, – повторил Наставник. – Вот чего у вас еще никогда не было – понимания!

– Понимания этого вашего у меня теперь вот сколько! – Андрей постукал себя ребром ладони по кадыку. – Все на свете я теперь понимаю. Тридцать лет до этого понимания доходил и вот теперь дошел. Никому я не нужен, и никто никому не нужен. Есть я, нет меня, сражаюсь я, лежу на диване – никакой разницы. Ничего нельзя изменить, ничего нельзя исправить. Можно только устроиться – лучше или хуже. Все идет само по себе, а я здесь ни при чем. Вот оно – ваше понимание, и больше понимать мне нечего... Вы мне лучше скажите,

что я с этим пониманием должен делать? На зиму его засолить или сейчас кушать?..

Наставник кивал.

– Именно, – сказал он. – Это и есть последний рубеж: что делать с пониманием? Как с ним жить? Жить-то ведь все равно надо!

– Жить надо, когда понимания нет! – с тихой яростью сказал Андрей. – А с пониманием надо умирать! И если бы я не был таким трусом... если бы не вопила так во мне проклятая протоплазма, я бы знал, что делать. Я бы веревку выбрал – покрепче...

Он замолчал.

Наставник взял флягу, осторожно наполнил один стаканчик, другой и задумчиво завинтил колпачок.

– Ну, начнем с того, что вы не трус, – сказал он. – И веревкой вы не воспользовались вовсе не потому, что вам страшно... Где-то в подсознании, и не так уж глубоко, уверяю вас, сидит в вас надежда – более того, уверенность, – что можно жить и с пониманием тоже. И неплохо жить. Интересно. – Он ногтем стал двигать к Андрею по столу один из стаканчиков. – Вспомните-ка, как отец заставлял вас прочесть «Войну миров», как вы не хотели, как вы злились, как вы засовывали проклятую книжку под диван, чтобы вернуться к иллюстрированному «Барону Мюнхгаузену»... Вам было скучно от Уэллса, вам было от него тошно, вы не знали, на кой ляд он вам сдался, вы хотели без него... А потом вы прочли эту книжку двенадцать раз, выучили наизусть, рисовали к ней иллюстрации и пытались даже писать продолжение...

– Ну и что? – угрюмо сказал Андрей.

– И такое было с вами не однажды! – сказал Наставник. – И будет еще не раз. В вас только что вбили понимание, и вам от него тошно, вы не знаете, на кой оно вам ляд, вы хотите без него... – Он взял свой стаканчик. – За продолжение! – сказал он.

И Андрей шагнул к столу, и взял свою рюмку, и поднес ее к губам, с привычным облегчением чувствуя, как снова рассеиваются все угрюмые сомнения и уже брезжит что-то впереди, в непроницаемой, казалось бы, тьме, и сейчас надо выпить, и бодро стукнуть пустой рюмкой по столу, и сказать что-нибудь энергичное, бодрое, и взяться за дело, но в этот момент кто-то третий, кто до сих пор всегда молчал, все тридцать лет молчал – то ли спал, то ли пьяный лежал, то ли наплевать ему было, – вдруг хихикнул и произнес одно бессмысленное слово: «Ти-ли-ли, ти-ли-ли!..»

Андрей выплеснул коньяк на пол, бросил стаканчик на поднос и сказал, засунув руки в карманы:

– А ведь я еще кое-что понял, Наставник... Пейте, пейте на здоровье, мне не хочется. – Не мог он больше смотреть на это румяное лицо. Он повернулся к нему спиной и снова отошел к окну. – Поддакиваете много, господин Наставник. Слишком уж вы беспардонно поддакиваете мне, господин Воронин-второй, совесть моя желтая, резиновая, использованный ты презерватив... Все тебе, Воронин, ладно, все тебе, родимый, хорошо. Главное, чтобы все мы были здоровы, а они нехай все подохнут. Жратвы вот не хватит – Кацмана пристрелю, а? Милое дело!..

Дверь у него за спиной скрипнула. Он обернулся. Комната была пуста. И стаканчики были пусты, и фляга была пуста, и в груди было как-то пусто, словно вырезали оттуда что-то большое и привычное. То ли опухоль. То ли сердце...

И уже привыкая к этому новому ощущению, Андрей подошел к койке полковника и снял с гвоздя ремень с пистолетом, изо всех сил запоясался и передвинул кобуру на живот.

– На память, – громко сказал он белоснежной подушке.

Часть шестая

ИСХОД

Солнце было в зените. Медный от пыли диск висел в центре беле-сого, нечистого неба, ублюбочная тень корчилась и топорщилась под самыми подошвами, то серая и размытая, то вдруг словно оживающая, обретающая резкость очертаний, наливающаяся чернотой и тогда особенно уродливая. Никакой дороги здесь и в помине не было – была бугристая серо-желтая сухая глина, растрескавшаяся, убитая, твердая, как камень, и до того голая, что совершенно непонятно было, откуда здесь берется такая масса пыли.

Ветер, слава богу, дул в спину. Где-то далеко позади он засасывал в себя неисчислимые тонны гнусной раскаленной пороши и с тупым упорством волочил ее вдоль выжженного солнцем выступа, зажатого между пропастью и Желтой Стеной, то выбрасывая ее крутящимся протуберанцем до самого неба, то скручивая туго в гибкие, почти кокетливые, лебединые шеи смерчей, то просто катил клубящимся валом, а потом, вдруг остервенев, швырял колючую муку в спины, в волосы, хлестал, зверея, по мокрому от пота затылку, стегал по рукам, по ушам, набивал карманы, сыпал за шиворот...

Ничего здесь не было, давно уже ничего не было. А может быть, и никогда. Солнце, глина, ветер. Только иногда пронесется, крутятся и подпрыгивая кривляющимся скоморохом, колючий скелет куста,

выдранного с корнем бог знает где позади. Ни капли воды, никаких признаков жизни. И только пыль, пыль, пыль, пыль...

Время от времени глина под ногами куда-то пропадала, и начиналось сплошное каменное крошево. Здесь все было раскалено, как в аду. То справа, то слева начинали выглядывать из клубов несущейся пыли гигантские обломки скал – седые, словно мукой припорошенные. Ветер и жара придавали им самые странные и неожиданные очертания, и было страшно, что они вот так – то появляются, то вновь исчезают, как призраки, словно играют в свои каменные прятки. А щебень под ногами становился все крупнее, и вдруг россыпь кончалась, и снова под ногами звенела глина.

Камни вели себя очень плохо. Они выворачивались из-под ноги, они норовили поглубже вонзиться в подошву, проткнуть ее, добраться до живого тела. Глина вела себя поприличнее. Но и она делала все, что могла. Она вдруг вспучивалась плешивыми холмами, она устраивала ни с того ни с сего дурацкие косогоры, она расступалась в глубокие крутые овраги, где на дне невозможно было дышать от застоявшейся тысячелетней жары... Она тоже играла в свою игру, в свое глиняное «замри-отомри», учиняла метаморфозы в меру своей скудной глиняной фантазии. Все здесь играло в свои игры. И все – в одни ворота...

– Эй, Андрей! – сипло позвал Изя. – Андрюха-а!..

– Чего тебе? – через плечо спросил Андрей и остановился.

Тележка, вихляясь на разболтанных колесиках, по инерции накатила на него и ударила под коленки.

– Смотри!..

Изя стоял шагах в десяти позади и показывал что-то в протянутой руке.

– Что это? – спросил Андрей без особого интереса.

Изя налег на постромки и, не опуская руки, подкатил свою тележку к Андрею. Андрей смотрел, как он идет, – страшный, в бороде по грудь, со вставшей дыбом, серой от пыли шевелюрой, в неизменно драной куртке, сквозь дыры которой проглядывало волосатое мокрое тело. Бахрома его порток едва прикрывала колени, а правый башмак вопиял о каше, выставляя на свет грязные пальцы со сломанными черными ногтями... Корифей духа. Жрец и апостол вечного храма культуры...

– Расческа! – торжественно провозгласил Изя, приблизившись.

Расческа была из самых дешевых – пластмассовая, со сломанными зубьями, – не расческа даже, а обломок расчески, и у места облома можно было еще разобрать какой-то ГОСТ, но пластмасса была

выбелена многими десятилетиями солнечного жара и жестоко изъедена пылевой коростой.

– Ну вот, – сказал Андрей. – А ты все галдишь: никто до нас, никто до нас.

– И совсем я не так галдю, – сказал Изя миролюбиво. – Давай посидим, а?

– Ну, посидим, – согласился Андрей без всякого энтузиазма, и Изя тут же, не снимая постромок, плюхнулся задом прямо на землю и принялся засовывать обломок расчески в нагрудный карман.

Андрей поставил свою тележку поперек ветра, сбросил постромки и уселся, прислонившись спиной и затылком к горячим канистрам. Ветра сразу же стало заметно меньше, но зато теперь голая глина немилосердно жгла ягодицы сквозь ветхую ткань.

– Где же твой резервуар? – сказал он с презрением. – Трепло.

– Иш-шы, иш-шы! – откликнулся Изя. – Должен быть!

– Это еще что такое?

– А это такой анекдот, про купца, – объяснил Изя с охотой. – Пошел один купец в публичный дом...

– Ну, поехали! – сказал Андрей. – Все об ей? Угомона на тебя нет, Кацман, ей-богу!..

– Я угомона себе позволить не могу, – объявил Изя. – Я должен быть готов при первой же возможности.

– Сдохнем мы тут с тобой, – сказал Андрей.

– Ни боже мой! И не думай, и не мысли!

– Да я и не думаю, – сказал Андрей.

Это была правда. Мысль о неизбежной, конечно, смерти очень редко теперь приходила ему в голову. Черт его знает, в чем тут было дело. То ли острота этого ощущения обреченности уже совсем притупилась, то ли плоть уже настолько высохла и изнемогла, что перестала орать и вопить и только еле-еле сипела где-то на пороге слышимости... А может быть, количество перешло, наконец, в качество, и начало действовать постоянное присутствие Изи с его почти неестественным равнодушием к смерти, которая все ходила около них кругами, то приближаясь почти вплотную, то вдруг снова удаляясь, но никогда не упуская их из виду... Так или иначе, но вот уже много дней Андрей если и заговаривал о неизбежном конце, то только для того, чтобы снова и снова убедиться в своем растущем равнодушии к нему.

– Что ты говоришь? – переспросил он.

– Я говорю: ты, главное, не бойся здесь подохнуть...

– Да ты мне это уже сто раз говорил. Я уже давным-давно не боюсь, а ты все знай долдонишь свое...

– Ну и хорошо, – мирно сказал Изя. Он вытянул ноги. – Чем бы это мне подошву подвязать? – осведомился он глубокомысленно. – Отвалится ведь в ближайший же кол времени...

– А вон конец от постромок отрежь и подвяжи... Дать тебе ножик? Некоторое время Изя молча созерцал торчащие пальцы.

– Ладно, – сказал он наконец. – Совсем отвалится – тогда... Может, хлебом по глотку?

– Ручки зябнуть, ножки зябнуть? – сказал Андрей и сразу вспомнил дядю Юру. Дядя Юра вспоминался теперь с трудом. Он был из другой жизни.

– Не пора ли нам дерябнуть? – с живостью подхватил Изя, искательно заглядывая Андрею в глаза.

– Фигу тебе! – сказал Андрей с удовольствием. – Знаешь, какой водицы хлебни? Которую ты где-то там вычитал. Наврал ведь мне про резервуар, да?

Как он и ожидал, Изя немедленно взбеленился.

– Иди ты на хер! Что я тебе – гувернантка?

– Ну, значит, рукопись твоя наврала...

– Дурак, – сказал Изя с презрением. – Рукописи не врут. Это тебе не книги. Надо только уметь их читать...

– Ну, значит, читать ты не умеешь...

Изя только посмотрел на него и сейчас же завозился, поднимаясь.

– Всякое говно здесь будет... – бормотал он. – А ну вставай! Резервуар хочешь? Тогда нечего расслаиваться... Вставай, говорю!

Ветер, ликуя, хлестнул колючками по ушам и радостно, как веселый пес, запыллил кругами над плешивой глиной, а глина с натугой двинулась навстречу и некоторое время вела себя смиренно, словно собиралась с силами, а потом начала опрокидываться косогором...

Понять бы все-таки до конца, куда меня несет черт, подумал Андрей. Вся жизнь меня куда-то несет – не сидится мне на месте, дураку... Главное, ведь смысла никакого уже нет. Раньше все-таки всегда бывал какой-то смысл. Ну, пусть даже самый мизерный, пусть даже завиральный, но все-таки, когда меня били, скажем, по морде, я всегда мог сказать себе: это ничего, это – во имя, это – борьба...

...Всему на свете цена – дерьмо, сказал Изя. (Это было в Хрустальном Дворце, они только что поели курятины, жаренной под давлением, и теперь лежали на ярких синтетических матрасиках на краю бассейна с прозрачной подсвеченной водой.) Всему на свете цена – дерьмо, сказал Изя, ковыряя в зубах хорошо отмытым пальцем. Всем этим вашим пахарям, всем этим токарям, всем вашим блюмингам, крекингам, ветвистым пшеницам, лазерам и мазерам. Все это –

дерьмо, удобрения. Все это проходит. Либо просто проходит без следа и навсегда, либо проходит потому, что превращается. Все это кажется важным только потому, что большинство считает это важным. А большинство считает это важным потому, что стремится набить брюхо и усладить свою плоть ценой наименьших усилий. Но если подумать, кому какое дело до большинства? Я лично против него ничего не имею, я сам в известном смысле большинство. Но меня большинство не интересует. История большинства имеет начало и конец. Вначале большинство жрет то, что ему дают. А в конце оно всю свою жизнь занимается проблемой выбора, что бы такое выбрать пожрать этакое? Еще не жратое?.. Ну, до этого пока еще далековато, сказал Андрей. Не так далеко, как ты воображаешь, возразил Изя. А если даже и далеко, то не в этом дело. Важно, что есть начало и есть конец... Все, что имеет начало, имеет и конец, сказал Андрей. Правильно, правильно, сказал Изя нетерпеливо. Но я ведь говорю о масштабах истории, а не о масштабах Вселенной. История большинства имеет конец, а вот история меньшинства закончится только вместе со Вселенной... Элитарист ты паршивый, лениво сказал ему Андрей, поднялся со своего коврика и бухнулся в бассейн. Он долго плавал, фыркал в прохладной воде и, ныряя на самое дно, где вода была ледяная, жадно глотал ее там, как рыба...

...Нет, конечно, не глотал. Это я бы сейчас глотал. Господи, как бы я глотал! Я бы весь бассейн выглотал, Изе бы не оставил – пусть резервуар ищет...

Справа, из-за серо-желтых клубов, выглянули какие-то руины – полуобвалившаяся глухая стена, щетинистая от пыльных растений, остатки неуклюжей четверугольной башни.

– Ну вот, пожалуйста, – сказал Андрей, останавливаясь. – А ты говоришь: никто до нас...

– Да не говорил я этого никогда, балда стоеросовая! – просипел Изя. – Я говорил...

– Слушай, а может, резервуар – здесь?

– Очень может быть, – сказал Изя.

– Пойдем посмотрим.

Они сбросили постромки и побрели к развалинам.

– Хе! – сказал Изя. – Норманнская крепость! Девятый век...

– Воду, воду ищи, – сказал Андрей.

– Иди ты со своей водой! – сказал Изя с сердцем. Глаза его округлились, выкатились, давно забытым жестом он полез под бороду искать свою бородавку. – Норманны... – бормотал он. – Надо же... Интересно, чем их сюда заманили?

Цепляясь лохмотьями за колючки, они преодолели пролом в стене и оказались в затишье. На четырехугольной гладкой площади возвышалось низкое строение с рухнувшей крышей.

– Союз меча и гнева... – бормотал Изя, торопливо устремляясь к дверному проему. – То-то же я ни хрена не понимал, что это за союз... откуда здесь меч какой-то... Так разве сообразишь такое?..

В доме было полное запустение, полное и древнее. Вековое. Провалившиеся стропила перемешались с обломками сгнивших досок – остатков длинного, во всю длину дома, стола. Все было пыльное, трухлявое, истлевшее, а вдоль стены слева тянулись такие же пыльные трухлявые скамьи. Не переставая бормотать, Изя полез копать в этой гряде тлена, а Андрей выбрался наружу и пошел вокруг дома. Очень скоро он наткнулся на то, что было когда-то резервуаром – огромная круглая яма, выложенная каменными плитами. Сейчас камни эти были сухие, как сама пустыня, но когда-то вода здесь, без сомнения, была: глина на краю ямы, твердая, как цемент, сохранила глубокие отпечатки обутых ног и собачьих лап. Худо дело, подумал Андрей. Былой ужас взял его за сердце и сейчас же отпустил: на противоположном конце ямы звездой распластались по глине широкие лохматые листья «женьшеня». Андрей трусцой побежал к ним вокруг ямы, на бегу нашаривая в кармане нож.

Несколько минут, пыхтя, обливаясь потом, он неистово ковырял ножом и ногтями окаменелую глину, отгребал крошки и снова ковырял, а потом, ухватившись обеими руками за толстое основание корня – холодное, сырое, мощное, – потянул сильно, но осторожно, так, чтобы, упаси бог, не обломилось бы где-нибудь посередине.

Корень был из больших – сантиметров семьдесят длиной, а толщиной в кулак, – белый, чистый, лоснящийся. Прижав его к щеке обеими руками, Андрей пошел к Изе, но по дороге не удержался – вгрызся в сочную хрусткую плоть, с наслаждением принялся жевать, стараясь не торопиться, стараясь разжевывать как можно тщательнее, чтобы не потерять зря ни единой капли этой восхитительной мятной горечи, от которой во рту и во всем теле становится свежо и прохладно, как в утреннем лесу, а голова делается ясной, и больше ничего не страшно, и можно сдвинуть горы...

Потом они сидели на пороге дома и радостно вгрызались, и хрустели, и чавкали, весело подмигивая друг другу с набитыми ртами, а ветер разочарованно выл у них над головами и не мог достать до них. Снова они его обманули – не дали поиграть костями на плешиевой глине. Теперь снова можно было помериться силами.

Они выпили по два глотка из горячей канистры, впряглись в свои тележки и зашагали дальше. И идти теперь было легко, Изя не отставал больше, а вышагивал рядом, шлепая полуоторванной подметкой.

– Я там, между прочим, еще один кустик приметил, – сказал Андрей. – Маленький. На обратном пути...

– Зря, – сказал Изя. – Надо было сожрать.

– Мало тебе?

– А чего добру пропадать?

– Не пропадет, – сказал Андрей. – На обратном пути пригодится.

– Да не будет никакого обратного пути!

– Этого, брат, никто не знает, – сказал Андрей. – Ты мне лучше вот что скажи: вода еще будет?

Изя задрал голову и посмотрел на солнце.

– В зените, – сообщил он. – Или почти в зените. Ты как полагаешь, господин астроном?

– Похоже.

– Скоро начнется самое интересное, – сказал Изя.

– Да что тут такого интересного может быть? Ну, перевалим мы через нулевую точку. Ну, пойдем к Антигороду...

– Откуда ты знаешь?

– Об Антигороде?

– Нет. Почему ты думаешь, что мы вот так просто перевалим и пойдем?

– Да ни хрена я об этом не думаю, – сказал Андрей. – Я о воде думаю.

– Господи, твоя воля! В нулевой точке – начало мира, ты понимаешь? А он – о воде!..

Андрей не ответил. Начался подъем на очередной бугор, идти стало трудно, построжки врезались в плечи. Хорошая штука «женьшень», подумал Андрей. Откуда мы о нем знаем?.. Пак рассказывал? Кажется... А, нет! Мымра как-то притащила в лагерь несколько корней и принялась поедать, а солдаты отобрали у нее и сами попробовали. Да. Все они потом ходили гоголем, а Мымру валяли всю ночь до утра... А Пак уже потом рассказывал, что этот «женьшень», как и настоящий женьшень, попадает очень редко. Он растет в тех местах, где когда-то была вода, и очень хорош при упадке сил. Только вот хранить его нельзя, есть надо немедленно, потому что через час или даже меньше корень вянет и становится чуть ли не ядовитым... Около Павильона было много этого «женьшеня», целый огород... Вот там мы его наелись от пуза, и все язвы у Изя прошли за одну ночь. Хорошо

было у Павильона. А Изя все разглагольствовал там насчет здания культуры...

...Все прочее – это только строительные леса у стен храма, говорил он. Все лучшее, что придумало человечество за сто тысяч лет, все главное, что оно поняло и до чего додумалось, идет на этот храм. Через тысячелетия своей истории, воюя, голодая, впадая в рабство и восставая, жря и совокупляясь, несет человечество, само об этом не подозревая, этот храм на мутном гребне своей волны. Случается, оно вдруг замечает на себе этот храм, спохватывается и тогда либо принимается разносить этот храм по кирпичикам, либо судорожно поклоняться ему, либо строить другой храм, по соседству и в поношение, но никогда оно толком не понимает, с чем имеет дело, и, отчаявшись как-то применить храм тем или иным манером, очень скоро отвлекается на свои так называемые насущные нужды: начинает что-нибудь уже тридцать три раза деленное делить заново, кого-нибудь распинать, кого-нибудь превозносить – а храм знай себе все растет и растет из века в век, из тысячелетия в тысячелетие, и ни разрушить его, ни окончательно унижить невозможно... Самое забавное, говорил Изя, что каждый кирпичик этого храма, каждая вечная книга, каждая вечная мелодия, каждый неповторимый архитектурный силуэт несет в себе спрессованный опыт этого самого человечества, мысли его и мысли о нем, идеи о целях и противоречиях его существования; что каким бы он ни казался отдельным от всех сиюминутных интересов этого стада самоедных свиней, он, в то же время и всегда, неотделим от этого стада и немислим без него... И еще забавно, говорил Изя, что храм этот никто, собственно, не строит сознательно. Его нельзя спланировать заранее на бумаге или в некоем гениальном мозгу, он растет сам собою, безошибочно вбирая в себя все лучшее, что порождает человеческая история... Ты, может быть, думаешь (спрашивал Изя язвительно), что сами непосредственные строители этого храма – не свиньи? Господи, да еще какие свиньи иногда! Вор и подлец Бенвенуто Челлини, беспробудный пьяница Хемингуэй, педераст Чайковский, шизофреник и черносотенец Достоевский, домушник и висельник Франсуа Вийон... Господи, да порядочные люди среди них скорее редкость! Но они, как коралловые полипы, не ведают, что творят. И все человечество – так же. Поколение за поколением жрут, наслаждаются, хищничают, убивают,дохнут – ан, глядишь, – целый коралловый атолл вырос, да какой прекрасный! Да какой прочный!.. Ну ладно, сказал ему Андрей. Ну – храм. Единственная непреходящая ценность. Ладно. А мы все тогда при чем? Я-то тогда здесь при чем?..

– Стой! – Изя схватил его за постромку. – Подожди. Камни.

Действительно, камни здесь были удобные – округлые, плоские, словно затвердевшие коровьи лепешки.

– Очередной храм возводить? – проговорил Андрей, ухмыляясь.

Он отбросил постромки, шагнул в сторону и подхватил ближайший камень. Камень был именно такой, какой требовался для фундамента, – снизу буграстый, колючий, сверху – гладкий, обточенный пылью и ветром. Андрей уложил его на сравнительно ровную россыпь мелкого щебня, втер его, двигая плечами, поглубже и попрочнее и пошел за следующим.

Выкладывая фундамент, он испытывал что-то вроде удовлетворения: как-никак, это была все-таки работа, не бессмысленные движения ногами, а дело, совершаемое с определенной целью. Можно было оспаривать эту цель, можно было объявить Изю психопатом и маньяком (каковым он, конечно, и был) ... А можно было вот так, камень за камнем, выкладывать по возможности ровную площадку для фундамента.

Изя рядом пыхтел и кряхтел, ворочая самые большие камни, спотыкался, совсем отодрал подошву, а когда фундамент был готов, поскакал к своей тележке и извлек из-под тряпья очередной экземпляр своего «Путеводителя».

Когда в Хрустальном Дворце они окончательно поняли и почти поверили, что больше никогда и никого не встретят по пути на север, Изя засел за пишмашинку и со сверхъестественной быстротой написал «Путеводитель по бредовому миру». Потом он сам размножил этот «Путеводитель» на диковинном копировальном автомате (в Хрустальном Дворце было до черта самых разнообразных и удивительных автоматов), сам запалял все пятьдесят экземпляров в конверты из странного прозрачного и очень прочного материала под названием «полиэтиленовая пленка» и доверху загрузил свою тележку, едва оставив место для мешка с сухарями... А теперь вот этих конвертов осталось у него всего штук десять, а может быть, и меньше.

– Сколько их у тебя еще осталось? – спросил Андрей.

Изя, пристраивая конверт в центре фундамента, рассеянно ответил:

– А хрен его знает... Мало. Давай камни.

И они снова принялись таскать камни, и скоро над конвертом выросла пирамида метра в полтора высотой. Выглядела она в этой безлюдной пустыне довольно странно, но, чтобы она выглядела еще более странно, Изя полил камни ядовито-красной краской из огромного тюбика, который нашел на складе под Башней. Потом он отошел к тележке, уселся и принялся приматывать оторвавшуюся подошву

обрывком веревки. При этом он то и дело поглядывал на свою пирамиду, и на лице его сомнение и неуверенность сменялись постепенно удовлетворением и все нарастающей гордостью.

– А?! – сказал он Андрею, совершенно уже раздувшись и напыжась. – Даже полный дурак мимо не пройдет – сообразит, что это не зря...

– Ага, – сказал Андрей, присаживаясь рядом на корточки. – То-то тебе будет много пользы, что дурак эту пирамиду раскопает.

– Ничего, ничего, – проворчал Изя. – Дурак – тоже существо разумное. Сам не поймет – другим расскажет... – Он вдруг оживился. – Возьми, например, мифы! Как известно, дураков – подавляющее большинство, а это значит, что всякому интересному событию свидетелем был, как правило, именно дурак. Эрго: миф есть описание действительного события в восприятии дурака и в обработке поэта. А?!

Андрей не ответил. Он смотрел на пирамиду. Ветер осторожно подбирался к ней, неуверенно пылил вокруг, слабо посвистывал в щелях между камнями, и Андрей вдруг очень ясно представил себе бесконечные километры, оставшиеся позади, и протянувшийся по этим километрам реденький пунктир таких вот пирамид, отданных ветру и времени... И еще он представил себе, как к этой вот пирамиде подползает на карачках иссушенный, словно мумия, путник, подыхающий от голода и жажды... как он неистово, из последних сил, обламывая ногти, ворочает и расталкивает эти камни, а воспаленное воображение уже рисует ему там, под камнями, тайник с едой и водой... У Андрея вырвался истерический смешок. Вот уж тут бы я обязательно застрелился. Невозможно такое перенести...

– Ты чего? – подозрительно спросил Изя.

– Ничего, ничего, все в порядке, – сказал Андрей и поднялся.

Изя тоже встал и некоторое время критически смотрел на пирамиду.

– Ничего смешного здесь нет! – объявил он. Он потопал ногой, обмотанной лохматой веревкой. – На первое время сойдет, – сообщил он. – Пошли?

– Пошли.

Андрей впрягся в тележку, а Изя все-таки не удержался и еще раз обошел вокруг своей пирамиды. Он явно тоже что-то представлял себе сейчас, какие-то картины, и картины эти льстили его натуре, он украдкой улыбался, потирал руки и шумно пыхтел в бороду.

– Ну и вид у тебя! – сказал Андрей, не удержавшись. – Ну прямо как у жабы. Навалил икры и теперь от гордости опомниться не можешь. Или как у кеты.

– Но-но! – сказал Изя, продевая руки в постромки. – Кета после этого дела поддыхает...

– Вот именно, – сказал Андрей.

– Но-но! – грозно сказал Изя, и они двинулись дальше.

Потом Изя вдруг спросил:

– А ты кету едал?

– Навалом, – сказал Андрей. – Под водку знаешь, как идет? Или бутерброды к чаю... А что?

– Так... – сказал Изя. – А вот мои дочки ее уже не пробовали.

– Дочки? – удивился Андрей. – У тебя есть дочки?

– Целых три, – сказал Изя. – И ни одна не знает, что такое кета. Я им объяснил, что кета и осетрина – это такие вымершие рыбы. Наподобие ихтиозавров. А они будут то же самое рассказывать своим детям про селедку...

Он говорил еще что-то, но Андрей, пораженный, его не слушал. Вот тебе и на! Три дочки! У Изи! Шесть лет я его знаю, и мне даже в голову не приходило ничего подобного. Как же он тогда решился – сюда? Ай да Изя... Черт знает, какие люди на свете бывают... Нет, ребята, подумал он. Все правильно и все верно: никакой нормальный человек до этой пирамиды не доберется. Нормальный человек, как до Хрустального Дворца дойдет, так там на всю жизнь и останется. Видел я их там – нормальных людей... Хари от задницы не отличишь... Нет, ребята, если сюда кто-то и доберется, так только какой-нибудь Изя-номер-два... И как он раскопает эту пирамиду, как разорвет конверт, так сразу про все и забудет – так и умрет здесь, читаючи... Хотя, с другой стороны, меня ведь сюда занесло?.. Чего для? На Башне было хорошо. В Павильоне – и того лучше. А уж в Хрустальном Дворце... Как в Хрустальном Дворце, я никогда еще не жил и жить больше не буду... Ну хорошо – Изя. У него шило в жопе, ему на одном месте не сидится. А если бы не было со мной Изи – ушел бы я оттуда или остался? Вопрос!..

...Почему мы должны идти вперед? – спрашивал Изя на Плантации, а черномазые девчонки, гладкие, титястые, сидели рядом и смиренно слушали нас. Почему мы все-таки и несмотря ни на что должны идти вперед? – разглагольствовал Изя, рассеянно поглаживая ближайшую по атласному колену. А потому, что позади у нас – либо смерть, либо скука, которая тоже есть смерть. Неужели тебе мало этого простого рассуждения? Ведь мы же первые, понимаешь ты это? Ведь ни один человек еще не прошел этого мира из конца в конец: от джунглей и болот – до самого нуля... А может быть, вообще вся эта затея только для того и затеяна, чтобы нашелся такой человек?..

Чтобы прошел он от и до?.. «Зачем?» – угрюмо спрашивал Андрей. Откуда я знаю – зачем? – возмущался Изя. А зачем строится храм? Ясно, что храм – это единственная видимая цель, а зачем – это некорректный вопрос. У человека должна быть цель, он без цели не умеет, на то ему и разум дан. Если цели у него нет, он ее придумывает... Вот и ты придумал, сказал Андрей, непременно тебе нужно пройти от и до. Подумаешь – цель!.. Я ее не придумывал, сказал Изя, она у меня одна-единственная. Мне выбирать не из чего. Либо цель, либо бесцельность – вот как у нас с тобой дела обстоят... А чего же ты мне голову забиваешь своим храмом, сказал Андрей, храм-то твой здесь при чем?.. Очень даже при чем, с удовольствием, словно только того и ждал, парировал Изя, храм, дорогой ты мой Андрюшечка, это не только вечные книги, не только вечная музыка. Этак у нас получится, что храм начали строить только после Гутенберга или, как вас учили, после Ивана Федорова. Нет, голубчик, храм строится еще и из поступков. Если угодно, храм поступками цементируется, держится ими, стоит на них. С поступков все началось. Сначала поступок, потом – легенда, а уже только потом – все остальное. Натурально, имеется в виду поступок необыкновенный, не лезущий в рамки, необъяснимый, если угодно. Вот ведь с чего храм-то начинался – с нетривиального поступка!.. С героического, короче говоря, заметил Андрей, презрительно усмехаясь. Ну, пусть так, пусть с героического, снисходительно согласился Изя. То есть ты у нас получаешься герой, сказал Андрей, в герои, значит, рвешься. Синдбад-Мореход и могучий Улисс... А ты дурачок, сказал Изя. Ласково сказал, без всякого намерения оскорбить. Уверяю тебя, дружок, что Улисс не рвался в герои. Он просто БЫЛ героем – натура у него была такая, не мог он иначе. Ты вот не можешь говно есть – тошнит, а ему тошно было сидеть царьком в занюханной своей Итаке. Я ведь вижу, ты меня жалеешь – маньяк, мол, психованный... Вижу, вижу. А тебе жалеть меня не надо. Тебе завидовать мне надо. Потому что я знаю совершенно точно: что храм строится, что ничего серьезного, кроме этого, в истории не происходит, что в жизни у меня только одна задача – храм этот оберегать и богатства его приумножать. Я, конечно, не Гомер и не Пушкин – кирпич в стену мне не заложить. Но я – Кацман! И храм этот – во мне, а значит, и я – часть храма, значит, с моим осознанием себя храм увеличился еще на одну человеческую душу. И это уже прекрасно. Пусть я даже ни крошки не вложу в стену... Хотя я, конечно, постараюсь вложить, уж будь уверен. Это будет наверняка очень маленькая крупинка, хуже того – крупинка эта со временем, может быть, просто отвалится, не пригодится для храма, но в любом случае я знаю: храм во мне был и был крепок и

мною тоже... Ничего я этого не понимаю, сказал Андрей. Путано излагаешь. Религия какая-то: храм, дух... Ну еще бы, сказал Изя, раз это не бутылка водки и не полуторный матрас, значит, это обязательно религия. Что ты ерепенишься? Ты же сам мне все уши прогундел, что потерял вот почву под ногами, что висишь в безвоздушном пространстве... Правильно, висишь. Так и должно было с тобой случиться. Со всяким мало-мальски мыслящим человеком это в конце концов случается... Так вот я и даю тебе почву. Самую твердую, какая только может быть. Хочешь – становись обеими ногами, не хочешь – иди к херам! Но уж тогда не гунди!.. Ты мне не почву подсовываешь, сказал Андрей, ты мне облако какое-то бесформенное подсовываешь! Ну ладно. Ну, пусть я все понял про твой храм. Только мне-то что от этого? В строители твоего храма я не гожусь – тоже, прямо скажем, не Гомер... Но у тебя-то храм хоть в душе есть, ты без него не можешь – я же вижу, как ты по миру бегаешь, что твой молодой щенок, ко всему жадно принохиваешься, что ни попадет – облизываешь или пробуешь на зуб! Я вот вижу, как ты читаешь. Ты можешь двадцать четыре часа в сутки читать... и, между прочим, все при этом запоминаешь... А я ничего этого не могу. Читать – люблю, но в меру все-таки. Музыка слушать – пожалуйста. Очень люблю слушать музыку. Но тоже не двадцать же четыре часа! И память у меня самая обыкновенная – не могу я ее обогатить всеми сокровищами, которые накопило человечество... Даже если бы я только этим и занимался – все равно не могу. В одно ухо у меня залетает, из другого выскакивает. Так что мне теперь от твоего храма?.. Ну правильно, ну верно, сказал Изя. Я же не спорю. Храм – это же не всякому дано... Я же не спорю, что это достояние меньшинства, дело природы человеческой... Но ты послушай. Я тебе сейчас расскажу, как мне это представляется. У храма есть (Изя принялся загибать пальцы) строители. Это те, кто его возводит. Затем, скажем, м-м-м... тьфу, черт, слово не подберу, лезет все религиозная терминология... Ну ладно, пускай – жрецы. Это те, кто носит его в себе. Те, через души которых он растет и в душах которых существует... И есть потребители – те, кто, так сказать, вкушает от него... Так вот Пушкин – это строитель. Я – это жрец. А ты – потребитель... И не кривись, дурак! Это же очень здорово! Ведь храм без потребителя был бы вообще лишен человеческого смысла. Ты, балда, подумай, как тебе повезло! Ведь это же нужны годы и годы специальной обработки, промывания мозгов, хитроумнейшие системы обмана, чтобы подвигнуть тебя, потребителя, на разрушение храма... А уж такого, каким ты стал теперь, и вообще нельзя на такое дело толкнуть, разве что под угрозой смерти!.. Ты подумай, сундук ты с клопами, ведь такие, как

ты, – это же тоже малейшее меньшинство! Большинству ведь только мигни, разреши только – с гиком пойдут крушить ломами, факелами пойдут жечь... было уже такое, неоднократно было! И будет, наверное, еще не раз... А ты жалуешься! Да ведь если вообще можно ставить вопрос: для чего храм? – ответ будет один-единственный: для тебя!..

– Андрюх! – позвал Изя знакомым противным голосом. – А может, хватанем?

Они были на самой верхушке здоровенного бугра. Слева, где обрыв, все было затянато сплошной мутной пеленой бешено несущейся пыли, а справа почему-то прояснело, и видна была Желтая Стена – не ровная и гладкая, как в пределах Города, а вся в могучих складках и морщинах, словно кора чудовищного дерева. Внизу впереди начиналось ровное, как стол, белое каменное поле – не щебенка, а цельный камень, сплошной монолит, – и тянулось это поле, насколько хватал глаз, и покачивались над ним в полукилometре от бугра два тощих смерча – один желтый, другой черный...

– Это что-то новенькое, – сказал Андрей, прищурившись. – Смотри-ка – сплошной камень...

– А? Да, пожалуй... Слушай, давай по стаканчику – четыре часа уже...

– Давай, – согласился Андрей. – Только спустимся сначала.

Они спустились с бугра, освободились от постромок, и Андрей потащил из своей коляски раскаленную канистру. Канистра зацепилась за ремень автомата, потом за мешок с остатками сахарной крошки, но Андрей все-таки выволок ее и, зажав между колен, откупорил. Изя приплясывал рядом, держа наготове две пластмассовые кружки.

– Соль достань, – сказал Андрей.

Изя сразу перестал плясать.

– Да брось ты... – заныл он. – Зачем? Давай так дернем...

– Без соли не получишь, – сказал Андрей утомленно.

– Тогда давай так, – сказал Изя, осененный новой мыслью. Он уже поставил кружки на камень и рылся в своей коляске. – Тогда давай я свою соль просто так съем, а потом водой запью.

– Господи, – сказал пораженный Андрей. – Ну, ладно, давай так.

Он разлил по половине кружки горячей, пахнущей железом воды, принял у Изи пакетик с солью и сказал:

– Давай язык.

Он высыпал щепотку соли на толстый обложенный Изин язык и смотрел, как Изя морщится, давится, жадно протягивая руку к кружке, а потом подсолил свою воду и стал ее пить маленькими скудными глотками, не испытывая никакого удовольствия, как лекарство.

– Хорошо! – сказал Изя, крикнув. – Только мало. А?

Андрей кивнул. Выпитая вода сразу же выступила п<о>том, и во рту осталось все, как было, без малейшего облегчения. Он приподнял канистру, прикидывая. На пару дней, наверное, еще хватит, а потом... А потом еще что-нибудь найдется, сказал он себе со злостью. Эксперимент есть Эксперимент. Жить не дадут, но и подохнуть – тоже... Он бросил взгляд на белое, пышущее жаром плато, расстилавшееся впереди, покусал сухую губу и принялся устанавливать канистру обратно в коляску. Изя, присев, опять перебинтовывал свою подошву.

– А ты знаешь, – пропыхтел он, – и в самом деле какое-то странное место... Что-то я такого даже не припомню... – Он поглядел на солнце, прикрывшись ладонью. – В зените, – сказал он. – Ей-богу, в зените. Что-то будет... Да выброси ты к черту эту железяку, что ты с ней возишься?!

Андрей аккуратно пристраивал автомат около канистры.

– Без этой железяки мы бы за Павильоном костей бы с тобой не собрали, – напомнил он.

– Так-то – за Павильоном! – возразил Изя. – С тех пор мы с тобой уже пятую неделю идем, и даже мух не видно...

– Ладно, – сказал Андрей. – Не тебе тащить... Пошли.

Каменное плато оказалось на удивление гладким. Коляски катились по нему как по асфальту – только колесики повизгивали. Но жара стала еще страшнее. Белый камень швырял солнце обратно, и глазам теперь не было никакого спасения. Пятки жгло, будто башмаков не было вовсе, а вот пыли, как это ни странно, нисколько не уменьшилось. Если уж мы здесь не загнемся, думал Андрей, тогда – жить нам вечно... Он шел сильно сощурившись, а потом закрыл глаза совсем. Стало немного легче. Так вот я и пойду, подумал он. А глаза буду открывать через каждые, скажем, двадцать шагов. Или через тридцать... Гляну – и дальше...

Из очень похожего белого камня был выложен подвал Башни. Только там было прохладно и полутемно, а вдоль стен стояли во множестве ящики толстого картона, набитые почему-то разным скобяным товаром. Здесь были гвозди, шурупы, болты любых размеров, банки с клеями и красками, бутылки с разноцветными лаками, столярный и слесарный инструмент, завернутые в промасленную бумагу шарикоподшипники... Съестного не нашлось ничего, но в углу из обреза ржавой трубы, торчащего в стене, текла и уходила под землю тонкая струйка холодной невероятно вкусной воды...

...Все в твоей системе хорошо, – сказал Андрей, в двадцатый раз подставляя кружку под струю. – Одно мне не нравится. Не люблю я,

когда людей делят на важных и неважных. Неправильно это. Гнусно. Стоит храм, а вокруг него быдло бессмысленное кишит. «Человек есть душонка, обремененная трупом!» Пусть даже оно на самом деле так и есть. Все равно это неправильно. Менять это надо к чертовой матери...

...А я разве говорю, что не надо? – вскинулся Изя. – Конечно, хорошо бы было этот порядочек переменить. Только как? До сих пор все попытки изменить это положение, сделать человеческое поле ровным, всех поставить на один уровень, чтобы было все правильно и справедливо, все эти попытки кончались уничтожением храма, чтобы не возвышался, да отрубанием торчащих над общим уровнем голов. И все. И над выровненным полем быстро-быстро, как раковая опухоль, начинала расти зловонная пирамида новой политической элиты, еще более омерзительной, чем старая... А других путей, знаешь ли, пока не придумано. Конечно, все эти эксцессы хода истории не меняли и храма полностью уничтожить не могли, но светлых голов было порублено предостаточно.

...Знаю, – сказал Андрей. – Все равно. Все равно мерзко. Всякая элита – это гнусно...

...Ну, извини! – возразил Изя. – Вот если бы ты сказал: «всякая элита, владеющая судьбами и жизнями других людей, – это гнусно», – вот тут я бы с тобой согласился. А элита в себе, элита для себя самой – кому она мешает? Она раздражает – до бешенства, до неистовства! – это другое дело, но ведь раздражать – это одна из ее функций... А полное равенство – это же болото, застой. Спасибо надо сказать матушке-природе, что такого быть не может – полного равенства... Ты меня пойми, Андрей, я ведь не предлагаю систему переустройства мира. Я такой системы не знаю, да и не верю, что она существует. Слишком много всяких систем было испробовано, а все осталось в общем по-прежнему... Я предлагаю всего только цель существования... тьфу, да и не предлагаю даже, запутал ты меня. Я открыл в себе и для себя эту цель – цель моего существования, понимаешь? Моего и мне подобных... Я ведь и говорю-то об этом только с тобой и только теперь, потому что мне жалко стало тебя – вижу, что созрел человек, сжег все, чему поклонялся, а чему теперь поклоняться – не знает. А ты ведь без поклонения не можешь, ты это с молоком матери всосал – необходимость поклонения чему-нибудь или кому-нибудь. Тебе же навсегда вдолбили в голову, что ежели нет идеи, за которую стоит умереть, то тогда и жить не стоит вовсе. А ведь такие как ты, добравшись до окончательного понимания, на страшные вещи способны. Либо он пустит себе пулю в лоб, либо подлецом сверхъестественным заделается – убежденным подлецом, принципиальным, бескорыстным подлецом,

понимаешь?.. Либо и того хуже: начнет мстить миру за то, что мир таков, каков он есть в действительности, а не согласуется с каким-нибудь там предначертанным идеалом... А идея храма, между прочим, хороша еще и тем, что умирать за нее просто-таки противопоказано. За нее жить надо. Каждый день жить, изо всех сил и на всю катушку...

...Да, наверное, – сказал Андрей. – Наверное, все это так и есть. И все-таки эта идея еще не моя!..

Андрей остановился и крепко взял Изю за рукав. Изя тотчас же открыл глаза и спросил испуганно:

– Что? Что такое?

– Помолчи, – сказал Андрей сквозь зубы.

Что-то там было впереди. Что-то двигалось – не крутилось столбом, не стелилось над самым камнем, а двигалось сквозь все это. Навстречу.

– Люди, – сказал Изя с восторгом. – Слушай, Андрюха, люди!

– Тихо, скотина, – шепотом сказал Андрей.

Он и сам уже понял, что это люди. Или человек... Нет, кажется, двое. Стоят. Наверное, тоже заметили... Опять ни черта не видно за проклятой пылью.

– Ну вот! – сказал Изя торжествующим шепотом. – А ты все сто-нал – подохнем...

Андрей осторожно сбросил лямки и попятился к своей коляске, не сводя глаз с неразборчивых теней впереди. Ч-черт, сколько их там все-таки? И сколько до них отсюда? Метров сто, что ли? Или меньше?.. Он ощупью нашарил в коляске автомат, оттянул затвор и сказал Изе:

– Сдвинь тележки, ложись за них. Прикроешь меня, если что...

Он сунул Изе автомат и, не оборачиваясь, медленно пошел вперед, положив руку на кобуру. Видно, было отвратительно. Пристрелит он меня, подумал он об Изе. Прямо в затылок засадит...

Теперь можно было различить, что один из тех тоже идет навстречу – смутный долговязый силуэт в крутящейся пыли. Есть у него оружие или нет? Вот тебе и Антигород. Кто бы мог подумать?.. Ох, не нравится мне, как он руку свою держит!.. Андрей осторожно расстегнул кобуру и взялся за рубчатую рукоятку. Большой палец сам лег на предохранитель. Ничего, все обойдется. Должно обойтись. Главное – не делать резких движений...

Он потянул пистолет из кобуры. Пистолет зацепился. Стало страшно. Он дернул сильнее, потом еще сильнее, потом изо всех сил. Он ясно увидел резкое движение того, что шел ему навстречу (рос-лый, ободранный, изможденный, до глаз заросший нечистой

бородой) ... Глупо, подумал он, нажимая спусковой крючок. Был выстрел, была вспышка встречного выстрела, был – кажется – крик Изя... И был удар в грудь, от которого разом погасло солнце...

– Ну, вот, Андрей, – произнес с некоторой торжественностью голос Наставника. – Первый круг вами пройден.

Лампа под зеленым стеклянным абажуром была включена, и на столе в круге света лежала свежая «Ленинградская правда» с большой передовой под названием: «Любовь ленинградцев к товарищу Сталину безгранична». Гудел и бормотал приемник на этажерке за спиной. Мама на кухне побрякивала посудой и разговаривала с соседкой. Пахло жареной рыбой. Во дворе-колодце за окном вопили и галдели ребятишки, шла игра в прятки. Через раскрытую форточку тянуло влажным оттепельным воздухом. Еще минуту назад все это было совсем не таким, как сейчас, – гораздо более обыденным и привычным. Оно было без будущего. Вернее – отдельно от будущего...

Андрей бесцельно разгладил газету и сказал:

– Первый? А почему – первый?

– Потому что их еще много впереди, – произнес голос Наставника.

Тогда Андрей, стараясь не смотреть в ту сторону, откуда доносился голос, поднялся и прислонился плечом к шкафу у окна. Черный колодец двора, слабо освещенный желтыми прямоугольниками окон, был под ним и над ним, а где-то далеко наверху, в совсем уже потемневшем небе горела Вега. Совершенно невозможно было покинуть все это снова, и совершенно – еще более! – невозможно было остаться среди всего этого. Теперь. После всего.

– Изя! «Изя!» – пронзительно прокричал женский голос в колодце. – Изя, иди уже ужинать!.. Дети, вы не видели Изю?

И детские голоса внизу закричали:

– Иська! Кацман! Иди, тебя matka зовет!..

Андрей, весь напрягшись, сунулся лицом к самому стеклу, всматриваясь в темноту. Но он увидел только неразборчивые тени, шныряющие по мокрому черному дну колодца между громоздящимися поленицами дров.

ХРОМАЯ СУДЬБА

1

В середине января, примерно в два часа пополудни, я сидел у окна и вместо того, чтобы заниматься сценарием, с отвращением прилебывал теплый "бжни" и размышлял о нескольких вещах сразу. За окном мело, машины боязливо ползли по шоссе, на обочинах громоздились сугробы, и смутно чернели за пеленой несущегося снега скопления голых деревьев и щетинистые пятна, и полосы кустарника на пустыре.

Москву заметало.

Москву заметало, как богом забытый полустанок где-нибудь под Актюбинском. Вот уже полчаса посередине шоссе буксовало такси, неосторожно попытавшееся здесь развернуться, и я представлял себе, сколько их буксует сейчас по всему огромному городу — такси, автобусов, грузовиков и даже черных блестящих лимузинов на шипованных шинах.

Мысли мои текли в несколько этажей, лениво и вяло перебивая друг друга. Думал я, например, о дворниках. О том, что до войны не было бульдозеров, не было этих звероподобных, ярко раскрашенных снегоочистителей, снегоотбрасывателей, снегозагребателей, а были дворники в фартуках, с метлами, с квадратными фанерными лопатами. В валенках. А снега на улицах, помнится, было не в пример меньше. Может быть, правда, стихии были тогда не те...

Еще думал я тогда о том, что в последнее время то и дело случаются со мною какие-то унылые, нелепые, подозрительные даже происшествия, словно тот, кому надлежит ведать моей судьбой, совсем одурел от скуки и принялся кудесить, но только дурак он, куда деваться? — и кудеса у него получаются дурацкие, такого свойства, что ни у кого, даже у самого шутника, никаких чувств не вызывают, кроме неловкости и стыда с поджиманием пальцев в ботинках.

И за всем этим не переставал я думать о том, что вот стоит рядом отодвинутая вправо моя пищащая машинка марки "типая" с заедающей от рождения буквой "э", и вставлена в нее незаконченная страница, а на странице читается:

"...Башни танков повернуты влево, они бьют из пушек по партизанским позициям, бьют методично, по очереди, чтобы не мешать друг другу пристреливаться. За башней переднего танка сидит на корточках Рудольф, командир танкистов, лейтенант СС. Он — мозг,

дирижер этого оркестра смерти, — жестами отдает команды идущим позади эсэсовским автоматчикам. Партизанские пули то и дело щелкают по броне, разбрызгивают грязь вокруг гусениц, вздымают столбики воды в темных лужах".

Отступ.

"Передовой секрет партизан, крошечный окопчик у берега болота. Двое партизан — старик и молодой — растерянно глядят на приближающиеся танки. Банг! Банг! Банг! — удары танковых пушек".

Мне пятьдесят шесть лет, но я никогда не был в партизанах, и под танковую атаку мне попасть тоже не довелось. А ведь, строго говоря, я должен был погибнуть на Курской дуге. Все наше училище погибло там, остались только: Рафка Резанов — без обеих ног, Вася Кузнецов из пулеметного батальона и я, минометчик.

Нас с Кузнецовым за неделю до выпуска откомандировали в Куйбышев. Видно тот, кому надлежало ведать моей судьбой, был тогда еще полон энтузиазма, и ему хотелось посмотреть, что из меня может получиться. И получилось, что всю свою молодость я провел в армии и всегда считал своей обязанностью писать об армии, об офицерах, о танковых атаках, хотя с годами все чаще мне приходило в голову: именно потому, что жив я остался по совершенной случайности, мне то как раз и не следовало бы обо всем этом писать.

Вот и об этом я подумал сейчас, глядя в окно на заматаемый Третий Рим, и я взял стакан и сделал лечебно-диетический глоток. Около буксующего такси засело теперь еще две машины, и бродили там, пригибаясь в метели, тоскливые фигуры с лопатами.

Я стал смотреть на полки с книгами.

Боже мой, внезапно подумал я, ощутив холод в сердце, ведь это же, конечно, последняя моя библиотека! Больше библиотек у меня не будет. Поздно. Это моя библиотека — пятая и теперь уже последняя.

От первой осталась у меня только одна книга, ныне сделавшаяся библиографической редкостью: П. В. Макаров. "Адъютант генерала Май-Маевского". По этой книге недавно отснят был телевизионный сериал, картина неплохая и даже хорошая, только вот с самой книгой она почти не соотносится. В книге все куда серьезней и основательней, хотя приключений и подвигов куда как меньше. Этот Павел Васильевич Макаров был, как видно, значительным человеком, и приятно читать на обороте титульного листа дарственную надпись, сделанную химическим карандашом: "Дорогому товарищу А. Сорокину. Пусть эта книга послужит памятью о живой фигуре адъютанта ген. Май-Маевского зам. командира Крымской Повстанческой. С искренним партизанским приветом П. В. Макаров. 6.IX.1927 года, г.

Ленинград". Могу себе представить, как дорожил, наверное, этой книгой отец мой, Александр Александрович Сорокин. Впрочем, ничего этого я не помню. И совершенно не помню, как книга ухитрилась уцелеть, когда дом наш в Ленинграде разбомбило и первая библиотека погибла вся.

От второй же библиотеки ничего не осталось вообще. Я собрал ее в Канске, где два года преподавал на курсах. По обстоятельствам выезд мой из Канска был стремительным и управлялся свыше — решительно и непреклонно. Упаковать книги мы с Кларой тогда успели, и даже успели их отправить малой скоростью в Иркутск, но мы-то с Кларой в Иркутске пробыли всего два дня, а через неделю были уже в Корсакове, а еще через неделю уже плыли на тральщике в Петропавловск, так что вторая библиотека моя так меня и не нашла.

До сих пор жалко, сил нет. Там у меня были четыре тома "Тарзана" на английском, которые я купил во время отпуска в букинистическом, что на Литейном в Ленинграде; "Машина времени" и сборник рассказов Уэллса из приложения ко "Все-мирному следопыту" с иллюстрациями Фитингофа; переплетенный комплект "Вокруг света" за 1927 год... Я страстно любил тогда чтение такого рода. А было еще во второй моей библиотеке несколько книг с совершенно особенной судьбой.

В пятьдесят втором году по вооруженным силам вышел приказ списать и уничтожить всю печатную продукцию идеологически вредного содержания. А в книгохранилище наших курсов свалена была трофейная библиотека, принадлежавшая, видимо, какому-то придворному маньчжурского императора Пу И. И конечно же, ни у кого не было ни желания, ни возможности разобраться, где среди тысяч томов на японском, китайском, корейском, английском и немецком языках, где в этой уже проплесневевшей гряде агнцы, а где козлища, и приказано было списать все целиком.

...Был разгар лета, и жара стояла, и корчились переплеты в жарких черно-красных кучах, и чумазые, как черти в аду, курсанты суетились, и летали над всем расположением невесомые клочья пепла, а по ночам, невзирая на строжайший запрет, мы, офицеры-преподаватели, пробирались к заготовленным назавтра штабелям, хищно бросались, хватали, что попадало под руку, и уносили домой. Мне досталась превосходная "История Японии" на английском языке, "История сыска в эпоху Мэйдзи"... а-а, все равно ни тогда, ни потом не было у меня времени все это толком прочитать.

Третью библиотеку я отдал Поронайскому дому культуры, когда в пятьдесят шестом году возвращался с Камчатки на материк.

И как это я тогда решился подать рапорт об увольнении? Ведь я был никто тогда, ничего решительно не умел, ничему не был обучен для гражданской жизни, с капризной женой и золотушной Катькой на шее... Нет, никогда бы я не рискнул, если бы хоть что-нибудь светило мне в армии. Но ничего не светило мне в армии, а ведь был я тогда молодой, честолюбивый, страшно мне было представить себя на годы и годы вперед все тем же лейтенантом, все тем же переводчиком.

Странно, что я никогда не пишу об этом времени. Это же материал, который интересен любому читателю. С руками бы оторвал это любой читатель, в особенности если писать в такой мужественной современной манере, которую я лично уже давно терпеть не могу, но которая почему-то всем очень нравится. Например:

"На палубе „Конъэй-мару“ было скользко и пахло испорченной рыбой и квашеной редькой. Стекла рубки были разбиты и заклеены бумагой...".

(Тут ценно как можно чаще повторять "были", "был", "было". Стекла были разбиты, морда были перекошена...)

"Валентин, придерживая на груди автомат, пролез в рубку. "Сэнтё, выходи", — строго сказал он. К нам вылез шкипер. Он был старый, сгорбленный, лицо у него было голое, под подбородком торчал редкий седой волос. На голове у него была косынка с красными иероглифами, на правой стороне синей куртки тоже были иероглифы, только белые. На ногах шкипера были теплые носки с большим пальцем. Шкипер подошел к нам, сложил руки перед грудью и поклонился. "Спроси его, знает ли он, что забрался в наши воды", — приказал майор. Я спросил. Шкипер ответил, что не знает. "Спроси его, знает ли он, что лов в пределах двенадцатимильной зоны запрещен", — приказал майор".

(Это тоже ценно: приказал, приказал, приказал...)

"Я спросил. Шкипер ответил, что знает, и губы его раздвинулись, обнажив редкие желтые зубы. "Скажи ему, что мы арестовываем судно и команду", — приказал майор. Я перевел. Шкипер часто закивал, а может быть, у него затряслась голова. Он снова сложил ладони перед грудью и заговорил быстро и неразборчиво. "Что он говорит?" — спросил майор. Насколько я понял, шкипер просил отпустить шхуну. Он говорил, что они не могут вернуться домой без рыбы, что все они умрут с голода. Он говорил на каком-то диалекте, вместо "ки" говорил "кси", вместе "пу" говорил "ту", понять его было очень трудно..."



Иногда мне кажется, что такое я мог бы писать километрами. Но скорее всего это не так. На километры можно тянуть лишь то, к чему вполне равнодушен.

Через неделю, когда мы расставались, шкипер подарил мне томик Кикикутикана и "Человек-тень" Эдогавы. Вон они стоят рядышком, Порунайскому дому культуры они были ни к чему. "Человек-тень" — первая японская книга, которую я прочитал от начала до конца. Нравится мне Хираи Таро, недаром он взял такой псевдоним: Эдогава Рампо — Эдгар Аллан По...

А четвертая библиотека осталась у Клары. И господь с ними обоими. Зря, ох, зря заезжаю я сейчас в эту область. Сколько раз давал я зарок даже мысленно не обращаться к тем, кто полагает себя мною униженными и оскорбленными. Я и так вечно кому-то что-то должен, не исполнил обещанного, подвел, разрушил чьи-то планы... и уж не потому ли, что вообразил себя великим писателем, которому все дозволено?

И стоило мне вспомнить об этом моем неизбывном окаянстве, как тут же зазвонил телефон, и председатель наш Федор Михеич с легко различимым раздражением в голосе осведомился у меня, когда я, наконец, намерен съездить на Банную.

- Что за разгильдяйство, Феликс Александрович, говорил он мне. В четвертый раз я тебе звоню, говорил он, а тебе все как об стенку горох. Ведь не гоняют же тебя, бума-гомараку, говорил он, на овощехранилище свеклу гнилую перебирать. Ученых, докторов наук гоняют, говорил он, а тебя всего-навсего-то просят, что съездить на Банную, отвезти десять страничек на машинке, которые рук тебе не оторвут. И не для развлечения это делается, говорил он мне, не по чьей-то глупой воле, сам же ты голосовал за то, чтобы помочь ученым, лингвистам этим, кибернетикам-математикам... не исполнил... подвел... разрушил... вообразил себе...

Что оставалось мне делать? Я снова пообещал, что съезжу, сегодня же съезжу, и с лязгом и дребезгом гневно-укоризненным швырнули трубку на том конце провода. А я торопливо вылил из бутылки остатки воды в стакан и выпил, чтобы успокоиться, подумав с отчаянной отчетливостью, что не воды этой паршивой надо было бы мне сейчас, а коньяку. Или, еще лучше, пшеничной водки.

Дело же было в том, что еще прошлой осенью наш секретариат решил удовлетворить просьбу некоего Института лингвистических, кажется, исследований, чтобы все московские писатели представили в Институт этот по несколько страничек своих рукописей на предмет специальных изысканий, что-то там насчет теории информации, языковой какой-то энтропии. Никто у нас этого толком не понял, кроме разве Гарика Аганяна, который, говорят, понял, но втолковать все равно никому из нас не сумел. Поняли мы только, что требуется этому

Институту как можно больше писателей, а все остальное было неважно: сколько страниц — неважно; какие именно страницы и чего — тоже неважно; требуется только сходить к ним на Банную в любой рабочий день, прием с девяти до пяти. Возражений ни у кого тогда не оказалось, многие, наоборот, были даже польщены возможностью поучаствовать в научно-техническом прогрессе, так что, по слухам, первое время на Банной были даже очереди и даже со скандалами. А потом все как-то сошло на нет, забылось как-то, и теперь вот бедняга Федор Михеевич раз в месяц, а то и чаще, теребит нас, нерадивых, срамит и поносит по телефону и при личных встречах.

Конечно, ничего нет хорошего лежать бревном на пути научно-технического прогресса, а с другой стороны — ну, люди ведь мы, человеки: то я оказываюсь на Банной и вспоминаю же, что надо бы зайти, но нет у меня с собой рукописи; то уже и рукопись, бывало, под мышкой, и направляюсь я именно на Банную, а оказываюсь стран-ным образом каким-то не на Банной, а, наоборот, в Клубе. Я объясняю все эти загадочные девиации тем, что невозможно относиться к этой затее, как и ко множеству иных затей нашего секретариата, с необходимой серьезностью. Ну, какая, в самом деле, может быть у нас на Москве-реке языковая энтропия? А главное, причем здесь я?

Однако же податься некуда, и я принялся искать папку, в которую, помнится, сложил черновики на позапрошлой неделе. Нигде на поверхности папки не было, и тут я вспомнил, что тогда намеревался зайти на Банную из "Зарубежного инвалида", куда отправился с Кап Капычем к Нос Носычу ругаться из-за статьи. Но на Обратном пути из "Инвалида" мы на Банную не попали, а попали мы все в ресторан "Псков". Так что искать теперь эту папку мне, пожалуй, смысла не было.

Но, слава богу, недостатка в черновиках я уже давно не испытываю. Кряхтя, я поднялся с кресла, подошел к "стенке", к самой дальней секции, и кряхтя, уселся рядом с нею прямо на пол. Ах, как много движений я могу теперь совершать, только натужно кряхтя, — как движений телесных, так и движений духовных.

(Кряхтя, мы встаем ото сна. Кряхтя, обновляем покровы. Кряхтя, устремляемся мыслью. Кряхтя, мы услышим шаги стихии огня, но будем уже готовы управлять волнами пламени. Кряхтя. "Упанишады", кажется. А может быть, и не совсем "Упанишады". Или не "Упанишады" вовсе.)

Кряхтя, я откинул створку цокольного шкафчика, и на колени мне повалились папки, общие тетради в разноцветных клеенчатых обложках, пожелтевшие, густо исписанные листочки, скрепленные

ржавыми скрепками. Я взял первую попавшуюся папку — с обломанными от ветхости углами, с одной только грязной тесемкой, с многочисленными полустертými надписями на обложке, из которых разобрать можно было лишь какой-то старинный телефон, шестизначный, с буквой, да еще строчку иероглифов зелеными чернилами: "Сэйнэн дзидайно саку" — "Творения юношеских лет". В эту папку я не заглядывал лет пятнадцать. Здесь все было очень старое, времен Камчатки и даже раньше, времен Канска, Казани — выдирки из тетрадей в линейку, самодельные тетради, сшитые суровой ниткой, отдельные листки шершавой желтоватой бумаги, то ли оберточной, то ли просто дряхлой до невозможности, и все исписано от руки, ни единой строчки, ни единой буквы на машинке.

"Угрюмый негр вывез из кабинета кресло с человеческой развалиной. Шеф плотно закрыл за ним дверь..."

Какой негр? Что за развалина? Ничего не помню.

"Кстати, вы не заметили, были ли среди большевиков китайцы? — спросил вдруг шеф.

— Китайцы? М-м-м... Кажется, были. Китайцы или корейцы, или монголы. В общем, желтые..."

Да-да-да-да-да! Вспоминаю! Это был у меня такой политический памфлет... Нет. Ничего не помню.

"Крепость пала, но гарнизон победил".

Так.

"Видю тя! Видю тя!" — взревел Кроличьи Яйца, обнаружив видимого противника... И новый выстрел из тьмы наверху..."

А-а-а, это же из Киплинга... "Сталки и компания". Тысяча девятьсот пятьдесят третий год. Камчатка. Я сижу себе и читаю Киплинга, потому что за отсутствием видимого противника делать мне больше нечего.

"Кроличьи Яйца" — "Rabbits' Eggs". И нечего тут скалить зубы, ребята. Если бы Киплинг имел в виду, то же, что и вы, он бы написал "Rabbits' Balls". Да, помучился я, помнится, с этим переводом, но школа для меня получилась отменная, нет лучше школы для переводчика, нежели талантливое произведение, описывающее совершенно незнакомый мир, конкретно локализованный в пространстве и времени...

А вот и "Случай в карауле". Тоже пятьдесят третий год и тоже Камчатка.

"Позже Беркутов, часовой у входа в караульное помещение, никак не мог вспомнить, что впервые заставило его насторожиться и крепче сжать оружие, напряженно вслушиваясь в невнятные шорохи теплой

июльской ночи. Просто к шелесту листвы, шуму собственных шагов, сонному скрипу ветвей примешалось..." ну, и так далее. Коротко говоря, под покровом ночи подкрались к часовому, напали на него, и он, не в силах отбиться, вызвал огонь на себя.

Был я тогда по литературным воззрениям моим великим моралистом, причем не просто моралистом, но вдохновенным певцом воинского регламента. А потому, товарищи солдаты, главным в данном конкретном "Случае в карауле" было вот что:

"Как могло случиться, что Линько, так хорошо знавший уставы, допустил грубейшее нарушение устава гарнизонной и караульной служб? А ты, Беркутов? Разве ты не оказался ротозеем, не заметив, куда ушел Симаков? И мы все — как мы не заметили, что Симакова не оказалось с нами, когда караул был поднят в ружье?"

Странно все это перечитывать сегодня! Но до чего же хотелось увидеть свое имя напечатанным, почувствовать себя писателем, выставить напоказ клеймо любимца муз и Аполлона! И какое же это было горькое разочарование, когда "Суворовский натиск", дай бог ему здоровья, завернул мне мою рукопись под вежливым предлогом, что "Случай в карауле" не является типичным для нашей армии! Святые слова. За свою жизнь я простоял на караулах часов двести, и только однажды к шелесту листвы, шуму собственных шагов и в особенности к сонному скрипу ветвей примешались посторонние звуки, а именно: в кромешной тьме кто-то напористо и страшно пер через ограждение из колючей проволоки, никак не реагируя на мои отчаянные вопли: "Стой! Стой, кто идет? Стой, стрелять буду!". Подоспевшее на выстрелы караульное начальство обнаружило запутавшегося в колючей проволоке убитого наповал козла. Сгоряча мне обещана была гауптвахта, но потом все обошлось...

Нет, не отдам я им мой "Случай в карауле" на препарирование. Пусть лежит. И снова подумал я, какая это все-таки дурацкая затея с языковой энтропией, если им все равно, что анализировать: "Случай в карауле" или про кресло с человеческой развалиной.

Я отложил "Творения юношеских лет" в сторону и взял другую папку, уже вполне современного вида, с хорошо сохранившимися, тщательно завязанными красными тесемками. На обложку наклеен был белый ярлык, а на ярлыке значилось: "Отрывки, неопубликованное, сюжеты, планы".

Я раскрыл папку и сразу же наткнулся на рассказ "Нарцисс", написанный в пятьдесят седьмом году. Этот рассказ я помню очень хорошо. Действующие лица там такие: доктор Лобс, Шуа дю-Гюрзель, граф Денкер, баронесса Люст... Упоминаются: Карт эс-Шануа,

"полновесный идиот, ставший импотентом в шестнадцать лет", а также Стелла Буа-Косю, родная тетка графа Денкера, садистка и лесбиянка. А соль этого рассказа в том, что упомянутый Шуа дю-Гюрзель, аристократ и гипнотизер необычайной силы, налетел на свое отражение в зеркале, когда "взгляд его был полон желаний, мольбы, властного и нежного повеления, призыва к покорности и любви".

Ай-яй-яй-яй-ян, какое манерное, похабное, салонное, махровое пшено! И подумать только, ведь проросло оно из того же кусочка души моей, что и мои "Современные сказки" полтора десятка лет спустя, из того же самого кусочка души, из которого растет сейчас моя Синяя Папка...

Нет, не дам я им моего "Нарцисса". Во-первых, потому что всего один экземпляр. А во-вторых, совершенно никому не нужно знать, что Сорокин Феликс Александрович, автор романа "Товарищи офицеры!" и пьесы "Равнение на середину!", не говоря уже о сценариях и армейских очерках, пишет еще, оказывается, всякие фантазмагии.

А дам я им вот что. Пятьдесят восьмой год. "Корягины". Пьеса в трех действиях. Действующие лица: Сергей Иванович Корягин, ученый, около шестидесяти лет; Ирина Петровна, его жена, сорок пять лет; Николай Сергеевич Корягин, его сын от первого брака, демобилизованный офицер, около тридцати лет. И еще семь действующих лиц — студенты, художники, слушатели военной академии. Действие происходит в Москве, в наши дни.

АНЯ: Слушай, можно задать тебе один вопрос?

НИКОЛАЙ: Попробуй.

АНЯ: А ты не обидишься?

НИКОЛАЙ: Смотря... Нет, не обижусь. Насчет жены?

АНЯ: Да. Почему ты с ней развелся?

Очень хорошо. Антон Павлович. Константин Сергеевич. Владимир Иванович. Главное, не закончено и никогда закончено не будет. Вот это мы им и отдадим.

Отложив за спину рукопись, я принялся запихивать и уминать в шкафчик все остальное, и тут в руку мне попала общая тетрадь в липком коричневом переплете, разбухшая от торчащих из нее посторонних листков. Я даже засмеялся от радости и сказал ей: "Вот где ты, голубушка!", потому что это была тетрадь заветная, драго-ценная, потому что это был мой рабочий дневник, который я потерял в прошлом году, когда в последний раз наводил порядок в своих бумагах.

Тетрадь сама раскрылась у меня в руках, и обнаружился в ней мой заветный цанговый карандаш из Чехословакии, карандаш не простой, а счастливый; все сюжеты надлежало записывать только этим

карандашом, и никаким иным, хотя, признаться, он был довольно неудобен, потому что корпус у него лопнул в двух местах, и грифель при неосторожном движении проваливался внутрь.

Я уже, оказывается, и забыл совсем, что начиналась эта тетрадка тридцатого марта, почти ровно одиннадцать лет назад. Я писал тогда повесть "Железная семья" — о современных, мирных, так сказать, танкистах. Писалась она трудно, кровью и сукровицей она писалась, эта повесть. Помнится, я несколько раз выезжал в части по командировкам, правое ухо обморозил, и все равно толку никакого не получилось. Повесть отклонили. Спасибо, хоть аванс не отобрали.

Я листал страницы с однообразными записями:

2.04. Сдел. 5 стр. Вечером 2 стр. Всего 135 стр.

3.04. Сдел. 4 стр. Вечер. 1 стр. Всего 140...

Это у меня верный признак: если никаких записей, кроме статистических, не ведется, значит, работа идет либо очень хорошо, либо на пропась. Впрочем, 7.04 стран-ная запись: "Писал жалобу в правительство сенат". А 3.05: "Ничто так не взрослит, как предательство".

А вот и этот день, когда начал я придумывать современные сказки.

21 мая 72 года. "История про новосела-рабочего. У него работают циклевщик, грузчик, водопроводчик, все кандидаты наук. И все застревают в квартире. Циклевщик защебил палец в паркете, грузчика задвинули шкафом, водопроводчик хлебнул вместо спирта эликсиру и стал невидимым. И еще домовый. И строитель, замурованный в вентиляционной шахте. И приходит Катя".

Это еще не "Современные сказки", до "Современных сказок" было тогда еще далеко. Справиться мне с этим сюжетом так и не удалось, и сейчас я даже не помню: какой новосел? почему домовый? что за эликсир?

Или вот еще сюжет того времени.

28.10.72. "Человек (фокусник), которого все принимали за пришельца из Космоса". В те поры все вокруг словно бы с ума сошли по поводу летающих тарелок. Только об этом и разговоров: братья по разуму, Баальбекская веранда, Тассильские рисунки. И вот тогда мне придумалось: живет себе человек, ни о чем таком не думает, по профессии фокусник, причем фокусник очень хороший. И замечает он вдруг некое беспокоящее к себе внимание. Соседи по лестничной площадке странно с ним заговаривают, участковый заходит, интересуется реквизитом и туманно рассуждает насчет закона сохранения энергии. "Это исчезающее яйцо, — говорит он, — не согласуется у вас, гражданин, с современными представлениями о законах

сохранения". Наконец, вызывают его в отдел кадров, а там у кадровика сидит какой-то гражданин, вроде бы даже знакомый, но с одним глазом. И кадровик принимается моего героя расспрашивать, сколько церквей в его родном Забубенске, да кому там памятник стоит на главной площади, да не помнит ли он, сколько на фасаде горсовета окон. А герой, разумеется, ничего этого не помнит, и атмосфера подозрительности все сгущается, и вот уже заводятся вокруг него разговоры о принудительном медосмотре... Чем должна была кончиться вся эта история, я придумать так и не сумел: охладел. И теперь очень жалко мне, что охладел.

Второго ноября записано: "Не работал, страдаю брюхом", а третьего — короткая запись: "Вполсвиста".

Степлой грустью листал я свой рабочий дневник страницу за страницей.

"Человек — это душонка, обремененная трупом. Эпиктет".

"Против кого дружите?"

"Ректальная литература".

"Только те науки распространяют свет, кои способствуют выполнению началь-ственных предписаний. Салтыков-Щедрин".

"Гнал спирт из ногтей алкоголиков".

А это опять для современных сказок:

"Кот Элегант. Пес по фамилии Верный, он же Верка. Мальчик-вундеркинд, почитывает "Кубические формы" Ю. Манина, очкарик; когда моет посуду, любит петь Высоцкого. Двенадцать лет в восьмеричной системе исчисления. Цитирует труды Иллича-Свитыча. Кот по утрам, вернувшись со спевки, стирает перчатки. Пса учат за едой не сопеть, не чавкать и пользоваться ножом и вилкой. Он демонстративно уходит из-за стола и шумно, с обидой, грызет кость под крыльцом. Кот Элегант о каком-то госте: "Этот Петровский-Зеликович совершенно похож на бульдога Рамзеса, которому я нынешней весной в кровь изодрал морду за хамское приставание".

Еще фразы:

"Путал сентименталов с симменталами".

"Мария Павловна за Островским шубу шестнадцать лет носила, я у нее перекупила, стала чистить — три воши нашла, одна старая, еще по-аглицки говорит..."

Я запищал оставшиеся папки и бумаги в шкафчик и перебрался за стол. Это находит на меня иногда: беру старые свои рукописи или старые дневники, и начинает мне казаться, что вот это все и есть моя настоящая жизнь — исчерканные листочки, чертежи какие-то, на которых я изображал, кто где стоит и куда смотрит, обрывки фраз,

заявки на сценарии, черновики писем в инстанции, детальнейше разработанные планы произведений, которые никогда не будут созданы, и однообразно сухие: "Сделано 5 стр. Вечер, сдел. 3 стр." А жены, дети, комиссии, семинары, командировки, осетринка по-московски, друзья-трепачи и друзья-молчуны — все это сон, фатаморгана, мираж в сухой пустыне, то ли было это у меня, то ли нет.

И вот сюжет хороший. Точной даты почему-то нет, начало семьдесят третьего года.

...Курортный городишко в горах. И недалеко от города пещера. И в ней — кап-кап-кап — падает в каменное углубление Живая Вода. За год набирается всего одна пробирка. Только пять человек в мире знают об этом. Пока они пьют эту воду (по наперстку в год), они бессмертны. Но случайно узнает об этом шестой. А Живой Воды хватает только на пятерых. А шестой этот — брат пятого и школьный друг четвертого. А третий, женщина Катя, жарко влюблена в четвертого и ненавидит за подлость второго. Клубочек. А шестой, вдобавок, великий альтруист и ни себя не считает достойным бессмертия, ни остальных пятерых...

Помнится, я не написал эту повесть потому, что запутался. Слишком сложной получалась система отношений, она перестала помещаться у меня в воображении. А получиться могло бы очень остро: и слезка за шестым, и угрозы, и покушения, и все на этакой философско-психологической закваске, и прекращался в конце мой альтруист-пацифист в такого лютого зверя, что любо-дорого смотреть, и ведь все от принципов своих, все от возвышенных своих намерений.

В ту минуту, когда я читал наброски по этому сюжету, раздался в передней звонок. Я даже вздрогнул, но тут же мною овладело радостное предчувствие. Теряя и подхватывая на ходу тапочки, я устремился в переднюю и открыл дверь. Так и есть, явилась она, волшебница моя добрая, долгожданная, румяная с метели, запорошенная снегом. Клавоочка. Вошла, блестя зубками, поздоровалась и прямо направилась на кухню, а я уже бежал, теряя тапочки, за паспортом, и получилось мне сто девяносто шесть рублей прописью и одиннадцать копеек цифрами из Литконсультации за рецензии на бездарный ихний самотек. Как всегда, вернул я Клавоочке рубль, как всегда, она сперва отказывалась, а потом, как всегда, приняла с благодарностью, и, как всегда, провожая ее, я сказал ей: "Приходите, Клавоочка, почаще", а она ответила: "А вы пишите побольше".

Кроме денег, оставила Клавоочка на кухонном столе длинный, пестрый от наклеек и марок, с красно-бело-синим бордюром авиапочты конверт. Писали из Японии. "Господину Феликсу

Александровичу Сорокину". Я взял ножницы, срезал край конверта и извлек два листка тонкой рисовой бумаги. Писал мне некто Рю Таками, и писал по-русски.

"Токио, 25 декабря 1981 года. Многоуважаемый господин Ф. А. Сорокин! Если вы помните меня, мы познакомились весной 1975 года в Москве. Я был в японской делегации писателей, вы сидели рядом и любезно подарили мне вашу книгу "Современные сказки". Книга очень мне понравилась сразу. Я неоднократно обращал в наше издательство "Хаякава" и журнал "Эс-Эф магадзин", но наши издатели консервативны. Однако теперь благодаря тому, что Ваша книга пользуется успехом в США, наконец наше издательство стали обращать внимание на Вашу книгу и, по-видимому, имеют намерение издать Вашу книгу. Это значит, что наша издательская культура находится под сильным влиянием американской и это — наша действительность. А как бы ни то было, то новое направление в нашем издательском мире так радостно и для Вас, и для меня. По плану моей работы я кончаю перевод Вашей книги в феврале будущего года. Но, к сожалению, я не понимаю некоторых слов и выражений (Вы найдете их в приложении). Я хотел бы просить Вас помочь. В началах каждой сказки процитированы фразы из произведения разных писателей. Если ничто вам не мешает, прошу Вас сообщить мне, в каких названиях и в каких местах в них я смогу найти их. Я хочу познакомить Вас и Вашу литературную деятельность с нашими читателями как можно подробнее, но, к сожалению, у меня теперь совсем нет последних новостей о них. Я был бы очень рад, если Вы сообщили мне теперешнее положение Вашей работы и жизни и послали Ваши фотографии. И я желаю читать статьи и критики о Вашей литературе и узнать, где (в каких журналах, газетах и книгах) я смогу найти их. Мне хотелось бы просить вас оказать мне многие помощи, которые я просил выше. Заранее благодарю Вас за помощь. С искренним уважением (подпись иероглифами)".

Я прочитал это письмо дважды и через некоторое время поймал себя на том, что благосклонно улыбаюсь, подкручивая себе усы обеими руками. Честно говоря, я совершенно не помнил этого японца и тем не менее испытывал к нему сейчас чувство живой симпатии и даже, пожалуй, благодарности. Вот и до Японии добрались мои сказки. Так сказать, боку-но отогибанаси-ва Ниппон-мадэ-мо ятто итада-кимастья...

Разнообразные чувства обуревали меня — вплоть до восхищения самим собою. И в волнах этих чувств я без труда различал ледяную струю жестокого злорадства. Я снова вспоминал иронические

улыбочки и недоуменные риторические вопросы в критических обзорах, и пьяные подначки, и грубовато-дружественные: "Ты что же это, старик, а? Совсем уже, а?". Теперь это, конечно, дела прошлые, но я, оказывается, ничего не забыл. И никого не забыл. А еще тут же вспомнилось мне, что когда выступаю я в Домах культуры или на предприятиях, так если меня в зале кто-нибудь и знает, то не как автора "Товарищей офицеров" и уж, конечно, не как автора многочисленных моих армейских очерков, а именно как сочинителя "Современных сказок". И неоднократно мне даже присылали записки: "Не родственник ли Вы Сорокина, написавшего "Современные сказки"?"

Я вспомнил о втором листке из конверта и, развернув, бегло его проглядел. Сначала недоумения Рю Таками позабавили меня, но не прошло и несколько минут, как я понял, что ничего особенно забавного мне не предстоит.

А предстоит мне объяснить, да еще в письменном виде, да еще японцу, что означают такие, например, выражения: "хватить шилом патоки", "цвести как майская роза", "иметь попсовый вид", "полные штаны удовольствия", "начистить ряшку" и "залить zenки"... Но все это было еще полбеды, и не так уж, в конце концов, трудно было объяснить японцу, что "банан" на жаргоне школьников означает "двойку как отметку, в скобках, оценку", а "забойный" означает всего-навсего "сногшибательный" в смысле "великолепный". А вот как быть с выражением "фиг тебе"? Во-первых, фигу, она же дуля, она же кукиш, надлежало самым решительным образом отмежевать от плодов фигового дерева, дабы не подумал Таками, что слова "фиг тебе" означают "подношу тебе в подарок спелую, сладкую фигу". А во-вторых, фигу, она же дуля, она же кукиш, означает для японца нечто иное, нежели для европейца или, по крайней мере, для русского. Этой несложной фигурой из трех пальцев в Японии когда-то пользовались уличные дамы, выражая готовность обслужить клиента...

Я и сам не заметил, как эта работа увлекла меня.

Вообще говоря, я не люблю писать писем и положил себе за правило отвечать только на те письма, которые содержат вопросы. Письмо же Рю Таками содержало не просто вопросы, оно содержало вопросы деловые, причем по делу, в котором я сам был заинтересован. Поэтому я встал из-за стола только тогда, когда закончил ответ, перепечатавал его (выдернув из машинки незаконченную страницу сценария), вложил и заклеил в конверт и надписал адрес.

Теперь у меня было, по крайней мере, два повода выйти из дому. Я оделся, кряхтя, натянул на ноги башмаки на "молниях", сунул в

нагрудный карман пятьдесят рублей, и тут раздался телефонный звонок.

Сколько раз я твердил себе: не бери трубку, когда собираешься из дому и уже одет. Но ведь это же Рита могла вернуться из командировки, как же мне было не взять трубку? И я взял трубку, и сейчас же раскаялся, ибо звонила никакая не Рита, а звонил Леня Баринов, по прозвищу Шибзд.

У меня есть несколько приятелей, которые специализируются по таким вот несвоевременным телефонным звонкам. Например, Слава Крутойярский звонит мне исключительно в те моменты, когда я ем суп — не обязательно, впрочем, суп. Это может быть борщ или, скажем, солянка. Тут главное, чтобы половина тарелки была уже мною съедена, а оставшаяся половина как следует остыла во время телефонной беседы. Гарик Аганян выбирает время, когда я сижу в сортире и притом ожидаю важного звонка. Что же касается Лени Баринова, то его специальность — звонить либо когда я собираюсь выйти и уже одет, либо когда собираюсь принять душ и уже раздет, а паче всего — рано утром, часов в семь, позвонить и низким подпольным голосом отрывисто спросить: "Как дела?".

Леня Баринов, по прозвищу Шибзд, спросил меня низким подпольным голосом:

— Как дела?

— Собираюсь уходить, — сказал я сухо, но это был неверный ход.

— Куда? — сейчас же осведомился Леня.

— Леня, — сказал я теперь уже просительно. — Может быть, потом созвонимся? Или ты по делу?

Да, Леня звонил по делу. И дело у него было вот какое. До Лени дошел слух (до него всегда доходят слухи), будто всех писателей, которые не имели публикаций в течение последних двух лет, будут исключать. Я ничего не слышал по этому поводу? Нет, точно ничего не слышал? Может быть, слышал, но не обратил внимания? Ведь я никогда не обращаю внимания и потому всегда тащусь в хвосте событий... А может, исключать не будут, а будут отбирать пропуск в Клуб? Как я думаю?

Я сказал, как я думаю.

— Ну, не груби, не груби, — примирительно попросил Леня, — Ладно. А куда ты идешь?

Я рассказал, что иду отправить заказное письмо, а потом на Банную. Лене все это было неинтересно.

— А потом куда? — спросил он.

Я сказал, что потом, наверное, зайду в Клуб.

— А зачем тебе сегодня в Клуб?

Я сказал, закипая, что у меня в Клубе дело: мне там надо дров наколоть и продуть паровое отопление.

— Опять грубишь, — произнес Леня грустно. — Что вы все такие грубые? Кому ни позвонишь — хам. Ну, не хочешь по телефону говорить — не надо. В Клубе расска-жешь. Только учти, денег у меня нет...

Потом я повесил трубку и посмотрел в окно. Уже совсем смерклось, впору было зажигать лампу. Я сидел у стола в пальто и в шапке, в тяжелых своих, жарких ботинках. И идти мне теперь уже никуда не хотелось совсем. Собственно, письмо в Японию можно послать и не заказным, ничего с ним не сделается, наляпаю побольше марок и брошу в ящик. И Банная подождет, с нею тоже ничего не сделается до завтра... Ты посмотри, какая вьюга разыгралась, вовсе ничего не видно. Дом напротив — и того не видно, только слабо светятся мутные желтые огоньки. Но ведь сидеть вот так просто, всухомятку, с двумя сотнями рублей — тоже глупо и даже расточительно. А сбегаю-ка я вниз, благо, все равно одет.

И я сбежал вниз, в нашу кондитерскую. В нашу странную кондитерскую, где слева цветут на прилавке кремовые розы тортов, а справа призывно поблескивают ряды бутылок с горячительными напитками. Где слева толпятся старушки, дамы и дети, а справа чинной очередью стоят вперемежку солидные портфеленосцы-кейсовладельцы и зверообразные, возбужденно-говорливые от приятных предвкушений братья по разуму. Где справа мне давно уже не нужно было ничегошеньки, а слева я взял полдюжины "александровских" и двести грамм "ойла союзного", каковое, да будет вам известно, "представляет собой однородную белую конфетную массу, состоящую из двух или нескольких слоев прямоугольной формы, украшенную черносливом, изюмом и цукатами".

И поднимаясь в лифте к себе на шестнадцатый этаж, прижимая нежно к боку пакет со сладостями, вытирая свободной ладонью с лица растаявший снег, я уже знал, как я проведу этот вечер. То ли пурга, из которой я только что выскочил, слепая, слепящая, съевшая остатки дня пурга была тому причиной, то ли приятные предвкушения, кото-рых я, как и все мои братья и сестры по разуму, не чужд, но мне стало ясно совершен-но: раз уж суждено мне закончить этот день дома и раз уж Рита моя все не возвращается, то не стану я звонить ни Гоге Чачуа, ни Славке Крутоярскому, а закончу я этот день по-особенному — наедине с самим собой, но не с тем, кого знают по комиссиям, семинарам, редакциям и Клубу, а с тем, кого не знают нигде.

Мы с ним сейчас очистим стол на кухне, поставим чайник, расположим на плетеных салфетках алюминиевую формочку с заливным мясом от гостиницы "Прогресс", блюдец с пирожными и Ритину вазочку с "ойлом союзным", мы включим по всей квартире свет — пусть будет светло! — и перетащим из кабинета торшер, мы с ним откроем единственный ящик стола, запираемый на ключ, достанем Синюю Папку и, когда настанет момент, развяжем зеленые тесемки.

Пока я отряхивался от снега, пока переодевался в домашнее, пока осуществлял свою нехитрую предварительную программу, я неотрывно думал, как поступить с телефоном. Выяснилось вдруг, что именно нынче вечером мне могли позвонить, более того — должны были позвонить многие и многие, в том числе и нужные. Но, с другой стороны, я ведь не вспомнил об этом, когда всего полчаса назад намеревался провести вечер в Клубе, а если и вспомнил бы, то не посчитал бы эти звонки за достаточно нужные. И в самый разгар этих внутренних борений рука моя сама собой протянулась и выключила телефон.

И сразу стало сугубо уютно и тихо в доме, хотя по-прежнему бренчало за стеной неумелое пианино, и доносилось через отдушину в потолке кряканье и бормотанье магнитофонного барда.

И вот момент настал, но я не торопился, а некоторое время еще смотрел, как бьет в оконное стекло с сухим шелестом из черноты сорвавшаяся с цепи вьюга. А жалко, право же, что там у меня не бывает вьюг. А впрочем, мало ли чего там не бывает. Зато там есть многое из того, чего не бывает здесь.

Я неторопливо развязал тесемки и откинул крышку папки. Мельком я и скорбно, и радостно подумал, что не часто позволяю себе это, да и сегодня бы не позволил, если бы не... что? Вьюга? Леня Шибзд?

Титула на титульном листе у меня не было. Был эпиграф: "...Знаю дела твои и труд твой, и терпенье твое и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы...". И бы-ла наклеена на титульный лист дрянная фоторепродукция: под нависшими ночными тучами замерший от ужаса город на холме, а вокруг города и вокруг холма обвился исполинский спящий змей с мокро отсвечивающей гладкой кожей.

Но не эту картинку, знакомую многим и многим, я сейчас видел перед собой, а видел я сейчас то, чего не видел, кроме меня, и видеть не мог никто во всем белом свете. Во всей Вселенной никто. Откинувшись на спинку дивана, впившись руками в край стола, я наблюдал, как на своем обычном месте, всегда на одном и том же месте, медленно разгорается малиновый диск. Сначала диск дрожит, словно

пульсируя, становится все ярче и ярче, наливается оранжевым, желтым, белым светом, потом угасает на мгновение и тотчас же вспыхивает во всю силу, так что смотреть на него становится не-возможно. Начинается новый день. Непроглядно черное беззвездное небо делается мутно-голубым, знойным, веет жарким, как из пустыни, ветром, и возникает вокруг как бы из ничего Город — яркий, пестрый, исполосованный синеватыми тенями, огромный, широкий — этажи громоздятся над этажами, здания громоздятся над зданиями, и ни одно здание не похоже на другое, они все здесь разные, все... И становится видна справа раскаленная Желтая Стена, уходящая в самое небо, в невероятную, непроглядную высь, изборожденная трещинами, обросшая рыжими мочалами лишаяев и кустарников... А слева, в пролетах над крышами, возникает голубая пустота, как будто там море, но никакого моря там нет, там обрыв, неоглядно сине-зеленая пустота, сине-зеленое ничто, пропасть, уходящая в непроглядную глубину.

Бесконечная пустота слева и бесконечная твердь справа, понять эти две бесконечности не представляется никакой возможности. Можно только привыкнуть к ним. И они привыкают — люди, которыми я населил этот город на узком, всего в пять верст уступе между двумя бесконечностями. Они попадают сюда по доброй воле, эти люди, хотя и по разным причинам. Они попадают сюда из самых разных времен и еще более разных обстоятельств, их приглашают в Город называющие себя Наставниками для участия в некоем Эксперименте, ни смысла, ни задач которого никто не знает и знать не должен, ибо Эксперимент есть Эксперимент, и знание его смысла и целей неизбежно отразилось бы на его результате... У меня их миллион в моем Городе — беглецов, энтузиастов, фанатиков, разочарованных, равнодушных, авантюристов, дураков, сумасшедших, целые сонмища чиновников, вояк, фермеров, бандитов, проституток, добропорядочных буржуа, работяг, полицейских, и неописуемое наслаждение доставляет мне управлять их судьбами, приводить их в столкновение друг с другом и с мрачными чудесами Эксперимента. Я, наверное, никогда не закончу эту вещь, но я буду ее писать, пока не впаду в маразм, а может быть, и после этого. Клянешься ли ты и далее писать и приду-мывать про Город до тех пор, пока не впадешь в полный маразм, а может быть и далее? А куда мне деваться? Конечно, клянусь, сказал я и раскрыл рукопись.

С вечера я не принял сустан, и поэтому с утра чувствовал себя очень вялым, апатичным и непрерывно преодолевал себя: умывался через силу, одевался через силу, прибирался, завтракал... И пока я все это делал, боже мой, думал я, как это все-таки хорошо, что нет надо мной Клары и что я вообще один!

Позвонила Катька, и опять пришлось мне врать и оправдываться, потому что насчет постройке ей шубы в нашем ателье я опять ничего не предпринял. Впрочем, звонила Катька вовсе не насчет шубы: оказалось, что она намерена зайти ко мне сегодня или завтра вечером и принести мой продуктовый заказ. Только и всего. Мы повесили трубки, и я на радостях ссыпал в чашку последние остатки бразильского кофе, которые хранил для особо торжественного случая.

А за окном погода сделалась чудесная. Вьюги вчерашней не было и в помине, солнце выглянуло, которого не видно было с самого Нового года, прихотливо изогнутый сугроб у меня в лоджии весело искрился, и подморозило, видимо, потому что за каждой машиной на шоссе тянулся шлейф белого пара. Давление установилось, и не усматривалось никакой причины, мешающей сесте за сценарий.

Впрочем, предварительно я трижды позвонил в ателье — и все три раза без всякого толка. Надо сказать, звонки эти носили чисто ритуальный характер: если человек всерьез намерен построить для дочери шубу, ему надлежит идти в ателье самому, производить массу аллегорических телодвижений и произносить массу аллегорических фраз, все время рискуя нарваться либо на открытую грубость, либо на подленькую увертливость.

Затем я сел за машинку и начал прямо с фразы, которую придумал еще вчера, но не пустил в ход, а сберег специально для затравки на сегодня: "Это не по ним, это по товарищам справа...". И сначала все пошло у меня лихо, бодро, весело, по-суворовски, но уже через час с небольшим я обнаружил, что сижу в расслабленной позе и тупо, в который уже раз, перечитываю последний абзац: "А комиссар все смотрит на горящий танк. Из-под очков текут слезы, он не вытирает их, лицо его неподвижно и спокойно".

Я уже чувствовал, что застрял, застрял надолго и без всякого про света. И не в том было дело, что я не представлял себе, как события будут развиваться дальше: все события я продумал на двадцать пять страниц вперед. Нет, дело было гораздо хуже: я испытывал что-то вроде мозговой тошноты.

Да, я отчетливо видел перед собой и лицо комиссара, и полуобрушенный окоп, и горящий "тигр". Но все это было словно бы из папье-маше. Из картона и из раскрашенной фанеры. Как на сцене захудалого Дома культуры.

И в который раз с унылым удовлетворением вспомнил я, что писать должно либо о том, что ты знаешь очень хорошо, либо о том, чего не знает никто. Большинство из нас держится иного мнения — ну и что же? Правильно сказала дочь моя Катька: надо всегда оставаться в меньшинстве.

Да черт же подери, подумал я почти с отчаянием. Ведь есть же у нас люди, которым это дано, которым отпущено это Судьбою в полной мере... Вергилии наши по катакомбам ни за что не забываемого огненно-ледяного ада... Симонов у нас есть, нежно мной любимый Константин Михайлович, и Василь Быков, горький мастер, и несравненный Богомоллов, и поразительный "Сашка" есть у нас Вячеслава Кондратьева, и Бакланов Гриша, тоже мой любимый, и ранний Бондарев... Да мне их всех и не перечислить. И не надо. К чему мне их перечислять, мне плакать надо, что никогда мне не быть среди них, — не заслужил я этого кровью, потом, грязью окопной не заслужил и теперь никогда уже не заслужу. Вот и выходит, что никакой нет разницы между маститым Феликсом Сорокиным и мальчишечкой пятьдесят четвертого года рождения, взявшемся вдруг писать о Курской дуге, — не о БАМе, заметьте, писать взявшемся и не о склоке в родном НИИ, а о том, что видел он только в кино, у Озерова видел. Такие вот пироги, Феликс Александрович, — если откровенно...

Я терпеть не могу таких вот пирогов, я от них делаюсь больной. И я тут же решил, что не дам загнать себя в уныние. В конце концов, у меня и без того много дел, нечего сидеть и киснуть. Меня ждут на Банной.

Торопливо сменяя страницы, я засунул черновики сценария в специально отведенный для него пластиковый футляр и принялся одеваться. "В движенъи мельник должен жить...", — бормотал я, с кряхтением натягивая башмаки. "Вода примером служит нам!.." — спел я во весь голос, укладывая в папку блистательную пьесу "Корягины". Я отгонял страх. "В крайнем случае отдам аванс!" — громко произнес я, натягивая куртку. Но дело было не в авансе. Что-то уж слишком часто в последнее время стали нападать на меня такие вот пробуксовки в работе, а если говорить прямо — приступы отвращения к работе, которая меня кормит.

Стоя на лестничной площадке в ожидании лифта, я, чтобы наверняка отвлечься, стал думать о том, что вот уже третий день пошел, как

со мной не случается ничего нелепого и дурацкого — похоже, тот, кому надлежит ведать моей судьбой, совсем иссяк и стал не годен даже на дурацкие чудеса... А лифты все не поднимались, ни большой, ни малый, и я постучал по створкам одного и другого и прислушался. Снизу доносились гулко невнятные голоса. Тогда я чертыхнулся и стал спускаться по лестнице.

На площадке десятого этажа я увидел, что дверь в квартиру Кости Кудинова, поэта, настежь распахнута и из нее выдвигается обширная спина в белом халате. "Ну вот, опять", — подумал я сразу же. И не ошибся. Костю Кудинова выносили на носилках, и большой лифт был раскрыт, чтобы вместить его. Костя был бледен до зелени, мутные глаза его то закатывались, то сходились к переносице, испачканный рот был вяло распушен.

Мне показалось вначале, что Костя пребывает без сознания, и я не могу сказать, чтобы зрелище это горько потрясло меня или хотя бы расстроило. Мы с ним были всего лишь знакомые — соседи по дому и члены одной писательской организации, вполне многочисленной. Как-то десяток лет назад во время какой-то кампании он публично выступил против меня, вздорно, конечно, выступил, однако довольно едко. Правда, он потом принес извинения, сказавши, что спутал меня с другим Сорокиным, с Сорокиным из детской секции, так что с тех пор мы при встречах приветливо здороваемся, обмениваемся слухами и досадуем, что никак не удастся собраться и посидеть. Но в остальном он был мне вообще-то никем, и вдобавок, поглядев на него, решил было я, что он попросту опять набрался сверх своей обычной меры. Словом, если бы все это было предоставлено равнодушной природе, Костю Кудинова, поэта, должны были бы сейчас занести в приготовленный лифт, створки бы сдвинулись, скрыв его от моих глаз, я уточнил бы у врача, что же все-таки произошло, а вечером рассказал бы об этом не-большом происшествии кому-нибудь в Клубе.

Но тот, кому надлежит ведать моей судьбой, был, оказывается, еще полон сил.

— Феликс! — произнес Костя таким отчаянным голосом, что санитары враз остановились, ожидая продолжения. — Сам бог тебя ко мне послал, Феликс...

Тут глаза его закатились, и он умолк. Но едва санитары, не дождаввшись продолжения, стронулись с места, как он заговорил снова. Говорил он сбивчиво, не очень внятно, срываясь с хрипа на шепот, и все требовал, чтобы я записывал, и я, конечно, послушно раскрыл папку, достал авторучку и стал записывать на клапане: "М. Сокольники, Богородское шоссе, авт. 239, Институт, Мартинсон Иван

Давыдович. Мафусаллин". То есть мне предстояло сейчас переться на противоположный край Москвы, отыскать где-то на Богородском шоссе какой-то неведомый институт, в институте добраться до некоего Мартинсона и попросить у него для Кости этого самого мафусаллина. ("Хоть две-три капли... Мне не полагается, но все равно, пусть даст... Помру иначе...") Затем створки лифта сдвинулись, и я остался на площадке один.

Буду совершенно откровенен. Не было у меня совсем ни жалости какой-либо, ни тем более желания проделывать эти сложнейшие эволюции в пространстве и в моем личном времени. С какой стати? Кто он мне? Полузнакомый упившийся поэт! Да еще выступавший против меня — пусть по ошибке, но ведь против, а не за! Я бы, конечно, никуда сейчас не поехал, в том числе и на Банную, слишком все это меня расстроило и раздражило. Но тут из Костиной квартиры вышел и встал рядом со мною у двери лифта еще один человек в белом халате. Судя по фонендоскопу и роговым очкам — врач, добрый доктор Айболит с незакуренной "беломориной" в углу рта. И я спросил его, что с Костей, и он ответил мне, что у Кости подозрение на ботулизм, тяжелое отравление консервами. Я испугался. Я сам травился консервами на Камчатке, чуть богу душу не отдал.

Створки лифта раздвинулись, мы с врачом вошли, и я спросил, сверившись с записью на клапане папки, поможет ли Косте этот самый мафусаллин. Врач непонимающе на меня взглянул, и я прочитал ему по слогам: ма-фу-сал-лин. Однако врач ничего про мафусаллин не знал, и я сделал вывод, что это лекарство новое и даже новейшее.

У "неотложки" мы расстались. Несчастливого Костю повезли в Бирюлево, в новую больницу, а я направился к метро.

Ехать мне никуда не хотелось по-прежнему. Я честно признался себе — это было как откровение, — что Костя никогда не был мне симпатичен: совершенно чужой, существоглупый и бесталаный человек. Ботулизм его вызывал, правда, определенное сочувствие, но и раздражение он тоже вызывал, и с каждой минутой раздражение это становилось все сильнее сочувствия. Какого черта я, пожилой и больной человек, должен тащиться через весь город в какой-то неведомый институт к какому-то неведомому Мартинсону за каким-то неведомым мафусаллином, о котором даже врач ничего не знает... бродить, спрашивать, искать, а потом искательно упрашивать, ведь Костя сам признал, что ему не полагается... и ведь непременно выяснится, что никакого такого института нет, а если институт и есть, то нет в нем никакого Мартинсона... что все это вообще Костин бред, полубомбические видения, отравлен же человек, и отравлен сильно...

Увязая в не убранном дворниками снегу, то и дело оскальзываясь на скрытых ледяных рытвинах, я пробирался к метро, придумывая себе все новые и новые оправдания, хотя знал уже совершенно твердо, что чем больше оправданий я придумаю, тем вернее повезет меня кривая через всю Москву за Сокольники к Мартинсону Ивану Давыдовичу, а потом с тремя каплями драгоценного мафусаллина обратно через всю Москву в Бирюлево спасать совершенно мне ненужного и несимпатичного Костю Кудинова, поэта...

Слава богу, метро от нас до Сокольников без пересадок, народу в это время (около двух) немного, я забрался в угол и закрыл глаза. Мысли мои приняли несколько иное, профессиональное, если можно так выразиться, направление.

В который уже раз подумал я о том, что литература, даже самая реалистическая, лишь очень приблизительно соответствует реальности, когда речь идет о внутреннем мире человека. Я попытался припомнить хоть одно литературное произведение, где герой, оказавшийся в моем или похожем положении, позволил бы себе сколько-нибудь отчетливо, без всяких экивоков, выразить нежелание ехать. Читатель не простил бы ему этого никогда. Пусть герой все равно бы поехал, преодолел бы тысячи препятствий, совершил бы чудеса героизма, но все равно так и остался бы с неким неопрятным пятном — в глазах читателя и уж тем более в глазах издателя.

Вообще-то положительному герою в наши либеральные времена разрешается иметь многие недостатки. Он может быть плохим семьянином, разгильдяем и неумехой, он может быть человеком совершенно легкомысленным и поверхностным. Одно запрещено положительному герою: практическая мизантропия. Легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко, нежели литературному герою стать положительным, если он, герой, хоть раз позволит себе пройти равнодушно мимо птички с перебитым крылышком. Вот и выходит, что я, Феликс Александрович Сорокин, по всем литературным нормам — как отечественным, так и зарубежным, — в лучшем случае являюсь нравственным калекой.

Этот вывод развеселил меня и привел в хорошее настроение. Во-первых, сегодня опять можно было не ехать на Банную под предлогом не только вполне законным, но и высокогуманным. Во-вторых... Во-вторых, достаточно, во-первых. На обратном пути я возьму такси; деньги, слава богу, есть. Смотаюсь в Бирюлево, отдам этот мафусаллин и на том же такси напрямиком в Клуб...

Я стал задремывать и подумал сквозь дрему, какое же, однако, странное название у этого новейшего лекарства. Мафусаллин. Оно

вызывает ассоциации. Турция. Ближний Восток почему-то. Мафу-саил. Библия?..

Институт я нашел без труда. Автобус остановился напротив проходной, в обе стороны, от которой тянулся вдоль пустынной улицы бесконечный высоченный забор. Вывески на проходной не было, а у крыльца стоял, руки в карманы, какой-то мужчина без пальто, но в шапке-ушанке с задранными ушами. Он покосился на меня, но ничего не сказал, и я вступил в жарко натопленную будку. Наверное, мне следовало, не глядя ни направо, ни налево, протопать себе по коридорчику и дальше наружу, но я так не умею. Я сунулся лицом к крошечному окошечку и спросил искательно:

— К Мартинсону Ивану Давыдовичу как мне пройти?

За окошечком пил из блюдца чай вприкуску сморщенный старикашка в засаленном кителе. Он неторопливо поставил дымящееся блюдце на стол, достал из-под стола засаленную фуражечку с кантом и аккуратно напялил ее себе на плешь.

— Пропуск, — сказал он.

Я сказал, что пропуска у меня нет. Это признание подтвердило самые худшие его опасения. Словно с утра еще его предупредили, что полезет сегодня один без пропуска, так вот его ни в коем случае пускать нельзя. Он выбрался из-за стола, выдвинулся в коридорчик и загородил собой турникет. Я принялся ныть и клянчить. Чем жалобней я ныл, тем непреклоннее становился жестокий старик, и длилось это до той минуты, пока я не осознал, что передо мной непреодолимое препятствие, а потому можно с легким сердцем гнать отсюда прямо в Клуб. Я с наслаждением обозвал старикашку древней гнидой и, очень довольный, повернулся и вышел.

Ах, не тут-то было!

— Не пускает, — утвердительно произнес мужчина в шапке с задранными ушами.

— Гнида старая, персидская, — объяснил я ему.

И тогда мужчина, которого никто об этом не просил, с большой охотой рассказал мне, что через проходную нынче никто не ходит, не пускают никого через проходную, а ходят нынче все сквозь забор, в ста шагах отсюда есть в заборе дыра, через нее все нынче и ходят, потому что кому это охота по Богородскому вдоль забора три версты крюка давать, а так ты сквозь забор, через территорию и снова сквозь забор, и ты у винного.

Что мне оставалось делать? Я поблагодарил доброго человека и в точности последовал его указаниям. От пролома в заборе через



занесенную снегом огромную территорию вела хорошо утоптанная дорожка. Справа от дорожки громоздилась какая-то законсервированная стройка, а слева возвышался пятиэтажный корпус белого кирпича с широкими школьными окнами. Видимо, это и был собственно институт. К нему от дорожки ответвлялась тропа, тоже хорошо утоптанная.

У входа в институт (широкое низкое крыльцо, широкая застекленная дверь под широким бетонным козырьком) трое мужчин, опять-таки без пальто и в шапках с задранными ушами, вскрывали контейнер, заляпанный иностранными надписями. Я миновал их, поднялся по ступенькам и вступил в вестибюль.

Это было обширное помещение, залитое светом ртутных ламп, и было в нем полно людей, которые, по-моему, ничем не занимались, а только стояли кучками и курили. Наученный горьким опытом, я никого ни о чем не стал спрашивать, а двинулся прямо к гардеробу, где разделся, держа на лице хмуро-озабоченное выражение и стараясь выставлять напоказ свою папку.

Потом я причесался перед зеркалом и поднялся по лестнице на второй этаж. Почему именно на второй — я объяснить бы не сумел, да и не спрашивал никто у меня объяснений по этому поводу. Здесь тоже пол был покрыт плиткой, тоже сияли ртутные лампы, и тоже стояли кучками люди с сигаретами. Я высмотрел молодого человека, стоявшего отдельно. У него тоже было хмуро-озабоченное выражение лица, и я подумал, что уж он-то не станет выяснять, кто я, зашел я здесь и имею ли я право.

Я не ошибся. Он рассеянно, даже не глядя на меня, объяснил, что Мартинсон скорее всего у себя в нужнике, это на третьем этаже сразу за скелетами направо, а номер нужника — тридцать семь.

Никаких скелетов я на третьем этаже не обнаружил, не знаю, что имел в виду молодой человек с образной речью, а нужник номер тридцать семь оказался большой, очень светлой комнатой. Было там множество стекла и мигающих огоньков, на экранах, как и положено, змеились зеленоватые кривые, пахло искусственной жизнью и разумными машинами, а посередине комнаты, спиной ко мне, сидел какой-то человек и громко разговаривал по телефону.

— Брось! — гремел он. — Какой закон? Напирай плотней! Оставь! При чем здесь Ломоносов-Лавуазье? Главное, напирай плотней!

Потом он бросил трубку, повернулся ко мне и рявкнул:

— В местком, в местком!

Я сказал, что мне нужен Иван Давыдович. Он налился кровью. Был он огромен, плечист, с могучей шеей и с всклокоченной пегой шевелюрой.

— Я сказал — в местком! — гаркнул он. — С трех до пяти! А здесь у нас разговора не будет, вам ясно?

— Я от Кости Кудинова, — произнес я.

Он как бы споткнулся.

— От Кости? А в чем дело?

Я рассказал. Пока я рассказывал, он встал, обошел меня и плотно закрыл дверь.

— А вы, собственно, кто такой? — спросил он. Краска ушла с его лица, и теперь он был скорее бледен. В глаза он мне не смотрел.

— Я его сосед.

— Это я понял, — сказал он нетерпеливо. — Кто вы такой, вот что я спрашиваю...

Я представился.

— Мне это имя ничего не говорит, — объявил он и уставился мне в переносицу. Глаза у него были черные, близко посаженные, двустволка, да и только.

Я разозлился. Черт подери! Опять меня заставляют оправдываться!

— А мне ваше имя тоже, между прочим, ничего не говорит, — сказал я. — Однако вот я через всю Москву к вам перся...

— Документ у вас есть какой-нибудь? — прервал он меня. — Хоть что-нибудь...

Документов у меня не было. Не ношу. Он подумал.

— Ладно, я сам этим займусь. В какой, вы говорите, он больнице?

Я повторил.

— Чтоб его там... — пробормотал он. — Действительно, другой конец Москвы... Ну, ладно, идите. Я займусь.

Внутренне клопоча, я повернулся, чтобы идти, и уже взялся за дверную ручку, как он вдруг спохватился.

— Па-азвольте! — пророкотал он. — А как же вы сюда попали? Без пропуска! У вас даже документов нет!

— А через дыру! — сказал я ядовито.

— Через какую дыру?

— А в заборе! — сказал я мстительно и вышел. Весь в белом.

Я спускался по лестнице, когда меня поразила ужасная мысль: а вдруг этот лютый Мартинсон как раз сейчас звонит по телефону, и через минуту ко всем дырам в заборе побегут вохровцы вперемежку с плотниками, и я окажусь в мешке, как какой-нибудь битый Паулюс... Не удержавшись, я побежал сам, мысленно снова и снова проклиная Костю Кудинова с его ботулизмом и свою хромую судьбу. Только заметив, что на меня оглядываются, я сумел взять себя в руки и появился перед гардеробщиком как подобает деловому, хмуρο-озабоченному человеку с карманами, набитыми пропусками и документами.

Спустившись с крыльца, я почему-то оглянулся. Сам не знаю, почему. И вот что я увидел. За стеклянной дверью, упершись в стекло

огромными ладонями и выставив бледное лицо, пристально смотрел мне в спину Иван Давыдович Мартинсон, собственной персоной. Словно вурдалак вслед ускользнувшей жертве.

Стыдно признаться, но я снова перешел на бег. Несмотря на мои сосуды. Несмотря на мое брюхо. Несмотря на мою перемежающуюся хромоту. Лишь когда я, нырнув в дыру, вынырнул на Богородском шоссе, чувство собственного достоинства моего возопило, наконец, и я перешел на шаг, застегивая куртку и поправляя сбившуюся шапку. Очень не нравилось мне это приключение, и особенно не нравился мне Иван Давыдович Мартинсон, и я снова проклинал Костю с его ботулизмом, и давал себе клятву, что впредь никогда и никто, и ни за что...

После всех этих передрыг не могло быть и речи о том, чтобы ехать на Банную. Только в Клуб. Только в Клуб! В наш ресторанный зал, обитый коричневым деревом! В атмосферу прельстительных запахов! За мой столик под крахмальной скатертью! Под крылышко к Сашеньке... хотя нет, сегодня нечетный день. Значит, под крылышко к Аленушке! Правильно, и сразу же отдать ей долг, и заказать селедочку, масляно поблескивающую, жирную, тающую, ломтиками, посыпанную мелко нарезанным зеленым лучком, а к ней три-четыре горячих рассыпчатых картофелины и тут же кубик масла прямо из ледяной воды, и бутылочку "пльзеньского" (нет-нет, без этого не обойдется, я это заслужил сегодня)... и еще соленые грузди, сопливенькие, в соку, вперемешку с репчатым луком кольчиками... А притушив первый голод и взвинтив в себе настоящий аппетит, мы обратимся к солянке мясной, которую у нас в Клубе, к счастью, готовить еще не разучились, и будет она у нас в тусклом металлическом бачке, янтарная, парящая, скрывающая под поверхностью своею деликатесные мяса разного вида и черные лоснящиеся маслины... Батюшки, главное чуть не забыл! Калач! Наш знаменитый клубный калач с ручкой для держания, пухлый, мягкий, поджаристый... и парочку надо будет прихватить с собою домой. Ну-с, теперь второе...

Однако второе просмаковать я не успел, потому что почувствовал вдруг какое-то неудобство, неловкость какую-то и, вернувшись к действительности, обнаружил, что мчусь уже в метро, двое долговязых с сумками "адидас" нависают надо мною, а в просвет между ними установились на меня сквозь стекла очков пристальные светлые глаза. Лишь одну секунду видел я эти глаза, а также рыжую норвежскую бородку и белое кашне между отворотами клетчатого пальто, а затем поезд начал тормозить, долговязые сомкнулись, и мой наблюдатель исчез из виду.

Мне показалось, что глядел он на меня неприлично внимательно, словно у меня было что-то не в порядке с одеждой или лицо испачкано. На всякий случай я даже проверил, не нахлобучил ли второпях шапку задом наперед. Впрочем, когда через минуту между долговязыми вновь образовался просвет, мой наблюдатель мирно дремал, сложив на животе руки — средних лет мужчина, очки в металлической оправе и клетчатое пальто, какое было в моде несколько лет назад. Помнится, поражали такие пальто мое воображение тем, что их можно было носить и на левую сторону тоже: с одной стороны, например, они были черные в серую клетку, а навыворот — серые в черную.

Мимолетный эпизод этот отвлек меня все-таки от гастрономических видений, и я вспомнил почему-то, как лежал в больнице и целый месяц меня кормили чудовищно пресной, нарочито вываренной пищей, от которой взяла меня такая тоска, что врачи в конце концов разрешили Катьке принести мне холодного цыпленка табака. О том, что предстоит в этом смысле отравленному Косте, страшно было подумать. Да и некогда мне было думать об этих вещах, потому что поезд остановился на "Кропоткинской", и я заторопился к выходу.

Подслеповатая дежурная в дверях Клуба потребовала, чтобы я предъявил писательский билет, и в который раз я попытался втолковать ей, что вот уже четверть века состою в писателях и по крайней мере пять лет прохожу в Клуб мимо нее, старой кочерыжки. Она не поверила ни единому моему слову, но тут дядя Коля прогудел из недр гардероба: "Свой, свой, Марья Трофимовна!", и я был пропущен.

Беседуя с дядей Колей о погоде, я нарочито неторопливо разоблачился, взял с барьера листок клубной газеты, оставив вместо него монетку, причесался и расчесал усы, раскланиваясь с отражениями знакомых, возникавшими в глубине зеркала, а затем, продолжая раскланиваться, наполняясь теплым ощущением уюта, отстраняясь от всего неудобного и тревожного, бодро зашагал в ресторанный залу.

А далее все получилось по программе, с тем только отклонением, что не оказалось соленых груздей. Когда я доедал солянку, к столику моему начала прибиваться обычная компания. Первым был Гарик Аганян, у которого через час начинался ихний семинар. Двух слов мы сказать не успели, как из-за столика в дальнем углу поднялся и приблизился к нам, хромая, Жора Наумов. Выяснилось, что нынче утром он забежал в Москву по дороге из Краснодара в Таллин. Виды на урожай на юге, оказывается, хорошие, а что до остального, то оно, как всегда, в руках божьих. И тут же возник на нашем горизонте Валя

Демченко, держа под мышкой новую трость с рукояткой в виде львиной лапы.

Мы обсудили эту трость, поговорили об урожае озимых, и о прошлогоднем нашествии филлоксеры; Гарик, чертя вилкой по скатерти, объяснил нам, как надлежит понимать появившуюся в центральной прессе заметку под названием "Дыра во Все-ленной", а потом я рассказал про мои с Костей Кудиновым сегодняшние беды.

Это мое сообщение вызвало реакцию вялую и не вполне мною ожидаемую. Гарик пробормотал пренебрежительно: "Ничего, выплывет, дерьмо не тонет". Валя лениво процитировал старую, им же самим о Косте придуманную хохму: "Вчера в белом зале помощник председателя Иностранной комиссии товарищ Кудинов принял группу писателей Парагвая за группу писателей Уругвая...". А Жора Наумов, разглядывая мир сквозь фужер с минеральной, пересказал нам выступление студента Литипститута Кости Кудинова, в те поры румяного, задорного и непьющего, на общем собрании курса в памятном тысяча девятьсот сорок девятом. Когда Жора закончил, все помолчали, а затем Валя с интересом спросил: "Ну, и что же ты?". — "А что я? — агрессивно произнес Жора. — Хотел ему морду набить, так ведь он был тогда здоровенный, штангист, разрядник, понимаешь, а у меня обе ноги прострелены, я тогда меж двух костылей болтался, как..." — "Но потом,— сказал Гарик,— когда ты без костылей заходил... и вообще, в благословенном пятьдесят девятом... он перед тобой случайно не извинялся?" — "А как же! Даже стихи мне посвятил. В "Литературке". На манер Пушкина, про лицейскую дружбу..." — "Пожалуй, будь себе татарин?.." — ядовито предположил Валя. Мы поржали — не очень весело, впрочем, и заговорили о стихах, а потом разговор как-то незаметно перекинулся на Банную.

Выяснилось, что все, кроме меня, на Банной уже побывали.

Дисциплинированный Гарик сходил туда сразу же, еще в октябре. Абсолютно ничего интересного. Довольно убогая машина, может быть, ЕС 1020, а может быть, и вовсе какой-нибудь "Минск" поплоче. Сидит тунеядец в черном халате, берет у тебя рукопись и по листочку сует ее в приемную щель. На дисплее загораются цифры, а засим можешь спокойно идти домой.

Жора, побывавший там под самый Новый год, возразил, что никакой машины там не было, а были там какие-то серые шкафы, тунеядец был не в черном халате, а в белом, и пахло там печеной картошкой. В общем, мура, обман трудящихся. Если хотите знать мое мнение, сказал Жора Наумов, то все очень просто: какой-то жук из

Академии наук охмурил нашего Теодор Михеича и гонит себе сейчас докторскую из нашего трудового пота.

В ответ на этот антинаучный выпад Валя Демченко возразил, что это было бы еще полбеда, а беда (с таинственным видом сообщил он) состоит в том, что вот уже много лет идет разработка кибернетического редактора. Ученые — писателям. В порядке помощи. Собственно, сам робот-редактор уже создан, и теперь его на наших рукописях только дрессируют. И вот когда эта машина вступит в строй, вот тут нам всем будет конец, потому что она не только грамматические ошибки будет исправлять и стиль править, она, дяденьки, подтекст на два метра под текстом будет угадывать. Она, дяденьки, сразу определит, кто есть кто и почему.

Я с уважением смотрел на Валу, ощущая в этой его вдохновенной белиберде флер некоего благородного, близкого мне безумия. Гарик откровенно хихикал, а Жора, человек, близкий к земле, сердито спросил, откуда это ему, Валентину, может быть известно.

— В глаза! — проникновенно произнес Валя. — В глаза надо человеку смотреть, дяденька! Не какой у него там халат, черный или белый, а в глаза! Я как в глаза ему посмотрел, так все и понял!

Гарик налил ему пива, и Валя продолжал. Робот-редактор, оказывается, был только зарею новой эры. Это машина громоздкая, стационарная, дорогая. А вот на подходе уже, если хотите знать, дяденьки, специальные пишущие машинки, пока еще только для нас, прозаиков. На этих машинках установлены специальные электронные ограничители. Представляете? Печатаешь ты двумя пальцами: "ж...", а на бумаге выходит "окорока", "пятая точка", "афедрон" и уж в самом крайнем случае "ж" с тремя точками.

И тут среди нас возник Петенька Скоробогатов, по прозвищу Ойло Союзное. Только что его не было, и вот он уже сидит между Гариком и Валею и наливает себе из Жорино-го графинчика. Глаза у него по обыкновению воспалены и бегают, и по обыкновению идет он красными пятнами и шелушится.

Как всегда, был он распираем новостями и слухами, которые поначалу казались важными и верными, но, будучи выпущены на вольный воздух, тут же портились и оборачивались враньем и хвастовством. Разговаривать стало невозможно, и мы с горя принялись слушать.

Для начала он сообщил, что по поводу Банной у него есть достовернейшие слухи прямо ОТТУДА. (Толстый указательный палец уставляется в потолок.) Валя правильно-но говорит: сейчас все дела переводят на машины, потому что коррупция всех заела и никому

верить нельзя. Кадровую машину уже запустили, и она выдала указание снять всех директоров издательств и всех главных редакторов в Москве. Он, Петенька Скоробогатов, поэтому подождет подписывать два договора, которые ему давеча прислали. Почему? А потому, что смысла нет. Все равно будут назначены новые директора и новые главные, и договора будут пересматривать...

— Вы меня не перебивайте, потому что завтра я уезжаю в Замбию, мне еще при-вивки надо делать, а вы меня все время перебиваете... Я вам насчет Банной хочу объяснить. Там машина — особенная. Она показывает талант. В абсолютных единицах. Сашка Толоконников, знаете, что учинил? Подсунул им в машину вместо своей галиматьи пять страниц из "Тихого Дона"! Машину, конечно, к едрене фене зашкалило, на такой уровень, сами понимаете, никто у них там не рассчитывал, ну и теперь Сашку на ковер. За поступок, недостойный советского писателя... Да Сашка — что! Сама Ираида с одра поднялась и черновики свои туда потащила. Она-то думала, что машина ее подтвердит и восславит, а машина ей — бац! — ноль целых хрен десятых! Так она их всех там зонтиком, зонтиком, что ты! Вы тут сидите, ничего не знаете, а вчера я туда сунулся, на Банную, а там оцепление, конная милиция... Михеич трясется, сам не рад, что все это затеял, ему же тоже туда идти... Я ему говорю: "Михеич, говорю, ну что ты боишься? Хочешь, говорю, мои черновики?" ...

Да, вот он у нас какой, Петенька Скоробогатов, Ойло наше Союзное. Я отхлебнул пива и стал размышлять о том, что ничего на свете придумать нельзя. Придумано уже все. Я вспомнил, как лет пятнадцать назад покойный Анатолий Ефимович однажды разоткровенничался и рассказал мне замысел своей новой комедии. Дело у него там происходило в писательском Доме творчества, и вот какой-то изобретатель приволакивает туда свой фантастический аппарат... Как же он его называл? Ужасно неуклюже, помнится... Да! "Изпитал"! "Измеритель писательского таланта". Писатели сначала по глупости своей радуются — наконец-то все узнают, что Иванов дерьмо, а я гений. Но потом, когда машина стала дарить их объективной истиной... В общем, машину они, кажется, разнесли по винтикам, а на изобретателя сообща написали донос со всеми вытекающими последствиями... И как же был огорчен Анатолий Ефимович, когда я, извиняясь и оправдываясь, дал ему прочесть "Мензурю Зоили" Акутагавы, написанную еще в шестнадцатом году и изданную у нас на русском языке в середине тридцатых! Ничего нельзя придумать. Все, что ты придумываешь, либо было придумано до тебя, либо происходит на самом деле.

Я стукнул кулаком по столу и, глядя Петеньке Скоробогатову прямо в свинячьи его глазки, процитировал на весь зал:

— "С тех пор, как изобрели эту штуку, всем этим писателям и художникам, которые торгуют собачьим мясом, а называют его бараниной, — всем им теперь крышка!"

После чего встал и направился в вестибюль. Надо было все-таки позвонить и узнать, как там дела у Кости Кудинова, поэта, не загнулся ли он. А то я тут разговоры разговариваю с Петенькой Скоробогатовым, с Ойлом моим Союзным, а Костя, между тем, может быть, концы отдаст. Несправедливо.

Трубку на Костиной квартире взяла его жена. Голос у нее был ничего себе, довольно бодрый. Я представился и спросил:

— Ну, как там Костя вообще?

— Ой, как хорошо, что вы позвонили, Феликс Александрович! Я только что от него, только-только вошла... Феликс Александрович, он очень, очень просит, чтобы вы к нему зашли!

— Обязательно, — сказал я. — А как он вообще?

— Да все обошлось, слава богу. Значит, вы зайдете?

— Вообще-то... — промямлил я, — Завтра, пожалуй, в это время...

— Нет! Нет, Феликс Александрович, он просил — непременно сегодня! Он так мне и сказал: позвонит Феликс Александрович, и ты ему скажи, чтобы он **ОБЯЗАТЕЛЬНО** сегодня! Что очень срочно, важно очень...

— Вообще-то ладно... — сказал я, и мы распрощались.

Никогда не надо делать добрые дела, думал я, возвращаясь в ресторан. Стоит только начать, и конца им не будет. Причем, обратите внимание: ни слова благодарности. Целый день мотаюсь по Москве из-за этого симулянта, одного страха сколько натерпелся, и вечером — пожалуйста, опять все сначала, тащись куда-то как верблюд и ни слова благодарности...

Гарика за столом уже не было, он ушел на свой семинар, а на его месте сидел Петенькин приятель. В лицо я его знаю, несколько раз мне его представляли, но как его зовут — я не помню, и какое он имеет отношение к литературе — представления не имею. По-моему, он целыми днями торчит в нашей бильярдной, вот и все его отношения с советской литературой.

И еще, пока меня не было, появился за столом друг мой хороший из соседнего подъезда Слава Крутоярский, тощий, темнолицый, длинноволосый, облитый искусственным хромом и склонный к теоретизированию.

— Что такое критика? — спрашивал он Жору Наумова, уже снявшего и повесившего на спинку стула свой мохнатый пиджак. — При чем я говорю не об этой критике, что у нас сейчас, ты понимаешь меня?

Слава всегда, через каждые две фразы осведомлялся у собеседника, понимает ли тот его.

Жора важно кивнул в знак того, что да, понимает; и задумчиво кивнул Валя Демченко; и я на всякий случай кивнул, усаживаясь; и дружно закивали Митенька и его приятель, да так энергично, что привлекли общее внимание.

— Критика — это наука, — продолжал Слава, глядя на Жору в упор. — Как связать, соотнести истерику творца с потребностями общества, ты понимаешь меня? Выявить соотношение между тяжкими мучениями творца и повседневной жизнью социума — вот что есть задача критики. Ты меня понимаешь?

Мысль эта показалась социуму настолько здоровой и интересной, что все принялись требовать друг у друга карандаш и бумагу. Чтобы записать. Ни карандаша, ни бумаги ни у кого не оказалось, подозревали Аленушку, выклянчили у нее огрызок карандаша и листочек из блокнотика, и Петенька потребовал, чтобы Слава формулировку свою повторил. Слава честно попытался повторить и не сумел. Жора Наумов тоже не сумел и только все запутал, приплел какую-то квинтэссенцию, и пока они галдели, перебивая друг друга, я подумал, что как ни определяй критику, пользы от нее никакой, вреда же от нее не оберешься. Никакой не квинтэссенцией истерики творца занимается наша критика, а занимается она нивелировкой литературы с целью удобства сводить с писателями личные и вкусовые счета. Вот так.

Я допил свое пиво и принялся доедать остывший бифштекс. Между тем, терминологический спор о критике естественным образом переключился на гонорарную политику.

Сам я на гонорарную политику смотрю просто: чем больше, тем лучше, все писательские разговоры о материальном стимулировании гроша ломаного не стоят. Вот это Ойло Союзное орет все время, что, дескать, если бы ему платили, как Алексею, он бы писал, как Лев. Врет он, халтурщик. Ему сколько ни плати, все равно будет писать дерьмо. Дай ему хоть пятьсот за лист, хоть семьсот, все равно он будет долдонить: хорошо учиться, дети, это очень хорошо, а плохо учиться, бяки, это никуда не годится, и нельзя маленьких обижать. И будет он все равно благополучно издаваться, потому что любой детской редакции занаряжено, скажем, тридцать процентов издательской площади под литературу о школьниках, а достанет ли на эти тридцать

процентов хороших писателей — это уже вопрос особый. Подразумевается, что достанет. А вот Вале Демченко плати двести, плати сто, все равно он будет писать хорошо, не станет он писать хуже, оттого что ему платят хуже, хотя никакие площади под его критический урбанизм не занаряжены, а рецензенты кидаются на него, как собаки...

Тут меня тронули за плечо, и, обернувшись, я увидел Лидию Николаевну, дежурного администратора. Сухо она сообщила мне, что ищет меня уже целый час, что звонил из больницы Константин Ильич Кудинов и просил меня немедленно к нему приехать. Не знаю, что ей там наплел этот симулянт, но она была дьявольски неприветлива. По моему, она забрала себе в голову, будто я обещался быть у страждущего друга, а сам ударился в загул, предавши всех и вся. Опять виноват. В чем, спрашивается?

Я отдал Славке деньги, чтобы расплатился он за меня, и направился по ковровой дорожке в вестибюль.

Ярко освещенный зал наш был уже полон, ни одного свободного места не оставалось, кое-где столики были сдвинуты под большую компанию, табачный дым в несколько слоев стлался над головами, сверкала прозрачная влага во вздымаемых чарах, стучал множественно металл о стекло и фаянс, раздавались заверения в дружбе, и уже в дальнем углу у фальшиво раскаленного камина некто седовласый в роскошно-мохнатой водолазке стихи возглашал диаконским рыком, а в другом углу компания лейб-гвардейцев стояла навытяжку, поднявши наполненные фужеры на уровень груди, — выслушивала тост, выражающий самые крайние упования, сожалея, вероятно, лишь о том, что нельзя будет, как при прежнем директоре Клуба, по опустошении фужеров разом ахнуть их об пол и придавить осколки каблуком; и уже двигался от столика к столику приветливо смеющийся, не очень известный читателям, но зато здесь почти всеми любимый Шура Пеклеванный, похлопывал сидящих по спинам, склонялся над женскими ручками и все отклонял и отклонял предложения подсесть, потому что двигался к столику вполне определенному: Шура всегда абсолютно точно знал, к какому столику надлежит подсесть сегодня; и уже с шумом, громко переговариваясь, спускалась с антресолей по деревянной лестнице в зал манипула критиков и литературоведов, у которых только кончилось заседание, растекаясь, спустившись, между столиками, здоровалась, подсаживалась, прощались; а посреди этого коловращения, в самом центре зала, гопа молодых напористо угощала главного редактора периферийного журнала, квадратного, даже кубического восточного человека в тубетейке и



стандартном пиджаке, усеянном по лацканам непонятными значками... Прекрасная жизнь была ключом, а мне надо было опять тащиться в чертову даль, и я с унынием думал о том, что еще может выкинуть тот, кто распоряжается моей судьбой...

Мне повезло — я сразу же схватил такси, и через полчаса мы с водителем отыскивали в Бирюлеве больницу. Когда я вошел в палату, Костя сидел на койке, скрестивши ноги по-турецки, и с отвращением выскребал ложкой с тарелки остатки манной каши. Был он весь в больничном, клеймен был больничными клеймами, но в остальном выглядел неплохо. Конечно, румяным крепышом я бы его сейчас не назвал, морда у него была для этого слишком бледновата, но и от умирающего в нем теперь уже ничего не осталось, хотя подбородок и был измазан манной кашей.

Палата оказалась на шесть коек, и у окна кто-то лежал с капельницей, а больше в палате никого не было, все ушли смотреть хоккей.

Увидев меня, Костя живо вскочил и так рьяно ко мне бросился, что я было ужаснулся: уж не хочет ли он меня обнять. Однако он ограничился пожатием и сердечным трясением руки моей. Он пожимал и тряс мою руку и говорил при этом, как заведенный, почему-то все оглядываясь на тело с капельницей. Он не давал мне сказать ни слова. Он рассказывал мне, как его сначала рвало, а потом несло, как ему промывали сначала желудок, а потом кишечник, как его кололи, как его массировали и как ему давали кислород. И все время при этом он оглядывался и, наступая мне на ноги, оттеснял меня к двери.

— Да что ты пихаешься? — сказал я, наконец, уже в коридоре.

— Пойдем присядем, — пригласил он. — Вон там, скамеечка под пальмой.

Мы сели. В коридоре было совершенно пусто, только вдали дежурная сестра тихонько звякала пузырьками, а Костя все еще продолжал говорить, хотя уже и с меньшим возбуждением. Его неистовую радость при встрече со мной я отнес за счет эйфории от чувства благодарности и подумал, помнится: "Надо же, животное, — а ведь чувствует!". И сейчас, ворвавшись в первую же паузу, я осведомился:

— Что, помогло, значит?

— Что именно? — спросил он быстро.

— Ну, этот твой... мафусаил...

— Да! — сдавленным от восторга голосом воскликнул он, снова хватая меня за руку. — Да! Если бы не это... А тут, понимаешь, сразу промывание желудка, под давлением, представляешь? Клизму такую засадили, вредители! Знаешь, сегодня я только понял, какая это страшная пытка у инквизиторов была, когда воду закачивают... Верись, у меня глаза на лоб полезли, в пору к окулисту проситься!..

И он пустился по второму разу. При этом он острил — иногда довольно удачно, вообще пытался все изобразить в юмористическом плане, но чувствовалась за этим юмором нездоровая натуга, и очень

скоро мне пришло в голову, что никакая это не эйфория от благодарности, а бурлит это в нем, наверное, и изливается сейчас наружу пережитый ужас смерти, и я совсем уже было вознамерился успокоительно похлопать его по колену, как вдруг он оборвал себя и спросил почти шепотом:

— Ты что так смотришь?

— Как? — Я растерялся, — Как я смотрю?

Взгляд его зигзагом пролетел по моему лицу и затем ускользнул куда-то во тьму за пальмой.

— Нет, никак... — уклонился он и снова стал смотреть на меня. — А ты, я вижу, вдетый сегодня, а? Поддал, а?

— Было дело, — соврал я и, не удержавшись, добавил: — Если бы не ты, я бы и сейчас там сидел с удовольствием...

— Ну, ничего! — произнес он, делая легкомысленный жест, — Завтра-послезавтра они меня отсюда выпихнут, и мы с тобой еще посидим. Я тебе, знаешь, какого коньячку выставлю? Мне прислали с Кавказа...

И он стал рассказывать, какой коньячок ему прислали с Кавказа. Я его не слушал. Мне вдруг стало тошно. Эти стены белые, этот запах — то ли карболки, то ли смерти, белый халат сестры, маячащий вдаль, опустошенные капельницы, выставленные у дверей палат... Больница, тоска, полоса отчуждения... Да какого черта я здесь сижу? Не я же отравился, в конце концов!

— Слушай, — сказал я решительно, — Ты меня извини, но у меня, понимаешь, дочка должна прийти сегодня...

— Да-да, конечно! — воскликнул он. — Иди! Спасибо тебе большое, что пришел...

Он встал. Я тоже встал — в полной уже растерянности. Некоторое время мы молчали, глядя друг другу в глаза. Я недоумевал, потому что никак не мог понять: неужели он с такой настойчивостью, через жену, через администратора, требовал меня сюда только для того, чтобы дважды рассказать во всех подробностях, как ему промывали желудок и кишечник? Костя, казалось мне, тоже почему-то пришел в смятение. Я видел это по его глазам. И вдруг он спросил — опять же полупшепотом:

— Ты чего?

Это был опять совершенно непонятный вопрос. И я сказал осторожно:

— Да нет, ничего. Сейчас пойду.

— Ну, иди, — пробормотал Костя. — Спасибо тебе...

Он пробормотал это тоже осторожно и как-то неуверенно, словно ждал от меня чего-то.

— Ты мне больше ничего не хочешь сказать? — спросил я.

— Насчет чего? — спросил Костя совсем уже тихо.

— А я не знаю — насчет чего! — сказал я, не в силах далее сдерживать раздражение. — Я не знаю, зачем ты меня выдернул из Клуба. Мне сказали: срочное дело, необходимо сегодня же, немедленно... Какое дело? Что тебе необходимо?

— Кто сказал? — спросил Костя, и глаза его снова заметались.

— Жена твоя сказала... Лидия Николаевна сказала...

И тут выяснилось, что его не так поняли. И жена его не так поняла, и Лидия Николаевна поняла его совсем не так, и вовсе он не требовал, чтобы сегодня же, немедленно, и про срочное дело он никому ничего не говорил... Он явно врал, это было видно невооруженным глазом. Но зачем он врал и что, собственно, было на самом деле, оставалось мне решительно непонятным.

— Ладно, — сказал я, махнув рукой. — Не поняли, так не поняли. Выздоровел, и слава богу. А я, пожалуй, пойду.

Я двинулся к выходу, а он семеня рядом, то хватая меня за руку, то сжимая мне плечо, и все благодарил, и все извинялся, и все заглядывал мне в глаза, а на лестничной площадке, рядом с телефоном-автоматом, произошло нечто совсем уж несообразное. Он вдруг прервал свою бессвязицу, судорожно вцепился мне в грудь свитера, прижал меня спиной к стене и, брызгаясь, прошипел мне в лицо:

— Ты запомни, Сорокин! Не было ничего, понял?

Это было так неожиданно и даже страшно, что я испытал приступ давешней паники, когда я удирал от этого вурдалака — Ивана Давыдовича Мартинсона.

— Пстой, да ты что? — пробормотал я, пытаюсь оторвать от себя его руки, неожиданно цепкие и словно бы заостреннейшие. — Да пошел ты к черту, обалдел, что ли? — заорал я в полный голос, оторвал, наконец, от себя этого бледного паука и, с трудом удерживая его на расстоянии, сказал: — Да опомнись ты, чучело! Чего тебя разбирает?

Я был гораздо сильнее его и понял, что удержать его могу, а в случае чего могу и вовсе скрутить, так что приступ первой паники у меня миновал, и остался лишь брезгливый страх, не за шкуру свою страх, а страх неловкости, страх дурацкого положения — не дай бог, кто-нибудь увидит, как мы топчемся по кафелю, сипло дыша друг другу в лицо...

Некоторое время он еще трясся и брызгался, повторяя: "Не было ничего, понял? Не было!..", а потом вдруг обмяк и принялся плаксиво

объяснять, что накладка вышла, институт секретный, про него ни я, ни даже он сам ведать не должны, не нашего это ума дело, что могут выйти большие неприятности, что ему уже сделали замечание, и если я теперь хоть слово где-нибудь, хоть намекну даже только...

Я отпустил его. Он растирал, морщась, покрасневшие свои запястья и все бубнил и бубнил со слезой, и все одно и то же, и даже теми же словами, и ясно было, что он крайне деморализован и опять все врет — от первого до последнего слова. И опять я не понимал, зачем он врет и что было на самом деле. Понимал только, что какая-то накладка и в самом деле произошла: там, у лифта, Костя, ужаснувшись смерти, и в самом деле сболтнул мне что-то неположенное... Хотя откуда ему, рифмоплету Кудинову, специалисту по юбилейным и праздничным виршам, знать что-либо неположенное? Разве что страшный Мартинсон у себя в нужнике за скелетами тайно гонит табуретовку, а Костя ее тайно распространяет? Нет, ничего я к нему сейчас не испытывал, кроме брезгливости и острого желания оказаться подальше от.

— Ну, хорошо, хорошо, — произнес я как можно спокойнее. — Ну, чего ты дергаешься? Ну, какое мне дело до всего этого, сам подумай... Ну, не было, так не было. Что я — спорю?

Он начал свои объяснения по третьему разу, а я отодвинул его с дороги без всякой жалости и пошел спускаться по лестнице с наивозможной для меня поспешностью. Ноги у меня тряслись, и в правом колене стреляло, и все время хотелось сплюнуть. И я не обернулся, когда сверху вслед мне донесся шипящий крик: "О себе подумай, Сорокин! Серьезно тебе говорю!". Если отвлечься от интонации, это был дельный совет. И подумать только, если бы эта скотина Леня Шибзд не позвонил мне, ничего бы этого не было... Да, руководитель моей судьбы хорошо поработал сегодня, ничего не скажешь... Нет, ребята, домой, домой, к пенатам, к лекарствам моим и к Синея Папке!

В гардеробе, затягивая "молнию" на куртке, я заметил в глубине зеркала нечто знакомое. Прямо за моей спиной сидело на скамье черное пальто в серую клетку. Я повернулся и, продолжая застегиваться, пригляделся к нему. Это был тот самый человек из метро — рыжая бородка, очки в блестящей металлической оправе, клетчатое пальто-перевертыш, — сидел себе одиноко на длинной белой скамье в почти пустом уже вестибюле больницы в Бирюлеве и читал какую-то книжку.

3

Спал я скверно, душили меня вязкие кошмары, будто читаю я какой-то японский текст, и все слова как будто знакомые, но никак не складываются они во что-нибудь осмысленное, и это мучительно, потому что необходимо, совершенно необходимо доказать, что я не забыл свою специальность, и временами я наполовину просыпался и с облегчением сознавал, что это всего лишь сон, и пытался расшифровать этот текст в полусне, и снова проваливался в уныние и тоску бес-силія...

Проснувшись окончательно, никакого облегчения я не ощутил. Я лежал в темной комнате и смотрел на потолок с квадратным пятном света от прожектора, освещающего платную стоянку внизу под домом, слушал шумы ранних машин на шоссе и с тоской думал о том, что вот такие длинные унылые кошмары принялись за меня совсем не-давно, всего два или три года назад, а раньше снились больше амуры да венеры. Видимо, эго уже наваливалась на меня настоящая старость, не временные провалы в апатию, а повое, стационарное состояние, из которого уже не будет мне возврата.

Ныло правое колено, ныло под ложечкой, ныло левое предплечье, все у меня ныло, и оттого еще больше было жалко себя. Во время таких вот приступов предрассветного упадка сил, которые случались со мной теперь все чаще и чаще, я с неизбежностью начинал думать о бесперспективности своей: не было впереди более ничего, на все оставшиеся годы не было впереди ничего такого, ради чего стоило бы превозмогать себя и вставать, тащиться в ванную и воевать с неисправным смесителем, затем лезть под душ уже без всякой надежды обрести хотя бы подобие былой бодрости, затем приниматься за завтрак... И мало того, что противно было думать о еде: раньше после еды ожидала меня сигарета, о которой я начинал думать, едва продрал глаза, а теперь вот и этого у меня нет...

Ничего у меня теперь нет. Ну, напишу я этот сценарий, ну, примут его, и влезет в мою жизнь молодой, энергичный и непременно глупый режиссер и станет почтительно и в то же время с наглостью поучать меня, что кино имеет свой язык, что в кино главное — образы, а не слова, и непременно станет он щеголять доморощенными афо-ризмами вроде: "Ни кадра на родной земле" или "Сойдет за мировоззрение"... Какое мне дело до него, до его мелких карьерных хлопот, когда мне наперед известно, фильм получится дерьмовый и что на студийном просмотре я буду мучительно бороться с желанием встать и объявить: снимите мое имя с титров...

И дурак я, что этим занимаюсь, давно уже знаю, что заниматься этим мне не следует, но, видно, как был я изначально торговцем псиной, так им и остался, и никогда теперь уже не стану никем другим, напиши я хоть сто "Современных сказок", потому что — откуда мне знать: может быть, и Синяя Папка, тихая моя гордость, непонятная надежда моя, — тоже никакая не баранина, а та же псина, только с другой живодерни...

Ну, ладно, предположим даже, что это баранина, парная, первый сорт. Ну и что? Никогда при жизни моей не будет это опубликовано, потому что не вижу я на своем горизонте ни единого издателя, которому можно было бы втолковать, что видения мои являют ценность хотя бы еще для десятка человек в мире, кроме меня самого. После же смерти моей...

Да, после смерти автора у нас зачастую публикуют довольно странные его произведения, словно смерть очищает их от зыбких двусмысленностей, ненужных аллюзий и коварных подтекстов. Будто неуправляемые ассоциации умирают вместе с автором. Может быть, может быть. Но мне-то что до этого? Я уже давно не пылкий юноша, уже давно миновали времена, когда я каждым новым сочинением своим мыслил осчастли-вить или, по крайности, просветить человечество. Я давным-давно перестал понимать, зачем я пишу. Славы мне хватает той, какая у меня есть, как бы сомнительна она ни была, эта моя слава. Деньги добывать проще халтурюю, чем честным писательским трудом. А так называемых радостей творчества я так ни разу в жизни и не удостоился. Что же за всем этим остается? Читатель? Но ведь я ничего о нем не знаю. Это просто очень много незнакомых и совершенно посторонних мне людей. Почему меня должно заботить отношение ко мне незнакомых и посторонних людей? Я ведь прекрасно со-знаю: исчезни я сейчас, и никто из них этого бы не заметил. Более того, не было бы меня вовсе или останься я штабным переводчиком, тоже ничего, ну, ничегошеньки в их жизни бы не изменилось ни к лучшему, ни к худшему.

Да что там Сорокин Эф. А.? Вот сейчас утро. Кто сейчас в десяти-миллионной Москве, проснувшись, вспомнил о Толстом Эль Эн? Кроме разве школьников, не приготовивших урока по "Войне и миру"... Потрясатель душ. Владыка умов. Зеркало русской революции. Может, и побежал он из Ясной Поляны потому именно, что пришла ему к концу жизни вот эта такая простенькая и такая мертвящая мысль.

А ведь он был верующий человек, подумал вдруг я. Ему было легче, гораздо легче. Мы-то знаем твердо: нет ничего ДО и нет ничего

ПОСЛЕ. Привычная тоска овладела мною. Между двумя НИЧТО проскакивает слабенькая искра, вот и все наше существование. И нет ни наград нам, ни возмездий в предстоящем НИЧТО, и нет никакой надежды, что искорка эта когда-то и где-то проскочит снова. И в отчаянии мы придумываем искорке смысл, мы втолковываем друг другу, что искорка искорке рознь, что одни действительно угасают бесследно, а другие зажигают гигантские пожары идей и деяний, и первые, следовательно, заслуживают только презрительней жалости, а другие есть пример для всяческого подражания, если хочешь ты, чтобы жизнь твоя имела смысл.

И так велика и мощна эйфория молодости, что простенькая приманка эта действует безотказно на каждого юнца, если он вообще задумывается над такими предметами, и только перевалив через некую вершину, пустившись неудержимо под уклон, человек начинает понимать, что все это — лишь слова, бессмысленные слова поддержки и утешения, с которыми обращаются к соседям, потерявшим почву под ногами. А в действительности, построил ты единую теорию поля или построил дачу из ворованного материала, — к делу это не относится, ибо есть лишь НИЧТО ДО и НИЧТО ПОСЛЕ, и жизнь твоя имеет смысл лишь до тех пор, пока ты не осознал это до конца...

Склонность к такого рода мрачным логическим умопостроениям появилась у меня тоже сравнительно недавно. И есть она, по-моему, предвестник если не самого старческого маразма, то, во всяком случае, старческой импотенции. В широком смысле этого слова, разумеется. Сначала такие приступы меня даже пугали: я поспешно прибежал к испытанному средству от всех скорбей, душевных и физических, опрокидывал стакан спиртного, и спустя несколько минут привычный образ искры, возжигающей пламень, — пусть даже небольшой, местного значения, — вновь обретал для меня убедительность неколебимого социального постулата. Затем, когда такие погружения в пучину вселенской тоски стали привычными, а от спиртного меня отлучили, я перестал пугаться и правильно сделал, ибо пучина тоски, как выяснилось, имела дно, оттолкнувшись от коего я неминуемо всплывал на поверхность.

Тут все дело было в том, что мрачная логика пучины годилась только для абстрактного мира деяний общечеловеческих, в то время как каждая конкретная жизнь состоит вовсе не из деяний, к которым только и применимо понятие смысла, а из горестей и радостей, больших и малых, сиюминутных и протяженных, чисто личных и связанных с социальными катаклизмами. И как бы много горестей ни

наваливалось на человека одновременно, всегда у него в запасе остается что-нибудь для согрева души.

Внуки у него остаются, близнецы, драчуны-бандиты чумазые, Петька и Сашка, и ни с чем не сравнимое умиленное удовольствие доставлять им радость. Дочь у него остается, Катька-неудачница, перед которой постоянно чувствуешь вину, а за что — непонятно, наверное, за то, что она твоя, плоть от плоти, в тебя пошла и характером, и судьбой. И бутылочка "пльзенского" в Клубе... Банально, я понимаю, — "пльзенское", так ведь и все радости банальны! А безответственный, для души, треп в Клубе, это что, не банально? А беспричинный восторг, когда летом выйдешь в одних трусах спозаранку в лоджию, и синее небо, и пустынное еще шоссе, и розовые стены домов напротив, и уже длинные синеватые тени тянутся через пустырь, и воробьи галдят в пышно-зеленых зарослях на пустыре? Тоже банально, однако никогда не надоедает.

Бывают, конечно, деятели, для которых все радости и горести воплощаются именно в деяниях. Их хлебом не корми, а дай порох открыть, Валдайские горы походом форсировать или какое другое кровопролитие совершить. Ну и пусть их. А мы — люди маленькие. С нас и воробьев по утрам предовольно. И вот что: не забыть бы сегодня хоть коробку шоколада для близнецов купить. Или игрушки...

Почувствовав себя на поверхности, я, не вставая, сделал несколько физкультурных движений (более для проформы), кряхтя, поднялся и нашарил ногами тапочки. Процедура мне предстояла такая: застелить постель, распахнуть настежь дверь в лоджию и подвигнуться на свершение утреннего туалета. Однако порядок был нарушен в самом начале. Едва я перебросил подушку в кресло, как задребезжал телефон. Я взглянул на часы, чтобы определить, кто звонит. Было семь тридцать четыре, и, значит, звонил Леня Шибзд.

— Здорово, — произнес он низким, подпольно-заговорщицким голосом. — Как дела?

— Охайо, — отозвался я. — Боцубоцу-са. Аригато.

— А на каком-нибудь человеческом языке ты не можешь? — спросил он.

— Могу, — сказал я с готовностью. — Эврисинг из окэй.

— Так бы сразу и сказал. — Он помолчал. — Ну, а чем у тебя все кончилось вчера?

— Ты о чем? — спросил я, насторожившись, потому что ни с того ни с сего мне вдруг вспомнился вчерашний человек в клетчатом пальто-перевертыше.

— Ну, эти твои дела... Куда ты вчера там ездил?

Я, наконец, сообразил, что он спрашивает всего-навсего о визите на Банную.

— М-мать... — сказал я. — Опять я папку где-то забыл!

Я стал лихорадочно вспоминать, где я мог забыть папку с бесмертной пьесой о Корягиных, а он все бубнил. Он бубнил о том, что есть слух, будто кто из писателей женат более трех раз, того снимают с очереди на квартиру в новом писательском доме, и будут предоставлять только освобождающуюся площадь. Леню Шибзда это задевало потому, что он был женат уже по четвертому разу.

— В ресторане я ее забыл! — проговорил я с облегчением.

— Кого? — спросил он, охотно прервавшись.

— Папку!

— Какую?

— Канцелярскую. Со шнурочками.

— А внутри? — напирал Шибзд.

— Слушай, — сказал я. — Отстань, а? Я только что встал, постель еще не застелена...

— У меня тоже... Так ты был вчера на Банной?

— Не был я на Банной! Не был!

— А где ты тогда был?

Помыслить было страшно — рассказать Шибзду о вчерашних моих похождениях. И не только потому, что вдруг уставились на меня из вчерашнего дня двустволичьи глаза Ивана Давыдовича и донеслось ядовито-предостерегающее шипение Кости Кудинова, поэта, и не потому даже, что ощущал я в этом всем какую-то пакость, мерзость какую-то. Проще, много проще! Ведь Шибзд — это человек, которого не интересует ЧТО. Его всегда интересует ПОЧЕМУ. Он душу из меня живую вынет, требуя разъяснений, а вынув, затолкает ее обратно как попало, излагая свои собственные чугунные версии, каждая из коих, как нарочно, объясняет один факт и противоречит всем прочим фактам...

— Леня, — сказал я решительно. — Извини, в дверь звонят. Это я водопроводчика вызвал.

С тем, не слушая протестов, я повесил трубку.

Вообще-то я люблю Леню Барина. Более того, я его уважаю. И прозвище такое я дал ему не за сущность его, а за наружность. Шибздик он — маленький, чернявенький, всегда чем-нибудь напуганный. Пишет он мучительно, буквально по несколько слов в день, потому что вечно в себе сомневается и совершенно искренне исповедует эту бредовую идею хрестоматийного литературоведения о том, что существует якобы одно-единственное слово, точнее всех прочих

выражающее заданную идею, и все дело только в том, чтобы постараться, напрячься, поднатужиться, не полениться и это одно-единственное слово отыскать, и вот таким-то только манером ты и со-здашь, наконец, что-нибудь достойное.

И никуда не денешься: литературный вкус у него великолепный, слабости любого художественного текста он вылавливает мгновенно, способность к литературному анализу у него прямо-таки редкостная, я таких критиков и среди наших профессионалов не знаю. И вот этот талант к анализу роковым образом оборачивается его неспо-собно-стью к синтезу, потому что сила писателя, на мой взгляд, не в том, чтобы уметь найти единственно верное слово, а в том, чтобы отбро-сить все заведомо неверные. А Леня, бедняга, сидит и день за днем мучительно, до помутнения в мозгах, взвешивает на внутренних весах своих, как будет точнее сказать: "она тронула его руку" или "она при-тронулась к его руке"... И в отчаянии он звонит за советом Вале, и же-стокий Валя Демченко, не теряя ни секунды, отвечает ему знамени-тым аверченковским: "Она схватила ему за руку и неоднократно спро-сила, где ты девал деньги...". И тогда он в отчаянии звонит мне, а я тоже не сахар...

Но есть, есть, между нами, некое сродство! Я уверен, что прочитай я ему из своей Синей Папки, он понял бы меня так, как, может быть, никто другой на свете, не понял бы и не принял бы. Только читать ему из Синей Папки никак нельзя. Ведь он же болтун, он как худое ведро, в нем ничего не держится. Это же любимое занятие его: собирать све-дения и затем распространять их кому попало и где попало, да еще и не-пременно с комментариями... При его великолепной памяти и с сумеречным его воображением... Нет, подумать страшно — читать ему из Синей Папки.

А вот он читал мне из своей повести, над которой тоже работает второй год, — про спринтера, гениального спортсмена и несчастного человека. Этот его герой бьет все рекорды на расстояниях до кило-метра, все им восхищаются, все ему завидуют, но никто не знает, по-чему он эти рекорды бьет. А дело в том, что на тартановой дорожке немедленно просыпается в нем слепой первобытный ужас преследуе-мого животного. Каждый раз рвется он к финишу, забыв в себе все разумное, все человеческое, с одной только целью — во что бы то ни стало спасти жизнь, оторваться и уйти от настигающей его своры хищников, стремящихся догнать, завалить и сожрать заживо. И вот он полу-чает призы, мировую известность, почести — и все за свою патологическую, атавистическую трусость, а человек он честный, и любит его славная девушка...

Мне нравятся такие повороты. Редакторам вот не нравятся, а мне нравятся. Это вам не бурный романчик между женатым начальником главка и замужним технологом на фоне кипящего металла и невыполнения плана по литью.

Размышляя о литературе, о сюжетах и о Шибзде Баринове, я уселся завтракать. Мною же придуманный ядовитый пример насчет бурного романчика вдруг занял мое воображение. Десятилетия проходят, исписываются тысячи и тысячи страниц, но ничего, кроме откровенной халтуры или, в лучшем случае, трогательной беспомощности, литература такого рода не демонстрирует.

И ведь вот что поразительно: сюжет-то ведь реально существует! Действительно, металл льется, планы невыполняются, и на фоне всего этого и даже в связи со всем этим женатый начальник главка действительно встречается с замужним технологом, и начинается между ними конфликт, который переходит в бурный романчик, и возникают жуткие ситуации, зреют и лопаются кошмарные нравственно-организационные нарывы, и все это вплоть до парткома...

Все это действительно бывает в жизни, и даже частенько бывает, и все это, наверное, достойно отображения никак не меньше, нежели бурный романчик бездельника-дворянина с провинциальной барышней, вплоть до дуэли. Но получается лажа.

И всегда получалась лажа, и между прочим, не только у нашего брата — советского писателя. Вон и у Хемингуэя высмеян бедняга халтурщик, который пишет роман о забастовке на текстильной фабрике и тщится совместить проблемы профсоюзной работы со страстью к молодой еврейке-агитатору. Замужний технолог, еврейка-агитатор... Язык человеческий протестует против таких сочетаний, когда речь идет об отношениях между мужчиной и женщиной. "Молодая пешеход добежал до переход..."

У меня вот в "Товарищах офицерах" любовь протекает на фоне политико-воспитательной работы среди офицерского состава Н-ского танкосамородного полка. И это ужасно. Я из-за этого собственную книгу боюсь перечитывать. Это же нужен какой-то особенный читатель — читать такие книги! И он у нас есть. То ли мы его выковали своими произведениями, то ли он как-то сам произрос — во всяком случае, на книжных прилавках ничего не залеживается.

Я пил кефир, стоя перед окном. Светало, и был мороз. Деревья и кустарники — все было белое. Гасли огни в доме напротив, спешили к автобусной остановке черные человечки по нерасчищенным тропинкам среди сугробов. Машины неслись, подфарники у некоторых были уже погашены.

Потому что нет в наше время любви, подумал вдруг я. Романчики есть, а любви нет. Некогда в наше время любить: автобусы переполнены, в магазинах очереди, ясли на другом конце города, нужно быть очень молодым и очень беззаботным человеком, чтобы оказаться способным на любовь. А любят сейчас только пожилые пары, которым удалось продержаться вместе четверть века, не потонуть в квартирном вопросе, не озвереть от мириад всеразъедающих мелких неудобств, полюбовно поделить между собой власть и обязанности. Вот как Валя Демченко со своей Сонечкой. Но такую любовь у нас не принято воспевать. И слава богу. Воспевать вообще ничего не надо. Костя Кудинов пусть воспевает. Или Ойло Союзное...

— Однако все это философия, а не пора ли за работу? — произнес я вслух.

И я стал мыть посуду. Я не выношу, когда у меня в мойке хоть одна грязная тарелка. Для нормальной работы необходимо, чтобы мойка была чиста и пуста. Особенно, когда речь идет о работе над сценариями или над статьями. Я люблю писать сценарии. Из всех видов литературной поденщины мне более всего по душе переводы и сценарии. Может быть, потому что в обоих этих случаях мне не приходится взваливать на себя всю полноту ответственности.

Приятно все-таки сознавать, что за будущий фильм в конечном счете отвечает режиссер — человек, как правило, молодой, энергичный, до тонкости понимающий, что кино имеет свой язык и главное в кино — не слова, которые я сочиняю, а образы, которые изобретает он. А если что-нибудь не так, он махнет рукой и скажет беспечно: "А, сойдет за мировоззрение!" А что касается другого его афоризма — "Ни кадра на родной земле", — то пусть-ка он попробует отснять кадры танковой атаки где-нибудь на Елисейских полях! И фильм у него, в конце концов, получится. Это будет не Эйзенштейн и не Феллини, конечно, но смотреть его будут, и я сам посмотрю не без интереса, потому что и в самом деле интересно же, как у него получилась моя танковая атака.

(Я человек простой, я люблю, чтобы в кино — но только в кино! — была парочка штурмбанфюреров СС, чтобы огонь велся по возможности из всех видов стрелкового оружия и чтобы имела место хоррошшая танковая атака, желательно массируемая... Киновкусы у меня самые примитивные, такие, что Валя Демченко называет их совокупность инфантильным милитаризмом.)

Я сел за машинку и писал, почти не прерываясь, два с лишним часа, пока не раздался снова телефонный звонок.

Солнце давно уже било в комнату, и было мне жарко, и был я в запале, и в телефонную трубку не сказал я, а рявкнул. Однако это оказался наш Федор Михеич, и мне, японисту, свято соблюдающему принцип "сяо", немедленно пришлось взять тоном ниже.

Слава богу, разговор пошел вовсе не о Банной. Михеич осведомился, известно ли мне о конфликте между Олегом Орешиным и Семеном Колесниченко. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы переключиться, а затем я сказал, что да, знаю я об этом конфликте, была у нас такая склока на приемной комиссии в прошлом месяце. Тогда Михеич сообщил, что Орешин подал на Колесниченко жалобу в секретариат и что он, Михеич, хотел бы знать мое, Сорокина, мнение по этому конфликту.

— Дурак он и склочник, этот Орешин, — ляпнул я, не сдержавшись, в который уже раз позабыв твердое свое решение никогда не вмешиваться, не впутываться и не вступаться.

Михеич сурово указал мне, что это не ответ, что от меня ждут не брани-ругани, что от меня ждут объективного мнения по конкретному делу.

Ну, какое объективное мнение могло быть у меня по этому делу? На прошлом заседании приемной комиссии этот Олег Орешин, холерный и гладкий мужчина лет пятидесяти, в отлично сшитом костюме, сверкая запонками, толстым кольцом и золотым зубом, потребовал вдруг слова и провозгласил жалобу на прозаика Семена Колесниченко, который совершил злостный плагиат. У кого? Да у него, Олега Орешина, поэта-баснописца, члена приемной комиссии, лауреата специальной премии журнала "Станкостроитель". Он, Олег Орешин, два года назад опубликовал в упомянутом журнале сатирическую басню "Медвежьих хлопоты". Каково же было его, Олега Орешина, изумление, когда буквально на днях в декабрьском номере журнала "Надежный транслятор" он прочитал повесть "Поезд надежды", переведенную с иврита, в точности повторяющую всю ситуацию, весь сюжет и всю расстановку действующих лиц его, Олега Орешина, басни "Медвежьих хлопоты"! Пораженный, он предпринял самостоятельное расследование и установил, что упомянутый С. Колесниченко, производя плагиат, написал повесть, а потом подсунил ее в редакцию журнала под видом перевода с иврита. С. Колесниченко при этом обманул редакцию, сказавши, что перевод повести прогрессивного израильского писателя имярека осуществил якобы его прикованный к постели друг и т. д., и т. д., и т. п. Он, Олег Орешин, требует, чтобы его товарищи по приемной комиссии помогли ему и т. д., и т. д., и т. п.

Самым фантастическим в этой бредовой истории было то, что по меньшей мере треть приемной комиссии горячо приняла к сердцу жалобу О. Орешина и тут же стала с живостью предлагать меры одна другой жутче. Однако силы разума возобладали. Председатель наш, моментально сообразив, что волочь эту склоку на горбу придется лично ему, очень строго объявил: он лично понимает возмущение товарища Орешина, но дело это в компетенцию приемной комиссии никак не входит, и отвлекаться на него приемная комиссия никак не может.

Я, грешным делом, подумал тогда, что тем все и кончится. Но нет, видимо, пределов человеческой глупости. Не кончилось это дело. Впрочем, Михеич был прав: бранью-руганью, как и бесплодными сентенциями по поводу пределов глупости, здесь не обойдешься. Я подобрался и, тщательно взвешивая слова, высказался в том смысле, что аргументы Олега Орешина для меня не убедительны. Превращение басни в повесть, даже если таковое имело место, лежит, по моему мнению, за гранью понятия о плагиате. Мне, с другой стороны, бывалому переводчику, было бы очень интересно узнать, как это Колесниченко удалось выдать свое собственное произведение за перевод. На мой взгляд, это просто невозможно.

Вот это была речь не мальчика, но мужа. Михеич выслушал ее, не перебивая, поблагодарил и повесил трубку. О Банной так и не было вспомнено.

Я вылез из-за стола, открыл дверь в лоджию и постоял на пороге в лучах солнца. Я чувствовал себя опустошенным, усталым и убого-творенным. Так или иначе, а сегодняшней урок был выполнен, и даже с походом. Теперь можно было с чистой совестью упрятать сценарий в стол, накрыть машинку и спуститься за газетами. Что я и сделал.

Кроме газет, пришло мне два письма. Одно официальное, из Клуба, приглашали меня на концерт неизвестного мне барда, и я подумал, что приглашение это надо отдать Катьке — может быть, ей это будет интересно.

Второй конверт был самодельный, из плотной коричневой бумаги, клапан его был заклеен скотчем, адрес с прибавлением "лично, в собственные руки!" написали черной тушью, а вот обратного адреса не написали.

Я терпеть не могу писем без обратного адреса. Они приходят нечасто, но каждый раз содержат какую-нибудь пакость или неприятность, или источник дополнительных хлопот и беспокойств. С

досадой я полез в стол за ножницами, но тут опять раздался телефонный звонок.

На этот раз звонила Зинаида Филипповна, она кротко напомнила мне, что очередное заседание приемной комиссии через десять дней, я же до сих пор не взял у нее книги для ознакомления. Я спросил, много ли народу предстоит обсудить. Оказалось: двух прозаиков, двух же драматургов, трех критиков и публицистов и одного поэта малых форм, всего же восьмерых. Я спросил, что это такое — поэт малых форм. Она ответила, что никто этого толком не знает, но именно с этим поэтом ожидается скандал. Я пообещал зайти на днях.

Опять скандал. Вот бы, о чем написать, подумал я. Типичное заседание приемной комиссии. Сначала, чтобы спихнуть с плеч долой, обсуждается дело какого-то бедолаги по секции научно-популярной литературы. Докладчик произносит негодующую речь против, при этом все время путает батисферу со стратосферой и батискаф с пироскафом. Комиссия слушает в молчаливом ужасе, некоторые украдкой крестятся, слышит-ся: "Чур меня, чур!". Общий пафос докладчика: "Где же здесь литература?". Второй докладчик краток и честен: ни одной книжки претендента до конца прочитать не сумел, ничего не понял, инфузории-лепрозории, претендент — доктор наук, ну на кой ляд ему членство в Союзе?.. Выступает председатель: Космос, век НТФ (он имеет в виду НТР), нельзя забывать, что авторитет нашей организации... высокая литерату-ра... Антон Павлович Чехов... Лев Толстой... Александр Сергеевич. Диван Диваныч... Претендента проваливают при тайном голосовании с одним-единственным "за".

Второй претендент — медик, хирург, прямая кишка, но влюблен в наше село. Докладчик с неспящими глазами шумно восхищается этой любовью и пересказывает два блистательных сюжета из претендента. Едет мужик на подводе по лесу, и вдруг — тигр. (Рязанская область, село Мясное.) Мужик — бежать. Тигр — за ним. Мужик залез по шею в прорубь, а тигр сел на краю и всю ночь над ним всхрапывал, а потом оказалось, что тигр бежал из зоопарка, но без людей не может, вот и привязался к мужику... Всеобщее восхищение, добродушный смех, одобрительные возгласы. Следует второй сюжет: мужик пришел к врачу с жалобой на внутреннюю болезнь, а врач попросил его принести анализы. Мужик же решил, что с него требуют взятку, и напи-сал в прокуратуру. Однако оказался рак, врач его успешно оперирует, мужик спасен, но тут прямо в операционную приносят по-вестку из прокуратуры... Снова восхищение и одобрительные возгласы, один из лейб-гвардейцев плачет от смеха, уткнувшись лицом мне в плечо. Второй докладчик растроганным голосом читает из

претендента описание сельской местности; восхищение и одобрение преобразуются в громовое сюсюканье и водопадные всхлипывания, после чего претендента опять-таки проваливают, но уже при трех "за". Все смущены. Лейб-гвардеец объясняет мне: "Ну, не знаю. Я как был "за", так и голосовал "за"...". Потом принимаются за бывшего министра коммунального хозяйства одной южной республики, выпустившего в подарочном издании роскошный том — что-то вроде "Развития прачечного дела от царицы Тамар до наших дней".

Тут размышления мои вновь были прерваны телефонным звонком. Федор Михеич произнес озабоченно:

— Извини, Феликс Александрович, что я опять тебя отрываю... Ты как вчера — на Банной был?

— Да, — сказал я, — А как же... Все отвез в лучшем виде.

— Ну, спасибо. Тогда у меня все.

Федор Михеич повесил трубку, а я встал из кресла и пошел прямо в прихожую надевать башмаки. И только уже одевшись, обмотавшись шарфом и напялив шапку, перчатки уже натянув и даже взявшись уже за барабанчик замка, вспомнил я, слава богу, что подопытная-то рукопись моя осталась вчера в Клубе... и если я сейчас заеду за нею в Клуб...

Я вернулся в комнату, кряхтя, достал наугад какую-то папку потоньше из малого архива, что у меня под столом (черновики переводов, вторые экземпляры аннотаций на японские патенты, черновики рецензий и прочая макулатура), обвязал ее для прочности веревочкой, кое-как засунул в карман куртки коричневый конверт без обратного адреса (прочитать по дороге) и вышел вон.

Дом на Банной оказался серый, бетонный, пятиэтажный. Левое крыло его было обстроено лесами, леса же были забиты снегом и пусты. Средняя часть фасада выглядела достаточно свежо, а правое крыло впору было уже снова ремонтировать. Подъезд был один — посередине фасада. Дверной проем был широкий и, по замыслу архитектор-ров, должен был пропускать одновременно шесть потоков входящих и исходящих, однако, как водится, из шести входных секций функционировала лишь одна, прочие же были намертво заперты, а одна даже забита досками, кокетливо декорированными под палитру неряшливого живописца. И, как водится, справа и слева от дверного проема красовались разнокалиберные стеклянные вывески с названиями учреждений, так что вовсе не сразу обнаружил я скромную вывеску с серебряной надписью: "Институт лингвистических исследований АН СССР".

Не без труда протиснувшись через функционирующую секцию, я некоторое время блуждал среди темных кулис в толпе таких же бедолаг, как я. Здесь было темно, тре-возно, а под ногами намесили столько снега, что из опасения упасть мы все придерживалась друг за друга.

Вырвавшись, наконец, на оперативный простор, я оказался перед широчайшей лестницей, которая возвела меня в огромный круглый зал высотой во все пять этажей. Середина этого зала была разгорожена на многочисленные деревянные клетушки, сверху, через решетчатую стеклянную крышу, просачивался серенький дневной свет, слова от меня стеклянный киоск торговал изопродукцией, а справа продавали жареные пирожки и бисквит с повидлом.

Куда идти дальше, я даже представить себе не мог, а когда попытался выяснить это у тех, с кем плечом к плочу прорывался через кулисы, оказалось, что все они пришли сюда за бисквитом — кроме одного старичка, которого послали за пирожками,

Старуха в киоске сказала, что работает здесь всего второй день. И лишь покрашенная дамочка без пальто и с разносной книгой под мышкой послала меня направо и вверх, и там, на первой лестничной площадке, я обнаружил указатель.

Мне надо было на третий этаж, и я начал восхождение по железной винтовой лестнице, где опять было темно и тревожно, подошвы соскальзывали с неравновеликих ступенек, навстречу кто-то тяжело и страшно пыхтел, норовя столкнуть меня вниз, или с придушенным женским визгом дробно грохотал, поскользнувшись. А снизу вверх подпирало меня в спину чем-то твердым, неодушевленным, деревянным, судя по ощущению, и изрыгающим невнятную брань.

Впрочем, всему приходит конец. Я оказался на площадке третьего этажа, пыхтя, отдуваясь, размышляя, не принять ли нитроглицерин, и тут в последний раз меня саданули пониже спины, и невнятный голос осведомился: "Ну, чего встал, стояло?", и мимо меня пронесли деревянную стремянку, да такой длины, что я глазам не поверил: как могли протащить такое по винтовой лестнице?

Положив под язык крупинку нитроглицерина, я огляделся. На площадку выходили, как в сказке, три двери: направо, налево и прямо. Судя по вывеске, мне надо было направо, и направо я пошел и за дверью обнаружил столик, а на столике — лампочку, а за лампочкой — старушку с вязаньем. Она взглянула на меня добродушно-вопросительно, и мы поговорили. Старушка была полностью в курсе. Писателям полагалось приходиться в комнату номер такую-то, через конференц-зал, а до конференц-зала идти поэтому вот коридору,

никуда не сворачивая, да и сворачивать здесь особенно некуда, разное что в буфет, так буфет еще закрыт. Я поблагодарил и тронулся, а старушка сказала мне вслед: "Только там собрание...", и я, хоть и не понял ее, но на всякий случай обернулся и благодарно ей покивал.

Коридор. Нечасто встретишь теперь такие коридоры. Этот коридор был узкий, без окон, с таинственными зарешеченными отдушниками под потолком, с глухими железными дверями, возникающими то справа, то слева, выстланный скрипучими неровными досками, опасно подающимися под ногой. И не прямым был этот коридор, он шел классическим фортификационным зигзагом, причем каждый отрезок зигзага не превышал двадцати метров. Здесь все было рассчитано на тот случай, когда панцирной пехоте противника удалось сломить наше сопротивление на винтовой лестнице и она, пехота, опрокинув старушку с ее столиком, ворвалась сюда, еще не зная, какая страшная ловушка ей здесь уготована: из отдушин под потолком на нее изливаются потоки кипящего масла; распахнувшиеся железные двери оцетиниваются копьями с иззубренными наконечниками шириной в ладонь; доски под ногами рушатся; и из-за каждого угла зигзага поражают ее в упор беспощадные стрелки... Я весь испариной покрылся, пока дошел до конца этого коридора.

Как и предсказала честная старуха, коридор вышел в конференц-зал. Но только здесь дошел до меня смысл ее последних слов. В конференц-зале действительно происходило какое-то собрание, скорее всего — общее, потому что яблоку было негде упасть от сидящего и стоящего народа. Я вынужден был остановиться на пороге. Дальше пути не было.

Сначала я не воспринял это собрание как помеху моим намерениям. Собрание как собрание, стол с зеленой скатертью, графин с водой, с трибуны кто-то что-то говорит, а по меньшей мере три сотни гавриков и гавриц при сем присутствуют (вместо того, чтобы двигать научно-технический прогресс). Привстав на цыпочки, я озираю окрестности поверх моря голов до тех пор, пока не обнаружил в дальнем от себя углу зала малоприметную дверь, над которой красовалось белое полотнище с черной надписью: "Писатели — сюда". Вот только тогда я начал осознавать размеры постигшей меня неудачи.

О том, чтобы пробиться к этой двери через собрание, не могло быть и речи, я не Бэнкэй, чтобы шагать по головам и по плечам в битком набитом храме, я этого не умею и не люблю. О том, чтобы гордо повернуться и уйти, тоже не могло быть речи, я уже зашел слишком далеко. Логически рассуждая, оставалось только одно: ждать, уповая на то, что нет собраний, которые длились бы вечно.



Придя к такому выводу, я сразу додумал о буфете. Где-то позади, за одной из этих страшных железных дверей, давали ватрушки, бутерброды с колбасой, пепси-колу, а может быть, даже и пиво. Я поглядел на часы. Без десяти три было на моих, и если буфету вообще суждено было сегодня открыться, то скорее всего через десять минут. Десять минут можно было и перетерпеть. Я перенес тяжесть тела на одну ногу, уперся плечом в косяк и стал слушать.

Очень скоро я понял, что присутствую на товарищеском суде. Обвиняемый, некий Жуковицкий, взял манеру делать несчастными молодых сотрудниц своего отдела. Вначале это сходило ему с рук, но

после третьего или четвертого случая терпение общественности лопнуло, преступления возопили к небесам, а жертвы возопили к местному. Обвиняемый, наглой красоты мужчина в сверкающей хромовой курточке, сидел, набычившись, на отдельном стуле слева от президиума и вид являл упорствующий и нераскаянный, хоть и покорный судьбе.

В общем, дело показалось мне пустяковым. Ясно было, что вот сейчас кончит болтать член месткома, затем вылезет на трибуну зав. отделом и распнет подсудимого на кресте общественного порицания, и тут же, без перехода, попросит суд о снисхождении, потому что в отделе у него одни девы и каждый сотрудник-мужчина на вес золота; потом председательствующий в краткой энергичной речи подведет черту, и все ринутся в буфет.

Ожидая этого неминуемого, как мне казалось, развития событий, я принялся разглядывать лица — любимое мое занятие на собраниях, совещаниях и семинарах. И уже через минуту, к изумлению своему, обнаружил в пятом ряду, прямо напротив президиума, шелушащуюся ряжку Ойла моего Союзного, Петеньки Скоробогатова, и унылый профиль его дружка-бильярдиста. Оба имели такой вид, словно сидят здесь с самого начала, прочно и по праву. Бильярдист сидел смирно и только лупал глазами на президиум: видно, зеленое сукно скатерти вызывало в нем приятные ассоциации. Ойло же Союзное был невероятно активен. Он поминутно поворачивался к соседке справа и что-то ей втолковывал, потрясая толстым указательным пальцем; потом всем корпусом устремлялся вперед, всовывал голову свою между головами соседей впереди и что-то втолковывал им, причем приподнятый толстый зад его совершал сложные эволюции; потом, словно бы вполне удовлетворенный понятливостью собеседников, откидывался на спинку своего стула, скрещивал руки на груди и, чуть повернув ухо, благосклонно выслушивал то, что принимались шептать ему соседи сзади.

С трибуны неслоь:

— ...и в такие дни, как наши, когда каждый из нас должен отдать все свои силы на развитие конкретных лингвистических исследований, на развитие и углубление наших связей со смежными областями науки, в такие дни особенно важно для нас укреплять и повышать трудовую дисциплину всех и каждого, морально-нравственный уровень каждого и всех, духовную чистоту, личную честность...

— И животноводство! — вскричал вдруг требовательно Петенька Скоробогатов, вскинув вперед и вверх вытянутую руку с указательным пальцем.

По аудитории пронесся невнятный гомон. На трибуне смешались.

— Безусловно... это бесспорно... и животноводство тоже... Но что касается конкретно товарища Жуковицкого, то мы не должны забывать, что он наш товарищ...

Ай да Ойло Союзное! Нет, как хотите, а что-то человеческое, что-то такое с большой буквы в нем, безусловно, есть. Невзирая на его порсячьи, вечно неспянные глазки. Невзирая на постоянный запах перегара, образующий как бы его собственную атмосферу. Невзирая на беспримерную бездарность и халтурность его сочинений для школьников. Невзирая на его обыкновение подсаживаться без приглашения и наливать без спросу... (Впрочем, тут я не нрав. Конечно, Ойло, как правило, ходит без денег, потому что всегда в пропое. Но уж когда у него есть деньги!.. Подходи любой, ешь-пей до отвала и с собой уноси.) Он выдумщик, вот что его извиняет. Воплотитель в практи-ку самых невозможных фантазий, какие бывают разве что в анекдотах.

Однажды в Мурашах, в Доме творчества, дурак Рогожин публично отчитал Ойло за повышение голоса в столовой, да еще вдобавок прочитал ему мораль о нравственном облике советского писателя. Ойло выслушал все это с подозрительным смирением, а наутро на обширном сугробе прямо перед крыльцом дома появилась надпись: "Рогожин, я Вас люблю!". Надпись эта была сделана желтой брызчатой струей, достаточно горячей, судя по глубине проникновения в сугроб.

Теперь, значит, представьте себе такую картину. Мужская половина обитателей Мурашей корчится от хохота. Ойло с каменным лицом расхаживает среди них и приговаривает: "Это, знаете ли, уже безнравственно. Писатели, знаете ли, так не поступают...". Женская половина брезгливо морщится и требует немедленно перекопать и закопать эту гадость. Вдоль надписи, как хищник в зоопарке, бегают взад и вперед Рогожин и никого к ней не подпускает до прибытия следственных органов. Следственные органы не спешат, зато кто-то услужливо делает для Рогожина (и для себя, конечно) несколько фотоснимков: надпись, Рогожин на фоне надписи, просто Рогожин и снова надпись. Рогожин отбирает у него кассету и мчит в Москву. Сорок пять минут на электричке, пустяк.

С кассетой в одном кармане и с обширным заявлением на Петеньку — в другом Рогожин устремляется в наш секретариат возбуждать персональное дело о диффамации. В фотолаборатории Клуба ему в два счета изготавливают дюжину отпечатков, и их он с негодованием выбрасывает на стол перед Федором Михеичем. Кабинет Федора Михеича как раз в это время битком набит членами правления,

собранными по поводу какого-то юбилея. Многие уже в курсе. Стоит гогот. Фотографии разбегаются по рукам и в большинстве своем исчезают.

Федор Михеич с каменным лицом объявляет, что не видит в надписи никакой диффамации. Рогожин теряется лишь на секунду. Диффамация заключена в способе, коим произведена надпись, заявляет он. Федор Михеич с каменным лицом объявляет, что не видит никаких оснований обвинять именно Петра Скоробогатова. В ответ Рогожин требует графологической экспертизы. Все валятся друг на друга. Федор Михеич с каменным лицом выражает сомнение в действительности графологической экспертизы в данном конкретном случае. Рогожин, горячась, ссылается на данные криминалистической науки, утверждающей, якобы, будто свойства идеомоторики таковы, что почерк личности остается неизменным, чем бы личность ни писала. Он пытается продемонстрировать этот факт, взявши в зубы шариковую ручку, чтобы расписаться на бумагах перед Федором Михеичем, угрожает и вообще ведет себя безобразно.

В конце концов Федор Михеич вынужден уступить, и на место происшествия выезжает комиссия. Петенька Скоробогатов, прижатый к стене и уже слегка напуганный размахом событий, сознается, что надпись сделал именно он. "Но не так же, как вы думаете, пошляки! Да разве это в человеческих силах?" Уже поздно. Вечер. Комиссия в полном составе стоит на крыльце. Сугроб еще днем перекопан и девственно чист. Петенька Скоробогатов медленно идет вдоль сугроба и, ловко орудуя пузатым заварочным чайником, выводит: "Рогожин, я к Вам равнодушен!". Удовлетворенная комиссия уезжает. Надпись остается.

Каков Скоробогатов, Ойло мое Союзное!?

Громовой возглас: "И животноводство!" — вернул меня к настоящему. Суд продолжался. Возглас исторгся из груди бильярдиста, пробудившегося вдруг к активности. Пока я предавался воспоминаниям, что-то изменилось. С трибуны говорили почему-то о какой-то шубе. О дорогой шубе. Об импортной шубе. Шуба была украдена. Шуба была украдена нагло, вызывающе. Кажется, собрание призывалось не воровать шубы. О жертвах сластолюбия и распущенности с трибуны больше не поминали, история же с шубой каким-то таинственным образом реабилитировала обвиняемого. Он уже не сидел с видом покорности судьбе, он распрямился и, упершись ладонями в расставленные колени, с вызовом и осудительно смотрел в сторону президиума. Члены президиума от него отворачивались, и один из них был значительно краснее остальных.

Я взглянул на часы. Было уже начало четвертого. Имело смысл поискать буфет, но тут мимо меня в коридор выскользнули двое юношей, бледных, со взором горящим, вынули сигареты и закурили, жадно затягиваясь. Что бросилось мне в глаза, так это противоестественное их оживление, бодрость какая-то, азарт. Никакого утомления, никакой скуки, — напротив, они явно стремились как можно скорее проглотить свою порцию никотина и вернуться в зал. В жизни своей не видел, чтобы люди были так захвачены собранием.

Я спросил их, как долго, по их мнению, еще продлится это словоблудие. Я видел, что это выражение их покорило. Очень сухо они объяснили мне, что собранно сейчас в самом разгаре и вряд ли окончится раньше конца работы. Потом один из них догадался: "Вы писатель, наверное?" — "Увы", — сознался я. "А как ваша фамилия?" — с юношеской непосредственностью осведомился другой. "Тургенев", — сказал я и пошел домой.

Проклиная по дороге все собрания самым страшным проклятием, я зашел на Петровке в игрушечный магазин, купил близнецам-бандитам по автомобилю и вступил в свою квартиру уже вполне в духе. На кухне шуровала Катька. Мой изголодавшийся нос пришел в восторг и немедленно сообщил этот восторг всему моему организму: на кухне тушилось мясо по-бургундски.

Пока я раздевался, Катька вылетела из кухни, подставила мне горячую щеку и, держа лоснящиеся от готовки руки, как хирург перед операцией, с ходу принялась возбужденно мне рассказывать что-то о своих делах на службе.

Сначала я слушал ее вполслуха, потому что уже в который раз поразился: такая хорошенькая, такая, черт подери, пикантная молодая женщина, этакая гаврица — и неудачница! Как это может быть? Нелепость какая-то. Всегда я считал, что женщина с изюминкой просто обречена на успех, и вот на тебе... Тридцать лет. Двое детей. Первый муж растворился в воздухе. Второй муж барахло, слизняк какой-то непросяхающий. На работе конфликты. Диссертация три года как готова, а защититься не может. Несообразно все это, необъяснимо...

Машинально я пошел за нею в кухню и вдруг осознал, что говорит Катька какие-то странные вещи, непосредственно до меня касающиеся.

Оказывается, сегодня, после обеденного перерыва, ее вызвал к себе кадровик и устроил ей форменный допрос. Большой частью вопросы были обыкновенные, анкетные, но между ними, как бы невзначай, проскакивали вопросы, не лезущие ни в какие ворота. Чуткая Катька сразу же засекала их, не подавая виду, запомнила и сейчас

добросовестно, один за другим мне пересказывала... С какого возраста она помнит своего отца, то есть меня? Была ли когда-нибудь у него на родине, то есть в Ленинграде? Знает ли кого-нибудь из доверенных друзей отца? Встречался ли при ней отец с кем-нибудь из этих друзей? Рассказывал ли ей отец о судьбе дома в Ленинграде, где вырос и жил до войны?..

Отбарабанивши все это, она замолчала и посмотрела на меня выжидательно. Я тоже молчал, с ужасом чувствуя, как лицо мое залива­ется краской, а глаза уезжают в угол самым подозрительным образом. Ощущал я себя полным идиотом.

— Пап, ты, может быть, опять что-нибудь натворил? — спросила она, понизив голос.

Она была напугана, а реакция моя на ее рассказ напугала ее еще более. Я же только сопел в ответ. Тысячи слов рвались у меня с языка, но все они, как назло, были мелодраматические, фальшивые и пред­полагали жесты вроде простиранья дланей, задиранья очей горе и прочей шиллеровщины. Потом вдруг страшная мысль озарила меня: что, если "там" снова напечатали меня помимо ВААПа? Ну что за сво­лочи, в самом деле! И меня прорвало:

— Чушь проклятая! — гаркнул я, — Не было ничего и быть не могло! Что ты на меня глаза вытаращила? Ну, настучала какая-ни­будь стерва... Мало ли что... Зачем он тебя вообще вызывал? Он тебе сказал, зачем он тебя вызывал?

— Побеседовать, — сказала Катька. — Я, может быть, в Ганду по­еду...

— В какую еще Ганду? В Африку? А бандитов куда?

Но у нее, оказывается, все было продумано. Бандитов забирает Клара, квартиру она сдает Щукиным, собрания сочинений буду выку­пать я. Мне все это дико не понравилось. Если бандиты будут у Клары, то как же я с ними буду видеться? Не желаю я встречаться с Кларой и с ее генералом, не желаю выкупать собрания сочинений... А потом — как же Альберт? Его тоже забирает Клара? Ах, мужа все равно перево­дят в Сызрань? Прелестно! Поздравляю! Опять двадцать пять по сле­дам мамыши. Впрочем, дело твое. Но имей в виду, что в Ганде сейчас стреляют!

Ну, она знает, как со мной обращаться. Пока я шипел и испарялся, она ловко навалила мне полную тарелку мяса с грибами, тушеного в красном вине, и усадила за стол. Я крякнул, смягчился, бросил на нее последний взгляд, полный родительского упрека, и взялся за вилку.

— А ты чего же? — как обычно, спохватился я с уже набитым ртом.

— А я уже, — как обычно, ответила она, встала коленками на стул и, отключив круглую задницу, упершись локтями в стол, очень довольная, стала смотреть, как я ем.

— Раз в Ганду, — прочавкал я, — тогда не бери себе в голову. Это просто кадровик уже и сам не знает, о чем спрашивать. Про мать спрашивал?

— Спрашивал.

— Ну вот! Отрежь-ка мне булочки.

— Про мать спрашивал, почему она с тобой развелась, — сказала Катька, нарезаая булку.

Я с трудом удержался, чтобы не грохнуть ножом и вилкой об стол: что за свинство, какое его собачье дело? Но потом подумал: да провались они все пропадом, мне-то что до них? А если Катьку в Ганду не пошлют, так тем лучше. Не хватало мне еще Катьки в Ганде, где идет пальба и толпы фанатиков поливают друг друга напалмом...

— Странные все какие-то вопросы были, — произнесла Катька тихо. — Необычные. Пап, у тебя в самом деле все в порядке? Ты не скрываешь?

Вот почему никогда не дам я собственной своей, единственной и любимой дочери хоть страничку прочитать из Синей Папки. Как обожгло ее страхом после той статейки Брыжейкина о "Современных сказках", когда увезли меня с первым моим настоящим приступом стенокардии, так и осталась она до сих пор словно порченная. И сейчас вот — улыбается, острит, хвост пистолетом, а в глазах все тот же страх. Помню я эти глаза, когда в больнице сидела она возле моей койки...

Я успокоил ее, как умел, мы стали пить чай. Катька рассказывала про близнецов-бандитов, я рассказал про Петеньку Скоробогатова и про собрание, сделалось очень уютно, и неприятно было думать, что через четверть часа Катька соберется и уйдет. Потом я спохватился, отдал ей автомобили для бандитов и приглашительный билет на барда. Билет она приняла с восторгом и стала мне рассказывать про этого барда, какой он сейчас знаменитый, а я слушал и думал, как бы это поделикатнее дать ей понять, что про ателье и шубу (опять шуба!) я совсем не забыл, помню я про шубу, хотя она, Катька, мне о ней и не напоминает, просто с духом мне никак не собраться... Забрехала тут у меня надежда, что в связи с командировкой в Ганду вопрос о шубе увянет сам собой: в самом деле, ну зачем ей шуба в этой Ганде?

Она уже одевалась, когда зазвонил телефон. Пришлось проститься наспех, и я взял трубку. Кирие элейсон! Господи, спаси нас и помилуй! Звонил О. Орешин.

Он звонил мне с тем, чтобы я сейчас же и немедленно, прямо и недвусмысленно выразил свое положительное отношение к справедливой его, Орешина, борьбе против беспардонного плагиатора Семена Колесниченко. Заручившись моим положительным отношением, а он не скрывает, что я не первый, к кому он обращается за поддержкой, уже несколько авторитетных членов секретариата обещали ему полное содействие в беспощадной борьбе против плагиатчиков, без какого содействия, конечно же, немыслима сколько-нибудь реальная надежда на успех в разоблачении мафии плагиатчиков...

Я с болезненным даже любопытством ждал, как он будет выбираться из этой синтаксической спирали Бруно, я готов был пари держать, что он уже забыл, с чего начался у него этот невероятный период, однако не на таковского я напал.

Так вот, заручившись моим положительным отношением, он, Орешин, на предстоящем заседании секретариата сумел бы поставить вопрос о мафии плагиатчиков с той резкостью и остротой, которой так не хватает нам, когда речь идет о людях, формально являющихся нашими коллегами, в то время как они морально и нравственно...

Я осторожно положил трубку на стол, принес стакан "бжни" и принял сустан. Олег Орешин все бубнил. Я снова попытался понять его психологию. Откровенно говоря, месяц назад, в момент возгорания сыр-бора, он показался мне явлением скорее зоологическим. Но теперь я понимаю, что ошибся. Не был он зоологическим явлением. Более того, не был он и политическим демагогом. Он, по-видимому, искренне был потрясен тем, что вот он в муках, а может быть, и в порыве неистового вдохновения создал морально-нравственную ситуацию, пригвоздив к позорному столбу грубых и алчных медведей, а также ловких и пронырливых зайцев, и вдруг — пожалуйста! — возникает какой-то Колесниченко, ловкач, этакий мотылек, литературный паразит по призванию, ни мук творчества у него не бывает, ни вдохновения, а просто зоркие глаза да загребушие лапы — хватается то, что плохо лежит, тяп-ляп, быстренько перелопачивает — и готово! А чтобы половчее концы в воду, выдает свою стряпню за перевод с какого-то экзотического языка, уповая на то, что читать на нем все равно никто не умеет...

Дурак он, этот О. Орешин, вот что. Причем дурак не в обиходном, легком смысле слова, а дурак, как представитель особого психологического типа. Он среди нас как пришелец-инопланетянин: совершенно иная система ценностей, незнакомая и чуждая психология, иные цели существования, а то, что мы свысока считаем заскоружлым комплексом неполноценности, болезненным отклонением от

психологической нормы, есть на самом-то деле исходно здоровый костяк его миропонимания.

— ...а в противном случае никто из нас, честных писателей, а ведь их большинство, колесниченки просто бросаются в глаза, а большинство все-таки составляют такие люди, как мы с вами, для которых главное — честный труд, тщательное изучение материала, идейно-художественный уровень...

— И животноводство! — рявкнул я по наитию.

Целую секунду, а может быть, и две трубка молчала. Затем Орешин произнес нерешительно:

— Животноводство? Да... животноводство — без всякого сомнения... Но вы пойми-те, Феликс Александрович, какое обстоятельство для меня здесь является самым важным...

И он затянул все сначала.

В общем, мы договорились с ним так, что я ознакомлюсь с этим делом поближе: прочитаю басню, прочитаю повесть, побеседую с Колесниченкой, а уж потом мы созвонимся и возобновим этот интересный и полезный разговор.

Ф-фу! Я бросил трубку и наподобие Счастливики Джима, вскочивши с ногами на диван, принялся яростно чесать у себя под мышками и корчить ужасные гримасы. Нет спасения, крутилось у меня в голове. Нет им спасения, повторял я, подпрыгивая и гримасничая. Нет и не будет нам спасения ныне и присно, и во веки веков, аминь! Потом я запыхался, упал на диван спиной и разбросал руки крестом.

Только сейчас я заметил, что в комнате совсем темно. Уже вечер, хоть и ранний, а все-таки вечер, и я не без грусти подумал, что всего несколько лет назад я в такую вот пору еще садился за машинку и набарабанивал две-три полноценные страницы, а теперь амба, товарищ Сорокин, теперь ничего путного в такую пору вам уже не набарабанить, только настроение себе испортите, и все дела...

И снова зазвонил телефон. Я, кряхтя поднялся и взял трубку. Я еще не успел осознать вспыхнувшую надежду, что это Рита, когда мужской голос тихо произнес:

— Феликса Александровича, будьте добры.

— Я.

После маленькой паузы голос спросил:

— Простите, Феликс Александрович, вы получили наше письмо?

— Какое письмо?

— Э-э... Наверное, еще не дошло... Простите, Феликс Александрович... Мы тогда позвоним дня через два... Простите... До свидания...

И пошли короткие гудки.

Что за черт... Я торопливо перебрал в памяти письма последних дней и вдруг вспомнил про коричневый конверт без обратного адреса. Куда я его сунул? А! Я его в карман куртки сунул, да и забыл... Невнятное тоскливое предчувствие, которое я ощутил давеча, обнаружив отсутствие обратного адреса, снова овладело мною.

Я включил свет, сходил в переднюю за конвертом и, усевшись за стол, стал разгля-дывать штемпеля. Ничего особенного в штемпелях не оказалось. Москва Г-69 — где это?.. Бумага очень плотная, на просвет не проглядывается, но на ощупь в конверте ничего, кроме письма, нет. Я взял ножницы и аккуратно, по самому краю, взрезал конверт. Внутри оказался второй, тоже тщательно заклеенный, но уже вполне стандартный почтовый конверт с картинкой. Адреса на нем не было, написано было только: "Феликсу Александровичу Сорокину лично! Посторонним не вскрывать!".

Я поймал себя на том, что сижу, выпятив губу, в полной нерешительности. Телефонный звонок... "Мы позвоним..." Катькин кадровик... Перспектива нести этот конверт куда следует и давать какие-то объяснения, в том числе и в письменном виде, навалилась на мою душу. А впрочем...

Я решительно взрезал и второй конверт.

В нем оказался листок почтовой бумаги с голубым обрезом. Четким и даже красивым почерком черными чернилами написано там было следующее. Без обращения.

"Мы давно уже догадались, кто Вы такой. Но не беспокойтесь. Ваша судьба так дорога и понятна нам, что с нашей стороны ни о какой угрозе разоблачения не может быть и речи. Наоборот, мы готовы приложить все силы к тому, чтобы погасить слухи, которые уже возникают относительно Вас и причин, по которым Вы среди нас оказались. Если Вы не можете покинуть нашу планету (или наше время) по техническим причинам, то знайте: пусть наши технические возможности невелики, но они в полном Вашем распоряжении. Мы будем звонить Вам. Работайте спокойно".

Черт бы их всех подрал, анацефалов.

4

Эту ночь я провел хорошо, без кошмаров. Мне приснилось имя: Катя. Только имя, и больше ничего.

Я проснулся поздно и позавтракать решил в "Жемчужнице". Есть в нашем жилом массиве такое симпатичное заведение, расположенное точнехонько напротив районно-го Дома пионеров. Внешний вид

у этого заведения довольно странный, более всего напоминает оно белофинский дот "Миллионный", разбитый прямым попаданием тысячекилограммовой бомбы: глыбы скучного серого бетона, торчащие вкривь и вкось, перемежаются клубками ржавой железной арматуры, долженствующими, по замыслу архитектора, изображать морские водоросли, на уровне же тротуара тянутся узкие амбразуры-окна. А внутри это вполне приличное заведение, никаких изысков: холл с гардеробом, за холлом — приветливый, хорошо освещенный круглый зал, там всегда можно взять обычные холодные закуски, из горячего подают бефстроганов и фирменное мясо в горшочке. Время от времени я хожу туда завтракать, когда надоедают мне вареные яйца и фруктовый кефир.

Я подросел как раз к открытию, торопливо разделся и захватил столик у стены под окном. Официант, в котором развязность странно сочеталась с сонной угрюмостью, принес мне "пепси" и принял заказ на мясо в горшочке. Кругом гомонили. Натощак.

За мой столик никто не подсаживался, хотя место передо мной пустовало. С одной стороны, это было, конечно, прекрасно. Теперь не могу общаться с посторонними людьми. С другой же стороны, мне вдруг пришло в голову, что такое бывало и раньше: в троллейбусах ли, в метро, в таких вот забегаловках, где меня никто не знает, пустующее место рядом со мной занимают в последнюю очередь, когда других свободных мест больше нет. Где-то я читал, что есть такие люди, самый вид которых внушает окружающим то ли робость, то ли отвращение, то ли вообще инстинктивное желание держаться подальше. И подумав об этом, я тут же перескочил мыслями ко вчерашнему письму. Вот и еще фактик, пусть косвенный, который подтверждает, что не было то письмо дурацкой шуткой, что действительно почуял во мне кто-то нечто чужое, наводящее на фантастические мысли. Но все равно, главное, конечно, не в этих пустяках, а в моих "Современных сказках".

Господи, эта книжка воистину — как настоящий ребенок: неприятностей и горестей от нее гораздо больше, нежели радостей и удовольствий. Редакторы рубили ее в капусту, лапшу из нее делали, вермишель, и, если бы не Мирон Михайлович, изуродовали бы ее на всю жизнь. А когда она все-таки вышла, на нее двинулись рецензенты.

Фантастика в те поры еще только-только начинала формирование свое, была неуклюжа, беспомощна, отягощена генетическими болезнями сороковых годов, и рецензенты глядели на нее как на глиняного болвана для упражнений в кавалерийской рубке. Я читал рецензии на "Современные сказки", болезненно шипел, и перед глазами моими

вставал, как на экране, бледный красавец в черкеске и с тухлым взглядом отпе-того дроздовца; как он, докурив пахитоску до основания, двумя пальцами осторожно отлепляет заслуженный окурок от губы, сощуривается на мою незащищенную книгу, неторопливо обнажает пашку и легко разбегается на цыпочках, заноса над головою голубую сталь...

Они писали, что я подражаю не лучшим американским образцам. (Сейчас эти образцы признаны лучшими.) Они писали, что машины у меня заслоняют людей. (Машин у меня вовсе никаких не было, разве что автобусы.) "Где автор увидел таких героев?" — спрашивали они кого-то. "Чему может научить нашего читателя такая литература?" — вопрошали они друг друга. "И фальшивой нотой в работе издательства прозвучал выпуск беспомощной книжки Сорокина..."

А потом грянули обзор Гагашкина и фельетон Брыжейкина в "Образцовом информаторе", и я приземлился в больнице, и тут только начальственные благодетели мои спохватились, что на глазах у них режут хорошего человека, пусть даже и оступившегося по недосмотру, и взяли свои меры. Я не люблю вспоминать этот эпизод.

Тогда я не читал еще "Марсианских хроник" и даже не слышал, что такая книга существует. Я писал свои "Сказки", представления не имея, что у меня получаются "Марсианские хроники" навыворот: цикл смешных и грустных историй о том, как осваивали нашу Землю инопланетные пришельцы. Главное там для меня было — попытаться взглянуть на нас, на нашу обыденную жизнь, на наши страсти и надежды со стороны, глазами чужаков, не злобных каких-нибудь чужаков, а просто равнодушных, инакомыслящих и инакочувствующих. Получалось, по-моему, ей-богу, забавно, только вот некоторые критики до сих пор считают меня ренегатом большой литературы, а некоторые читатели, оказывается, — одним из героев этой книги...

Официант принес мне мясо в горшочке, я спросил еще одну бутылочку "пепси" и принялся есть.

— Вы разрешите? — произнес негромкий хрипловатый голос.

Поднявши глаза, я увидел, что рядом стоит, положив руку на спинку свободного стула, рослый горбун в свитере и потрепанных джинсах, с узким бледным лицом, обрамленным выющимися золотистыми волосами до плеч. Без всякой приветливости я кивнул, и он тотчас уселся боком ко мне — видимо, горб мешал ему. Усевшись, он положил перед собой тощую черную папку и принялся тихонько барабанить по ней ногтями. Официант принес мне "пепси" и выжидательно взглянул на горбуна. Тот пробормотал: "Мне то же самое, если можно...". Я доел мясо, взялся за стакан и тут заметил, что горбун,

оказывается, пристально смотрит на меня, а на красных длинных губах его блуждает улыбка, которую я бы назвал любезной, не будь она такой нерешительной. Я уже знал, что он сейчас заговорит со мной, и он заговорил.

— Понимаете ли, — сказал он, — мне посоветовали обратиться к вам.

— Ко мне?

— Понимаете ли, да. Именно к вам.

— Так, — сказал я, — А кто посоветовал?

— Да вот... — Он с готовностью принялся озираться, вытянув шею, словно стремясь заглянуть через головы, — Странно, только что вон там сидел... Где же он?..

Я смотрел на него. Был он весь какой-то грязноватый. Из рукавов серого грязноватого свитера высывались грязноватые манжеты сорочки, и воротник сорочки был засален и грязен, и руки его с длинными пальцами были давно не мыты, как и золотые волнистые волосы, как и бледное худое лицо с белобрысой щетинкой на щеках и подбородке. И попахивало от него птичьим двором, этакой неопрятной кислятинкой. Станный он был тип: для бомжа выглядел слишком, пожалуй, респектабельно, а для так называемого приличного человека казался слишком уж опустившимся.

— Ушел куда-то, — сообщил он виноватым голосом. — Да бог с ним... Понимаете, он мне сказал, что вы способны если и не поверить, то, по крайней мере, понять.

— Слушаю вас, — сказал я, откровенно вздохнув.

— Собственно... вот! — Он двинул ко мне через стол свою папку и сделал рукой жест, приглашающий папку раскрыть.

— Извините, — сказал я решительно, — но чужих рукописей я не читаю. Обратитесь...

— Это не рукопись, — сказал он быстро. — То есть это не то, что вы думаете...

— Все равно, — сказал я.

— Нет, пожалуйста... Это вас заинтересует! — И, видя, что я не собираюсь прикасаться к папке, он сам раскрыл ее передо мною.

В папке были ноты.

— Послушайте... — сказал я.

Но он не стал слушать. Понизив голос и перегнувшись ко мне через стол, он принялся рассказывать мне, в чем, собственно, дело, совершая ораторские движения кистью правой руки и обдавая меня сложными запахами птичьего двора и пивной бочки.

А дело его ко мне состояло в том, что всего за пять рублей он предлагал в полную и безраздельную собственность партитуру Труб Страшного Суда. Он лично перевел оригинал на современную нотную грамоту. Откуда она у него? Это длинная история, которую, к тому же, очень трудно изложить в общепонятных терминах. Он... как бы это выразиться... ну, скажем, падший ангел. Он оказался здесь, внизу, без всяких средств к существованию, буквально только с тем, что было у него в карманах. Работу найти практически невозможно, потому что документов, естественно, никаких нет... Одиночество... Ничемность... Бесперспективность... Всего пять рублей, неужели это так дорого? Ну хорошо, пусть будет три, хотя без пятерки ему велено не возвращаться...

Мне не раз приходилось выслушивать более или менее слезливые истории о потерянных железнодорожных билетах, украденных паспортах, сгоревших дотла квартирах. Эти истории давно уже перестали вызывать во мне не только сочувствие, но даже и элементарную брезгливость. Я молча совал в протянутую руку двугривенный и удалялся с места беседы с наивозможной поспешностью. Но история, которую преподнес мне золотоволосый горбун, показалась мне восхитительной с чисто профессиональной точки зрения. Грязноватый падший ангел был просто талантлив! Такая выдумка сделала бы честь и самому Г. Дж. Уэлсу. Судьба пятерки была решена, тут и говорить было не о чем. Но мне хотелось испытать эту историю на прочность. Точнее, на объемность.

Я придвинул к себе ноты и взглянул. Никогда и ничего я не понимал в этих крючках и запятых. Ну, хорошо. Значит, вы утверждаете, что если эту мелодию сыграть, скажем, на кладбище...

Да, конечно. Но не надо. Это было бы слишком жестоко...

По отношению к кому?

По отношению к мертвым, разумеется! Вы обрекли бы их тысячи и тысячи лет скитаться без приюта по всей планете. И еще, подумайте о себе. Готовы ли вы к такому зрелищу?

Это рассуждение мне понравилось, и я спросил: для чего же тогда, по его мнению, мне могут понадобиться эти ноты?

Он страшно удивился. Разве мне не интересно иметь в своем распоряжении такую вещь? Неужели я не хотел бы иметь гвоздь, которым была прибита к перекладине креста рука Учителя? Или, например, каменную плиту, на которой Сатана оставил проплавленные следы своих копыт, пока стоял над гробом папы Григория Седьмого, Гильдебранда?

Этот пример с плитой пришелся мне по душе. Так мог сказать только человек, представления не имеющий о малогабаритных квартирах. Ну, хорошо, сказал я, а если сыграть эту мелодию не на кладбище, а где-нибудь в Парке культуры имени Горького?

Падший ангел нерешительно пожал плечами. Наверное, лучше этого не делать. Откуда нам знать, что там, в этом парке, на глубине трех метров под асфальтом?

Я вынул пять рублей и положил перед горбуном.

— Гонорар, — сказал я. — Валяйте в том же духе. Воображение у вас есть.

— Ничего у меня нет, — тоскливо отозвался горбун.

Он небрежно сунул пятерку в карман джинсов, поднялся и, не прощаясь, пошел прочь между столиками.

— Ноты заберите! — крикнул я ему вслед.

Но он не обернулся.

Я сидел, ожидая официанта, чтобы расплатиться, и от нечего делать разглядывал ноты. Их всего-то было четыре листочка, и вот на обороте последнего я обнаружил небрежную запись шариковой ручкой: "пр. Грановского 19, „Жемчужница", клетч. пальто".

Наверное, нервы у меня в последнее время были немножечко на взводе, уж больно густо шли события, уж больно расщедрился тот, кому надлежит ведать моей судьбой. Поэтому, едва прочитав про "клетч. пальто", я тут же вскочил, словно шилом ткнутый, и поглядел в оконную амбразуру — сначала налево, потом направо. Я едва не опоздал: известный мне человек в клетчатом пальто-перевертыше, крепко сжимая локоть златокудрого горбуна, облаченного в неопрятный брезентовый плащ до пят, исчезал вместе с ним из моего поля зрения.

Я опустил на стул и припал к стакану.

Такой конец забавной, хотя и не столь уж приятной истории подействовал на меня настолько угнетающе, что мне захотелось немедленно вернуться домой и никуда больше сегодня не ходить. Несвязные подозрения роились в моем воображении, выстраивались и тут же разваливались сюжетники самого отвратительного свойства, но в конце концов возобладала самая здравая и самая реалистическая мысль: "Что я скажу Федору моему Михеичу?".

Подошел официант, и я беспрекословно расплатился за свое мясо, за свою "пепси" и за ту "пепси", которую не стал пить падший ангел. Затем я взял свою папку, вложил в нее ноты, пустую папку горбуна оставил на столе и пошел в гардероб одеваться.

Всю дорогу до Банной я украдкой высматривал фигуру в клетчатом пальто, но так ничего и не высмотрел.

Конференц-зал на этот раз был пуст и погружен в полутьму. Пройдя между рядами стульев, я добрался до двери под надписью "Писатели — сюда" и постучался. Никто мне не ответил, и, осторожно отворив дверь, я вступил в ярко освещенное помещение вроде короткого коридора. В конце этого коридора имела место еще одна дверь, над которой красовался этакий светофорчик, вроде тех застекленных шутоквин, какие обыкновенно бывают над входом в рентгеновский кабинет. Верхняя половина светофорчика светилась, демонстрируя надпись "Не входить!". Нижняя была темная, однако и на ней можно было без труда различить надпись "Входите". По правой стене коридорчика поставлено было несколько стульев, и на одном из них, скрючившись в три погибели и опираясь ладонями на роскошный, хоть и потертый бювар, торчком поставленный на острые коленки, сидел сам Гнойный Прыщ собственной персоной.

При виде его у меня, как всегда, подступило к горлу, и, как всегда, я подумал: "Это надо же, жив! Опять жив!".

Я поздоровался. Он ответил и пожевал провалившимся ртом. Я сел за два стула от него и стал смотреть в стену перед собой. Я ничего не видел, кроме основательно обшарпанной стены, небрежно окрашенной светло-зеленой краской, но я физически ощущал, как выцветшие старческие глазки внимательно и прицельно сбоку меня ощупывают, как идет в шаге от меня некая привычная мозговая работа — с машинной скоростью тасуются некие карточки, на которые занесено все: был или не был, состоял ли, участвовал ли, все факты, все слухи, все сплетни и всевозможные интерпретации слухов, и необходимые комментарии к сплетням, и строятся какие-то умозаключения, и подбиваются некие итоги, и формулируются выводы, которые, возможно, понадобятся впредь.

Я сознавал, конечно, что все это — мое воображение. Старая сволочь вряд ли даже знала меня, а если и знала, то времена уже нынче не те, старый он уже, никому он теперь не нужен и никому не опасен. Года не проходит, чтобы не пронесся слух, будто он почил в бозе, он теперь более персонаж исторических анекдотов, нежели живой человек, — гнойная тень, протянувшаяся через годы в наше время.

Тут он заговорил. Голос у него был скрипучий и невнятный — наверное, из-за плохого протеза. Однако я разобрал, что он полагает нынешнюю зиму ненормально снежной, и еще что-то о климате и погоде. Я кое-как ему ответил. В том же духе.

Этот мерзкий старик представился мне вдруг рудиментом совсем другой эпохи. Или совсем других условий существования. Ты перешел улицу на красный свет — и эта тварь откусывает тебе ноги. Ты вставил в рукопись неуместное слово — и тварь откусывает тебе руки. Ты выиграл по облигации — и тварь откусывает тебе голову. Ты абсолютно беззащитен перед нею, потому что не знаешь и никогда не узнаешь законов ее охоты и целей ее существования. У кого-то из фантастов — то ли у Ефремова, то ли у Беляева — описан чудовищный зверь — гишу, пожиратель древних слонов, доживший до эпохи человека. Человек не умел спастись от него, потому что не понимал его повадок, а не понимал потому, что повадки эти возникли в те времена, когда человека еще не было и быть не могло. И человек мог спастись от гишу только одним способом: объединиться с себе подобными и убить...

Мы поговорили о погоде. Потом, помолчав, опять поговорили о погоде. Потом он стал возмущаться — какое это безобразие — на третий этаж без лифта по винтовой лестнице. Я предпочел промолчать, эта тема показалась мне скользкой.

Года два назад Гарик Аганян пробивал в "Космосе" свой сборник научно-фантастических рассказов. Какие-то там приключения на ракете, которая движется быстрее скорости света. Конечно, Гарик знал, что таких ракет нет и быть не может, он мне лично несколько раз это объяснял и притом вполне доходчиво. Но зачем-то понадобилась ему такая вот сверхсветовая ракета. Ну, научная фантастика, у них там свои дела... Сборник и без того проходил туго, и вдруг каким-то неведомым образом рецензентом его оказался Гнойный Прыщ. Тут вообще много загадок. Откуда в "Космосе" взялся Гнойный Прыщ? А если уж взялся, то зачем ему понадобилось топить именно Гарика? А может, и не Гарика, а редактора. Или, скажем, рекомендателей Гарика в наш Союз...

Факт тот, что он Гарика утопил, да так, как никто Гарика до сих пор не тапливал. По всем непредставимым правилам древних пожирателей слонов. Он вывел черным по белому, что наш Гарик — антинаучный мракобес, исповедующий людоедские теории гитлеризма. Причем копию рецензии он подгадал в аккурат к тому самому заседанию нашей приемной комиссии, где должно было разбираться Гариново заявление о приеме. И когда председательствующий зачитал нам Прыщевый этот перл, мы буквально рты разинули, и наступила тишина, хотя все мы там собрались люди опытные и всякого повидавшие. Гитлеризм-то тут причем? А вот причем.

Как известно, максимальная скорость в природе — это скорость света. Кто это установил? Великий ученый Альберт Эйнштейн. А кто преследовал великого Альберта Эйнштейна? Гитлеровские мракобесы. А что утверждает Г. Аганян в своих злобных писаниях? Существование скоростей выше скорости света. Кого он таким образом ревизует — и даже не ревизует, а попросту злобно опровергает? Великого Альберта Эйнштейна. С кем же, спрашивается, смыкает свои ряды Г. Аганян? То-то!

Вот логика гишу, если это вообще можно назвать логикой. Вот почему не желаю я обсуждать с Гнойным Прыщом какие бы то ни было проблемы, кроме как насчет погоды. Кстати, прием Гарика был-таки отложен тогда на несколько месяцев, впредь до выяснения. И понадобилось могучее вмешательство секретариата, да еще не нашего, а всесоюзного, чтобы отбить этот жуткий наскок из палеолита...

Тут дверь под светофорчиком распахнулась, и в коридор к нам ввалился Петенька Скоробогатов.

— Господи, да что это с тобой? — воскликнул я, вставая ему навстречу.

Голова Петеньки была обмотана белым бинтом, как чалмой. Левая рука, тоже перебинтованная и толстая, как бревно, висела на перевязи. Правой рукой Петенька опирался на палку. "Да что же это они с ним сделали?" — с ужасом подумал я.

Впрочем, тут же выяснилось, что ОНИ ничего с ним не делали, а просто вчера, возвращаясь с собрания, увлекшись спором с председателем тутошнего месткома, Петенька Скоробогатов, Ойло наше Союзное, промахнулся на ступеньках и сверзился по винтовой лестнице с третьего этажа на первый. Трех увезли в больницу, и там они по сей день лежат. После трепанации. А он, Петенька, хоть бы хны.

— ...Так, понимаешь, и полетел кувырком по спирали с третьего до первого. Голова-ноги, голова-ноги. И хоть бы хны! Повезло, понимаешь, за председателя зацепился, а он толстый такой кнур, мягкий...

Он расселся рядом со мной, вытянув поврежденную ногу. Все ему было как с гуся вода. Не задерживаясь на таких мелочах, как разорванное ухо, вывихнутая рука, растянутая лодыжка, он уже врал мне про то, как его вчера днем вызывали в Госкомиздат и предлагали издать двухтомник в подарочном издании. Иллюстрировать двухтомник будут Кукрыниксы, а печатать подрядилась типография в Ляйпциге...

Услыхав про Ляйпциг, я невольно покосился вправо. К счастью, Гнойного Прыща уже не было.

— А это у тебя что?! — вскричал вдруг Петенька, выхватывая у меня папку. — А! «Так ты и музыкой балуешься?» — произнес он, увидев ноты. — Брось, не советую. Мертвый номер, — Он сунул папку обратно мне в руки. — Вот я сейчас... Ей-богу, сам удивился. Сумасшедший индекс сейчас получил. Просто сумасшедший. Этот тип мне рукопись не вернул. "Не отдам, — говорит. — Эталон". Я ему говорю: "Какой там эталон, писано между делом, скучнейший заказ". А он отвечает: "Для вас — скучнейший заказ, а для нас — эталон". Не-ет, Феликс, машину не обманешь, что ты!

И снова распахнулась дверь под светофорчиком, и в коридорчик вернулся Гнойный Прыщ. Он переступил через порог, плотно прикрыл за собой дверь и остановился. Несколько секунд он стоял, упершись одной рукой в стену, а другой прижимая к груди бювар. Лицо у него было зеленое, как у протухшего покойника, рот мучительно полу-открыт, глаза навывкате.

— Как же так? — прошипел он, вполне, впрочем, явственно. — Как это может быть? Ведь я же своими глазами...

Его шатнуло, и мы с Петенькой ринулись к нему, чтобы поддержать. Но он отвел нас рукой, сжимающей бювар.

— Я же лично...— свистящим шепотом прокричал он, уставясь в пространство, между нами. — Лично... Сам!

— Пустяки, — бодро произнес Петенька, обхватывая его за талию рукою с тростью, — Ничего такого особенного нету. И раньше, бывало, и еще много раз будет, Мефодий Кирилыч...

— Да вы понимаете ли, что говорите? — спросил его Мефодий Кирилыч с каким-то даже отчаянием, — Или, может, Трубы Страшного Суда протрубили?

— Ни-ни-ни-ни-ни! — возразил Петенька, — Это я вам просто гарантирую. Никаких труб, кроме газовых, большого диаметра. Давайте-ка мы с вами присядем, Мефодий Кирилыч, и маленько отдохнем...

— Лично!..— проскрипел старик, послушно усаживаясь, — А впоследствии сам читал...

— Вы, Мефодий Кирилыч, строчки читали, а надо было между, — сказал Петенька, нагло мне подмигивая. — Там, видимо, подтекст был, а вы его не уловили. Вот машина вас и ушучила...

— Какой подтекст? Какая машина? Да вы понимаете ли, о чем я говорю, молодой человек?

Мне было тягостно и противно, я отвернулся и тут же заметил, что на светофорчике горит теперь надпись "Входите". Как сомнамбула, поднялся я с места и последовал приглашению.

Мне и раньше приходилось бывать в вычислительных центрах, так что серые шершавые шкафы, панели, мигающие огоньками, прочие экраны-циферблаты внимания моего в этой большой, ярко освещенной комнате не привлекли. Гораздо страннее и интереснее показался мне человек, сидевший за столом, заваленным рулонами и пап-ками.

Был он, похоже, в моих годах, худощавый, с русыми, легко рассыпающимися волосами, с чертами лица в общем обыкновенными и в то же время чем-то неуловимо значительными. Что-то настораживало в этом лице, что-то в нем такое было, что ощущалась потребность внутренне подтянуться и говорить кратко, литературно и без всякого ерничества. Был он в синем лабораторном халате поверх серого костюма, сорочка на нем была белоснежная, а галстук неброский, старомодный и старомодно повязанный.

— Закройте, пожалуйста, дверь плотно, — произнес он мягким приятным голосом.

Я оглянулся и увидел, что оставил дверь полуоткрытой, извинился и прихлопнул створку. Затем я назвал себя. Что-то изменилось в его лице, и я понял, что имя мое ему знакомо. Впрочем, себя он не назвал и сказал только:

— Очень рад. Если позволите, давайте взглянем, что вы нам принесли. Пройдите сюда, присаживайтесь.

В этих простых и даже, пожалуй, простейших, обыкновеннейших словах его прозвучало, как мне показалось, какое-то превосходство, притом настолько значительное, что я испытал вдруг потребность объясниться, оправдаться, что я не манкировал, что так уж сложились обстоятельства мои в последнее время, а вообще-то я уже был здесь вчера, буквально двадцати шагов не дошел до его двери — опять же по причинам, от меня никак не зависящим.

Впрочем, этот приступ виноватой почтительности, острый, почти физиологический, миновал быстро, и разумеется, я ничего такого ему не сказал, а просто прошел к его столу, положил перед ним свою папку, а сам сел в довольно удобное полукресло. Меня вдруг двинуло в противоположность, захотелось вдруг развалиться и ногу перекинуть через ногу, и, рассеянно озираясь по сторонам, изрыгнуть какую-нибудь фривольную банальность вроде: "А ничего себе живут ученые, лихо устроились!".

Но и такого, конечно, я ему ничего не сказал, и ногу на ногу задирать не стал, а сидел смирно, прилично, и смотрел, как он придвигает к себе мою папку, осторожно и аккуратно развязывает тесемки, а сам словно бы улыбается длинным тонким ртом и, кажется, поглядывает

на меня сквозь рассыпавшиеся волосы — то ли с любопытством, то ли с ехидцей, но явно доброжелательно.

Он раскрыл папку и увидел ноты. Брови его слегка приподнялись. Бормоча неловкие извинения, я потянулся за проклятой партитурой, но он, не отводя взгляда от нотных строчек, остановил меня легким движением ладони. Несомненно, он-то умел читать нотную грамоту, и прочитанное, несомненно, заинтересовало его, потому что, разрешив наконец мне изъять из папки манускрипт павшего ангела, он посмотрел на меня невеселыми серыми глазами и произнес:

— Любопытные, надо вам сказать, бумаги попадают в старых папках у писателей...

Я не нашелся, что ему ответить, да и не ждал он моего ответа, а уже бегло, но аккуратно перелистывал копии моих рецензий на давно уже гниющие в редакционных архивах поделки из самотека, копии аннотаций на японские патенты, рукописи моих переводов из японских технических журналов и прочий хлам, оставшийся от тех моих тяжелых лет, когда меня перестали печатать и принялись поносить...

Он листал, надеясь, видимо, отыскать в этой гряде хлама что-нибудь хоть мало-мальски полезное, и мне стало ужасно стыдно, и я почувствовал себя последней свиньей, что вот сидит передо мною человек, строгий и невеселый, не халтурщик какой-нибудь и не конъюнктурщик, и Сорокина он, видимо, читал, и ждал от Сорокина серьезный материал, на который можно было бы опереться в работе, элементарной порядочности ждал он от Сорокина, а Сорокин приволок ему мешок дерьма и вывалил на стол — на, мол, подавись.

Такие примерно переживания терзали меня, когда он закрыл наконец позорную папку, положил на нее бледные руки с длинными худыми пальцами и снова на меня посмотрел.

— Я вижу, Феликс Александрович, — произнес он, — что вас вовсе не интересует объективная ценность вашего творчества.

Не знаю, содержался ли в его словах или тоне упрек, но я из плебейского чувства противоречия сейчас же ощетинился.

— Это почему же вы так полагаете?

— Ну а как же? — Он постучал ногтем по папке. — Из этого материала, который вы мне принесли, только и следует, что у вас скверный почерк и что в Японии много работали над топливными элементами.

Вздорный демон склоки заворочался во мне, выталкивая наружу злобно-трусливые оправдания: "Знать ничего не хочу, сказано было — любую рукопись, вот вам из любых, пожалуйста, сами не знают, что

им надо, а потом сами недовольны...". Но ничего подобного говорить я не стал, а сказал, поникнув:

— Так уж вышло...

И добавил, неожиданно для себя:

— Не сердитесь, пожалуйста.

— Ну что вы, — произнес он и вдруг улыбнулся странной печально-ласковой улыбкой. — Как же мне на вас сердиться, Феликс Александрович? В сущности, ведь это нужнее вам, чем нам.

И тут до меня дошло, какую поразительную вещь сказал он минуту назад.

— Позвольте, — проговорил я, почему-то понизив голос. — Вы шутите, наверное? В каком смысле вы это сказали — про объективную ценность?

— В самом прямом, — ответил он, перестав улыбаться.

— Да разве же это возможно? Это что же, надо понимать, что вы здесь изобрели Мензурю Зоили?

— Почему бы и нет? И Мензурю, и многое другое...

— Но позвольте! Это же бессмыслица! Какая может быть у произведения объективная ценность?

— Почему бы и нет? — повторил он.

— Да хотя бы потому... Это же, простите, банальность! Мне, например, нравится, а вас от каждого слова тошнит. Сегодня это гремит на весь мир, а завтра все забыли...

— Все это, Феликс Александрович, верно, но какое это имеет отношение к объективной ценности?

— А такое это имеет отношение к объективной ценности, — сказал я, горячась, — что объективно ценное произведение должно быть и для вас ценно, и для меня ценно, и вчера было ценно, и завтра будет ценно, а этого не бывает, этого не может быть!

Однако он возразил, что я путаю объективную ценность с ценностью вечною. Вечных ценностей не бывает действительно, ничего не бывает в литературе и искусстве такого, что бы ценилось всеми и всегда. Но не замечал ли я, что многие произведения, отгремев, казалось бы, свое, проживши, казалось бы, свою жизнь, вдруг возрождаются спустя века и снова гремят и живут, и еще даже громче, и энергичнее, нежели раньше? Может быть, имеет смысл такую вот способность заново обретать жизнь как раз и считать мерою объективной ценности? Причем это всего лишь один из возможных подходов к проблеме объективной ценности... Существуют и другие, более функциональные, более удобные для алгоритмизации...

Я слушал его и физически ощущал, как горячность моя уходит, словно вода в песок. Я люблю поспорить, особенно на такие вот отвлеченные, непрактичные темы. Но мое представление об отвлеченных спорах непременно предполагает вполне определенную атмосферу: легкая эйфория, уютная компания, кофейничек, естественно, и в перспективе второй кофейничек, коль скоро возникнет в нем необходимость. Здесь же, среди шершавых шкафов, в мертвенном свете ртутных трубок, среди рулонов и графиков, и не в уютной компании, а в обществе человека, перед которым я испытывал робость... Нет, граждане, в такой обстановке я вам не спорщик.

И словно бы угадав эти мои мысли, он произнес:

— Впрочем, спорить об этом, Феликс Александрович, не имеет никакого смысла. Машина для измерения объективной ценности художественных произведений, Мензура Зоили, как вы ее называете, создана. И уже довольно давно. И вот когда она была создана, Феликс Александрович, возник другой вопрос, гораздо более важный: да нужна ли кому-нибудь объективная ценность произведения? Чрезвычайно поучительна судьба первой действующей модели такой машины, а также ее изобретателя... Простите, я вас не утомляю?

Жутковатое предчувствие уже овладело мною, и я поспешно закивал, всем видом своим давая понять, что несколько не утомлен и очень жду продолжения.

И не обмануло меня предчувствие. Он рассказал мне, как три десятка лет назад молодой изобретатель-энтузиаст привез на мотоцикле в писательский Дом творчества в Кукушкине свою первую модель "Испитала" — "Измерителя писательского таланта"; и о том, как Захар Купидоныч без разрешения подбросил в машину рукопись Сидора Аменподестовича и потом с восторгом зачитал в столовой заключение "Испитала", никого, впрочем, не удивившее; и о том, какая безобразная драка произошла возле равнодушной машины между Флавием Веспасиановичем и бестактным редактором издательства "Московский литератор"; и о том, как был безнадежно испорчен юбилей Гауссианы Никифоровны, когда пропали даром сто семь порций осетрины на вертеле и филе по-суворовски, доставленные из Клуба на персональном ЗИСе; и как Лукьян Любомудрович тщился подкупить изобретателя, чтобы тот подкрутил что-нибудь в своем проклятом аппарате,— предлагал сначала ящик водки, потом деньги и, наконец, жилплощадь в одном из высотных зданий... словом, о том, как восемь дней в Доме творчества в Кукушкине стоял ад кромешный, а в ночь на девятый день машину разнесли вдребезги, а еще через день

Мефодий Кирилыч закончил эту историю в полном соответствии с исчезнувшими правилами разрешения конфликтов.

Жадно выслушав эту историю, я спросил, едва он замолчал:

— Значит, и вы знали Анатолия Ефимовича?

— Разумеется! — ответил он с некоторым даже удивлением. — А почему вы о нем сейчас вспомнили?

— Ну, как же! Ведь все то, что вы мне сейчас рассказали, это замысел комедии, которую покойный Анатолий Ефимович хотел написать...

— А, да, — произнес он, как бы вспомнив. — Только он, знаете ли, не только хотел написать. Он и написал эту комедию. Он и себя там вывел — под другим именем, конечно. А в марте пятьдесят второго года все это в Кукушкине и произошло...

Что-то резануло меня в этой последней фразе, но я уже зацепился за другую, как мне казалось, несообразность.

— Что значит — написал? — возразил я. — Мне Анатолий Ефимович все это рассказывал буквально за месяц до кончины. Именно как замысел комедии рассказывал!

Он усмехнулся невесело.

— Нет, Феликс Александрович. Когда он вам это рассказывал, пьеса уже четверть века как была написана. И лежала она в трех экземплярах, отредактированная, выправленная, вполне готовая к постановке, в ящике его стола. Помните его стол? Огромный, старинный, с множеством ящичков. Так вот слева, в самом низу и лежала эта его комедия с неуклюжим названием "Изпитал".

Он произнес это так веско и так в то же время грустно, что мне ничего иного не оставалось, как немного помолчать. И мы помолчали, и он снова раскрыл мою папку и принялся перелистывать рукописи.

Я чувствовал легкую обиду на Анатолия Ефимовича, что не доверился он мне и не показал этот кусочек своей жизни, а ведь казалось мне, что он меня любит и отличает. Хотя, с другой стороны, кто я ему был такой, чтобы мне доверять? Бесед своих удаивал в кухне за чаем, где принимал только близких, и на том спасибо...

Но одновременно с легкой этой обидой испытывал я удивление. Удивляло меня не то, что Мензура Зоили, оказывается, давно уже изобретена и опробована. Меня удивляло, что я не испытываю по этому поводу удивления. Как-никак реальное существование такой машины опрокидывало многие мои представления о возможном и невозможном...

Наверное, все дело было в том, что сама личность моего собеседника до такой степени выходила за рамки этих моих представлений,

что все остальное казалось мне странным и удивительным лишь постольку, поскольку было от нее производным. Мне ужасно хотелось спросить, а не он ли тот самый молодой изобретатель, который устроил неделю ужасов в Кукушкине, а затем был выведен в пьесе Анатолия Ефимовича. Я уже кашлянул и уже рот было разинул, но он тотчас же поднял на меня свои прозрачные серые глаза, и я тут же понял, что ни за что не решусь задать ему этот вопрос. И брякнул я наугад:

— Так что же это у вас получается? Значит, все вот эти шкафы и есть "Испитал"? Значит, правильно у нас говорят, что вы здесь измеряете уровень наших талантов?

На этот раз он даже не улыбнулся.

— Нет, конечно, — проговорил он. — То есть, в каком-то смысле — да. Но в общем-то мы занимаемся совсем другими проблемами, очень специальными, скорее лингвистическими... или, точнее, социально-лингвистическими.

Я спросил, надо ли мне понимать его так, что эти шершавые шкафы действительно могут измерить уровень моего таланта, только сейчас настроены на другую задачу. Он ответил, что в известном смысле это так и есть. Тогда я не без яду осведомился, в каких же единицах измеряется у них здесь талант: по пятибалльной шкале, как в средней школе, или по двенадцатибалльной, как измеряются землетрясения... Он возразил, что наивно было бы предполагать, будто такое сложное социопсихологическое явление, как талант, можно оценивать в таких примитивных единицах. Талант — явление специфическое и для своего измерения требует единиц специфических...

— Впрочем, — сказал он, — проще будет показать вам, как машина работает. Данные, которые она выдает, имеют весьма косвенное отношение к таланту, но все равно... Вот, скажем, эта страничка, ваша рецензия на некую повесть под названием "Рожденье голубки"... Что это за повесть — можно судить по одному названию... Но машина будет иметь дело не с повестью, а только с вашей рецензией, Феликс Александрович.

Он не без труда отцепил от листков намертво приржавевшую скрепку, взял верхний листок и положил его в этакий мелкий ящичек размером в машинописную страницу. Затем он задвинул ящичек в паз, небрежно перекинул несколько тумблеров на пульте и нажал указательным пальцем на красную клавишу с лампочкой внутри. Лампочка погасла, но зато засуетились и замигали многочисленные огоньки на вертикальной панели, и оживились два больших экрана по сторонам панели. Зазмеились кривые, запрыгали цифры,

защелкали и тихонько заныли всякие там клистроны, кенотроны и прочие электронные потроха. Эпоха НТР. Длилось все это с полминуты. Затем нытье прекратилось, а на панели и на экранах установились покой и порядок. Теперь там светились две гладкие кривые и огромное количество разнообразных цифр.

— Ну, вот и все, — произнес он, выдвинул ящичек и уложил листок обратно в папку.

Я и рта раскрыть не успел, а он уже объяснял мне, что вот эти цифры — это энтропия моего текста, а вот эти характеризуют что-то такое, что долго объяснять, а вот эта кривая — это сглаженный коэффициент чего-то такого, что я не разобрал, а вот эта — распределение чего-то такого, что я разобрал и даже запомнил было, но сразу забыл.

— Обратите внимание вот на эту цифру, — сказал он, постукивая пальцем по одинокой четверке, сиротливо устроившейся в нижнем правом углу цифрового экрана. — Среди ваших коллег сложилось почему-то убеждение, будто именно это и есть пресловутая объективная оценка или индекс гениальности, как называет ее этот странный, обмотанный бинтами человек.

— Ойло Союзное, — пробормотал я машинально.

— Возможно. Впрочем, сегодня он назвался Козлухиным, а вообще-то он по-являлся здесь неоднократно, каждый раз с другой рукописью и под другим именем. Так вот, он упорно называет эту цифру индексом гениальности и считает, что чем она больше, тем автор гениальней...

И он рассказал, как, пытаясь разубедить Петеньку Скоробогатова, он однажды вырвал наугад из какой-то случайно попавшейся под руку газеты фельетон про жуликов в торговой сети и вложил в машину, и машина показала семизначное число, и хотя невооруженным глазом было видно, что фельетон безнадежно далек от гениальности, Петенька Скоробогатов ни в чем не разубедился, хитренько подмигнул и бережно спрята-тал газетный обрывок в разбухшую записную книжку.

— Так что же она показала, эта ваша семизначная цифра? — с любопытством спросил я.

— Простите, Феликс Александрович, но цифры бывают только однозначные. Семизначными бывают числа. Так вот, число, выдаваемое на этой строчке дисплея, — он снова постучал пальцем по моей четверке, — есть, популярно говоря, наивероятнейшее количество читателей данного текста.

— Читателей текста... — заметил я с робкой мстительностью.

— Да-да, строгий стилист, несомненно, найдет это словосочетание отвратным, однако в данном случае "читатель текста" — это термин, означающий человека, который хотя бы один раз прочитал или прочтет в будущем данный текст. Так что эта четверка — не какой-то там мифический индекс вашей, Феликс Александрович, гениальности, а всего лишь наивероятнейшее количество читателей вашей рецензии, показатель НКЧТ, или просто ЧТ...

— А что такое эн-ка? — спросил я, чтобы что-нибудь сказать: голова у меня шла кругом.

— НК — наивероятнейшее количество.

— Ага... — сказал я и замолчал было, но в голове моей тут на мгновение прояснело, и я спросил с возмущением: — Так какое же отношение это ваше НКЧТ имеет к таланту, к способностям, вообще к качеству данного, как вы выражаетесь, текста?

— Я предупреждал вас, Феликс Александрович, что мера эта имеет лишь косвенное отношение...

— Да никакое даже не косвенное! — прервал я его, набирая обороты. — Количество читателей зависит прежде всего от тиражей!

— А тиражи?

— Ну, знаете, — сказал я, — уж мне-то вы не рассказывайте! Уж мы-то знаем, от чего, а главное — от кого зависят тиражи! Сколько угодно могу я вам назвать безобразной халтуры, которая вышла полумиллионными тиражами...

— Разумеется, разумеется, Феликс Александрович! Вы сейчас совсем как этот ваш забинтованный Козлухин, почему-то упорно и протодушно связываете величину НКЧТ с качеством текста прямой зависимостью.

— Это не я связываю, это вы сами связываете! Я-то как раз считаю, что никакой зависимости нет, ни прямой, ни косвенной!

— Ну как же нет, Феликс Александрович? Вот текст, — он двумя пальцами приподнял за уголок страничку злосчастной моей рецензии, — показатель НКЧТ, как видите, четыре. Есть возражения против такой оценки?

— Но позвольте... Естественно, если брать рецензию, да еще внутреннюю... Ну, редактор ее прочтет... может, автор, если ему покажут...

— Так. Значит, возражений нет.

Он вдруг ловко, как фокусник, извлек из моей папки старую школьную тетрадку в выцветшей, желто-пятнистой обложке и столь стремительно придвинул ее к лицу моему, что я отшатнулся.

— Что мы здесь видим? — спросил он.

Мы здесь видели щемяще знакомую с детских лет картинку: бородатый витязь прощается с могучим долгогривым конем. А под картинкой стихи: "Как ныне собирается Вещий Олег..."

— В чем дело? — спросил я с вызовом. — Между прочим, замечательные, превосходные стихи... Никакие уроки литературы их не убили...

— Безусловно, безусловно, — сказал он. — Но я вас не об этом спрашиваю. Если этот листок ввести сейчас в машину, то?..

Я интеллектуально заметался.

— Н-ну... — промямлил я, — много должно получиться, наверное... одних школьников сколько... Миллионов десять-двадцать?

— За миллиард, — жестко произнес он. — За миллиард, Феликс Александрович!

— Может, и за миллиард, — сказал я покорно. — Я же говорю — много...

— Итак, — произнес он, — тривиальная рецензия — НКЧТ равно четверем. "Замечательные, превосходные стихи" — НКЧТ превосходит миллиард. А вы говорите — никакой зависимости нет.

— Так ведь... — Я замахал руками и защелкал пальцами, — "Песня то... о Вещем Олеге"... она ведь напечатана! И сколько раз! Ее поют даже!

— Поют, — он покивал. — И будут петь. И будут печатать снова и снова.

— Ну вот! А рецензия моя...

— А рецензию вашу петь не будут. И печатать ее тоже не будут. Никогда. Потому и НКЧТ у нее всего четыре. На прошлые времена и на все будущие. Так она и сгниет, никем не читанная.

Удивительное ощущение возникло у меня в этот момент. Он словно хотел что-то подсказать мне, навести на какую-то мысль. Он словно стучался в какую-то неведомую мне дверьцу моего сознания: "Открой! Впусти!". Но все произнесенные нами слова и высказанные мысли были сами по себе банальны до бесцветности, и никакого отклика во мне они не находили. Словно кто-то пуховой подушкой бил в стальную дверь намертво запертого сейфа.

— Ну и правильно... — сказал я нерешительно. — И господь с ней. Тоже мне — художественная ценность...

Он помолчал, разминая пальцами кожу над бровями.

— Я пошутил, Феликс Александрович, — сказал вдруг он почти виновато. — Конечно же, вы совершенно правы.

Он снова замолк. Молчал и я, пытаюсь понять, в чем же именно я оказался прав, да еще — совершенно прав. И еще, в чем была соль

шутки. И когда молчание стало неловким и даже неприличным, я произнес:

— Ну, что же... я пойду, пожалуй?

— Да-да, конечно, большое вам спасибо.

— Папку я возьму?

— Разумеется, прошу вас.

— А может быть, она вам...

— Нет-нет, большое спасибо. Мы выжали из нее все, что можно.

— Так что мне больше приходить не надо?

Он поднял на меня невеселые глаза.

— Я всегда буду рад вас видеть, Феликс Александрович. Правда, завтра меня здесь не будет. Приходите послезавтра, если соберетесь.

Не знаю, что он имел в виду на самом деле, но для меня это приглашение прозвучало скорее, как приказ. И опять демон склоки шевельнулся в душе моей, но я не дал ему воли. Я ограничился тем, что пожал плечами, и принялся завязывать тесемки на папке, и тут он сказал:

— Ноты, пожалуйста, не забудьте, Феликс Александрович.

Оказывается, я чуть не забыл у него на столе эти дурацкие ноты. Он смотрел, как я запикиваю их в папку, как снова завязываю тесемки, а когда мы уже попрощались, и я уже шел к выходу, он сказал мне вслед:

— Феликс Александрович, я бы не советовал вам носить эту партитуру по улицам. Мало ли что может случиться...

Но я решил ничего не уточнять. С меня было довольно. Словно бы ничего не услышав, я молча вышел в коридорчик и плотно прикрыл за собой дверь. В коридорчике никого не было.

От Банной до метро я пошел пешком. Я брел, оскальзываясь, по обледенелым тротуарам, проталкиваясь через скопления провинциалов у дверей модных магазинов, пробирался через скопления автомобилей на перекрестках и при этом почти ничего вокруг себя не замечал. Мысли мои неотступно возвращались к беседе с моим странным знакомым. Кстати, ведь он так и не назвал себя! И как это ему удалось? Странно, странно...

С одной стороны, казалось бы, что тут такого? Встретились два интеллигентных человека. По делу. Познакомились. Ну, ладно, один из них себя не назвал, а другой вспомнил об этом только после беседы. Это далеко не самое странное. Два интеллигентных, несомненно, симпатичных друг другу человека обменялись кое-какими, довольно отвлеченными соображениями по поводу вполне банальных предметов: гениальность, творчество, литература, читатели, тиражи и тэ дэ.

Но почему после этой беседы у меня словно занозы какие-то засели в сознании? Где-то вот здесь, за ушами, будто зудит что-то. Но что именно и почему?..

Уже в метро, стиснутый между двумя детскими колясками (в одной был ребенок, а в другой — резиновые камеры для "Москвича") я внезапно совершенно отчетливо услышал сквозь грохот колес его мягкий голос: "Анатолий Ефимович не только хотел написать эту комедию. Он ее и написал. А в марте пятьдесят второго года все это в Кукушкине и произошло".

Так. Вот она, первая заноза. Сначала написал, а потом все это произошло. Вздор, вздор, это мне слышалось, конечно. Или оговорка. Главное — что у него было с Анатолием Ефимовичем? И когда он, собственно, успел? Анатолий Ефимович, не в пример подавляющему большинству моих коллег, был человеком крайне замкнутым, я бы даже сказал — нелюдимым. Заседаниями он манкировал, даже самыми ответственными. Салоны не посещал и в доме своем, упаси бог, таковых не устраивал. В Клубе почти не появлялся, спиртного не любил, а предпочитал хороший чай, заваренный собственноручно в домашних условиях. Друзей у него практически не осталось: одни умерли еще до войны, другие погибли, а третьи, как он однажды выразился, "избрали часть благую". В сущности он был одинок, я каждый раз думал об этом, когда видел в углу его кабинета груды нераспечатанных пачек с многочисленными переизданиями его трило-гии, той самой, удостоенной всех мыслимых лавров, — он не раздабривал даже авторские экземпляры, ему некому было их раздабривать.

Собственно, кроме меня он принимал в своем доме еще семь человек. Я всех их знал, и уверен я, что никто из них и не слыхивал об "Испитале". А нынешний мой знакомец не только слыхал об этой комедии, но и явно читал ее! Странно, странно... Может быть, они когда-то, еще до меня задолго, были близки, а потом рассорились? Но ведь он примерно моего возраста, он в сыновья Анатолию Ефимовичу годится, так, когда же бы они успели?..

Я так ничего и не придумал по этому поводу, а потом все эти мысли вылетели у меня из головы, когда совсем уже рядом с домом я поскользнулся по-настоящему, совершил фантастический пируэт и обрушился на бок, вдобавок сбив с ног подвернувшуюся даму с собачкой.

Поднимать нас сбежалось шестеро, и порядочно было тут кряхтения, сопенья, ободрительных возгласов и сомнительных lamentаций по поводу того, что право на труд у нас не подразумевает, видно, права

на посыпание песком обледенелых тротуаров. Больше всех, по-моему, пострадала собачка, которой в суматохе оттоптали лапу, но и я треснул весьма серьезно. Я стоял, прижимая ладонь к боку, и пытался дышать, а вокруг меня переговаривались в том смысле, что ничего подобного в Москве зимой еще не бывало... бардак... конец света... Страшный Суд...

Отдышавшись, я с трудом произнес слова благодарности спасителям моим и слова вины перед несчастной дамой и ее собачкой. Мы разошлись, и я поковылял к облицованному черной плиткой крыльцу своему.

Эсхатологические реминисценции, прозвучавшие в негодующем хоре поборников права на труд для дворников, направили мысли мои в совершенно иное русло. Я вспомнил падшего ангела и его дурацкие ноты, а затем, по естественной ассоциации, вспомнил напутственные слова моего сегодняшнего знакомца. "Я бы не советовал вам разгуливать с этими нотами по улице. Мало ли что, знаете ли..." А что, собственно? Что это за ноты такие, с которыми мне не советуют гулять по улицам? "Боже, царя храни"? Или "Хорст Вессель"? И по этому поводу тоже у меня ничего не придумалось, кроме невероятного, разумеется, но зато все объясняющего предположения, что это действительно партитура Труб Страшного Суда. Но тут я, по крайней мере, знал, к кому обратиться. Я не доехал до своего шестнадцатого этажа, а вышел на шестом. Там в четырехкомнатной квартире жил и работал популярный композитор-песенник Георгий Луарсабович Чачуа, хлебосол, эпикурец и неистовый трудяга, с которым мы были на "ты" чуть ли не с самого дня вселения в этот дом.

Из-за обитой дерматином двери гремел рояль и заливался прекрасный женский голос. Видимо, Чачуа работал. Я заколебался. Из-за двери грохнул взрыв хохота, рояль смолк, голос тоже оборвался. Нет, кажется, Чачуа не работал. Я нажал кнопку звонка. В тот же момент рояль загремел снова, и несколько мужских глоток грянули что-то грузинское. Да, Чачуа, кажется, не работал. Я позвонил вторично.

Дверь распахнулась, и на пороге возник Чачуа в черных концертных брюках с яркими подтяжками поверх ослепительно белой сорочки, расстегнутой у ворота, разгоряченное лицо озабочено, гигантский нос покрыт испариной. Ч-черт, все-таки он работал...

— Извини, ради бога, — сказал я, прижимая к груди папку.

— Что случилось? — осведомился он встревоженно и в то же время слегка раздраженно.

— Ничего не случилось, — ответил я, намертво задавливая в себе позыв говорить с кавказским акцентом. — Я на минуту забежал, потому что у меня к тебе...

— Слушай, — произнес он, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. — Зайди попозже, а? Там люди у меня, работаем. Часа через два, да?

— Подожди, у меня дело совсем пустяковое, — сказал я, торопливо развязывая тесемки на папке. — Вот ноты. Посмотри, пожалуйста, когда будет время...

Он принял у меня листки и с недоумевающим видом перебрал их в руках. Из глубины квартиры доносились спорящие мужские голоса. Спорили о чем-то музыкальном.

— Л-ладно... — произнес он замедленно, не отрывая взгляда от листков. — Слушай, кто писал, откуда взял, а?

— Это я тебе потом расскажу, — сказал я, отступая от двери.

— Да, дорогой, — сейчас же согласился Чачуа. — Лучше потом. Я сам к тебе зайду. У меня еще на час работы, потом "Спартак" будет играть, а потом я к тебе зайду.

Он махнул мне листками и захлопнул дверь.

Придя домой и раздевшись, я прежде всего полез в душ. Я был мокрый от пота, ушибленный бок ныл немилосердно, и вообще мне надо было успокоиться. Ворочаясь под душем, я составил себе программу на вечер. Прежде всего — ужин, он же сегодня обед. Его надо приготовить. Картошка есть. Сметана есть. Кажется. Есть зеленый горошек. Ба! Есть же банка говядины! К черту супы! Сварить картошку и вывалить в нее тушеную говядину! И лук есть, и маринованная черемша... Много ли человеку надо? Я враз повеселел.

Почему я не против чистить картошку, так это потому, что голова совершенно свободна. Между прочим, никто из моих знакомых не умеет чистить картошку так чисто и быстро, как я. Армия, товарищи! Центнеры, тонны, вагоны перечищенной картошки! И какой, бывало, картошки! Гнилой, глубоко замороженной, сине-зеленой, прочерневшей насквозь... А такую вот картошечку мирного времени, да еще рыночную вдобавок, чистить одно удовольствие. И, боже мой, как это прекрасно, что больше мне не надо ехать на Банную!..

Я промыл начищенные картофелины в трех водах, налил в кастрюльку воды и нарезал в нее картофелины, разрезав каждую надвое или натрое. Затем я поставил кастрюльку на огонь.

...Как хотите, а вся эта их затея с определением НКЧТ — чушь и разбазаривание народных денег. Как и большинство высокоумных затей, связанных с литературой и с искусством вообще. Это же надо, понаставили шкафов тысяч на сто, и все для того лишь, чтобы

доказать: ежели писателя издавать, то читателей у него будет много, хотя, может, и не очень; а ежели его, наоборот, не издавать, ежели его, сукина кота, держать в черном теле, то тогда у него, мерзавца, пакостника этакого, читателей и вовсе не будет. Или еще хлестче: ежели издать, скажем, Александра Сергеевича Пушкина томик хотя бы и прозы и параллельно издать романчик Унитазова Сортир Сортирыча про страсти в литейном ковше, то у Пушкина читателей окажется не в пример больше. Вот ведь, по сути дела, и все, что он пытался мне там толковать. Ну, плюс еще, может быть, нехитрую мысль, что хорошее всегда хорошо, а плохое не всегда плохо...

Или тут что-то не так? Или что-то я тогда не понял, и сейчас понять не могу? А, вольно же ему было намекать, говорил бы прямо, чего ему нужно, а теперь я хрен туда еще когда-нибудь пойду, а вот и картошечка поспела!..

Вот и все готово сделалось у меня на столе, аппетитнейшая смесь картофеля и красноватой говядины дымилась в глубокой тарелке, и пахло на кухне мясными запахами и луком, и лавровым листом, и до чего же славно стало жить, и горизонты посветлели и озарились добрыми предчувствиями. Сценария у меня более половины готово, и в ателье за шубой идти не надо, и не надо, черт подери, совсем не надо больше идти на Банную. Все долги уплачены до захода солнца, как говаривал юный мистер Коркран.

Я набил рот картошкой с мясом и потянулся к телевизору.

По первой программе кто-то пилил на скрипке. Полюбовавшись некоторое время измученным лицом пильщика, я переключился. По второй программе плясала самодеятельность: взметывала пестрые юбки, грохотала каблуками, сводила и разводила руки и время от времени душераздирающе взвизгивала. Я снова набил рот картошкой и снова переключился. Здесь несколько пожилых людей сидели вокруг круглого стола и разговаривали. Речь шла о достигнутых рубежах, о решимости что-то где-то обеспечить, о больших работах по реконструкции чего-то железного...

Я жевал картошку, ставшую вдруг безвкусной, слушал и проникновенно про себя матерился. Телевизор! Блистательное чудо двадцатого нашего века! Поистине фантастический концентрат усилий, таланта, изобретательности десятков, сотен, тысяч великолепнейших умов нашего, моего времени! Для того, чтобы сейчас вот, вернувшись с работы, десятки миллионов усталых людей остервенело щелкали переключателями вместе со мной, не в силах решить поистине неразрешимую задачу: что выбрать? Вдохновенного пильщика? Или

буйную потную толпу самодеятельных плясунов? Или этих унылых и косноязычных специалистов за круглым столом?

Все-таки я выбрал пильщика. Добавил картошки и стал слушать. Наваждение какое-то, подумалось мне вдруг. С самого детства меня пичкают классической музыкой. Вероятно, кто-то где-то когда-то сказал, что если человека каждый день пичкать классической музыкой, то он помаленьку к ней привыкнет и в дальнейшем уже жить без нее не сможет, и это будет хорошо. И началось. Мы жаждали джаза, мы сходили по джазу с ума — нас душили симфониями. Мы обожали душещипательные романсы и блатные песни — на нас рушили скрипичные концерты. Мы рвались слушать бардов и менестрелей — нас травили ораториями. Если бы все эти титанические усилия по внедрению музыкальной культуры в наше сознание имели КПД ну хотя бы как у тепловой машины Дени Папена, я жил бы сейчас в окружении знатоков и почитателей музыкальной классики и сам, безусловно, был бы таким знатоком и почитателем. Тысячи и тысячи часов по радио, тысячи и тысячи телевизионных программ, миллионы пластинок... И что же в результате? Гарик Аганян почти профессионально знает поп-музыку. Жора Наумов до сих пор коллекционирует бардов. Ойло Союзное вроде меня: чем меньше музыки, тем лучше. Шибзд Леня вообще ненавидит музыку. Есть, правда, Валя Демченко. Но он любит классику с раннего детства, музыкальная пропаганда здесь не при чем...

Пока я размышлял на эти темы, скрипач с экрана пропал, а на его место ворвались хоккеисты, и один из них сразу же ударил другого клюшкой по голове. Оператор стыдливо увел камеру в сторону, самое интересное мне не показали, и я выключил телевизор. Я был сыт, удовлетворен зрелищами, и оставалось мне всего-то навсего вымыть посуду.

Потом я перешел в кабинет и медленно двинулся вдоль стенки с книгами, ведя указательным пальцем по стеклу.

"Война и мир". Не сегодня. Полугода еще не прошло.

"Письма Чехова". Не то настроение.

Чуковский. "От Чехова до наших дней". Недавно перечитывал.

Так. Сам Антон Павлович в десяти томах. "Скучную историю" перечитать? Нет. Побережем для дня помрачнее.

Михаил Булгаков. Я некоторое время рассматривал коричневый корешок, уже помятый, уже облупившийся местами, а внизу вон какая-то заусеница образовалась... Нет, хватит, впредь я эту книжку никому больше не дам. Неряхи чертовы. "Велик был год и страшен год

по рождестве Христовом тысяча девятьсот восемнадцатый, от начала же революции — второй..."

— Нет, — сказал я вслух. — Я сейчас "Театральный роман" читаю. Ничего на свете нет лучше "Театрального романа", хотите бейте вы меня, а хотите режьте...

И я извлек с полки томик Булгакова и обласкал пальцами, и огладил ладонью гладкий переплет, и в который уже раз подумал, что нельзя, грешно относиться к книге, как к живому человеку.

Телефон грянул у меня за спиной, и я вздрогнул, потому что был уже не здесь, а в крошечной грязной комнатушке с диваном, из которого торчала пружина, неудобная, как кафкианский бред. Ушибленный бок у меня вдруг заныл, и, прижимая к ребрам прохладный томик, я подошел к столу, повалился в кресло и взял трубку.

Звонил Валя Демченко. Я вот совсем забыл, а в субботу, оказывается, у Сонечки день рождения, и меня звали. Я обрадовался. Я обрадовался потому, во-первых, что Сонечкин день рождения справляется далеко не каждый год, и уж если справляется, то это означает, что все у них хорошо, что пребывают они в полосе материального благополучия, все здоровы, капитан-лейтенант Демченко, всплывши из соленых пучин, прислал бодрое письмо из города Мурманска на Н-ском море, и вообще все прекрасно. А во-вторых, я обрадовался потому, что далеко не всякого приглашают на дни рождения Сонечки.

Мы поговорили. Я спросил, как обстоит дело с последней Валиной повестью, со "Старым дураком". Валя ответил, что в "Ежеквартальном надзирателе" после давешних неприятностей и читать не стали, шарахнулись, как от прокаженного, а в "Губернском вестнике" да, прочли. Но молчат пока, ждут возвращения главного. Главный сейчас в Швеции, а может быть в Швейцарии, а может быть и в Швамбрании. Поэтому никто в "Губернском вестнике" мнения по поводу повести пока не имеет. А вот когда главный вернется и прочитает, вот тут-то и мнение возникнет как бы по волшебству...

Спросил я, как он собирается бороться за название. Он ответил, что никак не собирается, что повесть теперь называется "Старый мудрец", а вот сцену возвращения он решил оставить. Какого черта! Не хочет он своею собственной рукой отрезать от себя лучшие куски мяса. Пусть уж они режут, им за это деньги платят. И не такие уж маленькие...

Я успокоил его в том смысле, что у них-то рука не дрогнет. Он не спорил. Он знал это получше меня. Затем он спросил, не звонил ли мне сегодня Леня. Ах, не звонил? Ну, так еще позвонит. Он новую фразу написал, но не совсем в ней уверен...

Положивши трубку, я задумался: что подарить Сонечке? Я не умею делать подарки. Особенно женщинам. Коньяк? Не годится, хотя Сонечка любит хороший коньяк. Духи? Черт их разберет, эти духи. Может быть, подарить просто пятьдесят рублей чеками Внешпосылторга? Неудобно как-то. Книгу надо подарить какую-нибудь, вот что. Эх, был бы у меня какой-нибудь альбом репродукций... или хотя бы деньги, рубликов триста пятьдесят, — в "Планете" продается "Вашингтонская галерея", умереть можно!

Может быть, по ассоциации с Вашингтоном вспомнился мне мой Дэшиел Хэммет. Давно, ох, давно точит Сонечка зубки на моего Дэшиела Хэммета. Однотомничек с лучшими его вещами, избранное, я бы сказал, все равно что в моем коричневом томике Булгакова. "Кровавый урожай" там есть, и "Мальтийский сокол", и "Стеклянный ключ"... Я ведь все это знаю почти наизусть, а Сонечка — это такой человек, что прав у нее на эту книгу никак не меньше, чем у меня.

И принявши это решение, я поставил томик Булгакова на место, перешел к полкам с иностранщиной и, отодвинув в сторону модель драконоподобного корабля "тхюйен жонг", на каких древние вьетнамцы катали своих королей, извлек "The Novels of Dashiell Hammet". Вот что я сделаю, подумал я, листая страницы с золотым обрезом. Почитаю-ка я его сегодня и завтра напоследок и с тем распрощаюсь. Осторожно, чтобы не потревожить свой многострадальный бок, я возлег на диван, и том в моих руках сам собой раскрылся на "Мальтийском соколе".

Я дочитал до того места, где к Сэму Спэйду заявляются под утро лейтенант Дарби и детектив Том, и тут мне стало невозможно. Я отложил книгу, поднялся, кряхтя, и спустил ноги с дивана.

Бок болел у меня, который уж раз болел у меня этот несчастный мой левый бок. Я побрел в ванную, задрал перед зеркалом рубаху и посмотрел. Бок был жирный, дряблый был у меня бок, и никаких следов увечья на нем не обнаружилось. Как, впрочем, и в прежние разы.

В первый раз я сломал себе это ребро в шестьдесят пятом, зимой в Мурашах, когда подвинул меня лукавый рискнуть съехать на финских саних по крутому склону до самого залива. Все съезжали, вот и я решил: чем я хуже? А хуже я оказался тем, что на середине склона струсил, показалось мне вдруг, что скорость моя приближается к космической, и чтобы не улететь к едрене фене, я принял решение катапультироваться. И катапультировался. Шагов двадцать скакал я на левом боку вниз по пересеченной местности. "Сломали ребрышко-

то", — сказал мне хирург нашей поликлиники, когда я, вернувшись из Мурашей, явился к нему с жалобой на боли в боку. Это было раз.

Два года спустя я однажды зашел в Клуб пообедать. Я озирался в поисках свободного столика, и тут на меня из-за угла напало сильно поддатое Ойло Союзное. Будучи в агрессивно-восторженном состоянии духа (по случаю гонорара за очередную свою халтуру), оно обхватило меня длинными своими конечностями поперек, как в свое время Геркулес схватил Антея, приподняло меня над матерью-землею и стиснуло так, что ребро только жалобно хрустнуло. "Ты знаешь, трещина у тебя, старик", — озабоченно сказал мне мой приятель-врач, когда я пожаловался ему на боль. Это было два.

В позапрошлом году, когда я в составе писательской бригады шел на сухогрузе из Владивостока в Петропавловск, застал нас на траверзе острова Мацуа восьмибальный шторм. Писательская бригада, закатив глаза, благополучно помирала в койках, меня же, морской болезни не подверженного, черт понес на палубу. Буквально на секунду оторвал я руку от поручней, и меня со страшной силой шарахнуло о комингс все тем же боком. "Боюсь, переломчик у вас", — сказал мне судовой врач, и, как выяснилось впоследствии, боялся он не напрасно.

Это было уже три, и мне казалось, что поскольку бог любит именно троицу, злоключения ребра моего на этом закончатся. Но, как видно, изба не строится без четырех углов...

Я уныло заглянул в пустую жестянку из-под кофе и втиснул ее в шкафчик под мойкой. Чаю попью, вот что я сейчас сделаю. Я поставил чайник, а сам встал у окна и прислонился лбом к холодному стеклу.

Экая все-таки мерзопакость. Ведь казалось же, что все наладилось, все заботы позади, так нет же — теперь ребро. Тот, кто ведает моей судьбой, махнул рукой на изыщество выдумки и обратился к приемам прямым, грубым, подлым. Ну, на что это похоже? Среди бела дня, в пределах огромного мегаполиса, солидный пожилой человек, не спортсмен какой-нибудь легкомысленный, не буян и не алкоголик, вдруг ни с того, ни с сего ломает ребро! Горько и неприлично...

Я сходил в кабинет за Дэшиелом Хэмметом и принялся пристраиваться около кухонного стола в поисках позы, наименее болезненной. Как и в прошлые разы, оказалось, что легче всего мне в излюбленной Катькиной позе: колени на табуретке, локти на столе, задница в воздухе. В этой позе я и стал жить. В этой позе я стал пить чай и читать про пудовую статуэтку сокола из чистого золота, которую мальтийские рыцари изготовили когда-то в подарок королю Испании, а в

наши дни началась за нею кровавая гангстерская охота. Когда я дочитал до того места, где в контору Сэма Спэйда вваливается продырявленный пятью пулями капитан "Ла Паломы", в дверь позвонили.

Кряхтя и постанывая, с огромной неохотой оторвавшись от Сэма Спэйда, я побрел открывать. Оказывается, за это время я успел начисто забыть и про ноты павшего ангела, и про Гогу Чачуа, и поэтому, увидев его на пороге, я испытал потрясение, тем более что лицо его...

Нет, строго говоря, лица на нем не было. Был огромный, с синими прожилками, светло-голубой нос над толстыми усами с пробором, были бледные дрожащие губы, и были черные тоскливые глаза, наполненные слезами и отчаянием. Проклятые ноты, свернутые в трубку, он судорожно сжимал в волосатых кулаках, прижатых к груди. Он молчал, а у меня так перехватило дух от ужасного предчувствия, что и я не мог выговорить ни слова и только посторонился, давая ему дорогу.

Как слепой, он устремился в прихожую, натолкнулся на стенку и неверными шагами двинулся в кабинет. Там он обеими руками бросил ноты на стол, словно эта бумажная трубка обжигала его, упал в кресло и прижал к глазам ладони.

Ноги подо мной подогнулись, и я остановился в дверях, ухватившись за косяк. Он молчал, и мне казалось, что молчание это длится невероятно долго. Более того, мне казалось, что оно никогда не кончится, и у меня возникла дикая надежда, что оно никогда не кончится и я не услышу никогда тот ужас, который принес мне Чачуа. Но он все-таки заговорил:

— Слушай... — просипел он, отрывая руки от лица и запуская пальцы в густую шерсть над ушами. — Опять "Спартак" пропер! Ну, что ты будешь делать, а?

5

И опять приснился мне сон, исполненный бессилия и безнадежности: будто с пушечным громом распахнулись вдруг все окна и двери и тугим сквозняком вынесло из Синей Папки все, что я написал, в озаренное кровавым заревом пространство над шестнадцатизэтажной пропастью, и закружились, замелькали, закувыркались разносимые ветром странички, и ничего не осталось в Синей Папке, но еще можно было сбегать вниз, догнать, собрать, спасти хоть что-нибудь, да вот только ноги словно вросли в пол, и глубоко в тело вошли удерживающие меня над лоджией крючья. "Катя!" — закричал я и заплакал в

отчаянии, и проснулся, и оказалось, что глаза у меня сухи, ноги светло, и невыносимо болит бок.

Некоторое время я лежал под светлыми квадратами на потолке, терпеливо двигал ступнями, чтобы избавиться от судороги, и мысли мои текли лениво и без всякого порядка. Думалось мне, что я все-таки очень нездоров, и придется мне внять все-таки убеждениям Катьки и лечь на обследование... и сразу все затормозится, все остановится, и надолго закроется моя Синяя Папка...

И еще я подумал, что хорошо бы распечатать ее в двух экземплярах, и пусть один экземпляр хранится у Риты... хотя, с другой стороны, она тоже не девочка, что-то у нее нехорошее то ли с почками, то ли с печенью... Совершенно непонятно, просто представить себе нельзя, как, где, у кого можно поместить рукопись на хранение — чтобы и хранили, и не совали бы в нее нос...

Потому что вполне возможно, что нынешний сон мой — пророческий: ничего мне не успеть закончить, и разметет мою Синюю Папку тугой сквозняк по канавам и помойкам. И листочка не остается, чтобы засунуть его в машину на предмет определения НКЧТ...

И вот когда я вспомнил об НКЧТ (просто так вспомнил, к мысли пришлось по принципу иронии и жалости), вот тогда ровно сама собой проявилась у меня догадка, ясная и сухая, как формула: не ценность произведения они там определяют, а предсказывают они там судьбу произведения!

Так вот что он хотел мне все время втолковать, невеселый мой вчерашний знакомец! Наивероятнейшее Количество Читателей Текста — сюда же все входит! И тиражи сюда входят, и качество, и популярность, и талант писателя, и талант читателя, между прочим. И можешь ты написать гениальнейшую вещь, а машина выдаст тебе мизер, потому что никуда твоя гениальная вещь не пойдет, прочтут ее разве что жена, близкие друзья да хорошо знакомый редактор, на котором все и кончится: "Ты же понимаешь, старик... Ты, старик, пойми меня правильно...".

Умненькая машина, хитренькая! А я, дурак, потащил к ним свои рецензии, мусор им свой потащил, мусорную свою корзину. Я сел, обхвативши колени руками. Вот что он имел в виду. Вот почему он мне, можно сказать, назначил следующее свидание. Сущное он мое имел в виду, подлинное. Чтобы твердо понял я, на каком я свете и надо ли мне дальше горячиться или же, подобно многим до меня, стоит бросить работать и начать вместо этого хорошо зарабатывать...

И холодно мне стало от этих мыслей, кожа пошла мурашками, и я натянул на плечи одеяло, и ужасно вдруг захотелось закурить.

Страшненькая машина, жутенькая. И зачем только это им понадобилось? Конечно, знать будущее — вековая мечта человечества, вроде ковра-самолета и сапог-сорокоходов. Цари-короли-императоры большие деньги за такое знание сулили. Но если подумать, то при одном непременном условии: чтобы будущее это было приятным. А неприятное будущее — кому его нужно знать? Вот прихожу я на Банную с Синей Папкой, и говорит мне машина человеческим голосом: "А дела твои, Феликс Алексан-дрович, дерьмо. Три читателя у тебя будут, и утрись..."

Я отбросил одеяло и стал нашаривать ногами тапочки.

А ведь не идти на Банную теперь тоже нельзя! Должен же я знать... Зачем? Зачем мне это знать, что вся работа моя, жизнь моя, по сути дела, коту под хвост? Но, с другой стороны, почему уж так обязательно коту под хвост? А если и так, то, что это означает — коту под хвост? Не сам ли я мечтаю отдать на хранение Синюю Папку так, чтобы не залез в нее потный любопытный нос Брыжейкина или Гагашкина? Впрочем, потный любопытный нос — это все-таки нечто иное. Брыжейкин Гагашкиным, а читатель читателем. Все же я, черт возьми, не рукоблудием занимаюсь, — я для людей пишу, а не для самоуслаждения. Конечно, с самого начала я готов был к тому, что Синюю Папку при моей жизни не напечатают. Обычное дело, не я первый, не я последний. Но мысль о том, что она просто сгинет, на пропасть пойдет, растворится во времени без следа... Нет, к этому я не готов. Глупо, согласен. Но не готов. Потому и страшно!

Я умывался, приводил в порядок постель, готовил завтрак, занятый этими мыслями. Было всего половина седьмого, но все равно я не мог бы теперь ни спать, ни даже просто лежать. Меня прямо-таки трясло от нервного возбуждения, от желания что-нибудь немедленно сделать или хотя бы решить.

Это ж надо же, до чего нас убедили, будто рукописи не горят! Горят они, да еще как горят, прямо-таки синим пламенем! Гадать страшно, сколько их, наверное, сгинуло, не объявившись... Не хочу я для своего творения такой судьбы. И узнать о такой судьбе не хотелось бы, если она такая... Ах, не зря, не зря обиняками вчера говорил мой невеселый знакомец, мог бы ведь и прямо сказать, что к чему, но рассудил, что ежели не догадаюсь я сам, то бог убогому простит, а уж если догадаюсь, тогда деваться мне будет некуда: приду и принесу, и узнаю...

И нечувствительно оказалось, что сижу я за своим столом, и Синяя Папка распахнута передо мною, и пальцы мои сами собой берут листок за листком и бережно перекладывают справа налево,

оглаживают, выравнивают объемистую уже стопочку, и ужасно горько мне стало, что вчера поздно вечером дочитал я последнюю написанную строчку. А как хорошо было бы именно сегодня, сейчас вот, в минуту неуверенности, в минуту паники, когда дорога моя неумолимо ведет к развилке, как хорошо было бы в эту минуту прочитать последнюю, еще неведомую мне, ненаписанную строчку и под нею слово "КОНЕЦ". Тогда я мог бы сказать сейчас с легкой душой: "Все это, государи мои, философия, а вот полюбуйтесь-ка на это!" — и покачал бы Синюю Папку на растопыренной пятерне.

И так нестерпимо захотелось мне приблизить хоть немного этот далекий момент, что я торопливо раскрыл машинку, заправил чистый лист бумаги и напечатал:

"ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СЛЕДОВАТЕЛЬ".

Я уже давно знал, что вторая часть будет называться "Следователь". Я очень неплохо представлял себе, что происходит там в первых двух главах этой части, и потому мне понадобилось всего каких-нибудь полчаса, чтобы на бумаге появилось:

"У Андрея вдруг заболела голова. Он с отвращением раздавил в переполненной пепельнице окурок, выдвинул средний ящик стола и заглянул, нет ли там каких-нибудь пилюль. Пилюль не было. Поверх старых перемешанных бумаг лежал там черный армейский пистолет, по углам прятался пыльный табачный мусор, валялись обтрепаные картонные коробочки с канцелярской мелочью, огрызки карандашей, несколько сломанных сигарет. От всего этого головная боль только усилилась. Андрей с треском задвинул ящик, подпер голову руками так, чтобы ладони прикрыли глаза, и сквозь щелки между пальцами стал смотреть на Питера Блока.

Питер Блок, по прозвищу Копчик, сидел в отдалении на табуретке, смиренно сложив на костлявых коленях красные лапки, и равнодушно мигал, время от времени облизываясь. Голова у него явно не болела, но зато ему, видимо, хотелось пить. И курить тоже. Андрей с усилием оторвал ладони от лица, налил себе из графина тепловатой воды и, преодолев легкий спазм, выпил полстакана..."

Я снял руки с клавиш и почесал подбородок. Обычное дело: когда я пытаюсь взять эту мою работу приступом, на голом энтузиазме, все застопоривается.

В следующие полчаса я только вставил от руки слово "скрепки" и добавил: "Питер Блок облизнулся". Нет, серьезную работу делают не так.

Серьезную работу делают, например, в Мурашах, в Доме творчества. Предварительно надо собраться с духом, полностью отрешиться

от всего суетного и прочно отрезать себе все пути к отступлению. Ты должен твердо знать, что путевка на полный срок оплачена и деньги эти ни под каким видом не будут тебе возвращены. И никакого вдох-новения! Только ежедневный рабский, механический, до изнеможения труд. Как машина. Как лошадь. Пять страниц до обеда, две страницы перед ужином. Или четыре страницы до обеда и тогда уже три страницы перед ужином. Никаких бдений. Никакого трепя. Никаких свиданий. Никаких заседаний. Никаких телефонных звонков. Никаких скандалов и юбилеев. Семь страниц в день, а после ужина можешь посидеть в бильярдной, вяло переговариваясь со знакомыми и полужнакомыми братьями-литераторами. И если ты будешь тверд, если ты не будешь, упаси бог, жалеть себя и восклицать: "Имею же я, черт подери, право хоть раз в неделю...", то ты вернешься через двадцать шесть суток домой, как удачливый охотник, без рук и без ног от усталости, но веселый и с набитым ягдташем... А ведь я даже и не придумал еще, что же у меня будет в моем ягдташе...

Ровно в восемь тридцать раздался телефонный звонок, но это не был Леня Шибзд. Непонятно, кто это был. Трубка дышала, трубка внимательно слушала мои раздраженные "Алло, кто говорит? Нажмите кнопку!.." А потом пошли короткие гудки.

Я бросил трубку, с отвращением выдернул из машинки початый лист, всунул его в папку под самый низ и закрыл машинку. Светало, на дворе опять разыгралась пурга, снова ощутил я острую боль в боку и прилег. Все-таки я холерик. Ведь вот только что трясся от возбуждения, и казалось мне, что нет ничего важнее на свете, чем моя Синяя Папка и ее судьба в веках. А теперь вот лежу, как раздавленная лягушка, и ничего-то вечного мне не надо, кроме покоя.

Бок болел, и небывалая слабость навалилась на меня, и жалость к себе пронзила, и вспомнил я, безвольно сдался воспоминанию, как сдаются обмороку, когда нет больше сил терпеть...

Она жила в квартире номер девятнадцать, занимала там крошечную комнатку бог знает на каких правах, училась на первом курсе Политехнического, и было ей около девятнадцати. И звали ее Катя, а фамилии ее Ф. Сорокин не знал и никогда не узнает. Во всяком случае, в этой жизни.

Ф. Сорокину исполнилось тогда пятнадцать, он перешел в девятый класс и был пареньком рослым и красивым, хотя уши у него были изрядно оттопырены. На уроках физкультуры он стоял в шеренге третьим после Володи Правдюка (убит в 1943-м) и Володи Цингера (ныне большой чин в авиационной промышленности). Катя, когда он

познакомился с нею, была одного с ним роста, а когда разлучила их разлучительница всех союзов, Катя была уже на полголовы ниже его.

Ф. Сорокин несколько раз встречал ее еще до знакомства — либо на лестнице, либо у Анастасии Андреевны, но ничего мужского и личного она в нем тогда не возбуждала. Он был тогда сопляком и фофаном, этот рослый и красивый парень, Ф. Сорокин. Дистанция между студенткой и школьником представлялась невероятной, тягостное и безрезультатное перещупывание с Люсей Неверовской (ныне адмиральская вдова, пенсионерка и, кажется, уже прабабушка) воздвигало непреодолимую баррикаду между его вожделениями и всеми женскими особями в мире, и вообще предполагалось обязательным сначала проникнуть во вражеский стан, прикончить или захватить живыми Гитлера и Муссолини (о Тодзе не знал еще тогда Ф. Сорокин) и положить их головы к туфелькам.

Наверное, в психиатрии нашлось бы объяснение тому, что маленькая студентка Катя положила глаз на школьника. Обыкновенно пятнадцатилетние мальчишки привлекают главным образом дам на возраст, а впрочем, что я понимаю в психиатрии? Но осмелится ли кто-нибудь утверждать, что роман Кати и Ф. Сорокина уникален? Ф. Сорокин не осмеливается. (Впрочем, он — лицо предубежденное.) Уже потом, два или три месяца спустя, Катя просто и спокойно рассказала Ф. Сорокину, что влюбилась в него с первого взгляда при первой же случайной встрече то ли на лестнице, то ли в подъезде. Может быть, она говорила неправду, но Ф. Сорокину это было лестно.

Однако, тут, возможно, имеет значение такое обстоятельство. Года за полтора до их знакомства с Катей произошла неприятность. Она училась тогда в десятом классе в одном из небольших городков под Ленинградом (Колпино? Павловск? Тосно?). Однажды она была дежурной и осталась после уроков прибирать класс. Тут вошли несколько ее одноклассников, схватили ее, обмотали голову пиджаками и повалили в проходе между партами. Ничего у них не получилось — может быть, от страха, может быть, по неопытности. Катя осталась девицею. Физически. А как насчет психологии?

Правда, надо сказать, что Ф. Сорокина она полюбила уже женщиной. С кем у нее это произошло в первый раз, она не сказала, а ему вопрос об этом никогда не приходил в голову.

В один жаркий день в начале сентября Ф. Сорокин вернулся из школы и зашел за ключом в квартиру номер девятнадцать к Анастасии Андреевне. Анастасии Андреевны он не застал, а нашел записку, что ключ оставлен у соседки, у Кати. В полутемном коридоре, загроможденном всяким хламом, он нашел Катину дверь и постучал. И

дверь в ту же секунду распахнулась. И он увидел ее. И испытал потрясение.

В конце концов, цель оправдывает средства. А в любви, говорят, все средства хороши. Конечно, она его ждала и приготовилась. Да он-то совершенно не был готов. Потом он понял, что еще немного (немного чего?), и он либо бросился бы бежать, сломя голову, либо свалился бы в обмороке.

Я поднялся, кряхтя и постанывая, полез под диван и из самого дальнего темного угла достал окуроч, о котором помнил весь этот год. Я пошел с ним на кухню и закурил, стоя у окна, и мельком удивился, что табачный дым не оказывает на меня никакого действия, словно не дым я вдыхаю, а теплый пахучий воздух.

Катя была тощенькая, узкоплечая и узкобедрая, с круглыми торчащими грудями. На ней был мешковатый серый халат уютского типа, она молча взяла Ф. Сорокина за руку и ввела в свою комнатушку, потом вернулась к двери и тихонько, но плотно затворила ее и щелкнула задвижкой, а потом повернулась к Ф. Сорокину и стала смотреть на него, опустив руки. Халат на ней был распахнут, а под халатом у нее была голая кожа, но Ф. Сорокин увидел сначала, что она красная ото лба до груди, а потом уже все остальное. Ну и зрелище для половозрелого сопляка, который до того видел голых женщин только на репродукциях Рубенса! Впрочем, еще на порнографических карточках, их ему показывал Борька Кутузов (разорван на куски снарядом в августе 1941 года).

Они встречались если и не каждый день, то все же достаточно регулярно. Точно в назначенный день и в условленный час, минута в минуту, Ф. Сорокин бесшумными скачками поднимался к дверям квартиры номер девятнадцать. Обычно это было днем, часа в три или четыре, сразу после возвращения из школы. Конечно, он не звонил и не стучал. Дверь открывалась. Катя в своем уютском халатике на голое тело хватала его за руку, вводила в свою комнатушку, и они запирались там, и насыщались друг другом жадно и торопливо, и минут через двадцать Ф. Сорокин, бесшумный и осторожный, как индеец на военной тропе, вышмыгивал в полутемный коридор, привычно нащупывал барабанчик французского замка и оказывался на лестничной площадке. Говорили они немного и только шепотом, и за всю однообразную, но невероятно насыщенную историю этой любви им ни разу не привелось побыть друг с другом более получаса подряд...

А история была действительно невероятно насыщенной — для Ф. Сорокина, несомненно, однако, наверное, и для Кати тоже. Спускаясь по лестнице из квартиры номер девятнадцать, Ф. Сорокин уже

начинал тосковать. Через день-другой тоска сменялась напряженным нетерпением. Наступало назначенное время, и все у него внутри тряслось от лихорадочной радости и от растущего страха, что встреча вдруг не состоится (бывали такие случаи). И вот встреча, а затем снова тоска, нетерпение, радость и страх, и снова встреча. И так неделя за неделей, осень, зима, весна и, наконец, проклятое лето тысяча девятьсот сорок первого. И ни разу Ф. Сорокин не ощутил усталости от Кати, ни разу не захотелось ему перед встречей, чтобы встречи этой не было. По всей видимости, то же самое было и с нею.

Интересно, что именно в это время, в девятом классе, Ф. Сорокин вел успешное наступление на высшую математику и сферическую тригонометрию, на пару с Сашей Ароновым (умер от голода в январе 1942 года) вовсю мастерил астрономические трубы, вкалывал в мастерских Дома занимательной науки и играючи управлялся со школьной премудростью. И продолжался его платонический роман с Люсей Неверовской, а после встречи Нового года начался вдобавок и флирт с Ниной Халяевой (пропала без вести в эвакуации), и было еще много и много всякой ерунды и чепухи. Ф. Сорокин активно жил в учебе, науке, общественных и личных связях и ни разу, ни при каких обстоятельствах, нигде и никому ни словом, ни намеком не обмолвился о Кате.

Вряд ли их связывала просто половая страсть, хотя бы и самая что ни на есть неистовая: такое не могло бы тянуться столь долго и при этом сопровождаться беспрестанно приступами тоски, радости и страха. Вряд ли это было и любовью романтического толка, о которой писали великие. Было там и от того, и от другого, была там, вероятно, мальчишеская гордость обладания настоящей женщиной, и благодарная нежность девочки к мужчине, который не обижает и не выпендривается, а еще было, наверное, предчувствие.

В последний раз они встречались в конце мая, в начале экзаменов.

В десятых числах июля Ф. Сорокин вернулся со строительства аэродрома под Кингисеппом, возмужалый, уже убивший первого своего человека, врага, фашиста, и очень этим гордый. Окольными путями ему удалось узнать, что неделю назад Катя уехала со своим курсом на сооружение противотанковых рвов куда-то в Гатчину (или в Псков?).

В конце июля в домоуправление сообщили, что Катя убита при бомбежке.

Слабость. Это все слабость моя. Что-то я сегодня ослабел. Но почему я всегда так упорно запрещаю себе вспоминать это? Имя — да. Катя. Катя. Но только имя. Потому, что я больше никогда не любил.

Было у Ф. Сорокина с тех пор множество баб, две или три женщины, и не было ни одной любви.

Телефонный звонок раздался, и я потащился обратно в кабинет. Это звонила Рита наконец, и вовремя.

Она только что вернулась из своей тьмутаракани и желала пообщаться с интеллигентным человеком из литературного мира. Голос у нее был чистый, веселый и здоровый, и это было прекрасно, и мне захотелось немедленно с нею увидеться. Я спросил, как она сегодня, и она ответила, что сейчас она у себя в конторе, проторчит до обеда, а в обед можно будет ей рвануть когти. Я возликовал, и мы тут же совместно выковали план, как мы встретимся у меня в Клубе в пятнадцать ноль-ноль и сольемся там в гастрономическом экстазе. Для начала, сказал я деловито. Там видно будет, ответила она еще более деловито.

Разговор этот, как и следовало ожидать, коренным образом изменил мой взгляд на окружающую действительность. Окружение из враждебного сделалось дружелюбным, а действительность утратила мрачность и обрела все мыслимые оттенки розового и голубого. Вот и на дворе стало значительно светлее, и злая метель обратилась в легкий, чуть ли не праздничный снегопад. И все, что угрюмо обступало меня в последние дни, все эти неприятные и странные встречи, пугающие разговоры и недомолвки, обретшие вдруг плоть и кровь проблемы, совсем недавно еще абстрактные, вся эта темная безнадёга, обступившая меня зловещим частоколом, вдруг раздвинулась, отступила куда-то назад и в стороны, а передо мною все стало изумрудно-зеленое, серебристо-солнечное, туманно-голубое, с лихо мерцающей надписью поперек: "Перебьемся!". И бок мой теперь почти уже совсем не болел...

Для чего ты все дуешь в трубу, молодой человек?

Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек!

Прежде всего, я отправился в ванную и там побрился самым тщательным образом. Рита терпеть не может даже намек на щетину. Затем я прошелся влажной тряпкой по всем столам и шкафам. Рита не выносит пыли на полированных поверхностях. Я переменял постельное белье. Мы с Ритой признаем только свежие, хрустящие, накрахмаленные простыни. Я тщательно перетер бокалы и рюмки, придирчиво изучая стекло на просвет, я начистил "Скайдрой" ножи, вилки и чайные ложки, взял себя в руки и вымыл ванну и унитаз. И уже под занавес я выкатил пылесос и пропылесосил пол везде, где он был.

Пока я всем этим занимался, дважды звонил телефон. Один раз это был Леня Шибзд, которому я после его стандартно-

приветственного вопроса: "Как дела?" — не дал и рта раскрыть, а второй раз опять молча подышал в трубку тот стеснительный, и я под веселую руку поведал ему, что предложение помощи я ценю, но помощь мне не требуется, ибо все свои дела здесь я уже довел до конца и в ближайшее время уйду с этой планеты и из этого времени навсегда. Не знаю уж, что об этом подумал стеснительный, но звонков телефонных больше не было.

Я облачился в лучший свой костюм и вышел из дому без четверти два — с таким расчетом, чтобы успеть зайти в приемную комиссию и забрать причитающуюся мне порцию чтива. Господи, спаси меня и помилуй! Лифт не работал. То есть совсем не работал, ни большая кабина, ни малая.

И тотчас воображение мое нарисовало мне гомерическую картину, как мы с Ритой после хорошего обеда и хорошей прогулки по заснеженной Москве взбираемся пешечком на шестнадцатый этаж, как сердце у меня в груди колотится бешено и неровно, и я на каждой лестничной площадке присаживаюсь на специально для таких случаев предусмотренные скамеечки, украдкой сую в пасть нитроглицерин, а Рита, красивая женщина, дама сердца, любовница, последняя женщина моя, деликатно болтает о пустяках, унизительно-сочувственно поглядывая на меня сверху вниз, и время от времени приговаривает: "Да не спеши ты, куда нам спешить?..".

Я отогнал позорное видение и пошел спускаться пешком. И кого же я повстречал на площадке между восьмым и седьмым этажом? Кто стремительно поднимался мне навстречу, шагая через две ступеньки разом и лишь слегка придерживаясь левою рукой за перила? Кто он, румяный, насвистывающий Гершвина, держащий в правой руке тяжелую сумку с продуктами, с продуктовым заказом, судя по некоторым при-знакам?

Ну, разумеется, он! Костя Кудинов, поэт, тот самый до зелени бледный и облеваный бедолага, которого так недавно при последнем издыхании увезли промывать в Бирюлевскую больницу!

— Старик! — заорал он жизнерадостно, едва опознав меня. — Хорошо, что мы встретились! Ты не спешишь? Имей в виду, я включил тебя в нашу бригаду. Поедем на БАМ. Двадцать дней, пятнадцать выстулений, спецрейс самолетом туда и обратно... Как это тебе, а?

Поистине, сегодня был удачный день. Это может показаться странным, но я, пожилой, замкнутый, в общем-то избегающий новых знакомств человек, консерватор и сидун, — я люблю публичные выступления.

Мне нравится стоять перед набитым залом, видеть разом тысячу физиономий, объединенных выражением интереса, интереса жадного, интереса скептического, интереса насмешливого, интереса изумленного, но всегда интереса. Мне нравится шокировать их нашими цеховыми тайнами, раскрывать им секреты редакционно-издательской кухни, безжалостно разрушать иллюзии по поводу таких засаленных стереотипов, как вдохновенье, озаренье, божьи искры.

Мне нравится отвечать на записки, высмеивать дураков — тонко, чтобы никакая гишу, буде она окажется в зале, не могла бы придраться; нравится ходить по лезвию бритвы, лавируя между тем, что я на самом деле думаю, и тем, что мне думать, по общему мнению, полагается...

А потом, когда выступление уже позади, нравится мне стоять внизу, в зале, в окружении истинных поклонников и ценителей, надписывать зачитанные до дряхлости книжки "Современных сказок" и вести разговор уже на равных, без дураков, крепко, до ожесточения спорить, все время испытывая восхитительное чувство защищенности от грубого выпада и от бестактной резкости, когда не страшно совершить ложный шаг, когда даже явная глупость, произнесенная тобой, великодушно пропускается мимо ушей...

Но особенно я люблю все это не в Москве и не в других столицах, административных, научных и промышленных, а в местах отдаленных, где-нибудь на границе цивилизации, где все эти инженеры, техники, операторы, все эти вчерашние студенты изголодались по культуре, по Европе, просто по интеллигентному разговору.

И я, конечно, дал Косте согласие, выяснил у него, когда отлет, кто еще включен в бригаду и где нас будут инструктировать, и уже протянул ему руку для прощания, но он вдруг взял меня за большой палец щепотью, хитро прищурился и как-то кокетливо пропел:

— А ты у нас рискованный мужик, Феликс Александрович! Ловко у тебя это получилось! Но не думаешь ли ты, что тебе это припомнят, а? Во благовремении, а?

Он кокетливо шурился и покачивал в воздухе мою обмякшую руку, а я ощутил, что все внутри у меня съеживается от дурного предчувствия. Наверное, дело было прежде всего в том, что произнес эти слова именно Костя. Не знаю. Но я сразу подумал, что не кончилась еще глупейшая история с этим... как он там... с мафусалином этим чертовым. Ничего не кончилось, что с того, что я начисто забыл про соглядатая в клетчатом пальто-перевертыше, они-то про меня не забыли, дело продолжается, и вот, оказывается, я уже какой-то ловкий ход сделал, обманул, видимо, кого-то, рискнул, дурень, и теперь мне

это могут припомнить! И конечно же припомнят, обязательно припомнят!..

Иезус, Мария и Иосиф! Провалиться бы этому Косте Кудинову, откуда нет возврата! С его таинственными манерами, намеками и полунамеками! Уже через минуту подмигиваний, прищуриваний и раскачивания моей руки выяснилось, что речь идет совсем о другом.

В начале декабря знакомый мой редактор из "Богатырского дозора" дал мне отрецензировать рукопись Бабахина, председателя жилкомиссии нашей. Дал он мне эту рукопись и сказал так: "Врежь ты ему по соплям и ничего не бойсь, рецензия внутренняя, а главный наш от этого Бабахина уже в прединфаркте". Повесть, действительно, была чудовищная, и я врезал. По соплям. С наслаждением. А под самый Новый год Бабахина с громом и лязгом из председателей поперли. Не за то, конечно, что пишет он повести, способные довести до инфаркта даже такого закаленного человека, как главный "Богатырского дозора". Нет, поперли его за то, что он "ел хлеб беззакония и пил вино хищения". И вот теперь этот идиот, поэт Костя Кудинов, вообразил себе, будто я все это предвидел заранее и рискнул выступить против Бабахина аж в начале декабря, когда все еще могло вернуться и так, и этак...

И более того. Этот идиот Костя Кудинов считал мою рецензию поступком безрассудным, хоть и героическим, ибо полагал — не без оснований, впрочем, — что бабахины не умирают, что они всегда возвращаются и никогда ничего не забывают.

Кому в наше время приятно попасть под подозрение в безрассудном геройстве? Но я только снисходительно похлопал Костю по плечу и дал ему понять, что все это комариная плешь и что при моих связях никакие бабахины мне не страшны.

На лице его при этом явственно проступило размышление на тему: а нельзя ли (по возможности, немедленно) извлечь что-нибудь для себя полезное из знакомства с такой значительной и благорасположенной к нему персоной, — и это каким-то не совсем понятным образом подвигло вдруг меня на прямой вопрос:

— Послушай-ка, — сказал я, — а чего это ты угрожал мне давеча, в больнице? Что там у тебя, собственно, произошло?

Признаюсь, я не люблю прямых вопросов. Ни ставить, ни слышать. На прямые вопросы обычно следуют до отвращения уклончивые ответы, и всех вокруг начинает тошнить. Да и прямые ответы, как правило, тоже не сахар. Однако же тайна страшного Ивана Давыдовича и Костиного змеиного шипения ("О себе подумай, Сорокин!.."), раньше только раздражавшая меня наподобие некоей душевной

заусеницы, сейчас вдруг потребовала немедленного и полного разъяснения. Что же, в самом деле, мне теперь — каждый раз трепетать, с Кудиновым встречаясь?

— Что же прикажешь, — сказал я, раздражаясь, — каждый раз, понимаешь, трепетать, с тобой встречаясь? Нет уж, изволь объясниться!

И точно так же, как тогда в больнице, Костя заметался взглядом, явно не зная, куда его приткнуть в безопасное место, и снова принялся он лепетать, бормотать, экать и мекать, однако ж на этот раз выглядел он не столько испуганным, сколько смущенным, будто поймали его за тайным разглядыванием специфического заграничного журнальчика. И хотя был он достаточно невнятен, все же уловил я в его бормотании и меканье некую вполне связную и вполне грязноватую историю — про какие-то редкие медикаменты... без рецептов, сам понимаешь... тесть двоюродного брата... ну, ты же понимаешь, старик?.. все же родня, неудобно... ни-ни-ни, никакой уголовщины, что ты, но ты же его напугал до этого, как его... я сам виноват, но и ты пойми меня правильно... знаешь, как это бывает... кому охота объясняться... И так далее.

Я слушал его, испытывая одновременно и некую брезгливость и явное облегчение (всего-то навсего — госсподи!), но ведь и разочарование тоже: всего-то навсего, а я-то!.. И когда ситуация, как мне показалось, прояснилась полностью, я прервал его излияния, не стараясь скрыть ни брезгливости своей, ни облегчения, ни разочарования:

— И это все?

— Старик! — вскричал он, вовсе не разобравшись в моих интонациях, — Дедуля! Клянусь честью! А ты-то что подумал, а? Признайся: ведь черт-те что подумал, а?

Не стал я ему ни в чем признаваться, повернулся к нему спиной и пошел себе вниз по лестнице. А подумал я (уж который раз), что жизнь наша, что бы ни говорили нам об этом энтузиасты, по сути своей вполне обыкновенна и незагадочна (и слава богу, если серьезно), и что нет, видимо, ничего такого в мире, друг Горацио, о чем так сладко болтается вечерком нашим кухонным мудрецам, и что прав, надо полагать, мой герой, когда брюзжит: "Нет никакого Бермудского треугольника! Есть треугольник а-бэ-цэ, который равен треугольнику а-штрих-бэ-штрих-цэ-штрих..." И даже не "равен", а "конгруэнтен" — так теперь надобно говорить...

Всего-то навсего обдeldывал свои тихие делишки тесть шурина свекра сестры, а я-то намудрил, а я-то насочинял в воображении своем... Собственно, ничего я еще пока не насочинял, но был близок, тут уж никуда не денешься — близок я был. И уже мерещилось мне, что

мафусалин этот дефицитный — есть не что иное, как мой эликсир жизни, живая моя вода из каменной пещеры. И мерещились мне уже мои "бессмертные". И совсем уже было вообразил я, что начал пресуществоваться мой старый сюжет, и возникали вокруг из небытия придуманные мною персонажи. И вот все кончилось — вялым анекдотом. В который раз.

Позвольте, подумал я. А клетчатое пальто что же? Тайный соглядатай мой, агент ноль-ноль-семь, клетчатая моя тень в металлических очках? Неужели же я просто подстегнул его к своим переживаниям (как все мы делаем это с приметами, озарениями и тайными голосами), позабывши, какая чертова уйма в Москве клетчатых пальто и металлических оправ?..

И ведь не обошлось без клетчатого пальто! Напомнило-таки оно о себе еще раз, хотя и вовсе неожиданным образом.

Выйдя из метро на Кропоткинской, я увидел рядом с табачным киоском это величайшее достижение двадцатого века — красно-желтый фургон спецмедслужбы. Задние дверцы его были распахнуты настежь, и двое милиционеров ввергали в ее недра клетчатое пальто-перевертыш. Ввергаемое пальто отбрыкивалось задними ногами, а может быть, и не отбрыкивалось, а тщилося отыскать под собой опору. Лица я не видел. Я вообще больше ничего не видел, если не считать очков. Металлическая оправа от очков, — ее деловито пронес мимо меня, держа двумя пальцами, третий милиционер, тут же скрывшийся за фургоном. Затем дверцы захлопнулись, машина выпустила из себя кубометр гнусного запаха и медленно укатила. Вот и все приключение, и спросить не у кого, что здесь произошло, потому что миновали времена, когда такого рода инциденты собирали зрителей. И я пошел своей дорогой.

И пока шел я этой своей дорогой — по бульвару, а затем по Посольской улице, — вдруг ни с того ни с сего, перед мысленным взором моим принялись выскакивать из каких-то недр и суматошно закружились люди, реплики, эпизоды, да так ловко, так сноровисто, словно все это время я только о них и думал.

Маленький, но вполне самостоятельный и совершенно достоверный мир принялся строиться во мне — провинциальный южный городок на берегу моря, ранняя осень, дожди уже начинаются, и листья желтеют, и третьеразрядный писатель, этакий периферийный Феликс Сорокин, но помоложе, пожалуй, лет этак сорока... и не Сорокин, конечно, а, скажем, Воробьев... Выходит он утром из своей квартиры по делам... посуду, например, сдать, здоровенная у него в руке авоська с бутылками из-под "бжни"... А сдавши посуду, пойдет он потом

выступать перед читателями... перед пенсионерами в Дом культуры... Но не тут-то было, гражданин Воробьев! Из соседней квартиры выносят ему навстречу санитары соседа его, Костю, например, Курдюкова, поэтишку-скорохвата, при последнем издыхании... Дальше — по жизни, ничего придумывать не надо. Мафусаллин; институт, вурдалак Иван Давыдович, Клетчатое Пальто в трамвае. Весь день моего Воробьева преследуют странные происшествия. То, скажем, самосвал, мирно стоявший на пригорке по-над очередью в пункт приема стеклотары, срывается вдруг с тормозов и катит прямо на моего Воробьева, да так, что тот едва успевает отскочить. То вдруг огромный булыжник, невесть откуда свалившийся, врезается в авоську с посудой у самых ног Воробьева, присевшего завязать шнурок на ботинке. (Пусть он у меня целый день шляется по городу с этой своей авоськой осточертевшей.) То вдруг из рядов пенсионеров в Доме культуры воздвигается Клетчатое Пальто и задает вопрос... Какой же это будет вопрос? А, черт, ладно, потом придумаю.

А ночью они все к нему и заявятся. Их у меня, как и намечалось, будет пятеро, паршивых и гадких. Пятеро древних гишу. Пятеро Гнойных Прыщей, каждый в своем роде.

Во-первых, мой добрый знакомый — вурдалак Иван Давыдович. Он у нас на самом деле древний алхимик, еще императору Рудольфу золото добывал из свинячьей желчи, а в наши дни — бессменный председатель месткома у себя в институте.

Женщину бы туда нужно, вот что... Ледяную красотку, для которой мужики — что пауки для паучихи: попользовалась и за щеку... Самка гишу. Маркитантка из рейтарского обоза... Таскалась за солдатней еще во времена гугенотских войн...

Тут надо бы подумать, чтобы не было противоречий. Бессмертные-то они бессмертные, конечно, но только в том смысле, что своей смертью не умирают. А убить их вполне можно. И пулей, и ножом, и ядом, и как угодно. Тогда все выстраивается. Костя Курдюков, обожравшись тухлыми консервами, со страху решил, что помирает, и послал моего Воробьева к вурдалаку, чтобы тот дал две-три капли эликсира. (А вурдалак, сами понимаете, пользуясь государственным оборудованием, все пытается синтезировать эликсир, и две-три капли у него всегда есть — для химических целей.) Принимаем, значит, что эликсир может действовать и как лекарство тоже. Иван же Давыдович, вурдалак мой дорогой, будучи существом в высшей степени подозрительным и недоверчивым, решает, что произошла утечка информации, и направляет по следам Воробьева верного человека в

клетчатом пальто. Чтобы, во-первых, проследить, а во-вторых, припугнуть.

А уж ночью они ввалятся к Воробьеву в дом всей компанией. Не жалкие свифтовские струльдбруги, маразматики полудохлые, а жуткие древние гишу — без чести, без совести, без жалости, энергичные, свирепые, готовые на все. Тут-то, ночью, все и начинается...

Самое лакомое, конечно, — это ночное толковище. Пиршество бессмертных. Это у меня может получиться. Это у меня должно получиться! Черт подери, это у меня получится! Не-ет, государи мои, у хорошего хозяина даром ничто не пропадает, все в дело идет. И Клетчатые Пальто загадочные, и свирепые председатели месткомов, и даже давно забытые наметки в рабочем дневнике десятилетней давности...

Чрезвычайно довольный собой и своими перспективами, я вступил в Клуб, как и предполагал, в три без четверти.

У входа дежурила на этот раз не подслеповатая Марья Трофимовна, а молодая еще пенсионерка, которая и работает-то у нас без году неделю, а уже всех знает, во всяком случае меня. Мы раскланялись, я предупредил ее, что жду даму, разделся и побрел наверх в приемную комиссию. Зинаида Филипповна, черноглазая и белолицая, как всегда очень занятая и очень озабоченная, указала мне на шкаф, где на трех полках отдельными кучами лежали сочинения претендентов. Подумать только, всего-то их восемь, а уже напечатали такую уйму!

— Я вам отобрала, Феликс Александрович, — произнесла Зинаида Филипповна, рассеянно мне улыбаясь. — Вы ведь военно-патриотическую тему предпочитаете? Вон крайняя стопка, Халабуев некто. Я вам уже записала.

Жалок и тосклив был вид стопки, воплотившей в себя дух и мысль неведомого мне Халабуева. Три тощеньких номера "Прапорщика" с аккуратненькими хвостиками бумажных закладок и одинокая, тощенькая же книжечка Северно-Сибирского издательства, повесть под названием "Стережем небо!".

И кто же это тебя, Халабуев, рекомендовал, подумал я. Кто же это, опрометчивый, отдал тебя нам на съедение с твоими тремя рассказами и одной повестушечкой? Да и не повестушечка это даже, а так, слегка беллетризованный очерк из жизни ракетчиков или летчиков. Да ты же, Халабуев, на один зуб будешь нашим лейбгвардейцам, если, конечно, не заручился уже их благорасположением. Но если даже ты и заручился, Халабуев, на ползуба тебя не хватит нашим специалистам по истории куртуазной литературы Франции восемнадцатого века! Но уж если, Халабуев, исхитрился ты и у них

благорасположения снискать, тогда честь тебе, Халабуев, и хвала, тогда далеко ты у нас пойдешь, и очень может быть, что через пяток лет будем мы все толпиться у твоего порога, выклянчивая право на аренду дачи в Подмосковье...

Со вздохом взял я Халабуева под мышку и, вежливо попрощавшись с Зинаидой Филипповной, направился прямо в ресторан.

И случилось так, что хотя народу в ресторане по дневному времени было не очень много, но удобный столик свободный оказался только один, и когда я уселся, то за столиком справа от меня оказался Витя Кошельков, знаменитейший наш юморист и автор множества скетчей, при галстукке бабочкой и при газете "Морнинг стар", кото-рую он читал с непреступным видом над чашечкой кофе.

А за столиком слева щебетали, непрерывно жуя, две неопределенного возраста дамы, вполне, впрочем, на вид аппетитные.

А за столиком прямо передо мной Аполлон Аполлонович Владимирский угощал какую-то из своих многочисленных внучатых (а может, даже и правнучатых) родственниц обедом с шампанским. Он заметил меня, и мы раскланялись.

Он был все такой же, каким я впервые увидел его почти четверть века назад. Маленькая, совершенно лысая, как воздушный шарик, голова на длинной складчатой шее игуаны, огромные черные глаза — сплошной зрачок без радужки, распущенный рот и беспорядочно клацающие искусственные челюсти, как бы живущие самостоятельной жизнью, и плавные движения дирижера, и резкий высокий голос человека, равнодушного к мнению окружающих. И старомодный, начала века, наверное, костюмчик с коротковатыми рукавами, из-под которых выползали ослепительные манжеты. Мне он казался пришельцем из невообразимо далекого, хрестоматийного прошлого; невозможно было представить себе, что энергичные, задорные, бодрящие песни, которые певали, да и сейчас еще поют на демонстрациях и студенческих вечеринках со времен коллективизации, написаны на стихи этого реликта...

Я сидел, одним глазом поглядывая в раскрытого на середине Халабуева, а другим — на дверь в холл, откуда пора было уже появиться Рите, а Аполлон Аполлонович, покровительственно наблюдая, как молоденькая родственница управляется с бифштеком, и поминутно элегантно щелчками загоняя в рукав непослушную манжету, исполнял под аккомпанемент беспорядочно клацающих челюстей очередной свой устный мемуар.

Этих мемуаров за истекшие десятилетия я наслушался предостаточно, и поэтому сейчас лишь узловые моменты рассеянно отмечало

мое привычное ухо. Вот Владимир Владимыч и странные его отношения с Осей. Вот Борис Леонидыч промелькнул, сказал что-то забавное и сменился тут же Александром Александрычем, совсем уже большим, за день до кончины. А вот и Алексей Николаевич, и, конечно же: "Их сиятельство уехали на прием..." Самуил Яковлевич... Корней Иванович... Веня появился у Алексея Максимовича, совсем молодой и очень заносчивый... а Исаак Эммануилович вступил на последнюю свою короткую дорогу. "А как придет время уколы делать, так представь себе, душа моя, все писатели врассыпную, и в лес, а сестры со шприцами наготове — за ними, и только Миша грустно так стоит у больничного окна и говорит бывало: "Побежали в лес по ягодицы...". Константин Сергеевич... "Ох, заберут вас когда-нибудь в ГУМ, Владимир Иванович..." Александр Сергеевич... (тут я вздрогнул). Виссарион Григорьевич с сыном своим Иосифом...

Я посмотрел на Аполлона Аполлоновича. Он был неиссякаем. Родственница, впрочем, оставалась к этому уникальному потоку информации вполне равнодушной. Я не исключал, конечно, что она, как и я, слышала все это далеко не впервые. И тут Аполлон Аполлонович сказал весело:

— А вот и Михаил Афанасьевич собственной персоною. Комман са ва, Мишель?

Я взглянул.

В одну зимнюю ночь сорок первого года, когда я во время воздушной тревоги возвращался домой из гранатных мастерских, бомба попала в деревянный дом у меня за спиной. Меня подняло в воздух, плавно перенесло через железные пики садовой ограды и аккуратно положило на обе лопатки в глубокий сугроб, и я лежал лицом к черному небу и с тупым изумлением глядел, как медленно и важно, подобно кораблям, проплывают надо мной горящие бревна.

И вот с таким же тупым изумлением глядел я теперь, как со стороны холла наискосок через ресторан идет Михаил Афанасьевич, мой невеселый вчерашний знакомец, только без синего лабораторного халата, а в остальном в точности такой же, и даже в том же сером костюме. Я видел, как шевельнулись его губы, он что-то ответил Аполлону Аполлоновичу, а меня не заметил или не узнал и прошел мимо, к выходу в вестибюль старой княгини. И когда он скрылся за дверью, в мертвой тишине, какая бывает после страшного взрыва, скрипучий голос Аполлона Аполлоновича произнес то ли торжественно, то ли доверительно:

— В библиотеку пошел. Или в канцелярию.

А я ведь, оказывается, уже стоял, готовый бежать за ним следом. Были у меня к нему вопросы? Да. Были. Конечно. Хотел ли я спросить у него совета? Безусловно. Разумеется. Все то, о чем догадался я сегодняшним горьким утром, поднялось вдруг во мне снова, как ядовитое варево в ведьмином горшке. И необходимо стало мне узнать, правильно ли я его давеча понял, и если правильно, то что мне теперь с этим пониманием делать. Уже только ради этого стоило бежать за ним, но не это было главное.

Я осознал вдруг, кто он, мой невеселый знакомец с Банной, какой он такой Михаил Афанасьевич. Теперь это казалось мне столь же очевидным, сколь и невероятным. Эта встреча была достойным завершением моей бездарно-фантазмагорической недели, на протяжении которой тот, кому надлежит ведать моей судьбой, распустил передо мной целый веер возможностей, ни одну из которых я не сумел или не захотел осуществить, и все это прошло, как вода сквозь песок, не оставив ничего, кроме грязноватой пенки филистерского облегчения, да еще вот разве что сюжетик простодушный образовался... И теперь вот — последняя возможность. Самая, может быть, невероятная. И пусть она ничего не обещает мне поверх моего привычного бутерброда с маслом, но если я и ее сейчас упущу, пожертвую ее ради солянки с маслинами или даже ради душистой моей Риты, тогда ничего у меня не останется, и незачем мне будет раскрывать мою Синюю Папку.

Как во сне, я услышал брюзгливое барственное блеяние:

— Или я великий русский писатель, или я буду есть эту лапшу...

И как во сне, повернувши голову, увидел я над дымящейся тарелкой полное длинное лицо с брюзгливо отвисшей губой, сейчас же скрывшееся от меня за согбенной спиной официанта.

И тут, уже совершенно наяву, увидел я в дверях холла остановившуюся Риту в любимом моем, песочного цвета, костюме, и глаз укол мне блеск сережки в ее ухе, когда она медленно поворачивала голову, отыскивая меня в зале, но я трусливо спрятал глаза и, слегка согнувшись, торопливо побежал по ковровой дорожке прочь, туда, к той двери, за которой скрылся Михаил Афанасьевич. Горестно промелькнула в голове моей мысль, что вот опять я совершаю поступок, за который придется извиняться и оправдываться, но я отогнал эту мысль, потому что все это будет потом, а сейчас мне предстояло нечто несоизмеримо более важное.

В канцелярии Михаила Афанасьевича не оказалось. Таточка здесь грохотала на своей машинке, а рядом с нею, развалившись в кресле и освободив от пиджака округлое литое брюшко, восседал красноносый

и краснотубый, вообще румяный сатири и с выражением, будто на трибуне стоя, диктовал ей по бумажке:

— ...И с абстракционизмом в литературе мы должны бороться и будем бороться так же непримиримо, как с абстракционизмом в живописи, в скульптуре, в архитектуре...

— И в животноводстве! — проорал я, чтобы остановить его.

Он остановился, явно ослепленный новым поворотом темы, а я быстро спросил Таточку:

— Михаил Афанасьевич сейчас не заходил?

— Нет, — отозвалась она, не переставая грохотать. — Его сегодня не будет. — И требовательно обратилась к сатиру: — "...в архитектуре и в животноводстве...". Дальше!

Я нашел Михаила Афанасьевича в журнальном зале, где он сидел в полном одиночестве и внимательно читал последний номер "Ежеквартального надзирателя". Тот самый. С повестью Вали Демченко, искромсанной, изрезанной, трижды ампутированной, но все-таки живой, непобедимо, вызывающе живой.

Я приблизился и остановился, не зная, что сказать и как начать. Ощущение нелепости происходящего вдруг овладело мною, я смешался, я готов был уже уйти, но тут он опустил журнал, взглянул на меня вопросительно и сразу же улыбнулся:

— А! «Феликс Александрович, — произнес он своим тихим ровным голосом, — Здравствуйте». Садитесь, пожалуйста, вот как раз свободный стул.

— Это из Чапека? — спросил я, послушно усаживаясь.

— Нет, это из Гашека. Так чем я могу служить вам, Феликс Александрович?

— Я вижу, вы очень хорошо знаете литературу...

— Более того. Литературу я очень люблю. Хорошую литературу.

— А когда у вас возникает сомнение, хорошая ли она, вы суете ее в свою машину?

— Помилуйте, Феликс Александрович! Мне это как-то даже и не к лицу. Впрочем, я сам виноват. Я оговорился, прошу прощения. Конечно же, литература не бывает плохой или хорошей. Литература бывает только хорошей, а все прочее следовало бы называть макулатурой.

— Вот-вот! — подхватил я, продолжая напирать в каком-то горестном отчаянии, — "Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!"

Он закрыл журнал, заложивши его, однако пальцем, и некоторое время молча смотрел на меня. А я смотрел на него и поражался сходству с портретом в коричневом томике, и поражался, что за три месяца никто из наших пустобрехов не узнал его, и сам я умудрился не узнать его с первого взгляда там, на Банной.

— Феликс Александрович, — сказал он, наконец. — Я вижу, вы принимаете меня за кого-то другого. Я даже догадываюсь, за кого...

— Позвольте, позвольте! — вскричал я горячо, потому что эта его попытка уклониться разочаровала и даже оскорбила меня. — Ведь не станете же вы отрицать...

— Именно стану! — произнес он, наклоняясь ко мне. — Меня действительно зовут Михаил Афанасьевич, и говорят, что я действительно похож, но посудите сами: как я могу быть им? Мертвые умирают навсегда, Феликс Александрович. Это так же верно, как и то, что рукописи сгорают дотла. Сколько бы ОН ни утверждал обратное.

Я почувствовал, что пот заливаает мне лицо. Я торопливо вытащил платок и утерся. Голова у меня шла кругом, в ушах звенело, видимо, давление подскочило неумеренно, и я опять чувствовал себя, как во сне.

— Однако давайте, наконец, приступим к вашему делу, — продолжал он и вынул палец из журнала, а журнал положил на диван рядом с собой, — Вы, как и следовало ожидать, совершенно правильно догадались, что машина моя определяет не абсолютную художественную ценность произведения, а всего лишь судьбу его в исторически обозримом времени.

Я кивнул, снова и снова протирая заливаемые потом глаза.

— Догадавшись, вы оказались перед вопросом: стоит ли рискнуть и передать мне на анализ вашу Синюю Папку.

Я снова кивнул.

— Давайте теперь попробуем разобраться, чего же вы, Феликс Александрович, боитесь и на что надеетесь. Вы, конечно, боитесь, что машина моя наградит вас за все ваши труды какой-нибудь жалкой цифрой, словно не труд всей своей жизни вы ей предложили, а какую-нибудь макулатурную рецензию, писанную с отвращением и исключительно чтобы отделаться... а то и ради денег. А надеетесь вы, Феликс Александрович, что случится чудо, что вознаградит вас моя машина шестизначным, а то и семизначным числом, словно вы и впрямь заявляете миру некий Новый Апокалипсис, который сам собой прорвется к читателю сквозь все и всяческие препоны... Однако же вы прекрасно знаете, Феликс Александрович, что чудеса в нашем мире случаются только поганые, так что надеяться вам, в сущности,

не на что. Что же до ваших опасений, то не сами ли вы сознательно обрекли свою папку на погребение в недрах письменного своего стола — изначально обрекли, Феликс Александрович, похоронили, еще не родив, а только едва зачав? Вы следите за ходом моих рассуждений?

Я кивнул.

— Вы понимаете, что я только облек в словесную форму ваши собственные мысли?

Я снова кивнул и сказал сиплым голосом, мимолетно поразившим меня самого:

— Вы упустили еще третью возможность...

— Нет, Феликс Александрович! Не упустил! О вашей детской угрозе огнем я догадываюсь. Так вот, чтобы наказать вас за нее, я расскажу вам сейчас о четвертой возможности, такой стыдной и недостойной, что вы даже не осмеливаетесь пустить ее в свое сознание, ужас перед нею сидит у вас где-то там, на задворках, ужас сморщенный, голенький, вонючий... Рассказать?

Предчувствие этого сидящего на задворках сморщенного ужаса резануло меня, как сердечный спазм, и я даже задохнулся, но я уверен был, что ничего он не может сказать такого, о чем я сам уже не передумал, чем не перемучался тридцать три раза. Я стиснул зубы и процедил сквозь платок, прижатый ко рту:

— Любопытно было бы узнать...

И он рассказал.

Честью своей клянусь, жизнью дочери моей Катьки, жизнью внуков: не знал я заранее и представить себе не мог, что он мне расскажет обо мне самом. И это было особенно унижительно и срамно, потому что четвертая моя возможность была такой очевидной, такой пошлой, такой лежащей на поверхности... любой нормальный человек назвал бы ее первой... для Ойла Союзного она вообще единственная, и других он не ведает... Только такие, как я, занесшиеся без всякой видимой причины, надутые спесью до того, что уже и надутости этой не ощущают, невесть что вообразившие о себе, о писанине своей и о мире, который собою осчастливливают, только такие, как я, способны упрятать эту возможность от себя так глубоко, что сами о ней не подозревают...

Ну как, в самом деле, я, Феликс Александрович Сорокин, создатель незабвенного романа "Товарищи офицеры!", как я мог представить себе, что проклятая машина на Банной может выбросить на свои экраны не семизначное признание моих, Сорокина, заслуг перед мировой культурой, и не гордую одинокую троечку, свидетельствующую о том, что мировая культура еще не созрела, чтобы принять в свое

лоно содержимое Синей Папки, а может выбросить машина на свои экраны крепенькие и кругленькие "30 тыс. экз.", означающие, что Синюю Папочку благополучно приняли, благополучно вставили в план, и выскочила она из печатных машин, чтобы осесть на полках районных библиотек рядом с прочей макулатурой, не оставив по себе ни следов, ни памяти, похороненная не в почетном саркофаге письменного стола, а в покоробленных обложках из уцененного картона.

— ...Простите меня, — закончил он с сочувствием в голосе. — Но я не мог оставить в стороне эту возможность, даже если бы не хотел слегка наказать вас.

Я молча кивнул. В который раз. Воистину: демон неба сломал мне рога гордыни.

— Что же касается вашей угрозы сжечь Синюю Папку и забыть о ней, — продолжал Михаил Афанасьевич, — то я, признаться, назвал ее, угрозу, детской лишь в некоторой запальчивости. На самом деле, угроза эта мне кажется серьезной и весьма серьезной. Но, Феликс Александрович! Вся многотысячелетняя история литературы не знает случая, когда автор сжег бы своими руками свое ЛЮБИМОЕ детище. Да, жгли. Но жгли лишь то, что вызывало отвращение и раздражение, и стыд у них самих... А ведь вы, Феликс Александрович, свою Синюю Папку любите, вы живете в ней, вы живете для нее... Ну как вы позволите себе сжечь такое только потому, что не знаете его будущего?

Он был прав, конечно. Все это была кислая болтовня — насчет сжигания, забвения... Да и как бы я ее стал жечь — при паровом-то отоплении. Я нервно хихикнул: может быть, потому и печатается у нас столько барахла, что исчезли по городам печки?

Михаил Афанасьевич тоже засмеялся, но тут же стал серьезным.

— Поймите меня правильно, Феликс Александрович, — сказал он. — Вот вы пришли ко мне за советом и за сочувствием. Ко мне, к единственному, как вам кажется, человеку, который может дать вам совет и выразить искреннее сочувствие. И того вы не хотите понять, Феликс Александрович, что ничего этого не будет и не может быть, ни совета от меня, ни сочувствия. Не хотите вы понять, что вижу я сейчас перед собой только лишь потного и нездорово покрасневшего человека с вялым ртом и с коронарами, сжавшимися до опасного предела, человека, прожившего и потрепанного, не слишком умного и совсем не мудрого, отягченного стыдными воспоминаниями и тщательно подавляемым страхом физического исчезновения. Ни сочувствия этот человек не вызывает, ни желания давать ему советы. Да и с какой стати? Поймите, Феликс Александрович, нет мне никакого дела ни до

ваших внутренних борений, ни до вашего душевного смятения, ни до вашего, простите меня, самолюбования. Единственное, что меня интересует, это ваша Синяя Папка, чтобы роман ваш был написан и закончен. А как вы это сделаете, какой ценой, — я не литературовед и не биограф ваш, это, право же, мне не интересно. Разумеется, людям свойственно ожидать награды за труды свои и за муки, и в общем-то это справедливо, но есть исключения: не бывает и не может быть награды за муку творческую. Мука эта сама заключает в себе награду. Поэтому, Феликс Александрович, не ждите вы для себя ни света, ни покоя. Никогда не будет вам ни покоя, ни света.

И наступила тишина. словно бы я оглох. И в этой глухой тишине беззвучно вошла библиотекарша в сопровождении двух каких-то старух, и они, беззвучно переговариваясь, подошли к шкафу, беззвучно раскрыли его и принялись беззвучно выкладывать на стол и листать какие-то пропыленные подшивки. И вот что странно: они словно бы не видели нас, ни разу не взглянули в нашу сторону, словно бы нас здесь не было.

И в этой тишине вдруг зазвучал глуховатый приятный голос Михаила Афанасьевича. Он не говорил и не рассказывал, а именно читал вслух из невидимой книги.

— Ну вот, Андрей, — произнес с некоторой торжественностью голос Наставника. — Первый круг вами пройден.

Лампа под зеленым фарфоровым абажуром была включена, и на столе в круге света лежала свежая газета с большой передовой под названием "Пятую пятилетку — досрочно!". Гудел и бормотал приемник на этажерке за спиной. Мама на кухне побрякивала посудой и разговаривала с соседкой. Пахло жареной рыбой. Во дворе-колодце под окном вопили и галдели ребяташки, шла игра в прятки. Из раскрытой форточки тянуло влажным оттепельным воздухом. Еще минутой назад все это было совсем не таким, как сейчас — гораздо более обыденным и привычным. Оно было без будущего. Вернее, отдельно от будущего...

Андрей бесцельно разгладил газету и сказал:

— Первый? А почему — первый?

— Потому что их еще много впереди, — произнес голос Наставника.

Тогда Андрей, стараясь не смотреть в ту сторону, откуда доносился голос, поднялся и прислонился плечом к шкафу у окна. Черный колодец двора, слабо освещенный желтыми прямоугольниками окон, был под ним и над ним, а далеко наверху, в совсем уже потемневшем небе горела Вега. Совершенно невозможно было покинуть все это



снова, и совершенно — еще более! — невозможно было остаться среди всего этого. Теперь. После всего.

— Изя! «Изя!» — пронзительно прокричал женский голос в колоде. — Изя! Иди уже ужинать! Дети, вы не видели Изю?

И детские голоса внизу закричали:

— Иська! Кацман! Иди, тебя matka зовет!

Андрей, весь напрягшись, сунулся лицом к самому стеклу, всматриваясь в темноту. Но он увидел только неразборчивые тени,

шныряющие по мокрому черному дну ко-лодца между громоздящимися поленницами дров...

Михаил Афанасьевич замолчал, откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. И вдруг я понял, откуда это он читал и почему мне это кажется таким знакомым. И еще я понял, что между последними написанными мною словами "Питер Блок облизнулся" и словами Наставника "Ну вот, Андрей, первый круг вами пройден" лежат привычные пустыри ненаписанных строк,— сто, двести, а может быть, и триста ненаписанных еще страниц, но уж после того, как Андрей увидел только неразборчивые тени, шныряющие между поленницами дров, после этой строчки не будет ничего, кроме слова КОНЕЦ и, может быть, даты.

Весь ресторан Клуба видел, как известный писатель военно-патриотической темы Феликс Сорокин, рослый, несколько грузный, среброголовый красавец с пышными черными усами, блестя лауреатским значком на лацкане пиджака, свободно пройдя меж столиками, подошел к красивой женщине в элегантном костюме песочного цвета и поцеловал её руку. И весь ресторан услышал, как он, повернувшись к официанту Мише, произнес отчетливо:

— Мяса! Любого! Но только не псины. Хватит с меня псины, Миша!

Половина зала пропустила эти странные слова мимо ушей, другая половина сочла их за неудачную шутку, а Аполлон Аполлонович, покачивая черепашей головкой, пробормотал: "Странно... Когда это он успел?..".

А Феликс Сорокин и не думал шутить. И тем более надираться он отнюдь не собирался. Просто он был возмутительно, непристойно и неумело счастлив сейчас, и сам толком не знал, почему, собственно.

Содержание

ГРАД ОБРЕЧЕННЫЙ

Часть первая

МУСОРЩИК

ГЛАВА ПЕРВАЯ.....	3
ГЛАВА ВТОРАЯ	19
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.....	39
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ	57

Часть вторая

СЛЕДОВАТЕЛЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ.....	69
ГЛАВА ВТОРАЯ	94
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.....	107
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ	126

Часть третья

РЕДАКТОР

ГЛАВА ПЕРВАЯ.....	142
ГЛАВА ВТОРАЯ	160
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.....	173

Часть четвертая

ГОСПОДИН СОВЕТНИК

ГЛАВА ПЕРВАЯ.....	189
ГЛАВА ВТОРАЯ	209
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.....	227

Часть пятая

РАЗРЫВ НЕПРЕРЫВНОСТИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ.....	243
ГЛАВА ВТОРАЯ	261

ГЛАВА ТРЕТЬЯ..... 282

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 303

Часть шестая

ИСХОД..... 315

ХРОМАЯ СУДЬБА

1 333

2 352

3 374

4 397

5 425

**Самый «тоненький» томик.
Наверное, менее популярный и с минимумом
иллюстраций.
Но как вышло, так вышло.**

Идея, работа с текстом и иллюстрациями by formally

